



ДЖОН ГОЛСУОРСИ

ДЖОН
ГОЛСУОРСИ

A large, stylized, handwritten-style signature in white ink, positioned below the printed name.

ДЖОН
ГОЛСВОРСИ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 8

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» • МОСКВА • 1962

ФРИЛЕНДЫ

Свобода — торжественный праздник
Р. Бернс

Перевод с английского
Е. Г о л ы ш е в о й,
Под редакцией
И. Г у р о в о й.

ПРОЛОГ

Как-то в начале апреля в Вустершире по единственной полосе земли, не поросшей травой, медленно двигался человек и сеял плавными взмахами сильной загорелой волосатой руки; роста он был высокого и широк в плечах. На нем не было ни куртки, ни шляпы; полы расстегнутой безрукавки, надетой поверх ситцевой рубахи в синюю клетку, хлопали по перетянутым поясом плисовым штанам, цветом своим напоминавшим его квадратное светло-коричневое лицо и пыльные волосы. Взгляд у него был грустный, рассеянный и в то же время напряженный, как у больных падучей, губы мясистые, и, если бы не тоскливое выражение глаз, лицо могло бы показаться грубым и чуть ли не животным. Его словно угнетала царящая вокруг тишина. На фоне белесого неба темнели окаймлявшие поле вязы с едва распустившейся листвой. Весна была ранняя, и легкий ветерок уже нес запахи земли и пробивающихся трав. На западе высились зеленые Молвернские холмы, а неподалеку, в тени деревьев, стоял длинный деревенский дом из выветрившегося кирпича, повернутый фасадом на юг. И во всем этом зеленом мире не было видно ничего живого, кроме сеятеля да нескольких грачей, перелетавших с вяза на вяз. А тишина стояла какая-то особенная, задумчивая, покойная. Поля и холмы будто посмеивались над жалкими стараниями человека их покалечить, над царапинами дорог, канав и поднятой плугом земли, над шаткими преградами стен и живой изгороди,— зеленые просторы и белое небо словно сговорились не замечать слабых люд-

ских усилий. Как одиноко было вокруг, как глубоко было все погружено в басовое звучание тишины, слишком величественное и нерушимое для любого смертного!

Шагая поперек изрезанного бороздами поля, сеятель все кидал свои зерна в бурый суглинок, но вот наконец он швырнул последнюю горсть семян и замер. Дрозды еще только запевали вечернюю песню,— ее радостные переливы надежнее всего на свете сулят вечную юность земле. Человек поднял куртку, накинул ее на плечи, повесил на спину плетеную сумку и зашагал к обсаженной вязами дороге, которая поросла по краям травой.

— Трайст! Боб Трайст!

У калитки обвитого зеленью дома, стоявшего в фруктовом саду высоко над дорогой, его окликнул черноволосый юноша с легким загаром на лице; рядом с ним была девушка с курчавыми каштановыми волосами и румянами, как маки, щеками.

— Вас предупредили о выселении?

Великан медленно ответил:

— Да, мистер Дирек. Если она не уедет, придется уходить мне.

— Какая подлость!

Крестьянин мотнул головой, словно хотел что-то сказать, но так ничего и не выговорил.

— Пока подождите, Боб. Мы что-нибудь придумаем.

— Вечер добрый, мистер Дирек. Вечер добрый, мисс Шейла,— произнес крестьянин и пошел своей дорогой.

Юноша и девушка тоже ушли. Вместо них к калитке подошла черноволосая женщина в синем платье. Казалось, она тут стоит без всякой цели; быть может, это была особая вечерняя церемония, какой-то ритуал, вроде того, что выполняют мусульмане, заслыша крик муэдзина. И если бы кто-нибудь ее увидел, то не понял бы, на что устремлен взор ее темных, горящих глаз, глядевших поверх белых, окаймленных травой пустынных дорог, которые тянулись между высоких вязов и зеленых полей. А дрозды заливались песней, призывая всех убедиться, какая юная, полная надежд жизнь расцветает в этом уголке сельской Англии...

ГЛАВА I

Майский день на Оксфорд-стрит. Феликс Фриленд, чуть-чуть опаздывая, спешит из Хемпстеда к своему брату Джону на Порчестер-гарденс. Феликс Фриленд — писатель и первым в этом сезоне надел серый цилиндр. Это — уступка, как и многое другое в его жизни и творчестве, компромисс между оригинальностью и общепринятым взглядом на жизнь, любовью к красоте и модой, скептицизмом и преклонением перед авторитетами. После семейного совета у Джона, где они должны обсудить поведение семьи их брата, Мортон Фриленда, более известного под прозвищем Тод, он, наверно, зайдет в Английскую Галерею поглядеть на карикатуры и нанесет визит одной герцогине в Мейфере, чтобы побеседовать с ней о памятнике Джорджу Ричарду. Вот поэтому он не надел ни мягкой фетровой шляпы, более подходящей к его писательской профессии, ни черного цилиндра, насмерть убивающего всякую индивидуальность, а прибег к этому серому головному убору с узкой черной ленточкой, который, по правде говоря, очень шел к его песочно-желтому лицу, песочным усам, уже тронутым сединой, к черному, обшитому тесьмой сюртуку и темно-песочному жилету, к изящным штиблетам, — конечно, не лакированным! — слегка припудренным песочно-желтой пылью этого майского дня. Даже его серые, как у всех Фрилендов, глаза словно стали чуть-чуть песочными от сидячего образа жизни и излишней впечатлительности. Его угнетало, к примеру, то, что прохожие так отчаянно некрасивы, — и женщины и мужчины уродливы особым

уродством не подозревающих этого людей. Его поражало, что при таком количестве уродов численность населения еще достигает подобного уровня! Благодаря его обостренному восприятию всякого несовершенства это казалось ему просто чудом. Нескладный, убогий народ — эта толпа, заполняющая магазины, эти рабочие! Какие беспросветно заурядные лица! Но как это изменить? Вот именно — как? Они ведь и не подозревают о своей угнетающей заурядности. Почти ни одного красивого или яркого лица, почти ни одного порочного, и уж вовсе ни одного озаренного мыслью, страстью, злодейством или величием. Ничего от древних греков, ранних итальянцев, елизаветинцев или даже от пресыщенных мясом и пивом подданных королей Георгов. Во всех этих встречах была какая-то скованность, какая-то подавленность, что-то от человека, покоящегося в мягких кольцах удава, которые вот-вот начнут сжиматься. Это наблюдение доставило Феликсу Фриленду легкое удовольствие. Ведь его профессией было замечать, а потом увековечивать свои наблюдения на бумаге. Он был уверен, что немногие замечают подобные вещи, и это сильно поднимало его в собственных глазах и приятно согревало. Согревало еще и потому, что его постоянно превозносила пресса, которой — как он знал — приходилось печатать его имя не одну тысячу раз в год. Но в то же время, будучи человеком просвещенным и принципиальным, он презирал дешевую славу и теоретически признавал, что истинное величие — в презрении к мнению света, а особенно к мнению такого непостоянного ценителя, как «шестая держава». Но и в этом вопросе, как и в выборе головного убора, он шел на компромисс: собирал газетные вырезки, где говорилось о нем и о его книгах, хотя никогда не упускал случая назвать эти отзывы — хорошие, плохие и неопределенные — «писаниной», а их авторов — «субъектами».

Мысль, что страна переживает тяжелые времена, была для него не новой. Наоборот, это было глубочайшее его убеждение, и он мог привести в подтверждение веские доказательства. Во-первых, виной была та чудовищная власть, которую за последнее столетие приобрела в стране индустриализация, оторвавшая крестьян от земли, и, во-вторых, — влияние узколобой и коварной

бюрократии, лишаящей народ всякой самостоятельности.

Вот почему, отправляясь на семейный совет к брату Джону, видному чиновнику, и к брату Стенли, индустриальному магнату и владельцу Мортоновского завода сельскохозяйственных машин, он чувствовал себя выше их, ибо он, во всяком случае, не был виновен в том параличе, который грозил охватить страну.

И с каждой минутой все больше покрываясь желтоватым румянцем, он продолжал свой путь, миновал Мраморную Арку и оказался среди толпы в Хайдпарке. Кучки молодых людей, полных рыцарского благородства, осыпали градом насмешек расходившихся участниц суфражистского митинга. Феликс раздумывал, не противопоставить ли их силе свою силу, их сарказму свой сарказм, или, уняв свою совесть, пройти мимо, однако и тут победил инстинкт, вынуждавший его носить серый цилиндр,— он не сделал ни того, ни другого и просто стоял, молча и сердито поглядывая на толпу, которая сразу же стала отпускать по его адресу шуточки: «Ну-ка, сними его!», «Держи, чтобы не слетел!», «Ну и труба же!» — правда, ничего более обидного. А он размышлял: культура! Разве культура может развиваться в обществе, где царят слепой догматизм, нищета интеллекта, дешевые сенсации? Лица этой молодежи, интонация, речь и даже фасон котелков отвечали: нет! Вульгарность их непроницаема для воздействия культуры. А ведь они будущее нации, вот эта невыносимо отвратительная молодежь! Страна поистине слишком далеко ушла от «земли». И ведь городской плебс состоит не только из тех классов, к которым принадлежат эти молодые люди. Он замечал его характерные черты даже у школьных и университетских друзей своего сына: отрицание какой бы то ни было дисциплины, равнодушие ко всему, кроме сильных ощущений и удовольствий, а в голове путаница случайно нахватанных знаний. Все их стремления были направлены на то, чтобы урвать лакомый кусок в чиновном или промышленном мире. Этим был заражен даже его сын Алан, несмотря на влияние семьи и художественную атмосферу, в которой его так старательно взращивали. Он хотел

пойти работать на завод к дяде Стенли, надеясь получить там «теплое местечко»...

Но последний женоненавистник уже прошел мимо, и, сознавая, что он опаздывает, Феликс поспешил дальше...

Стоя перед камином в своем кабинете, довольно уютном, но слишком аккуратно прибранном, Джон Фриленд курил трубку, задумчиво уставившись в пространство. Он размышлял с той сосредоточенностью, которая характерна для человека, завоевавшего к пятидесяти годам высокое и устойчивое положение в министерстве внутренних дел. Начав свою карьеру в инженерных войсках, он на всю жизнь сохранил военную выправку, серьезность, пристальный взор и обвислые усы (чуть более седые, чем у Феликса). Лоб его полысел от прилежания и сноровки в обращении с деловыми бумагами. Лицо у него было более худое, а голова более узкая, чем у брата, и он научился смотреть на людей так, что они сразу же начинали в себе сомневаться и чувствовать слабость своих доводов. Сейчас, как было уже сказано, он размышлял. Утром он получил телеграмму от брата Стенли: «Сегодня приеду на автомобиле в Лондон по делам. Попроси Феликса быть к шести. Надо поговорить о положении в семье Тода». Какое положение? Он, правда, что-то мельком слышал о детях Тода и об их возне с тамошними батраками. Ему это было не по душе: уж очень в духе времени все эти беспорядки и демократические идейки! Заведут страну черт знает куда! Он считал, что страна переживает тяжелые времена отчасти из-за индустриализации с ее губительным влиянием на здоровье, отчасти из-за этой страсти современной интеллигенции все критиковать, страсти, столь губительной для нравственных устоев. Трудно переоценить вред, которым чреваты оба эти фактора. И, раздумывая о предстоящем совещании со своими братьями (один из них был главой промышленного предприятия, а другой — писателем, чьи книги, крайне современные, он никогда не читал), Джон Фриленд где-то в глубине души чувствовал, что его совесть, пожалуй, чище, чем у них обоих. Услышав, что у дома остановился автомобиль, он подошел к окну и посмотрел на улицу. Да, это Стенли!..

Стенли Фриленд, приехавший из Бекета, загородного дома, расположенного недалеко от его завода сельскохозяйственных машин в Вустершире, постоял минутку на тротуаре, разминая длинные ноги и давая расслабления шоферу. Его дважды задержали во время пути, хотя они ни разу не превысили скорости—так он, во всяком случае, считал и был все еще рассержен. Ведь он принципиально всегда соблюдает умеренность — и в езде и во всем остальном. В эту минуту он особенно остро чувствовал, что страна переживает тяжелые времена, ее разъедают бюрократические порядки с их идиотскими ограничениями в скорости езды и в свободе граждан, а также все эти передовые идейки новоявленных писак и умников, вечно болтающих о правах и страданиях бедноты. Нет, и то и другое явно мешает прогрессу. Пока он стоял на тротуаре, его так и подмывало выложить Джону напрямик все, что он думает по поводу посягательств на свободу личности; да он не постеснялся задать перцу и братцу Феликсу за все его возмутительные теории и постоянные насмешки над высшими классами, предпринимателями и всем прочим. Если бы он хотя бы мог что-нибудь этому противопоставить! Капитал и те, кто им владеет,—становой хребет нашей страны или, по крайней мере, того, что от нее оставили эти проклятые чинуши и эстеты! И, нахмурив прямые брови над прямым разрезом серых глаз, прямым, коротко обрубленным носом, еще короче обстриженными усами и тупым подбородком, он все же решил ничего не говорить, не желая давать воли даже собственному гневу.

Тут, заметив приближение Феликса — в белом цилиндре, черт побери! — он направился к дверям—высокий, широкоплечий, представительный — и позвонил.

ГЛАВА II

— Так что же происходит у Тода?

Феликс чуть-чуть подвинулся на стуле, с любопытством глядя на Стенли, который приготовился взять слово.

— Дело, конечно, в его жене. Все было ничего, пока она только пописывала, разглагольствовала и занима-

лась этим своим Земледельческим Обществом или как его там называли — на днях оно испустило дух, — но теперь она и эти двое ребят впутались в наши местные свавры, и я считаю, что с Тодом надо поговорить!

— Муж не может заставить жену отказаться от ее убеждений, — заметил Феликс.

— Убеждений?! — воскликнул Джон.

— Кэрстин — женщина с сильным характером, революционерка по натуре. Разве можно ожидать, что она будет поступать так, как поступали бы вы?

После этих слов Феликса воцарилось молчание.

Потом Стенли проворчал:

— Бедняга Тод!

Феликс вздохнул, на миг погрузившись в воспоминания о своей последней встрече с младшим братом. Это было четыре года назад летним вечером. Тод стоял между своими детьми Диреком и Шейлой в дверях белого дома с черными балками, увитого плющом; его загорелое лицо и синие глаза дышали удивительным покоем.

— Какой же он «бедняга»? — спросил Феликс. — Тод гораздо счастливее нас с вами. Вы только на него посмотрите.

— Эх! — вдруг вздохнул Стенли. — Помните его на похоронах отца, как он стоял без шляпы и словно витал в облаках? Красивый малый наш Тод! Жаль, что он такое дитя природы.

Феликс негромко заметил:

— Если бы ты предложил ему стать твоим компаньоном, Стенли, из него вышел бы толк.

— Тод и завод сельскохозяйственных машин? Ого!

Феликс улыбнулся. При виде этой улыбки Стенли покраснел, а Джон снова набил трубку. Обидно, если твой брат больший насмешник, чем ты сам.

— А сколько лет его детям? — резко осведомился Джон.

— Шейле — двадцать, Диреку — девятнадцать.

— По-моему, мальчик учится в сельскохозяйственном институте?

— Уже кончил.

— А какой он?

— Черноволосый, горячий паренек. Ничуть не похож на Тода.

Джон проворчал.

— Это все ее кельтская кровь. Ее отец — старый полковник Морей — был такой же; настоящий шотландский горец. А в чем там у них дело?

Ему ответил Стенли:

— С этой пропагандой еще можно мириться, пока она не затрагивает соседей; тогда ее следует прекратить. Вы ведь знаете Маллорингов, они владеют всей землей по соседству с Тодом. Ну вот, наши напали на Маллорингов за какую-то якобы несправедливость к их арендаторам, что-то касающееся их нравственности. Подробности я не знаю. Какому-то человеку отказали в аренде из-за сестры его покойной жены, а девушка с другой фермы что-то натворила. Словом, обычные деревенские происшествия. Надо объяснить Тоду, что его семья не должна ссориться со своими ближайшими соседями. Мы хорошо знакомы с Маллорингами, до них от нашего Бекета всего семь миль. Так не поступают; рано или поздно жизнь превращается в ад. А тут атмосфера и так накалена всей этой пропагандой по поводу арендаторов-батраков, «земельного вопроса» и всего прочего, достаточно искры, чтобы начались настоящие беспорядки.

И, кончив эту речь, Стенли засунул руки поглубже в карманы и забренчал лежавшей там мелочью.

Джон коротко сказал:

— Феликс, тебе надо бы съездить туда.

Феликс откинулся на спинку стула и смотрел куда-то в сторону.

— Как странно, — сказал он, — что, имея такого на редкость своеобразного брата, как Тод, мы видимся с ним раз в кои веки.

— Именно потому, что уж очень он своеобразен...

Феликс встал и без улыбки протянул руку Стенли.

— А ведь ты прав. — Обернувшись к Джону, он добавил: — Хорошо, поеду и расскажу вам, что там творится.

Когда он ушел, старшие братья помолчали, а потом Стенли сказал:

— Наш Феликс мне немножко действует на нервы!

Газеты курят ему такой фимиам, что у него совсем голова закружилась!

Джон ничего на это не возразил: как-то нехорошо возмущаться тем, что газеты хвалят твоего собственного брата. Но если бы тот сделал что-нибудь путное — открыл бы истоки Черной реки, завоевал Базутоленд, нашел средство против редкой болезни или стал епископом, — он бы первый с восторгом поздравил его; однако не может же он восторгаться тем, что делает Феликс, — этими его романчиками, критическими статьями, едкими, разрушительными сочинениями, якобы открывающими ему, Джону Фриленду, то, чего он не знал раньше, — как будто Феликс на это способен! Лучше бы писал по старинке, для души, так, чтобы можно было почитать на сон грядущий и спокойно заснуть после трудового дня! Нет! То, что Феликсу курят фимиам за его сочинения, обижало Джона до глубины души. В этом было что-то непристойное, возмущающее чувство приличия, здоровые инстинкты, наконец, традиции! И хотя он никому в этом не признавался, у него было тайное ощущение, что вся эта шумиха опасна для его собственных взглядов, которые для него, естественно, одни только и были верными.

Однако вслух он только спросил:

— Ты пообедаешь со мной, Стен?

ГЛАВА III

Если Феликс вызывал такое чувство у Джона, то сам он, когда бывал один, испытывал к себе то же чувство. Он так и не разучился считать, что привлекать к себе внимание — вульгарно. Вместе со своими тремя братьями он был пропущен через жернова благородного воспитания и получил эту ни с чем не сравнимую шлифовку, которая возможна только в английской школе. Правда, Тод был публично исключен в конце третьего триместра за то, что влез на крышу к директору и заткнул два его дымохода футбольными трусиками, с которых забыл спороть свою метку. Феликс до сих пор помнил торжественную церемонию — пугающую, напряженную тишину и зловещие слова: «Фриленд-младший!»;

бедняжку Тода, возникшего из темноты верхних рядов актового зала и медленно спускающегося по бесчисленным ступеням. Каким он был маленьким, розовощеким! Его золотистые волосы топорщились, а голубые глазенки пристально смотрели из-под нахмуренного лба. Величественная длань держала вымазанные сажей трусики, и торжественный глас пророкотал: «Это, видимо, ваше имущество, Фриленд-младший? Это вы столь любезно положили ваши вещи в мой дымоход?» И тоненький голосок пропищал в ответ: «Да, сэр».

— Могу я осведомиться, зачем вы это сделали, Фриленд-младший?

— Сам не знаю, сэр.

— Но были же у вас какие-то соображения, Фриленд-младший?

— У нас конец триместра, сэр.

— Ах, вот что! Вам не стоит больше сюда возвращаться, Фриленд-младший. Вы слишком опасны и для себя и для других. Ступайте на место.

И бедный маленький Тод отправился в обратный путь, карабкаясь по бесконечным ступеням; щеки его горели пуще прежнего, голубые глазенки сверкали еще ярче из-под еще тревожнее нахмуренного лба; маленький рот был твердо сжат, а сопел он так громко, что его было слышно за шесть скамей. Правда, новый директор школы был очень рассержен другими проделками, виновники которых не забывали спарывать свои метки, но все же ему не хватало чувства юмора, ах, до чего же ему не хватало чувства юмора! Будто Тод не доказал своим поступком, какой он превосходный малый! И по сей день Феликс с наслаждением вспоминал тихое шиканье, которое по его почину пошло по залу; его прервал окрик учителя, но оно вспыхивало то там, то сям, как беглые язычки пламени, когда пожар уже гаснет. Исключение из школы спасло Тода. А может, наоборот, его погубило? Что вернее? Один бог знает,— Феликс не мог этого решить. Сам пройдя пятнадцатилетнюю «шлифовку» своего образа мыслей, а потом потратив еще пятнадцать лет на то, чтобы ее преодолеть, он в конце концов начал думать, что в таком воспитании есть свой смысл. Философия, которая принимает все, в том числе и самое себя, как должное, и не допускает никаких сомнений,

очень успокаивает издерганные нервы человека, вечно занятого анализом внутренней жизни как своей, так и других людей. Но Тод, которого после его исключения из школы, само собой разумеется, послали учиться в Германию, а потом заставили заниматься сельским хозяйством, так никогда и не подвергся «шлифовке» и не был вынужден стирать ее с себя; и все же он был самым умиротворенным человеком, какого можно себе представить.

Феликс вышел из метро в Хемпстеде и пошел домой; вечернее небо над ним было на редкость странным. Между соснами на вершине холма оно казалось тусклым, как розоватый опал, а вокруг — пронзительно-лиловым; на нем горели молодая зелень ветвей и белые звезды цветущих деревьев. Весна до сих пор тянулась уныло и прозаично; сегодня же к вечеру она вся превратилась в пламень и готовые бурно излиться потоки; Феликса поразило это насыщенное страстью небо.

Он едва дошел до дому, как небо разверзлось и оттуда хлынул ливень.

Старый дом позади Спаньярдс-роуд, если не считать мышей и легкого запаха трухлявого дерева в двух его комнатах, радовал своего хозяина. Феликс часто стоял у себя в прихожей, в кабинете, в спальне и в других комнатах, наслаждаясь изысканностью и простотой их атмосферы, восхищаясь редким изяществом и нарочитой небрежностью тканей, цветов, книг, мебели и фарфора. Но внезапно что-то в нем возмущалось: «Господи, неужели все это мое, ведь мой идеал — вода и хлеб, а в праздники кусочек сыру?» Правда, красота этой обстановки — не его вина, а дело рук Флоры, однако ему приходится жить среди этих вещей, с чем не так-то легко примириться истинному эпикурейцу. Хорошо еще, что дело ограничилось хотя бы этим, — если у Флоры и была страсть коллекционировать вещи, она не слишком давала себе волю, и хотя собранные ею вещи стоили немало денег, вид у них был такой, будто они достались по наследству, а кто же не знает, что нам, хочешь не хочешь, приходится терпеть «родовые реликвии», будь то титул или судок для приправ?

Собирать старинные вещи и писать стихи — это было ее призвание, и он бы не хотел для своей жены никакого другого. А ведь она могла бы, как жена Стенли—Кла-

ра, посвятить себя культу богатства и положения в обществе, или рано кончить свою жизнь, как жена Джона — Энн, или даже как жена Тода — Кэрстин — видеть свое призвание в бунтарстве. Нет, жена, у которой было двое, всего двое детей, вызывавших в ней любовное недоумение, которая никогда не выходила из себя, никогда не суежилась, умела оценить достоинства книги или спектакля, а в случае необходимости и постричь вас; жена, у которой никогда не потели ладони и еще не расплылась фигура, жена, которая писала довольно сносные стихи и, самое главное, не желала для себя лучшей участи — на такую жену нечего фыркать. И Феликс всегда это понимал. Он описал в своих книгах столько фыркающих мужей и жен, что умел ценить счастливый брак больше, чем любой другой англичанин. Не раз разбивая чужую семейную жизнь на всевозможных рифах и скалах, он тем больше почитал свою собственную, которая началась еще в молодости и, по всей видимости, кончится в глубокой старости; и была прожита рука об руку, скрепляемая нередко и поцелуями.

Повесив свой серый цилиндр, Феликс отправился искать жену. Он нашел ее в своей туалетной, окруженную маленькими бутылочками, которые она рассеянно осматривала, а потом одну за другой отправляла в «родовую» корзинку для бумаги. Не без удовольствия понаблюдав за ней несколько минут, он спросил:

— Ну как, дорогая?

Заметив его и продолжая свое занятие, она объяснила:

— Я решила, что пора за них взяться — это подарки милой мамы.

Они лежали перед ней — флакончики и склянки, наполненные бурой или светлой жидкостью, белым, голубым или коричневым порошком, зеленой, коричневой или желтой мазью; черные лепешки, рыжие пластыри; голубые, розовые и лиловые пилюли. Все они были аккуратно заткнуты пробками и снабжены аккуратными ярлычками.

И он сказал чуть-чуть дрогнувшим голосом:

— Дорогая мама! Ну до чего же она щедро все раздает! Неужели нам ничего из этого не пригодилось?

— Ничего. А их надо выбросить, пока они не испортились, не то еще примешь что-нибудь по ошибке.

— Бедная мама!

— Дорогой мой, она, несомненно, уже нашла какие-нибудь новые средства.

Феликс вздохнул.

— Вечная жажда перемен! Она есть и у меня.

И он мысленно увидел лицо матери, словно выточенное из слоновой кости, которое она одной силой воли уберегала от морщин; ее твердый подбородок, прямой и чуть длинный нос, правильный росчерк бровей; глаза, видевшие все так быстро и так разборчиво; крепко сжатые губы, умевшие нежно улыбаться и принимать все, что посылает судьба, с трогательной решимостью; тонкие кружева — порою черные, порою белые — на ее седых волосах; руки, такие теперь худые и всегда подвижные, словно за все ее старания не оскорблять ничьих глаз зрелищем лица, изуродованного старостью, мстило беспокойство этих рук, которое она не могла унять; ее фигуру, низенькую, хотя она и казалась скорее высокой, всегда одетую в черное или серое; все еще быстрые движения и еще не утраченную живость. Перед ним сразу возник образ взыскательной, утонченной, беспокойной души, которая на земле звалась Фрэнсис Флиминг Фриленд, души, противоречиво сотканной из властности и смирения, терпимости и цинизма; точной и не способной ничего приукрашивать, как пески пустыни, щедрой до того, что вся ее семья приходила в отчаяние, и прежде всего мужественной.

Флора выбросила последний флакон и, усевшись на край ванны, чуть-чуть вздернула брови. Как выгодно отличает ее от других жен это умение смотреть на все объективно и с юмором!

— Это ты жаждешь перемен? В чем же?

— Мама непрерывно переезжает с места на место, переходит от одного человека к другому, от одного предмета к другому. Я постоянно перехожу от одного мотива к другому, от одной человеческой психики к другой; родной для меня воздух, как и для нее, — воздух пустыни, поэтому так бесплодно мое творчество.

Флора поднялась, но брови ее опустились на место.

— Твое творчество не бесплодно, — заявила она.

— Ты, дорогая моя, пристрастна.— И, заметив, что она собирается его поцеловать, он не почувствовал никакой досады, ибо эта женщина сорока двух лет, у которой было двое детей и три книжки стихов (причем трудно сказать, что ей далось легче), с серовато-кариими глазами, волнистым изломом бровей, более темных, чем следовало бы, и красноватыми отблесками в волосах, с волнистыми линиями фигуры и губ, с необычной, слегка насмешливой ленцой, необычной, слегка насмешливой сердечностью, была женой, какую только можно себе пожелать.

— Мне надо съездить повидаться с Тодом,— сказал он.— Мне нравится его жена, но у нее нет чувства юмора. Насколько убеждения лучше в теории, чем на практике!

Флора тихонько сказала, будто себе самой:

— Хорошо, что у меня их нет...

Она стояла у окна, опершись на подоконник, и Феликс встал рядом с ней. Воздух был напоен запахом влажной листвы, звенел от пения птиц, славивших небеса. Вдруг он почувствовал ее руку у себя на спине: не то рука, не то спина — ему трудно было сейчас сказать, что именно,— показалась ему удивительно мягкой...

Феликса и его молоденькую дочь Недду связывало чувство, в котором, если не считать материнской любви, больше всего постоянства, ибо оно основано на взаимном восхищении. Правда, Феликс никогда не мог понять, что в нем может нравиться сияющей наивностью Недде,— он ведь не знал, что она читает его книги и даже разбирает их в своем дневнике, который аккуратно ведет в те часы, когда ей положено спать. Поэтому он и не подозревал, какую лицу дают его изложенные на бумаге мысли для тех бесконечных вопросов, которые она задавала себе, для жажды узнать, почему это так, а это не так. Почему, например, у нее иногда так ноет сердце, а иногда на душе так весело и легко? Почему люди, которые говорят и пишут о боге, делают вид, будто точно знают, что он такое, а вот она не имеет об этом понятия? Почему люди должны страдать и жизнь безжалостна к неисчислимым миллионам человеческих существ? Почему нельзя любить больше, чем одного мужчину сразу? Почему... Тысячи «почему». Книги Феликса не отвечали на все эти вопросы, но они как-то успокаива-

вали, ибо она нуждалась пока не столько в ответах, сколько во все новых и новых вопросах, как птенец, который все время разевает рот, не сознавая толком, что туда входит и оттуда выходит. Когда они с отцом гуляли, сидели, беседуя, или ходили на концерты, разговоры их не бывали очень откровенными или многословными; они не открывали друг другу душу. Однако оба они твердо знали, что им вдвоем не скучно, а это не шутка! И то и дело держали друг друга за мизинец, отчего на душе у них становилось теплее. А вот со своим сыном Аланом Феликс постоянно чувствовал, что ему нельзя оплошать, а он непременно оплошает; ему чудилось, как в привычном кошмаре, что он пытается сдать экзамен, к которому ничего не выучил, короче говоря, что он обязан всеми силами вести себя достойно отца Алана Фриленда. Общество же Недды его освежало, он испытывал радость, как в майский день, когда смотришь в прозрачный ручей, на цветущий луг или на полет птиц. Но что чувствовала Недда, когда бывала с отцом? Она словно долго гладила что-то очень мягкое, отчего чуточку щекотало кончики пальцев, а когда читала его книги, то ей казалось, будто ее время от времени щекочут, нежно поглаживая, когда она этого меньше всего ожидает.

В этот вечер, после ужина, когда Алан куда-то ушел, а Флора задремала, Недда примостилась возле отца, поймала его мизинец и зашептала:

— Пойдем в сад, папочка, я надену галоши. Сегодня такая чудная луна!

Луна за соснами и в самом деле была бледно-золотистая; ее свечение, словно дождь золотой пыли, словно крылья мотыльков, едва касалось тростника в их маленьком темном пруду и цветущих кустов смородины. А молодые липы, еще не совсем одетые листвой, восторженно вздрагивали от этого лунного колдовства, роняя с нежным шелестом последние капли весеннего ливня. В саду чудилось присутствие божества, затаившего дыхание при виде того, как наливается соками его собственная юность, как она зреет и, дрожа, тянется к совершенству. Где-то прерывисто чирикала птичка (наверно, решили они, дрозд, в чьей маленькой головке день спутался с ночью). Феликс с дочерью, держась за руки, шли по темным, мокрым дорожкам и больше молчали. У него,

чуткого к природе, было гордое чувство, что об руку с ним идет сама весна, доверившая ему свои тайны в этот полный шелеста и шепота час. Да и в Недде бродила невыразимая юность этой ночи, недаром она была молчалива. Но вот, сами не зная почему, оба они замерли. Вокруг стояла тишина, лишь где-то далеко пролаяла собака, еле слышно шуршали дождевые капли да едва доносился гул миллионного голоса города. Как было тихо, покойно и свежо! Недда сказала:

— Папа, я так хочу все изведать!

Это великолепно самоуверенное желание не вызвало у Феликса улыбки, оно показалось ему бесконечно трогательным. Разве юность могла стремиться к чему-либо меньшему, стоя в самом сердце весны?.. И, глядя на ее лицо, поднятое к ночному небу, на полураскрытые губы и лунный луч, дрожавший на ее белой шее, он ответил:

— Все придет в свое время, моя радость!

Подумать, что и для нее наступит конец, как и для всех других, и она так и не успеет изведать почти ничего, открыв разве только себя да частицу бога в своей душе! Но ей он, конечно, не мог этого сказать.

— Я хочу чувствовать. Неужели еще не пора?

Сколько миллионов молодых существ во всем мире посылают к звездам эту молитву, которая кружит и несет ввысь, чтобы потом упасть на землю! Ему было нечего ответить.

— Еще успеешь, Недда.

— Но, папа, на свете столько всего, столько людей, причин, столько... жизни, а я ничего не знаю. И если что-нибудь и узнаешь, то, по-моему, только во сне.

— Ну что до этого, дитя мое, то я ничем от тебя не отличаюсь. Как же помочь таким, как мы с тобой?

Она снова взяла его под руку.

— Не смейся надо мной!

— Избави бог! Я говорю серьезно. Ты узнаешь жизнь гораздо быстрее меня. Для тебя она — все еще народная песня; для меня — уже Штраус и тому подобная пресыщенная музыка. Вариации, которые разыгрываются у меня в мозгу... Да разве я не променял бы их на те мелодии, которые звучат в твоем сердце?..

— У меня не звучит ничего. Мне, видно, не из чего

создавать эти мелодии. Возьми меня с собой к Тодам, папа!

— А почему бы и нет? Хотя...

В этой весенней ночи — Феликс это чувствовал — что-то крылось; оно лежало за этой тихой, лунной тьмой, затаив дух, полное настороженного ожидания; вот так и в невинной просьбе дочери ему почудилось что-то сулившее роковые перемены. Какая чепуха! И он ей сказал:

— Пожалуйста, если хочешь. Дядя Тод тебе понравится, остальные — не знаю, но твоя тетя для тебя будет чем-то совсем новым, а ты ведь, кажется, ищешь новизны.

Недда стиснула его руку молча, с жаром.

ГЛАВА IV

Бекет — загородная усадьба Стенли Фриленда — был почти образцовым имением. Дом стоял посреди парка и лугов, а до городка Треншем и Муртоновского завода сельскохозяйственных машин было всего две мили. Когда-то тут находилось родовое гнездо Моретонов — предков его матери, — сожженное солдатами Кромвеля. Место, где некогда стоял этот дом, еще хранившее следы прежних строений, миссис Стенли приказала обнести стеной и увековечить каменным медальоном, на котором был выбит старинный герб Моретонов: симметрично расположенные стрелы и полумесяцы. Кроме того, там поселили и павлинов, благо они тоже были изображены на гербе, птицы пронзительно кричали, словно пыльные души, обреченные на слишком благополучную жизнь.

По капризу природы — а их у нее немало — Стенли, владевший родовыми землями Моретонов, был меньше всех братьев Фрилендов похож на своих предков по материнской линии и душой и телом. Вот почему он нажил больше денег, чем остальные трое, вместе взятые, и сумел при помощи Клары, с ее бесспорным даром завоевывать положение в обществе, вернуть роду Моретонов его законное место среди дворянства Вустершира. Грубоватый и лишенный всякой сентиментальности, сам

он мало этим дорожил, но, будучи человеком незлым и практичным, только посмеивался в кулак, глядя на свою жену, урожденную Томсон. Стенли не был способен понять своеобразную прелесть Моретонов, которые, несмотря на узость и наивность, обладали и своим благородством. Для него еще живые Моретоны были «никому не нужным сухостоем». Они действительно принадлежали к уже вымершей породе людей, ибо со времен Вильгельма Завоевателя были простыми помещиками, чей род не насчитывал ни одного сколько-нибудь выдающегося представителя, если не считать некоего королевского лекаря, который умер, не оставив потомства. Из поколения в поколение они женились на дочерях таких же помещиков и жили просто, благочестиво и патриархально. Они никогда не занимались коммерцией, никогда не богатели, оберегая свои традиции и достоинство куда более тщательно, чем так называемая аристократия. Отеческое отношение к людям зависимым было у них в крови, как и уверенность, что люди зависимые да и все «недворяне» сделаны из другого теста, поэтому они были лишены всякой надменности, и по сей день в них сохранилось что-то от глухой старины — от времен лучников, домашних настоек, сушеной лаванды и почтения к духовенству. Они часто употребляли слово «прилично», обладали правильными чертами лица и чуть-чуть пергаментной кожей. Естественно, что все они до одного — и мужчины и женщины — принадлежали к англиканской церкви, а благодаря врожденному отсутствию собственных взглядов и врожденному убеждению, что всякая другая политика «неприлична», были консерваторами; но при этом они были очень внимательны к другим, умели мужественно переносить свои несчастья и не страдали ни жадностью, ни расточительностью. Бекета в нынешнем его виде они отнюдь не одобрили бы.

Теперь уже никто не узнает, почему Эдмунд Моретон (дед матери Стенли) в середине XVIII века вдруг изменил принципам и идеалам своей семьи и принял «не вполне приличное» решение делать плуги и наживать деньги. Но дело обстояло именно так, доказательством чего служил завод сельскохозяйственных машин. Будучи, очевидно, человеком, наделенным отнюдь не «родовой» энергией и характером, Эдмунд выбросил из своей фа-

милли буквы «е» и хотя во имя семейных традиций женился на девице Флиминг из Вустершира, по-отечески пекся о своих рабочих, назывался сквайром и воспитывал детей в духе старинных моретоновских «приличий», но все же сумел сделать свои плуги знаменитыми, основать небольшой городок и умереть в возрасте шестидесяти шести лет все еще красивым и чисто выбритым мужчиной. Из его четырех сыновей только двое были настолько лишены родового «е», что продолжали делать плуги. Дед Стенли, Стюарт Мортон, старался изо всех сил, но в конце концов поддался врожденному инстинкту жить, как подобает Моретону. Он был человеком чрезвычайно милым и любил путешествовать вместе со своей семьей; когда он умер во Франции, у него осталась дочь Фрэнсис (мать Стенли) и трое сыновей; один из них был помешан на лошадях, оказался в Новой Зеландии и погиб, упав с лошади; второй — военный, оказался в Индии и погиб там в объятиях удава; третий попал в объятия католической церкви.

Мортоновский завод сельскохозяйственных машин захирел и был в полном упадке, когда отец Стенли, желая позаботиться о будущем сына, поручил ему семейное предприятие, снабдив его необходимым капиталом. С тех пор дела завода пошли в гору, и теперь он приносил Стенли, своему единственному владельцу, годовой доход в пятнадцать тысяч фунтов. И эти деньги были ему нужны, ибо жена его Клара отличалась тем честолюбием, которое не раз обеспечивало его обладательницам видное положение в обществе, где на них сперва смотрели сверху вниз, — а попутно отнимало у земледелия много гектаров пахотной земли. Во всем Бекете не применялось ни единого плуга, даже мортоновского (впрочем, эти последние считались непригодными для английской земли и вывозились за границу). Успех Стенли зиждился на том, что он сразу понял цену болтовни о возрождении сельского хозяйства в Англии и усердно искал иностранные рынки. Вот почему столовая Бекета без особого труда вмещала целую толпу местных магнатов и лондонских знаменитостей, хором оплакивавших «положение с землей» и сетовавших, не умолкая, на жалкую участь английского земледельца. Если исключить нескольких писателей и художников, которыми старались

разбавить однородную массу гостей, Бекет стал местом сбора борцов за земельную реформу, тут их по субботам и воскресеньям ждал радушный прием, а также приятные и интересные беседы о безусловной необходимости что-то предпринять и о кознях, замышляемых обеими политическими партиями против землевладельцев. Земли, лежавшие в самом сердце Англии и встарь благоговейно возделывавшиеся Моретонами, которым сочные травы и волнистые нивы давали простое, но совсем не скудное пропитание,— и не только им самим, но и многим вокруг,— теперь превратились в газоны, парк, охотничьи угодья, поле для игры в гольф и то количество травы, которое требовалось коровам, круглый год поставлявшим молоко для приглашенных и детей Клары,— все ее отпрыски были девочки, кроме младшего, Фрэнсиса, и еще не вышли из самого юного возраста. Не меньше двадцати слуг — садовники, егеря, скотники, шоферы, лакеи и конюхи — тоже кормились с тех полутора тысяч акров, из которых состояло небольшое поместье Бекет. Настоящих земледельцев, то бишь обиженных селян, о которых столько здесь говорили, якобы не желавших жить «на земле» (хотя для них с трудом находился кров, когда они изъявляли такое желание), к счастью, не было ни одного, и поэтому Стенли, чья жена настаивала на том, чтобы он выставил свою кандидатуру от их округа, и его гости (многие из них заседали в парламенте) могли придерживаться, живя в Бекете, вполне объективных взглядов на земельный вопрос.

К тому же места эти были очень красивые — просторные, светлые луга были окаймлены громадными вязами, травы и деревья дышали безмятежным покоем. Белый дом с темными бревнами, как принято строить в Вустершире (к нему время от времени что-нибудь пристраивалось), сохранил благодаря хорошему архитектору старомодную величавость и по-прежнему господствовал над своими цветниками и лужайками. На большом искусственном озере с бесчисленными заросшими тростником заливчиками, с водяными лилиями и лежащей на воде листвой, пронизанной солнцем, привольно жили в своем укромном мирке довольно ручные утки и робкие водяные курочки; когда весь Бекет отходил ко сну, они

летали и плескались, и казалось, будто дух человеческий со всеми своими проделками и искрой божественного огня еще не возник на земле.

В тени бука, там, где подъездная аллея вливалась в круг перед домом, на складном стуле сидела старая дама. На ней было легкое платье из серого альпака, темные с проседью волосы закрывала черная кружевная наколка. На коленях у нее лежали номер журнала «Дом и очаг» и маленькие ножницы, подвешенные на недорогой цепочке к поясу, — она собиралась вырезать для дорогого Феликса рецепт, как предохранить голову от перегрева в жару, но почему-то этого не сделала и сидела, совсем не двигаясь. Только время от времени сжимались тонкие бледные губы и беспрерывно шевелились тонкие бледные руки. Она, видимо, ждала чего-то, сулившего ей приятную неожиданность и даже удовольствие: на пергаментные щеки лег розовый лепесток румянца, а широко расставленные серые глаза под правильными и еще темными бровями, между которыми не было и намека на морщины, продолжали почти бессознательно замечать всякие мелочи, совсем как глаза араба или индейца продолжают видеть все, что творится кругом, даже когда мысли их обращены в будущее. Вот так Фрэнсис Флиминг Фриленд (урожденная Мортон) поджидала своего сына Феликса и внуков Алана и Недду.

Вскоре она заметила старика, который брел, прихрамывая и опираясь на палочку, туда, где аллея выходила на открытое место, и сразу же подумала: «Зачем он сюда идет? Наверно, не знает дороги к черному ходу. Бедняга, он совсем хромой. Но вид у него приличный».

Она встала и пошла к нему; его лицо с аккуратными седыми усами было на редкость правильным, почти как у джентльмена; он дотронулся до запыленной шляпы со старомодной учтивостью. Улыбаясь — улыбка у нее была добрая, но чуть-чуть неодобрительная, — она сказала:

— Вам лучше всего вернуться вон на ту дорожку и пройти мимо парников. Вы ушибли ногу?

— Нога у меня, сударыня, повреждена вот уже скоро пятнадцать лет.

— Как же это случилось?

— Задел плугом. Прямо по кости, а теперь, говорят, мышцы вроде как высохли.

— А чем вы ее лечите? Самое лучшее средство — вот это.

Из глубин своего кармана, пришитого там, где никто карманов не носит, она вытащила баночку.

— Позвольте я вам ее дам. Намажьте перед сном и хорошенько вотрите! Увидите, это прекрасно помогает.

Старик, поколебавшись, почтительно взял баночку.

— Хорошо, сударыня. Спасибо, сударыня.

— Как вас зовут?

— Гонт.

— А где вы живете?

— Возле Джойфилдса, сударыня.

— А-а, Джойфилдс! Там живет другой мой сын, мистер Мортон Фриленд. Но туда семь миль!

— Полдороги меня подвезли.

— У вас тут есть какое-нибудь дело?

Старик молчал. Унылое, несколько скептическое выражение его морщинистого лица стало еще более унылым и скептическим. Фрэнсис Фриленд подумала: «Он страшно устал. Надо, чтобы его напоили чаем и сварили ему яйцо. Но зачем он так далеко шел? Он не похож на нищего».

Старик, который не был похож на нищего, вдруг произнес:

— Я знаю в Джойфилдсе мистера Фриленда. Очень добрый джентльмен.

— Да. Странно, почему я не знаю вас?

— Я мало выхожу из-за ноги. Внучка моя тут у вас в услужении, вот я к ней и пришел.

— Ах, вот оно что! Как ее зовут?

— Гонт.

— Я тут никого не знаю по фамилии.

— Ее зовут Алисой.

— А-а, на кухне,— милая, хорошенькая девушка. Надеюсь, у вас не случилось какой-нибудь беды?

Снова старик сперва ничего не ответил, а потом вдруг прервал молчание:

— Да как на это посмотреть, сударыня... Мне надо с ней перемолвиться парочкой слов по семейному делу. Отец ее не смог прийти, вместо него пришел я.

— А как же вы доберетесь назад?

— Да, видно, придется пешком, разве что меня подвезут на какой-нибудь повозке.

Фрэнсис Фриленд строго поджала губы.

— С такой больной ногой надо было сесть на поезд. Старик улыбнулся.

— Да разве у меня есть деньги на дорогу?— сказал он.— Я ведь получаю пособия всего пять шиллингов в неделю и два из них отдаю сыну.

Фрэнсис Фриленд снова сунула руку в тот же глубокий карман и тут заметила, что левый башмак у старика не зашнурован, а на куртке недостает двух пуговиц. В уме она быстро прикинула:

«До следующего получения денег из банка осталось почти два месяца. Я, конечно, не могу себе этого позволить, но я должна дать ему золотой».

Она вынула руку из кармана и пристально поглядела на нос старика. Нос был точеный и такой же бледно-желтый, как и все лицо.

«Нос приличный, не похож на нос пьяницы»,— подумала она. В руке у нее были кошелек и шнурок. Она вынула золотой.

— Я вам его дам, если вы пообещаете не истратить его в трактире. А вот вам шнурок для башмака. Назад поезжайте поездом. И скажите, чтобы вам пришили пуговицы. А кухарке от меня, пожалуйста, передайте, чтобы она напоила вас чаем и сварила вам яйцо.— Заметив, что он взял золотой и шнурок очень почтительно и вообще выглядел человеком достойным, не грубияном и не пропойцей, она добавила:— До свидания. Не забудьте каждый вечер и каждое утро как следует втирать мазь, которую я вам дала.

Потом она вернулась к своему стулу, села, взяла в руки ножницы, но опять забыла вырезать из журнала рецепт и сидела, как прежде, замечая все до последней мелочи и думая не без внутреннего трепета о том, что дорогие ее Феликс, Алан и Недда скоро будут тут; на ее щеках снова проступил легкий румянец, ее губы и руки снова задвигались, выражая и в то же время стараясь скрыть то, что творится у нее на сердце. А оттуда, где некогда стоял дом Моретонов, за ее спиной появился павлин, резко закричал и медленно прошество-

вал, распустив хвост, под низкими ветками буков, словно понимая, что эти горящие темной бронзой листья прекрасно оттеняют его геральдическое великолепие.

ГЛАВА V

На следующий день после семейного совета у Джона Феликс получил следующее послание:

«Дорогой Феликс!

Когда ты поедешь навестить старину Тода, почему бы тебе не остановиться у нас в Бекете? Приезжай в любое время, и автомобиль доставит тебя в Джойфилдс, когда ты захочешь. Дай отдохнуть своему перу. Клара тоже надеется, что ты приедешь, и мама еще у нас. Полагаю, что Флору звать бесполезно.

Как всегда, любящий тебя
Стенли».

Все двадцать лет, которые брат его прожил в Бекете, Феликс посещал его не чаще раза в год и последнее время ездил туда один. Флора погостила там несколько раз вместе с ним, а потом наотрез отказалась.

— Дорогой мой,—заявила она,—там уж слишком заботятся о нашей брэнной плоти.

Феликс пробовал с ней спорить:

— Изредка это не так уж плохо.

Но Флора стояла на своем. Жизнь так коротка! Она недолюбливала Клару. Да Феликс и сам не очень-то приятно чувствовал себя в обществе невестки; но инстинкт, вынуждавший его надевать серый цилиндр, заставлял его ездить в Бекет: надо же поддерживать отношения с братьями!

Он ответил Стенли:

«Дорогой Стенли!

С радостью приеду, если мне разрешат взять с собой мою молодежь. Будем завтра без десяти пять.

Любящий тебя
Феликс».

Ездить с Неддой всегда было весело: наблюдаешь, как глаза ее замечают все вокруг, о чем-то спрашивают, а порой чувствуешь, как мизинец ее зацепился за твой и легонько его пожимает... Ездить с Аланом было удобно: этот молодой человек умел устраиваться в пути так хорошо, как отцу и не снилось. Дети никогда не бывали в Бекете, и хотя Алан почти никогда ничем не интересовался, а Недда так горячо интересовалась всем, что вряд ли на этот раз почувствует особое любопытство, тем не менее Феликс предвидел, что поездка с ними будет занимательной.

Приехав в Треншем—небольшой городок на холме, выросший вокруг Мортоновского завода сельскохозяйственных машин,—они тут же сели в автомобиль Стенли и ринулись в сонную тишь вустерширского предвечернего часа. Интересно, повторит ли пичужка, пристроившаяся у его плеча, приговор Флоры: «Тут слишком заботятся о нашей брэнной плоти»,—или же почувствует себя в этой сытой роскоши, как рыба в воде? Он спросил:

— Кстати, в субботу приезжают «шишки» вашей тетушки. Хотите поглядеть на кормление львов или нам лучше вовремя убраться восвояси?

Как он и ожидал, Алан ответил:

— Если у них есть где поиграть в гольф, то, пожалуйста, можно потерпеть.

Недда спросила:

— А что это за «шишки», папочка?

— Таких ты, милочка, еще не видела.

— Тогда мне хочется остаться. Только как быть с платьями?

— А какая у тебя с собой амуниция?

— Всего два вечерних, белых. И мама дала мне свой шарф из брабантских кружев.

— Сойдет!

Феликсу Недда в белом вечернем платье казалась лучистой, как звезда, и самой привлекательной девушкой на свете.

— Только, папа, пожалуйста, расскажи мне о них заранее.

— Непременно, милочка. И да спасет тебя бог. Смотрите, вот начинается Бекет.

Автомобиль свернул на длинную подъездную аллею, обсаженную деревьями, еще молодыми, но настолько парадными, что они выглядели старше своих двадцати лет. Справа, на могучих вязах, суматошно кричали грачи: жены всех трех егерей только что испекли свои ежегодные пироги с начинкой из грачей, и птицы еще не успели от этого опомниться. Вязы росли здесь еще тогда, когда Моретоны шествовали мимо них по полям на воскресную обедню. Слева, над озером, показался обнесенный стеною холмик. При виде его у Феликса, как всегда, что-то шевельнулось в душе, и он сжал руку Недды.

— Видишь ту нелепую загородку? За ней когда-то жили бабушкины предки. Теперь уж ничего этого нет— и дом новый, и озеро новое, и деревья — все новое.

Но спокойный взгляд дочери сказал ему, что его чувство ей непонятно.

— Озеро мне нравится,—сказала она.—А вон и бабушка... Ах, какой павлин!

Каждый раз, когда Феликса с жаром обнимали слабые руки матери и к щеке прикасались ее сухие мягкие губы, в нем просыпались угрызения совести. Почему он не умеет выражать свои чувства так просто и искренне, как она? Он смотрел, как она прижимает эти губы к щеке Недды, слушал, как она говорит.

— Ах, милочка моя, как я счастлива тебя видеть! Ты знаешь, как это помогает от комариных укусов! — Рука нырнула в карман и достала оттуда обернутый в серебряную бумагу карандашик с синеватым острием. Феликс увидел, как карандашик взметнулся над лбом Недды и два раза быстро в него ткнулся.— Они тут же проходят!

— Бабушка, но это совсем не от комаров. Это натерла шляпа.

— Все равно, милочка, от него все проходит.

А Феликс подумал: «Нет, мама — изумительный человек!»

Автомобиль стоял возле дома — из него уже вынесли их вещи. Дожидался их только один слуга, но зато, безусловно, дворецкий! Войдя, они сразу почувствовали особый запах цветочной смеси, которую употребляла Клара. Этот запах струился из синего фарфора, из каждого отверстия и уголка, словно природный запах

роскоши. Да и от самой Клары, сидевшей в утренней гостиной, казалось, исходил тот же запах. Темноглазая, с быстрыми движениями, ловкая, еще миловидная, подтянутая, она превосходно умела приспособиться к вкусам своего времени и ни в чем от них не отставать. Вдобавок к этому бесценному свойству она обладала хорошим нюхом, инстинктивным светским тактом и искренней страстью делать жизнь для людей как можно более удобной; не удивительно, что слава ее как хозяйки салона росла, а ее дом ценили и те, кто любил во время субботнего отдыха чувствовать заботу о своей бременной плоти. Даже Феликс, несмотря на иронический склад ума, не решался перечить Кларе и обличать порядки Бекета,—вопрос был чересчур деликатный. Одна только Фрэнсис Фриленд (и не потому, что у нее были какие-нибудь философские воззрения на этот счет, а потому, что «неприлично, дорогая, быть такой расточительной», если дело и касается всего лишь сушеных розовых лепестков, или «чересчур украшать дом», например, вешать японские гравюры в тех местах, куда... гм...), одна она иногда делала замечания невестке, хотя это и не производило на ту ни малейшего впечатления, ибо Клара не была впечатлительной, и к тому же, как она говорила Стенли, это ведь «всего только мама».

Когда они выпили особого китайского чаю, который был последним криком моды, но никому, по правде говоря, не нравился, в интимной утренней, или малой, гостиной — парадные гостиные были слишком велики и недостаточно уютны, чтобы сидеть там в будни,—они пошли поздороваться с детьми, которые все представляли собой некую смесь Стенли и Клары (за исключением маленького Фрэнсиса — у него не так явно преобладала «бременная плоть»). Потом Клара проводила их в отведенные им комнаты. Она любезно задержалась в комнате у Недды, подозревая, что девочка еще не чувствует себя тут как дома, заглянула в мыльницу — положено ли туда хорошее мыло с запахом вербены, взглянула на туалетный стол — есть ли там шпильки, духи и достаточное количество цветочной смеси, и подумала: «Девочка прехорошенькая и милая — не то, что ее мать». Подробно объяснив, почему ее поместили ввиду субботнего съезда гостей в «такую скромную комнату», откуда ей придется

перейти коридор, чтобы попасть в ванную, Клара спросила, есть ли у племянницы стеганый халат, и, услышав отрицательный ответ, вышла, пообещав прислать ей это необходимое одеяние; может ли она сама застегнуть платье, или прислать ей Сиррет?

Девушка осталась одна посреди комнаты — в такой «скромной» спальне она очутилась впервые. В ней стоял нежный аромат розовых лепестков и вербены, пол был устлан обюссонским ковром, кровать покрыта стеганым одеялом из белого шелка, все это дополняли кушетка с множеством подушек, изящные занавески и никелированный ящичек для сухариков на столике с гнутыми ножками. Недда постояла, наморщив нос, вдохнула запах, потянулась и мысленно решила: «Очень мило, но только слишком сильно пахнет!» Потом она принялась рассматривать картины, одну за другой. Они отлично подходили к комнате, но Недде вдруг захотелось домой. Это просто смешно! Однако если бы она знала, где находится комната отца, она тут же побежала бы к нему; но все эти лестницы и коридоры перепутались в ее голове, даже дорогу назад, в прихожую, она нашла бы лишь с трудом.

Вошла горничная и принесла голубой шелковый халат, очень теплый и мягкий. Может она чем-нибудь помочь мисс Фриленд? Нет, спасибо, ничем, но не знает ли она, где комната мистера Фриленда?

— Какого мистера Фриленда, мисс: старого или молодого?

— Конечно, старого! — Сказав это, Недда огорчилась: отец ее совсем не стар.

— Не знаю, мисс, но сейчас спрошу. Наверно, в каштановом флигеле.

Испугавшись, что своим вопросом она заставит людей бегать по множеству флигелей, Недда пробормотала:

— Спасибо, не надо... Это не так важно...

Она уселась в кресло и стала глядеть в окно, стараясь рассмотреть все до дальней гряды холмов, окутанных синеватой дымкой теплого летнего вечера. Это, должно быть, Молверн, а там, еще дальше к югу, живут «Тоды». Джойфилдс — красивое название! Да и края здесь красивые — зеленые и безмятежные, с белыми домиками, которые так чудно оттеняются темными бревна-

ми. Наверно, люди в этих белых домиках счастливы, им хорошо и покойно здесь, как звездам или птицам; не то, что в Лондоне, где толпы теснятся на улицах, в магазинах и на Хемпстед-Хит, не то, что вечно недовольным жителям предместий, которые тянутся на много миль, туда, где Лондону давно бы пора было кончиться; не то, что тысячам и тысячам бедняков в Бетнал-Грин, где она бывала с матерью, членом общества помощи обитателям трущоб. Да, местный люд, наверно, очень счастлив. Но есть ли тут он, этот местный люд? Она его что-то не видела. Справа под ее окном начинался фруктовый сад: для многих деревьев весна уже миновала, но яблони только зацвели, и низкие солнечные лучи, пробившиеся сквозь ветви дальних вязов, косо легли на их розовую кипень, кропя ее, как подумалось Недде, каплями света. И как красиво звучало пение дроздов в этой тишине! До чего же хорошо быть птицей, летать, куда вздумается, и видеть с вышины все, что творится на свете; а потом скользнуть вниз по солнечному лучу, напиться росы, сесть на самую верхушку огромного дерева; пробежаться по высокой траве так, чтобы тебя не было видно; снести ровненькое голубовато-зеленое яичко или жемчужно-серое в крапинку; всегда носить один наряд и все равно оставаться красивой! Ведь, право же, душа вселенной живет в птицах и в летучих облаках, и в цветах и деревьях, которые всегда ароматны, всегда прекрасны и всегда довольны своей судьбой. Почему же ее томит беспокойство, почему ей хочется того, что ей не дано, — чувствовать, знать, любить и быть любимой? И при этой мысли, которая так неожиданно к ней пришла и еще никогда так ясно не была ею осознана, Недда положила локти на оконную раму и подперла ладонями подбородок. Любовь! Это значит человек, с которым можно всем поделиться, кому и ради кого можно все отдать, кого она может оберегать и утешать, человек, который принесет ей душевный мир. Мир... отдых — от чего? Ах, этого она сама не понимала! Любовь! А какая же она будет, эта любовь? Вот ее любит отец и она любит его. Она любит мать, да и Алан, в общем, к ней хорошо относится, но все это не то. Но что же такое любовь и где она, когда придет, разбудит ее и убаюкает поцелуем? Приди, наполни мою жизнь теплом и светом, прохладой, солнцем

и мглой этого прекрасного майского вечера, напои сердце до отказа пением этих птиц и мягким светом, согревающим цветы яблони! Недда вздохнула. И тут — внимание молодости всегда непостоянно, как мотылек, — взгляд ее привлекла худая фигура с высоко поднятыми плечами; она, хромая и опираясь на палку, удалялась от дома по тропинке среди яблонь. Затем человек этот неуверенно остановился, словно не зная дороги. Недда подумала: «Бедный старик! Как он хромает!» Она увидела, как он сгорбился, думая, что его не видно за деревьями, и вынул из кармана что-то маленькое. Он долго рассматривал этот предмет, потер его о рукав и спрятал обратно. Что это было, Недда издали не видела. Потом, опустив руку, он начал разминать и растирать лодыжку. Глаза его, казалось, были закрыты. Он постоял неподвижно, как каменный, а потом медленно захромал прочь, пока не скрылся из виду. Отойдя от окна, Недда стала поспешно переодеваться к обеду.

Когда она была готова, она еще долго раздумывала, надеть ли ей мамины кружева сейчас или приберечь их до приезда «шишек». Но шарф был такой красивый и нежно-кремовый, что она так и не смогла его снять и все продолжала вертеться перед зеркалом. Глядеться в зеркало было глупо, старомодно, но Недда ничего не могла с собой поделать, — ей так хотелось быть красивее, чем на самом деле, ведь когда-нибудь придет же то, чего она ждет!

А на самом деле она была хорошенькая, но не просто хорошенькая: в ее лице была живость, доброта, что-то светлое и стремительное. У нее все еще была детская манера быстро поднимать глаза и смотреть открыто, с невинным любопытством, за которым ничего нельзя было прочесть; но когда она опускала глаза, казалось, что они закрыты: так длинные были темные ресницы. Полукружия широко расставленных бровей с небольшим изломом к виску чуть-чуть спускались к переносице. Чистый лоб под темно-каштановыми волосами; на маленьком подбородке ямочка. Словом, от этого лица нельзя было отвести глаз. Но Недда не страдала тщеславием; ей казалось, что лицо у нее слишком широкое, глаза — слишком темные и неопределенного цвета: не то карие, не то серые.

Нос, слава богу, прямой, но слишком короткий. Кожа у нее была матовая и легко загорала, а ей хотелось быть белой, как мрамор, с голубыми глазами и золотыми кудрями или же походить на мадонну. Да и рост у нее, пожалуй, слишком мал. И руки худые. Единственное, чем она была довольна,—это ногами, которых сейчас она, правда, не видела, но они у нее и в самом деле совсем недурны! Потом, испугавшись, что опаздывает, она отвернулась от зеркала и с трепещущим сердцем нырнула в лабиринт коридоров и лестниц.

ГЛАВА VI

Клара, жена Стенли Фриленда, была женщина крупная и в физическом смысле и в духовном; много лет назад, вскоре после замужества, она заявила о намерении завязать знакомство со своей невесткой Кэрстин, несмотря на слухи о ее бог знает каких взглядах. То были времена карет, упряжек, грумов и кучеров, и, приказав подать себе все это сразу, она со свойственной ей решительностью немедленно пустилась в путь. Можно без всякого преувеличения сказать, что этот визит запомнился ей на всю жизнь.

Представьте себе древний, выбеленный деревянный дом, крытый соломой, в котором давным-давно все покосилось. Дом, пришедший в неопишемую ветхость, до самой крыши заросший вьющимися розами, плющом и жимолостью, высоко взгромоздившийся над перекрестком дорог. Дом, почти недоступный для посторонних из-за своих ульев и пчел — к этим насекомым Клара питала глубочайшее отвращение. Представьте себе неудобную каменистую дорожку к двери этого дома (а Клара носила изящную обувь) и на ней — странное подобие люльки с черноглазым ребенком, спокойно вззирающим на двух пчел, которые дремлют на покрывале из грубого полотна, какого Кларе в жизни не приходилось видеть. Представьте себе совершенно голую девчушку лет трех, принимающую солнечную ванну на пороге дома. Клара быстро повернулась и закрыла плетеную калитку, отделявшую каменистую дорожку от поросших мхом ступе-

нек, которые вели туда, где сидели и кучер и лакей, неподвижные, как изваяния, — такая уж у этих людей привычка. Клара сразу поняла, что визит обещает быть не совсем обычным. Тогда она набралась мужества, двинулась вперед и, глядя с испуганной улыбкой на девчушку, постучала в дверь рукояткой зеленого зонтика. В дверях появилась женщина моложе ее — совсем еще юное существо. Потом Клара рассказала Стенли, что никогда не забудет своей первой встречи (второй с тех пор так и не произошло) с женой Тода. Загорелое лицо, черные волосы, под черными ресницами — горящие серые глаза, которые, казалось, излучали свет, и «какая-то странная улыбка»; блуза из того же грубого желтоватого полотна оттеняла обнаженные руки и шею — загорелые и красивые, а из-под ярко-синей юбки выглядывали загорелые щиколотки босых ног! Голос такой убийственно тихий, что, как потом говорила Клара: «У меня просто мурашки побежали по телу, — а тут еще эти глаза! А кругом, дорогой мой, — продолжала она, — голые, оштукатуренные стены, голый кирпичный пол, ни единой картины, ни занавесочки, даже не видно щипцов для угля в камине. Чисто — просто до ужаса! Они, видно, совсем чудаки. Единственное, не скрою, что там было приятно, — это запах. Пахло розами, медом, кофе и печеными яблоками — просто чудо! Надо попробовать завести и у нас такой запах. Но при виде этой женщины, вернее, еще девчонки, у меня отнялся язык. Я не сомневаюсь, что она бы меня просто съела, вздумай я завести с ней обычный разговор. Дети были, в общем, очень милы. Но бросать их среди пчел! Кэрстин! Подходящее имя! Нет, спасибо! Ноги моей больше там не будет! А Тода я так и не видела: наверное, где-нибудь замечтался среди своих животных!»

С той встречи прошло семнадцать лет, но, вспомнив о ней, Клара снисходительно улыбнулась, когда Стенли рассказал ей о семейном совете. Она тут же заявила, что Феликс должен остановиться у них, а со своей стороны, она рада оказать любую помощь бедным детям Тода, даже пригласить их в Бекет и постараться их хоть чуточку цивилизовать... «Но что касается этой женщины, тут уж, уверяю тебя, ничего не поделаешь. А Тод, наверно, у нее под башмаком».

С Феликсом, который вел ее к столу, она говорила очень воодушевленно, но вполголоса. Феликс ей нравился, несмотря на его жену; она его уважала: он ведь был человек знаменитый. Леди Маллоринг, рассказывала она ему, — а Маллоринги владеют всей землей вокруг Джойфилдса — жаловалась ей, что жена Тода за последнее время просто помешалась на земельном вопросе. Тоды заодно со всеми батраками. Лично она, Клара, не против тех, кто сочувствует положению земледельцев, совсем наоборот! Бекет, как Феликсу известно, чуть ли не центр этого движения, хотя не ей, конечно, это говорить; но всякую вещь можно сделать по-разному. И, право же, нельзя терпеть, чтобы женщины вроде этой Кэрстин — о, это невозможное кельтское имя! — совали свой нос в дела государственной важности. Тут буйством ничего не добьешься! Если Феликс имеет хоть какое-нибудь влияние на Тода, хорошо бы его уговорить хоть на время услать этих бедных детей из дому, чтобы они могли немного побыть с людьми здравомыслящими! Она охотно пригласила бы их в Бекет, но с такими взглядами у них, вероятно, нет даже приличного платья! (Она никак не могла забыть эту голую малышку, принимавшую солнечную ванну, или бедного младенца, покрытого дерюгой и пчелами.)

Феликс почтительно ответил — в чужих домах он держался изысканно вежливо и позволял себе лишь легкую иронию, — что он глубоко уважает Тода и думает, что вряд ли женщина, которой брат так предан, может обладать действительно серьезными недостатками. А на детей он напустит свою молодежь, — они разузнают все, что там делается, куда быстрее, чем такой пожилой и старомодный человек, как он. Что же касается земельного вопроса, на него существует много точек зрения, и он, например, рад был бы ознакомиться еще с одной. В конце концов Тоды непосредственно соприкасаются с батраками, а это самое главное. Ему будет очень интересно узнать их мнение.

Да, Клара все это понимает, но... тут она так понизила голос, что он совсем пропал — раз Феликс туда едет, она должна объяснить ему самую суть дела. Леди Маллоринг рассказала ей всю эту историю. Истории, в сущности, две: там проживает семья по фамилии Гонт —

старик и его сын, у которого две дочери; одна из них, Алиса, славная девушка, служит судомойкой здесь, в Бекете, но ее сестра, Уилмет... Ну что ж, Феликс, должно быть, знает, что подобные девицы бывают в каждой деревне. Она совращала молодых людей, и леди Маллоринг решила это пресечь; она передала через своего управляющего тому фермеру, у которого работает Гонт, что их семье придется уехать, если он не отошлет куда-нибудь эту девицу. Это один случай. А другой—это батрак по фамилии Трайст, который хочет жениться на сестре своей покойной жены. Конечно, у Милдред Маллоринг, может быть, слишком уж пуританский взгляд на вещи, поскольку такие браки разрешены,— Клара тут не судья; но в конце концов, если она считает, что деревенские нравы надо оберегать, то она в своем праве. Этот Трайст — хороший работник, фермеру не хотелось его терять, но леди Маллоринг, конечно, настояла на своем; если этот субъект будет упорствовать, его выгонят. А так как все дома по соседству принадлежат сэру Джералду Маллорингу, то, значит, в обоих случаях людям придется покинуть округу. Феликс сам знает, что в вопросах деревенской нравственности нельзя давать по-блажек...

Феликс невозмутимо прервал ее:

— Я бы не давал их леди Маллоринг.

— Ну, об этом мы говорить не будем. Но, право, когда жена Тода подбивает своих детей возмущать умы крестьян — это уже из рук вон! Бог знает, к чему это может привести. Земли и дом Тода — его собственность, он единственный мелкий землевладелец в наших краях, а то, что он брат Стенли, ставит Маллорингов в особенно затруднительное положение.

— О, конечно! — пробормотал Феликс.

— Однако, дорогой Феликс, внушать этим простодушным людям преувеличенные понятия о их правах — вещь очень опасная, особенно в деревне. Я слышала, что народ там возбужден. Алиса Гонт мне говорила, будто молодые Тоды повсюду заявляют, что собакам и тем лучше живется, чем людям, с которыми так обращаются; вы сами понимаете, какая это чушь! Нечего делать из мухи слона! Разве не так?

Феликс улыбнулся своей странной, чуть приторной улыбкой и ответил:

— Я рад, что приехал именно сейчас.

Клара, не зная, что Феликс так улыбается, только когда очень сердит, не замедлила с ним согласиться.

— Да, вы человек наблюдательный. Вы сумеете увидеть все в правильном свете.

— Попытаюсь. А что говорит Тод?

— Ах! Да Тод, по-моему, никогда ничего не говорит. Мне, во всяком случае, его мнение неизвестно.

— Тод — источник в пустыне, — пробормотал Феликс.

Клара не нашла, что ответить на это глубокое замечание, — она, впрочем, его даже не поняла.

Вечером, когда Алан, всласть наигравшись на бильярде, покинул курительную и отправился спать, Феликс осведомился у Стенли:

— Послушай, а что собой представляют эти Маллоринги?

Стенли, который готовился провести последние двадцать минут перед сном за виски с содой и «Обозрением», чем он обычно успокаивал свои нервы на ночь, небрежно ответил:

— Маллоринги? Да, пожалуй, лучшая разновидность помещика, какая у нас есть.

— Что ты под этим подразумеваешь?

Стенли не торопился ответить: за его грубоватым добродушием скрывалась хоть и несколько ограниченная, но зато упорная приверженность к фактам, отличающая английского дельца; к тому же он не очень-то доверял «старине Феликсу».

— Ну что ж, — ответил он наконец, — они строят своим арендаторам хорошие дома, из желтого кирпича... безобразные, признаться, как смертный грех; следят за нравственностью тех, кто там живет; когда неурожай, делают скидку в арендной плате; поощряют племенное скотоводство и покупку машин — купили даже несколько моих плугов, но крестьяне ими недовольны, и, между нами говоря, они правы: плуги не предназначены для таких маленьких участков... Аккуратно ходят в церковь, чтобы показать пример своим арендаторам, покровительствуют стрелковому обществу, скупают, когда удастся,

кабаки и держат их в своих руках; посылают больным желе и пускают посетителей к себе в парк на праздники. Черт возьми, чего только они не делают! А почему ты спрашиваешь?

— Их любят?

— Любят? Нет, не думаю, чтобы их любили, но зато уважают и все такое... Маллоринг — человек солидный и вполне деловой, заботливый землевладелец и настоящий джентльмен; она, пожалуй, чересчур набожна. У них один из самых красивых домов эпохи Георгов во всей Англии. Словом, они, как говорится, «образцовые» хозяева.

— Но бесчеловечные.

Стенли опустил «Обозрение» и поглядел поверх него на брата. Ему было ясно, что на «старину Феликса» снова напало свободомыслие.

— Они домоседы, — возразил он, — любят своих детей и приятные соседи. Не буду спорить: у них чересчур сильно развито чувство долга, но в наши дни это нужно.

— Долга по отношению к чему?

Стенли вздернул брови. Вот это вопрос! Того и гляди, заберешься в философские дебри и попадешь в тупик!

— Если бы ты жил в деревне, старина, ты не стал бы задавать таких вопросов.

— Неужели ты воображаешь, что вы или Маллоринги живете в деревне? Милый, вы, землевладельцы, такие же горожане, как я: и образ мыслей, и привычки, и одежда, и убеждения, и душа — все у вас городское. Для нас, людей, принадлежащих к «высшим классам», в Англии нет больше «деревни». Она уже не существует. Повторяю: долг по отношению к чему?

Встав, он подошел к окну и стал глядеть на залитую луною лужайку: ему вдруг опротивел этот разговор. Разве дойдут слова человека, настроенного на один лад, до человека, настроенного на другой? Однако в него так въелась привычка спорить, что он тут же продолжал:

— Ничуть не сомневаюсь, что Маллоринги искренне верят, будто их долг — следить за нравственностью людей, живущих на их земле. На это можно сказать следующее: во-первых, вы не можете сделать людей нравственнее, став в позицию школьного наставника; во-вторых, из этого следует, что они считают себя более нрав-

ственными, чем их ближние. В-третьих, эта теория настолько удобна для их благополучия, что они были бы на редкость хорошими людьми, если бы ею не воспользовались, но, по твоим же словам, они просто обыкновенные, порядочные люди. То, что ты называешь чувством долга, на самом деле у них только чувство самосохранения, к которому примешивается чувство превосходства.

— Гм-м!..— проворчал Стенли.— Я не очень-то понимаю, куда ты гнешь.

— Всю жизнь я ненавижу запах ханжества. Я предпочел бы, чтобы они сказали прямо и открыто: «Это — моя земля, и, живя на ней, уж будьте любезны поступать так, как я вам говорю!»

— Но, милый мой, в конце-то концов, они имеют право чувствовать свое превосходство над этими людьми!

— В этом я позволю себе усомниться самым решительным образом! — сказал Феликс. — Заставь твоих Маллорингов самих зарабатывать себе на хлеб и жить на пятнадцать — восемнадцать шиллингов в неделю, хороши они будут! У Маллорингов, наверно, есть свои достоинства. Еще бы, ведь в каких благоприятных условиях они живут! Но что касается подлинных добродетелей: терпения, стойкости, постоянной, почти органической готовности жертвовать собой, бодрости вопреки всем тяготам, — в этом они столь же уступают тем людям, которых презирают, как я тебе в деловых качествах.

— Черт возьми! — воскликнул Стенли.— А ты все-таки ужасный смутьян!

Феликс нахмурился.

— Ты думаешь? Но будь же честен. Возьми жизнь такого Маллоринга, лучшего из них, и сравни ее с точки зрения самых простых добродетелей с жизнью среднего фермера-арендатора или батрака. Твоего Маллоринга поднимают из удобной, чистой и теплой постели, приносят ему чашку чая, скажем, в семь часов утра; он влезает в ванну, которую ему приготовили, а потом в костюме и башмаки, которые ему почистили, после чего спускается в комнату, где уже затоплен камин, если на дворе холодно; пишет кое-какие письма, а потом садится за завтрак и ест то, что хочет, вкусно для него приготовленное, и читает ту газету, которая ему приятнее других; поев и почитав, он закуривает сигару или трубку и пе-

реваривает пищу по всем правилам комфорта и гигиены; потом он садится за стол в своем кабинете и принимается руководить другими людьми либо устно, либо письменно. И, таким образом, распоряжаясь другими людьми и поглощая пищу в свое удовольствие, он проводит весь день, если не считать того, что два-три часа, а иногда и семь или восемь, он, заботясь о своем здоровье, ездит верхом, катается в автомобиле, играет в теннис или гольф или занимается тем видом спорта, который предпочитает. А после этого он скорее всего опять принимает ванну, которую ему налили, надевает чистую одежду, которую ему подали, садится за сытный обед, который ему приготовили, курит, читает и переваривает пищу, либо играет в карты, на бильярде, либо занимает гостей до тех пор, пока его не клонит ко сну, а затем его ждет опять чистая, теплая постель в чистой, хорошо проветренной комнате... Разве я преувеличиваю?

— Нет, но когда ты говоришь о том, что он распоряжается другими людьми, не забудь, что он делает то, чего они делать не могут.

— Пусть он даже делает то, чего они не могут, но обычно способность руководить другими не является врожденной, ее вырабатывают привычка и опыт. Представь себе, что по воле судьбы Маллоринг при рождении поменялся бы местом с Гонтом или Трайстом. Тогда они обладали бы этой способностью, а он — нет. И только потому, что при их рождении ничего подобного не случилось, огромное преимущество получает Маллоринг.

— Руководить — дело нешуточное, — проворчал Стенли.

— Всякая работа — дело нешуточное, но я тебя спрашиваю: говоря о самой работе, а не о том, что ты за нее получаешь, ты бы хоть на минуту захотел променять свой труд на труд одного из твоих рабочих? Нет. Равно как и Маллоринг на труд какого-нибудь из своих Гонтов. И вот, мой милый, Маллоринг получает за работу, несравненно более интересную и приятную, в сто и даже в тысячу раз больше денег, чем Гонт.

— Но ведь то, что ты говоришь, — чистейшей воды социализм, мой милый.

— Нет, чистейшая правда. Теперь представим себе

жизнь Гонта. Встает он зимой и летом гораздо раньше, чем Маллоринг. У него нет ни денег, ни времени следить за тем, чтобы постель его была очень теплой и очень чистой, да и комната, где он спал, мала, и оконце в ней небольшое. Встав, он влезает в одежду, заскорузлую от пота, и в башмаки, заскорузлые от глины; готовит себе что-нибудь горячее, а может, и относит чай жене и детям; выходит из дома, не имея возможности позаботиться о своем пищеварении, работает не покладая рук с половины седьмого утра до пяти часов вечера, с двумя перерывами на то, чтобы съесть простую пищу, отнюдь не по своему вкусу. Возвращается домой к чаю, который ему приготовили, немножко приводит себя в порядок сам, без чужой помощи; выкуривает трубку дешевого табака; читает газету двухдневной давности и идет поработать уже для себя, на собственный огород, или посидеть на деревянной лавке в табачном дыму и пивных парах. А потом, смертельно усталый, но не оттого, что руководил другими, он рано ложится спать в свою сомнительной чистоты постель. Я преувеличиваю?

— Думаю, что нет. Но он...

— Кое-чем вознагражден? Чистой совестью... спокойной душой... чистым воздухом и так далее! Знаю, знаю. Чистой совестью, согласен, но, по-моему, и твоего Маллоринга не очень-то мучает совесть. Спокойная душа — да, пока не прохудились башмаки или не заболел кто-нибудь из детей; тогда уж ему есть о чем беспокоиться! Свежий воздух, но зато и промокшая насквозь одежда — прекрасная возможность смолоду получить ревматизм. Говоря откровенно, какой образ жизни требует больше добродетелей, на которых зиждется наше общество: мужества, терпения, стойкости и самопожертвования? И кто из этих двоих имеет больше права на «превосходство»?

Стенли бросил «Обозрение» и молча заходил по комнате. Потом он сказал:

— Феликс, ты проповедуешь революцию.

Феликс, следивший с легкой улыбкой за тем, как он шагает по турецкому ковру, ответил:

— Ничуть. Я совсем не революционер, потому что, как бы мне этого ни хотелось, я не верю, что потрясение основ снизу или насилие вообще может создать равенст-

во между людьми или принести какую-нибудь пользу. Но я ненавижу лицемерие и считаю, что пока ты и твои Маллоринги не перестанете усыплять себя лицемерными фразами о долге и превосходстве, вы не поймете истинного положения вещей, а пока вы не поймете истинного положения вещей, не прикрытого всем этим отвратительным ханжеством, никто из вас и пальцем не шевельнет, чтобы сделать жизнь более справедливой. Пойми одно, Стенли, я, не веря в революцию снизу, неукоснительно верю в то, что революционное изменение жизни сверху — это дело нашей чести!

— Гм!.. — проворчал Стенли. — Все это прекрасно, но чем больше им даешь, тем больше они требуют, и конца этому не видно.

Феликс оглядел комнату, где в самом деле человек забывал обо всем, кроме своей брэнной плоти.

— Черт возьми, а я еще не видел даже начала! Но если ты будешь давать нехотя или с назиданием, словно малым детям, на что ты можешь рассчитывать? А если даешь от душевной щедрости, то твой дар так и будет принят.

И вдруг, почувствовав, что уже дает советы, Феликс опустил глаза и добавил:

— Пойду-ка я в свою чистую, теплую постель. Спокойной ночи, старина!

Когда брат взял свой подсвечник и удалился, Стенли, неопределенно хмыкнув, опустился на диван, как следует отхлебнул из стакана и снова принялся за свое «Обозрение».

ГЛАВА VII

На следующий день автомобиль Стенли с Феликсом и запиской от Клары быстро понесся в Джойфилдс по обрамленным травой дорогам. Откинувшись на мягкие подушки и чувствуя, как теплый ветерок овеивает его лицо, Феликс с наслаждением созерцал свои любимые пейзажи. Право же, эта зелень, деревья, пятнистые ленивые коровы выглядят удивительно красивыми, и даже отсутствие человека было ему приятно.

Неподалеку от Джойфилдса он увидел парк Малло-

рингов и их длинный дом восемнадцатого века, заботливо обращенный фасадом к югу. Затем показался деревенский пруд, если можно было говорить тут о деревне, и в нем, разумеется, плавали утки; дальше стояли рядом три домика. Феликс их прекрасно помнил: они были чистенькие, аккуратные, крытые соломой и явно подновленные. Из дверей одного из них вышли двое молодых людей и повернули в ту же сторону, что и автомобиль. Феликс проехал мимо и, оглянувшись, посмотрел на них повнимательнее. Ну да, это они! Он попросил шофера остановиться. Те двое шли, глядя прямо перед собой и хмурясь. И Феликс подумал: «Ни капли сходства с Тодом в обоих: чистокровные кельты!»

Живое, открытое лицо девушки, вьющиеся каштановые растрепанные волосы, яркий румянец на щеках, пухлые губы; глаза, чем-то похожие на глаза скайтерьера, выглядывающие из-под косматой шерсти,— весь ее облик показался Феликсу даже несколько пугающе энергичным; да и шагала она так, будто презирала землю, которую попирали ее ноги. Внешность юноши была еще более разительной. Какое странное смугло-бледное лицо, черные волосы (он был без шляпы), прямые черные брови — горделивый, тонкогубый, прямоносый молодой дьявол с глазами лебедя и походкой настоящего горца, но и чуть-чуть еще нескладный. Когда они поравнялись с автомобилем, Феликс, высунувшись из окна, сказал:

— Боюсь, вы меня не помните!

Юноша покачал головой. Поразительные глаза! Но девушка протянула руку:

— Что ты, Дирек, это же дядя Феликс!

И оба улыбнулись — девушка очень приветливо, юноша сдержанно. И вдруг, почувствовав себя как-то до странности неловко, Феликс пробормотал:

— Я еду в гости к вашему отцу. Хотите, подвезу вас до дома?

Ответ был тот, какого он и ожидал:

— Нет, спасибо.— Но потом, словно желая смягчить свой отказ, девушка добавила: — Нам еще кое-что надо сделать. Отец, наверно, в фруктовом саду.

Голос у нее был звучный, полный сердечности. Приподняв шляпу, Феликс поехал дальше. Что за пара!

Странная, полная прелести, чем-то пугающая. Ну и деток же принесла брату Кэрстин!

Подъехав к дому, он поднялся по мшистым ступеням и отворил калитку. Со времени визита Клары здесь мало что изменилось — только ульи переставили подальше. На его стук никто не ответил, и, вспомнив слова девушки: «Отец, наверно, в фруктовом саду», — он направился туда. Трава была высокой, и по ней были рассыпаны белые лепестки. Феликс брел по ней среди пчел, гудевших в яблоневои цвету. В конце сада он увидел брата, рубившего грушу. Тод был в рубашке, обнажавшей чуть не до плеч заторелые руки. Ну и силач! Какие могучие, звенящие удары он наносил по стволу! Дерево рухнуло, и Тод вытер рукой лоб. Этот огромный, смуглый, кудрявый человек выглядел еще великолепно, чем помнилось Феликсу, и был так прекрасно сложен, что каждое его движение казалось легким. Лицо у него было широкое с выдающимися скулами; брови густые и немножко темнее золотистых волос, поэтому его глубоко посаженные ярко-синие глаза смотрели словно из чащи; ровные, белые зубы сверкали из-под рыжеватых усов, а смуглые небритые щеки и подбородок, казалось, были присыпаны золотой пудрой. Заметив Феликса, он пошел ему навстречу.

— Подумать только, — сказал он, — что старик Гладстон проводил свой досуг, рубя деревья! Какое грустное занятие!

Феликс не очень понимал, что надо на это ответить, поэтому он просто взял брата под руку. Тод подвел его к дереву.

— Садись! — сказал он. Потом печально поглядел на грушу и пробормотал: — Семьдесят лет росло и в семь минут погибло. Теперь мы ее сожжем. Что ж, с ней надо было расстаться. Она уже три года не цвела.

Говорил он медленно, как человек, привыкший думать вслух. Феликс смотрел на него с удовольствием.

«Можно подумать, что мы живем рядом, — сказал себе Феликс, — по тому, как он отнесся к моему появлению!»

— Я приехал в автомобиле Стенли, — сообщил он брату. — На дороге видел твоих ребят — прекрасная пара!

— А!.. — сказал Тод. И в его тоне прозвучали не

просто гордость или отцовская любовь. Потом он поглядел на Феликса.

— Зачем ты приехал, старина?

Феликс улыбнулся. Станный вопрос!

— Поговорить.

— А!.. — сказал Тод и свистнул.

На свист его прибежал довольно большой, сильный пес с блестящей черной шерстью, белой грудью и черным хвостом с белой кисточкой; он встал перед Тодом, слегка наклонив голову набок; его желтовато-коричневые глаза говорили:

«Пойми, я должен догадаться, о чем ты сейчас думаешь!»

— Ступай, скажи хозяйке, чтобы она пришла. Хозяйке!

Пес помотал хвостом, опустил его и убежал.

— Мне его дал один цыган, — сказал Тод. — Самая лучшая на свете собака.

— Эх, старина, так все говорят про своих собак!

— Да, — кивнул Тод. — Но эта и правда самая лучшая.

— Морда у нее умная.

— У нее есть душа, — сказал Тод. — Цыган клялся, что он ее не украл, но это неправда.

— А ты разве всегда знаешь, когда люди говорят неправду?

— Да.

Услышав такое чудовищное заявление от любого другого, Феликс непременно улыбнулся бы, но так как это был Тод, он только спросил:

— Откуда?

— Когда люди говорят неправду, они всегда смотрят тебе в лицо, но взгляд у них неподвижный.

— У некоторых это бывает, когда они говорят правду.

— Да, но когда они лгут, ты видишь, как они стараются, чтобы взгляд у них не блуждал. Собака не смотрит тебе в глаза, когда хочет что-то скрыть, а человек смотрит слишком пристально. Послушай!

Феликс прислушался, но ничего не услышал.

— Крапивник! — И, сложив трубкой губы, Тод издал какой-то звук. — Смотри!

Феликс увидел на ветке яблони крошечную коричне-

вую птичку с острым клювиком и вздернутым хвостиком. И подумал: «Тод неисправим!»

— У этого малыша тут рядом, за нашей спиной, гнездо,— тихо сказал Тод. Он снова издал тот же звук. Феликс увидел, как птичка с необычайным любопытством повернула голову и дважды подпрыгнула на ветке.

— А вот самочку никак не могу этому научить,— прошептал Тод.

Феликс положил руку брату на плечо,— ну и плечи!

— Да-да,— сказал он,— но послушай, старина, мне действительно надо с тобой поговорить.

Тод помотал головой.

— Подожди ее,— сказал он.

Феликс стал ждать. Тод становится совсем чудачком, ведя уже много лет такую странную, отшельническую жизнь, наедине со взбалмошной женой: ничего не читает, никого не видит, кроме бродяг, животных и крестьян. Но почему-то, сидя здесь, на поваленном дереве, рядом со своим чудаковатым братом, Феликс испытывал необычное ощущение покоя. Может быть, потому, что день был такой ясный, благоуханный, солнечные зайчики зажигали яблоневый цвет, а кругом росли анемоны и кислица, и в синем небе над полями плыли невообразимой белизны облака. Ухо его ловило малейшие звуки, которые здесь, в саду, были полны особого значения и странной глубины, будто слышишь их впервые. Тод, глядевший на небо, вдруг спросил:

— Есть хочешь?

И Феликс вспомнил, что тут не едят по часам, а, проголодавшись, идут в кухню, где в очаге всегда пылает огонь, и либо подогревают кофе и овсянку — приготовленную раньше — и едят ее вместе с вареными яйцами, печеной картошкой и яблоками, либо закусывают хлебом с сыром, вареньем, медом, сливками, помидорами, маслом, орехами и фруктами,— все это всегда стоит на столе, прикрытое кисеей; он вспомнил также, что все они сами моют после себя миски, тарелки и ложки, а поев, выходят во двор и пьют студеною воду из колодца. Станный образ жизни, дьявольски неудобный,— они, почти как китайцы, делают все иначе, чем принято у нас.

— Нет,— сказал он.— Не хочу.

— А я хочу. Вот она.

Феликс почувствовал, как у него забилося сердце,— не одна Клара боялась этой женщины. Она шла по саду с собакой — да, поразительная у нее внешность, просто поразительная! Увидев Феликса, она не удивилась и, сев рядом с Тодом, сказала:

— Я рада вас видеть.

Почему все в этой семье заставляют его чувствовать себя существом низшего порядка? Как она спокойно его разглядывала! А потом сузила глаза и наморщила губы, будто подумала что-то очень ехидное! В ее волосах — как это бывает всегда с иссиня-черными, тонкими и шелковистыми волосами,— уже появились серебряные нити; лицо и фигура похудели за то время, что он ее не видел. Но она до сих пор была очень интересной женщиной, глаза у нее просто поразительные! Да и одета,— Феликс навидался на своем веку чудачек,— совсем не так чудовищно, как тогда показалось Кларе: ему нравилось ее синее платье из домотканого полотна, вышитое вокруг ворота, и он с трудом оторвал взгляд от сапфировой повязки, которой она стянула свои черные с проседью пряди.

Он начал с того, что передал ей записку Клары, которую та написала под его диктовку:

«Дорогая Кэрстин!

Хотя мы так давно не виделись, Вы, надеюсь, простите мне, что я Вам пишу. Нам доставило бы большое удовольствие, если бы Вы с обоими Вашими детьми погостили у нас день-другой, в то время, пока у нас гостят Феликс и его молодежь. Боюсь, что Тода звать бесполезно, но, конечно, если он приедет, и Стенли и я будем в восторге.

Искренне Ваша
Клара Фриленд».

Она прочла записку, передала ее Тоду, тот тоже прочел ее и вернул Феликсу. Все молчали. Записка была такая простая и дружеская, что довольный Феликс подумал: «А ведь я ее неплохо сочинил!»

Затем Тод сказал:

— Ну, говори, старина! Ты ведь хочешь поговорить о наших ребятишках, правда?

Господи, откуда он это знает? Но Тод ведь и правда был немного ясновидящим.

— Что ж,— начал Феликс, сделав над собой усилие,— разве вам не кажется, что вы напрасно путаете ваших детей в деревенские кляузы? Нам рассказывал Стенли...

Кэрстин спокойно прервала его, говорила она отрывисто, капельку шепелявя:

— Стенли не может этого понять.

Она взяла Тода под руку, по-прежнему не сводя глаз с лица деверя.

— Может быть,— признал Феликс,— но не забудьте, что Стенли, Джон и я выражаем обычную и, я бы сказал, разумную точку зрения.

— С которой мы, боюсь, не имеем ничего общего.

Феликс перевел взгляд с нее на Тода. Тот склонил голову набок и, казалось, прислушивался к каким-то далеким звукам. Феликс почувствовал раздражение.

— Все это прекрасно,— сказал он,— но, право же, вам не мешает подумать о будущем ваших детей с какой-то более объективной точки зрения. Не можете же вы хотеть, чтобы они бунтовали прежде, чем сами увидят жизнь своими глазами.

Она ответила:

— Наши дети знают жизнь лучше, чем обычная молодежь. Они с ней сталкивались непосредственно, видели ее изнанку. Они знают, что такое произвол в деревне.

— Да, конечно,— сказал Феликс,— но молодость есть молодость.

— Они достаточно взрослые, чтобы понимать, где правда.

Феликс был поражен. Как сверкали эти суженные глаза! Какая убежденность звучала в этом чуть-чуть шепелявившем голосе!

«Я же останусь в дураках»,— подумал он и только спросил:

— Ну, а что вы ответите на это приглашение?

— Пусть едут. Сейчас это им очень кстати.

В этих словах Феликсу почудилась угроза. Он отлично понимал, что она вкладывает в них какой-то свой, особый смысл.

— Когда нам их ждать? Во вторник, пожалуй, для

Клары удобнее всего, 'когда кончится очередное нашествие гостей. А на вас с Тодом нечего и рассчитывать?

Она забавно сморщила губы в подобие улыбки.

— Пусть решает Тод. Тод, ты слышишь?

— На лугу! Она там была и вчера, в первый раз в этом году.

Феликс взял брата под руку.

— Ты прав, старина.

— Что? — спросил Тод. — А!.. Пойдемте домой. Я ужасно хочу есть...

Иногда из ясного неба вдруг упадет несколько капель дождя, зашелестит листва, а вдалеке послышится глухой рокот. Путник подумает: «Где-то поблизости гроза». Но кругом сразу же снова станет тихо и безмятежно, и путник, забыв о том, что он недавно подумал, беззаботно пойдет дальше.

Так было и с Феликсом, когда он возвращался на автомобиле Стенли в Бекет. Ну и лица у этой женщины, у юных язычников, да и у потустороннего Тода!

Вокруг этой маленькой семьи в воздухе пахло грозой. Но автомобиль неслышно скользил по дороге, сиденье было мягким, за окном мирная прелесть зеленых лугов, церкви, усадьбы, домики среди вязов, медленные взмахи крыльев грачей и ворон — все это убаюкивало Феликса и вселяло в него покой; дальние, глухие раскаты грома больше не были ему слышны.

Когда он вернулся, Недда поджидала его в аллее, разглядывая статую нимфы, поставленную Кларой. Это была хорошая вещь, выписанная из Берлина, который славится скульптурой, к тому же она начала покрываться патиной, словно стояла тут уже давно, — милое создание с опущенными плечами и скромно потупленным взглядом. На голове у нее примостился воробей.

— Ну как, папочка?

— Они приедут.

— Когда?

— Во вторник, но только дети.

— Ты мог бы мне что-нибудь о них рассказать.

Но Феликс только улыбнулся. Ему для этой задачи не хватило бы изобразительного таланта, а так как он своим талантом гордился, то не хотел его компрометировать.

«Шишки» стали прибывать в эту субботу только после трех часов дня. Сперва из Эрна приехали в автомобиле лорд и леди Бритто; потом — тоже в автомобиле — из Джойфилдса сэр Джералд и леди Маллоринг; первый послеобеденный поезд привез трех членов Палаты Общин, любителей гольфа: полковника Мартлета, мистера Слизора и сэра Джона Фанфара — с супругами; американку мисс Боутри, которая бывала всюду, и пейзажиста Мурсома — низенького, очень плотного человека, который нигде не бывал и хранил гробовое молчание, за которое потом мстил. Поездом, с которым никого не ждали, прибыла Литература на Службе Обществу в лице Генри Уилтрема — о нем шла слава, будто он первый задумался о земельном вопросе. И самым последним поездом приехали прогрессивный издатель Каскот — как всегда, торопясь — и леди Мод Ютред — как всегда, сияя красотой. Клара была очень довольна и, переодеваясь к обеду, сказала Стенли, что на этот раз у нее представлены все оттенки взглядов на земельный вопрос. Но это ее не страшит, если она сумеет не дать сцепиться сэру Генри Уилтрему и Каскоту. Насчет членов Палаты Общин можно не беспокоиться. Стенли это подтвердил.

— Им, наверно, уже опротивела болтовня. Но как быть с Бритто — он умеет быть неприятным, а Каскот нещадно отделал его в своем листке.

Клара это помнит и поэтому посадит рядом с Каскотом с одной стороны леди Мод, а с другой — Мурсома, так что за обедом ему ничто не угрожает, ну, а потом надо уж Стенли быть начеку!

— А куда ты посадишь Недду?

— С полковником Мартлетом, а с другой стороны у нее — сэр Джон Фанфар: они оба равнодушны к молоденьким.

Впрочем, она надеется, что завяжется настоящий спор, пора уже сдвинуться с мертвой точки. Жаль упустить такой превосходный случай!

— Гм-м... — пробурчал Стенли. — Вчера вечером Феликс высказывался чрезвычайно странно. Он, того и гляди, наговорит лишнего.

— Ну что ты! — Клара взяла под защиту Феликса. — Он человек воспитанный.

Ей кажется, что на этот раз может получиться нечто значительное, плодотворное для всего государства. И, следя за тем, как Стенли пристегивает подтяжки, она изливала ему свои восторги. Как великолепно представлены здесь все точки зрения! Бритто, считающий, что дело зашло слишком далеко и какие бы второстепенные меры мы ни принимали, все будет бесполезно, так как мы не можем конкурировать с Канадой и ее огромными посевными площадями; хоть сама Клара с ним не согласна, все-таки она должна признать, что во многом он прав; он человек очень способный и когда-нибудь может... кто знает?.. Потом — сэр Джон, он ведь, можно сказать, основатель новой консервативной политики: надо помочь фермерам в покупке земли, которую они арендуют. А полковник Мартлет — выразитель политики более старых консерваторов: что же, черт возьми, станет с крупными землевладельцами, если у фермеров будет своя земля? Он ни за что не поддержит такой закон, Клара в этом убеждена. Да он ей и сам говорил: «Возьмем, например, поместье моего брата Джеймса. Если мы проведем такой закон и фермеры им воспользуются, дело кончится тем, что вокруг его дома не останется и акра принадлежащей ему земли!» Вполне возможно. Но ведь то же относится и к Бекету!

Стенли что-то буркнул.

— Вот именно, — продолжала Клара. — Поэтому так хорошо, что у нас гостят и Маллоринги, — они занимают такую твердую позицию, и, пожалуй, они правы: возможно, все дело упирается в образцовые методы землевладения.

— Гм-м... — проворчал Стенли. — Послушай, что скажет на это Феликс.

Клара считала, что это не играет роли. Важно, чтобы все высказали свое мнение. Даже мнение мистера Мурсома будет полезно услышать, — жаль, что он так ужасно молчалив. Но ведь у него, должно быть, очень много мыслей, раз он целый день сидит и рисует деревенские виды.

— Он просто чванный болван, — сказал Стенли.

Да, но Клара не хочет проявлять нетерпимости. По-

этому она так рада, что заполучила мистера Слизора. Если уж кто-нибудь знает, что думают радикалы, то это он; у него можно удостовериться в той подоплеке, которую мы всегда подозревали: истинная опора радикалов — это городские слои, поэтому они не могут зайти в своей земельной политике слишком далеко — побоятся обвинения в том, что забыли интересы города... Ведь в конце-то концов средства на решение земельного вопроса придется давать из своего кармана городским жителям, а зачем им это? Стенли замер и перестал поправлять галстук. Да, жена его — проницательная женщина.

— Вот тут ты попала в точку,—сказал он.—Уилтрем ему всыплет как следует!

— Конечно,—подтвердила Клара.—Как прекрасно, что мы заполучили Генри Уилтрема с его идеализмом и высоким налогом на импортный хлеб; он прав, что его не заботит вопрос о судьбе городской промышленности — она ведь все равно хиреет, что бы там ни кричали радикалы и грошовая пресса,—пока мы не станем выращивать свой хлеб. Это очень здравая мысль.

— Да,—пробормотал Стенли,—и если он сядет на своего конька, весело будет мне с ними со всеми в курительной! Я-то знаю, во что превращается Каскот, когда засучит рукава.

Глаза у Клары загорелись; ей очень хотелось поглядеть на мистера Каскота, когда он засучит... то есть послушать, как он излагает теорию, с которой он без конца выступает в печати,—о том, что с земледелием в стране покончено, оно сменилось огородничеством и изменить это положение могла бы только революция. Она слышала, что Каскот так резко и ожесточенно спорит, словно от души ненавидит своих противников. Она надеялась, что ему дадут эту возможность... может, Феликс его раззадорит.

— А как насчет дам? — внезапно спросил Стенли.—Они-то выдержат все эти политические прения? Надо ведь и о них подумать.

Клара и об этом не забыла. Кинув прощальный взгляд на себя в дальнее зеркало через дверь спальни, она сказала:

— Думать, что дамы не интересуются земельным вопросом,—грубая ошибка. Леди Бритто—в высшей сте-

пени умная женщина, а Милдред Маллоринг знает каждый дом у себя в поместье.

— То и дело сует в них свой нос, — пробурчал Стенли.

Леди Фанфар, миссис Слизор и даже Хильда Мартрет интересуются тем, чем заняты их мужья, а мисс Боутри интересуется всем на свете. Что же касается Мод Ютрэд — ей все равно, о чем говорят, лишь бы ее приглашали; Стенли нечего беспокоиться, все сложится отлично: будут достигнуты важные результаты и сделан важный шаг вперед. Произнеся эти слова, она повела пышными плечами и вышла. Клара не признавалась никому, даже Стенли, в своей заветной мечте: ей хотелось, чтобы тут, в Бекете, под ее эгидой был заложен фундамент проекта, который «возродит земледелие», каков бы он ни был, этот проект; Стенли над ней только посмеялся бы, хотя потом, когда это осуществится, он, несомненно, станет лордом Фрилендом...

Недде в этот вечер за обедом все было ново и необычайно интересно. И не потому, что она не привыкла к званым обедам или умным разговорам — у них в Хемпстеде бывало много гостей и произносилось много слов, но тут и люди и слова были совсем другие. После первого румянца смущения и беглого осмотра двух «шишек», между которыми ее посадили, взгляд ее невольно стал блуждать по сторонам, а уши улавливали лишь обрывки того, что ей говорили соседи. Впрочем, она скоро обнаружила, что от полковника Мартлета и сэра Джона Фанфара ей и этих обрывков было более чем достаточно. Ее взгляд поверх букета азалий то и дело встречался со взглядом отца, и они весело перемигивались. Раз два она пыталась переглянуться с Аланом, но он все время ел и сегодня вечером был очень похож на дядю Стенли, только молодого.

Что она чувствовала?.. Небольшие уколы беспокойства по поводу того, как она выглядит; какую-то подавленность и в то же время возбуждение, — ведь кругом так шумно, а ей подают столько разной еды и питья; явное удовольствие от того, что и полковник Мартлет, и сэр Джон Фанфар, и другие мужчины, особенно тот, симпатичный, с растрепанными усами, — казалось, что он вот-вот кого-нибудь укусит, — украдкой на нее поглядывают

Ах, если бы она была уверена, что они смотрят на нее не потому, что им кажется, будто она слишком молода для этого общества! Она чувствовала непрерывный трепет оттого, что вот, она, настоящая жизнь, тот настоящий мир, где говорят и делают что-то важное, значительное; слух ее был насторожен, но в глубине души у нее, как ни странно, мелькала опаска, что ничего значительного здесь не скажут и не сделают. Она понимала, что это с ее стороны наглость. В воскресенье вечером дома разговаривали о загробном существовании, о Ницше, Толстом, китайской живописи, постимпрессионизме и могли вдруг вспылить и даже разъяриться из-за вопроса о мире, из-за Штрауса, правосудия, брака, Мопассана или поспорить о том, губит ли душу материализм. Иногда кто-нибудь из спорщиков вскакивал и начинал шагать по комнате. Но единственные два слова, которые она сегодня могла уловить, были фамилии двух политических деятелей, которых, кажется, никто не одобрял, кроме того симпатичного, готового кусаться. Раз она застенчиво спросила полковника Мартлета, любит ли он Штрауса, и была озадачена его ответом. «О да! Эти его «Сказки Гофмана» очень милы. А вы часто ходите в оперу?» Она, конечно, не знала, что тут же родившееся у нее подозрение крайне несправедливо: в правящих классах почти все, кроме полковника Мартлета, знали, что «Сказки Гофмана» написал Оффенбах. Но, помимо всего, она понимала, что ей никогда, никогда не научиться разговаривать, как разговаривают они,— так быстро, так безостановочно, не интересуясь, слушают ли тебя все или тот, с кем ты говоришь. Ей всегда казалось, что слова твои предназначены только для ушей того, кому они сказаны, но здесь, в большом свете, она, очевидно, должна говорить только о том, что могут слушать все, и ей было ужасно обидно, что она не в силах придумать ничего достойного всеобщего внимания. И вдруг ей захотелось остаться одной. Ну как это нехорошо, неразумно,— она ведь столькому может здесь научиться. Однако, если хорошенько вдуматься, чему здесь было учиться? И, рассеянно прислушиваясь к словам полковника Мартлета, который рассказывал ей, как он почитает такого-то генерала, она почти с отчаянием поглядывала на человека, готового кусаться. В эту минуту он молчал,

уоставившись в свою до странности пустую тарелку. И Недда подумала: «У него очень славные морщинки вокруг глаз, правда, они могут быть признаком болезни сердца; мне нравится и цвет его лица, такой приятно желтоватый, но и тут, возможно, виновата печень. Все равно он мне нравится, жаль, что я не сижу с ним рядом, он какой-то настоящий». Эта мысль о человеке, о котором она ничего не знала, даже его имени, навела ее на другую: ничто вокруг—ни разговоры, ни лица, ни даже блюда, которые она ела,— не были настоящими.

Ей словно снился какой-то странный, наполненный жужжанием сон. Ощущение призрачности не прошло даже тогда, когда ее тетка, взяв перчатки, поднялась и дамы перешли за ней в гостиную. Там, сидя между миссис Слизор и леди Бритто, напротив леди Маллоринг и стоявшей лицом к ней, опершись на рояль, мисс Боутри, она ущипнула себя, чтобы прогнать мучившее ее ощущение: ей казалось, что стоит женщинам остаться наедине с собой, как они замолчат и на губах у них застынет горькая усмешка. Интересно, будет ли эта усмешка у всех, когда они закроют за собой дверь своей спальни, или только у нее одной? На этот вопрос она не могла ответить и, разумеется, не могла задать его ни одной из дам. Недда поглядела, как они сидят и разговаривают, и почувствовала себя очень одинокой. Но тут взгляд ее упал на бабушку. Фрэнсис Фриленд сидела в стороне, на стуле из сандалового дерева, отделенная от других морем полированного паркета. Она сидела чуть-чуть улыбаясь и совсем неподвижно, если не считать непрерывного движения белых рук на черном шелке платья. К седым волосам бриллиантовой брошкой был приколот кусок «шантильи», концы его свисали позади изящных, немножко длинных ушей. А на плечах была ниспадавшая до полу серебристая накидка, похожая на кольчугу феи. Все, по-видимому, считали, что она не может принимать участие в беседе о «земельном вопросе» или об убийстве во Франции, о русской опере, о китайской живописи или о проделках некоего Л., чья судьба как раз сейчас решалась; поэтому она сидела одна.

И Недда подумала: «Насколько она больше похожа на истинную леди, чем все остальные! В ней есть та глубина, которая так успокаивает, чего нет у всех этих

«шишек»; может быть, дело в том, что она человек другого поколения».

Недда подошла к бабушке и села с ней рядом на низенький стульчик.

Фрэнсис Фриленд сразу же поднялась и воскликнула:

— Но, милочка, тебе ведь неудобно на этом стульчике! Садись на мое место.

— Что вы, бабушка, не надо!

— Нет, нет, садись! Тут очень хорошо, а мне все время ужасно хотелось посидеть на том стульчике, что ты взяла себе. Ну прошу тебя, милочка, сделай мне удовольствие!

Видя, что если она не уступит, ей придется выдержать долгую борьбу, Недда обменялась с ней стульями.

— Вы любите такие званые вечера, бабушка?

Фрэнсис Фриленд спряталась за улыбкой. У нее была прекрасная дикция, хотя речь ее и не напоминала красноречие «шишек».

— Мне кажется, милочка, что все это крайне интересно. Так приятно встречать новых людей. Конечно, их толком так и не узнаешь, но наблюдать за ними очень забавно, особенно за их прическами! — И, понизив голос, добавила: — Ты только погляди на ту, у которой перо торчит прямо вверх, видала ты когда-нибудь такое чучело? — И она засмеялась с незлобивым ехидством. Глядя на это драгоценное перо, устремленное в небеса, Недда почувствовала себя союзницей бабушки: как глубоко ей противны все эти «шишки»!

Голос Фрэнсис Фриленд заставил ее очнуться:

— Знаешь, милочка, я нашла замечательное средство для бровей. Надо намазать чуть-чуть на ночь, и они никогда не растреплются. Я непременно дам тебе баночку.

— Я не люблю помаду, бабушка!

— Ах, милочка, это вовсе не помада. Это совсем особый состав, и класть надо самую-самую малость.

И, молниеносно сунув руку в какой-то тайник на боку, она достала небольшую круглую серебряную коробочку. Открыв ее, она взглянула через плечо, не смотря ли «шишки», мазнула мизинцем по содержимому коробочки и тихонько сказала:

— Берется самая чуточка и мажется вот так... Дай-ка! Никто не увидит.

Отлично понимая, что у бабушки просто страсть делать все вокруг как можно красивее, и не очень-то заботясь о своих бровях, Недда наклонила голову; но вдруг, перепугавшись, что «шишки» заметят эту процедуру, откинулась назад и шепнула:

— Нет, бабушка! Только не сейчас!

Но тут в гостиную вошли мужчины, и, воспользовавшись этим, она сбежала к окну.

Снаружи было совершенно темно, — луна еще не взошла. Какая там душистая, покойная тьма! В открытое окно заглядывают глицинии и ранние розы, но цвет их едва различим. Недда взяла в руку розу, наслаждаясь ее хрупкой нежностью, ее прохладным прикосновением к своей горячей ладони. Вот тут у нее в горсти что-то живое, маленькая живая душа! А там во тьме миллионы и миллионы таких душ, крошечных, как язычок пламени или как клубочек, но живых и настоящих.

За ее спиной послышался голос:

— Правда, ничего нет лучше темноты?

Она сразу догадалась, что это тот, который готов кого-нибудь укусить; голос был подходящий — мягкий, глуховатый. И, благодарно на него взглянув, она спросила:

— Вы любите званые обеды?

Приятно было видеть, как заискрились от смеха его глаза и надулись худые щеки. Он помотал головой и пробормотал в свои лохматые усы:

— Вы их племянница, не правда ли? Я знаю вашего отца. Он большой человек.

Услышав такие слова о своем отце, Недда покраснела.

— По-моему, да! — сказала она с жаром.

Ее новый знакомый продолжал:

— У него есть талант говорить правду; он умеет смеяться над собой, а не только над другими; вот что делает его дарование таким драгоценным. Здесьние ко-либри не могли бы улыбнуться своим дурачествам, даже если бы от этого зависела их ничтожная жизнь.

В его глуховатом голосе звучал скрытый гнев, и Недда снова подумала:

«Он очень симпатичный!»

— Они тут говорят о «земельном вопросе». — Он поднял руки и запустил их в свои бесцветные волосы. — «Земля»! О господи! «Земля»! Вы поглядите на этого субъекта.

Недда подняла голову и увидела человека, похожего на Ричарда Львиное Сердце из учебника истории, с соломенными усами, только начинающими седеть.

— Сэр Джералд Маллоринг, — надеюсь, он не ваш друг. Божественное право помещика держать «землю» в ежовых рукавицах! А наш приятель Бритто!

Недда, следуя за его взглядом, посмотрела на крепко сбитого человека с быстрым взглядом и лощеной надменностью на темном, гладко выбритом лице.

— В душе-то он просто заносчивый негодяй, слишком равнодушный, чтобы испытывать хоть какие-нибудь эмоции и делать что бы то ни было. Он считает, что это просто потеря драгоценного времени. Ха! Драгоценного! И это человек, в которого они верят! А бедный Генри Уилтрем со своими причитаниями: «Надо выращивать свой хлеб, максимально использовать землю для производства зерна, и остальное наладится само собой!» Как будто мы давно не пережили этот малокровный индивидуализм; как будто в наши дни, когда существует мировой рынок, расцвет и гибель земледелия в нашей стране не зависят от того, станет ли деревня питомником душевного и физического здоровья народа! Ну и ну!

— Значит, все, что они говорят, это несерьезно? — робко спросила Недда.

— Мисс Фриленд, земельный вопрос — это большая наша трагедия. Почти все они, за исключением одного или двух, хотят изжарить яичницу, не разбивая яиц; что ж, когда они наконец надумают их разбить, вы уж мне поверьте, яиц больше не останется. Вся страна будет превращена в парки и пригороды. Настоящие люди от земли, те, что еще там сохранились, безгласны и беспомощны; а все эти господа по тем или иным причинам ни на что всерьез и не покушаются; они только болтают и пускают пыль в глаза — вот и все. А ваш отец этим интересуется? Он бы мог написать что-нибудь путное.

— Он всем интересуется, — сказала Недда. — Пожалуйста, говорите дальше, мистер... мистер... — Она страш-

но боялась, что он вдруг вспомнит, как она неприлично молода, и прервет свою интересную, горячую речь.

— ...Каскот, я — издатель, но вырос на ферме и кое-что понимаю в сельском хозяйстве. Видите ли, мы, англичане, ворчуны, снобы до мозга костей и хотим быть лучше, чем мы есть; да и образование в наши дни направлено на то, чтобы люди презирали всяческий покой и обыденность. Да мы никогда и не были домоседами, как французы. Вот что лежит в основе всего дела — как бы они к нему ни относились, — и радикалы и консерваторы. Но если они не смогут внушить обществу, какой должна быть подлинно здоровая и разумная жизнь; если они не произведут революции в нашем образовании, все у них пойдет прахом. Будет продолжаться все та же болтовня, все та же политическая возня, обсуждаться тарифы и всякая чушь, а тем временем люди от земли совсем исчезнут. Нет, сударыня, индустриализация и промышленный капитал нас погубили! Если нация не проявит самого упорного героизма, нам ничего не останется, кроме огородничества!

— Значит, если мы все проявим героизм, земельный вопрос может быть решен?

Мистер Каскот улыбнулся.

— Конечно, в Европе может грянуть война или произойти еще какая-нибудь встряска, которая поднимет народный дух. Но если этого не будет, видали ли вы страну, способную на сознательный и единодушный героизм, — разве что Китай в опиумных войнах¹. Какая страна последовательно меняла самый дух воспитания молодежи, направление умов; когда и где по собственной воле жертвовали своими капиталами? Где говорилось с твердой верой и убеждением: «Раньше всего я хочу быть здоровым и неиспорченным. Я не позволю, чтобы во мне умерла любовь к душевному здоровью и естественным условиям жизни!»? Где и когда это было, мисс Фриленд?

И, глядя так пристально на Недду, что, казалось, он ей подмигивает, Каскот продолжал:

¹ «Опиумные войны» — захватнические войны против Китая, которые вели Англия в 1839—1842 годах и Англия и Франция в 1856—1860 годах. Захватчики выдвинули поводом для войны меры китайских властей, направленные против ввоза опиума.

— У вас передо мной преимущество в тридцать лет. Вы увидите то, чего я уже не смогу увидеть: последнего из английских крестьян. Вы когда-нибудь читали «Эревон»¹, где рассказано, как люди ломают свои машины? Нужен вот такой же всенародный героизм, чтобы сохранить хотя бы то, что осталось от крестьянства.

Недда ничего не ответила и только насупила брови. Перед ее глазами сразу возникла фигура хромого старика, — его, как она узнала, звали Гонт, — который стоял на дорожке под яблоней и разглядывал какой-то маленький предмет, вынутый из кармана. Она и сама не понимала, почему вдруг о нем вспомнила.

— Как интересно! — живо сказала она Каскоту. — Мне так хочется об этом побольше узнать! Я имею кое-какое представление о системе потогонного труда, потому что иногда сталкиваюсь с рабочими.

— Да все это одно к одному, — сказал Каскот. — И это вопрос вовсе не политический, а религиозный, он затрагивает национальное самосознание и веру, — все дело в том, понимаем ли мы, чем мы хотим быть и на что мы пойдем, чтобы этим стать. Ваш отец подтвердит, что пока мы имеем об этом такое же понятие, как кошка о своем химическом составе. Ну, а что до этих милейших господ, я ничего дурного сказать не хочу, но если они хоть что-то понимают в земельном вопросе, то я китайский император!

И, видно, для того, чтобы охладить свою голову, он высунулся из окна.

— Да, ничего нет лучше темноты. В ней вам виден только тот путь, по которому вам надо идти, а не сто пятьдесят дорог, которые вы могли бы выбрать. В темноте ваша душа принадлежит вам, при свете дня, лампы или луны — никогда!

Сердце Недды запрыгало: казалось, он сейчас заговорит о том, что ей хочется узнать больше всего на свете. Щеки ее зарделись, она стиснула руки и спросила очень решительно:

— Мистер Каскот, вы верите в бога?

Мистер Каскот издал какой-то странный, глуховатый звук, однако это не был смех, и к тому же он словно по-

¹ Утопический роман английского писателя Самюэля Батлера, изданный в 1872 году.

нимал, что в эту минуту ей будет неприятно почувствовать на себе его взгляд.

— Гм!.. Все в него верят в соответствии со своей натурой. Одни называют его «Оно», другие — «Он», третьи, в наши дни — «Она», — вот и вся разница. С тем же успехом вы могли спросить, верю ли я в то, что живу.

— Ну да, — сказала Недда, — но что называете богом вы?

Услышав ее вопрос, он как-то странно передернулся, и у нее мелькнула мысль: «Он, наверно, думает, что я настоящий *enfant terrible*¹». Его лицо обернулось к ней — странное, бледное, чуть припухшее лицо с хорошими, черными глазами, и она поспешно добавила:

— Наверное, это нечестно — задавать такой вопрос. Но вы вот говорите о темноте и о единственном пути... и я думала...

— Нет, очень честно. И я, конечно, отвечу: всех троих. Но вот вопрос: надо ли определять для себя, что такое бог? Я считаю, не надо. С меня хватает сознания, что в нас живет инстинктивная тяга к совершенству, которую, надеюсь, мы будем ощущать и на смертном одре; какое-то чувство чести, запрещающее опускать руки и отчаиваться. Вот и все, что у меня есть, но, пожалуй, мне большего и не нужно.

Недда крепко сжала руки.

— Мне это нравится, — сказала она, — только что такое совершенство?

Он снова издал тот же глуховатый звук.

— А! Что такое совершенство? — повторил он. — Трудный вопрос, не правда ли?

— Может, это... может, это всегда жертвовать собой, или может, это... всегда уметь, всегда знать, как себя проявить или выразить? — задыхаясь, проговорила Недда.

— Для одного — первое, для другого — второе, для третьего — и то и другое.

— Ну, а для меня?

— А вот это вы должны решать для себя сами. У ка-

¹ Буквально: «ужасный ребенок» (франц.). — Человек, своей откровенностью или наивностью ставящий других в неловкое положение.

ждого из нас внутри нечто вроде метронома — такой поразительный, самодействующий инструмент, самый тонкий механизм на свете. Люди зовут его совестью; он определяет ритм нашего сердца. Вот и все, чем нам надо руководствоваться.

Недда сказала взволнованно:

— Да! Но ведь это ужасно трудно!

— Вот именно. Потому-то люди и придумали религию и разные способы перекладывать ответственность на других. Мы все боимся сделать усилие, взять на себя ответственность и всячески этого избегаем. Где вы живете?

— В Хемпстеде.

— Ваш отец, верно, вам большая опора?

— О да! Но, понимаете, я ведь намного моложе его! Я хочу задать вам еще только один вопрос. Что, все они очень большие «шишки»?

Мистер Каскот обернулся и, прищурившись, оглядел комнату. Вот теперь у него и в самом деле был такой вид, будто он кого-нибудь укусит.

— Если положиться на их собственную оценку, то да. Если на оценку страны, — не слишком. Если спросить мое мнение, то нет. Я знаю, что вам хочется спросить, считают ли они меня «шишкой». О нет! Опыт вам покажет, мисс Фриленд, одно: для того, чтобы быть «шишкой», надо жить по правилу: почешу тебе спину, и я за это почешу спину тебе. Говоря серьезно, эти тут — невелики птицы. Но беда наша в том, что людей, всерьез занятых земельным вопросом, слишком мало. И, может, только восстание, такое, как было в 1832 году, заставит людей заняться земельным вопросом вплотную. Не подумайте, что я к нему призываю — избави бог! С этими обездоленными беднягами обошлись тогда хуже, чем со скотом, и не миновать им этого снова!

Но прежде чем Недда успела засыпать его вопросами о восстании 1832 года, послышался голос Стенли:

— Каскот, я хочу вас тут кое с кем познакомить.

Ее новый приятель прищурился еще сильнее и, что-то проворчав, протянул ей руку.

— Спасибо за этот разговор. Надеюсь, мы еще увидимся. Когда вам захочется что-нибудь узнать, я буду рад помочь всем, чем могу. Спокойной ночи!

Она почувствовала его сухое, теплое пожатие, но рука была мягкая, как у людей, которые слишком часто держат в ней перо. Недда смотрела, как он, сгорбившись, пошел через комнату следом за ее дядей, словно готовился нанести или принять удар. И, подумав: «А он, наверно, хорош, когда дает им трепку!» — снова отвернулась и стала смотреть в темноту, — ведь он же сказал, что это — самое лучшее на свете! Темнота пахла свежескошенной травой, была наполнена легким шорохом листьев, и чернота ее была похожа на гроздь черного винограда. На сердце у Недды стало легко.

ГЛАВА IX

«...Когда я первый раз увидела Дирека, мне показалось, что я всегда буду робеть перед ним и теряться. Но прошло четыре дня, всего четыре дня, и весь мир преобразился... И все же, если бы не гроза, я не смогла бы вовремя преодолеть застенчивость. Он никогда еще никого не любил, и я тоже. Такое совпадение, наверное, бывает редко, и поэтому все становится еще более значительным. Есть такая картина — не очень хорошая, я знаю, — на ней изображен молодой горец, солдаты уводят его от возлюбленной. Дирек такой же пылкий, дикий, застенчивый, гордый и черноволосый, как человек на этой картине. В тот последний день мы с ним шли по холмам; все шли и шли, а ветер бил нам в лицо, и мне казалось, что я могу так идти до скончания века; а потом увидели Джойфилдс! Его мать — необыкновенная женщина, я ее боюсь. Но дядя Тод — просто прелесть! Я еще никогда не встречала человека, который замечал бы столько вещей, которых я не вижу, и не видел бы ничего из того, что замечаю я. Я уверена, что в нем есть то, что, по словам мистера Каскота, мы все теряем: любовь к простоте, естественному существованию. А потом настал миг, когда мы с Диреком прощались в конце фруктового сада. Внизу был луг, покрытый лунно-белыми цветами; темные, дремлющие коровы; во всем какое-то удивительное чувство благодати: и в ветвях над головой, и в бархатном, звездном небе, и в росистом воздухе, ласкаю-

щем лицо, и в величественном, обширном молчании — все кругом словно застыло в молитве, и я тоже молилась о счастье. Я и была счастлива, и, по-моему, счастлив был он. Может быть, я никогда больше не буду так счастлива. Пока он меня не поцеловал, я не знала, что в мире может быть столько счастья. Теперь я знаю, что натура у меня совсем не такая холодная, как я раньше думала. Я знаю, что пошла бы за ним куда угодно и сделала все, чего бы он ни попросил. Что подумает папа? Только на днях я говорила ему, что хотела бы изведать все. Но это приходит только через любовь. Любовь делает мир прекрасным, похожим на те картины, которые словно излучают золотой свет! Она превращает жизнь в сон; нет, неправда, не в сон, а в необыкновенную мелодию! Наверно, вот оно, настоящее волшебство, — то блаженное чувство, когда словно плывешь в золотистом тумане и душа твоя, не запертая в твоём теле, бродит с его душой. Я хочу, чтобы душа моя свободно бродила всегда, и не хочу, чтобы она возвращалась назад такой, какой была прежде, — холодной, неудовлетворенной! Ничего не может быть прекраснее любви к нему и его любви ко мне. И я больше ничего и не хочу, ничего! Счастье, пожалуйста, останься со мной! Не покидай меня!.. А все же они меня пугают, и он меня пугает — меня страшит идеализм, желание совершать великие дела и бороться за справедливость. Ах, если бы и меня так воспитали! Но все у них было совсем по-другому. По-моему, дело не в них самих, а в их матери. Я выросла, издали глядя на жизнь, как на сцену: наблюдая, оценивая, стараясь понять, — но я совсем еще не жила. Мне надо теперь жить по-другому, и я так и сделаю. По-моему, я могу точно назвать ту минуту, когда я его полюбила. Это было в классной комнате, вечером, на второй день. Мы с Шейлой сидели там перед самым ужином, а он вошел вне себя от гнева — он так великолепно выглядел! «Этот лакей разложил мои вещи, будто я совсем младенец, да еще спрашивает, где у меня подвязки, чтобы пристегнуть к носкам; развесил на стуле все по порядку. Неужели он думает, я не знаю, что надеть раньше? Даже вытащил язычки из башмаков, загнул их кверху!» Потом Дирек поглядел на меня и сказал: «Неужели и с вами так же нянчатся? А бедный старый Гонт — ему

шестьдесят шесть лет, он хромой—и должен жить на три шиллинга в неделю. Вы только подумайте! Эх, если бы у нас была хоть капля смелости...» И он сжал кулаки. Но Шейла поднялась, пристально на меня взглянула и сказала ему: «Довольно, Дирек». Тогда он взял меня за руку. «Но она же наша двоюродная сестра!» Вот тут я его и полюбила, и, по-моему, он это понял, потому что я не могла отвести от него глаз. Но вот когда после ужина Шейла запела «Красный сарафан», тогда я уже знала наверное. «Красный сарафан» — замечательная песня, в ней такой простор и такая тоска и в то же время такой покой,—это песня души; и когда она пела, он все время смотрел на меня. За что он может меня любить? Я ведь ничто, ни на что не годна! Алан называет его «подростком», говорит, что у него одни ноги да крылышки! Иногда я просто ненавижу Алана, он такой благодетельный, такой скучный. Самое смешное, что ему нравится Шейла. Ничего, она его расшевелит, она его подстегнет насмешками! Нет, я, конечно, не хочу, чтобы Алану было больно, я хочу, чтобы все на свете были счастливы, счастливы, как я... На следующий день разразилась гроза. Я никогда еще не видела молнию так близко, но не испугалась. Я знала, что, если бы молния ударила в него, она попала бы и в меня, и поэтому ничуть не боялась. Когда любишь, то не боишься, если то, что должно случиться, случается с обоими. Когда гроза кончилась и мы вышли из-за скирды и пошли домой через луга, все животные смотрели на нас, будто на что-то совсем новое, чего они никогда не видели, а воздух был такой свежий, благоуханный, и алая гряда облаков погружалась в лиловую дымку, а вязы казались такими массивными и почти черными. Он обнял меня за плечи, и я ему это позволила... На той неделе они приедут к нам гостить. Но ведь этого ждать еще целую вечность! Хоть бы маме они понравились, тогда я смогу поехать к ним в Джойфилдс. Да, но понравятся ли они ей? Как было бы просто, будь они такие, как все. Но если бы он был такой, как все, я бы его не любила; все дело в том, что он не похож ни на кого на свете! И это не моя выдумка, не потому, что я влюблена,—стоит только сравнить его с Аланом, с дядей Стенли или даже с папой. И делает он все тоже как-то особенно: и ходит, и стоит, весь уйдя в

себя, как олень, и глядит, словно у него горит огонь внутри; и даже улыбка у него своя. Папа спросил меня, что я о нем думаю. Это было на второй день. Тогда я думала только, что он слишком гордый. А папа сказал: «Ему бы поступить в полк шотландских стрелков. Жаль, ужасно жаль!..» Конечно, он воин. Я не люблю войну, но если я не буду готова тоже воевать, он меня, наверно, разлюбит. Придется научиться. О тьма, помоги! И помогите мне вы, звезды! О боже, сделай меня храброй, и я поверю в тебя навсегда. Если ты тот дух, который живет во всем и превращает все творения в цветы, такие совершенные, что мы поем и смеемся при виде их красоты, поселись и во мне, сделай и меня красивой и отважной; тогда я, живая или мертвая, буду его достойна, а это все, чего мне надо. Каждый вечер я в мыслях буду стоять рядом с ним там, на краю фруктового сада, под деревьями, глядя на белые цветы и дремлющих коров, и, может, почувствую, что он опять меня целует... Как я рада, что видела старика Гонта: теперь их чувства мне понятнее. Он показал мне и этого бедного батрака Трайста, того, кто не смеет ни жениться на сестре своей жены, ни жить с ней в одном доме, если он на ней не женится. Какое право имеют люди вмешиваться в чужую жизнь? У меня в душе все прямо кипит! Дирека и Шейлу с детства научили сочувствовать нищим и обездоленным. Если бы они жили в Лондоне, их бы, я уверена, еще больше все это бесило. И нечего себе говорить: «Я не знаю батраков, я понятия не имею, в чем они нуждаются», — ведь они просто деревенское выражение того же, что я знаю и вижу здесь, в Лондоне, когда не закрываю на это глаз. Из одного разговора я поняла, как болезненно они все это переживают; это было вечером в комнате Шейлы, когда мы, четверо, ушли наверх. Разговор завел Алан, — я видела, что они этого не хотели; но он стал критиковать то, что говорили некоторые из «шишек»: университет делает мальчиков ужасно заносчивыми! Ночь была чудная, мы сидели у огромного, широкого окна. Мимо нас все время сновала маленькая летучая мышь; а за ветвями бука в лунном свете блестело озеро. Дирек сидел на подоконнике, и при каждом движении он меня касался. Когда он до меня дострагивается, всю меня охватывает жаркая дрожь.

Я слышала, как он скрипит зубами от того, что говорит Алан, да еще к тому же ужасно нравоучительным тоном, как в газетной статье: «Мы не можем подходить к вопросам о земельной реформе с точки зрения эмоциональной. Мы должны руководствоваться только рассудком». Тогда Дирек прервал его: «А ну-ка походи по деревням, как мы; погляди, в каких хлевах живут люди; какую воду они пьют; какие клочки земли они обрабатывают; погляди на дырявые, как решето, крыши, на худых детей; и погляди на их терпение и отчаяние; погляди, как они работают день и ночь, и все же на старости лет им приходится жить за счет прихода! Погляди на все это, а потом уж говори о рассудке! Рассудок! Это отговорка трусов, отговорка богачей, которые ничего не желают делать. Это отговорка людей, которые нарочно на все закрывают глаза, боясь, что в них проснется сочувствие! Рассудок никому не помогает: он слишком рассудочен! Надо действовать, тогда, может, удастся и рассудок подвинуть на что-нибудь путное». Но Шейла дернула его за руку, и он сразу замолчал. Она нам не доверяет. Она всегда будет меня от него отталкивать. Ему исполнилось двадцать лет, а мне через неделю — восемнадцать; разве мы не можем сразу же пожениться? Тогда, что бы ни случилось, меня с ним не разлучат. Если бы я могла рассказать папе и попросить, чтобы он мне помог! Но я не могу, — говорить об этом даже с папой мне кажется богохульством. Всю дорогу домой в поезде я старалась ничего не показать, хотя мне и тяжело что-то таить от папы. Любовь меняет все, она переплавляет весь мир и создает его заново. Любовь — это солнце нашего духа и ветер. Но иногда и дождь!.. Об этом я не хочу думать... Интересно, а он что-нибудь сказал тете Кэрстин?»

ГЛАВА Ж

Пока Недда далеко за полночь изливала свою душу в маленькой белой комнатке с сиреневыми занавесками в старом доме на Спаньярдс-роуд, Дирек, о котором она писала, шагал среди Молвернских холмов, поднимаясь в темноте все выше и выше. Собеседниками его были зве-

зды, хотя он и не был поэтом, обладая пылкой натурой прирожденного бойца, которая выражает себя не в словах, а в физическом исступлении. Он вышел из дому сразу после бурного полуночного спора с Шейлой. Что он наделал, кричала она ему, влюбился как раз тогда, когда им нужны все их время, все помыслы и все силы для борьбы с Маллорингами! Это—глупость, это — слабость! Да еще в кого? В добрую, бесхарактерную девочку, которая им никак не помощница! Он ей отвечал запальчиво: какое ей до всего этого дело? Как будто люди влюбляются, когда хотят. Да и что она в этом понимает,— у нее ведь в жилах не кровь, а вода! Шейла отпарировала: «У меня больше крови в одном пальце ноги, чем у твоей Недды во всем теле! На что ты теперь годишься, если все твои мысли прикованы к Лондону?» И, скорчившись на краю своей кровати, она пристально глядела на него сквозь упавшие на глаза пряди и, дразня, напевала: «Пойдем со мной считать ворон и звезды, ворон и звезды, ворон и звезды!..»

Он не удостоил ее ответом и вышел в сердцах, быстро зашагал по темным лугам, пробираясь сквозь кустарник к неясным вершинам холмов. Там, наверху, росла низкая трава, было прохладнее, а над головой — ничего, кроме роя звезд. Его гнев прошел. Дирек не умел долго сердиться. Шейла была злопамятнее. Он, как и положено брату, смотрел на сестру сверху вниз и считал, что в ней говорит только ревность. Шейлу обижало, что ему теперь нужна не только она, но и другая, как будто его любовь к Недде может помешать его решению добиться справедливости для Трайста и Гонтов и раз и навсегда показать этим тиранам-помещикам, что они не могут издеваться над людьми.

Недда! До чего они живые и ясные, ее темные глаза, с какой любовью они на него смотрят! Недда! Какая она нежная, чистая! Прикосновение ее губ сделало что-то странное с его сердцем, пробудило в нем такие рыцарские чувства! Недда! Хоть бы раз взглянуть на нее,— он для этого с радостью пройдет сотню миль!

Воспитанием этого юноши до четырнадцати лет занималась мать, и она вырастила его на математике, французском языке и рассказах о героях. Он жадно поглощал книги по истории, интересуясь в них только герои-

ческими личностями, в особенности благородными борцами за справедливость и революционерами. Почитание этих замечательных людей он унес с собой в сельскохозяйственный институт, где проучился четыре года; обстановка там для него была нелегкая, но и она не выбила из него романтику. Он, правда, обнаружил, что за такие взгляды, как у него, приходится драться, и, хотя прослыл там бунтарем и защитником слабых, это давалось ему не так просто. Юноша и по сей день глотал книги, где рассказывалось о бунтовщиках и благородных подвигах. Спартак, Монтроз, Гофф, Гарибальди, Хэмпден и Джон Николсон были для него куда более реальными, чем люди, среди которых он жил, хотя он и научился никого не пускать — особенно свою практичную сестру Шейлу — в этот заоблачный мир героики; но, оставшись один, он любил блуждать по нему и давал себе слово, что и сам доберется до звезд, как его любимые герои. Так иногда можно увидеть где-нибудь на лугу маленького, чем-то глубоко поглощенного мальчишку: думая, что его никто не видит, он вдруг то выбросит вперед руку или ногу, то вскинет голову. Действенная натура — романтическая, но не мечтательная — обычно бывает не слишком склонна к любви; такие люди, как Дирек, часто остаются незатронутыми ею до более зрелых лет. Но Недда увлекла его своей трогательной, откровенной любовью и восхищением, а главное — прелестью своих глаз, в которых он видел верную, преданную, любящую душу. В ней было нечто такое, чем нельзя пренебрегать, а влюбленные это чувствуют с первого взгляда. И Дирек сразу же в душе вознес ее на самую вершину своей романтической мечты, это была его прекрасная дама, которой он отныне посвятит свой меч. Странная вещь, сердце юноши — удивительная смесь реальности и идеализма!

Торопливо взбираясь все выше, он достиг Молверн-Бикона как раз, когда начался рассвет, и остановился на вершине, наблюдая восход солнца. Он не был очень чувствителен к красоте, но и его восхитило то, как медленно гасли звезды в огромном и, казалось, беспредельном просторе, — их слабые, призрачные огни едва мерцали в тумане майского утра, а в небе уже открылось шествие алых флагов зари и сверкающих, словно пики,

солнечных лучей. Эти сельские просторы на заре — необъятные, таинственные — так не соответствовали предсказаниям Каскота о будущем Англии! Пока Дирек стоял и любовался, в небо взмыл первый жаворонок и запел свой восторженный гимн. Если не считать этой песни, во всем просторе уходящей ночи царила тишина — до самого Северна и моря, до уступов уэльских гор, и до Рекина, точкой черневшего в сером тумане далеко на севере. На какой-то миг свет и тьма легли рядом. Кто победит? Разгорится ли день или опять вернется ночь? И как приступом берут город, так и здесь все было кончено в одно решающее мгновение: свет отпраздновал победу. Дирек затянул потуже пояс и пошел напрямик по скользкой, росистой траве. Он хотел добраться до дома Трайста прежде, чем эта ранняя пташка упорхнет в поле. На ходу он стал размышлять. Вот Боб Трайст — это человек! Если бы только тут был десяток-другой таких, как он! Десяток-другой людей, которым можно доверять, которые доверяют друг другу и будут стойко держаться, когда станут ядром забастовки, — ее надо будет наметить на время сенокоса. Какие все-таки рабы эти крестьяне! Если бы на них можно было положиться, если бы только они стояли друг за друга! Рабство! Да, настоящее рабство, раз их можно выгнать из дому по чужой прихоти. Возмущение, которое он испытывал, глядя на то, как живут арендаторы и батраки, а в особенности глядя на всяческие проявления мелочной опеки и насилия, которым они подвергались, питалось тем, что он видел и слышал, ежедневно сталкиваясь с этим классом людей, — ведь среди них он, в сущности говоря, вырос. Сочувствуя им, но не являясь одним из них, Дирек мог одновременно и воспринимать их обиды, словно свои собственные, и ощущать себя их защитником, и даже презирать их за то, что они разрешают себя обижать. Он был достаточно близок к ним, чтобы понимать, что они чувствуют, и в то же время настолько далек, что не понимал, почему они при этом не поступают так, как на их месте поступил бы он. Словом, он знал их не больше, чем ему полагалось их знать.

Когда он пришел, Трайст умывался у колодца. В раннем утреннем свете квадратное, упрямое лицо высо-

кого батрака с такими странными собачьими глазами выглядело дряблым, тоскливым, потерянным. Прервав свое омовение, которое и так никогда не затягивалось, он поздоровался с Диреком и жестом пригласил его пройти на кухню. Молодой человек вошел и присел на подоконник рядом с горшком «девичьей красоты». Дом Трайста принадлежал Маллорингам, и его недавно подновили. В очаге горел небольшой огонь, и рядом стоял чайник с заваренным чаем. На дощатом столе были расставлены четыре чашки, положены ложки и сахар. Трайст готовил утренний завтрак и для себя и для детей, еще лежавших наверху в постели. Увидев это, Дирек вздрогнул, и глаза его потемнели. Он понимал, что это означает.

— Ты его просил еще раз, Боб?

— Да, просил.

— А что он сказал?

— Сказал, что приказание получил точное. Пока ты здесь живешь, говорит, без жены, ее к себе назад пускать не смей.

— А ты сказал, что за детьми некому смотреть? Ты ему как следует объяснил? Сказал, что миссис Трайст сама просила об этом, когда она...

— Все сказал.

— Что же он ответил?

— Очень сожалею и все такое, но это — приказание ее милости, и я перечить ей не могу. Я в это входить не хочу, говорит, ты лучше меня знаешь, как далеко у вас дело зашло, когда она здесь была; но раз ее милость ни за что не разрешает жениться на сестре покойной жены, — значит, если она вернется, вам не уйти от греха. А этого тоже нельзя, и, видно, придется тебе отсюда уехать.

Произнеся эту длинную речь, Трайст взял чайник и налил крепкого чаю в три чашки.

— Может, выпьете, сэр?

Дирек помотал головой.

Взяв чашки, Трайст пошел наверх по узкой лестнице. Дирек сидел, не двигаясь, уставившись на «девичью красоту», пока великан не вернулся и не уселся в дальний угол, отхлебывая из чашки свой чай.

— Боб,— заговорил вдруг юноша,— а тебе нравит-

ся, что с тобой обращаются, как с собакой, и заставляют водиться только с теми, с кем разрешит твой хозяин?

Трайст поставил чашку, встал и скрестил могучие руки — это быстрое движение у такого медлительного человека таило в себе что-то зловещее, — но не сказал ни слова.

— Тебе это нравится, Боб?

— Я не стану говорить, что у меня на душе, мистер Дирек; это — дело мое. А вот то, как я поступаю, видно, уж будет делом ихним.

И он поднял свои странные, мрачные глаза на Дирека. Минуту они молча глядели друг на друга, потом Дирек сказал:

— Тогда будь готов, смотри! — И, спрыгнув с подоконника, вышел.

На блестящей поверхности тинистого пруда спокойно резвились три утки, пользуясь тем, что человек и его черная душа — собака еще не встали и не нагнали на них страху божьего. Белизна их перьев, оттененная зеленью ряски, просто горела на солнце; трудно было поверить, что они не белые насквозь. Миновав три домика — в последнем из них жили Гонты, — Дирек приблизился к своей калитке, но не вошел, а направился к церкви. Она была очень маленькая, очень старая и как-то странно притягивала его к себе, в чем он не признался бы ни одной живой душе. Для его матери и Шейлы, по-женски нетерпимых, это небольшое, поросшее мхом серое каменное здание было символом лицемерия, показного благочестия; для его отца оно просто не существовало, потому что не было одушевленным: для него любой бродяга, пес, птица или фруктовое дерево значили куда больше. Но у Дирека церковь вызывала какое-то особое чувство, словно у человека, глядящего на берег родной страны, откуда его несправедливо изгнали, — странную тоску, подавляемую гордостью и досадой. Он часто приходил сюда и задумчиво сидел на поросшем травой пригорке у кладбища. Церковная служба с ее обрядами, традициями, догмой и требованием слепой веры удовлетворила бы в нем какую-то смутную его потребность, но слепая преданность матери мешала ему переступить этот порог; он не мог заставить себя преклониться перед церковью, которая считала его непокорную

мать заблудшей душой. Однако глубокий инстинкт, унаследованный им от ее же шотландских предков католиков и от благочестивых Моретонов, гнал его сюда в те часы, когда здесь бывало пусто. Эта маленькая церковь была его врагом, вместилищем всех тех свойств и душевных потребностей, против которых его с детства учили восставать; обитель собственничества, высокомерного снисхождения и чувства превосходства; школа, где его друзей-крестьян обучали знать свое место! И все же она имела для него эту до смешного странную притягательную силу. Вот так восставал и его любимый герой Монтроз, а потом, против своей воли, снова примкнул к той стороне, против которой он поднял оружие.

Дирек сидел, прислонившись к ограде, и рассеянно глядел на старинное здание — вдруг он увидел, что с противоположной стороны на кладбище вошла какая-то девушка, села на могильную плиту и стала ковырять землю носком башмака. Она его как будто не заметила, и он мог подробно разглядеть ее лицо — обыкновенное широкое, жизнерадостное лицо английской крестьянки, с глубоко посаженными плутовскими глазами и пухлыми красными, мягкими губами, готовыми улыбаться по любому поводу. Несмотря на свой позор, несмотря на то, что она сидела на могиле матери, вид у нее был ничуть не угнетенный. И Дирек подумал: «Уилмет Гонт симпатичнее их всех! Она вовсе не «дурная женщина», как о ней говорят, ей просто хочется повеселиться. И если ее отсюда выгонят, она все равно будет стараться жить весело, куда бы она ни попала; уедет в город и кончит там, как те девушки, которых я видел в Бристоле». И при воспоминании об этих ночных искательницах приключений, об их накрашенных лицах и заискивающей наглости его охватил ужас.

Он подошел к ней.

Она повернула голову при его приближении, и лицо ее оживилось.

— Ну как, Уилмет?

— Раненько вы встали, мистер Дирек.

— Я еще не ложился.

— Да ну?!

— Ходил на Молверн-Бикон смотреть восход солнца.

— Небось, очень устали?

— Нет.

— Там, наверно, хорошо! Оттуда, надо думать, далеко видно, чуть не до самого Лондона. А вы бывали в Лондоне, мистер Дирек?

— Нет.

— Говорят, это место веселое. — Ее плутовские глаза поблескивали из-под нахмуренных бровей. — Небось, там, в Лондоне, услышишь не только: «Сделай то!» да «Сделай это» или: «Ах ты, гадкая девчонка!» или «Ах ты, потаскушка!» Говорят, там для всякой девушки найдется место.

— Любой город — проклятое место, Уилмет.

И снова ее плутовские глаза засверкали.

— Ну, насчет этого ничего не могу сказать, мистер Дирек. Но я поеду туда, где меня не будут шпынять и тыкать в меня пальцами, как здесь.

— Твой отец за тебя стоит горой, а ты хочешь его бросить.

— Ох, отец! Он из-за меня свой кров теряет, верно, но уж зато и наслушаешься от него дома! А какой толк меня пилить! Пилит, пилит... Вот если бы одна из дочек ее милости чего-нибудь себе позволила, — а говорят, многие барышни не прочь повеселиться, чего только я не слышала! — ее бы, небось, никто из дому не гнал. «Нет, моя милая, вы здесь больше не будете смущать молодых людей! Отправляйтесь-ка отсюда подальше. Может, вас где-нибудь научат вести себя получше. Вон отсюда! Убирайтесь! Мне все равно, куда вы денетесь, уезжайте, и все!» Будто девушки — это бруски масла: все на один размер, на один вид, на один вес.

Дирек приблизился к ней и крепко взял ее за плечо. Ее красноречие сразу иссякло, как только она увидела его напряженное лицо, и она молча на него уставилась.

— Послушай, Уилмет! Дай слово, что ты не уедешь отсюда, ничего нам не сказав. Мы найдем тебе место. Обещай!

Плутовка ответила с неохотой:

— Ладно, только я все равно уеду!

Внезапно на щеках у нее появились ямочки, и она широко улыбнулась.

— А знаете, мистер Дирек, что про вас говорят? Будто вы влюбились. Вас видели в фруктовом саду. Эх, для вас-то и для нее ничего в этом нет зазорного! А стоит кому-нибудь меня поцеловать, и готово: ступай со двора!

Дирек отпрянул от нее, словно его ударили хлыстом. Она поглядела ему в лицо с виноватой нежностью.

— Не сердитесь на меня, мистер Дирек, и уходите лучше поскорее отсюда. Если вас тут со мной увидят, сразу станут болтать: «Эка, глядите! Еще одного молодого человека смущает! Ах он бедняжка!» Будьте здоровы, мистер Дирек!

Плутовские глаза серьезно глядели ему вслед, потом девушка снова уставилась в землю и стала ковырять ямку носком башмака. Но Дирек не оглянулся.

ГЛАВА XI

И люди и ангелы, увидев редкостную птицу или небывалого зверя, тотчас пытаются их убить. Вот почему общество не терпело Тода—человека, настолько скроенного не по его мерке, что он просто не замечал существования этого самого общества. И нельзя сказать, что Тод сознательно повернулся к нему спиной; просто он еще в юности начал разводить пчел. А для этого ему понадобилось выращивать цветы и фруктовые деревья, а также заниматься и другими сельскохозяйственными работами, чтобы обеспечить семью овощами, молоком, маслом и яйцами. Живя в тиши деревьев среди насекомых, птиц и коров, он стал чудаком. Характер у него не был умозрительным, в мозгу его медленно складывались обобщения, но он пристально следил за мельчайшими событиями своего маленького мирка. Пчелы или птицы, цветок или дерево были для него почти так же интересны, как человек; однако женщины, мужчины и особенно дети мгновенно проникались к нему симпатией, словно к большому сенбернару, ибо хотя Тод и мог рассердиться, но он был не способен кого-нибудь презирать и обладал даром без конца удивляться тому, что случается в мире. К тому же он был хорош собой, что тоже

играет немалую роль в наших привязанностях; несколько отсутствующий взгляд и тот не отталкивал, как бывает, когда собеседник явно поглощен собственными делами. Люди понимали, что этот человек просто увлечен внезапно замеченным запахом, звуком или зрелищем окружающей жизни — всегда именно жизни! Люди часто видели, как он с какой-то особой серьезностью глядит на засохший цветок, на мертвую пчелу, птицу или букашку, и если в эту минуту с ним заговаривали, он произносил, приоткрывшись пальцем к крылу или лепестку: «Погибла!» Представление о том, что происходит после смерти, по видимому, не входило в число тех обобщений, на которые был способен его ум. И то непонятное горе, которое он испытывал, видя смерть всякого живого существа, хоть оно и не было человеком, больше всего и приучало местных помещиков и духовенство говорить о нем, чуть кривя губы и слегка пожимая плечами. Что касается крестьян, то для них его чуждость заключалось прежде всего в том, что, будучи «джентльменом», он не ел мяса, не пил вина и не учил их уму-разуму, а, усевшись на что попало, внимательно их выслушивал — и при этом как будто даже не гордился простотой своего обхождения. В сущности говоря, их больше всего поражало, что он и слушал и отвечал, словно ничего не ожидая от этого ни для себя, ни для них. Как это получалось, что он никогда не давал им советов ни политических, ни религиозных, ни нравственных, ни деловых, оставалось для них тайной, никогда не перестававшей их удивлять; и хотя они были слишком хорошо воспитаны, чтобы пожимать плечами, в их мозгу бродило смутное подозрение, что «добрый джентльмен», как они его звали, «самую малость не в себе». Конечно, он оказывал множество мелких практических услуг и им самим и их скоту, но всегда как будто ненароком, так что они потом никак не могли понять, помнит ли он об этих услугах — а он, видно, и не помнил, — вот это, казалось им, пожалуй, больше всего и подтверждало, что он, так сказать, «маленько не в себе». У него была и другая беспокоившая их странность: он явно не делал никакого различия между ними и любым бродягой или случайным пришельцем. Им это казалось большим недостатком, — ведь деревня-то была в конце концов их дерев-

ня, и он сам, так сказать, принадлежал им. И в довершение всего здесь до сих пор не могли забыть о том, как он обошелся с одним погонщиком скота, хотя эта история и случилась уже добрый десяток лет назад. Для деревенского люда было что-то жуткое в той сокрушительной ярости, с какой он напал на человека, который всего лишь крутил хвост бычку и колол его острой палкой, что делает каждый погонщик скота. Люди говорили (свидетелями были почтальон и возница — природные *raconteurs*¹, так что история, видно, ничего не потеряла от пересказа), будто он просто рычал, когда кинулся по лугу на этого погонщика, дюжего, широкоплечего человека, поднял его, как дитя, кинул в куст дрока и так оттуда и не выпустил. Люди рассказывают, будто и его собственные голые руки были исцарапаны по самые плечи оттого, что он держал погонщика в этих колючках, а тот в это время орал, как оглашенный. Почтальон, вспоминая эту историю, говорил, что ему кажется, будто у него самого до сих пор болит все тело. А из слов, приписываемых Тоду, самыми мягкими и, пожалуй, единственно верными были:

— Клянусь господом богом, если ты, чертово отребье, еще хоть раз обидишь животное, я из тебя все внутренности выпотрошу!

Этот случай благотворно повлиял на обращение с животными во всей округе, но его не забыли и в каком-то смысле не простили. При необычайно мирном нраве и всегдашней кротости Тода эта вспышка придавала ему загадочность, а люди — особенно простой народ — не любят загадочности. И только дети, для которых все окружающее настолько загадочно, что особых тайн для них не существует, вели себя с Тодом так же, как он с ними, и протягивали ему руку с полнейшим доверием. Но и дети, подрастая (даже его собственные дети), постепенно заражались общим отношением к Тоду; он жил в чужом для них мире, а какой это был мир, они никак не могли постигнуть. Может быть, им мешало понять его то, что его интерес и любовь к ним ничем не отличались от интереса и любви, которые он питал ко всем живым существам без разбора, и они это чувство-

¹ Рассказчики (франц.).

вали. Но при всем том они испытывали к нему нечто вроде благоговения.

В эту рань он уже успел поработать не меньше двух часов, пропалывая фасоль — такой фасоли не было больше ни у кого во всем графстве, — и теперь решил минутку передохнуть, разглядывая паутину. Это чудесное творение, на котором, как звезды на небосводе, сверкали капли росы, висело на огородной калитке, и паук — большой и деятельный — глядел на Тода с естественной для его породы опаской. Тод застыл, замороженный этим сверкающим, прозрачным чудом. Потом, взяв мотыгу, он опять принялся за сорняки, глушившие его фасоль. Время от времени он останавливался, к чему-то прислушивался или поглядывал на небо, как это делают все сельские работники, бездумно и радостно давая отдохнуть мускулам.

— Пойдемте, пожалуйста, сэр, у нашего папы опять припадок.

На дороге за изгородью стояли две девочки. У старшей, которая тихонько окликнула его взволнованным голосом, было бледное личико с острым подбородком; пышные волосы, русые, словно спелая рожь, падали на плечи, а похожие на незабудки глаза, в которых уже проглядывало что-то материнское, были под цвет ее бледно-голубого и почти чистого фартука. Она держала за руку меньшую и более пухлую сестренку и, произнеся свою просьбу, замерла, молитвенно глядя на Тода. Он бросил мотыгу.

— Бидди, идем со мной. Сюзи, поди к миссис Фриленд или к мисс Шейле.

Он схватил старшую из сестер Трайст за худенькую ручку и побежал, стараясь приноровить свой шаг к ее шажкам, грузный великан рядом с этой пушинкой.

— Ты сразу ко мне побежала, Бидди?

— Да, сэр.

— Где это с ним случилось?

— В кухне, как раз когда я готовила завтрак.

— Ага! Приступ тяжелый?

— Да, сэр, уж очень тяжелый, — он весь в пене.

— Что ты с ним делала?

— Мы с Сюзи его перевернули на спину, а Билли смотрит, чтобы язык у него не попал в горло, как вы

тогда говорили, потом мы побежали за вами. Сюзи очень напугалась, он так завопил...

Они пробежали мимо трех домиков — из одного окна выглянула женщина и с удивлением посмотрела, как бежит эта странная пара,— мимо пруда, где ныряли и безмятежно плескались утки, ставшие еще белее при ярком свете солнца, прямо на кухню к Трайстам. Там на кирпичном полу лежал больной. Приступ падучей уже кончился, а его перепуганный сынишка мужественно сидел рядом с ним.

— Горячей воды и два полотенца, Бидди!

Девочка с необычайной быстротой и без всякой суеты принесла миску, чайник и то, что могло сойти за полотенца; они с Тодом молча стали прикладывать горячие компрессы к голове больного.

— Глаза как будто стали получше, Бидди?

— Да, сэр. У него уже не такой чудной вид.

Взяв на руки тяжелое тело — Трайст был ростом почти с него самого,— Тод понес его по немыслимо узкой лестнице и положил на неприбранную кровать.

— Фу! Открой окно, Бидди.

Девочка отворила маленькое оконце.

— Теперь ступай вниз, накали два кирпича, оберни их во что-нибудь и принеси сюда.

Сняв с Трайста башмаки и носки, Тод стал растирать его большие, сведенные судорогой ступни. Работая, он насвистывал, и мальчик, тихонько поднявшись по лестнице, уселся на порожке смотреть и слушать. Утреннее благоухание рассеяло затхлый запах каморки; мимо окна, чирикавая, проносились птицы. Девочка вернулась с кирпичами, обернутыми в ее нижние юбки, и, приложив их к подошвам отца, стояла, глядя на Тода, совсем как маленькая собачонка, охраняющая своих щенят.

— Тебе сегодня не придется идти в школу, Бидди.

— А Сюзи и Билли пойдут?

— Да, теперь уже нечего бояться. К вечеру он будет почти здоров. Но кто-нибудь тут с вами побудет.

В этот миг Трайст поднял руку, и девчушка подошла к нему, стараясь разобрать, что он бормочет: толстые губы шевелились с трудом.

— Папа говорит, чтобы я вам сказала спасибо.

— Хорошо. А вы уже позавтракали?

Девочка и ее братишка покачали головами.

— Ступайте вниз и поешьте.

Перешептываясь и оглядываясь, они ушли, а Тод сел возле кровати. В глазах больного светилась та же собачья преданность, с какой он рано утром глядел на Дирека. Тод уставился в окно, сжимая большую руку крестьянина. О чем он думал, глядя на липу за окном, на солнечные блики, пробивавшиеся сквозь ее листву и скользившие по свежесмытой стене, где уже опять проступали серые пятна сырости, на игру теней этой листвы? Она казалась почти жестокой, эта прекрасная игра теней той, другой жизни, которая шла снаружи, — такой полной, радостной, равнодушной к людям, к их страданиям; слишком веселой, слишком бодрой! О чем он думал, следя за беготней теней, — они, как серые бабочки, носились в погоне за солнечной пылью, в то время как рядом с ним лежал великан-крестьянин?

Когда Кэрстин и Шейла пришли его сменить, он спустился вниз. В кухне Бидди мыла посуду, а Сюзи и Билли обувались, чтобы идти в школу. Они замерли, глядя, как Тод шарит у себя в карманах, зная, что это им сулит. Сегодня оттуда появились две морковки, несколько кусков сахара, веревка, какой-то счет, садовый нож, кусочек воска, кусочек мела, три кремешка, кисет с табаком, две трубки, коробок спичек с одной только спичкой, шестипенсовик, галстук, плитка шоколада, помидор, носовой платок, мертвая пчела, старая бритва, кусок марли, немного пакли, палочка каустика, катушка ниток, иголка, но без наперстка, два листика щавеля и несколько листов желтоватой бумаги. Он отложил в сторону шестипенсовик, мертвую пчелу и все, что было съедобного. Трое маленьких Трайстов следили за ним в восторженном молчании; наконец Бидди кончиком мокрого пальца потрогала пчелу.

— Она невкусная, Бидди.

Услышав это, малыши один за другим несмело улыбнулись. Заметив, что и Тод улыбается, они заулыбались открыто, а Бидди даже захихикала. Потом, сбившись на пороге, все трое, переговариваясь и крепко зажав в руках гостинцы и шестипенсовик, долго смотрели, как удаляется по дороге его высокая фигура.

В то же самое утро, но несколько позже Дирек и Шейла медленно шли по хорошо подметенной аллее усадьбы Маллорингов. Губы у них были сжаты, как будто они уже произнесли последнее слово перед битвой, и старый фазан, пробежавший мимо них к кустам, вдруг шумно взмахнул крыльями и полетел к своему убежищу, испугавшись, очевидно, решительности, с которой шагали брат и сестра.

Они вошли под портик, который, по мнению некоторых, придавал дому Маллорингов облик греческого храма, — и только тогда Дирек нарушил молчание:

— А что, если они откажут?

— Поживем, увидим, но держи себя в руках, Дирек. Дверь им открыл высокий, важный лакей с напудренными волосами. Он молча ждал.

— Спросите, пожалуйста, сэра Джералда и леди Маллоринг, не могут ли они принять мисс Фриленд и мистера Дирека Фриленда; скажите, что мы пришли по срочному делу.

Слуга поклонился, покинул их и вскоре вернулся.

— Ее милость примет вас, мисс; сэра Джералда нет дома. Пожалуйста сюда...

Они прошли через прихожую, мимо статуй, цветов и оленьих рогов, затем длинным, прохладным коридором к белой двери, за которой оказалась небольшая, но очень красивая белая комната. Когда они вошли, двое детей вскочили со своих мест и шмыгнули мимо них в открытую дверь, как молодые куропатки, а сидевшая за письменным столом леди Маллоринг поднялась и, сделав несколько шагов им навстречу, протянула руку. Молодые Фриленды молча ее пожали. Они понимали, несмотря на всю свою враждебность, что если они ограничатся поклоном, их сочтут заносчивыми и невоспитанными. Молодые Фриленды внимательно смотрели на хозяйку — до сих пор им еще не приходилось так близко ее видеть. Леди Маллоринг, урожденная Милдред Киллори, дочь виконта Силпорта, была высокой, худощавой женщиной, не особенно примечательной внешности, с очень светлыми и уже седе-

ющими волосами; выражение ее лица, когда она молчала, казалось приятным и чуточку озабоченным; только глаза наводили на мысль, что она обладает недюжинной волей. В этих глазах была своеобразная двойственность, которая так часто встречается у англичан, — они сияли вдохновенным самоотречением и в то же время предупреждали, что отречься от своих интересов придется отнюдь не только их обладательнице.

— Чем могу быть вам полезной? — приветливо обратилась она к посетителям и поглядела на них с некоторым любопытством.

После краткого молчания Шейла ответила:

— Нам — ничем, благодарим вас. А другим — можете.

Леди Маллоринг чуть подняла брови, как будто слово «другим» чем-то ее покорило.

— Да?.. — сказала она.

Шейла стояла, сжав руки, и ее лицо, только что пунцовое, вдруг сразу побледнело.

— Леди Маллоринг, — сказала она, — будьте добры, разрешите Гонтам остаться, а свояченице Трайста жить у него и смотреть за его детьми.

Леди Маллоринг подняла руку — движение это было совершенно произвольным — и потрогала крестик у себя на груди.

— Боюсь, что вы не все понимаете, — спокойно сказала она.

— Нет, — ответила Шейла, побледнев еще больше, — мы отлично все понимаем. Вы действуете во имя того, что считается требованиями морали. Но все равно, исполните нашу просьбу. Пожалуйста...

— Мне очень жаль, но не могу.

— Нельзя ли узнать, почему?

Леди Маллоринг вздрогнула и перевела взгляд на Дирека.

— Я не уверена, — сказала она с улыбкой, — что обязана отчитываться перед вами в своих поступках. К тому же вы, вероятно, отлично знаете, почему...

Шейла сделала умоляющий жест.

— Если вы их выселите, Уилмет Гонт погибнет.

— Боюсь, что это уже случилось, и я не хочу, чтобы она увлекла с собой других. А бедного Трайста мне

очень жаль, и я была бы рада, если бы он женился на какой-нибудь порядочной женщине. Но то, что он задумал, абсолютно невозможно.

Лицо Шейлы снова вспыхнуло — оно было краснее индюшачьего гребня.

— Почему, собственно, он не может жениться на сестре жены? Это вполне законно, и запрещать такой брак вы не имеете права.

Леди Маллоринг прикусила губу и смерила Шейлу жестким взглядом.

— Я никому ничего не запрещаю; я не могу запретить этот брак. Но если он женится, жить в доме, который принадлежит нам, он не будет. Я считаю лишним продолжать этот разговор.

— Разрешите мне...

Это сказал Дирек. Леди Маллоринг остановилась — она уже шла к звонку. Тонкие губы юноши искривились в презрительной улыбке.

— Мы знали, что получим отказ. В сущности, мы пришли предостеречь вас, что это может вызвать неприятности.

Леди Маллоринг только улыбнулась.

— Все это касается только нас и наших арендаторов, и мы были бы очень рады, если бы вы сочли возможным в это не вмешиваться.

Дирек поклонился и взял сестру под руку, но Шейла не сдвинулась с места; она дрожала от гнева.

— Кто вы такие? — внезапно заговорила она. — Кто вы такие, чтобы распоряжаться людьми, владеть их душой и телом? Кто дал вам право вмешиваться в их частную жизнь? Хватит с вас и того, что вы получаете с них арендную плату.

Леди Маллоринг поспешно двинулась к звонку. Уже дотронувшись до него, она обернулась.

— Мне очень жаль вас обоих: вы получили ужасное воспитание.

Наступила тишина. Затем Дирек спокойно сказал:

— Благодарю вас, мы не забудем, что вы оскорбили наших родителей. Не трудитесь звонить: мы уходим.

В молчании, пожалуй, даже более глубоком, чем перед входом в усадьбу, брат и сестра возвращались по той же аллее. Они еще не познали простой, но весьма

трудно постижимой истины, что на свете могут быть люди, совсем на них непохожие. Им всегда казалось, что стоит им изложить свою точку зрения и противная сторона тут же с ними в душе согласится, а если и будет упорствовать, то разве что из корыстных соображений. Поэтому они возвращались после этой стычки с врагом пораженные открытием, что леди Маллоринг искренне верит в свою правоту. Это привело их в смятение и только распалило их гнев. Они уже давно успели отряхнуть прах этого дома со своих ног, когда Шейла наконец нарушила молчание:

— Они все такие... ни мыслей, ни чувств... только уверенность, что они существа высшей породы. И я... и я их за это ненавижу. Они ужасны, они отвратительны...

Шейла говорила, запинаясь, и по щекам ее катились слезы ярости. Дирек обнял ее.

— Хватит. Нечего ныть. Давай лучше подумаем, что теперь делать.

Шейлу сразу подбодрило, что роли их переменились.

— Нам надо их ошеломить,— продолжал Дирек.— Мы ничего не добьемся, если будем только метаться и протестовать.— И он процедил сквозь зубы:

«Англичане, почему
Покорились вы ярму?»¹

Милдред Маллоринг сидела в белой комнате, медленно приходя в себя после стычки. Она с детства считала, что ее природная доброта и ее долг требуют, чтобы она делала людям «добро». С детства она не сомневалась, что ее положение позволяет ей делать это добро, и даже если люди против него бунтуют, сопротивляются, все равно в конце концов они должны будут признать, что все это делается для их же «блага». Ей ни разу не приходило в голову, что люди могут не признавать ее превосходства, потому что подсознательно была абсолютно в нем убеждена. Тяжело было такой женщине столкнуться с грубой откровенностью! Леди Маллоринг, конечно, не показала виду, как задел ее этот

¹ Шелли «Мужам Англии». Перевод С. Маршака.

разговор (она отнюдь не была бессердечной женщиной), но он так глубоко ее потряс, что она чуть не задалась вопросом, нет ли в выпадах этой невоспитанной девчонки и ее брата какой-то доли истины. Нет, этого не может быть: ведь она-то твердо знает, что батраки в поместье Маллорингов живут лучше, чем в большинстве других поместий, — им лучше платят, у них лучшие жилищные условия и за их нравственностью следят лучше, чем где бы то ни было... Что ж, перестать этим заниматься? Когда она настолько лучше их самих знает, что для них хорошо, а что плохо? Милдред Маллоринг могла бы расстаться с этим убеждением только в том случае, если бы сумела отказаться от всех своих мыслей, представлений и привычек, привитых ей с детства. И поэтому, сидя в белой комнате с зеленым, как мох, ковром, она постепенно оправлялась от полученного удара, пока в ее душе не осталась лишь ноющая ранка; как грубы и несправедливы молодые Фриленды! Они получили «ужасное воспитание», и до сих пор никто не поставил их на место и не объяснил, что они просто глупые щенки, которых еще нещадно проучит жизнь. Теперь она не сомневалась, что действительно жалела их, когда сказала: «Мне очень жаль вас обоих». Да, ей искренне жаль их — у этих детей: такие дурные манеры и такие дикие взгляды, а ведь они в этом, в сущности, не виноваты — чего можно ожидать при такой матери!

Милдред Маллоринг, при всей своей мягкости и доброте, обладала здоровой прямолинейностью: для нее пройденный шаг был пройденным шагом, а то, что обдумано и решено, пересмотру не подлежало; будучи женщиной религиозного склада, она всегда держалась фарватера, размеченного буйками, которые ставили те, кто был для этого предназначен, и была не в силах представить себе, каким образом то, что удовлетворяет ее духовные потребности, может оказаться недостаточным для других. Впрочем, в этой трогательной узости она была не одинока — таким же свойством обладает множество людей во всех классах общества. Сидя за письменным столом, она склонила свое тонкое, несколько удлиненное, нежное, но в то же время упрямое лицо на руку и задумалась. Эти Гонты — очаг вечного недовольства в приходе; хорошо бы освободиться от

них поскорее, хотя она, поддавшись жалости, и разрешила им остаться до двадцать пятого июня, когда истекал срок полугодовой аренды. Лучше бы им уехать немедленно; но как это устроить? Что же касается бедняги Трайста, то эти Фриленды совершают настоящее преступление, внушая ему, будто он может облегчить свою жизнь и жизнь своих детей ценой греха... До сих пор она избегала беспокоить Джералда деревенскими делами — у него ведь и так столько забот! Но сейчас ему пора вмешаться. И она позвонила.

— Передайте, пожалуйста, сэру Джералду, что я хотела бы его повидать, как только он вернется.

— Сэр Джералд только что вошел, миледи.

— Тогда попросите его сюда...

Джералд Маллоринг, славный малый, о чем свидетельствовало его лицо отличной нормандской архитектуры с окнами синего стекла глубоко посаженных глаз, имел только один недостаток: он не был поэтом. Впрочем, если бы ему об этом сказали, он счел бы это скорее достоинством. Он принадлежал к породе высокопринципиальных людей, считающих широту взглядов синонимом слабости. Можно без преувеличения сказать, что его редкие встречи с натурами поэтическими были ему удивительно неприятны. Молчаливый, почти молчаливый по природе, он был страстным любителем поэзии и почти никогда не засыпал, не переварив страничку-другую Вордсворта, Мильтона, Теннисона или Скотта. От Байрона, за исключением таких вещей, как «Дон-Жуан» и «Вальс», он воздерживался из боязни подать дурной пример. К Бернсу, Шелли и Китсу любви не питал. Браунинг раздражал его, за исключением стихотворения «О том, как доставили добрую весть из Гента в Аахен» и «Рыцарских песен»; что же касается до Омара Хайяма и «Гончей небес», то их он решительно отвергал. Шекспир ему совсем не нравился, но он скрывал это из уважения к общепринятым взглядам. Он отличался твердостью принципов и уверенностью в себе, но никому не навязывал своей правоты. Достоинств у него было сколько угодно, и преотличных, поэтому его недостатки обнажались только при встречах с людьми, обладавшими поэтической искрой.

Но это случалось редко, а с годами все реже, так что ему почти не приходилось подвергать себя таким неприятным испытаниям.

Он явился на зов супруги,—его лоб был нахмурен. Только что он завершил утренние труды над планом осушительных работ, чем и подобало заниматься такому образцовому хозяину. Жена приветствовала его легкой интимной улыбкой. Отношения между этой парой были как нельзя более дружескими. Их объединяла общность чувств и мыслей во всем, что касается религии, детей и собственности, а также общность взглядов, в особенности на половой вопрос, а ведь это действительно необычайное единомыслие, особенно если учесть, что он был мужчиной, а она женщиной.

— Я хочу поговорить с тобой о Гонтах, Джералд. По-моему, они должны уехать немедленно. Если они останутся до двадцать пятого июня, это вызовет лишнее брожение. Сегодня ко мне приходили молодые Фриленды.

— Эти щенки!

— Нельзя ли как-нибудь ускорить их отъезд?

Маллоринг не спешил с ответом. Он обладал отменным достоинством настоящего англичанина — не любил отклоняться от намеченной линии, если этого не требовала его совесть.

— Не знаю, зачем нам менять то, что мы считаем справедливым,—сказал он.—Надо дать Гонту время оглядеться и поискать работу в другом месте.

— Да, но состояние умов становится опасным. Нельзя давать Фрилендам такой повод для агитации — это неблагородно по отношению к крестьянам. Рабочие руки нужны всюду, и ему нетрудно будет найти себе место, если он этого захочет.

— Конечно. Но мне даже нравится, как этот человек защищает свою дочь, хотя сам он вечно разглагольствует на всех сборищах. По-моему, немножко жестоко его сразу выгонять.

— Раньше и я так думала, но, поговорив с этими бесноватыми, я поняла, какой вред приносит подобное промедление. Они мутят всех арендаторов. Ты знаешь,

как легко распространяется недовольство. И Трайста — они и его на нас натравливают, это несомненно.

Маллоринг задумчиво набил трубку. Он никогда не поддавался панике; если даже для нее были основания, он до тех пор закрывал на них глаза, пока все само собой не успокаивалось. Вот тут он обычно давал волю воображению и сообщал, что то или это, так или эдак грозило опасностью.

— Я, пожалуй, попробую поговорить с Фрилендом,— сказал Маллоринг.— Он хоть и чужак, но человек неплохой.

Леди Маллоринг поднялась и взяла мужа за пуговицу из дорогой кожи.

— Милый Джералд, мистера Фриленда просто не существует!

— Не знаю, не знаю... Мужчина всегда, если захочет, может сказать решающее слово в своей семье.

Леди Маллоринг промолчала. Это было правдой. Несмотря на все их единомыслие и на ту роль, которую она играла в домашних и деревенских делах, сэр Джералд все же имел обыкновение пропускать мимо ушей ее советы. Она это позволяла, но только ему одному, хотя иногда все-таки чуть-чуть бунтовала в душе. Однако, к ее чести, она не только заявляла, что мужья должны руководить женами, но и свято следовала этому убеждению на практике. Но на этот раз у нее все же сорвалось:

— Ах, эта Фриленд! Только подумай, какой вред она приносит, подавая подобный пример. Безбожница!.. Нет, нет, я не могу ее простить! Не думаю, что тебе удастся повлиять на мистера Фриленда. Он у нее под башмаком!

Маллоринг ответил, неторопливо покуривая трубку и устремив взгляд поверх ее головы:

— Я все же попробую. Не принимай этого так близко к сердцу.

Леди Маллоринг отвернулась. Она все-таки жаждала утешения.

— Эти молодые Фриленды сегодня наговорили мне кучу грубостей,— пробормотала она,— в мальчике, пожалуй, еще есть какие-то проблески добра, но девчонка — сущий ужас...

— Гм... А по-моему, наоборот.

— Они плохо кончат, если их вовремя не образумят. Их следовало бы послать в колонии, чтобы они отведали настоящей жизни.

Маллоринг кивнул.

— Пойдем, Милдред, посмотрим, как подвигается теплица...

И они вместе вышли через стеклянную дверь в сад.

Теплица строилась по их проекту, и они были ею очень увлечены.

Любуясь высоким стеклянным потолком и алюминиевыми трубами, леди Маллоринг забыла о своей обиде. Как приятно стоять рядом с Джералдом и смотреть на то, что они вместе задумали! В этом было что-то успокаивающее, что-то настоящее, особенно после утреннего происшествия, которое принесло такое разочарование, напомнило ей о безнравственности, о недовольстве, о неблагодарном народе, — а она ведь так о нем пеклась! И, сжав руку мужа, она прошептала:

— Это выглядит точь-в-точь, как мы задумали, правда, Джералд?

ГЛАВА XIII

В тот же день около пяти часов Маллоринг отправился к Тоду. Джералд тоже любил проводить время на свежем воздухе и часто сетовал, что ему столько долгих часов приходится проводить в Палате Общин — там так душно! И он даже завидовал вольной жизни Тода: милый старый дом, такой обветшалый, увитый глициниями, вьющимися розами, утопающий в шиповнике, жимолости, диком винограде. Фриленду, по мнению Джералда, жилось славно, а что жена у бедняги немножко тронутая и дети такие трудные — ничего не поделаешь... По дороге Маллоринг вспомнил свой разговор со Стенли в Бекете, когда тот под свежим впечатлением от вспышки Феликса наговорил ему бог знает чего. Он сказал, например, что они (подразумевая, очевидно, Маллоринга и самого себя) совершенно неспособны войти в положение всех этих Трайстов и Гонтов. Он говорил о них так, словно они были символом всех

себе подобных, и это поразило Маллоринга: частный случай в его поместье — разве тут может быть какая-нибудь связь с общей проблемой, которая требует серьезного этического подхода? Для обсуждения подобных проблем существует парламент — там их можно всесторонне рассматривать, ссылаясь на отчеты всевозможных комиссий. В своей частной жизни Маллоринг не признавал никаких общих проблем, тут надо было думать совсем о другом, ну, хотя бы о человеческой натуре... Он довольно сердито посмотрел на Стенли, когда тот заявил: «Лично я вовсе не хотел бы вставать утром в половине шестого и выходить из дому, не приняв ванны». Ибо он не понял, какое это имело отношение к земельному вопросу и к заботам землевладельца о нравственности своих арендаторов. Один привык принимать ванну, другой не привык — вот и все, во всяком случае, это не проливает ни малейшего света на основной вопрос, обязан ли он терпеть в своем поместье людей, чье поведение и он и его жена решительно не одобряют. В жизни нации вечно возникает эта проблема поведения индивидуума, особенно в сфере взаимоотношения полов, и если здесь нет устойчивости, — это страшная угроза для семьи, первичной ячейки национальной жизни. А как можно внушить крестьянам, что они должны быть нравственно устойчивы, если не наказывать иногда тех, кто уклонился с пути добродетели?

Маллоринг надеялся поговорить с Фрилендом, не столкнувшись с его женой и детьми, поэтому он с облегчением вздохнул, увидев, что Тод сидит на скамейке под окном, курит трубку и смотрит в пространство. Маллоринг присел рядом и вдруг заметил, что Фриленд, оказывается, красивый малый. Оба они были одинакового роста, то есть шести с лишним футов, оба белокурые, крепкие люди с правильными чертами лица. Но голова у Тода была круглой и большой, волосы — длинными, вьющимися; голова у Маллоринга удлиненной формы, а волосы прямыми и коротко подстриженными. Глаза Тода, синие и глубоко посаженные, глядели куда-то вдаль, а глаза Маллоринга, тоже синие и глубоко посаженные, всегда рассматривали ближайший предмет. Тод улыбался, но как-то бессозна-

тельно, а Маллоринг отлично знал, к чему относится его улыбка. Но ему было все-таки приятно сознавать, что Тод так же застенчив и молчалив, как он сам; при таком сходстве характеров и в их взглядах не могло быть серьезных разногласий. Вскоре Маллоринг сообразил, что, если он не заговорит, они так и промолчат, пока он не уйдет. И он сказал:

— Послушайте, Фриленд. Я насчет моей жены и вашей, да еще Трайста, Гонта и о прочем... Жаль ведь, правда? Живем мы все рядом. Как вам кажется?

— Человек живет только раз.— ответил Тод.

Это несколько озадачило Маллоринга.

— В земной юдоли, конечно... Но я не улавливаю связи...

— Живите сами и давайте жить другим.

Душа Маллоринга сочувственно отозвалась на это краткое изречение, но тут же яростно восстала; сначала даже было непонятно, какое чувство возьмет верх.

— Видите ли,— сказал он наконец.— Вам легко так говорить, потому что вы стоите в стороне, а что бы вы сказали, если бы вам пришлось занимать такое положение, как наше?

— А зачем вам его занимать?

Маллоринг нахмурил брови:

— А что же тогда будет?

— Ничего плохого не будет,— ответил Тод.

Маллоринг резко поднялся. Такое «laissez faire»¹, дальше некуда! Подобная философия, он всегда это считал, имеет опасный анархический душок. Однако, прожив по соседству с Тодом добрых двадцать лет, он убедился, что это самый безобидный человек во всем Вустершире, хотя большинство людей в округе почему-то относится к нему с уважением. Маллоринг пожал плечами и снова опустился на свое место.

— У меня еще не было случая поговорить с вами серьезно,— сказал он.— Вокруг нас немало людей, которые дурно себя ведут. Мы ведь все-таки не пчелы.

Он растерянно замолчал, заподозрив, что собеседник его не слушает.

¹ Пусть идет, как идет (франц.).

— В первый раз в этом году,— сказал Тод,— ни разу еще не пел.

Маллоринга прервали, да еще довольно грубо, но он не мог не заинтересоваться. Он и сам любил птиц. К несчастью, он не умел различать их голосов в общем хоре.

— А я-то думал, что они совсем перевелись,— пробормотал Тод.

Маллоринг снова встал.

— Послушайте, Фриленд,— сказал он,— вы должны заняться этим делом. Вы не должны позволять, чтобы ваша жена и дети сеяли смуту в деревне.

«Черт бы его побрал! Он улыбается, и улыбка-то какая,— подумал Маллоринг,— лукавая, заразительная...»

— Нет, серьезно,— сказал он,— вы не представляете себе, каких можно натворить бед...

— Вы когда-нибудь видели, как собака смотрит на огонь? — спросил Тод.

— Да, часто... А при чем тут собака?

— Она понимает, что огня лучше не касаться.

— Вы хотите сказать, что вы ничего не можете сделать? Но нельзя же так...

И опять он улыбается во весь рот!

— Значит, вы отказываетесь что-либо предпринять?

Тод кивнул. Маллоринг покраснел.

— Простите, Фриленд,— сказал он,— но, по-моему, это цинизм. Неужели вы думаете, мне приятно следить, чтобы все шло, как полагается?

Тод поднял голову.

— Птицы,— сказал он,— растения, звери и насекомые — все они поедают друг друга, но они не вмешиваются в чужие дела.

Маллоринг круто повернулся и ушел. Вмешиваются в чужие дела! Он никогда не вмешивается в чужие дела. Это просто оскорбление. Если он что-нибудь смертельно ненавидит и в личной и в общественной жизни—это всяческое «вмешательство». Разве он не входит в «Лигу борьбы с посягательствами на свободу личности»? Разве он не член партии, которая противится законодательству, посягающему на эту свободу,— когда находится в оппозиции? В этом его никто никогда не обвинял, а ес-

ли и обвинял, то он, во всяком случае, этого не слышал. Разве он вмешивается в чужие дела, если по мере сил старается помочь церкви поднять нравственность местных жителей? Разве принять решение и настаивать на нем — это значит вмешиваться в чужие дела? Несправедливость подобного обвинения глубоко ранила его. И чем больше была эта рана, тем медленнее и величественнее он шествовал к своим воротам.

Легкие облачка на утреннем небе были предвестниками непогоды. С запада надвигались темные тучи и уже накрапывал дождь. Джералд прошел мимо старика, стоявшего около калитки, и сказал: «Добрый вечер». Старик дотронулся до шляпы, но ничего не ответил.

— Как ваша нога, Гонт?

— Все так же, сэр Джералд.

— Перед дождем, наверное, побаливает?

— Да.

Маллоринг остановился. Ему захотелось попробовать, нельзя ли уладить дело так, чтобы не выселять старика Гонта и его сына.

— Послушайте, — сказал он, — как быть с этим несчастным делом? Почему бы вам с вашим сыном не отправить без проволочек вашу внучку куда-нибудь в услужение? Вы прожили здесь всю жизнь. Мне не хотелось бы, чтобы вы уезжали.

Морщинистое, сероватое лицо старого Гонта чуть-чуть покраснело.

— С вашего позволения, сэр Джералд, — сказал он, — мой сын стоит за свою дочь, а я стою за своего сына.

— Как хотите. Дело ваше. Я желал вам добра.

По губам старого Гонта пробежала улыбка, и уголки рта под усами опустились вниз.

— Нижайшее вам спасибо, — сказал он.

Маллоринг прикоснулся пальцем к шляпе и пошел дальше. Хотя ему очень хотелось быстрой ходьбой разогнать досаду, он все-таки не ускорил шага, зная, что старик смотрит ему вслед. До чего же они все-таки упрямы — упрутся на своем и никаких доводов слушать не хотят. Ничего не поделаешь: своего решения он переменить не может — Гонты уедут двадцать пятого июня, ни на день раньше, ни на день позже.

Проходя мимо домика Трайста, он заметил у ворот

пролетку; кучер разговаривал с женщиной в пальто и шляпе. Увидев Маллоринга, она отвернулась. «Опять свояченица приехала,— подумал он.— Значит, и этот заупрямился, как осел. Безднадежные люди!» И его мысли перескочили на план осушения низины в Кентли Бромедж. Все эти деревенские неприятности были слишком мелким делом, чтобы долго владеть умом человека, обремененного таким множеством забот.

Старый Гонт постоял у калитки, пока высокая фигура Маллоринга не скрылась из виду, а затем заковылял по дорожке и вошел в дом своего сына. Том Гонт недавно вернулся с работы, и сейчас, сняв куртку, читал газету — невысокий, коренастый человек, краснощекий, круглолицый, с маленькими глазками и насмешливым ртом под жидкими усами. Было в нем что-то от задорного спорщика и болтуна, даже когда он молчал. Он явно принадлежал к тем людям, которые бывают особенно веселы и остроумны, когда перед ними стоит кружка пива. Том был хороший работник и зарабатывал в среднем восемнадцать шиллингов в неделю, если считать и стоимость овощей, которые он выращивал на своем огороде. Заблудшая дочь ходила стирать к двум старым дамам, а дедушка Гонт получал пять шиллингов пособия от прихода, так что доход семьи — их было пятеро, включая двух мальчиков школьного возраста, — достигал двадцати семи шиллингов в неделю. Деньги не малые! Это сравнительное благосостояние, несомненно, способствовало популярности Тома Гонта, знаменитого местного остряка и грозы политических митингов. Последние — кто бы их ни устраивал — консерваторы или либералы, — он срывал способом, поражающим своей простотой. Сначала он задавал вопросы, лишённые всякого смысла, а потом так комментировал ответы, что все надрывались от хохота; этим он убивал двух зайцев сразу — не давал глубоко вдаваться в политические вопросы и вызывал похвалы соседей: «Ай да Том Гонт, ему пальца в рот не клади!» Восторги толпы он ценил больше всего. Но что он думал на самом деле, не знал никто, хотя некоторые подозревали, что он голосует за либералов: ведь на их митингах он шумел больше всего. Все полагали, что его упорное заступничество за дочь вызвано отнюдь не любовью. Ведь Том Гонт был из тех,

кого хлебом не корми, но дай кого-нибудь лягнуть, особенно знать.

При взгляде на него и на старого Гонта трудно было поверить, что это отец и сын; правда, такое родство часто бывает сомнительным. Что до жены Тома Гонта, то она умерла лет двенадцать назад. Кое-кто утверждал, что он загнал ее в гроб своими шуточками, другие считали, что ее доконала чахотка. Он много читал — и был, пожалуй, единственным любителем чтения на всю деревню — и умел свистать, как дрозд. Он много работал, но без особого прилежания, зато много и очень прилежно пил и всюду, кроме своего дома, болтал до одури — вот так и жил Том Гонт. Словом, он был человек своеобразный.

Старый Гонт опустился в деревянную качалку.

— Сейчас сэр Джералд мимо прошел...

— Пусть сэр Джералд идет хоть к чертям. Они его там за своего признают...

— Говорил, как бы нам тут остаться, а чтобы Метти пошла в услужение...

— Зря он болтает: чего он в этом деле смыслит? Э, пускай! Тома Гонта все равно не свернешь; он где хочешь работу найдет, ты, папаша, этого не забывай.

Старик положил худые, смуглые руки на колени и умолк. А в голове у него сверлила одна мысль: «Если так обернется, что Том уедет, с меня меньше трех шиллингов за квартиру никто не возьмет. На харчи останется два шиллинга в неделю... Два шиллинга в неделю — два шиллинга... А если я с Томом поеду, так уж своего у меня ничего не будет и начнет он мной помыкать». И он испытующе поглядел на сына.

— А куда ж ты поедешь?

Газета, которую читал Том, зашуршала. Суровые серые глазки уставились на отца...

— А кто сказал, что я уеду?

Старый Гонт гладил и гладил свое морщинистое, пергаментное лицо, которое Френсис Фриленд, поглядев на его тонкий нос, сочла похожим на лицо джентльмена.

— Да ты, ведь, кажется, сказал, что уезжаешь...

— Тебе слишком много кажется, папаша, вот в чем беда; слишком много кажется.

Выражение язвительной покорности на лице старого

Гонта стало заметнее; он встал и, взяв с полки миску и ложку, начал медленно готовить себе ужин: хлебные корки, смоченные горячей водой и сдобренные солью, перцем, луком и крошечным кусочком масла. Пока он стоял, склонившись над котелком, сын курил глиняную трубку и читал газету, старые часы тикали, а котенок на подоконнике плотно закрытого окна ни с того ни с сего замурлыкал. Дверь открылась, и в комнату вошла Уилмет. Она передернула плечами, словно стряхивая дождевые капли, сняла рябую соломенную шляпу с обвисшими полями, надела фартук и засучила рукава. Руки у нее были полные, крепкие, красные, и сама она тоже была полная и крепкая. От румяных щек до толстых лодыжек вся она словно горела от избытка жизненных сил — совсем не похожая на своего худосочного деда. Готовя отцовский чай, она двигалась по комнате с какой-то хмурой вялостью, но когда вдруг останавливалась, чтобы погладить котенка или пощекотать худой затылок деда, в ней проглядывала озорная прелесть. Закончив приготовления, она встала у стола и лениво произнесла:

— Пейте чай, папаша. Я еду в Лондон.

Том Гонт отложил трубку и газету, сел за стол и, набив рот колбасой, сказал:

— Поедешь туда, куда я скажу.

— Я еду в Лондон.

Том Гонт задвинул кусок колбасы за щеку и уставился на нее маленькими, кабаньими глазками.

— Ты у меня доиграешься! У Тома Гонта хватает из-за тебя неприятностей. Ты эти шутки брось!

— Я еду в Лондон,— упрямо повторила девушка.— А вы заберите домой Алису.

— Вот оно что! Поедешь, когда я тебе скажу... И думать ни о чем не смей...

— Нет, поеду. Сегодня утром я встретила мистера Дирека. Они подыщут мне место в Лондоне.

Том Гонт так и застыл с вилкой в руке.

Ему трудно было сразу сообразить, стоит ли перечить своему главному союзнику. Поэтому он счел, что ему выгоднее заняться едой, но потом все-таки пробурчал:

— Поедешь, куда я захочу; и не воображай, будто мне станешь указывать...

Наступила тишина, которую нарушало только чавканье старого Гонта, хлебавшего свой бульон из корок. Уилмет подошла к окну, села, прижав к груди котенка, и стала смотреть на дождь. Старый Гонт, доев похлебку, встал за спиной у сына, поглядел на внучку и подумал:

«Едет в Лондон. Для нас это — самое лучшее. Значит, нам не придется уезжать. Едет в Лондон... Хорошо...»

Но огорчен он был ужасно.

ГЛАВА XIV

Когда весна встречается в девичьем сердце с первой любовью, птицы начинают петь.

В тот май под окном у Недды, когда она просыпалась, заливались черные и пыльно-серые дрозды, но ей казалось, будто поет она сама, и притом всю ночь напролет. На листьях сверкали то солнечные блики, то дождевые капли, принесенные юго-западным ветром, а глаза Недды, стоило им только раскрыться, загорались мягким и теплым светом. И они уже не тускнели весь день, независимо от того, был ли газон внизу у дома покрыт прозрачной росой, или лежал темный и иссохший под ударами восточного ветра. А на сердце у нее было необыкновенно легко.

После нескольких бесплодных дней, проведенных в Бекете, на Феликса напал приступ *casoëthes scribendi*¹, поэтому он не замечал, что творится с дочерью. Он, великий наблюдатель, не видел того, что видели все. Но и он и Флора были так поглощены высокими материями, что не могли, например, не задумываясь, сказать, на какой руке носят обручальное кольцо. Они столько говорили о Бекете и Тодах, что Флора совсем привыкла к мысли, что на днях к ней пожалуют в гости двое молодых родственников. Но она только что начала писать поэму «Дионис у источника», а сам Феликс погрузился в сатирическую аллегорию «Последний пахарь», и Недда оказалась одна. Впрочем, рядом с ней

¹ Страсть к бумагомаранию (лат.).

неотступно все время шагал невидимый спутник. Она отдавала все свои мысли и все свое сердце этим воображаемым прогулкам, но ее это ничуть не удивляло, хотя прежде она ничему не умела отдаваться целиком. Пчела отлично знает, когда наступает первый летний день, и жадно льнет к распустившимся цветам; то же было и с Неддой. Она написала Диреку два письма, а он ей одно. Поэзии, однако, в нем не было и следа. Как и следовало ожидать, оно почти целиком было посвящено Уилмет Гонт: не подыщет ли Недда для нее место в Лондоне, чтобы девушка знала, куда ей ехать? Зато письмо кончалось словами: «Влюбленный в тебя Дирек».

Письмо встревожило Недду. Она бы сразу показала его Флоре или Феликсу, но помешали последние слова и обращение: «Любимая Недда!». Однако она инстинктивно понимала, что об Уилмет Гонт она может говорить только с матерью: ведь любая другая женщина захочет точно узнать, в чем дело, начнет расспрашивать, а что она сможет ответить? Да и сочувствия от них не дождешься. И вдруг она вспомнила про мистера Каскота.

За обедом она осторожно закинула удочку,— оказалось, что Феликс довольно тепло отзывается о Каскоте. Удивительно, как он очутился в Бекете,— вот уж там ему не место! Человек он неплохой, немного, пожалуй, шалый, но это всегда случается с мужчинами в его возрасте, если вокруг них слишком много женщин или же нет ни одной...

— А у мистера Каскота — первое или второе? — спросила Недда.

— Ни то, ни другое... А тебе он как, понравился? — И Феликс посмотрел на свою маленькую дочку со смиренным любопытством. Он всегда подозревал, что молодость инстинктивно разбирается во всем гораздо лучше, чем он...

— Очень. Сразу понравился. Он похож на большого пса.

— Ну да,— сказал Феликс,— он похож на пса: скалит зубы и бегаёт по городу, а порой и лает на луну.

«Пусть лает,— подумала Недда.— Лишь бы он не был из этих «избранных».

— Он очень человечен,— прибавил Феликс.

Недда узнала затем, что Каскот живет в Грейс-Инн, и тут же решила: «Вот его я и спрошу...»

Свой замысел она привела в исполнение, написав ему письмо:

«Дорогой мистер Каскот!

Вы были так добры, что разрешили мне обращаться к вам с разными вопросами. А тут у меня как раз очень трудное дело, и я ломаю себе голову, как мне быть. Вот почему мне ужасно нужно с вами посоветоваться. Вышло так, что с этим я не могу обратиться ни к папе, ни к маме. Не сердитесь, что я отнимаю у вас время. И пожалуйста, прямо скажите «нет», если вам это неудобно.

Искренне ваша
Недда Фриленд».

На это последовал ответ:

«Дорогая мисс Фриленд!

Очень рад. Но если это действительно трудный вопрос, не тратьте ни времени, ни бумаги. Давайте лучше вместе позавтракаем в ресторане Элджин возле Британского музея. Очень тихое и почтенное заведение. Бальное платье не обязательно. В час дня.

Преданный вам
Джилс Каскот».

Не надев бального платья, Недда с замирающим сердцем впервые отправилась одна в свет. Говоря по правде, она не представляла себе, как ей рассказать почти чужому человеку про девушку с такой сомнительной репутацией. Но она уговаривала себя: «Ничего, все обойдется: у него такие добрые глаза». Она даже почувствовала прилив бодрости: ведь в конце концов она узнает что-то новое, а узнавать всегда интересно. Музыка, зазвучавшая в ее душе, не заглушила, а скорее обострила ее необычайный интерес к жизни. Калейдоскоп лиц на Оксфорд-стрит — все эти бесчисленные девушки и женщины, спешащие по своим делам и живущие своей жизнью, не похожей на жизнь Недды,— показался ей

в то утро удивительно привлекательным. А вот мужчины ей были совсем не интересны: ведь у них нет ни темно-серых глаз, то вспыхивающих, то мерцающих, ни костюма из твида, у которого такой чудный запах. Только один пробудил в ней любопытство, и это случилось у Тотенхем Корт-роуд: она спросила дорогу у полицейского на углу, и тот чуть ли не пополам согнулся, чтобы выслушать ее — такая громадина — косая сажень в плечах, лицо краснее красного! Подумать только, что он обратил на нее внимание! Если он человек, то неужели и она принадлежит к той же породе? Но и это удивляло ее ничуть не больше, чем все остальное. Почему выросли весенние цветы, которые несет в корзинке вон та женщина? Почему в высоком небе плывет белое облако? Почему существует Недда Фриленд и что она такое?

Она увидела мистера Каскота у входа в маленький ресторан — он ее поджидал. Конечно, его нельзя было назвать красавцем: веснушчатое, бледное лицо, желтые, как песок, усы с изгрызенными кончиками и рассеянный взгляд. Но Недда подумала: «Он еще приятнее, чем мне казалось, и, конечно, все понимает...»

Сначала ей так понравилось сидеть против Каскота за столиком, на котором были расставлены тарелочки с чем-то красным и с какой-то рыбешкой, что она едва вслушивалась в его быструю, с легким заиканием речь: англичане ничего не смыслят ни в жизни, ни в еде; бог создал эту страну по ошибке; тому свидетели — солнце и звезды... Но что она будет пить? Шардоне? Оно здесь недурное...

Она тут же согласилась, не посмев признаться, что в жизни не слыхала ни о каком шардоне, — хорошо, если это просто шербет. Ей еще никогда не случалось пить вино, и после первого бокала она почувствовала неожиданный прилив сил.

— Ну что ж, — сказал Каскот, и глаза у него весело заблестели, — какие же у вас трудности? Вы, наверное, хотите стать самостоятельной? А вот мои дочери со мной не советовались...

— Неужели у вас есть дочери?

— А как же? И презабавные... Постарше вас...

— Так вот почему вы всё понимаете!..

— Они уж меня научили уму-разуму,— улыбнулся мистер Каскот.

«Бедный папа,— подумала Недда,— что он терпит от меня!»

— Да, да,— пробормотал мистер Каскот.— Кто бы подумал, что птенцы так быстро оперятся...

— Разве не удивительно,— радостно подхватила Недда,— что все так быстро растет?

Она почувствовала, что он внезапно перехватил ее взгляд.

— Да вы влюблены! — сказал он.

Она почему-то обрадовалась, что он обо всем догадался. Это смело всякие преграды, и она сразу затараторила:

— Ну да, но дома я еще ничего не сказала. Как-то не получается! Он мне дал поручение, а я даже не знаю, как к этому подступить...

Лицо мистера Каскота забавно передернулось.

— Да, да... Я слушаю! Рассказывайте...

Она выпила еще глоток вина, и опасение, что Каскот будет смеяться над ней, куда-то испарилось.

— Это про дочь одного из арендаторов, там, в Вустершире, где он живет, недалеко от Бекета. Ведь он мой двоюродный брат, Дирек, сын не того дяди, а другого, из Джойфилдса. Они с сестрой так сочувствуют крестьянам!

— Вот оно что! — сказал мистер Каскот.— Крестьянке... Странно, как они вдруг стали злобой дня.

— Она не очень хорошо себя вела, эта девушка, и должна уехать из деревни, иначе придется уезжать всей семье... Он хочет, чтобы я нашла ей место в Лондоне.

— Понятно. Значит, она вела себя не очень похвально?

— Да, не очень.— Щеки у Недды горели, но взгляд был тверд, и, заметив, что Каскот смотрит на нее по-прежнему спокойно, она устыдилась своего румянца.— Это поместье сэра Джералда Маллоринга. Леди Маллоринг... не хочет допускать...

Она услышала, как он злобно сжал челюсти.

— А! — сказал он.— Можете дальше не рассказывать.

«Да,—подумала Недда,—он хорошо умеет кусаться...»

Каскот легонько постукивал ладонью по столу и внезапно вспыхнул.

— Ох, уж эта мелочная опека благочестивых помещиц! Я хорошо знаю, что это такое! Господи! Ханжи, лицемерки... Это они погубили половину девушек, которые стали прости...— Тут он взглянул на Недду и замолчал.— Если она хоть что-нибудь умеет делать, я ей найду работу. Впрочем, для начала пусть она лучше поживет под присмотром моей старушки-экономки. Передайте вашему двоюродному брату, что она может приехать в любой день. Как ее зовут? Уилмет Гонт? Отлично.

Он записал это имя на манжете.

Недда вскочила: ей хотелось схватить его за руку, погладить по голове или еще как-нибудь выразить свою благодарность. Но она овладела собой и, со вздохом опустившись на место, обменялась с ним радостной улыбкой. Наконец она сказала:

— Мистер Каскот, есть ли хоть какая-нибудь надежда, что потом станет лучше?

— Лучше? — Тут он заметно побледнел и снова барабанил по столу.— Лучше? Черт подери! Должно стать лучше. Проклятые богачи,—голубая кровь, с их идеалами! Эти сорняки так разрослись, что просто душат нас. Да, мисс Фриленд, гроза надвигается, хотя я еще не знаю, придет ли она изнутри или извне. Скоро все обновится.

Он так барабанил по столу, что тарелки звенели и подпрыгивали. А Недда опять подумала: «Он очень хороший» — и сказала обеспокоенно:

— Значит, по-вашему, что-то можно сделать? Директор только этим и живет. И мне хочется тоже. Я уже решила.

Его глаза опять лукаво блеснули, и он протянул руку. Не зная, того ли он от нее ждет, Недда робко протянула ему свою.

— Вы славная девочка,—сказал он.— Любите своего двоюродного брата и не беспокойтесь.

Взгляд Недды скользнул куда-то вдаль.

— Я так боюсь за него! Если бы вы его видели, вы бы это поняли.

— Когда человек чего-нибудь стоит, за него всегда страшно. С вами в Бекете был еще один молодой человек, по фамилии Фриленд...

— Это мой брат — Алан!

— Ах, это ваш брат! Ну вот, за него бояться нечего, и это очень жаль! Попробуйте сладкое — единственное блюдо, которое здесь умеют готовить.

— О нет, спасибо. Мы так чудно позавтракали! Мы с мамой днем обычно почти ничего не едим.— И, смольбой сложив руки, она прибавила: — Это наш секрет, хорошо?

— Я нем, как могила.

Он рассмеялся, и его лицо покрылось сетью морщинок.

Недда тоже засмеялась и залпом допила вино. Она была на вершине блаженства.

— Да,— сказал Каскот,— ничего нет лучше любви. И давно это у вас?

— Только пять дней,— призналась Недда.— Но это — самое главное.

— Вот это верно,— вздохнул Каскот.— Если не можешь любить, тебе остается только ненавидеть.

Недда сказала: «О!» Каскот снова забарабанил по столу.

— Оглянитесь и посмотрите на них.— Он обвел взглядом ресторан, где было несколько посетителей, прошедших шлифовку благородного воспитания.— Что они знают о жизни? Кому сочувствуют, с кем их душа? Да и есть ли у них душа? Маленькое кровопускание — вот что им нужно, тупые скоты!

Недда посмотрела вокруг с ужасом и любопытством, но не заметила никакой разницы между этими людьми и всеми своими знакомыми. И она робко спросила:

— А нам, по-вашему, тоже нужно кровопускание?

Лицо Каскота снова сморщилось от смеха.

— Еще бы! И в первую очередь мне самому.

«Он, правда, очень человечен»,— подумала Недда и поднялась.

— Мне пора. Мы так мило посидели! Я не знаю, как вас благодарить. До свидания.

Худой, хрупкой рукой он пожал ее крепкую ручку и стоял, улыбаясь, пока за ней не закрылась дверь ресторана.

На улицах царило бурное оживление, и у Недды закружилась голова. Она так жадно глядела вокруг, что все сливалось у нее перед глазами. Путь до Тотенхем Корт-роуд показался ей слишком длинным, но ведь сбиться она не могла, потому что, проходя, читала все таблички с названиями улиц. Наконец, она очутилась на углу улицы Поултри. «Поултри,— подумала она,— такое название я бы запомнила». И она тихонько рассмеялась. Это был такой чистый и нежный смех, что проезжавший мимо извозчик, старик с озабоченным взглядом, седой бородой и глубокими морщинами на красных щеках, даже остановился.

— Поултри,— повторила Недда.— Скажите, пожалуйста, я выйду так на Тотенхем Корт-роуд?

— Что вы, мисс! — ответил извозчик.— Вы идете прямехонько к Ист-Энду.

«К Ист-Энду! — подумала Недда.— Лучше пусть он меня довезет». И она села в его пролетку. Она ехала и улыбалась. Ей не приходило в голову, что это настроение могло быть вызвано шардоне. Каскот ей сказал, чтобы она любила и ни о чем не беспокоилась. Чудесно!

Она по-прежнему улыбалась, когда извозчик высадил ее у входа в метро на Тотенхем Корт-роуд; она достала кошелек, чтобы расплатиться. Надо было заплатить шиллинг, но ей захотелось дать два. Хоть он и румяный, но вид у него такой озабоченный и усталый.

Он взял деньги и сказал:

— Спасибо, мисс, вы и не знаете, как мне это сейчас кстати.

— Ах,— пробормотала Недда,— тогда возьмите и это. Жалко, что у меня больше нет,— только на метро осталось...

Старик взял протянутые деньги, и на его щеке, у носа, появилась какая-то влага.

— Спаси вас бог! — сказал он и, щелкнув кнутом, быстро отъехал.

У Недды подкатил комок к горлу, но она спустилась вниз, к поездам, все еще сияя; настроение переменилось позже, когда она подходила к Спаньярдс-роуд; тут над

ней как будто нависли тучи, и домой она вернулась угнетенная.

В саду у Фрилендов был небольшой уголок, заросший кустами барбариса и рододендронов,— там устроили пчельник, но пчелы, словно догадываясь, куда девается их мед, собирали его ровно столько, сколько требовалось для них самих. В это убежище, где стояла грубая садовая скамейка, часто приходила Недда посидеть и почитать. Там она спряталась и сейчас. Глаза у нее наполнились слезами. Почему у старика, который подвез ее к метро, такой измученный вид и почему он рассыпался в благодарностях и призывал на нее божье благословение за такой ничтожный подарок? Отчего люди должны стареть и становиться такими беспомощными, как дедушка Гонт, которого она видела в Бекете? Зачем существует тирания, которая приводит в ярость и Дирека и Шейлу? А вопиющая нищета — ей приходилось самой наблюдать ее, когда она посещала вместе с матерью «Клуб девушек» в Бетнел-Грин,— откуда она? Стоит ли быть молодой и сильной, если все так и останется и не произойдет никаких перемен, так что она успеет состариться, а может, даже умереть, не увидев ничего нового? Какой смысл любить, раз даже любовь не спасает от смерти? Вот деревья... Они вырастают из крошечных побегов, становятся могучими и прекрасными, чтобы потом, медленно высыхая, рассыпаться в труху. К чему это все? Стоит ли искать утешения у бога — он такой великий и всеобъемлющий,— ему ведь и в голову не придет сделать так, чтобы они с Диреком были живы и любили друг друга вечно, или помочь старику извозчику, чтобы его днем и ночью не преследовала мысль о богадельне, куда он может угодить вместе со старухой женой, если она у него есть. У Недды по щекам катились слезы, и совершенно неизвестно, какую роль в этом играло шардоне.

Феликс вышел в сад, чтобы под открытым небом поискать вдохновения для «Последнего пахаря», и вдруг услышал какие-то звуки, похожие на плач; еще минута — и он обнаружил свою маленькую дочку: она спряталась в уголке сада и горько рыдала. Зрелище было настолько непривычное и он так огорчился, что стоял как вкопанный, не зная, как ее утешить. Может быть, лучше

потихоньку уйти? Или позвать Флору? Что же ему делать? Как большинство людей, чей труд заставляет их погружаться в себя, Феликс инстинктивно избегал всего, что могло причинить ему боль или выбить из колен, и поэтому, если что-нибудь проникало сквозь преграду, которую он вокруг себя воздвигал, он становился необыкновенно нежным. Он закрывал глаза на чужие болезни, но если до его сознания вдруг доходило, что кто-то действительно болен, он превращался в такую заботливую сиделку, что больные — во всяком случае, Флора — выздоравливали с подозрительной быстротой. Тронутый сейчас до глубины души, он присел рядом с Неддой на скамейку и сказал:

— Деточка...

Она уткнулась головой ему в плечо и зарыдала еще сильнее.

Феликс молча гладил ее по плечу.

В своих книгах он часто описывал подобные сцены, но сейчас совершенно растерялся. Он даже не мог припомнить, что в таких случаях полагается говорить или делать, и поэтому только невнятно бормотал какие-то ласковые слова.

У Недды эта нежность вызвала прилив стыда и раскаяния. Она внезапно сказала:

— Папочка, я не из-за этого плачу, но ты должен знать: мы с Диреком любим друг друга...

Слова: «Ты! Как! Когда вы успели!» — были у него уже на кончике языка, но Феликс вовремя прикусил его и продолжал молча гладить ее по плечу. Недда влюблена! На душе у него стало пусто и уныло. Значит, у него отнимут это дивное чувство, которым он так дорожил, — что дочь принадлежит ему больше, чем кому бы то ни было на свете. Какое право имеет она лишать его этой радости, да еще без всякого предупреждения? Но тут он вспомнил, как всегда поносил старшее поколение за то, что оно вставляет спицы в колеса молодежи, и заставил себя пробормотать:

— Желаю тебе счастья, радость моя.

Но при этом он все время помнил, что отцу следовало бы сказать совсем другое: «Ты слишком молод, а кроме того, он твой двоюродный брат». Но это отцовское внушение сейчас казалось ему хоть и ра-

зумным, но смешным. Недда потерлась щекой об его руку:

— Папа, для нас с тобой ничего не изменится, я тебе обещаю.

Он подумал: «Для тебя-то нет, а вот для меня?..» Но вслух произнес:

— Ни на йоту не изменится. О чем же ты плакала?

— О том, как все плохо: жизнь такая жестокая.

И она рассказала ему о слезе, которая текла по щеке старого извозчика.

Феликс делал вид, что слушает, а на самом деле думал: «Господи, почему я не из железа! Тогда бы я не чувствовал, что внутри у меня все застыло... Не дай бог, чтобы она это заметила. Странная вещь — отцовское чувство. Я это всегда подозревал... Ну, теперь прощай работа на целую неделю!..»

— Нет, родная, мир не жесток, — сказал он. — Только он состоит из противоречий, а без них нельзя. Если нет боли, нет и наслаждения; нет тьмы — нет и света. И всё так. Если ты подумаешь, то сама увидишь: иначе быть не может...

Из-под барбарисового куста выскочил черный дрозд, испуганно поглядел на них и шмыгнул обратно. Недда подняла голову.

— Папа, я хочу что-нибудь сделать в жизни...

Феликс ответил:

— Конечно. Так и надо.

Но в эту ночь, когда Недде давно уже снились сны, Феликс все еще лежал с открытыми глазами и, придвинув ногу поближе к ногам Флоры, старался согреться, — ведь он никому не признается, что внутри у него навсегда все застыло.

ГЛАВА XV

Флора выслушала новость с видом собаки, говорящей своему щенку: «Ну что ж, малыш! Кусни-ка разок сам, погляди, что у тебя получится! Рано или поздно это должно случиться, а в наши дни обычно случается рано». Кроме того, Флора невольно порадовалась, что теперь Феликс будет к ней ближе, а для нее это было

важно, хотя она и не подавала виду. Но в душе она пережила не меньшее потрясение, чем Феликс. Неужели ее дочь уже выросла и может влюбляться? Неужели та крошка, которая, прижавшись к ней на кушетке, внимательно слушала сказку, уже собирается покинуть мать? Та самая девочка, которая врывалась к ней по утрам в спальню, именно в те минуты, когда она была занята своим туалетом; девочка, которую разыскивали по вечерам на темной лестнице, и она таращила сонные глазенки, как маленькая сова, твердя, что «здесь так хорошо»...

Флора никогда не видела Дирека и поэтому не разделяла опасений мужа, но рассказ Феликса все же ее смутил.

— Заносчивый петушок, вылитый шотландский горец. Прирожденный смутьян, если я хоть что-нибудь понимаю в людях, из тех, что хотят ложкой вычерпать море.

— Самодовольный болван?

— Н-нет... В его презрительности есть какая-то простота, сразу видно, что он учился у жизни, а не по книгам, как все эти молодые попугаи. А что они двоюродные,— по-моему, это не страшно: кровь Кэрстин сильно сказалась в ее детях — это ее сын, а не Тода. Но, может, это все скоро кончится? — прибавил он со вздохом.

— Нет,— покачала головой Флора,— не кончится. Недда — глубокая натура.

А если Недда не отступит, значит, так оно и будет: ее ведь разлюбить нельзя! Естественно, что они оба думали так. «Дионис у источника», как и «Последний пахарь», получили целую неделю отдыха.

Недда почувствовала облегчение, поделившись своим секретом, но в то же время ей казалось, будто она совершила святотатство. А вдруг Дирек не хочет, чтобы ее родители знали!

В тот день, когда должны были приехать Дирек и Шейла, Недда почувствовала, что не в силах сохранять даже напускное спокойствие; поэтому она ушла из дому, чтобы скоротать время в Кенсингтонском музее; но на улице почувствовала, что ей больше всего хочется побыть под открытым небом, и, обойдя холм с севера, усе-

лась под большим кустом дрока. Здесь обычно ночуют бродяги, когда приходят в столицу, и тут хотя и смутно, но все же чувствуется дыхание природы. А ведь только природа могла успокоить ее натянутые, как струны, нервы.

Как он поведет себя при встрече? Будет ли таким, как в ту минуту, когда, стоя в конце фруктового сада Тодов над дремотными и постепенно темнеющими лугами, они с волнением, которого им еще не приходилось испытывать, взялись за руки и обменялись поцелуем?

За изгородями домов, окружающих городской пу-стырь, уже началось майское цветение, и до Недды доносился запах согретых солнцем цветов. Как и большинство детей, выросших в культурных семьях, она знала все сказки о природе, но тут же забывала их, когда оставалась наедине с небом и землей. Их простор, их ласковая и волнующая беспредельность затмевали все книжные выдумки и пробуждали в ней радость и томление — какой-то нескончаемый восторг и неутолимую жажду. Она обхватила руками колени и подставила лицо солнцу, чтобы согреться, поглядеть на медленно плывущие облака и послушать птичье пение. То и дело она всей грудью вдыхала воздух. Правильно сказал отец, что в природе нет настоящей жестокости. В ней есть тепло и бьется сердце, она дышит. А если живые существа и пожирают друг друга, что из того? Прожив жизнь, они быстро умирают, дав жизнь другим. Это священный круговорот, он продолжается вечно, и все под светлым небосводом и ласковыми звездами полно высокой гармонии. Как хорошо жить! И все это дает любовь. Любовь! Еще, еще любви! А потом пусть приходит смерть, раз она неизбежна. Ведь смерть для Недды была так невообразимо далека и туманна, что, в сущности, о ней и думать не стоило.

Недда сидела и, не замечая, что ее пальцы постепенно чернеют, перебирала траву и папоротник; внезапно ей померещилось, будто повсюду вокруг царит какое-то существо, крылатое, с таинственной улыбкой на лице, а она сама только отражение этой улыбки. Она непременно приведет сюда Дирека. Они будут сидеть здесь вдвоем, и пусть над ними пробегают облака; она узнает все, о чем он думает, и поделится с ним всеми своими волне-

ниями и страхами; но они будут больше молчать, потому что слишком любят друг друга, чтобы разговаривать. Она строила подробные планы, куда пойти и что посмотреть, решив начать с Ист-Энда и Национальной галереи, а закончить восходом солнца на Парламент-хилл. При этом она отлично понимала, что на самом деле все произойдет совершенно иначе, не так, как она задумала. Лишь бы только первая минута встречи не обманула ее надежд.

Недда так долго сидела там, что у нее затекли ноги и она очень проголодалась,—пришлось пойти домой и пробраться на кухню. Было уже три часа, старая кухарка, как обычно, дремала в кресле, накинув на голову фартук, чтобы заслониться от огня. Что бы она сказала, если б ей вдруг все рассказать? У этой плиты Недде разрешалось играть, будто она печет для кукол булочки, пока кухарка пекла настоящие; здесь она наблюдала за великим таинством приготовления розового крема и сожгла бесчисленное количество помадок и кокосовых орехов; здесь ее постоянно угощали всякими вкусными вещами... Милая старая кухарка! Недда бегала по кухне на цыпочках в поисках чего-нибудь съедобного и, обнаружив четыре маленьких пирожка с вареньем, тут же их съела под мирное похрапывание кухарки. Стоя у стола, который был похож на большой поднос, Недда внимательно разглядывала старуху. Бедненькая, какое у нее одутловатое, морщинистое, бледное лицо! Против Недды, над буфетом, было подвешено небольшое зеркало в раме из красного дерева. Она видела в нем свое отражение почти во весь рост. «Как мне хочется похорошеть!—подумала она, упираясь ладонями в талию.—Нельзя ли немножко ее затянуть?» Сунув пальцы под блузку, она нащупала шнуровку и стала ее дергать. Но та не поддавалась. Она слишком свободная — ничего не стягивает. Надо купить корсет на номер меньше. Опустив голову, она потерлась подбородком о край кружева на груди — теплого и чуть пахнувшего сосной. Интересно, а кухарка была когда-нибудь влюблена? У нее, у бедняжки, уже волосы седеют! Окна с проволочными сетками от мух были широко распахнуты, и солнечные лучи сияли ярче, чем огонь в очаге. Кухонные часы тикали назойливо, как совесть. В воздухе слабо пахло сковородками и мятой; в

первый раз с тех пор, как к ней пришло это новое чувство — любовь, Недде показалось, будто у нее из рук выпала книга, очень интересная, но уже прочитанная от корки до корки. Навсегда ушли милые времена, когда ей бывало так хорошо и на этой кухне и в каждом уголке старого дома и сада. Они никогда уже не вернутся. Внезапно Неддой овладела грусть: это были такие милые времена! Она ведь навсегда покидает мир, где все ей улыбалось, — разве это не преступление! Она тихонько соскользнула со стола и, проходя мимо кухарки, вдруг обняла ее за пышные бока. Она не собиралась этого делать, но под влиянием нахлынувших чувств слишком крепко стиснула старуху; и из той, как из гармоники, которую нечаянно сжали, вырвался долгий и дребезжащий звук. Фартук свалился с головы, все тело заколыхалось, и сонный, мягкий, невыразительный голос, ставший жирным от долгого общения с кастрюлями и сковородками, пробормотал:

— А, мисс Недда, это вы, душенька! Да благословит вас бог, мое сердечко...

У Недды по щекам скатились две слезы, и, горестно вздохнув, она выбежала из кухни.

А первый миг встречи? Все вышло не так, как она мечтала. Отчужденно, чопорно. Один быстрый взгляд — и глаза опустились; одно судорожное пожатие, а потом официальное прикосновение сухих горячих пальцев, и вот он уже идет за Феликсом в свою комнату, а она провожает Шейлу в отведенную ей спальню, стараясь справиться со щемящим страхом и удивлением и вести себя, как подобает «настоящей маленькой леди» — любимое выражение ее старой няни, — нельзя выдать свои чувства Шейле (Недда инстинктивно чувствовала ее враждебность). Весь вечер — беглые взгляды исподтишка, светский разговор, а в душе сомнения, страх и томление. Нет, все было ошибкой! Чудовищной ошибкой! Да любит ли он ее? Господи! Если не любит, ей стыдно будет смотреть людям в глаза. Не может быть, чтобы он ее любил. У него глаза, как у лебедя, когда тот, вытянувшись, в гневе поводит головой. Ужасно, что надо все скрывать и улыбаться Шейле, матери, отцу... И когда наконец Недда очутилась у себя в комнате, она прижалась лбом к стеклу и задрожала. Что она наделала? Может,

ей приснилось даже то, как они стояли вдвоем под деревом в темноте и вложили всю душу в поцелуй? Конечно, ей это только приснилось. Какой обманчивый сон!.. А их возвращение домой во время грозы, когда он обнял ее, а ее письма, и его письмо — неужели все это ей тоже снилось, а сейчас она проснулась? Она тихонько застонала, скользнула на пол и долго лежала, пока ей не стало холодно. Раздеться, лечь в постель? Ни за что! К утру она должна забыть о том, что ей приснилось. Ей так стыдно, что она должна все забыть и ничего никому не показывать. Щеки, уши и губы у нее горели, а тело было холодное, как лед. Наконец — она понятия не имела, который час, — Недда решила пойти посидеть на лестнице. Она всегда искала утешения на этих низких, широких, уютных ступеньках. Она закрыла за собой дверь и прошла по коридору мимо их комнат (его была последняя) на темную лестницу, такую жуткую ночью, — там больше, чем во всем доме, слышался запах старины. Все двери наверху и внизу были закрыты; если сидеть, прилоняясь головой к перилам, кажется, будто глядишь на дно колодца. И тишина, полная тишина, только вот эти слабые потрескивания, которые доносятся неизвестно откуда, словно вздохи старого дома. Она обвила руками холодный столбик перил и крепко к нему прижалась. Ей стало больно, но она обняла его еще крепче. Тут от жалости к себе она заплакала; внезапно у нее вырвалось громкое рыдание. Чтобы заглушить его, она заткнула рот рукой. Не помогло: она заплакала еще громче. Какая-то дверь приоткрылась; вся кровь бросилась ей в голову, в последний раз она отчаянно вскрикнула и затихла. Кто-то стоял и слушал. Долго ли длились эти страшные минуты, она не знала. Но вот раздались шаги, и она почувствовала, что кто-то стоит у нее за спиной. Ее спины коснулась чья-то нога. Она тихонько ахнула. Голос Дирека хрипло прошептал:

— Что это? Кто здесь?

И еле слышно она ответила:

— Недда.

Его руки оторвали ее от перил, а голос у нее над ухом прошептал:

— Недда, любимая Недда...

Но ее отчаяние было слишком глубоко, — стараясь не

всхлипывать, она молчала, вся содрогаясь. Успокоили ее, как ни странно, не его слова и не объятия — это ведь могла быть только жалость! — а запах и шершавое прикосновение его куртки. Значит, и он не ложился спать, и он чувствовал себя несчастным! Уткнув лицо к нему в рукав, она пробормотала:

— Ах, Дирек... Почему?..

— Я не хотел, чтобы они видели. Я не могу, чтобы знали другие. Недда, пойдем вниз, побудем вместе...

Осторожно, прильнув друг к другу, спотыкаясь в темноте, они спустились на нижнюю площадку лестницы. Как часто она сидела здесь в белом платье, с распущенными, как сейчас, волосами, теребя кисточки маленьких бальных программ, покрытых каракулями, в которых, кроме нее самой, никто бы не мог разобраться, и, запинаясь, разговаривала с каким-нибудь не менее запинаящимся мальчиком в сюртучке с торчащими фалдами, а китайские фонари отбрасывали оранжевый и красный свет на них и на другие заикающиеся парочки.

Да, она провела несколько мучительных часов, зато сейчас они опять вместе, рядом, держатся за руки и, целуясь, тихонько утешают друг друга. Насколько это лучше той встречи в саду: ведь после майской грозы и бури солнце, кажется, светит ярче, чем в безмятежный день в середине июля. Слова любви, которые она сейчас слышит, и его объятия говорят ей сейчас больше, потому что она знает, как ему трудно выражать свои чувства: он способен на это только наедине, только в темноте. Они могли бы провести вместе много дней, но его сердце не раскрылось бы перед ней так, как в этот час признаний, шепота и поцелуев.

Ведь он же знал, в каком она отчаянии, а все-таки молчал... От этого он только еще больше немел. Как, наверное, тяжело быть таким!.. Но теперь, когда она его поняла, она даже рада, что он так глубоко прячет свое чувство, которое принадлежит ей одной. Теперь уже она будет знать, что это только застенчивость и гордость. Нет, нет, напрасно он называет себя грубияном и скотиной!.. А что, если бы она не вышла на лестницу? Как бы она пережила эту ночь? Недда даже вздрогнула.

— Что с тобой? Тебе холодно? Надень мою куртку.

И он накинул куртку ей на плечи, как она ни сопро-

тивлялась. Ей никогда еще не было так тепло и приятно, как теперь, когда он своими руками укутал ее в эту шершавую куртку. А часы пробили два.

В слабом свете, проникавшем через стеклянную крышу, она могла разглядеть его лицо. И тут она почувствовала, что он тоже вглядывается в нее и видит все, что у нее в душе, видит то глубокое доверие, которое светится в ее глазах.

Светлое пятно на темном полу, бледный отсвет на темной стене—вот и все освещение, но и его было довольно, чтобы они заметили, как старый дом обступил их со всех сторон — и снизу и сверху — и сторожит; казалось, в этой черноте живет какой-то дух, и Дирек еще крепче сжимал ее руки, когда до них доносился легкий скрип и потрескивание старого дерева, которым время отмечало свой ход.

Насупленный взгляд старого дома, мудрого, циничного свидетеля многих безвозвратно ушедших жизней, растроченной юности и забытых поцелуев, несбывшихся надежд и обманутого доверия, возбуждал в них желание еще крепче прильнуть друг к другу и с трепетом заглянуть в тайну будущего, хранящего для них столько радости, любви и горя.

Внезапно она дотронулась пальцами до его лица, нежно, но настойчиво ощупала волосы, лоб и глаза, повела руку дальше — по выдающимся скулам вниз, к подбородку и назад, к губам и по прямому хрящу носа обратно к глазам.

— Теперь, если я ослепну, тебя я все равно узнаю. Поцелуй меня еще раз, Дирек. Ты, наверно, устал.

Поцелуй этот, под сенью старого, темного дома, длился долго. Затем на цыпочках — она впереди, а Дирек за ней,—останавливаясь при каждом шорохе и затаив дыхание, они разошлись по своим комнатам. А часы пробили три.

ГЛАВА XVI

Феликс, как человек вполне современных взглядов, примирился с мыслью, что верховодит теперь молодежь. Его мучили всякие страхи, и оба они с Флорой не хотели расставаться с дочерью, но что поделаешь — Недда

вольна распоряжаться своей судьбой. Дирек по-прежнему скрывал свои чувства, и если б не безмятежно-счастливое лицо дочери, Феликса одолели бы те же сомнения, что и Недду в первый вечер. Феликс чувствовал, что племянник слегка презирает людей, пропитанных таким благодушием и так избалованных вниманием общества, как Феликс Фриленд, поэтому он предпочитал разговаривать с Шейлой; она была не мягче, но у нее он хотя бы не замечал презрительной повадки ее брата. Нет, мягкой Шейлу нельзя было назвать. Эта девушка, яркая, с копной коротких волос, прямолинейная и резкая, тоже была не легкой гостьей. В те десять дней, что племянники гостили у него в доме, улыбка Феликса стала особенно иронической. Они и забавляли его и приводили в отчаяние, и эти чувства достигли своей высшей точки в тот день, когда у них обедал Джон Фриленд. Мистер Каскот, приглашенный по настоянию Недды, находил, видимо, какое-то злорадное удовольствие в том, чтобы подзадоривать брата и сестру в присутствии чиновного дядюшки. Во время этого обеда Феликсу оставалось только одно утешение, но, увы, не слишком большое: наблюдать за Неддой. Она почти не участвовала в разговоре, но как она слушала! Дирек тоже говорил мало, но все его замечания были пропитаны сарказмом.

— Неприятный юноша, — заявил потом Джон. — Откуда, черт побери, у нашего Тода такой сын? Шейла — попросту одна из нынешних взбалмошных девиц, но в ней, по крайней мере, все понятно. Кстати, этот Каскот тоже довольно странный субъект.

Среди других тем за обедом был затронут вопрос о моральной стороне революционного насилия. И, собственно говоря, возмутили Джона следующие слова Дирека: «Сперва раздуем пожар, а о морали можно будет подумать потом».

Джон ничего не возразил, только посмотрел на племянника из-под вечно нахмуренных бровей, — слишком часто ему приходилось хмуриться, отклонять прошения у себя в министерстве внутренних дел.

Феликсу слова Дирека показались еще более зловещими. Он увидел в них нечто большее, чем просто полемический выпад: ведь он куда лучше Джона понимал

и натуру племянника и обе точки зрения — официальную и бунтарскую. В этот вечер он решил прощупать Дирека и выяснить, что скрывается в этой кудрявой черноволосой голове.

Наутро, выйдя с ним в сад, он предостерег себя: «Никакой иронии — это может все испортить. Поговорим, как мужчина с мужчиной или как двое мальчишек...» Но когда он шел по садовой дорожке рядом с этим молодым орленком, невольно любуясь его смуглым, горящим и сосредоточенным лицом, Феликс начал с ни к чему не обязывающего вопроса:

— Как тебе понравился дядя Джон?

— Я ему не понравился, дядя Феликс.

Несколько сбитый с толку, Феликс продолжал:

— Вот что, Дирек, к счастью — или несчастью, — мне придется тебя узнать поближе. Надо и тебе быть со мной пооткровеннее. Чем ты собираешься заниматься в жизни? Революцией ты Недду не прокормишь.

Пустив наудачу эту стрелу, Феликс тут же пожалел о своей опрометчивости. Взгляд на Дирека подтвердил, что ему есть чего опасаться. Лицо юноши стало еще более непроницаемым, чем всегда, а взгляд еще более вызывающим.

— Революция сулит немалые деньги, дядя Феликс, и притом чужие.

Черт бы побрал этого грубияна! В нем что-то есть! Феликс поспешил переменить тему:

— Как тебе понравился Лондон?

— Он мне совсем не нравится. А все-таки, дядя Феликс, разве вам самому не хотелось бы оказаться здесь снова в первый раз? Подумайте, какую бы вы книгу смогли написать!

Феликс ощутил, что нечаянный удар попал в цель. В нем вспыхнул протест против застоя и подавленных порывов, против ужасающей прочности своей слишком солидной репутации.

— Какое же все-таки впечатление произвел на тебя Лондон?

— Мне кажется, его следовало бы взорвать. И все как будто это понимают — во всяком случае, это написано на всех лицах, а люди ведут себя как ни в чем не бывало.

— А за что его взрывать?

— Что может быть хорошего, пока Лондон и другие большие города тяжкими жерновами лежат на груди страны? А ведь Англия, вероятно, когда-то была хороша!

— Кое-кто из нас думает, что она и сейчас не плоха...

— Разумеется, в каком-то смысле и сейчас... Но здесь душат все новое и живое. Англия — как большой кот у огня: слишком удобно уселся, чтобы шевельнуться.

Теория Феликса, что Англия катится под откос из-за людей, подобных Джону и Стенли, получила неожиданную поддержку. «Устами младенцев...» — подумал Феликс, но вслух сказал только:

— Ну и радужно же ты смотришь на жизнь, Дирек!

— Она совсем заостенела, — пробормотал Дирек. — Не может даже дать право голоса женщинам. Подумайте, моя мать не имеет права голоса! И дожидается, чтобы последний крестьянин бросил землю — вот тогда она вспомнит о них! Она похожа на портвейн, которым вы нас вчера угощали, дядя Феликс: такая замшелая бутылка...

— А как же ты собираешься все обновить?

На лице Дирека сразу появилась его обычная, слегка вызывающая усмешка, и Феликс подумал: «Умеет молчать мальчишка, ничего не скажешь». Но после этого беглого разговора он все же лучше понял племянника. Его воинственная уверенность в себе стала казаться ему более естественной.

Несмотря на неприятные переживания во время обеда у Феликса, Джон Фриленд, педантично соблюдавший приличия, решил, что ему все же необходимо пригласить «юных Тодов» к себе отобедать, тем более что у него гостила Фрэнсис Фриленд, приехавшая в Лондон на другой день после Дирека и Шейлы. Она появилась в Порчестер-гарденс, чуть порозовев от предвкушения радостной встречи с «ее дорогим Джоном», а с нею большая плетеная корзина и саквояж, про который приказчик в магазине сказал, что это отличная и модная вещь. В магазине замок и в самом деле действовал прекрасно, но в дороге он почему-то причинил ей массу хлопот; впрочем, она все наладит, как только достанет

из корзины маленькие клещи — самую последнюю новинку, как ей вчера объяснил приказчик; поэтому она по-прежнему считала, что сделала отличное приобретение, и решила завтра же купить дорогому Джону точно такой же саквояж, если они еще есть в продаже.

Джон, вернувшийся из своего министерства раньше обычного, застал мать в темной прихожей, через которую он всегда торопливо пробежал с тех пор, как пятнадцать лет назад умерла его молодая жена. Обняв сына с улыбкой, полной любви, и почти оробев от силы своего чувства, Фрэнсис все же успела оглядеть Джона с головы до ног. Заметив, как блестят залысины на его висках, она решила достать из саквояжа, как только сумеет его открыть, ту самую мазь для укрепления волос, которая так нужна дорогому Джону. Ведь у него очень красивые усы, — обидно, что он лысеет! В комнате, куда ее отвели, ей пришлось сразу же сесть: она почувствовала, что ей становится дурно и она может потерять сознание, а этого Фрэнсис Фриленд никогда себе еще не позволяла и никогда не позволит: разве можно поднимать вокруг себя такую суматоху! Голова у нее закружилась только из-за этого красивого, нового, патентованного замка: всю дорогу она не могла добраться ни до нюхательной соли, ни до фляжки с бренди и крутого яйца, а без этого она никогда не пускалась в путь. И ей мучительно хотелось чаю. Дорогой Джон, конечно, не мог заподозрить, что с самого утра у нее еще не было ни крошки во рту: Фрэнсис Фриленд не любила быстро ездить и всегда брала билет на почтовый поезд, но ни одна жалоба не сорвалась с ее уст — разве можно причинять такое беспокойство, да еще перед самым обедом! Вот почему она сидела неподвижно, чуть-чуть улыбаясь, чтобы Джон не заподозрил, как ей плохо. Но, увидав, что Джон положил саквояж не на то место, она внезапно обрела силы:

— Нет, милый, не туда... К окну...

А когда он переносил саквояж куда следовало, сердце ее наполнилось радостью, потому что она заметила, как он прямо держится. «Как жаль, что мой мальчик не женился еще раз! Это так спасает мужчин от уныния. Сколько ему надо писать, сколько думать — ведь у него такая важная работа! — а это бы его отвлекало, особен-

но по ночам...» Она никогда не решилась бы выразить это вслух — это ведь не совсем прилично, но в мыслях Фрэнсис Фриленд была настоящей реалисткой.

Когда Джон ушел и она могла делать все, что ей вздумается, Фрэнсис Фриленд все же продолжала сидеть, только еще неподвижнее, чем раньше, так как убедилась на многолетнем опыте, что и когда ты одна в комнате, нельзя давать себе поблажки, потому что потом невольно начнешь распускаться и на людях. Должно же было случиться, чтобы такой красивый новый замок вдруг испортился, да еще в первый же день!.. И она вынула из кармана маленький молитвенник и, повернувшись к свету, прочла восемнадцатый псалом: он казался ей удивительным и всегда ее утешал, когда на нее находило уныние; читала она без очков, и у нее между бровями не было еще ни одной морщины: Фрэнсис считала своим долгом хорошо выглядеть, чтобы не портить настроения окружающим. Затем, твердо сказав себе: «Я не хочу и не захочу чаю, но обеду буду рада», — она поднялась и открыла корзинку. Она отлично знала, где лежат клещи, но все же извлекла их далеко не сразу, потому что поверх них лежало множество интересных вещей, возбуждавших самые разнообразные мысли. Вот полевой бинокль самой новой конструкции, как сказал приказчик, это для милого Дирека, он поможет ему не думать о вещах, о которых не следует думать. А для дорогой Флоры (как это удивительно, что она умеет сочинять стихи — подумать: стихи!) великолепные, совершенно новые крошечные пилюльки. Она сама их дважды принимала, и они ей очень помогли. Для милого Фелккса новый сорт одеколона — из Вустера, — других духов он не употребляет. Венецианские кружева для любимой внучки Недды — было бы непростительным эгоизмом не подарить их девочке, особенно потому, что она сама их так любит. Алан получит консервный нож нового образца; милый мальчик, он, такой славный и практичный, очень обрадуется такому подарку! Шейле — отличный роман мистера и миссис Уэрлингем — очень полезное чтение: там ярко описана совершенно новая страна — девочка такая умница, пусть для разнообразия почитает эту книгу... Уже почти добравшись до клещей, Фрэнсис Фриленд наткнулась на свою новую банковскую книжку; де-

нег на счету почти не осталось, но все же хватит на покупку такого же саквояжа, как у нее, с точно таким же замком, для дорогого Джона: если ему случится куда-нибудь поехать, он положит в него свои бумаги — очень удобно! Вынув клещи и держа их в руке, Фрэнсис Фриленд присела: надо хоть минуточку передохнуть; опущенные и еще темные ресницы подчеркивали бледность лица, а губы были так сжаты, что казались бесцветной полоской, — у нее закружилась голова, потому что она долго стояла нагнувшись над корзиной. В этой позе с тремя мухами, кружившимися над ее красивой седой головой, она могла бы послужить моделью для скульптуры женщины со стоической душой. Затем она направилась к саквояжу — уголки ее сжатых губ нервно вздрагивали, — и, устремив на него серые глаза с сомнением и надеждой, она раскрыла клещи и крепко ущемила непокорный замок.

Обед, на котором присутствовали все шестеро из Хемпстеда, оказался не таким бурным, как ожидал Джон; это объяснялось и его гостеприимством и общим старанием избежать споров, чтобы не ставить в тупик и не огорчать бабушку. Фрэнсис Фриленд знала, что между людьми существуют разногласия, но она никак не могла примириться с тем, что, затеяв спор, люди часто пренебрегают хорошими манерами и даже забывают дарить друг друга улыбками. В ее присутствии все об этом помнили, и когда подали спаржу, темы, годные для застольного разговора, были уже исчерпаны. Тогда, чтобы не допустить неловкого молчания, немного поговорили о спарже. Флора заметила, что Лондон сейчас еще полон народом; Джон с ней согласился.

Фрэнсис Фриленд, улыбаясь, прибавила:

— Как хорошо, что Дирек и Шейла увидели Лондон в это время!

— Как, — спросила Шейла, — разве здесь не всегда столько народу?

Джон ответил:

— В августе в Лондоне совсем пусто. Считается, что из города выезжает около ста тысяч человек.

— Вдвое больше, — возразил Феликс.

— Называют разные цифры... Мои предположения...

— Но ведь это означает, что уезжает только один человек из шестидесяти! Это свидетельствует...

Джон, когда Дирек его так резко перебил, слегка нахмурился:

— О чем же, по-твоему, это свидетельствует?

Дирек бросил взгляд на бабушку:

— Нет, нет, ни о чем...

— Свидетельствует о том, как безжалостны большие города,— вмешалась Шейла.— «Весь город уехал», «Лондон совершенно пуст»! Где же он пуст? Если б вам этого не сказали, вы бы не заметили никакой разницы...

— Это еще далеко не все,— пробормотал Дирек.

Флора предостерегающе толкнула под столом ногой Джона, а Недда попыталась толкнуть Дирека; Феликс ловил взгляд Джона, Алан пробовал перехватить взгляд Шейлы, Джон кусал губы и упорно смотрел в свою тарелку. Только Фрэнсис Фриленд по-прежнему улыбалась и, нежно глядя на дорогого Дирека, думала, как он будет хорош, когда отрастит себе красивые, черные усы. И она произнесла:

— Ну что ж, милый, ты чего-то недосказал?

Дирек поднял голову:

— Вы действительно хотите, чтобы я все досказал до конца, бабушка?

Недда с другой стороны стола отчаянным шепотом взывала к Диреку:

— Не надо, Дирек...

Фрэнсис Фриленд удивленно подняла брови. Вид у нее был почти лукавый:

— Ну, конечно, милый... Мне очень хочется послушать... Это так интересно...

— Видите ли, мама.— Феликс так неожиданно вмешался в разговор, что все невольно к нему обернулись.— Дирек хотел сказать, что мы жители Вэст-Энда,— Джон, я, Флора и Стенли, и даже вы — словом, люди, выросшие в шелку и бархате, до такой степени привыкли считать себя солью земли, что, покидая Лондон, говорим: «В городе никого не осталось». Это само по себе нехорошо. Но Дирек хотел сказать, что еще хуже то, что мы действительно соль земли, и если народ вздумает нас потревожить, мы сделаем все, чтобы он нас больше

не тревожил. Ты ведь именно это собирался сказать, Дирек?

Дирек с немим удивлением смотрел на Феликса.

— А еще он думал сказать вот что,— продолжал Феликс.— Старость и традиции, капиталы, культура и прочный порядок вещей, точно жернова, легли на грудь нашей страны, и смелой юности, сколько бы она ни корчилась, все равно не выбраться наружу. Мы, по его мнению, только притворяемся, будто любим молодость, дерзание и тому подобное, а на деле расправляемся с ними, не давая им даже созреть. Ты ведь это собирался сказать, Дирек?

— Да, вы бы хотели с нами расправиться, но у вас ничего не выйдет...

— Выйдет, я полагаю, и мы сделаем это с улыбкой, вы даже не поймете, что происходит...

— Я считаю это подлостью...

— А я считаю это естественным. Посмотри на стареющего человека, обрати внимание, как изящно, постепенно протекает этот процесс. Вот хотя бы мои волосы... Твоя тетка меня уверяет, будто от месяца к месяцу в них не заметно никаких перемен. А между тем они все больше... вернее, их становится все меньше.

Пока Феликс разглагольствовал, Фрэнсис Фриленд сидела, прикрыв глаза, но тут она внезапно их подняла и пристально посмотрела на макушку сына.

— Милый,— сказала она.— У меня есть как раз то, что тебе нужно. Когда будешь уходить, обязательно захвати с собой... Джон тоже собирается попробовать.

Поток философских рассуждений был так неожиданно прерван, что Феликс заморгал, как испугнутая сова.

— Мама,— сказал он,— только у вас есть дар всегда оставаться молодой...

— Что ты, милый, я ужасно старею... Мне так трудно бороться с дремотой, когда люди кругом разговаривают. Но я это непременно в себе поборю. Так невежливо и некрасиво... Я иногда ловлю себя на том, что дремлю с открытым ртом.

— Бабушка,— спокойно заметила Флора,— у меня от этого есть чудное средство, последняя новинка...

На лице Фрэнсис Фриленд мелькнула нежная и чуть смущенная улыбка:

— Ну вот,— сказала она,— вы меня поддразниваете,— но взгляд у нее был ласковый.

Едва ли Джон понял, куда Феликс метит своими речами,— скорее всего он просто все прослушал; будучи чиновником министерства внутренних дел, он привык пропускать все мимо ушей. Капиталы для Джона были капиталами, культура — культурой, а прочный порядок вещей уж, несомненно, казался прочным. Все это ничуть не было признаком старости. Ну, а социальные проблемы или хотя бы то, о чем кричат эти горячие юнцы,— все это он знает, как свои пять пальцев, и обобщать тут глупо. Он и так по горло занят женским вопросом, неурядицами с рабочими и тому подобным, у него нет времени философствовать, да и вообще это—занятие сомнительное. Человек, который ежедневно, по многу часов, занят настоящим делом, не станет тратить время на праздные разглагольствования. Однако хотя Джон и пропустил речи Феликса мимо ушей, все же он был раздосадован: когда философствует родной брат, это всегда действует на нервы. Нельзя, конечно, отрицать, что положение в стране трудное, но уж капиталы, простите, и тем более прочный порядок вещей здесь ни при чем. Виноваты во всем только индустриализация и свободомыслие.

Проводив гостей, Джон поцеловал мать и пожелал ей спокойной ночи. Он гордился своей матерью: она замечательная женщина и всегда держится так, будто все обстоит как нельзя лучше. Даже ее смешная манера покупать всякие новинки, чтобы помочь людям, тоже вызвана стремлением видеть все в наилучшем свете. Вот уж кто никогда не распускается!

Джон преклонялся перед стойками, перед людьми, которые предпочитают погибнуть с поднятой головой, чем прозябать с поджатым хвостом. В своей жизни он, пожалуй, больше всего гордился одним эпизодом: во время школьных состязаний в беге на одну милю он, приближаясь к финишу, услышал вульгарную фразу одного из оркестрантов: «Вот этот... хорош — дышит через

свой... нос!» Если бы в тот момент Джон соблаговолил вобрать воздух ртом, он победил бы, однако, к своему великому горю, проиграл, но зато не позволил себе никакой распушенности.

Итак, поцеловав Фрэнсис Фриленд и проводив ее наверх взглядом — она задыхалась, поднимаясь по лестнице, но все равно заставляла себя дышать только носом, — Джон пошел к себе в кабинет, закурил трубку и засел на часок-другой за доклад о количестве полицейских, которыми могут располагать различные графства в случае новых аграрных беспорядков; уже были ведь стычки, незначительные, конечно, в одном или двух районах, где еще чувствуется кровь датских предков. Джон умело оперировал цифрами, проявляя именно ту степень изобретательности, которая отличает человека от машины, — она-то и обеспечила ему уважение в департаменте, где нередко бывало нужно из десяти полицейских получить двенадцать. Умение Джона манипулировать цифрами ценилось очень высоко, ибо хотя в нем не было американского блеска, воспитанного игрой в покер, его отличал особый английский оптимизм, опасный только в тех редких случаях, когда его проверяют делом. Джон трудился, пока не выкурил вторую трубку, затем посмотрел на часы. Двенадцать! Спать еще рано. Он с неохотой — и это длилось уже много лет — ложился спать, потому что, почитая память усопшей жены и блюдя достоинство чиновника министерства внутренних дел, не распускался и не уступал искушениям плоти. Однако в эту ночь цифры наличных сил провинциальной полиции почему-то не принесли ему никакого подъема и вдохновения. В этих полицейских была какая-то упрямая английская добропорядочность, которая просто приводила его в отчаяние: их было десять, и они упорно оставались десятью. Склонив лоб, который, к большому огорчению Фрэнсис Фриленд, стал слишком высоким, на выхоленную руку, Джон задумался. Эта молодежь, у которой все впереди, неужели он ей завидует? Доволен ли он своим возрастом? Пятьдесят! Уже пятьдесят — ископаемое... Да еще министерское ископаемое... Он похож на зонтик: каждый день его ставят под вешалку, пока он опять не понадобится. Аккуратно свернутый, с резинкой и пуговичкой... Этот образ, впервые пришедший ему на ум —

ничего подобного с ним никогда раньше не бывало, — его удивил. Когда-нибудь он тоже износится, разлезется по всем швам, и его закинут в угол или подарят лакею.

Он подошел к окну. Недурно пахнет — весной или чем-то таким. И ничего не видно, кроме домов, похожих на его собственный. Он поглядел вверх на кусок неба, которому досталась честь быть видным из его окна. Он что-то подзабыл, где какая звезда... Но вот эта, несомненно, Венера. И он вспомнил, как двадцать лет назад он стоял на палубе у перил, во время свадебного путешествия, и учил молодую жену, как узнавать звезды. И какое-то чувство — глубоко запрятанное в сердце Джона, уже давно загрубевшем и поросшем мхом, — вдруг поднялось, встрепенулось и причинило ему боль. Недда! Он перехватил ее взгляд, обращенный на этого юнца, — вот так и Энн когда-то смотрела на него, Джона Фриленда, ставшего теперь министерским ископаемым, зонтиком под вешалкой. А вон там полицейский... Как он смешно выглядит — загребает ногами, размахивает фонарем и пробует, заперты ли ворота... Проклятый запах боярышника — неужели это боярышник? — доносится даже сюда, в самое сердце Лондона. Как она смотрела, эта девочка! Почему он разрешил довести себя, Джона Фриленда, до такого состояния, что он готов душу отдать, лишь бы поймать обращенный к нему женский взгляд, почувствовать прикосновение женских рук и запах женских волос! Нет, так нельзя! Он выкурит папиросу и ляжет спать. Погасив свет, Джон стал подниматься вверх; как скрипят ступеньки — наверно, бобр-рик вытерся... Была бы в доме женщина, она бы и за этим приглядела. На площадке второго этажа он остановился; у него была привычка смотреть оттуда вниз, в темную прихожую. И вдруг он услышал голос, высокий, нежный, почти молодой:

— Это ты, милый?

У Джона замерло сердце. Что это? Но тут он заметил, что дверь в комнату — в бывшую комнату его жены — открыта, и вспомнил, что там ночует мать...

— Как? Ты еще не спишь, мама?

— Нет, милый, — отозвался веселый голос Фрэнсис

Фриленд.— Я никогда не засыпаю раньше двух. Зайди ко мне.

Джон послушался. Высоко на подушках лежала его мать, укрытая аккуратно расправленным одеялом. На ее точеной голове была накладка из тонких кружев; белые пальцы на пододеяльнике непрерывно шевелились; на губах светилась улыбка.

— У меня тут есть кое-что для тебя, милый,— сказала она.— Я нарочно оставила дверь открытой. Поддай мне вон тот пузырек.

Джон взял с ночного столика возле кровати совсем маленький пузырек. Фрэнсис Фриленд открыла его и достала оттуда три крошечные белые пилюли.

— Вот, прими их,—сказала она.— Ты себе не представляешь, как они усыпляют. Волшебное средство и совершенно безвредное... Положи на язык, а потом проглоти.

Джон положил пилюли на язык — вкус у них был сладковатый — и проглотил.

— Если они помогают, почему же ты сама никогда не засыпаешь раньше двух? — спросил он.

Фрэнсис Фриленд заткнула пузырек пробкой с таким видом, будто она закупорила там и бестактный вопрос.

— На меня они, милый, почему-то не действуют, но это ничего не значит. Это чудное средство для тех, кому приходится так поздно ложиться, как тебе.— Она испытующе уставилась на него. Казалось, ее глаза говорили: «Да, я-то ведь понимаю, ты только делаешь вид, будто работаешь. Ах, если бы только у тебя была милая, любящая жена!..»

— Перед отъездом я тебе оставляю эти пилюли. Поцелуй меня.

Джон наклонился, и мать поцеловала его, как умела это делать только она, с такой неожиданной душевной силой, которая пронизывала насквозь. С порога он оглянулся. Она улыбалась, приготовившись стоически переносить свою бессонницу.

— Закрывать дверь, мама?

— Да, милый.

Чувствуя, что к горлу у него подступает комок, Джон поспешно вышел и закрыл дверь.

Лондон, который, по мнению Дирека, следовало взорвать, в эти майские дни кипел жизнью. Даже в Хемпстеде, этой дальней его окраине, все — люди, машины, лошади — болели майской лихорадкой; здесь, в Хемпстеде, люди с особенным жаром убеждали себя, что природа еще не стала набальзамированным трупом и не погребена в книгах.

Живущие здесь поэты, художники и просто говоруны соперничали друг с другом, изощряясь в своей извечной игре — в вымысле.

Да и могло ли быть иначе, если деревья и правда стояли в цвету, а из труб перестал валить дым? Но молодежь (теперь их стало четверо, ибо Шейла совсем приворожила Алана) не засиживалась в Хемпстеде. В трамваях или автобусах они странствовали по неизведанным странам. Бетнал-Грин и Лейтонстон, Кенсингтон и Ламбет, Сент-Джемс и Сохо, Уайтчепел и Шордич, Вэст-Хэм и Пикадилли — весь этот муравейник они пересекали в самые шумные часы. Уитмен и Достоевский были уже прочитаны, и они знали, что все это полагается любить, что надо восхищаться и джентльменом, шествующим по Пикадилли с бутоньеркой в петлице, и леди, обметывающей эту петлицу в Бетнал-Грин, и оратором, надрывающимся до хрипоты у Мраморной Арки, и уличным разносчиком, нагрузившим свою тележку в Ковент-Гардене, и дядей Джоном, который сидит в Уайтхолле и отклоняет прошения. Все это, включая длинные ряды маленьких, серых домов в Кемден-тауне, длинные вереницы повозок, запряженных лошадьми с подстриженными хвостами, которые грохотали на мосту Блэк-Фрайерс, и такси, оставляющие за собой длинные волны удушливого запаха, — все это было не менее прекрасно и живоительно для души, чем облака, плывущие в небе, кисти сирени и рисунки Леонардо да Винчи в музее. Все это было равноценными проявлениями буйной энергии, именуемой «Жизнь». Они знали, что все это, все, что они чувствуют, видят и обоняют, должно обязательно вызывать в них стремление прижать к груди себе подобных и воскликнуть: «Осанна!» А Недда и Алан, выросшие в Хемпстеде, знали даже больше: нельзя признаваться,

что не все воздействует на тебя одинаково, ибо это сочтут признаком духовной нищеты. Но как ни странно, все четверо не скрывали друг от друга впечатлений, которые нельзя было выразить криком «Осанна!». Иногда, например, в них вспыхивали возмущение, жалость и гнев, а в следующую минуту — радость; и они спорили о том, что именно рождало каждое из этих чувств. Не странно ли? Зато они все сходились в том, что они проводят время «чертовски интересно». Все четверо были словно окрылены, но не потому, что они с восхищением и любовью думали об узеньких серых улицах и джентльмене с Пикадилли, как полагалось бы им по законам современной культуры, а потому, что они любили только себя и восхищались только собой, правда, этого не сознавая. Кроме того, им нравился обычай разбиваться на парочки; из дому они всегда выходили вместе, но возвращались по двое. Вот так они посрамляли и Уитмена, и Достоевского, и всех мыслителей из Хемпстеда. Днем все они, кроме Алана, мечтали взорвать Лондон, но по вечерам город так завладевал их воображением, что они, держась за руки, только молча сидели — каждая парочка на империале своего автобуса. В вечерние часы им казалось, будто от всей этой массы домов и машин, людей и деревьев поднимается и плывет лиловатой тенью между звездами и фонарями «нечто» — дух, озаренный такой всепроникающей красотой, что даже Алана охватывало благоговение. Оказалось, что грузное чудовище, как жернов, давящее на грудь страны, опустошившее столько полей, погубившее здоровье и душевный покой множества людей, по вечерам способно парить на синих с пурпуром и золотом крыльях, напевать полную страсти колыбельную песню, а затем погружаться в глубокий сон...

В один из таких вечеров, побывав на галерке в опере, а потом поужинав в маленькой устричной, куда их повел Алан, они пешком возвращались в Хемпстед, так рассчитав время, чтобы по дороге встретить восход солнца. Не успели они вчетвером пройти и двадцати шагов по Саутхемптон-роу, как Алан с Шейлой уже оказались далеко впереди. Недда и Дирек из чувства товарищества задержались поглядеть на блаженно-счастливого старикашку, который брел, выписывая кренделя, и приглашал всех встречных ему сопутство-

вать. Потом они неторопливо двинулись дальше, только-только не теряя из виду первую пару, маячившую впереди в сумраке Ковент-Гардена среди закрытых брезентом подвод и повозок, которые дремали в тусклом свете уличных фонарей и фонариков ночных сторожей. По Лонг-Эйкр они вышли на улицу, где не было ни души, кроме значительно опередивших их Алана и Шейлы. Дирек и Недда шли, переплетя руки и крепко прижавшись друг к другу. Диреку очень хотелось, чтобы на этой темной, пустой улице на них вдруг напали бы ночные грабители,— он, бросившись в драку, всех разгонит и докажет Недде, что он настоящий мужчина и может ее защитить... Но им не встретился никто, если не считать черной кошки, да и та в испуге бросилась наутек. Дирек наклонился и заглянул под синий прозрачный шарф, окутывавший голову Недды. Ему показалось, что лицо ее полно таинственной прелести, а глаза, сразу посмотревшие в его глаза, таинственно правдивы. Она сказала:

— Дирек, мне кажется, что я холм, залитый солнцем...

— А я желтое облако, гонимое ветром...

— А я цветущая яблоня...

— А я великан...

— А я песня...

— А я мог бы тебя пропеть...

— Плывя по реке...

— По широкой реке, где по обоим берегам раскинулись зеленые равнины, и звери спускаются туда на водопой, и солнце и луна попеременно освещают воду, и кто-то поет далеко-далеко...

— «Красный сарафан»...

— А ну, побежали!..

Из желтой тучи, плывшей в лунном свете, на них брызнул дождь, и они побежали со всех ног под дождем, в два прыжка пересекая узкие, темные улочки и крепко держась за руки. Дирек заглядывал порой в ее лицо, разрумянившееся и нежное, в ее глаза, темные, веселые, и думал, что способен бежать так всю ночь, лишь бы она была рядом. Еще одна улица, другая, но наконец Недда, задыхаясь, остановилась.

— Где мы?

Они этого не знали, и полицейский указал им, как пройти к Портленд-Плейс. Половина второго, а рассвет начинается после трех. Они шли теперь ровным шагом вдоль ограды Реджент-парка и трезво обсуждали различные проблемы подлунного мира, но время от времени их сплетенные руки замирали в пожатии. Дождь перестал, сияла луна, и в ее свете деревья и цветы казались бледными и бескровными; городской шум постепенно замирал, огни в окнах уже дажно погасли. Они вышли из парка на дорогу, где еще, дребезжа, проносились мимо них запоздалые такси. В квадратных окнах мелькали то лицо, то обнаженные плечи, то цилиндр или манишка, а иногда оттуда вдруг доносился смех. Они остановились под низко нависающими ветвями большой акации, и Дирек, посмотрев в лицо Недды, мокрое от дождя, такое юное, округлое и нежное, подумал: «Она меня любит!» Внезапно она обвила руками его шею, и губы их встретились.

После этого поцелуя они долго не разговаривали и медленно шли по широкой, пустынной улице под белесыми облаками, переплывавшими темную реку небес, пока луна медленно спускалась к горизонту. Это была самая восхитительная часть всей долгой прогулки по ночному городу, потому что после поцелуя им показалось, будто они просто два бестелесных духа, витающих вместе по земным просторам. Это своеобразное чувство иногда сопутствует первой любви, если оба очень молоды.

Феликс отослал Флору спать, а сам остался наедине со своими книгами. Необходимости в этом не было: молодежь запаслась ключом от входной двери; но, решив бодрствовать, он так и остался сидеть с развернутой книгой о восточной философии на коленях, время от времени вдыхая запах нарциссов, стоявших неподалеку в вазе. Вскоре он погрузился в глубокое раздумье.

Прав ли этот восточный философ, утверждая, что наша жизнь только сон; можно ли считать это более достоверной истиной, чем то, что человек после смерти воскреснет во плоти для вечной жизни? Можно ли считать истиной хоть что-нибудь, кроме того, что мы ничего

не знаем? И разве люди не правы, говоря, что мы ничего не знаем и проносимся по миру, как порыв ветра, покоряясь какой-то неведомой извечной закономерности? И разве бедность нашего знания задерживала когда-нибудь то, что мы называем духовным ростом человека?.. Разве она когда-нибудь мешала человеку работать, любить и, если нужно, умирать героической смертью? А вера — это просто узор, украшение на врожденном героизме человека, достаточно могучем, чтобы обойтись без этих прикрас... Была ли когда-нибудь религия не только успокоительной панацеей или средством удовлетворения эстетических потребностей? А может быть, она действительно обладает своей собственной сущностью? Быть может, это и есть то непреложное и абсолютное, что он, Феликс Фриленд, упустил? Или вера все-таки лишь естественный спутник юности, наивное брожение, с которым зрелая мысль должна неизбежно расстаться? Но тут, перевернув страницу, он заметил, что не может больше читать, так как огонек лампы совсем потускнел и только чуть мерцал в ярких лунных лучах, лившихся в окно кабинета. Он встал и подбросил в камин новое полено, потому что последние ночи мая были очень прохладными.

Скоро три! Где же молодежь? Неужели он проспал их возвращение? Так и есть: в прихожей брошены на стул шляпа Алана и накидка Шейлы, та самая — темно-красная; он залюбовался ею, когда они уходили. Но никаких следов второй пары! Он тихонько поднялся наверх. Двери их комнат открыты. Да, эти молодые влюбленные домой не спешат... И то же болезненное чувство, первый приступ которого он испытал, когда впервые услышал от Недды про ее любовь, опять овладело им, но стало еще острее, потому что на исходе ночи жизненные силы иссякают. Он вспоминал те часы, когда она карабкалась на него или смиренно сидела у него на коленях, положив голову на его плечо, и слушала, как он ей читает или рассказывает сказки, то и дело поднимая на него ясные, широко открытые глаза, чтобы проверить, всерьез он говорит или шутит; своевольные и милые движения ее рук, когда они вдвоем ходили изучать жизнь птиц, пчел и цветов; вспоминал, как она повторяла: «Папочка, я тебя люблю», — и как бросалась к вход-

ным дверям, чтобы обнять его, когда он возвращался из путешествий; и как в последние годы цеплялась своим мизинцем за его мизинец, а он сидел и думал, глядя на нее исподтишка: «Это маленькое существо, у нее все впереди, но это моя родная дочь, я должен заботиться о ней и делить с ней горе и радость». От каждой из этих мыслей у него щемило сердце, как это бывает с больными, которые слышат песни дроздов и не могут встать с постели, чтобы выйти из дому и порадоваться весне. Лампа уже почти выгорела; луна спряталась за купу сосен, а цвет неба на северо-востоке начал меняться. Феликс открыл окно. Какой мир и покой! Холодный, лишенный запахов покой ночи, который нарушится утренним пробуждением тепла и юности... В широком окне, выходящем на север, он видел с одной стороны бледный город с еще горящими фонарями, а с другой — постепенно светлеющие темные луга. Внезапно чирикнула какая-то птица, и тут Феликс увидел запоздалую пару — они медленно шли по траве от калитки в сад. Его рука лежала у нее на плече, она обнимала его за талию. Они шли спиной к Феликсу, обогнули угол дома и направились туда, где сад шел под уклон. Они остановились над расстилающейся внизу широкой равниной — обе фигуры четко вырисовывались на фоне быстро светлеющего неба. «Наверное, дожидаются восхода солнца», — подумал Феликс. Они стояли молча, а птицы одна за другой начинали щебетать. И вдруг Феликс увидел, что юноша высоко вскинул руку над головой. Солнце! На краю серого горизонта вспыхнула красная полоска.

ГЛАВА XVIII

Когда добродетельные леди Маллоринг начинают опасаться за нравственность своих арендаторов, их опасения, как правило, предвосхищают события. В доме Трайста нравственность соблюдалась куда строже, чем соблюдали бы ее при таких же обстоятельствах в огромном большинстве особняков, принадлежащих людям богатым и знатным. Между великаном-батраком и «этой жекшиной» — она вернулась в дом после того, как с Трайстом

случился эпилептический припадок,— не происходило ровно ничего, что следовало бы скрывать от Бидди и ее двух питомцев. Люди, которые живут жизнью природы, мало говорят о любви и не выставляют ее напоказ: страсть у них почитается глубоко неприличной,— ведь благопристойность их воспитывалась веками на отсутствии каких бы то ни было соблазнов, досуга и эстетического чувства. Поэтому Трайст и его свояченица терпеливо ждали брака, который им запретили в их приходе. Единственное, что они себе позволяли,— это сидеть и смотреть друг на друга.

В тот день, когда Феликс встречал рассвет в Хемпстеде, к Трайсту постучался управляющий сэра Джералда; ему открыла Бидди, только что прибежавшая из школы пообедать.

— Как, детка, папа дома?

— Нет, сэр, только тетя.

— Позови тетю, мне надо с ней поговорить.

Маленькая мама скрылась на узкой лестнице, и управляющий тяжело вздохнул. Это был крепкий человек в коричневом костюме и крагах, с обветренным лицом, желтыми белками и щетинистыми усиками; только сегодня утром он признался жене, что ему «очень не по душе это дело». Он стоял, дожидаясь, у двери, а из кухни вышли Сюзи и Билли и уставились на него. Управляющий тоже стал рассматривать ребят, но тут за его спиной раздался женский голос.

— Да, сэр?

«Эта женщина» отнюдь не блистала красотой, но у нее было приятное свежее лицо и добрые глаза. Управляющий хмуро сказал:

— Доброе утро, мисс. Прошу простить, но мне приказано выселить вас. Наверно, Трайст думал, что мы еще погодим, но, боюсь, мне придется вынести из дому вещи. Куда вы собираетесь ехать — вот в чем вопрос.

— Я, наверно, поеду домой, а вот куда денется Трайст с детьми, мы не знаем.

Управляющий похлопывал хлыстом по крагам.

— Значит, вы этого ждали,— сказал он с облегчением.— Вот это хорошо.— И, поглядев вниз на маленькую маму, добавил: — А ты что скажешь, милочка? Вид у тебя смысленный.

— Я сбегаяю к мистеру Фриленду и спрошу его,—
ответила Бидди.

— Вот умница! Он уж найдет, куда вас пока пристроить. Вы как, уже пообедали?

— Нет, сэр. Обед только поспел.

— Поешьте лучше сначала. Спеха нет. Чем у вас там в кастрюле так хорошо пахнет?

— Тушеное мясо с капустой, сэр.

— Тушеное мясо с капустой! Вот оно что!

С этими словами управляющий отправился к фургону, стоявшему у обочины дороги; в нем сидели трое мужчин, сосредоточенно сосавших трубки. Но он не присоединился к ним, а отступил подальше, потому что, как он потом объяснял жене: «Скверное дело, прескверное,— ведь каждый мог меня там увидеть! Трое детей в этом доме — вот в чем загвоздка. Если б тем, из господского дома, пришлось свои грязные делишки своими руками обделывать, небось, у них к этому давно бы охота пропала».

Управляющий отошел на приличное расстояние и отсюда увидел, что маленькая мама, золотоволосая, в голубом переднике, уже бежит к дому Тода. Славная девчушка, право же, славная! И хорошенькая. Жалко их, очень жалко! И он направился обратно к домику. По дороге у него явилась мысль, от которой он похолодел: а вдруг девочка приведет миссис Фриленд, ту даму, что всегда ходит в синем и без шляпы? Уф! Мистер Фриленд — другое дело. Немножко «того», конечно, но безобидный, как муха. А вот его супруга... И он вошел в домик. Женщина мыла посуду: ничего, ведет себя разумно. Когда двое ребятишек отправятся в школу, тогда можно будет приступить к выселению, и поскорее с плеч долой! Чем быстрее, тем лучше, пока народ не сбежится. На таком деле только врагов наживешь. Управляющий шарил желтоватыми глазами по комнате, примеряясь к предстоящей работе. Ну и имущества же у них! То одну вещь купишь, то другую — вот и набралось. Надо в оба следить, чтобы ничего не поломали, это уж дело подсудное. И он обратился к женщине:

— Как, мисс, можно приступать?

— Запретить вам я не могу.

«Нет,— подумал он,— запретить ты мне не можешь, и очень жаль». Ей он сказал:

— Здесь у меня старый фургон. Так вещи сохраннее будут от дождя, ну и вообще. Мы погрузим их в фургон, а его загоним в пустой сарай в Мерроу и там оставим. Пусть лежат, пока Трайсту не понадобятся.

— Вы очень добры, спасибо,— ответила женщина. В голосе у нее не было иронии, и управляющий, заметив это, только крикнул и отправился звать помощников.

Как ни старайся, но даже в деревнях, где дома так разбросаны, что непонятно, есть ли тут вообще деревня, нельзя ничего сделать украдкой: домашний скарб Трайста вытаскивали из дому и складывали в фургон не больше часа, а на дороге против дома уже собралась кучка зрителей. Первым явился старый Гонт — в одиночестве, потому что Уилмет уже уехала в Лондон к мистеру Каскоту, а Том Гонт был на работе. Старик не раз видел на своем веку, как выселяют людей, и сейчас молча наблюдал за всей процедурой с чуть заметной глумливой усмешкой. Вскоре у его ног закопошились четверо детей, таких маленьких, что их еще не принимали в школу, а еще минута — прибежали матери, разыскивая свое потомство, и тут тишине наступил конец. К ним присоединились двое батраков, шедших на работу, каменотес и еще две женщины. И вот через эту толпу прошли маленькая мама и Кэрстин, торопясь к наспех опустошаемому дому. Управляющий стоял возле ветхой кровати Трайста, не скупясь на советы двум своим помощникам, которые разбирали ее на части. Он знал по опыту, что болтовня притупляет в нем всякие неприятные чувства, но сразу онемел, увидев на узкой лестнице Кэрстин. За что такая напасть? В крохотной клетушке, где он почти доставал до потолка головой, столкнуться лицом к лицу с такой женщиной! И вечером, рассказывая жене, он так и сказал: «За что такая напасть?» Он раз видел, как у дикой утки отбирали птенцов — вертела шей, как змея, и глаза вот такие же страшные, черные! Да когда норовистая кобыла старается тебя укусить, вид у нее и то куда добрее! «Так она там и стояла. Думаешь, она меня отругала? Ни-ни! Понимаешь, слишком она для этого воспитанная. Только все на меня смотрит, а

потом говорит: «А, это вы, мистер Симмонс! Как же вы за это взялись?» — а руку положила на голову девчонки. «Приказ есть приказ, сударыня!» Что еще мне было сказать? «Да,— говорит она,— приказ есть приказ, только незачем его выполнять». «Что касается до этого, сударыня,— говорю я (понимаешь, она ведь настоящая леди, от этого никуда не уйдешь),— я человек рабочий, такой же, как этот Трайст, и должен зарабатывать себе на хлеб». «Надсмотрщики над рабами тоже так говорят, мистер Симмонс». «В каждой должности,— говорю я,— есть свои темные стороны. И тут ничего не попишешь». «Так всегда будет,— отвечает она,— пока работники будут соглашаться выполнять грязную работу за своих хозяев». «Хотел бы знать,— говорю,— что со мной будет, если я начну привередничать? Нашему брату выбирать не приходится, что дают, то и бери». «Ну вот,— говорит она.— Мистер Фриленд и я пока забираем Трайста вместе с детьми к себе». Сердечные они люди, много для крестьян делают, только, конечно, по-своему. И при всем при том она ведьма. А стояла там в дверях—загляденье! Порода, она всегда себя покажет, это уж как пить дать. Главное сказала—и конец, ни тебе брани, ни воркотни. И девчонку с собой увела. А я стою как оплеванный, да еще работу доделывать надо, а народ на улице все злее становится. Они, конечно, помалкивают, но ты бы видела, как смотрят!» Управляющий прервал рассказ и злобно уставился на навозную муху, которая ползла по стеклу. Вытянув указательный и большой пальцы, он схватил муху и бросил ее в очаг. «А тут еще сам Трайст явился, как раз когда я кончал. Мне его прямо жалко стало: приходит человек, а все его пожитки на улицу повытаскивали. А он-то косая сажень в плечах. «Ах ты, так тебя перетак! — говорит.— Если б я дома был, дал бы я вам тут хозяйничать!» И я уже жду, что он меня кулачищем... «Послушай, Трайст,— говорю я,— сам знаешь, я-то здесь ни при чем». «Да,— говорит он,— знаю. Они за это — так их! — поплатятся». Грубиян, да что с него и спрашивать! «Да,— говорит он, — пусть поостерегутся, я им еще отплачу!» «Но-но! — говорю.— Сам знаешь, для кого законы писаны. А я для тебя тут стараюсь, помочь хочу, вещи в фургон ношу; все уж готово — можно ехать». А он на

меня смотрит — странные у него глаза: блуждают, — не хорошие глаза, будто под хмельком человек, — и говорит: «Я тут двадцать лет жил. Тут моя жена умерла». И разом смолк, словно язык у него отнялся. Но глаз, однако, с нас не спускает, пока мы все там не кончили. Очень мне не понравилось, что он на нас так смотрит. Он что-нибудь натворит, помяни мое слово». Управляющий снова замолчал и словно застыл, а его лицо, желтое до того, что даже белки пожелтели, казалось, одеревенело.

— Он к этому дому привязан, — внезапно сказал он, — или ему что-то в голову вбили про его права; много сейчас таких смутьянов развелось. Только кто же обрадуется, если все его добро на улицу выбросят, зевакам на потеху! Я бы сам за это спасибо не сказал.

И с этими глубоко прочувствованными словами управляющий раздвинул желтые, как дубленая кожа, большой и указательный пальцы и схватил еще одну муху...

Пока управляющий рассказывал жене о событиях дня, выселенный Трайст сидел на краю кровати в одной из комнат первого этажа в домике Тода. Он снял тяжелые сапоги и засунул ноги в толстых, грязных носках в войлочные домашние туфли Тода. Сидел он не шевелясь, будто его оглушили ударом по лбу, и в голове у него медленно ворочались тяжелые мысли: «Они меня выгнали... Я им ничего не сделал, а они меня выгнали из дому. Будь они прокляты, — выбросили меня из дому!..»

В саду сидел озадаченный, серьезный Тод, а вокруг него собрались трое маленьких Трайстов. У калитки стояла освещенная лучами заката Кэрстин и дожидалась своих детей, вызванных телеграммой; ее фигура в синем платье своей неподвижностью напоминала правоверного, который слушает зов муэдзина.

ГЛАВА XIX

«В четверг, рано утром, в имении сэра Джералда Маллоринга в Вустершире возник пожар, уничтоживший несколько стогов сена и пустой хлев. Есть серьезные

подозрения, что пожар — дело рук злоумышленников, но пока еще никто не арестован. Власти предполагают, что это происшествие имеет связь с недавними событиями такого же рода в восточных графствах».

Эту заметку Стенли прочел за завтраком в своей любимой газете. За ней следовала небольшая редакционная статья:

«Возможно, что пожар в поместье сэра Джералда Маллоринга в Вустершире является тревожным признаком аграрных волнений. Мы будем с беспокойством следить за тем, какие это будет иметь последствия. Но одно не подлежит сомнению: если власти будут потворствовать поджигателям или другим злоумышленникам, покушающимся на имущество землевладельцев, нам надо расстаться с надеждой хоть как-нибудь улучшить долю фермера-арендатора...». И так далее.

Если бы, прочтя газету, Стенли встал и зашагал по комнате, его можно было бы извинить — хотя он знал характер и настроение детей Тода хуже, чем Феликс, он все же знал их достаточно, чтобы встревожиться, — но ведь Стенли был англичанином! То, что он продолжал есть ветчину и сказал Кларе: «Еще полчашки!» — безусловно, доказывало, что он обладает тем загадочным свойством, которое зовется флегмой и позволяет его родине мирно прозябать в болоте.

Стенли был человек неглупый — недаром он постиг секрет доходного производства плугов (но только на экспорт) — и часто раздумывал над важной проблемой английской флегмы. Люди говорили, будто Англия вырождается, становится истеричной, слабонервной, теряет связь с землей и все прочее. По его мнению, все это была ерунда.

— Посмотрите, как толстеют шоферы! — говорил он. — Посмотрите на Палату Общин и на дородность высших классов!

Если в стране и увеличилось число низкорослых, крикливых рабочих и социалистов, суфражисток и грошовых листков, если у нас стало больше всяких профессоров и длинноволосых художников, тем лучше для остального населения Англии! Вес, который теряет все это худосочное отребье, приобретают люди солидные. Страна, может быть, и страдает от бюрократии и вред-

ного направления мыслей, но настоящая английская порода не меняется. Джон Буль остался таким, как был, несмотря на усы. Сбрейте эти усы и прилепите маленькие бакенбарды, и вы получите столько джонов булей, сколько вашей душе угодно! Никаких социальных потрясений не произойдет, пока климат Англии останется прежним! Произнеся этот простой афоризм и разразившись коротким утробным смешком, Стенли переходил на более важные темы. В его убеждении, что дождь наверняка погасит любой пожар — дайте только ему время, — было даже нечто величественное. И в особом углу он держал особый сосуд, который точно показывал ему, сколько дюймов осадков выпало за день; время от времени он писал в свою газету письма о том, что такое количество осадков выпало «впервые за тридцать лет». Его уверенность в том, что страна переживает тяжелые времена, была словно сыпь, вызывающая легкий зуд кожи, но она не касалась жизненных органов, скрытых в его упитанном теле. Он предпочитал не рассказывать Кларе неприятных подробностей о своих близких, так как свято хранил истинно мужскую веру в то, что его родня лучше ее родни. Она была всего-навсего какая-то Томпсон, и трудно сказать, кто из них обоих старался поскорее об этом забыть. Но он все же сказал ей, садясь в автомобиль:

— Очень может быть, что по дороге домой я заеду к Тоду. Мне надо проветриться.

— Будь осторожен с этой женщиной, — предупредила Клара. — Ни в коем случае нельзя, чтобы она к нам приехала. Ее дети и то были невыносимы.

И когда Стенли кончил свои дела на заводе, он приказал шоферу повернуть к дому Тода. Автомобиль покати по дорогам, заросшим по краям травой, и прелесть английского пейзажа тронула даже его не слишком чувствительную душу — у него просто перехватило дыхание. Было то время года, когда у природы кружится голова от собственной красоты, от одуряющих запахов и немолчного хора бесчисленных голосов. Белые цветы боярышника заливали живые изгороди пенным каскадом; луга сияли золотом лютиков, на каждом дереве куковала кукушка, на каждом кусте заливались вечерней песней дрозды. Ласточки летали низко, и небо, за чьим на-

строением они всегда следят, было красиво сонной, перенасыщенной красотой долгого ясного дня, готового пролиться ливнем. Некоторые фруктовые сады еще стояли в цвету, и крупные пчелы, носившиеся над травами и цветами, наполняли воздух густым жужжанием. Все перемешалось: движение, свет, краски, песни птиц, благоухание цветов, теплый ветер и шелест листвы — так, что трудно было отличить одно от другого.

Стенли подумал, не будучи человеком, склонным к восторженным излияниям: «Бесподобная страна! Как все ухожено, за границей этого не увидишь!»

Но автомобиль — существо, презиращее красоту природы, — быстро домчал его до перекрестка и встал, тихонько дыша, прямо под каменистым откосом, на котором прилепился домик Тода, теперь уже так заросший сиренью, глицинией и вьющимися розами, что с дороги был виден только конек кровли.

Стенли явно нервничал. Его лицо и руки не были приспособлены для выражения подобной слабости, но он ощущал сухость во рту и дрожь в груди — свидетельство душевной тревоги. Поднимаясь по ступеням и посыпанной гравием дорожке, по которой ровно девятнадцать лет назад однажды прошла Клара, а он только три раза за все эти годы, Стенли откашлялся и сказал себе: «Спокойно, старина! Что с тобой в конце концов? Она ведь тебя не съест!»

И в самых дверях он столкнулся с ней.

Но и увидев ее, он не понял, почему эта женщина вызывала у нормального, здравомыслящего человека такое странное чувство. Вернувшись от Тода, Феликс сказал:

— Она словно «Песня Гебридских островов», пропетая среди английских народных баллад.

Эта чисто литературная ассоциация ничего не объяснила Стенли и показалась ему натянутой. Но когда она ему сказала: «Входите, пожалуйста», — он вдруг почувствовал себя грузным, нескладным, — так должна себя чувствовать кружка портера рядом с бокалом кларета. Наверно, виноваты во всем были ее глаза, цвет которых он не мог определить, или чуть-чуть вздрагивавший посредине излом бровей, или платье, — оно было синее, но как-то странно отливало другим цветом, а может быть,

она вызывала у него ощущение водопада, стремительно мчащегося под ледяным покровом, который вдруг проваливается под ногой, хотя тебе каким-то чудом удастся удержаться на поверхности... Словом, что-то вдруг заставило его почувствовать себя одновременно маленьким и тяжеловесным — неприятное ощущение для человека, привыкшего сознавать себя жизнерадостным, но солидным и полным достоинства. Сев по ее просьбе у стола в помещении, похожем на кухню, он почувствовал странную слабость в коленях и услышал, как она сказала куда-то в пространство:

— Бидди, милая, уведи во двор Билли и Сюзи.

В ответ на это из-под стола выползла маленькая девочка с печальным и озабоченным личиком и сделала ему книксен. Потом оттуда же появилась девочка еще меньше и совсем маленький мальчик, глядевший на него во все глаза.

Стенли стало еще больше не по себе, и он понял, что если сейчас же твердо о себе не заявит, то скоро и сам перестанет понимать, где находится.

— Я приехал, чтобы поговорить об этом происшествии у Маллорингов.— И, ободрившись (все-таки он сумел заговорить!), Стенли осведомился: — Чьи это дети?

Она ответила ему ровным голосом, чуть-чуть шепелявя:

— Фамилия их отца—Трайст, его в среду выгнали из дома за то, что у него жила сестра его покойной жены, поэтому мы взяли их к себе. Вы заметили, какое выражение лица у старшей?

Стенли кивнул. Он и правда что-то заметил, но не знал, что именно.

— В девять лет ей приходится вести хозяйство, быть матерью двоим младшим детям да еще ходить в школу. И все это потому, что леди Маллоринг очень щепетильна и не признает брака со свояченицей.

«Да, пожалуй,— подумал Стенли,— тут уж она перехватила через край!» И спросил:

— А эта женщина тоже тут?

— Нет, она пока уехала домой.

У него отлегло от сердца.

— Маллоринг, по-видимому, хочет доказать, что он может поступать со своим имуществом, как ему заблаго-

рассудится. Ну, скажем, если бы вы сдали свой дом кому-нибудь, кто, по-вашему, дурно влияет на всю округу, вы расторгли бы арендный договор?

Она ответила все тем же ровным тоном:

— Ее поступок был подлым, ханжеским произволом, и никакие словесные ухищрения не заставят меня отнестись к этому иначе!

У Стенли возникло ощущение, что его нога провалилась под лед и ее сразу обожгло ледяной водой. Словесные ухищрения! Обвинять в этом такого прямолинейного человека, как он! Он всегда считал, что словесными ухищрениями занимается его брат Феликс. Стенли посмотрел на нее и вдруг заподозрил, что семья его брата замешана в преступлении, совершенном в имении Маллорингов, куда больше, чем он предполагал.

— Послушайте, Кэрстин! — решительно произнес он ни на что не похожее имя (в конце концов она его невестка). — А не этот ли субъект поджег стога Маллоринга?

Он увидел, как глаза ее на мгновение вспыхнули, в ее лице что-то дрогнуло, но оно тут же застыло снова.

— У нас нет оснований это предполагать. Но на произвол, как вы знаете, отвечают мстью.

Стенли пожал плечами:

— Не мое дело судить, правильно или неправильно поступили в этом деле. Но, как человек с житейским опытом и родственник, я вас прошу: последите за вашими ребятами, чтобы они не натворили каких-нибудь глупостей. Они парочка горячая, да оно и понятно: молодость!

Произнеся эту речь, Стенли опустил глаза, думая облегчить ей этим положение.

— Вы очень добры, — снова услышал он ее тихий, чуть-чуть шепелявый голос, — но тут речь идет о принципах...

И вдруг его непонятный страх перед этой женщиной принял осязаемую форму. Принципы! Он подсознательно ждал этого слова, которое выводило его из себя так же верно, как красная тряпка быка.

— Какие принципы могут оправдать нарушение закона?

— «А если закон несправедлив?

Стенли был поражен.

— Помните,— все же сказал он,— что ваши так называемые принципы могут причинить вред не только вам, но и другим и больше всего Тоду и вашим же детям. А в каком смысле закон несправедлив, разрешите спросить?

Все это время она сидела за столом против него, но теперь поднялась и подошла к очагу. Для женщины сорока двух лет — а ей, по его расчетам, не могло быть меньше — она казалась удивительно гибкой, а ее глаза под этими вздрагивающими, изломанными бровями таили в своей темной глубине какой-то странный огонь. Несколько серебряных нитей в густой копне ее очень тонких черных волос делали их будто еще более живыми. Во всем ее облике чувствовалась такая сила, что ему стало совсем не по себе. Он вдруг подумал: «Бедный Тод! Представить себе только — ложиться в постель рядом с такой женщиной!»

Она ответила ему, не повышая голоса:

— Эти бедные люди не имеют возможности пустить в ход закон, не могут решать, где и как им жить, должны делать только то, что им приказывают. А Маллоринги могут пустить в ход закон, решать, где и как им жить, и навязывать другим свою волю. Вот почему закон несправедлив. Этот ваш равный для всех закон действует по-разному, в зависимости от того, каким имуществом вы обладаете!

— Н-да! — сказал Стенли. — Это что-то сложно!

— Возьмем простой пример. Если бы я решила жить с Тодом невенчанной, мы могли бы это сделать без особого для нас ущерба. У нас есть кое-какие средства; мы могли бы не обращать внимания на то, что о нас думают люди и как они к нам относятся. Мы могли бы купить (как мы и сделали) кусок земли и домик, из которого нас никто не мог бы выгнать. Так как в обществе мы не нуждаемся, то и жили бы точно так же, как мы живем сейчас. А вот Трайст, у которого даже в мыслях нет бросить вызов закону,— какова его судьба? Какова судьба тех сотен арендаторов в нашей стране, кто отваживается смотреть на политику, религию или мораль не так, как те, от кого они зависят?

«Ей-богу, она в чем-то права,— подумал Стенли.— Я никогда не подходил к вопросу с этой стороны». Но мысль о том, что он приехал сюда, чтобы заставить ее образумиться, и глубоко сидевшая в нем английская закваска заставили его сказать вслух:

— Все это прекрасно, но ведь есть собственность! Нельзя же лишить людей их законных прав!

— Вы имеете в виду зло, неотъемлемое от владения собственностью?

— Пусть так, я не буду препираться из-за слов. Меньшее из двух зол. А что вы предлагаете взамен? Не хотите же вы уничтожить собственность; вы же сами признали, что она дает вам независимое положение!

И снова по ее лицу скользнул какой-то отблеск.

— Да, но если у людей не хватает порядочности понять, почему закон охраняет их независимость, им надо доказать, что нельзя поступать с другими так, как ты не хотел бы, чтобы поступили с тобой!

— И вы даже не попытаете прибегнуть к убеждению?

— Их все равно не убедишь.

Стенли взял свою шляпу:

— Ну знаете, не всех. Я понимаю вашу точку зрения; но дело в том, что насилие никогда не приносило добра, это... это не по-английски.

Она ничего не ответила. И, растерявшись, он добавил с запинкой:

— Жаль, что я не смог повидать Тода и ваших ребят. Передайте им привет. Клара просила вас кланяться.— И, бросив вокруг себя смущенный взгляд, Стенли протянул ей руку.

Его ладони коснулось что-то теплое, сухое, и он ощутил даже легкое пожатие.

Сев в автомобиль, он сказал шоферу:

— Поезжайте домой по другой дороге, Батер, мимо церкви.

У него перед глазами упорно стояла эта кухня с кирпичным полом, черные дубовые балки на потолке, ярко начищенные медные кастрюли, цветы на подоконнике, огромный открытый очаг, а перед ним — фигура женщины в синем платье, упершейся ногой в полено. И трое

детишек, появившихся из-под стола в подтверждение того, что все это не дурной сон!.. «Странная история!..— думал он,— неприятная история! Но, во всяком случае, эта женщина никак не сумасшедшая. И многое из того, что она говорит, в общем, верно. Но до чего бы все мы дошли, если бы на свете было много таких, как она!»

Вдруг он заметил на лугу справа группу людей, направляющихся вдоль изгороди к шоссе,— по-видимому, батраков. Что они здесь делают? Он приказал шоферу остановиться. Их было человек пятнадцать — двадцать, а вдали, на лугу, видна была девушка в красной кофточке и с ней еще человека четыре. «Ах ты, черт! — подумал он. — Тут, наверно, дело не обходится без младших Тодов». И, заинтересовавшись тем, что все это могло означать, Стенли стал следить за калиткой, откуда должны были выйти люди. Первым появился крестьянин в плисовых штанах, застегнутых под коленями; его изможденную, но жизнерадостную физиономию украшали длинные каштановые усы. За ним шел низенький, плотный, краснолицый и кривоногий человек в рубашке с закатанными рукавами, рядом с высоким брюнетом в сдвинутой на затылок шапке, который, по-видимому, только что отпустил какую-то шутку. Дальше шли два старика — один из них хромал — и три подростка. Потом появился, в промежутке между двумя группами, еще один высокий крестьянин. Он шагал тяжело и кинул на автомобиль хмурый взгляд исподлобья. Глаза у этого человека были какие-то странные, в них сквозила угроза и грусть,— у Стенли на душе сразу стало тревожно. Следующим вышел низенький, широкоплечий человек с нагловатым, общительным и развязным видом. Он тоже поглядел на Стенли и отпустил какое-то замечание; двое его спутников с худыми физиономиями дурашливо осклабились. Сзади них шел, сильно хромая, тощий старик с желтым лицом и обвислыми седыми усами, а рядом — сгорбленный, кривобокий парень с лицом, заросшим рыжей щетиной. Он показался Стенли слабоумным. А дальше шагали еще два подростка лет по семнадцати, обстругивая на ходу палочки, и бодрый, коротко стриженный молодец со впалыми щеками; шествие замыкал низенький человек с непокрытой круглой головой, поросшей тонкими светлыми волосами; он шел один при-

танцующей походкой, словно гнал впереди себя скотину.

Стенли заметил, что все, кроме высокого крестьянина с угрожающим, грустным взглядом, желтолицего хромого старика и низенького человечка, который шел последним, поглощенный воображаемым стадом, украдкой разглядывали машину. Он подумал: «Английский крестьянин! Вот бедняга! Кто он такой? Что он такое? Кто о нем пожалеет, если он и вправду вымрет? Какой толк от всего этого шума, который вокруг него поднимают? Песенка его спета. Слава богу, мне в Бекете с ним не приходится иметь дело! «Назад на землю!» «Независимый земледелец!» Куда там! Но Кларе я этого говорить не стану,—зачем портить ей удовольствие?» И он пробурчал шоферу:

— Поезжайте, Батер!

Итак, в майский вечер он спешил домой обедать по этой мирной земле, сплошь покрытой лугами, мимо горделивых деревьев и полных прелести трав и цветов, а в небе, насыщенном теплом и всеми красками заката, беззаботно распевали птицы.

ГЛАВА XX

Однако на рассвете Стенли повернулся на спину и вдруг подумал с непривычной тревогой (а в предутренние часы тревога легко переходит в испуг): «Ах, черт! Нет, от этой женщины можно ждать чего угодно! Надо вызвать Феликса!» И чем дольше он лежал на спине, тем сильнее его обуревала тревога. В воздухе теперь словно носится какая-то лихорадка, и женщины ею заболевают, как прежде дети болели корью. Но что это все значит? Раньше в Англии можно было жить спокойно. Кто бы подумал, что такая старая страна еще не переболела детскими болезнями? Истерия, и все. Но нельзя поддаваться истерии. Осторожность не мешает! Поджоги — это уж слишком! И тут Стенли померещилось, что и его завод объят огнем. А почему бы и нет? Плуги не идут на внутренний рынок. Кто знает, а вдруг эти крестьяне, если беспорядки усилятся, сочтут, что их и тут

обижают? Как ни маловероятно было это предположение, оно запало в голову Стенли и нагнало на него страху. И только благодетельная привычка отмахиваться от своих тревог позволила ему в половине пятого снова уснуть.

Но он все-таки не преминул протелеграфировать Феликсу:

«Если возможно, немедленно приезжай. Неприятная история в Джойфилдсе».

И под благовидным предлогом дать еще двум старикам легкую работу он вместо одного ночного сторожа завел трех...

В среду, в тот день, чью зарю он встретил на ногах, Феликс, вернувшись после утреннего моциона, с удивлением обнаружил, что его племянник и племянница собрались уезжать. Они не стали ничего объяснять и сказали только: «Нам очень жалко, дядя Феликс, но мама вызвала нас телеграммой». Если бы не смутное беспокойство, которое вселял в него любой поступок «этой женщины», Феликс почувствовал бы только облегчение. Дети Тода нарушали его привычную жизнь, отдалили от него Недду. Ведь теперь он даже не ждал, чтобы она пришла и рассказала ему, почему они уехали. И у него не было желания ее об этом спрашивать. Как мало надо, чтобы нарушилась связь между самыми близкими людьми! Чем глубже привязанность, тем легче дает она трещину, а из-за повышенной деликатности по отношению друг к другу оба и не пытаются вернуть утраченную близость.

Его газета — хотя он и остерегался звать ее «моей любимой газетой», считая, как и положено писателю, что всякая пресса его не просвещает, а только обманывает, — сообщила ему в пятницу утром ту же новость о поджоге помещичьих стогов, которую Стенли узнал за завтраком, а Джон — по дороге в свое министерство. Джон, который не был в курсе дела, только нахмурился и рассеянно попытался припомнить число деревенских полицейских в Вустершире. Феликс же почувствовал дурноту. Люди, чья профессия требует, чтобы они ежедневно подстегивали свою нервную систему, любят, как правило, забегать вперед. И один бог знает, какие только ужасы не померещились ему теперь. Недде он не

сказал ни слова, но долго раздумывал, а потом советовался с Флорой, надо ли что-нибудь предпринять и что именно. Флора, которую редко покидало чувство юмора, придерживалась более удобной точки зрения: она считала, что пока делать ничего не надо. Успеется кричать «караул», когда беда и в самом деле грянет! Он с ней не согласился, но не мог предложить ничего лучшего и последовал ее совету. Однако в субботу, получив телеграмму Стенли, он с трудом удержался, чтобы не сказать ей: «Я же тебе говорил!» Теперь его мучил вопрос — брать или не брать с собой Недду? Флора сказала:

— Братъ. Девочка скорей других сумеет его удержать, если там и в самом деле начнутся беспорядки.

Феликсу это было очень неприятно, но, испугавшись, что в нем просто говорит ревность, он решил взять дочь с собой. И, к радостному изумлению Недды, она в тот же день обедала в Бекете. Феликса обеспокоило, что он встретил там Джона. Значит, Стенли протелеграфировал и ему. Видно, дело обстоит серьезно.

А в поместье, как всегда, съехались гости. Клара на этот раз превзошла себя. Один болгарин, к счастью, написал книгу, где неопровержимо доказывал, что люди, питающиеся черным хлебом, картофелем и маргарином, обладают превосходным здоровьем. Это открытие послужило отличной застольной темой: оно ведь одним ударом решало наболевший вопрос о судьбе земледельцев! Если бы только их удалось заставить перейти на эту здоровую диету, положение было бы спасено! По словам болгарина, питаясь этими тремя продуктами (его книга была отлично переведена), семья из пяти человек могла чудесно прожить на один шиллинг в день. Подумайте! Это ведь оставит в неделю почти восемь шиллингов (а в ряде случаев и больше) на арендную плату, отопление, страхование, табак для отца семьи и башмаки для ребят. Женщинам больше не придется отказывать себе во всем (об этом столько приходится слышать!), чтобы как следует накормить мужа и детей; и нечего будет опасаться вырождения нашего национального типа. Черный хлеб, картофель и маргарин — на семь шиллингов этого можно купить совсем не мало! А что может быть вкуснее хорошо пропеченного картофеля с маргарином лучшего качества? Углеводороды...

ах, нет, водоуглероды... или нет, углекислороды, содержатся в этих продуктах в совершенно достаточном количестве! Весь обед на ее краю стола ни о чем другом не говорили. Над цветами, которые Фрэнсис Фриленд, когда она здесь жила, всегда сама расставляла на столе — и при этом с большим вкусом, — над обнаженными плечами и белоснежными манишками, как стрелы, взад и вперед, летали эти слова. Черный хлеб, картофель, маргарин, углеводы, калорийность! Они смешивались с легким шипением шампанского, с мягким шорохом благовоспитанно поглощаемой снеди. Белоснежные груди вздымались от этих слов, а брови многозначительно приподнимались. И порой какая-нибудь высокоученая «шишка» роняла слово «жиры»! Подумать только: накормить деревню, сохранив ее работоспособность и не нарушая существующего порядка вещей! Эврика! Если бы только удалось заставить крестьян печь черный хлеб самим и хорошо варить картофель! Щеки горели, глаза блестели, зубы сверкали. Это был лучший, самый многообещающий обед, какой когда-либо поглощали в этой комнате. И только тогда, когда все гости мужского пола осоловели от еды, питья и разговоров настолько, что их уже стало удовлетворять общество собственных жен, трое братьев смогли посидеть в курительной без посторонних.

Когда Стенли описал свое свидание с «этой женщиной», мелькнувшую вдали красную кофточку и собрание батраков, наступило молчание. Его прервал Джон:

— Было бы недурно, если бы Тод на какое-то время отправил своих детей за границу.

Феликс покачал головой.

— Не думаю, чтобы он это сделал, и не думаю, чтобы они согласились уехать. Но надо постараться им объяснить: что бы бедняги-батраки ни затеяли, все это с учетверенной силой обрушится на них же самих. — И он добавил с внезапной желчностью: — Крестьянское восстание у нас, полагаю, вряд ли имеет шансы на успех?

Джон и Стенли даже глазом не моргнули.

— Восстание? А зачем им восставать?

— В тысяча восемьсот тридцать втором году они же восстали!

— Ну, так это же было в тысяча восемьсот тридцать втором! — воскликнул Джон. — Тогда сельское хозяйство еще играло большую роль. Теперь не играет никакой. К тому же они друг с другом не связаны, у них нет такого единства и силы, как у горняков или железнодорожников. Восстание? Оно невозможно. Их задавит металл.

Феликс улыбнулся.

— Золото и пушки? Пушки и золото! Сознайтесь, братья мои, что нам он большая подмога, этот металл!

Джон широко открыл глаза, а Стенли залпом выпил свое виски с содой. Нет, право же, Феликс иногда слишком много себе позволяет!

— Интересно, что обо всем этом думает Тод? — вдруг сказал Стенли. — Может, ты съездишь к нему, Феликс, и посоветуешь нашим юным друзьям не подводить бедных батраков?

Феликс кивнул. Братья пожелали друг другу спокойной ночи и, обойдясь без рукопожатий, разошлись.

Когда Феликс отворял дверь своей спальни, позади раздался шепот.

— Папа! — В дверях соседней комнаты стояла Недда в халатике. — Зайди ко мне на минуточку! Я давно тебя жду. Как ты поздно!

Феликс вошел в ее комнату. Прежде ему было бы так приятно это полуночное перешептывание, но теперь он только молчал, помаргивая. Глядя на ее голубой халат, на темные кудри, падающие на кружевной воротник, на это круглое детское личико, он еще больше чувствовал себя обездоленным. Взяв его под руку, она подошла с ним к окну, и Феликс подумал: «Ей просто нужно поговорить со мной о Диреке. Довольно мне изображать собаку на сене! Надо взять себя в руки». Вслух он спросил:

— Ну в чем дело, детка?

Недда, словно задабривая его, чуть-чуть сжала ему руку.

— Папка, дорогой, я так тебя люблю!

И хотя Феликс понимал, что она просто разгадала его состояние, на душе у него стало тепло. А она, сидя рядом с ним, перебирала его пальцы. На душе у Фелик-

са стало еще теплее, но он все-таки подумал: «Видно, ей от меня чёго-то очень нужно!»

— Зачем мы сюда опять приехали? — начала она. — Я вижу, что-то случилось! И как ужасно ничего не знать, когда так волнуешься! — Она вздохнула. Этот легкий вздох больно отозвался в сердце Феликса. — Я всегда предпочитаю знать правду, папа. Тетя Клара говорила, что у Маллорингов был пожар.

Феликс украдкой взглянул на нее. Да! У его дочери есть кое-что за душой! Глубина, сердечность и постоянство чувств. С ней не надо обращаться, как с младенцем.

— Детка, ты знаешь, что наш милый юноша и Шейла — горячие головы, а у них в округе неспокойно. Нам надо сделать так, чтобы все уладилось.

— Папа, как, по-твоему, я должна поддерживать его во всем, что бы он ни сделал?

Ну и вопрос! Тем более, что на вопросы тех, кого любишь, нельзя отвечать пустой отговоркой.

— Пока мне трудно что-нибудь сказать, — ответил он в конце концов. — Кое-чего ты, без сомнения, делать не обязана. Во всяком случае, в своих поступках ты не должна во всем следовать ему — это противостоит естеству, как бы ты человека ни любила.

— Да, и мне так кажется. Но мне очень трудно разобраться, как я сама на все это смотрю: ведь порой так хочется считать правильным то, что удобно и легко!

«А меня-то воспитывали в убеждении, что только русские девушки ищут правды! — подумал Феликс. — Видно, это ошибка. И не дай мне бог помешать моей собственной дочери искать эту правду! Но с другой стороны, куда ее это приведет? Неужели она — тот ребенок, который только на днях говорил мне, что хочет «все изведать»? Ведь она уже взрослая женщина! Вот она, сила любви!» Он сказал:

— Давай-ка двигаться потихоньку и не требовать от себя невозможного.

— Хорошо, только я все время в себе сомневаюсь.

— Без этого никто еще не добивался правды.

— А мы сможем завтра съездить в Джойфилдс? Я, пожалуй, не выдержу целого дня еды и «шишек»...

— Бедные «шишки»! Хорошо, поедem. А теперь спать. И ни о чем не думать! Слышишь?

Она шепнула ему на ухо:

— Какой ты хороший, папочка!

И он ушел к себе утешенный.

Но когда она уже забылась сном, он все еще стоял у открытого окна, курил одну папиросу за другой и пытался вглядеться в самую душу этой ночи. Как она тиха, эта таинственная безлунная ночь; в ее тьме, казалось, еще звучала переключка кукушек, куковавших весь день напролет. И Феликс прислушивался к перешептыванию листвы.

ГЛАВА XXI

Что думал обо всем этом Тод, было загадкой не только для трех его братьев, но, пожалуй, и для него самого, особенно в то воскресное утро, когда в дверях его дома появились двое полицейских с ордером на арест Трайста. С полминуты Тод пристально смотрел на них, а затем сказал: «Подождите», — и ушел, оставив их на пороге.

Кэрстин находилась в чулане за кухней — она мыла после завтрака глиняную обливную посуду; тут же неподвижно стояли на редкость чистенькие дети Трайста и молча на нее глядели.

Она вышла к Тоду на кухню, и тот прикрыл за ней дверь.

— Два полицейских. За Трайстом, — сказал он. — Как быть? Пусть забирают?

С первых дней совместной жизни между Тодом и Кэрстин установился безмолвный уговор, кто из них решает в семье тот или иной вопрос. Постепенно у них выработался безошибочный инстинкт, так что между ними никогда не вспыхивали ожесточенные споры, которые обычно занимают такое большое место в семейной жизни. Лицо Кэрстин дрогнуло, и она нахмурила брови.

— Мы ничего сделать не можем. Дирека нет дома. Предоставь это мне, а сам уведи ребятишек в сад.

Тод увел маленьких Трайстов на то самое место, откуда Дирек и Недда смотрели на темнеющие поля и где они обменялись первым поцелуем; он сел на пенек старой груши и дал каждому из детей по яблоку. Пока они ели, Тод смотрел на них, а собака смотрела на него. Закон

отнимал сейчас отца и кормильца у этих ребятишек, но трудно сказать, испытывал ли Тод, глядя на них, те же чувства, что обыкновенный смертный, однако глаза у него стали донельзя синими, а брови насупились.

— Ну как, Бидди? — спросил он наконец.

Бидди ничего не ответила; привычка быть матерью наложила особый отпечаток на ее маленькое, бледное, овальное личико и развила в ней удивительную способность молчать. Но круглощекая Сюзи тотчас сообщила:

— Билли умеет есть косточки.

После этого заявления опять наступила тишина, и пока Тод снова не заговорил, слышно было только, как жуют дети.

— Откуда все это берется? — спросил он.

Дети поняли, что он обращается не к ним, а к самому себе, и подошли поближе. На ладони у Тода сидела какая-то букашка.

— Этот жучок живет в гнилом дереве. Правда, хорош?

— Мы убиваем жуков, мы их боимся... — Это заявила Сюзи.

Они тесно сгрудились вокруг Тода: Билли стоял на его широкой ноге, Сюзи уперлась локтем в объемистое колено, а тоненькая Бидди прижималась к могучему плечу.

— Зря, — сказал Тод, — жуки хорошие.

— Их птицы едят, — сообщил Билли.

— Этот жучок питается древесиной, — сказал Тод. — Он проедает дерево насквозь, и оно гниет...

Тогда заговорила Бидди:

— И больше не дает яблок!

Тод положил жучка на землю; Билли слез с его ноги и принялся его топтать. Мальчик старался изо всех сил, но жучок остался цел и вскоре исчез в траве. Тод его не останавливал; потом он взял мальчика и водворил обратно к себе на ногу.

— А что, Билли, если я на тебя наступлю? — спросил он.

— Как?

— Я ведь тоже большой, а ты маленький.

Билли изумился, и на его квадратном личике появилось строптивное выражение. Он сумел бы дать отпор,

но ему уже успели внушить, что каждый должен знать свое место. Тишину нарушил захмелевший шмель, запутавшийся в золотых, как колосья, пушистых волосах Бидди. Тод пальцами вытащил шмеля.

— Красавец, правда?

Дети сначала было отпрянули, но теперь вернулись на место. А пьяный шмель неуверенно ползал в большой горсти Тода.

— Пчелы жалят,— сказала Бидди.— Я раз упала на пчелу, и она меня ужалила.

— Ты первая ее обидела,— сказал Тод.— А шмель ни за что на свете не ужалит. Погладь его.

Бидди протянула худой пальчик, но не решалась дотронуться до насекомого.

— Смелее,— сказал Тод.

Бидди открыла рот и, набравшись смелости, погладила шмеля.

— Он мягкий,— сказала она,— почему он не жужжит?

— Я тоже хочу погладить,— сказала Сюзи, а Билли нетерпеливо прыгал на ноге Тода.

— Нет,— сказал Тод.— Только Бидди.

Все молчали, пока собака не подняла морды, черной с розовато-белым пятном на переносице; она потянулась к шмелю, словно тоже желая его приласкать.

— Нет,— сказал Тод; собака поглядела на него, и в ее желто-карих глазах появилась тревога.

— Он ужалит собаку в нос,— сказала Бидди, а Сюзи и Билли еще теснее прижались к Тоду.

В ту самую минуту, когда головы собаки, шмеля, Тода, Бидди, Сюзи и Билли могли бы уместиться в петле диаметром в три фута, Феликс вылез из автомобиля Стенли и, пройдя в сад, увидел эту идиллическую группу — всю в солнечных бликах, на фоне листвы и цветов. Была в этом какая-то особая значительность, — тут билась сама жизнь, словно в хорошей картине или песне; она была пронизана по-детски чистым восторгом и удивлением, рядом с которыми меркнут все другие чувства; тихая заводь простоты, где сразу замирают все лихорадочные стремления и страсти. Может быть, Феликс ушел бы, чтобы не мешать, но собака заворчала и завиляла хвостом.

Они отослали детей на луг, и тут Феликс, как всегда, немного растерялся, не зная, с чего начать разговор с братом. Доходят ли до сознания этого великана простые житейские вещи? Захочет ли он вникнуть в суть дела?

— Мы приехали вчера,— сказал Феликс,— Недда и я. Ты, наверное, знаешь про Дирека и Недду.

Тод кивнул.

— Что ты об этом думаешь?

— Он хороший паренек.

— Да,— пробормотал Феликс,— но зато настоящий порох!.. Этот пожар у Маллорингов — к чему он может привести? Нам, старина, надо быть начеку. Не можешь ли ты пока отправить Шейлу с Диреком за границу проветриться?

— Не захотят.

— Но в конце концов они от тебя зависят!

— Не говори им этого, иначе я их никогда больше не увижу.

Феликс оценил всю простодушную мудрость этого замечания и растерянно спросил:

— Что ж нам делать?

— Сидеть спокойно.

И Тод положил руку на плечо брата.

— А что, если они действительно попадут в беду? Этого боятся и Стенли и Джон. И о маме надо подумать.— И с внезапным жаром Феликс прибавил: — А я не могу видеть, как волнуется Недда.

Тод убрал руку. Феликс много бы отдал, чтобы прочесть мысли брата в хмуром взгляде его синих глаз.

— Тревогой делу не поможешь. Что будет, то будет. Посмотри на птиц.

Произнеси эти слова любой другой человек, кроме Тода, Феликс рассердился бы, но в устах брата они звучали как невольно выраженная, глубоко продуманная философия. И разве в конечном счете он не прав? Что такое жизнь, которую они все ведут, как не непрерывная тревога о том, что еще только может произойти? Ведь человек потому и чувствует себя несчастным, что в нервной тревоге все время предвосхищает будущие беды. В этом, быть может, горе и болезнь всей эпохи. Пожалуй, и всей долгой человеческой истории.

А что, если Тоду удалось открыть секрет счастья,

который знают только птицы и цветы: отдаваться настоящему с такой полнотой, какая исключает всякую мысль о будущем? Да, пожалуй, счастье в этом. Ведь сам Феликс бывал по-настоящему счастлив только в те минуты, когда его целиком захватывали работа или любовь. Но почему это случалось так редко? Нет умения жить в полную меру каждый миг? Да! Вся беда в трусости и в том, что не хватает жизненных сил, чтобы со всей полнотой жить настоящим. Поэтому любовь и борьба — всегда горение: в такие минуты человек берет от настоящего все, что оно может дать. Вот почему было бы смешно обратиться к Диреку и Шейле с трезвым советом: «Уезжайте. Оставьте дело, к которому вас влекут ваши чувства, которое вас интересует. Откажитесь от настоящего, потому что вы должны заботиться о будущем!..» И Феликс сказал:

— Я бы многое отдал, старина, чтобы иметь твою способность жить только этой минутой.

— Ну что ж, и правильно,— сказал Тод. Он внимательно разглядывал кору дерева, которая, насколько мог судить Феликс, была вполне здоровой. А не отходившая от него собака разглядывала Тода. Оба они жили только этой минутой. И, чувствуя себя побежденным, Феликс вместе с ним пошел к дому.

По кирпичному полу кухни метался Дирек, а вокруг него, занимая вершины равносостороннего треугольника, стояли три женщины: Шейла — у окна, Кэрстин — у очага, а Недда — у противоположной стены. Увидав отца, Дирек закричал:

— Почему ты впустил их, отец? Почему ты не отказался выдать им Трайста?

Феликс посмотрел на брата. Тод стоял в дверях, почти доставая до притолоки курчавой головой; лицо у него было изумленное и горестное. Он ничего не ответил.

— Сказал бы, что его здесь нет! Потом мы бы его куда-нибудь отправили. А теперь он в руках у этих скотов!.. Хотя это мы еще посмотрим...

Дирек бросился к двери.

Тод и не подумал посторониться.

— Нет,— сказал он.

Дирек оглянулся: у второй двери стояла мать, а у окон — девушки.

Феликс не заметил всего комизма положения, если можно говорить о комизме, когда у людей горе.

«Началось,— подумал он.— Что будет дальше?»

Дирек сел у стола и уронил голову на руки. К нему подошла Шейла.

— Дирек, не глупи,— сказала она.

Это вполне справедливое и уместное замечание прозвучало не слишком убедительно.

Феликс взглянул на Недду. Синий дорожный шарф соскользнул с ее темных волос; она была бледна и не сводила глаз с Дирека, словно ждала, когда же наконец он ее заметит.

— Это — предательство! Мы пустили его в дом, а теперь выдали полиции. Они не посмели бы тронуть нас, если бы мы его спрятали. Не посмели бы.

Феликс слышал тяжелое дыхание Тода по одну сторону и Кэрстин — по другую. Он пересек кухню и остановился перед племянником.

— Послушай, Дирек,— сказал он.— Твоя мать была совершенно права. Вы могли оттянуть случившееся на один-два дня — и только; его все равно арестовали бы. Ты не представляешь себе, как трудно скрыться от закона. Возьми себя в руки. Нехорошо так распускаться, это — ребячество; главное сейчас — найти ему адвоката.

Дирек поднял голову. Вероятно, он впервые заметил, что в комнате находится дядя; и Феликс был изумлен, увидав, какой у юноши измученный вид: как будто в нем что-то надорвалось и сломалось.

— Он доверился нам...

Феликс заметил, как дрогнула Кэрстин, и понял, почему никто из них не смог остаться равнодушным к этой вспышке. На стороне юноши была какая-то своя правда, неподвластная логике, быть может, несовместимая со здравым смыслом и обычаями цивилизованного общества; что-то заставлявшее вспомнить шатры арабов и горные ущелья Шотландии.

Тод подошел к сыну и положил руку ему на плечо.

— Перестань,— сказал он.— Сделанного не вернешь.

— Хорошо,— мрачно сказал Дирек и направился к двери.

Феликс сделал знак Недде, и она выскользнула вслед за Диреком.



«ФРИЛЕНДЫ»



«ФРИЛЕНДЫ»

Недда бежала рядом с Диреком, а синий шарф развеивался за ее спиной. Они прошли сад и два луга; наконец Дирек бросился на землю под высоким ясенем, а Недда опустилась рядом и стала ждать, чтобы он ее заметил.

— Я здесь,— сказала она наконец с легкой иронией.

Дирек резко повернулся к ней.

— Это его убьет,— сказал он.

— Но, Дирек... устроить поджог... Раздуть прожорливое пламя, чтобы оно уничтожало все вокруг... пусть даже неживое...

Дирек сказал сквозь зубы:

— Это моя вина. Если б я с ним не разговаривал, он был бы такой же, как все. Они увезли его в фургоне, как барана.

Недда завладела рукой Дирека и крепко ее сжала.

Она провела горький, страшный час под тихо шелестящим ясенем, где ветер осыпал ее хлопьями боярышника, который уже начал отцветать. Любовь тут казалась чем-то маленьким и незначительным; она как будто утратила все тепло и силу и смахивала на жалкого просителя за порогом. Почему беда нагрянула как раз тогда, когда ее чувство стало таким глубоким?

Зазвонил колокол; они видели, как прихожане прошли в церковь, чтобы, как всегда в воскресенье, подремать во время службы, знакомой им наизусть. Вскоре там раздалось монотонное гудение, оно смешивалось с доносившимися отовсюду голосами внешнего мира: шелестом деревьев, журчанием воды, хлопанием крыльев, щебетанием птиц и мычанием коров.

Хотя Недда терзалась, убедившись, что для Дирека любовь еще не самое главное, она все же признавала, что он прав, не думая сейчас о ней; она должна бы гордиться тем, что он в эту минуту поглощен совсем другим. Было бы неблагоприятно и нечестно ждать от него нежности. Но она ничего не могла с собой поделать! Ей впервые довелось узнать вечное противоречие влюбленного сердца, разрывающегося между своими эгоистическими желаниями и мыслью о любимом. Научится ли она быть счастливой тем, что он всецело отдается делу, которое считает правым? И она чуть-чуть отодвинулась от Дире-

ка, но тотчас поняла, что нечаянно поступила правильно, потому что он тут же попытался снова завладеть ее рукой. Это был первый урок мужской психологии. Стоило ей только отнять у него руку, как он захотел получить ее обратно! Но она была не из тех, кто способен на расчет в любви, и нарочно ничего отнимать не собиралась. Это растрогало Дирека, и он обнял ее талию, затянутую в корсет, который ей так и не удалось зашнуровать потуже. Они сидели в этом укромном уголке под ясенем до тех пор, пока не захрипел орган и не раздались неистовые звуки последнего гимна; затем они увидели, как прихожане быстро расходятся с таким видом, будто говорят: «Ну, славу богу, конец. Теперь можно и поест!» А потом вокруг маленькой церкви все смолкло, и ничто больше не нарушало тишины, кроме неустанного ликования самой природы.

Тод, все такой же грустный и сосредоточенный, вышел из дома вслед за Диреком и Неддой; потом ушла Шейла, и Феликс, оставшись с глазу на глаз со своей невесткой, серьезно сказал:

— Если вы не хотите, чтобы Дирек попал в беду, внушите ему, что нельзя толкать этих несчастных на преступление: так им не поможешь. Безумие разжигать пожар, которого не сможешь погасить. Что произошло сегодня утром? Он оказал сопротивление?

По лицу Кэрстин было видно, что она испытывает горькое чувство унижения, и Феликс удивился, услышав ее обычный ровный и сдержанный голос:

— Нет, он ушел с ними совершенно спокойно. Задняя дверь была открыта — ему ничего не стоило скрыться. Я ему, правда, этого не советовала. Хорошо, что никто, кроме меня, не видел его лица. Он ведь слепо предан Диреку, — прибавила она, — и Дирек это знает, вот почему мальчик в таком отчаянии. Поймите, Феликс, у Дирека обостренное чувство чести.

В ее спокойном голосе Феликс уловил ноту тоски и боли. Да, эта женщина действительно способна видеть и чувствовать. Ее протест идет не от бесплодного умствования, не от скепсиса. Ее на бунт толкает горячее сердце. Однако он сказал:

— Но хорошо ли раздувать это пламя? Приведет ли это к чему-нибудь доброму?..

Дожидаюсь ее ответа, Феликс поймал себя на том, что разглядывает темный пушок над ее верхней губой — как он его раньше не заметил!

Очень тихо, словно обращаясь к самой себе, Кэрстин сказала:

— Я покончила бы с собой, если б не верила, что тирании и несправедливости будет положен конец.

— Еще при нашей жизни?

— Не знаю. Может быть, нет.

— Значит, вы трудитесь ради утопии, которой никогда не увидите, — и вас это удовлетворяет?

— Пока крестьяне живут в конурах, как собаки, и пока с ними обращаются, как с собаками, пока лучшая жизнь на земле — а крестьянская жизнь действительно самая лучшая жизнь на земле — поругана, пока люди голодают, а их несчастья — это только повод для праздной болтовни, — пока все это длится, ни я, ни мои близкие не успокоимся.

Кэрстин вызывала у Феликса восхищение, к которому примешивалось нечто вроде жалости. Он стал горячо ее убеждать:

— Представляете ли вы себе те силы, против которых восстаете? Загляните в причины этих несчастий — вы увидите бездонную пропасть. Знаете ли вы, как притягивает город, как деньги идут к деньгам? Как разрушительна и неугомонна современная жизнь? Какой чудовищный эгоизм проявляют люди, когда затрагиваются их интересы? А вековая апатия тех, кому вы стремитесь помочь, — что делать с ней? Знаете ли вы все это?

— Знаю и это и гораздо больше...

— В таком случае вы действительно смелый человек, — сказал Феликс и протянул ей руку.

Она покачала головой.

— Меня это захватило, когда я была еще совсем молодой. В детстве я жила в Шотландии среди мелких фермеров, в самые тяжелые для них времена. По сравнению с этим здешний народ живет не так уж плохо, но и они рабы.

— Если не считать, что они могут уехать в Канаду и тем самым спасти старую Англию.

— Я не люблю иронии, — сказала она, покраснев.

Феликс смотрел на нее с возрастающим интересом:

эта женщина, можно поручиться, никому не даст покоя!

— Отнимите у нас способность улыбаться, и мы раздвеемся и лопнем от чванства,— сказал он.— Меня, например, утешает мысль, что, когда мы наконец решим всерьез помочь английскому пахарю, в Англии уже не останется ни одного пахаря.

— У меня это не вызывает охоты улыбаться.

Вглядываясь в ее лицо, Феликс подумал: «А ты права — тебе юмор не поможет».

В тот же день Феликс со своим племянником (между ними сидела Недда) быстро ехали по дороге в Треншем.

Городок — в те дни, когда Эдмунд Моретон выбросил из своей фамилии «е» и основал завод, который Стенли так расширил, это была просто деревушка,— теперь раскинулся по всему холму. Жил он почти исключительно производством плугов, но все же не походил на настоящий фабричный английский город, потому что застраивался в тот период, когда в моду вошли архитектурные фантазии. Впрочем, красные крыши и трубы придавали ему лишь умеренное безобразие, а кое-где еще виднелись белые деревянные домики, напоминая, что некогда здесь была деревня. В этот прелестный воскресный день его жители высыпали на улицы, и повсюду мелькали узкие, продолговатые головы, уродливые, перекошенные лица — это удивительное отсутствие красоты черт, фигуры и одежды составляет гордость тех британцев, чьи семьи успели в течение трех поколений прожить в городах. «И все это натворил мой прадед! — подумал Феликс.— Да упокоит господь его душу».

Они остановились на самой вершине холма, около сравнительно новой церкви, и зашли внутрь посмотреть надгробные плиты Мортон. Они были размещены по углам: «Эдмунд и жена его Кэтрин», «Чарльз Эдмунд и жена его Флоренс», «Морис Эдмунд и жена его Дороти». Клара восстала и не позволила закрепить четвертый угол за «Стенли и женой его Кларой»; она считала, что она выше каких-то плугов, и мечтала в награду за помощь в разрешении земельного вопроса быть погребенной в Бекете в качестве «Клары, вдовствующей леди Фриленд». Феликс любил наблюдать, как и на что реагируют люди, и сейчас потихоньку поглядывал на Ди-

река, когда тот осматривал надгробные плиты своих предков; он заметил, что у юноши нет никакого желания посмеяться над ними. Дирек, конечно, не мог видеть в этих плитах то, что Феликс: краткую историю громадной и, может быть, роковой перемены, пережитой его родной страной, летопись той давней лихорадки, которая, все усиливаясь с годами, опустошала деревни и заставила расти города, медленно, но верно изменив весь ход национальной жизни. Когда около 1780 года Эдмунд Моретон подхватил эту лихорадку, вспыхнувшую от развития машинного производства, и в погоне за наживой перестал обрабатывать свою землю в этой округе, произошло то, о чем все сейчас кричат, стремясь задним числом поправить положение: «Вернемся на землю! Назад, к здоровой и мирной жизни под вязами! Назад, к простому и патриархальному образу мыслей, о котором свидетельствуют старинные документы! Назад, к эпохе, не знавшей маленьких сплюснутых голов, уродливых лиц, искривленных тел! Эпохе, когда еще не выросли длинные сплюснутые ряды серых домов, длинные и приплюснутые с боков трубы, изрыгающие клубы губительного дыма; длинные ряды сплюснутых могил, длинные сплюснутые полосы в ежедневных газетах. Назад, к сытым крестьянам, еще не умеющим читать, но зато знающим свое общинное право; крестьянам, благодушно относившимся к Моретонам, которые так же благодушно относились к ним». Назад ко всему этому? Праздные мечты, господа, все это праздные мечты! Сейчас нам остается только одно: прогресс. Прогресс! А ну-ка в круг, господа, пусть беснуются машины, а вместе с ними и маленькие человечки со сплюснутыми головами! Коммерция, литература, наука и политика — все прикладывают к этому руку! Какой простор для денег, уродства и злобы!.. Вот что думал Феликс, стоя перед медной доской:

«НЕЗАБВЕННЫМ
ЭДМОНДУ МОРТОНУ
И
ЕГО ВЕРНОЙ СУПРУГЕ
КЭТРИН

Да упокоит их господь!

1816»

Покинув церковь, они занялись делом, которое привело их в Треншем, и отправились к мистеру Погрему (фирма «Погрем и Коллет, частные поверенные», в чьи верные руки большинство горожан и помещиков передавали защиту своих интересов). По забавному совпадению Погрэм занимал тот самый дом, где некогда жил все тот же Эдмунд Мортон, управляя заводом и по-прежнему оставаясь местным сквайром. Бывшая усадьба сейчас превратилась в один из домов длинной и неровной улицы, но и теперь она несколько отступала от своих соседей, прячась среди каменных дубов за высокой живой изгородью.

Мистер Погрэм докуривал сигару после воскресного завтрака; это был невысокий, чисто выбритый крепыш с выдающимися скулами и похотливыми серо-голубыми глазами. Когда ввели посетителей, он сидел, скрестив жирные ноги, но тотчас приподнялся и спросил, чем может служить.

Феликс изложил историю ареста, стараясь говорить как можно понятнее и не касаться эмоциональной подоплеку дела: ему было как-то неловко, что он оказался на стороне нарушителя порядка — что не должно было бы смущать современного писателя. Но что-то в мистере Погреме успокаивало Феликса. Этот коротышка выглядел воякой и, казалось, мог посочувствовать Трайсту, которому нужна была в доме женщина. Зубастый, но добросердечный человек слушал и непрерывно кивал круглой головой, поросшей редкими волосами, источая запах сигар, лаванды и гуттаперчи. Когда Феликс кончил, он сказал сухо:

— Сэр Джералд Маллоринг? Да, да... По-моему, его дела ведет мистер Постл из Вустера... Да, да, совершенно верно...

Мистер Погрэм, очевидно, считал, что дела следует поручать не какому-то Постлу, а Погрему и Коллету из Треншема, и Феликс окончательно убедился, что они не ошиблись в выборе поверенного.

— Насколько я понимаю, — сказал мистер Погрэм и бросил на Недду взгляд, который он постарался очистить от плотских вожделений, — насколько я понимаю, сэр, вы с вашим племянником желали бы повидаться с арестованным. Миссис Погрэм будет рада показать мисс Фриленд

наш сад. Ваш прадед с материнской стороны, сэр, жил в этом доме. Очень приятно было с вами познакомиться, сэр, я так часто слышал о ваших книгах; миссис Погрем даже прочла одну — дай бог памяти! — «Балкон», кажется...

— «Балюстрада», — мягко поправил Феликс.

— Совершенно верно, — сказал мистер Погрем и позвонил. — Выездная сессия закончилась совсем недавно, следовательно, дело будет слушаться не раньше августа или сентября. Жалко, очень жалко! На поруки? Батрака, обвиняемого в поджоге? Сомнительно, чтобы на это согласились... Попросите миссис Погрем зайти сюда...

Вскоре пришла женщина, похожая на увядшую розу, — мистер Погрем в свое время, очевидно, произвел на нее неотразимое впечатление. За ней тянулся хвост из двух или трех маленьких Погремов, но служанка вовремя успела их увести. Все общество вышло в сад.

— Сюда, — сказал мистер Погрем, подойдя к боковой калитке в ограде. — Так ближе к полицейскому участку. По дороге я позволю задать вам два-три щекотливых вопроса... — И он выпятил нижнюю губу. — Почему, собственно, вы заинтересованы в этом деле?

Не успел Феликс открыть рта, как вмешался Дирек:

— Дядя был так добр, что приехал со мной. Заинтересован в этом деле я. Этот человек — жертва произвола.

— Да, да, — насторожился мистер Погрем. — Конечно, конечно... Он, кажется, еще ни в чем не признался?

— Нет, но...

Мистер Погрем прижал палец к губам.

— Никогда не ставьте крест раньше времени... Вот для чего существуем мы, поверенные. Итак, — продолжал он, — вы один из этих недовольных. Может быть, и социалист? Боже мой! Все мы теперь к чему-то примыкаем, я, например, гуманист. Всегда говорю миссис Погрем: «Гуманизм в наши дни — это все!» И это чистая правда. Но надо обдумать, какой линии нам придерживаться. — Он потер руки. — Может, сразу попробуем опровергнуть их улики, если они у них есть? Но алиби должно быть неопровержимым. Следственный суд, несомненно, признает его виновным — никто не любит под-

жигателей. Насколько я понял, он жил у вас в доме... На каком этаже? Внизу?

— Да, но...

Мистер Погрэм нахмурился с таким видом, будто желал предостеречь: «Осторожнее!..»

— Пожалуй, лучше будет, если он пока откажется отвечать на вопросы и даст нам время оглядеться,— сказал он.

Они пришли в полицейский участок, и после недолгих переговоров их отвели к Трайсту.

Великан сидел в камере на табуретке, прислонившись к стене; руки у него свисали, как плети. Он перевел взгляд с мистера Погрэма и Феликса, вошедших первыми, на Дирека, и во взгляде его можно было прочесть все, чем была полна его бессловесная душа,— с таким обожанием смотрит на своего хозяина собака. Феликс впервые увидел человека, который уже успел причинить ему столько беспокойства; широкое, грубое лицо и трагический взгляд, полный тоски и преданности, произвели на Феликса огромное впечатление. Такие лица никогда не забываются, и люди обычно боятся увидеть их во сне. Кто пренебрег гармонией, вложил тоскующий дух в это грубое тело? Почему судьба не сделала Трайста обыкновенным любителем пива, не способным оплакивать жену и рваться к той, которая напоминала покойницу? Не сделала его олухом, глухим к словам Дирека? И при мысли о том, что предстоит этому безмолвному человеку, застывшему в тяжком и безнадежном ожидании, сердце Феликса мучительно сжалось, и он отвел глаза.

Дирек схватил широкую, загорелую руку крестьянина, и Феликс увидел, с каким трудом юноша старается сдержать свои чувства.

— Боб, взгляни, это мистер Погрэм. Он адвокат и сделает для тебя все, что в его силах.

Феликс взглянул на мистера Погрэма. Маленький человечек стоял подбоченясь, на лице у него было какое-то странное выражение лукавства и сочувствия, от него исходил почти одуряющий запах гуттаперчи.

— Да, да,— сказал он.— Поговорите с этими джентльменами, а потом и мы с вами потолкуем.— И, повернувшись на каблуках, он начал чистить перочинным

ножичком короткие розовые ногти перед самым носом полицейского, который стоял за порогом камеры, всем своим видом выражая, что и у заключенных есть свои права и он на них не посягает.

Феликса охватило то же чувство, с каким в зоологическом саду смотрят на зверя, которому некуда спрятаться от любопытных глаз. Не выдержав, он отвернулся, хотя невольно продолжал слушать:

— Прости меня, Боб, это я виноват в твоей беде...

— Нет, сэр, прощать тут нечего. Вот я скоро вернусь, и тогда они еще увидят...

Судя по тому, как у мистера Погрема покраснели уши, он тоже слышал этот разговор.

— Скажите ей, мистер Дирек, пусть не убивается. Мне бы нужно рубаху на случай, если меня задержат. А детям не надо знать, где я, хотя стыдиться мне нечего.

— Это может продлиться дольше, чем ты думаешь, Боб.

Наступило молчание. Феликс не выдержал и обернулся. Батрак тревожно озирался — он словно впервые сообразил, что находится в заключении; внезапно он поднял руки, большие и грубые, и сжал их между коленями; и снова его взгляд заметался по стенам камеры. Феликс услышал, как у него за спиной кто-то откашлялся, и, снова ощутив запах гуттаперчи, понял, что этот запах всегда сопутствует тем минутам, когда сердце мистера Погрема преисполняется жалостью. Потом он услышал шепот Дирека: «Помни, Боб, мы тебя не оставим» — и еще что-то, вроде: «Только ни в чем не признавайся». Затем, проскочив мимо Феликса и маленького адвоката, юноша выбежал из камеры. Он высоко держал голову, но по лицу у него текли слезы. Феликс вышел вслед за ним.

Гряда белесовато-серых облаков поднималась над красными черепичными крышами, но солнце светило ярко. Образ простодушного великана, запертого в камере, неотступно преследовал Феликса. Даже к своему племяннику он впервые почувствовал какую-то теплоту. Вскоре к ним присоединился мистер Погрэм, и они ушли.

— Ну как? — спросил Феликс.

Мистер Погрэм ответил ворчливым тоном:

— Не виновен и отвечать на вопросы до суда не будет. Вы имеете на него влияние, молодой человек. Молчит, как рыба. Бедняга...

И до самого дома он больше не произнес ни слова.

Дамы сидели в саду, окруженные множеством маленьких Погремов, и пили чай. Феликс занял место рядом с адвокатом, который не сводил глаз с Недды; он заметил, что в хорошем настроении мистер Погрем благоухает только сигарами и лавандой.

ГЛАВА XXIII

После посещения Трайста Феликс и Недда вернулись в Бекет, высадив Дирека у поворота на Джойфилдс. В Бекете уже знали об аресте. Попутно с оплакиванием «положения в деревне», последними городскими сплетнями и забавными происшествиями во время гольфа это известие составило тему для разговоров за столом, ибо чудотворные болгарские углеводы уже отошли в прошлое. На этот раз здесь съехались «шишки» совсем другого пошиба, чем три недели назад; и общество оказалось довольно однородным — они выдвигали всего три проекта решения земельного вопроса, и ни один из этих проектов, к счастью, так же не посягал на существующий порядок, как панацея из картофеля и черного хлеба, ибо они строились на вере (разделяемой солидной прессой и всеми столпами общества) в то, что яичницу можно сделать, не разбивая яиц. Во всяком случае, гости Клары сходились в одном: вопрос этот чрезвычайно важен. Согласие в этом пункте несколько напоминало билет, который предъявляют при входе: никто не мог войти в Бекет без этого убеждения, а если случайно входил, то выклянчивал этот пропуск или просто заимствовал его у других, как только вдыхал в прихожей запах цветочной смеси; правда, когда гости возвращались в город, они нередко еще по дороге выбрасывали из головы даже мысль о земельном вопросе, но это не меняет дела. Словесная оргия за первым обедом (увы, даже в Бекете бывало лишь два обеда в те два дня, когда туда съезжались «шишки») только лишний раз доказала, что, по всеобщему мнению, батракам и арендаторам живется

вовсе не плохо, и вся беда в том, что упрямыцы почему-то не желают оставаться «на земле».

Однако Генри Уилтрем и полковник Мартлет выдвинули проект, запрещающий под страхом наказания покидать «землю» без достаточных на то причин; для того, чтобы установить, были ли у батрака достаточные причины уйти, предполагалось создать беспристрастные местные комиссии из одного землевладельца, одного фермера и одного батрака, которые должны принимать решения большинством голосов. Кто-то позволил себе заметить, что обязательное соотношение двух голосов против одного может ущемить свободу личности, но большинство считало, что интересы страны стоят гораздо выше подобных соображений, что такой или схожий метод, пожалуй,—наилучший выход из всех трудностей. Прежние, более примитивные планы поощрения мелкого землевладения с помощью обеспечения прав арендатора и строительства добротных домов вышли из моды, так как появился страх, что они противоречат законам об охоте и ставят под угрозу другие почтенные институты. Не могли же государственные мужи притеснять тех, кто сам, а еще раньше их отцы и деды с большими затратами огораживали общинные земли, превращали леса в заповедники для дичи, а поля — в прелестные зеленые лужайки. Часть гостей — судя по тому, как они молчали, это были самые влиятельные люди,—явно склонялась к новой линии Генри Уилтрема. В сочетании с его скользящим налогом на импорт зерна это составляло вполне солидную платформу.

Другая группа гостей открыто высказывалась за лорда Сетлхема с его политикой доброй воли. Все должно делаться добровольно, говорили они: положитесь на доброту и благие намерения помещиков, и земельный вопрос разрешится сам собой. Во всех графствах возникнут советы, где будут заседать, применяя великий принцип доброй воли, такие образцовые помещики, как сэр Джералд Маллоринг и даже сам лорд Сетлхем.

Один только Феликс поднял голос против этого проекта. Он был бы готов с ним согласиться, если бы не видел, что и лорд Сетлхем и все помещики считают, что доброй воли у них уже хоть отбавляй, и не желают ничего менять в своих взглядах. А раз так и совершенство-

ваться им некуда, то почему же они до сих пор не сделали того, что здесь предлагают, и не разрешили земельного вопроса? По его мнению, земельный вопрос, как и всякий другой, можно решить, только если все заинтересованные стороны станут человечнее; но можно ли поверить в искренность намерений лорда Сетлхема и прочих помещиков, раз они уже считают себя совершенством? Другими словами, они и здесь попросту хотят поставить на своем, ничего не уступив.

Но Феликсу не позволили усомниться в искренности лорда Сетлхема, нет, он, очевидно, не знаком с лордом Сетлхемом, ведь это воплощенная искренность! Феликс честно признался, что не имеет чести быть знакомым с лордом Сетлхемом; он никогда не осмелился бы подвергнуть сомнению искренность лорда Сетлхема и его сторонников во всем, что касается их парламентской деятельности... Но он не уверен, отдают ли они себе отчет, что и у них тоже есть человеческие слабости. Зная, в каких домах они росли и в каких школах обучались, он не может не видеть, что существует заговор, имеющий целью ослепить лорда Сетлхема и ему подобных, чтобы они не могли ничего разглядеть в земельном вопросе; а так как сами они и есть наиболее рьяные заговорщики, то заговор вряд ли будет когда-нибудь разоблачен. Тут все почувствовали, что Феликс переступил границы дозволенной критики, и, если бы не терпимость по отношению к писателям с именем, которых специально приглашают в загородные дома, чтобы они изрекали безответственные парадоксы, он получил бы надлежащий отпор.

Гости, составлявшие третью группу, придерживались куда менее радикальных взглядов, чем остальные, и ограничились следующим замечанием: хотя земельный вопрос, несомненно, — вопрос важный и серьезный, но, возлагая новые тяготы на землевладельцев, добиться ничего нельзя. Что такое в конце концов земля? Особый вид капиталовложения да еще довольно невыгодный. А что такое капитал? Средство, чтобы выплачивать заработную плату, и ничего больше. А не все ли равно, кому платят — тем, кто ухаживает за птицами и собаками, заряжает ружья, гонит дичь или возит охотников к дальнему лесу, или тем, кто пашет и удобряет землю? А указы-

вать человеку, кому он должен платить, значило бы нарушить все английские традиции. Все знают, какова судьба нашего капитала или, во всяком случае, какая судьба ему угрожает. Его беспощадно изгоняют из страны, хотя он с непонятным упорством с каждым годом выплачивает все больший подоходный налог. Так неужели надо забыть о благородстве и попробовать отыграться на «земле» только потому, что это единственный вид капитала, который не может быть вывезен из страны в трудную годину! К этой группе, несомненно, принадлежал и Стенли, хотя он говорил мало и совсем не спорил, как и подобает хозяину; Клара уже начинала беспокоиться: она трудится не покладая рук, чтобы собрать в Бекете все оттенки мнений по земельному вопросу, но ей до сих пор не удалось преодолеть пассивности и равнодушия даже собственного супруга. Но, зная, что не следует преждевременно прибегать к хлысту, она решила занять выжидательную позицию и положила на свою интуицию, чтобы в нужную минуту заставить мужа «в один рывок дойти до финиша», как выражаются любители скачек.

Маллоринг вызывал всеобщее сочувствие. Такой образцовый хозяин — если уж у него трения с батраками, то кто же от этого гарантирован? Поджог! До чего мы дожили! Хотя Феликс в душе разделял ужас Недды перед бессмысленной яростью пламени, он был очень встревожен, что все так радуются поимке поджигателя. Перед его глазами по-прежнему стоял образ великана батрака, растерянным взглядом обводящего свою камеру; жалость в нем боролась с его врожденным отвращением ко всякому насилию и с такой же естественной нелюбовью к тому, что грозит внести смуту в его собственную жизнь или в еще более драгоценную жизнь его дочери. Все, что он слышал в этот вечер — каждое слово, — вызывало в нем только одно чувство: как далеко от жизни все это красноречие. Как зажирели эти люди в уютной скорлупе благополучия и комфорта! Что они знают? Представляют ли они себе гнет тюрьмы и то, как бьется живое сердце там, за решеткой? Даже я, видевший его, что я об этом знаю? Нам так же легко осудить человека, как убить крысу, пожирающую наше зерно, или блоху, сосущую нашу кровь. Поджигатель!

Взбесившийся зверь — в тюрьму его! Что-то в Феликсе твердило: так нужно, нужно для порядка, для нашей безопасности. Но душа его противилась: как наше самодовольное ханжество омерзительно!

Он внимательно наблюдал за дочерью и заметил, что несколько раз краска бросалась ей в лицо, а однажды он готов был поклясться, что увидел в ее глазах слезы. Если эта болтовня невыносима даже для него, закаленного сотнями званых обедов, как должна она ранить молодое и пылкое существо! И он почувствовал облегчение, когда, войдя в гостиную, увидел, что Недда сидит у рояля и тихо разговаривает с дядей Джоном...

Недда, как и всякая женщина, знала, кому из мужчин она нравится; еще в прошлую встречу она подметила какую-то теплоту во взгляде дяди Джона, и он смотрел на нее, а не на тех, с кем разговаривал. Вот почему она чувствовала некоторое доверие и даже нежность к своему дядюшке, не забывая, впрочем, что он служит в том министерстве, которое вершит судьбы людей, «попавших в беду». Ведь если даже в поступках государственных мужей можно обнаружить личные побуждения, то что говорить о влюбленных девушках? Спрятавшись за роялем—Недда догадывалась, что на рояле в этом доме никогда не играют,—она поглядывала из-под опущенных ресниц на дядюшку, еще не потерявшего военной выправки.

— Как мило с вашей стороны, дядя Джон, что вы приехали! — нежно сказала она.

Дядя Джон смотрел на темную головку и на юные белые плечи племянницы.

— Пустяки! — ответил он. — Я всегда рад подышать свежим воздухом.

И он украдкой подтянул белый жилет,—он давно этого не делал, а сегодня жилет вдруг показался ему мешковатым.

— У вас такой большой жизненный опыт, дядя. Как, по-вашему, можно ли оправдать бунт?

— Нельзя.

— Как я рада, что вы тоже так думаете. — вздохнула Недда.— Ведь и я так считаю... Как бы мне хотелось, дядя Джон, чтобы вы полюбили Дирека, ведь

мы — только это пока секрет почти от всех — мы помолвлены...

У Джона чуть дернулась голова, как будто его ударили в подбородок: новость была не из приятных. Но он, как всегда, сохранил выдержку и ответил:

— А? Неужели! Э... э...

— Пожалуйста, дядя Джон, не судите Дирека по тому вечеру, — еще вкрадчивей сказала Недда. — Я знаю, он тогда был немного резок.

Джон откашлялся.

Сообразив, что дядюшка не одобряет поведения Дирека, Недда грустно добавила:

— Поймите, мы оба так ужасно молоды. Совсем другое дело, если имеешь богатый жизненный опыт...

На лице Джона — две морщины между бровями, две глубокие складки на худых щеках и одна линия твердого рта под седыми усами — мелькнула гримаса.

— Что касается молодости, — сказал он, — она быстро проходит, да, слишком быстро...

Что в этой девушке напоминает ему ту, с кем он прожил только два года и кого пятнадцать лет оплакивал? Что это? Ее молодость? Или манера быстро поднимать глаза и прямо смотреть на него? Или ее волосы? Или что-то другое?

— Вам нравятся эти люди, дядя Джон?

Вопрос застал Джона врасплох. Разговаривая с ней, ему вообще приходится напрягать ум и философствовать, а он давно отвык анализировать свое отношение к вещам и людям, уже много лет пользуясь готовыми, разложенными по полочкам суждениями. Страсть к обобщениям — это юношеская привычка; ее сбрасывают, как пеленки, когда дитя входит в более зрелый возраст. Но отступить было нельзя, и он коротко ответил:

— Нет, ничуть...

— И мне не нравятся, — вздохнула Недда. — Когда я с ними, мне стыдно за себя...

Джон, питавший к «шишкам» неприязнь завязатого труженика к завязатым болтунам, спросил с недоумением:

— Отчего же?

— У меня появляется ощущение, будто я часть бремени на чьей-то шее, которое рассуждает только о том, как бы облегчить жизнь своей жертве.

Джону это смутно напомнило слова какого-то писателя, притом из опасных.

— Дядя, вы тоже думаете, что Англия погибла? Я имею в виду земельный вопрос...

Вопреки своему мнению, что «стране грозит гибель», Джон был до глубины души шокирован. Погибла? Никогда! Что бы ни происходило, в этом нельзя сознаваться. Нет, страна проявит выдержку! Страна будет дышать носом, даже если из-за этого она проиграет соревнование, но в проигрыше она не признается ни себе, ни другим!

— Почему тебе это пришло в голову?

— Мне странно, что мы становимся все богаче и богаче и уходим все дальше и дальше от той жизни, которую считаем здоровой и счастливой. А навел меня на эту мысль папа, когда мы были сегодня в Треншеме и он показал мне хилых горожан. Вы знаете, я сейчас же начну изучать сельское хозяйство, это уже решено.

— Ты?.. — Это хорошенькое, юное существо с темной головкой и худенькими нежными плечами! Копать землю!.. С женщинами делается что-то неладное. Что ни день в его министерство поступают все новые тому доказательства.— По-моему, тебе больше подходит заниматься каким-нибудь искусством...

Недда подняла глаза, и он был тронут ее взглядом — таким честным и юным.

— Нет... Дело в том, что Дирек вряд ли сможет остаться в Англии. Ужасно трудно жить тут, если все так близко принимаешь к сердцу.

Джон совсем растерялся и спросил:

— Почему? Наоборот. По-моему, наша страна больше других подходит для политических бредней, благотворительности и... и... всяких чудаков.

Он умолк.

— Пожалуй. Но все они хотят вылечить прыщик на коже, а, по-моему, у нашей страны порок сердца, ведь правда? Во всяком случае, так думает Дирек, и он очень неосторожен, и выдержки у него нет никакой. Вот я и думаю, что нам придется уехать. Во всяком случае, надо быть к этому готовой.

Недда поднялась.

— Если он что-нибудь натворит, защитите его, дядя Джон, насколько это в ваших силах.

Джон почувствовал, что ее тонкие пальцы почти судорожно впились в его руку, словно она на мгновение утратила власть над собой. И это его тронуло, хотя он отлично понимал, что это пожатие относится не к нему, а к его племяннику. Когда она вышла из гостиной, все сразу показалось Джону чужим и ненужным, и вскоре он тоже удалился в курительную. Там он оказался в одиночестве и, закулив сигару — он был во фраке, к которому не идет трубка, хотя он предпочел бы ее, — вышел в сад, в темноту и теплоту ночи. Джон медленно шел по узкой дорожке между пионами, водосбором, поздними тюльпанами, незабудками и анютиными глазками, которые поднимали в темноту свои смешные обезьяньи рожицы. Джон любил цветы, хотя последние годы эта любовь оставалась неудовлетворенной, и, как ни странно, предпочитал не пышные правильные цветники, а дикие газоны, где цветы растут в беспорядке. Раз или два он нагибался, желая рассмотреть, что это за цветок, а затем шел дальше, захваченный потоком мыслей, как бывает с пожилыми мужчинами во время вечерних прогулок; этот поток складывается из воспоминаний о былых, отгоревших надеждах и из новых, еще смутных стремлений. Но зачем нужны эти стремления, к чему это все? Свернув на другую дорожку, он увидел, что перед ним, в нескольких футах над землей, парит нечто круглое и белое, сверкая в темноте, как луна. Приблизившись, он понял, что это небольшая магнолия в полном цвету. Гроздь белых, похожих на звезды цветов, сиявших перед ним на темной мантии ночи, почему-то его взволновали, и он яростно запыхтел сигарой. Красота будто искала, кого бы ей поразить, и, как девушка, протягивала руки, говоря: «Я здесь». У Джона заныло сердце, и сигара нелепо задрожала у него во рту; он круто повернулся и пошел обратно в курительную комнату. Там по-прежнему никого не было. Он взял «Обозрение» и развернул его на статье по земельному вопросу, уставился глазами в первую страницу, но не стал читать. В голове его бродили мысли: «Совсем ребенок... Какое безумие! Помолвлена... Хм... С этим щенком... Но ведь

оба они дети... Что в ней напоминает мне, напоминает... Что это? Счастливец Феликс — иметь такую дочь... Помолвлена! Бедняжка, ей будет нелегко. Но я ей завидую... Клянусь богом, я ей завидую!» И осторожным движением он стряхнул пепел с отворота своего фрака...

Бедная девочка, которой будет нелегко, сидела в своей комнате у окна; она заметила мелькнувший в темноте белый жилет и горящий кончик сигары и, не зная, кому они принадлежат, все же подумала: «Симпатичный, наверно, человек, раз предпочитает гулять, а не сидеть в душной гостиной за бриджем и болтать, болтать, без умолку болтать...» Но тут же устыдилась — как это невеликодушно! В конце концов, нехорошо так строго судить о людях. Они болтают, чтобы отдохнуть после тяжелой работы, а вот она сама просто бездельница. Если бы тетя Кэрстин разрешила ей пожить в Джойфилдсе и научила ее всему, что умеет Шейла!.. Недда зажгла свечи и, открыв дневник, начала писать.

«Жить,— написала она,— это все равно, что вглядываться в темную ночь. Человек только смутно предполагает, что его ждет впереди,— ведь в темноте мы только догадываемся, какие перед нами деревья и как нам выйти на опушку... Сейчас мотылек — я не успела отогнать его — сгорел на огне моей свечки. Он навсегда ушел из этого мира. Если ушел он, то почему же с нами должно быть иначе? Одно и то же великое Нечто творит жизнь и смерть, свет и тьму, любовь и ненависть; почему же ждать разной судьбы для разных живых существ? Но предположим, что после смерти нет ничего, разве я скажу: «Раз так, не хочу жить!» Напротив, мне еще больше захочется наслаждаться жизнью. Из всех живых существ только люди размышляют, беспокоятся и печалятся о будущей жизни. Когда сегодня утром мы с Диреком сидели в поле, к насыпи подлетел шмель и, сунув голову в траву, вдруг умолк; он устал летать и трудиться среди цветов; он просто спрятал голову и заснул. Надо жить так, чтобы не пропадала ни одна минута, взять от каждой все, а потом спрятать куда-нибудь голову и заснуть... Лишь бы Дирек сейчас не мучился, думая об этом несчастном... Бедняга, он совсем один в темной камере, а впереди долгие месяцы страданий. Бедный, бед-

ный... Как я сочувствую всякому человеческому несчастью! Мне невыносимо даже думать об этом... Просто невыносимо...» Отложив перо, Недда снова подошла к окну и облокотилась о подоконник. Воздух так благоухал, что от восторга у нее перехватило дыхание. Каждый лист, каждый цветок и каждая травинка словно по тайному сговору участвовали в этой симфонии запахов. И она подумала: «Всех их, наверно, связывает любовь, потому что они прекраснее всего, когда вместе». И тут, в фимиаме ночи, она почуяла запах дыма. Он как будто придавал даже особую прелесть остальным ароматам, но она растерянно подумала: «Дым! Жестокий огонь, пожирающий дерево, а на нем когда-то росли листья, такие вот, как эти. О, как все на свете противоречиво!» Правда, эта мысль пришла в голову не ей первой.

ГЛАВА XXIV

Феликсу захотелось посмотреть, как обернется дело для Трайста на заседании следственного суда, и на следующее утро они со Стенли отправились в Треншем. Джон уже уехал в Лондон, и трое Фрилендов больше не обсуждали «скандал в Джойфилдсе», как выразился Стенли. Вместе с ночью уходит мрак, и братья, выспавшись, решили: «Пожалуй, мы чересчур сгустили краски и раздули эту историю,—право же, это становится скучно! Поджог — это поджог; человек сидит в тюрьме — ну что ж, бывает ведь, что человек сидит в тюрьме...» Особенно ясно это почувствовал Стенли и по дороге не преминул сказать Феликсу: «Слушай, старина, главное — это не делать из мухи слона».

Поэтому Феликс спокойно вошел туда, где вершилось местное правосудие. В маленьком зале, слегка напоминавшем часовню, с крашеными стенами, невысоким помостом и скамьями для публики, в это утро сидело много народу — верный признак того, что происшествие наделало шуму. Феликс, знавший, как выглядят залы полицейских судов в Лондоне, сразу заметил, сколько здесь приложили сил, чтобы приблизиться к этим образ-

цам. Спешно созванные мировые судьи — их было четверо — сидели на помосте спиной к высоким серым ширмам, расположенным полукругом, а перед ними стоял зеленый невысокий барьер, заслонявший их ноги. Этим подчеркивалось основное свойство всякого правосудия, на чьи ноги, как известно, лучше не смотреть. Зато лица судей были открыты всем и являли приятное разнообразие черт при том полном единообразии выражения, которое должно означать беспристрастие. Несколько ниже судей, за столом, покрытым зеленым сукном — этой эмблемой власти, — сидел лицом к публике седобородый мужчина; а сбоку, под прямым углом, тоже приподнятый ввысь, находился человек, похожий на терьера, рыжеватый и жесткошерстый, очевидно, глашатай предстоящей драмы. Когда Феликс сел, готовясь созерцать священнодействие, он заметил за зеленым столом мистера Погрема; коротышка кивнул ему, и до него донесся легкий запах лаванды и гуттаперчи. В следующее мгновение Феликс обнаружил Дирека и Шейлу, пристроившихся в стороне, у самой стены; насупленные и мрачные, они выглядели как два юных дьявола, которых только что изгнали из ада. Они не поздоровались с Феликсом, и тот принялся изучать лица судей. В общем, они произвели на него лучшее впечатление, чем он ожидал. Крайний слева, с седыми бакенбардами, был похож на большого сонного кота преклонного возраста; он почти не шевелился и только изредка чертил одно-два слова на лежавшей перед ним бумаге или протягивал руку, возвращая какой-нибудь документ. Рядом с ним сидел мужчина средних лет с плешивой головой и темными умными глазами, который, казалось, иногда замечал присутствие публики, и Феликс подумал: «Ты, видно, недавно стал судьей». Зато председатель, усатый, как драгун, седой, с безукоризненным пробором, совершенно игнорировал зрителей, ни разу даже не взглянул в их сторону и говорил так тихо, чтобы его нельзя было расслышать в зале. Феликс подумал: «А ты был судьей слишком долго». Между председательствующим и человеком, похожим на терьера, находился последний из судейской четверки; этот прилежно все записывал, склонив чисто выбритое красное лицо с коротко подстриженными седыми усами и острой бородкой. Феликс решил: «Отстав-

ной моряк». Тут он увидел, что вводят Трайста. Великан шел между двумя полицейскими. Широколицый, небритый, он высоко держал голову; мрачный взгляд, в котором, казалось, изливалась его странная, скорбная душа, невесело бродил по залу. Феликс, как и все присутствующие, не мог оторвать глаз от этого попавшего в капкан человека, и его вновь охватили те же чувства, что и накануне.

— Признаете ли вы себя виновным?..

— Нет, не признаю, сэр,— ответил Трайст, словно повторяя выученный урок, а огромные руки, свисавшие по бокам, все время сжимались и разжимались. Начался допрос свидетелей — их было четверо. Полицейский сержант рассказал, как он явился по вызову на пожар, а потом произвел арест; управляющий сэра Джералда описал сцену выселения и сообщил об угрозах Трайста; еще двое — каменотес и бродяга — видели, как подсудимый шел в пять часов утра по направлению к амбару и стогу, а в пять пятнадцать возвращался обратно. Судейский, похожий на терьера, что-то таякал, уточняя показания, и поэтому процедура допроса длилась довольно долго. Пока это происходило, в голове Феликса проносились одна мысль за другой. Вот субъект, совершивший антисоциальный, а следовательно, дурной поступок; ни один здравомыслящий человек не найдет для него никаких оправданий; это настолько варварская, противоестественная и глупая выходка, что даже лесные звери и те бы от него отвернулись. Почему же тогда он, Феликс, не чувствует никакого возмущения? Быть может, вечно копаясь в мотивах человеческих поступков, он утратил способность отделять человека от его деяний... и видит каждую личность со всеми ее мыслями, поведением и промахами как одно взаимосвязанное и развивающееся целое? И Феликс посмотрел на Трайста. Великан не отводил доверчивого взгляда от Дирека. И вдруг Феликс увидел, что его племянник вскочил, запрокинул темную голову и собирается заговорить... В испуге Феликс тронул мистера Погрема за руку. Но квадратный человек уже успел обернуться и в эту минуту был удивительно похож на лягушку.

— Господа, разрешите мне сказать...

— Кто это такой? Сядьте! — раздался голос пред-

седателя — он в первый раз заговорил так, что его услышали в зале.

— Я хочу сказать, что не он отвечает за этот поступок... Я...

— Замолчите, сэр, и садитесь!

Феликс заметил, что его племянник колеблется, а Шейла тянет его за рукав; затем, к большому облегчению Феликса, юноша опустился на свое место. Его смуглое лицо покраснело, тонкие губы сжались в ниточку. Постепенно под взглядами всего зала он смертельно побледнел.

Боясь какой-нибудь новой выходки племянника, Феликс уже не мог внимательно следить за ходом разбирательства, впрочем, оно скоро пришло к концу: Трайст был признан виновным, он отказался отвечать на вопросы, в поручительстве было отказано — словом, все произошло, как предсказывал мистер Погрем.

Дирек и Шейла куда-то исчезли, на улице, тихой в этот рабочий час, виднелись только автомобили четырех судей да две-три кучки зрителей, обсуждавших дело, а посреди мостовой стоял, опираясь на палку, хромой старик с обвислыми усами.

— Могла выйти большая неприятность. — Голос мистера Погрема раздался прямо под ухом Феликса. — Скажите, а он не приложил к этому руку? В самом деле нет?

Феликс яростно замотал головой — разок-другой, и у него мелькала подобная мысль, но он решительно ее отверг, когда услышал из чужих уст, да еще таких больших и совсем резиновых.

— Нет, нет... Нервный юноша, обостренное чувство чести и повышенная чувствительность. Вот и все.

— Ну да, конечно, — успокоительно замурлыкал мистер Погрем. — О, эта молодежь! В странное время мы живем, мистер Фриленд. Каких только идей нет в ходу! Таким юношам, как он, лучше в армии — безопаснее. Там идеи не в ходу.

— Что будет дальше с Трайстом? — спросил Феликс.

— Надо ждать, — ответил мистер Погрем. — Ничего не поделаешь — надо ждать. Придется ему месяца три

потомиться. Такая уж у нас система — никуда не годная.

— А если потом его оправдают?

Мистер Погрем покачал круглой головой, украшенной багровыми ушами.

— Ах! — сказал он. — Я часто говорю жене: «Беда быть гуманистом. Право, хорошо иметь резиновое сердце — прекрасная вещь, истинное спасение!» Ну что ж, до свидания. Если пожелаете что-нибудь сообщить — всегда к вашим услугам. — И, распространяя одуряющий запах гуттаперчи, он потряс руку Феликса и скрылся в дверях дома, на которых сверкающими буквами было написано: «Эдвард Погрем, Джеймс Коллет. Поверенные. Адвокаты».

Расставшись с маленьким гуманистом, Феликс отправился обратно к зданию суда. Автомобили укатили, а люди разошлись; только старик, опиравшийся на палку, тот самый, у которого были обвислые усы, еще стоял в полном одиночестве, как галка со сломанным крылом. Феликсу в эту минуту очень хотелось с кем-нибудь поговорить, и он подошел к старику.

— Хорошая погода, — сказал он.

— Да, сэр, погодка ничего, — ответил старик, и они умолкли, стоя друг против друга. Между людьми разных классов и привычек — пропасть, и она еще никогда так не зияла перед Феликсом, как сейчас. Встревоженный, растерянный, он был бы рад излить душу этому оборванному черноглазому старику с хромою ногой и обвислыми усами, который, наверное, хлебнул немало горя и прожил суровую и примитивную жизнь. Феликс был бы рад, если бы и старик открыл ему свою душу. Но у него не нашлось слов, которые могли бы перекинуть мост через разделявшую их пропасть. Наконец он спросил:

— Вы здешний?

— Нет, сэр. Я из-под Молверна. Живу с дочерью из-за ноги. Муж ее работает на здешнем заводе.

— А я из Лондона.

— Да, это сразу видно. Красивый, говорят, город.

— Ну нет, — покачал головой Феликс. — У вас в Вустершире гораздо красивей.

— Да-да! — сказал старик, поглядев на Феликса жи-

выми черными глазами.— Народ теперь в городах пошел какой-то беспокойный. А в деревне хорошо жить, если только человек здоров; лучше я ничего не знаю — никогда не мог сидеть взаперти.

— Таких, как вы, теперь уже немного,— посмотрите, сколько людей уходит в город.

Старик улыбнулся — это было не похоже на обычные улыбки: горькую микстуру, чуть-чуть подслащенную, чтобы ее можно было проглотить.

— Они жизни ищут,— сказал он.— Таких, как я, уже мало осталось. Тех, кому жизнь не в радость, если не слышишь запаха земли. Все эти газеты сейчас — разве в них про это прочтешь? Молодые ходят в школу, вот и рвутся потом в город. А сам я уже не работник. Скоро и помру. Но мне вот все кажется, что надо бы вернуться домой. Улиц больно не люблю, а в Лондоне у вас, наверное, еще хуже.

— Да,— сказал Феликс,— но, пожалуй, таких, как вы, у нас больше, чем вам кажется.

Снова старик посмотрел на него живыми темными глазами.

— Спорить тут не приходится: часто видел, как они по дому тоскуют. Много среди них таких, что никуда бы от земли и не тронулись, да только смерть как тяжело стало в деревне. И жить-то приходится впроголодь, и на тебя жмут там со всех сторон, и справа и слева жмут... Редко-редко найдется человек, который все это может стерпеть. Я бы и сам не жил в деревне, да вот одна беда — не могу в городе дышать. Ведь бывает такая скотина — уведешь с родных мест, а там приходится назад вести. Не всякая порода, конечно. Другим все равно, куда б их ни погнали. А я долгий век прожил и вижу, что деревне конец приходит,— где было трое, там остался один.

— А разве не бывает, что люди возвращаются на землю?

— Поговаривают, что и так. Я ведь каждый день газету читаю. Слышал, кое-где союзы организывают. Только проку от этого мало.

— Почему?

Старик снова улыбнулся.

— Почему? А вы сами подумайте. Земля — это де-

ло особое. Работа разная, и в часы не уложишь; сегодня требуются четверо, а завтра один справится. Какие правила союз вам установит — как на фабриках, что ли, с их восемью часами: то делай, а этого не надо? Не тут-то было! Заводу все нипочем — погода, скажем, или что другое. А на земле погода — все! На земле человеку разбирать не приходится: делай, что надо, в любой час, иначе не выйдет ничего. В нашем деле все от бога, и тут нечего мудрить. Союз мне говорит: не смей работать сверх положенного. Вот оно как! А мне приходилось, может, сотню раз в году с овцами или со скотиной всю ночь напролет возиться, и никаких тебе сверхурочных! Нет, людей этим на земле не удержишь!

— А чем же?

— Законы новые нужны, вот что; пусть бы фермеры и помещики с нас шкуры не драли; законы нужны, чтобы новые дома для нас строили; но главное дело, чтобы все дружно работали, иначе на земле нельзя. Если дружно не идет, ничего от земли не возьмешь. Только раз у меня настоящий хозяин был: сам не успокаивался, пока мы довольны не были. Вот у него на ферме дело как по маслу шло — никому в приходе этакого даже не снилось.

— Да, но трудность именно в том, чтобы научить хозяев блюсти не только свои интересы. Однако люди не слишком-то любят признавать, что и они могут ошибаться.

Черные глаза старика заискрились.

— Да-а, это трудновато! Всякий, конечно, говорит: «Господи, да ведь это они ошибаются, а я уж как прав!» Так, видно, у нас повелось.

— Да,— сказал Феликс.— Помилуй нас бог!

— Правильно вы говорите, сэр, на это вся и надежда. И заработка побольше тоже бы не помешало. И чуток побольше свободы: для человека свобода дороже денег.

— Слышали вы про этот поджог?

Прежде чем ответить, старик быстро огляделся вокруг и заговорил, понизив голос:

— Говорят, будто его из дому выбросили; я на своем веку навидался, как людей выселяли за то, что они за либералов голосовали, ну, а других — за вольнодум-

ство, за что только их не выселяют! Вот от этого-то и заводится вражда. Человек хочет сам себе быть хозяином и чтобы им не помыкали. А этого нельзя, в старой Англии этого нельзя, если у тебя в карманах пусто.

— А вы никогда не думали эмигрировать?

— Думал, конечно, сотни раз думал, но никак не мог решиться: как же в такую даль заберешься, что даже Молвернских холмов уж больше не увидишь? Бикон ведь даже отсюда немножко виден. Но таких, как я, сейчас уже мало и с каждым днем все меньше и меньше.

— Да,— пробормотал Феликс,— это я вижу.

— На земле все своими руками делается. Ее любить надо, как свою хозяйку или детишек. Для этих бедняг, что здесь на заводе плуги для колоний изготовляют, союз — дело нужное, потому работают они на машинах. А крестьянину первым долгом надо землю выходить, твоя она или чужая; не то от него проку не жди, уж пусть лучше в почтальоны идет. Я вас своей болтовней не задерживаю?

Феликс действительно с беспокойством поглядывал на своего собеседника — его мучил «проклятый вопрос»: можно ли дать хромоту старику немножко денег? Не оскорбит ли это его? Почему нельзя просто сказать: «Друг мой, я богаче тебя; помоги мне, чтобы я не стыдился своего преимущества». Может, все-таки рискнуть? И Феликс начал шарить в карманах, следя за взглядом старика; если тот поглядит на его руку, он рискнет. Но старик смотрел ему в лицо. Феликс вынул руку из кармана и спросил:

— Хотите сигару?

По смуглому лицу старика скользнула улыбка.

— Да как сказать, я их ведь никогда и не курил,— ответил он,— но отчего бы и не попробовать?

— Берите,— сказал Феликс, перекладывая ему в карман все содержимое своего портсигара.— Выкурите одну, захочется еще. Они недурны.

— Ну да,— сказал старик,— еще бы!

— До свидания. Надеюсь, нога у вас поправится.

— Спасибо, сэр. До свидания, спасибо.

На углу Феликс обернулся: старик продолжал стоять посреди безлюдной улицы.

Сегодня из Лондона должна была вернуться его мать, и Феликс обещал ее встретить. До прихода поезда оставалось еще два часа, их надо было как-то провести, и, миновав дом мистера Погрема, Феликс свернул на тропинку, которая вела через клеверное поле, и вскоре присел отдохнуть на ступеньку перелаза. Сидя на окраине города, который возник благодаря его прадеду, Феликс погрузился в мысли. Больше всего он размышлял о старике, с которым только что разговаривал; само провидение послало ему этого человека: ведь это отличный прототип для «Последнего Пахаря». Поразительно, что старик говорит о своей любви к земле, на которой он проработал в поте лица своего лет шестьдесят, получая в неделю несколько шиллингов,— на них ведь даже не купишь сигар, которые он сунул ему сегодня в рваный карман. Да, это поразительно. Но, в конце концов, разве земля—это не радость для души? День ото дня меняется она на ощупь и на глаз, меняется самый воздух над ней и даже ее запах. Вот она, эта земля, с мириадами цветов и крылатых тварей; неустанная и величественная поступь времен года. Весна приносит радость молодых побегов, у нее тоскующее, дикое, беспокойное от ветра сердце; мерцание и песни, цветущие деревья и облака, короткие, светлые дожди; маленькие, повернутые к солнцу листья радостно трепещут; из-под каждого деревца и травки выглядывает что-то живое. А потом лето. Ах, лето, когда на могучих старых деревьях лежит неторопливый свет долгого дня, а прелесть лугов, многоголосица жизни и запах цветов одурманивают бегущие часы, пока избыток тепла и красоты не перебродит в темную страсть! Тогда наступает конец. Идет осень в зрелой красе полей и лесов; золотые мазки на буках; багровые пятна рябины; ветви яблонь отягощены грузом плодов, а голубое, как лен, небо почти сливается с туманом от земли; стада пасутся в медлительной золотистой тишине; ни дуновения ветра, чтобы унести голубоватые дымки над сжигаемым бурьяном, а на полях все недвижно. Кому захочется нарушить этот безмятежный покой? А зима! Просторные дали, долгие ночи, но зато какой тончайший узор ветвей: розовые, пур-

пурные, фиолетовые оттенки на голых стволах в рано темнеющем небе! Быстрый черный росчерк птичьих крыльев на беловато-сером небосводе. Не все ли равно, какое время года сжимает в объятиях эту землю, которая породила нас всех?

Нет, не удивительно, что в крови людей, которые лежали и берегли эту землю, заботились о ее плодородии, живет такая глубокая и нежная любовь к ней; любовь не позволяет им оторваться от нее, бросить эти холмы и травы, птичьи песни и следы, оставленные здесь их предками в течение многих веков.

Подобно многим своим современникам, утонченным интеллигентам, Феликс чуждался официального патриотизма — этой густой настойки из географии и статистики, прибылей и национальной спеси, от которой так легко кружатся слабые головы, но зато он любил родную землю так, как любят женщину, — с какой-то чувственной преданностью, со страстью, которую вызывали в нем ее красота, ее покой, ее сила, заставлявшая его чувствовать, что он вышел из нее, и только из нее, и только в нее может вернуться. Этот зеленый кусок родной земли, где жили его предки по материнской, самой дорогой для него линии, имел и сейчас над его душой такую власть, что ему полагалось бы стыдиться ее в дни, когда британец стал убежденным горожанином, которого прихоть то и дело уносит во все четыре конца света. Феликс всегда чувствовал какую-то особую прелесть в этих окаймленных вязами полях, цветущих рощицах, в этих краях, где искони жил род Моретонов; его привораживали эти глубокие небеса, испещренные белыми облаками, эти заросшие по обочинам травой дороги, пятнистые и белые коровы, синевато-зеленые очертания Молвернских холмов. Если Феликс где-нибудь и ощущал присутствие бога, то именно здесь. Сентиментальность? Без этой сентиментальности, без этой любви человека к своему родному углу «земля» обречена на гибель. Пусть Бекет трубит во все трубы до второго пришествия, все равно земельный вопрос не будет решен, если люди позабудут о самой земле. Надо укреплять в людях любовь к родине. Надо позаботиться, чтобы неуверенность в завтрашнем дне, вопиющая нищета, деспотизм, вмешательство в личную жизнь не подорвали этой любви. Этого необходимо

добиться. Деревенское однообразие? Правда ли это? Какая работа, доступная простым людям, разнообразнее, чем крестьянская? Нет, работа на земле в десять раз живее любой другой. Она меняется изо дня в день: прополка, сенокос, корчевание, огораживание; посев, жатва, обмолот, скирдование, заготовка соломы; уход за животными и дружба с ними; стрижка овец, мойка шерсти, заготовка дров, сбор яблок, приготовление сидра; постройка и смазывание ворот, побелка стен, рытье канав — ни один день не бывает похож на другой. Однообразие! Труженики на фабриках, заводах, в шахтах; бедняги, которые водят автобусы и пробивают билеты, чистят дороги, пекут хлеб и готовят пищу, шьют и печатают на машинке: кочегары, машинисты, каменщики, грузчики, конторщики... Как много горожан могли бы воскликнуть: «Какой у нас унылый, однообразный труд!» Правда, у них есть праздники и развлечения. Вот о чем следовало бы поговорить в Бекете — о празднествах и развлечениях для деревни. Но... И тут Феликс внезапно вспомнил про тот долгий праздник, который предстоит Трайсту... Ему придется «ждать и томиться», как сказал маленький гуманист; ждать и томиться в камере в двенадцать футов на восемь. Неба оттуда не увидишь, запах травы туда не донесется, не будет там и животных, чтобы скрасить ему жизнь, — ничего, ибо в себе самом он не найдет опоры. Ему останется только сидеть, устремив трагический взгляд на стену целых восемьдесят дней и восемьдесят ночей, до самого суда, — и только тогда начнется его наказание за мгновенную вспышку ярости, за попытку отомстить своим обидчикам. Что есть в мире более сумасбродного, злобного и чудовищно глупого, чем жизнь самого совершенного из существ — человека? Что за дьявол этот человек, способный в то же время подняться до высочайших вершин любви и героизма? Что за жестокий зверь, самый жестокий и безжалостный на свете?.. Из всех живых существ человек легче всего поддается страху, который превращает его в гнусного палача. «Страх, — подумал Феликс, — именно страх! Это не мгновенный испуг, который толкает наших братьев-животных на всякие глупости, а сознательный, расчетливый страх, парализующий разум и великодушие. Трайст со-

вершил отвратительный поступок, но его наказание будет в двадцать раз отвратительнее...»

Не в силах больше думать об этом, Феликс встал и побрел дальше по полю.

ГЛАВА XXV

Он явился на станцию как раз к приходу лондонского поезда и, минуто поискав взглядом мать не там, где было нужно, увидел ее уже на перроне, рядом с чемоданом, надувной подушкой и безукоризненно застегнутым портпледом.

«Приехала третьим классом,— подумал он.— Ну зачем она это делает!»

Чуть-чуть порозовев, она рассеянно поцеловала Феликса.

— Как мило, что ты меня встретил!

Феликс молча указал на переполненный вагон, из которого она вышла. Фрэнсис Фриленд немного огорчилась.

— Я чудесно доехала, — сказала она. — Но в купе был такой прелестный ребеночек, что я, конечно, не могла открыть окно, поэтому, пожалуй, и правда было жарко...

Феликс, который как раз в эту минуту смотрел на «прелестного ребеночка», сухо заметил:

— Ах вот, значит, как ты путешествуешь? А ты завтракала?

Фрэнсис Фриленд взяла его под руку.

— Не надо расстраиваться, милый! Вот шесть пенсов для носильщика. У меня в багаже только один сундук, на нем лиловый ярлык. Ты видел такие ярлыки? Очень удобная вещь. Сразу бросается в глаза. Я куплю их для тебя.

— Дай-ка я возьму твои вещи. Подушка больше тебе не понадобится. Я выпущу воздух.

— Боюсь, дорогой, ты не сумеешь. Тут такой чудный винт, я лучше никогда не видала! Никак не могу его отвинтить.

— А! — сказал Феликс. — Ну что же, пойдем к автомобилю.

Он почувствовал, что мать пошатнулась и как-то судорожно сжала его руку. Взглянув на нее, он заметил, что с ее лицом происходит что-то непонятное: оно на мгновение исказилось, но тут же эта слабость была подавлена, и губы сложились в мужественную улыбку. Они уже дошли до выхода, у которого фыркал автомобиль Стенли. Фрэнсис Фриленд поглядела на него, а потом как-то уж слишком торопливо влезла внутрь и уселась, твердо сжав губы.

Когда они отъехали, Феликс спросил:

— Не хочешь ли зайти в церковь поглядеть на надгробные плиты твоего деда и всех остальных наших предков?

Мать, опять взяв его под руку, ответила:

— Нет, дорогой, я их уже видела. Церковь тут очень некрасивая. Мне гораздо больше нравится старая церковь в Бекете. Какая жалость, что твоего прадеда не похорошили там!

Она до сих пор не могла примириться со всей этой «не очень приличной» затеей с производством плугов.

Автомобиль Стенли, как всегда, мчался с большой скоростью, и Феликс сначала не понимал, отчего мать то и дело пожимает ему руку: виноваты ли в этом толчки или чувства, ее обуревавшие, но когда они чуть не задели фургон при въезде в Бекет, Феликс вдруг понял, что его мать насмерть перепугана. Он понял это, заметив, как дрожат ее улыбающиеся губы. Высунувшись из окошка, он попросил:

— Батер! Поезжайте как можно медленнее, я хочу полюбоваться на деревья.

Он услышал рядом благодарный вздох. Но так как она ничего не сказала, то промолчал и он, и слова Клары, встретившей их в прихожей, показались ему на редкость бестактными:

— Ах, я совсем забыла напомнить вам, Феликс, чтобы вы отпустили автомобиль и наняли на станции извозчика. Я думала, вы знаете, что мама панически боится автомобилей.

И, услышав ответ матери: «Что вы, дорогая, мне было очень приятно!» — Феликс подумал: «Изумительная женщина, настоящий стоик!»

Он никак не мог решить, рассказать ли ей о «скан-

дале в Джойфилдсе». Это осложнялось тем, что она еще не знала о помолвке Недды и Дирека, а Феликс не считал себя вправе опережать молодую пару. Это их дело, пусть говорят сами. С другой стороны, если он промолчит, она непременно услышит от Клары какую-нибудь искаженную версию того, что произошло. И он решил объяснить ей все, испытывая обычный страх человека, живущего в мире абстрактных понятий и принципов и не знающего, что подумает тот, для кого все факты не имеют ни малейшей связи друг с другом. А для Фрэнсис Фриленд, как он знал, факты и теория существовали совсем уж порознь, или, вернее, она любила приспособливать факты к теории, а не теорию к фактам, как это делал он. Например, ее инстинктивное преклонение перед церковью и государством, ее врожденное убеждение, что опорой их является благородное сословие и «приличные» люди, не могло поколебаться даже при виде голодного ребенка из трущоб. Доброта заставляла пожалеть и, если можно, накормить бедного крошку, но ей и в голову не приходило увидеть какую бы то ни было связь между этим крошкой и миллионами таких же крошек или между ними и церковью и государством. И если Феликс попытался бы указать ей на эту связь, она только подумала бы:

«Милый мальчик! Как он добр! Какая жалость, что он позволяет этой морщинке уродовать свой лоб!» Вслух же она сказала бы:

— Да, милый, это очень грустно! Но я ведь так плохо во всем этом разбираюсь.— А если бы у власти в это время были либералы, она добавила бы: — Конечно, у нас сейчас ужасное правительство. Я непременно тебе покажу проповедь милейшего епископа Уолхемского. Я ее вырезала из «Ежедневного Чуда». Он так мило все это выражает, у него такие правильные взгляды!

А Феликс, вскочив, походит немножко, а потом снова сядет, чуточку слишком резко. И тогда, словно умоляя простить ее за то, что она «плохо разбирается в этом», Фрэнсис Фриленд вытянет руку, которая, несмотря на свою белизну, никогда не была рукой бездельницы, и разгладит ему лоб. Его иногда трогало до слез, когда он видел, с каким отчаянием мать старается понять его



«ФРИЛЕНДЫ»



«ФРИЛЕНДЫ»

обобщения и с каким облегчением вздыхает, когда он оставляет ее в покое и она может сказать:

— Да, конечно, дорогой, но я хотела бы показать тебе эту новую разбухающую пробку. Просто чудо. Ею можно заткнуть все что угодно!

Посмотрев на нее, он понимал, что напрасно заподозрил ее в иронии. Часто в таких случаях он думал про себя, а иногда и говорил ей:

— Мама, ты самый лучший консерватор из всех, кого я знаю!

Она поглядывала на него с только ей одной присущим нежным недоверием, не понимая, хотел сын ей сказать что-то приятное или наоборот.

Дав ей полчаса отдохнуть, Феликс прошел в голубой коридор, где к услугам Фрэнсис Фриленд всегда была готова комната, которая не успевала ей надоесть, ибо она никогда долго в ней не заживалась. Мать лежала на кушетке в просторном сером кашемировом платье. Окна были отворены, легкий ветерок шевелил ситцевые занавески и разносил по комнате запах стоящей в вазе гвоздики — ее любимых цветов. В этой спальне не было кровати, и она настолько отличалась от других комнат в доме Клары, словно, презрев законную владелицу, здесь поселился дух совсем иной эпохи.

У Феликса было такое ощущение, будто здесь не слишком ухаживают за бременной плотью. Скорее наоборот. Плоти здесь не было и следа, словно тут считали, что она «не очень прилична». Не было ни кровати, ни умывальника, ни комода, ни гардероба, ни зеркала, ни даже горшка с любимой цветочной смесью Клары.

— Неужели это твоя спальня, мама? — недоумевая, спросил Феликс.

Фрэнсис Фриленд ответила со смущенным смешком:

— О да, милый! Я должна показать тебе мое устройство. — Она встала. — Видишь, это уходит сюда, а то уходит туда, а вот это — опять сюда. Потом все вместе идет под это, после чего я дергаю вон то. Правда, чудесно?

— Но зачем? — спросил Феликс.

— Ну как ты не понимаешь? Все так мило, никто ничего не замечает. И никаких хлопот.

— А когда ты ложишься спать?

— Ну тогда я просто кладу одежду сюда и открываю это. Вот и все. Просто прелесть!

— Понимаю,— сказал Феликс.— Как ты думаешь, могу я спокойно сесть вот на это, или я куда-нибудь провалюсь?

Фрэнсис Фриленд поглядела на него и сказала:

— Гадкий мальчик!

Феликс уселся на то, что по виду напоминало кушетку.

— Право,— сказал он с легким беспокойством, потому что чувствовал в ней какую-то тревогу,— ты изумительный человек.

Фрэнсис Фриленд отмахнулась от этой похвалы, очевидно, сочтя ее неуместной.

— Что ты, милый, ведь все это так просто!

Феликс увидел у нее в руке какой-то предмет.

— Это моя электрическая щеточка. Она сделает с твоими волосами просто чудеса! Пока ты так сидишь, я ее на тебе попробую.

Возле его уха слышались треск, жужжание, и что-то, словно овод, впилося ему в волосы.

— Я пришел рассказать тебе, мама, очень важную новость.

— Да, да, милый, я так рада буду ее услышать; ты не обращай внимания, это превосходная щетка, совсем новинка!

«Непонятно, — думал Феликс, — почему человек, который так, как она, любит все новое, если это предмет материального мира, даже не взглянет на самое малое новшество, если оно принадлежит миру духовному?» И пока машинка стрекотала по его голове, он излагал ей положение дел в Джойфилдсе.

Когда он кончил, Фрэнсис Фриленд сказала:

— А теперь, милый, немножко нагнись.

Феликс нагнулся. Машинка начала безжалостно дергать волоски у него на затылке. Он довольно резко выпрямился.

Фрэнсис Фриленд с укором разглядывала машинку.

— Какая досада! Никогда раньше она так себя не вела...

— Наверно! — пробормотал Феликс. — Но что ты думаешь о том, что творится в Джойфилдсе?

— Ах, милый, какая жалость, что они не ладят с этими Маллорингами! Право же, грустно, что их с детства не приучили ходить в церковь.

Феликс только посмотрел на нее, не зная, огорчаться ему или радоваться, что его рассказ не вызвал у нее даже тени тревоги. Как он завидовал ее цельности, ее умению не видеть хотя бы на шаг дальше, чем было абсолютно необходимо! И вдруг он подумал: «Нет, она изумительная женщина! При ее любви к церкви как ей, наверно, больно, что никто из нас туда не ходит, даже Джон! А она ведь ни разу не сказала ни слова. В ней есть душевная широта, способность принимать неизбежное. Нет женщины, которая с такой решительностью видела бы лишь самые светлые стороны во всем. Это — чудесное свойство!»

А она в это время говорила:

— Милый, только обещай, если я тебе ее дам, пользоваться ею каждое утро! Вот увидишь, скоро у тебя вырастет целая уйма новых волосиков.

— Может быть, — мрачно произнес он, — но они снова выпадут. Время губит мои волосы, мама, так же, как оно губит деревню.

— Ничего подобного! Надо только упорно продолжать за ними ухаживать.

Феликс повернулся, чтобы получше на нее поглядеть. Она двигалась по комнате, старательно поправляя семейные фотографии на стенах — единственное здесь украшение. Каким правильным, точным и нежным было ее лицо, каким в то же время волевым — почти до фанатизма, какой тонкой и хрупкой — фигура, но сколько в ней неистребимой энергии! Тут он вспомнил, как четыре года назад она без помощи врача победила двухстороннее воспаление легких — спокойно лежала на спине, и все. «Она отмахивается от беды, пока та не подступит вплотную, а потом просто заявляет, что беды никакой нет. Это что-то чисто английское».

Она гонялась за навозной мухой, вооружившись маленьким проволочным веером, и, приблизившись к Феликсу, спросила:

— А это приспособление ты видел, милый? Надо ударить муху, и она сразу умирает.

— И тебе хоть раз удалось ее ударить?

— О, конечно!

И она помахала веером над мухой, которая ускользнула от нее без всякого труда.

— Терпеть не могу их убивать, но не люблю мух! Ну вот!

Муха вылетела в окно за спиной у Феликса и тут же влетела в другое. Он встал.

— Тебе, мамочка, надо отдохнуть перед чаем.

Он увидел, что она смотрит на него испытующе, отчаянно придумывая, что бы еще ему подарить или для него сделать.

— Хочешь взять этот проволочный...

Феликс обратился в бегство, чувствуя, что он не достоин такой любви. Она ведь так и не отдохнет, если он останется с ней! И все же, вспомнив выражение ее лица, Феликс пожалел, что ушел.

Выйдя из дома, погруженного в будничные покой, ибо от «шишек» не осталось и следа, Феликс подошел к недавно возведенной ограде, скрывающей место, где стоял дом Моретонов, который был сожжен «солдатами из Тьюксбери и Глостера», как сообщали старинные хроники, столь дорогие сердцу Клары. И Феликс уселся на этой ограде. Наверху, в некошеной траве, виднелась сверкающая синева павлиньей грудки: геральдическая птица мирно переваривала зерна, застыв в необычайно аристократической позе, а внизу садовники собирали крыжовник.

«О садовники и крыжовник великих мира сего! — подумал он. — Вот будущее нашей деревни!» Он стал наблюдать за ними. Как умело они работают! Какой у них терпеливый и выхоленный вид! В конце концов разве это не идеальное будущее? Садовники, крыжовник и великие мира сего! Все трое довольны своим положением в жизни! Чего лучшего может желать страна? «Садовники, крыжовник и великие мира сего!» Эта фраза производила на него гипнотическое действие. К чему волноваться? Садовники, крыжовник и великие мира сего! Чудесная страна! Земля, посвященная уходу за гостями! Садовники, крыжо... И вдруг Феликс заметил, что он не один. Скрытая поворотом стены, на одном из каменных фундамента, тщательно сохраненном и почти заросшем крапивой, которой разрешалось расти здесь, так

как Клара находила ее живописной, сидела «шишка». Это был один из защитников Сетлхема; он понравился Феликсу сдержанностью, прямоотой, искренним выражением серых глаз и всем своим обликом, — за его простотой и спокойной вежливостью проглядывало что-то милое и мальчишеское.

«Почему же это он остался? — недоумевал Феликс. — Мне казалось, что, наевшись, они сразу же отправляются восвояси».

Когда гость поклонился ему в ответ, Феликс подошел к нему.

— А я думал, что вы уже уехали, — сказал он.

— Захотелось осмотреть эти места. Тут красиво. Я люблю север, но это, видно, и в самом деле сердце Англии.

— Да, тут близко источник «великой песни», — сказал Феликс. — Все-таки нет ничего более английского, чем Шекспир!

Он искоса кинул внимательный взгляд на своего собеседника. «Вот еще тип, который мне нужен, — размышлял он. — У него уже нет этой особой интонации «не тронь меня!», которая раньше была у аристократов и у тех, кто хотел, чтобы их принимали за аристократов. Он как будто решил стать выше этого, и подобная интонация проскальзывает только от нервности в начале разговора. Да, это, пожалуй, лучшее, что у нас есть среди тех, кто «сидит на земле». Бьюсь об заклад, что он превосходный помещик и превосходный человек — высшее проявление своего класса. Он намного лучше Маллоринга, если я что-нибудь понимаю в лицах! Этот никогда не выгнал бы бедного Трайста. Если бы это исключение было у нас правилом! И все же... Может ли он и захочет ли он пойти так далеко, как это нужно? А если нет, как же можно надеяться на возрождение, идущее сверху? Может ли он отказаться от охоты? Перестать чувствовать себя хозяином? Отказаться от городского дома и своих коллекций, что бы он там ни собирал? Может ли он заставить себя снизойти до общего уровня и смешаться с массой, став не приметной закваской товарищества и доброй воли?» И, снова искоса взглянув на это открытое, честное, симпатичное и даже благородное лицо, он ответил себе с горечью: «Нет, не сможет!» И Феликс внезапно понял, что

должен решить вопрос, который рано или поздно встает перед каждым мыслителем. Рядом с ним сидит образцовый экземпляр, порожденный существующим ныне общественным порядком. Обаяние, человечность, мужество, относительное благородство, культура и чистоплотность этого поистине редкостного цветка на высоком стебле, с темными извилистыми корнями и сочной листвой, в сущности, единственное оправдание власти, осуществляемой сверху. А достаточно ли этого? Вполне ли всего этого достаточно? И, как многие другие мыслители, Феликс не решался на это ответить. Если бы можно было отделить в этом мире человеческие достоинства от богатства! Если бы наградой за добродетель служили только любовь сограждан и неосознанное самоуважение! Если бы «не иметь ничего» было бы самым почетным! И, однако, отказаться от того, что сейчас сидит рядом с ним и заменить его... чем? Никакая мгновенная смена не может принести добрых плодов. Стереть то, что дало долгое развитие человека, и начать сначала — это все равно что сказать: «Так как в прошлом человек не сумел достигнуть вершины совершенства, я уверен, что он добьется этого в будущем!» Ну нет! Это теория для небожителей и прочих любителей крайностей. Куда безопаснее улучшать то, что у нас уже есть. И он произнес:

— Мне говорили, что рядом с этим имением десять тысяч акров заняты почти целиком под пастбища и охотничьи угодья. Они принадлежат лорду Балтимору, который живет в Норфолке, Лондоне, Каннах и в прочих местах, куда его заносит прихоть. Он приезжает сюда два раза в год поохотиться. Весьма обычный случай. Но это симптом общего паралича страны. Если можно владеть таким количеством земли, владельцы должны, по крайней мере, жить на своей земле и сдавать строжайший экзамен на звание фермера. Они должны стать жителюшкой силой, душой, центром своего небольшого мирка; в противном случае их надо прогнать. Откуда возьмется заинтересованность в сельском хозяйстве, если они не будут подавать пример? Право, мне кажется, что нам придется отменить законы об охоте.

Он еще пристальнее взглянул в лицо «шишки». У того глубже залегла морщина на лбу, и он кивнул.

— Да, землевладелец, не живущий в своем поме-

стве,— это, конечно, беда. Боюсь, что и я тут грешен. И несомненно, что отмена законов об охоте может сильно поправить дело, хоть я сам люблю стрелять дичь.

— Но вы сами собираетесь что-нибудь предпринять?

Собеседник улыбнулся милой и довольно иронической улыбкой.

— Увы, я еще до этого не дорос. В принципе я, разумеется, согласен, но вот на деле... Моя область — это жилищный вопрос и оплата труда.

«То-то и оно,— думал Феликс.— Все вы готовы сказать «а», но боитесь произнести «б». Детская игра! Один не желает поступиться охотой, другой — властью, третий — отказаться от приема гостей, четвертый — от своей свободы. Наш интерес ко всему этому чисто сентиментальный, нечто вроде игры в мнения. Никакой реальной силы за этим нет».

И, внезапно переменив тему разговора, он стал беседовать с симпатичным «шишкой» о картинах — день ведь был такой теплый и навевающий лень! Болтали о том, кто хороший художник и кто плохой. А по некошенной траве, сверкая яркой синевой грудки, величаво прогуливался павлин, и внизу под ними садовники обирали крыжовник.

ГЛАВА XXVI

Недда, взяв велосипед у Сиррет, горничной Клары, отправилась в Джойфилдс и, только вернувшись оттуда, узнала о приезде бабушки. Лежа в ванне перед ужином, она придумала стратегический план — подобные замыслы иногда приходят к нам в голову даже тогда, когда мы уже больше не дети. Она поспешно оделась и была готова на двадцать минут раньше, чем зазвонил гонг. Когда она добежала до комнаты бабушки, Фрэнсис Фриленд дергала «это» и была крайне удивлена тем, что «то» никак не хотело опуститься на место. Она строго, с укором смотрела на непокорное устройство, но в это время послышался стук в дверь. Придвинув ширму, чтобы скрыть беспорядок, она сказала:

— Войдите!

Милая девочка выглядела прелестно в белом вечернем платье с красным цветком в волосах, но, целуя ее, Фрэнсис Фриленд заметила, что вырез ее платья чуточку велик, а это не очень прилично, и сразу же подумала: «У меня есть для нее как раз то, что надо!»

Подойдя к ящику, о существовании которого никто бы не догадался, она достала из него маленькую бриллиантовую звездочку. Осторожно стянув края брабантского кружева у шеи Недды, она сколола их брошью так, что вырез стал по крайней мере на дюйм меньше.

— Ну, вот тебе маленький подарок, душечка. Ты и не представляешь, как тебе это идет! — сказала она, и, удовлетворив на миг свою страсть к приличиям и потребность отдавать все, что у нее есть, она оглядела внучку, которую так красил алый цветок, и воскликнула:

— Как прелестно ты выглядишь!

Недда зарделась от удовольствия и, глядя вниз на звездочку у слегка загоревшей сегодня шеи, пробормотала:

— Ах, бабушка, она такая красивая! Нет, нет, я не могу ее взять!

Такие минуты были для Фрэнсис Фриленд дороже всего; и, кривя душой, что она делала только тогда, когда что-нибудь отдавала или еще как-нибудь одаривала своих ближних, порою даже против их воли, она заверила Недду:

— Она у меня лежит без всякой пользы, я ее сама никогда не ношу!

И заметив, что внучка улыбнулась, вспомнив, как любовалась этой брошкой и за обедом у дяди Джона и тут, в Бекете, бабушка сказала решительно:

— Ну, вот и все! — И усадила Недду на диван. Но только она подумала: «У меня для девочки есть чудное средство от загара!» — как Недда сказала:

— Бабушка, дорогая, я давно собираюсь вам сказать... Дирек и я помолвлены.

Фрэнсис Фриленд от волнения только сжала дрожащие руки.

— Ах, деточка, — сказала она очень серьезно, — вы хорошенько все обдумали?

— Да я ни о чем другом и думать не могу, бабушка.

— А он подумал?

Недда кивнула.

Фрэнсис Фриленд пристально смотрела прямо перед собой. Недда и Дирек, Дирек и Недда! Новость с трудом доходила до ее сознания: оба они для нее были еще малышами, которых надо как следует укрыть на ночь. Помолвлены! Поженятся, а оба близки ей, почти как собственные дети. Она почувствовала боль в сердце — так велико было усилие ничего не показать. Но тут ей на помощь пришел основной закон ее жизни: нельзя устраивать шума, надо держаться как ни в чем не бывало — все равно, получится что-нибудь из этой затеи или нет.

— Ну что мне тебе сказать, милочка? Наверное, ты очень счастлива. Но ты уверена, что достаточно хорошо его знаешь?

Недда кинула на нее быстрый взгляд, потом опустила ресницы и словно закрыла глаза. Ласково прижавшись к старушке, она сказала:

— Конечно, нет, бабушка, и я хотела бы узнать его получше. Вот если бы я могла у них немножко погостить.

И когда она закинула эту удочку, зазвонил гонг. Фрэнсис Фриленд, как всегда, не могла заснуть до двух и все больше убеждалась в том, что Недда совершенно права. В этом ее укрепляла и привычка видеть во всем светлую сторону, и неистребимое желание делать людей счастливыми, и, кроме того, инстинктивное сочувствие всем влюбленным; к тому же Феликс говорил, что Дирек поступил опрометчиво. Если милочка Недда будет там, Диреку некогда будет думать о чем-нибудь другом и он постарается быть поосторожнее. Фрэнсис Фриленд никогда не колебалась долго: завтра же она сама отвезет Недду в Джойфилдс. У Кэрстин есть премилая комната для гостей, а Недда захватит с собой вещи. Какой это для всех будет приятный сюрприз! Наутро, не желая никого беспокоить, она послала Томаса в гостиницу «Красный лев», где можно было нанять очень удобный фаэтон с приличным трезвым кучером, и попросила подать ей лошадь к половине третьего. Потом, не говоря ни слова Кларе, попросила Недду уложить вещи, надеясь на свое умение все объяснить, ничего толком никому не рассказывая. Ее никогда не смущали маленькие

трудности, она по природе своей была человеком действия. И по дороге в Джойфилдс она успокаивала немножко перепуганную Недду:

— Все будет хорошо, милочка. Они будут очень рады.

Фрэнсис Фриленд была, пожалуй, единственным человеком на свете, который ни капельки не боялся Кэрстин. Она по самому складу характера не умела бояться чего бы то ни было, кроме автомобилей, и, конечно, ухверток (но что поделаешь, приходится терпеть и их!). Рассудок подсказывал ей, что эта женщина в синем — такой же человек, как все, к тому же отец у нее был полковником шотландских стрелков, а это очень прилично, и значит, и тут есть свои светлые стороны.

Вот так они и ехали до самого Джойфилдса: бабушка показывала внучке красоты пейзажа и не позволяла ни себе, ни ей думать о том, что они едут с чемоданом.

Дома была одна Кэрстин. Послав Недду в сад за дядей, Фрэнсис Фриленд сразу перешла к делу. По ее мнению, милочке Недде следует почаще встречаться с милым Диреком. Оба они так молоды, и если девочка погостит здесь несколько недель, они гораздо лучше поймут, глубоки ли их чувства. Она велела Недде захватить с собой свои вещи, не сомневаясь, что дорогая Кэрстин станет на ее точку зрения; всем от этого будет только лучше! Феликс ей рассказал об этом бедняге, который совершил такой ужасный поступок, и ей кажется, что присутствие Недды всех немножко отвлечет. Недда — хорошая девочка и сможет помочь по дому. И, говоря все это, Фрэнсис Фриленд смотрела на Кэрстин и думала: «Она очень красива и сразу видно, что из хорошей семьи; какая жалость, что она носит на голове эту синюю штуку, — в этом есть что-то вызывающее!» Неожиданно она добавила:

— Знаете, дорогая, по-моему, у меня есть как раз то, что нужно, чтобы у вас аккуратно лежали волосы. Они такие красивые! То, о чем я говорю, — новинка, ее совсем не видно; изобретение очень приличного парикмахера в Вустере. А как это просто! Разрешите, я вам сейчас покажу! — Торопливо подойдя к Кэрстин, она сняла с ее головы ярко-синюю сетку и, перебирая ее волосы, про-
бормотала:

— Какие они удивительно тонкие, вот жалость их прятать! Ну, а теперь поглядите на себя! — Из глубокого кармана было извлечено зеркальце. — Я уверена, что Тод будет просто в восторге. Ему очень понравится такая перемена прически.

Кэрстин, чуть-чуть сморщив брови и губы, ждала, пока она кончит.

— Да, дорогая мама, ему, наверное, понравится, — сказала она и снова надела сетку.

На губах Фрэнсис Фриленд появилась не то грустная, не то насмешливая улыбка, которая будто говорила: «Да, я знаю, что ты считаешь меня старой надоедой, но, право же, милочка, жаль, что ты так причesy-ваешься!»

Заметив эту улыбку, Кэрстин встала и нежно поцеловала ее в лоб.

Когда Недда вернулась, так и не найдя Тода, чемодан ее стоял в маленькой спальне для гостей, а Фрэнсис Фриленд уже уехала. Девушка еще никогда не оставалась наедине с тетей, которая вызывала у нее страстное восхищение с примесью благоговейного страха. Недда ее, конечно, идеализировала, словно это был не живой человек, а статуя или картина — символ свободы, справедливости, искупления всех зол. Ее неизменное синее одеяние еще больше возвышало этот образ: ведь синий цвет — цвет идеала, возвышенной мечты. Разве синее небо не преддверие рая? Разве фиалки не символ весны? К тому же Кэрстин была не из тех женщин, с кем можно посплетничать или просто поболтать ни о чем; с ней можно было лишь прямо и открыто говорить о том, что ты думаешь и чувствуешь, и только по серьезному поводу. И это ее свойство казалось Недде таким замечательным, что она попросту немела. Но ей очень хотелось сблизиться с тетей: ведь это означало еще бóльшую близость с Диреком. Однако Недда понимала, что сама она совсем другой человек, но это лишь раздражало ее и еще больше возвышало тетю в ее глазах. Она ждала, затаив дыхание, пока Кэрстин наконец не сказала:

— Да, вы с Диреком должны поближе узнать друг друга. Нет на свете худшей тюрьмы, чем неудачный брак.

Недда горячо закивала.

— Наверно! Но, по-моему это всегда заранее знаешь.

Ей показалось, что ее душу прощупывают до самого дна. Наконец послышался ответ:

— Может быть. Я знала. И видела других, кто тоже знал,— немногих. Пожалуй, и ты принадлежишь к таким людям.

Недда зарделась от счастья.

— Я не смогла бы жить с человеком, если бы его не любила. Знаю, что не смогла бы, даже если бы за него и вышла!

Снова сузив глаза и кинув на нее долгий взгляд, Кэрстин сказала:

— Да. Тебе нужна правда. Но после свадьбы, Недда, правда — это несчастье, если ты совершил ошибку.

— Я думаю, что это должно быть ужасно.

— Поэтому, дорогая, смотри не сделай ошибки. И не давай сделать ему.

Недда благоговейно ответила:

— Ни за что! Ах, ни за что!

Кэрстин отвернулась к окну, и Недда услышала, как она тихо произнесла:

— «Свобода — торжественный праздник!»

Дрожа всем телом от желания выразить все, что у нее на душе, Недда пробормотала:

— Я никогда не буду насильно удерживать то, что жаждет свободы. Никогда! Я не буду никого вынуждать делать то, чего они не хотят!

Она увидела, как тетя улыбнулась, и решила, что сказала какую-то глупость. Но какая же это глупость, когда говоришь то, что думаешь?

— Когда-нибудь, Недда, все будут говорить то же, что говоришь ты. А до тех пор мы будем бороться с теми людьми, кто этого не хочет. У тебя в комнате есть все, что тебе нужно? Пойдем посмотрим.

Переход от жизни в Бекете к жизни в Джойфилдсе был просто удивителен. В Бекете вы теоретически могли делать все, что вам вздумается, но железный распорядок часов еды, умывания и прочих процедур по уходу за вашей плотью скоро лишал вас возможности делать что бы то ни было помимо них. В Джойфилдсе телесное бытие бы-

ло похоже на непрерывное сражение, на принудительный аккомпанемент к духовной жизни. В обычные обеденные часы вы могли оказаться дома одни. В вашем кувшине на умывальнике могло не найтись воды. Ванну заменяла небольшая выбеленная пристройка за домом с кирпичным полом; воду качали сами, и если кому-нибудь еще приходило в голову выкупаться в эту минуту, надо было кричать: «Эй! Я уже здесь!» Это были идеальные условия, чтобы узнать друг друга поближе. Никто вас не спрашивал, куда вы идете, с кем вы идете и как идете. Вас могло не быть дома днем или ночью, и никто не любопытствовал бы, что случилось, и никто не сказал бы вам ни слова. И тем не менее вы постоянно ощущали в доме какую-то особую атмосферу, нечто, на чем этот дом держался, какой-то жизненный принцип, а может, просто эту женщину в синем. К тому же еще одна странная особенность отличала этот дом от всех других английских домов: здесь никогда ни во что не играли ни на воздухе, ни внутри.

Первые две недели, пока созревали травы, были удивительным временем в жизни Недды, заполненной единой страстью: видеть как можно чаще того, кому она отдала свое сердце. Шейла примирилась с ней: ее сильная натура пренебрегла соперничеством с мягкосердечной и простодушной гостьей, явно чувствующей себя на седьмом небе от счастья. К тому же Недда обладала даром уживаться с особами своего пола; это обычно дано женщинам цепким, но не властным; скромным, но втайне полным собственного достоинства; однолюбкам, хоть они и мало об этом говорят, а главное, женщинам, наделенным во всяком возрасте тонким, но бесспорным обаянием.

Эти две недели были еще более удивительными для Дирека, которого разрывали две страсти, одна пламеннее другой. И хотя его страстный протест против тирании Маллорингов и не мешал его страстной любви к Недде, оба эти чувства властно влекли его — каждое к себе. И это привело к самому неожиданному психологическому результату: его любовь к Недде стала более человеческой, менее идеализированной. Теперь, когда она жила рядом с ним, под одной крышей, он еще больше поддавался очарованию ее наивной сердечности (надо

было быть ледяным, чтобы устоять), и хотя гордость не позволяла ему изливать свои чувства, они от этого только жарче пылали.

Однако даже эти безоблачные дни омрачала какая-то тень, словно они что-то от себя отстраняли, о чем-то боялись друг с другом заговорить. Недда днем училась у Кэрстин и Шейлы всему, что могла, вечера она проводила с Диреком — долгие вечера конца мая и начала июня, такие теплые и золотые в тот год. Обычно они отправлялись к подножию холмов. Их излюбленным местом была роща из лиственниц, чьи зеленые побеги еще не потеряли лимонного запаха. Высокие, стройные деревья эти лиственницы: стволы и сухие нижние ветви у них серые, даже грязновато-черные, зато верхушка — словно пук зеленых перьев, она клонится и тихо поскрипывает на ветру, а ветки ее мягко вздыхают, как морской прибой. Укрывшись среди этих жителей шотландских гор, каких-то чужих в здешних краях, Недда с Диреком любовались последними солнечными лучами, золотившими пушистые ветки; заревом заката в небе над Биконом; сумерками, медленно простирающимися серые крылья над лугами и вязами, и следили за тем, как прячутся белки и кружат перед сном голуби. На опушке рощи журчал ручей, а по берегу его росли буки. В рыжеватом песчаном дне прозрачного ручья, где играли солнечные зайчики, в серо-зеленых стволах буков с их могучим переплетением длинных и гибких корней была какая-то первозданная, неподвластная человеку сила земли, мощь непобедимого плодородия, тайная жизнь природы... Век людской короток, а этим деревьям, казалось, стоять здесь вечно! Поколение за поколением влюбленные будут приходить сюда и, глядя на их красоту и силу, чувствовать и в своих жилах соки земли. Послушав, как шумит ветер в ветвях и шепчет ручей в траве, и помещик и батрак хоть на миг, но почувствуют нетленное величие природы. А по ту сторону ручья раскинулось целое поле серебристых цветов, от которых Недда никак не могла оторвать глаз. Как-то раз Дирек перепрыгнул через ручей и принес ей полный носовой платок этих цветов. У самой воды рос ятрышник, а подальше — крошечные маргаритки. Из тех и других они сплели ей венок и пояс. Вечер был редкостной красоты; стояло такое тепло, что во мгле возле

них загудел первый майский жук. В этот вечер они долго бродили обнявшись и молчали; останавливались, чтобы послушать крик совы, останавливались, чтобы показать друг другу каждую новую звезду, несмело зажигавшуюся в лиловато-сером небосводе. В этот вечер они вдруг поссорились, словно на тихое, синее море вдруг набежал внезапный шквал или вдруг взмыли ввысь две птицы, стараясь клюнуть друг друга. Он завтра придет посмотреть, как она доит корову? Нет, он не может. Почему? Он не может: его не будет дома. Ах, так! Он никогда не рассказывает, куда он ходит, никогда не берет ее с собой к батракам, как Шейлу!

— Не могу. Я дал слово.

— Значит, ты мне не доверяешь!

— Конечно, доверяю, но слово есть слово. Ты не должна меня об этом спрашивать.

— Да, конечно. Только я бы никогда не пообещала, что буду что-нибудь от тебя скрывать.

— Ты не понимаешь.

— О нет, отлично понимаю. Любовь для тебя — это совсем не то, что для меня.

— Как ты можешь судить, что она для меня?

— У меня нет от тебя секретов.

— Значит, ты ни во что не ставишь честь.

— Честь только связывает человека.

— Как это надо понимать?

— Ты часть меня, а ты не считаешь, что я часть тебя, вот и все.

— Ты очень несправедлива. Я был вынужден дать слово; дело касается не меня одного.

Они отодвинулись друг от друга и сидели молча, словно каменные, обмениваясь злыми взглядами; сердце у них щемило, а впереди был беспросветный мрак. Что может быть трагичнее внезапного перехода от райского блаженства и нежных объятий к вражде! А сова продолжала кричать, и от лиственниц исходил все тот же лимонный аромат. И вокруг по-прежнему царила мягкая тьма, в которой ярко белели цветы на ее поясе и в ее волосах. Но для Недды весь мир рухнул. На ее глаза набежали горячие слезы; она встряхнула головой и отвернулась, не желая их показать... Прошла долгая минута, оба старались не издавать ни звука и вслушивались

в то, что делает другой; наконец она тихонько всхлипнула. Его пальцы украдкой дотронулись до ее щеки и стали влажными. Его руки вдруг сдавили ее так, что она задохнулась; губы прижались к ее губам. Она судорожно ответила ему на поцелуй, закинув голову и зажмурив мокрые от слез веки. А сова все кричала, и белые цветы осыпались во тьме с ее волос.

Потом они снова шли, обнявшись, избегая даже намек на недавнюю драму, целиком отдаваясь незнакомому трепету, который пробудил в их крови поцелуй, боясь хоть как-нибудь нарушить это чувство. Они бродили по роще из лиственниц от опушки к опушке, словно боясь покинуть эту райскую обитель.

После этого вечера в их любви появилась какая-то пронзительная острота, которой не было раньше; их чувство стало глубже, нежнее, оно окрасилось у обоих глухим беспокойством страсти и пониманием того, что любовь не означает полного растворения друг в друге. Ведь каждый из них считал, что прав был в их маленькой ссоре он. Юноша не мог и не хотел отречься от того, что принадлежало не ему; он смутно понимал (хотя и не смог бы выразить это даже самому себе), что жизнь мужчины — это борьба, в которой женщине не всегда дано участвовать, не всегда дано найти себе место. Девушка чувствовала, что ей не нужна такая жизнь, которую она не может делить с ним, и ей было тяжело, что он хочет лишить ее участия в какой-то доле своих интересов. Несмотря на это, она больше не пыталась заставить его поделиться с ней своими планами восстания и мести, а узнавать что-нибудь от Шейлы или тети считала унижительным.

А травы тем временем наливались соком. Многообразны, как люди или как деревья в лесу, были эти стебли. Они сливались в зеленоватое море, а поверху ходили темно-рыжие волны: луговой мятлик и шалфей, тимopheвка, подорожник и тысячелистник, полевица и ко́стер, лисохвост и зеленые сердечки клевера, одуванчик, щавель, чертополох и душистые яровые травы...

Десятого июня Тод начал косить свои три луга; вся семья, включая Недду и троих ребятишек Трайста, работала не покладая рук. Старый Гонт, который ждал покоса, чтобы заработать и одеться на целый год вперед,

пришел помогать убирать сено; помогали и другие, у кого выдавался свободный часок. Вся трава была скошена и убрана за три погожих дня.

Влюбленные так устали в последний день сенокоса, что не могли даже пойти гулять; они сидели в саду и глядели на луну, выплывавшую из купы деревьев за церковью. Сидели они на бревне Тода, изнемогая от блаженной усталости, и вдыхали запах свежего сена. В синей тьме листвы мелькали серые ночные бабочки, призрачно белели стволы яблонь. Вечер был очень теплый, наполненный шорохами. В такой вечер нельзя таиться, и Дирек сказал:

— Завтра ты все узнаешь, Недда.

Она затрепетала от страха. Что она узнает?

ГЛАВА XXVII

Тринадцатого июня, вернувшись обедать из Палаты Общин, сэр Джералд Маллоринг нашел в прихожей письмо от своего управляющего и следующий вложенный в него документ:

«Мы, нижеподписавшиеся, батраки в имении сэра Джералда Маллоринга, почтительно уведомляем его, что выселение батраков из предоставленных им жилищ по причинам, касающимся их личной жизни или политических убеждений, мы считаем несправедливым. Мы очень просим, чтобы прежде, чем объявлять батраку, что он будет уволен по одной из этих причин, вопрос был бы поставлен на обсуждение всех батраков, работающих в имении, и чтобы в будущем такое увольнение было возможно только в том случае, если большинство его товарищей по работе это одобряет. Если наше требование будет отклонено, мы, к сожалению, будем вынуждены отказатьсЯ убирать сено в имении сэра Джералда Маллоринга».

Ниже следовали девяносто три подписи или крестики, под которыми печатными буквами была проставлена фамилия.

Управляющий в своем письме писал, что траву уже пора косить; он всячески пытался убедить батраков отказатьсЯ от своего требования, но безуспешно; и среди

фермеров царит большое волнение. Все это произошло внезапно. Управляющий даже не подозревал о том, что затевается. Дело подготавливалось тайком, очень хитро, и, по мнению управляющего, организаторами были члены семьи мистера Фриленда. Он ждет указаний сэра Джералда. Работая от зари до зари, фермеры со своими семьями, при удаче и хорошей погоде, может быть, сумеют спасти половину сена.

Маллоринг дважды прочел письмо, три раза заявление батраков и, скомкав их, сунул в карман.

Вот в такие минуты лучше всего проявляются черты, унаследованные от предков-норманнов. Первое, что сделал сэр Джералд,— он взглянул на барометр. Давление, несомненно, падало. После того как целый месяц держалась превосходная погода, это могло быть только самым зловещим предзнаменованием. Прибор был старинный, и сэр Джералд верил в него непоколебимо. Он постучал по стеклу, и стрелка опустилась еще ниже. Сэр Джералд стоял нахмурившись. Надо ли ему посоветоваться с женой? Дружеские чувства подсказывали: да! Рыцарские традиции предков-норманнов, а может быть, и более глубокий наследственный инстинкт предостерегали, что в решительные минуты женщины всегда настаивают на крайних мерах, и поэтому он сказал себе: нет! Он поднялся наверх, шагая через три ступеньки, и спустился вниз, через две. Во время обеда он не переставал обдумывать это происшествие, но разговаривал как ни в чем не бывало и поэтому больше молчал. Три четверти сена пропадет, если скоро пойдет дождь! Большой убыток для фермеров, и он повлечет за собой еще большее снижение ренты, которая и так очень низка. Что ему делать: улыбаться и терпеть, тем самым показывая этим субъектам, что он может позволить себе презреть их подлую уловку? Ведь это же в самом деле подлость,— дожидаться, пока трава поспеет, и тогда сыграть с ним эту мерзкую штуку! Но если он им спустит на этот раз, они повторят свой шантаж, когда поспеет хлеб,— правда, его сеют не много в имении, ведь он считает, что хлеб — это только карта в политической борьбе.

Может быть, заставить фермеров уволить всех батраков и нанять других? Но откуда их взять? Сельскохозяйственными рабочими не рождаются, их обучают! И

учить их надо чертовски долго! Может быть, не платить им жалованья, пока они не возьмут назад свое требование? Это, пожалуй, поможет, но сено все равно пропадет. Сено! В конце концов участвовать в сенокосе может почти кто угодно, это наименее сложная из всех сельскохозяйственных работ, тем более, что фермеры сумеют управиться с машинами и организовать работу. Почему бы ему не принять решительных мер? И он с такой силой сжал челюсти, прожевывая кусок лососины, что даже прикусил язык. Но боль лишь укрепила его решимость. Вот так малые события влияют на большие. Задержать выплату жалованья, привести штрейкбрехеров, спасти сено! А если начнутся беспорядки, что же, пусть! Этим займется полиция. Да, он был по духу настоящим норманном, недаром ему и в голову не пришло, что он может согласиться на требование рабочих или хотя бы задуматься, не справедливо ли оно. Он принадлежал к тем людям (а из них сегодня состоит почти все его сословие, включая сюда и прессу), которые постоянно твердят, что их страна — демократическая держава и защитница демократии, и даже не подозревают, что означает это слово, и, по правде говоря, вряд ли когда-либо поймут его смысл. Больше всего сэра Маллоринга угнетала нерешительность. И поэтому, принимая решение, да еще такое решение, которое должно было вызвать бурю, сэр Джералд был просто окрылен. Снова изо всех сил стиснув зубы, — на этот раз на куске барашка, — он опять прикусил язык. Но так как за столом сидели двое его детей, которым полагалось вести себя во время еды с благовоспитанностью, исключаяющей подобные происшествия, сэр Джералд не мог сознаться в том, что с ним произошло. Он встал из-за стола, уже больше не колеблясь. Вместо того, чтобы вернуться в Палату Общин, он отправился прямо в контору по найму штрейкбрехеров. Куй железо, пока горячо! Затем он нашел почтовое отделение, которое было еще открыто, и послал одну длинную телеграмму своему управляющему и другую — начальнику вустерширской полиции. После чего, сознавая, что сделано все возможное, с чистым сердцем вернулся в Палату Общин, где обсуждалось положение с жильем в деревне. Маллоринг сидел, не очень внимательно прислушиваясь к речам, хотя и слыл знатоком этого вопроса. Завтра, по-видимо-

му, в газетах появятся сообщения об этой истории. До чего же он ненавидит, когда посторонние суют нос в его дела! И вдруг в глубине его души зашевелилось чувство, которого он никак от себя не ждал: это было что-то вроде раскаяния. Ему стало неприятно, что он позволит банде бездельников и мерзавцев бродить по его земле, валяться на его траве и лакать там свое гнусное пиво. Он искренне любил свои поля и заповедники, был брезглив, как и подобает английскому джентльмену, и, кроме того, надо отдать ему справедливость, испытывал некоторые угрызения совести при мысли о том, что ждет людей, родившихся в его имении. Он откинулся на стуле, уперев длинные ноги в барьер. Его густые, волнистые и еще каштановые волосы были разделены безукоризненным пробором над квадратным лбом, который был сейчас нахмурен, над глубоко посаженными глазами и абсолютно прямым носом. Время от времени он покусывал кончик светло-русых усов или, подняв руку, подкручивал другой их кончик. Это был, несомненно, один из самых красивых людей в Палате, больше других похожий на норманна. Людям вокруг него казалось, что он глубоко о чем-то задумался. И они не ошибались. Но раз он что-то решил, менять свои решения было не в его правилах.

Утром он почувствовал себя еще хуже. Фермеры ни за что не пустят к себе в дом сброд, который он послал в имение. Этим бродягам придется разбить лагерь. Лагерь на его земле! Вот тут-то у него на миг появилась мысль: не следовало ли ему подумать и согласиться на требование батраков? Но эта мысль сразу же исчезла. Единственное, с чем нельзя мириться,—это с насилием над личностью! Ни в коем случае! Но все же, может быть, он чуть-чуть поторопился, вызвав штрейкбрехеров? Нельзя ли еще спасти положение, если поехать туда первым же поездом? Его личное присутствие все может решить. Если он предъявит свой ультиматум, имея про запас штрейкбрехеров, должны же батраки послушаться голоса разума. В конце концов они же его люди. И вдруг он почувствовал изумление, что они решились на такой шаг. Что на них нашло? Ведь, говоря по совести, это такой малодушный народ, у них не хватало мужества даже вступить в стрелковое общество, которое получило от не-

го в дар небольшой тир! И перед его глазами возникли эти люди, которых он так часто встречал на дорогах: сгорбившись, они смущенно кланялись и брели дальше со своими плетеными сумками и мотыгами. Да! Все это — дело рук Фрилендов. Его рабочих на него натравили, — вот именно, натравили! Это видно даже из того, как выражено их требование! Он с горечью думал о том, как не по-соседски ведут себя эта женщина и ее щенки! Нет, он не может скрыть этого от жены! Он ей все расскажет. И как ни странно, ее ничуть не смутило приглашение штрейкбрехеров. Конечно, надо спасти сено! И дать хороший урок батракам! Нельзя же им спускать те неприятности, которые они с Джералдом пережили из-за Трайста и этой дочери Гонта! Нельзя, чтобы люди говорили или даже думали, будто эта Фриленд и ее дети взяли верх! Если батраков как следует проучить, в другой раз им будет неповадно!

Его восхищала ее твердость, но он все же почувствовал легкую досаду. Женщины не умеют смотреть вперед; не умеют предвидеть возможные последствия своих поступков. И он сказал себе: «Черт возьми! Вот не думал, что она может быть такой суровой! Правда, она гораздо ближе меня принимала к сердцу поведение и Трайста и дочки Гонта».

Барометр в прихожей показывал, что давление по-прежнему падает. Сэр Джералд успел на поезд в девять пятнадцать, дав телеграмму управляющему, чтобы тот встретил его на станции, и распорядившись, чтобы выезд штрейкбрехеров задержали, пока он не протелеграфирует.

Управляющий подробно изложил ему все обстоятельства дела, пока они ехали от станции в имение, — трехмильная дорога, половина которой пролежала по его собственным землям. Дело очень неприятное — батраки молчат, как рыбы; фермеры злы и ничего не понимают, но начали косить своими силами. Батраки не пошевелили и пальцем. Он видел среди них молодого мистера Фриленда и мисс Фриленд. Все было подстроено очень ловко. Он ничего не подозревал, — все это так не похоже на батраков, он-то их знает! И, собственно говоря, нет у них настоящей причины для такого поведения! Да, другую работу они по-прежнему делают: доят коров, ухаживают

за лошадьми и все такое; вот только косить не желают, ни под каким видом! Ну, и странное же у них требование, просто смех да и только, никогда ничего подобного не слыхивал! Ведь, в сущности говоря, они требуют гарантии постоянной аренды. Все началось с дела Трайста! Маллоринг резко его прервал:

— Пока они не возьмут назад своего требования, Симмонс, я не смогу разговаривать с ними ни по этому, ни по какому другому вопросу!

Управляющий кашлянул, прикрыв рот рукой.

— Да, конечно! Только, пожалуй, лучше это выразить как-нибудь помягче, чтобы их успокоить... Это, конечно, верно, — нельзя давать им волю в таких делах...

В это время они как раз проезжали мимо дома Тода. У него был обычный мирный вид. Маллоринг не смог удержаться и раздраженно махнул рукой.

Едва приехав, он разослал во все концы садовников и грумов, оповещая батраков, что будет рад их видеть у себя на ферме в четыре часа. Остаток времени он провел в раздумье и в переговорах с фермерами, которые все, за исключением одного, — пугливый субъект, чтобы не сказать больше! — стояли за то, чтобы дать батракам хороший урок.

Маллоринг, хоть и отказался прислушаться к совету управляющего, считавшего, что батраков не грех и обмануть, все же прикидывал, нельзя ли дать рабочим какую-то гарантию того, что их не выгонят, не лишая при этом ни себя, ни фермеров свободы действий. Но чем больше он вдумывался в то, что произошло, тем глубже понимал, как это подрывает основное право землевладельца — знать, что хорошо для его арендаторов, лучше, чем они это знают сами.

Около четырех часов он отправился на свою ферму. Небо заволочло тучами, и поднялся довольно холодный, пронизывающий ветер. Решив воздействовать на батраков своим авторитетом, он намекнул управляющему и фермерам, что их присутствие будет лишним, и пошел к воротам в приподнятом настроении, словно перед схваткой. На чистеньком дворе в зеленоватом пруду мирно плавали утки, на стрехах сарая, красуясь, расхаживали белые голуби, и его острый хозяйский глаз подметил, что на крыше не хватает нескольких черепиц. Четыре часа!

Ага, вот кто-то идет! Бессознательно он сжал в кулаки руки, глубоко засунутые в карманы, и мысленно повторил вступительные слова своей речи. И тут он с негодованием заметил, что подошедший к нему батрак был тот самый неисправимый «законник» Гонт. Коренастый, широкоплечий человек с взлохмаченными волосами и блестящими серыми глазками поднес руку к голове, произнес обычным своим насмешливым тоном: «День добрый, сэр Джералд!» — и замер. В его глазах поблескивала издевка, не раз приводившая в смущение его противников на политических митингах. Затем в воротах появились два худых старика с похожими морщинистыми лицами и обвислыми, обкусанными усами. Они встали за спиной Гонта, дотронулись до падающей на лоб пряди и, переминаясь с ноги на ногу, искоса поглядывали друг на друга. Маллоринг ждал. Пять минут пятого! Десять минут пятого! Тогда он сказал:

— Будьте добры, скажите остальным, что я уже здесь.

Гонт ответил:

— Ежели вы дожидаетесь, чтобы народ собрался, сэр Джералд, думается мне, это все, кого вы дождетесь!

Маллоринг вспыхнул от гнева; лицо его побагровело. Ах, вот оно что! Он проделал весь этот путь с самыми лучшими намерениями, а они вот как с ним обошлись! Он пришел сюда не для того, чтобы разговаривать с этим «законником», — тот ведь явно намерен почесать язык, да еще привел с собой этих двух, чтобы они потом засвидетельствовали, как помещика приперли к стенке! Маллоринг резко спросил:

— Значит, вот какую встречу вы мне приготовили?

Гонт невозмутимо ответил:

— Пожалуй, что да, сэр Джералд.

— Видно, вы не понимаете, с кем имеете дело.

— Почему же, сэр Джералд?

Ни разу больше на них не взглянув, Маллоринг вернулся домой. В прихожей его ждал управляющий, и по лицу его было видно, что он предвидел неудачу. Маллоринг не дал сказать ему ни слова:

— Принимайте меры. Штрейкбрехеры приедут завтра около полудня. Теперь я это дело доведу до конца, Симмонс, даже если мне придется всех разогнать. Про-

верьте, будет ли наготове полиция, если батраки что-нибудь затеют. Дня через два я приеду снова.

И, не дожидаясь ответа, он прошел к себе в кабинет. Пока готовили автомобиль, он стоял у окна, чувствуя себя глубоко оскорбленным, и думал о том, что он собирался сделать, о своих добрых намерениях, думал о том, куда идет страна, в которой нельзя добиться даже того, чтобы батраки пришли и выслушали своего хозяина. Его томили обида, гнев и недоумение.

ГЛАВА XXVIII

В первые два дня этой «встряски» семья Фрилендов вкушала радость победы. Бунт удался. Один только глава семьи неодобрительно качал головой. Он, как и Недда, ничего не подозревал, и для него такое обращение с ним в чем не повинным урожаем казалось неестественным и даже бесчеловечным.

С тех пор, как он обо всем узнал, он почти не разговаривал; на его всегда ясном лбу залегли морщины. Рано утром на другой день после того, как Маллоринг вернулся в город, он отправился на соседний луг, где один из фермеров с помощью своей семьи и садовника Маллоринга сгребал сено; взяв вилы и не говоря никому ни слова, Тод принялся им помогать. Этот поступок показал его отношение к тому, что происходит, яснее, чем любая речь, и его дети наблюдали за ним в полной растерянности.

— Пусть,— сказал в конце концов Дирек.— Отец никогда не понимал и никогда не поймет, что без борьбы ничего не добьешься. Деревья, пчелы и птицы ему куда дороже людей.

— Но это не объясняет, почему он перешел на сторону врага,— ведь дело касается просто травы!

Кэрстин ответила:

— Он не перешел на сторону врага, Шейла. Ты не понимаешь отца, для него пренебрежение к земле — это святотатство. Она нас кормит, говорит он, мы на ней живем; мы не имеем права забывать, что если бы не земля, мы бы все умерли.

— Как хорошо сказано и как справедливо!—воскликнула Недда.

Шейла зло возразила:

— Может, это и верно для Франции, где растет хлеб и делают вино. А тут людей не земля кормит; они почти не едят того, что сами выращивают. Мы все едим привозную пищу и, значит, ничего такого чувствовать не можем. К тому же это просто сентиментальность, когда рядом такой произвол и с ним надо бороться!

— Твой отец вовсе не сентиментален, Шейла. То, что он чувствует, слишком для этого глубоко и неосознанно. Просто ему больно смотреть на гибель сена, и он не может сидеть сложа руки.

— Мама права,— вмешался в спор Дирек.—И это не имеет значения. Надо только, чтобы батраки не последовали его примеру. У них ведь к нему какое-то особое отношение...

Кэрстин покачала головой.

— Не бойся. Он им всегда казался чудаком!

— Ладно, я все же пойду их немножко подбодрю. Идем, Шейла?

И они куда-то отправились.

Недду они не позвали — с тех пор, как батраки подали свое требование, ее постоянно оставляли одну. Она грустно спросила:

— Что же будет дальше, тетя Кэрстин?

Та стояла на крыльце и глядела куда-то прямо перед собой — побег цветущего клематиса упал на ее тонкие черные волосы и спускался на синее полотняное платье. Она ответила, не оборачиваясь:

— Ты видела, как в дни юбилея жгли костры на каждом холме, костер за костром, до самого края земли. Вот теперь загорелся первый костер.

Недда почувствовала, как у нее сжалось сердце. Что такое эта женщина в синем? Жрица? Пророчица? И на миг девушке открылось то, что видели эти черные горящие глаза: что-то необузданное, возвышенное, немолимое, полное огня. Но сразу же душа ее возмутилась, словно ее внушением заставляли видеть что-то призрачное, словно ее вынуждали смотреть не на то, что действительно существует, а на то, чего жаждала эта женщина.

Она негромко сказала:

— Я не верю, тетя Кэрстин. Нет, я не верю. По-моему, костер должен погаснуть.

Кэрстин обернулась к ней.

— Ты похожа на своего отца,— сказала она.— Вечно во всем сомневаешься.

Недда покачала головой.

— Я не могу заставить себя видеть то, чего нет. Я этого не умею, тетя Кэрстин.

Кэрстин ничего не ответила, у нее только дрогнули брови, и она вошла в дом. А Недда осталась одна на дорожке, чувствуя себя очень несчастной и стараясь понять, что у нее на душе. Почему она не видит? Потому ли, что боится видеть, или потому, что слишком близко-рука? А может быть, она права, и видеть нечего: нет ни костров, которые вспыхивают один за другим на вершинах холмов, нет ни взлета, ни разрывов туч в небесах над землей? Она подумала: «Лондон и все большие города с их дымом и всем, что они производят... со всем тем, что мы хотим от них получить и всегда будем хотеть получать,— разве они не существуют? На каждого батрака, говорит отец, приходится не меньше пяти таких же рабов — городских рабочих. А все эти «шишки» с их богатыми домами, разговорами и желанием, чтобы все оставалось как есть,— ведь они тоже существуют! Я не верю и не могу поверить, что многое можно переменить. Ах, у меня никогда не будет видений, я не способна на несбыточные мечты!» И Недда грустно вздохнула.

В это время Дирек и Шейла объезжали на велосипедах домики батраков, чтобы поднять их дух. Последнее время они повсюду появлялись вдвоем, считая, что так они меньше рискуют стычкой с фермерами. Матери была поручена вся переписка, на них же возложены устные уговоры, личное воздействие. Когда они после полудня возвращались домой, им встретились два шарабана с первыми штрейкбрехерами. Оба экипажа остановились у ворот фермы Мэрроу, и управляющий ссадил там четверых людей вместе с их походным имуществом. Возле открытых ворот стоял фермер, косо поглядывая на своих новых помощников. Они выглядели довольно жалко, эти бедняги, которых набрали по десять фунтов за дюжину,— судя по их лицам, которые выражали полнейшее

безразличие, и по глупой ухмылке, они в жизни не видели вил и не нюхали клевера.

Молодые Фриленды медленно проехали мимо; лицо юноши было презрительно непроницаемым, лицо девушки пылало, как огонь.

— Не обращай внимания, — сказал Дирек, — мы скоро положим этому конец.

Они проехали еще милю, прежде чем он добавил:

— Нам снова придется всех обойти, только и всего.

Слова мистера Погрема: «Вы пользуетесь влиянием, молодой человек!» — были верны. В Диреке было то качество, которым обладает хороший боевой офицер: люди шли за ним, а потом спрашивали себя, за каким чертом это им понадобилось! И если говорят, что для всякого движения нет хуже вожака, чем горячий молодой душень, надо справедливости ради добавить, что без молодости, горячности и безрассудства не может быть никакого движения вообще.

Они вернулись домой к вечеру, изнемогая от усталости. В этот вечер фермеры и их жены, проклиная весь свет, сами доили коров, чистили лошадей и выполняли остальные необходимые работы. А наутро батраки, во главе с Гонтом и черноволосым великаном по фамилии Телли, снова выставили свое требование. Управляющий послал телеграмму Маллорингу. Днем его ответ: «Не уступайте ни в чем» — был сообщен Гонту, который спокойно ответил:

— Да я ничего другого от него и не ждал. Поблагодарите, пожалуйста, сэра Джералда. Мы выражаем ему свою признательность...

Ночью пошел дождь. Недда, проснувшись, услышала, как тяжелые капли стучат по жимолости и клематису, нависшим над ее открытым окном. Порывы ветра доносили запах прохладной листвы, и ей расхотелось спать. Она встала, накинула халат и подошла к окну, чтобы погрузить голову в эту ванну душистой влаги. Ночь была темная, — все небо покрылось тучами, — и все же за ними угадывался слабый отсвет луны. Листья фруктовых деревьев тоже вступили в общий хор и нежно шуршали под дождевыми каплями, время от времени слышался громкий шелест и словно тяжкий вздох; где-то ни с того ни с

сего прокричал петух. Звезд не было видно. Повсюду смыкалась мягкая как бархат мгла.

«Мир украшен живыми существами,— подумала Недда.— Деревья, цветы, травы, насекомые и мы, люди,— все это единая ткань жизни, одевающая мир. Я понимаю дядю Тода! Хоть бы дождь шел до тех пор, пока им не придется отослать этих штрейкбрехеров назад в город,— ведь сено все равно будет испорчено и не из-за чего будет спорить!» Вдруг сердце у нее забилося. Стукнула калитка. По дорожке двигалось что-то еще более темное, чем темнота. Испугавшись, но в то же время готовая кинуться в бой, она высунулась из окна и стала вглядываться вниз. Оттуда донесся легкий скрип. Открылось окно! Недда бросилась к двери. Но она не заперла ее и не позвала на помощь, потому что у нее сразу же мелькнула мысль: «А вдруг это он? Уходил, чтобы совершить какой-нибудь безумный поступок,— как тогда Трайст!» Если это так, он поднимется наверх и, по дороге в свою комнату, пройдет мимо ее комнаты. Она, затаив дыхание, чуть приоткрыла дверь. Сначала ничего не было слышно. Может, ей почудилось? А может, кто-то бесшумно шарит в комнате внизу? Но кто же придет красть у дяди Тода, когда все знают, что у него нет ничего ценного? Потом послышались тихие шаги: кто-то, сняв башмаки, украдкой поднимался по лестнице! У нее снова мелькнула мысль: «Что мне делать, если это не он?» А потом: «А что мне делать, если это он?»

Недда в отчаянии распахнула дверь, прижав руки к тому месту, откуда сердце у нее ушло в пятки. Но она догадалась, что это Дирек, еще прежде, чем он шепнул:

— Недда!

Схватив его за рукав, она втащила его в свою комнату и закрыла дверь. Он был мокрый насквозь, с него просто текло, такой мокрый, что, нечаянно прикоснувшись к нему, она сразу почувствовала влагу сквозь тонкий халатик.

— Где ты был? Что ты делал? О Дирек!

В полутьме она различала овал его лица, его зубы и белки глаз.

— Перерезал веревки их палаток под дождем! Ура! У нее сразу отлегло от сердца; она даже ахнула от

облегчения и прижалась лбом к его куртке. Потом его мокрые руки сомкнулись вокруг нее, его мокрая одежда прильнула к ее халатику, и они закружились в дикой, воинственной пляске. Затем он внезапно остановился, упал на колени, прижался к ней лицом и прошептал:

— Какая я скотина, какая я скотина! Всю тебя вымо-
чил! Бедненькая ты моя!

Недда нагнулась к нему; ее волосы упали на его мокрую голову, руки задрожали на его плечах, ей казалось, что ее сердце вот-вот растает совсем — так ей хотелось его высушить, согреть своим телом. В ответ он крепко ее обнял, и его мокрые ладони скользнули по ее спине. Потом, отпрянув, он прошептал:

— Ах, Недда, Недда...— И выбежал из комнаты, как темный призрак. Забыв, что и она промокла с головы до ног, Недда так и осталась стоять с зажмуренными глазами, полуоткрыв губы и покачиваясь, как пьяная; потом, вытянув руки, она обхватила себя и замерла...

Утром, когда она спустилась к завтраку, Дирека уже не было дома и дяди Тода тоже, а Кэрстин что-то писала, сидя за бюро. Шейла сумрачно с ней поздоровалась и тут же ушла. Недда быстро выпила кофе, съела яйцо и кусок хлеба с медом; у нее было очень тяжело на сердце. На столе лежала развернутая газета, и, лениво проглядывая ее, она наткнулась на следующую заметку:

«Беспорядки, помешавшие уборке сена в вустерширском имении сэра Джералда Маллоринга, вынужденного вызвать штрейкбрехеров, до сих пор не прекращаются. В этих краях действует чья-то безответственная, злая воля. Трудно понять и причину недавно совершенного там поджога и теперешний взрыв недовольства. Известно, что экономическое положение батраков в этом имении скорее выше, чем ниже среднего».

Она сразу же подумала: «Злая воля! Какая мерзость!» Значит, никому не известна истинная подоплека всего этого дела, никто не знает о выселении Трайста и о выселении, грозящем Гонту. Не знают, что все это носит глубоко принципиальный характер и что беспорядки начались в знак протеста против мелочной тирании помещиков во всей стране? Во имя свободы! Во имя того, чтобы с человеком не обращались так, будто у него нет ни своего ума, ни души,— неужели люди этого так и не

узнают? Если им позволено будет думать, что все это — злое озорство, что Дирек просто-напросто любит устраивать смуту, — это будет ужасно! Кто-то должен об этом написать, чтобы люди знали правду. Но кто? Отец? Папа решит, что это слишком близко его касается, тут ведь замешаны его родственники. Мистер Каскот! В его доме живет Уилмет Гонт. Да-да! Ведь мистер Каскот сказал ей, что всегда будет рад ей помочь. А почему бы нет? И мысль, что наконец-то и она принесет какую-то пользу, привела ее в восторг. Если она попросит у Шейлы велосипед, она успеет на девятичасовой лондонский поезд, увидится с мистером Каскотом, заставит его что-то сделать, может быть, даже привезет его сюда! Она проверила содержимое своего кошелька. Да, денег у нее хватит. Пока она ничего никому не скажет — ведь мистер Каскот может отказаться. В глубине души Недда верила, что если какая-нибудь настоящая газета встанет на сторону батраков, положение Дирека будет менее опасным; его как бы официально признают, и это, в свою очередь, заставит его вести себя осторожнее и осмотрительнее. Трудно сказать, откуда у нее взялась эта вера в узаконивающую силу прессы; по-видимому, редко читая газеты, она все еще разделяла их собственное мнение о себе и верила, что когда они пишут: «Мы сделаем то-то» или «Мы должны сделать то-то», — они действительно выступают от лица всей страны, от имени сорока пяти миллионов людей, которые намерены что-то совершить. На самом же деле, как это знают все читатели старше Недды, газеты выступают, и к тому же не слишком решительно, от лица какого-то одного, никому не известного господина, которому недосуг делать что бы то ни было. Недда верила, что пресса — могучая сила, она ведь постоянно об этом слышала, но ей до сих пор еще не приходило в голову подумать, в чем эта сила заключается. Не то она поняла бы, что хотя пресса и пользуется определенной монополией пропаганды своих мнений и обладает тем корпоративным духом, который заставляет полицейских горой стоять друг за друга, она тем не менее полна самых крайних противоречий и при всей своей трезвости, совершенно бесплодна; поэтому деятельность ее практически сводится к распространению новостей (семи из десяти этих новостей лучше было бы сгинуть во

мраке неизвестности!) и «разжиганию низменных страстей». Нельзя, конечно, сказать, что пресса это сознает, да и вряд ли ей кто-нибудь это скажет, ведь пресса — могучая сила!

Недда успела на поезд. Она вся горела — щеки от быстрой езды, душа от сознания своей отваги и от радости, что наконец-то и она может что-то сделать.

Соседями ее по купе третьего класса был какой-то симпатичный человек, очевидно, вернувшийся из плаванья матрос, и худая, высохшая деревенская женщина в черном, очевидно, его старенькая мать. Они сидели друг против друга. Сын глядел на старушку сияющими глазами, а она ему рассказывала:

— Вот я и говорю, говорю я: «Что?» — а он мне говорит: «Да, — говорит. — Я же это самое и говорю...»

Недда подумала: «Какая прелесть! Да и сын очень милый. Я люблю простых людей!»

Спутники ее вышли на первой остановке, и дальше она ехала одна. Выйдя на вокзале Пэддингтон, Недда взяла такси и поехала в Грейс-Инн. Но теперь, когда цель ее была так близка, она вдруг очень встревожилась. Разве такой занятый человек, как мистер Каскот, сможет уделить ей столько времени и поехать так далеко? Но если она хотя бы объяснит ему, что там происходит, и то будет хорошо; он тогда сможет опровергнуть мнение того человека в другой газете! Как это замечательно — иметь возможность писать каждый день в газете, чтобы тебя читали тысячи людей! Такая жизнь дает ощущение, что ты выполняешь священный долг. Иметь возможность авторитетно выражать свое мнение, навязывая его стольким людям, то есть убеждая в своей правоте такое множество людей! Какое должно быть у человека чувство ответственности — он ведь просто вынужден вести себя благородно, даже если он по натуре и не очень благороден! Да, профессия эта замечательная, ее достойны только лучшие люди. Кроме мистера Каскота, она была знакома только с тремя молодыми журналистами, которые работали в еженедельниках.

На ее несмелый звонок дверь отворила широколицая девушка, кокетливо одетая в черное платье и передник; яркий цвет лица, мясистый рот и плутовские глаза сразу говорили, что она не дитя Лондона. Недда мгновенно со-

образила, что это та самая девушка, за которую она тогда просила мистера Каскота. Она спросила:

— Вы Уилмет Гонт?

Девушка заулыбалась так, что у нее совсем не стало видно глаз:

— Да, мисс.

— Я Недда Фриленд, двоюродная сестра мисс Шейлы. Я приехала из Джойфилдса. Как вы живете?

— Спасибо, мисс, хорошо. Тут не соскучишься.

Недда подумала: «Вот так о ней и рассказывал Дирек! От нее прямо пышет жизнерадостностью!» И она с сомнением поглядела на девушку, — строгое черное платье и передник, казалось, были для нее ненадежной уздой.

— Мистер Каскот дома?

— Нет, мисс, он, верно, у себя в газете. Фладгейт-стрит, дом двести пять.

«Ах, — тоскливо подумала Недда, — я ни за что не решусь пойти туда!» И снова взглянув на девушку, — плутоватые глаза-щелочки, глубоко запрятанные между скулами и лбом, казалось, поддразнивали ее: «Ну, будто я не знаю про вас и мистера Дирека!» — Недда с огорчением ушла. Сначала она решила поехать домой в Хэмпстед, потом — обратно на вокзал, но вдруг подумала: «А почему бы мне, в сущности, не попытаться? Никто меня не съест».

Она добралась до Фладгейт-стрит в обеденный час, поэтому редакция большой вечерней газеты показалась ей довольно пустынной. Недда предъявила визитную карточку и, переходя из рук в руки, попала наконец в небольшую, мрачную комнату, где какая-то молодая женщина быстро стучала на пишущей машинке. Недде очень хотелось спросить, нравится ли ей это занятие, но она не решилась. Вся обстановка, казалось, была насыщена какой-то деловитой важностью, словно все вокруг нее беспрерывно твердило: «Да, мы могучая сила!» Сев у окна, выходящего на улицу, она принялась ждать. На здании напротив можно было прочесть название другой знаменитой вечерней газеты. Да ведь это та самая газета, которую она читала за завтраком! Номер с заметкой она купила потом на вокзале. Направление этой газеты, как она знала, было диаметрально противополож-

но направлению газеты мистера Каскота. Но и в здании напротив, несомненно, царит такая же важная, деловая атмосфера; если бы отворить окна обоих домов, над головами прохожих, наверное, замелькали бы дымки мощных залпов, словно два старинных фрегата встретились в зеленом море.

И тут у Недды впервые блеснуло понимание того комического равнодействия сил, которое существует не только на Фладгейт-стрит, но и во всех человеческих делах. Они палят, палят, но только дымки выстрелов клубятся в воздухе! Вот, наверно, почему папа их всегда зовет: «Эти субъекты!» Но едва она начала задумываться над этим вопросом, как в одной из соседних комнат резко зазвонил колокольчик и молодая женщина чуть было не упала на пишущую машинку. Вновь обретя равновесие, она встала и поспешно вышла. Дверь осталась открытой, и Недда увидела большую приятную комнату, стены в ней были сплошь увешаны изображениями людей в таких позах, что Недда сразу узнала в них государственных деятелей; посредине, у стола спиной к ней на вертящемся стуле сидел мистер Каскот, пол вокруг него усеивали исписанные листы, словно опавшие листья — поверхность пруда.

Недда услышала его приглушенный, но все равно приятный голос. Он торопливо сказал:

— Возьмите их, возьмите их, мисс Мейн! Начинайте с них, начинайте сразу! Ах, черт, который час?

Голос молодой женщины ответил:

— Половина второго, мистер Каскот!

Тут мистер Каскот издал горловой звук, похожий на молитву какому-то божеству с просьбой чего-то не прозевать. Молодая женщина согнулась и стала собирать с пола листы; поверх ее красивой спины Недде отлично был виден мистер Каскот; он поднял коричневое плечо, словно от чего-то оборонялся, а одна из его худых рук то и дело вскидывалась, отбрасывая назад каштановые волосы; перо, зажатое в другой, яростно скрипело по бумаге. Сердце Недды упало: ясно, что он «всыпает им по первое число» и ему не до нее. Невольно она взглянула на окно его комнаты: вылетают ли из него дымки залпов? Но окно было закрыто. Молодая женщина поднялась и вернулась к себе, складывая листы по порядку;

когда дверь за ней затворялась, со стороны вертящегося стула донесся вопль: имя божье соединялось в нем с названием места, предназначенного для дураков. Когда молодая женщина снова уселась за машинку, Недда встала и спросила ее:

— Вы ему передали мою визитную карточку?

Молодая женщина взглянула на нее с удивлением, словно Недда нарушила какие-то правила этикета.

— Нет.

— Тогда, пожалуйста, не надо. Я вижу, как он занят. Мне не стоит ждать.

Молодая женщина рассеянно вложила в машинку чистый лист бумаги.

— Хорошо,— сказала она.— До свидания!

И не успела Недда дойти до двери, как машинка застрекотала снова, делая мысли мистера Каскота удобочитаемыми.

«Глупо, что я пришла,— подумала Недда.— Он, видно, ужасно много работает. Бедный! Но он так чудесно говорит!» Она уныло побрела по нескончаемым коридорам и снова очутилась на Фладгейт-стрит. Шла она нахмурившись, и какой-то газетчик сказал ей, когда она проходила мимо:

— Смотрите, барышня, не дай бог, еще улыбнетесь!

Увидев, что он продает газету мистера Каскота, она поискала монетку, чтобы купить ее, и, вытаскивая деньги, стала разглядывать газетчика, почти целиком закрытого буквами на темно-рыжей доске:

ВЕЛИКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ ПЛАН

НАДЕЖДА МИЛЛИОНОВ

Над этой надписью виднелось лицо, достаточно бескровное, чтобы не быть цинготным, с тем философским выражением, которое гласило: «Уйди, надежда роковая!» Человек этот был типичным уличным стойком. И Недда смутно постигла великую социальную истину: «Запах половины булки ничем не лучше полного отсутствия хлеба!» А не так ли поступает Дирек с батраками — не дает ли он им вдохнуть слабый запах свободы, которой вообще нет? Ей вдруг мучительно захотелось увидеть отца. Он, только он может помочь, потому что только он любит ее достаточно сильно, чтобы понять, как она растеряна

и несчастна, как она испугана. И, повернув к метро, она села в поезд, идущий в Хемпстед...

Шел третий час, и Феликс собирался совершить мюшон. Он уехал из Бекета на другой день после неожиданного переезда Недды в Джойфилдс и с тех пор делал все, чтобы забыть дело Трайста, так болезненно повлиявшее и на ее жизнь и на его собственную, — он ведь все равно ничем не мог тут помочь! Правда, забыть это до конца ему все же не удавалось.

Флора, сама человек довольно рассеянный, часто попрекала его в эти дни, что он выполняет даже простые домашние дела с отсутствующим видом; Алан же то и дело ему говорил:

— Да очнись же, отец!

После того как Недду поглотил маленький водоворот Джойфилдса, солнце совсем перестало светить для Феликса. И лихорадочный труд над «Последним Пахарем» не принес ожидаемых результатов. Поэтому сердце его дрогнуло под песочным жилетом, когда он увидел, что в калитку входит Недда. Ей, наверно, что-нибудь от него нужно! Вот до какого самоотречения он дошел в своей любви к дочери. А если ей что-нибудь от него нужно, значит, там снова неприятности! И даже когда она с жаром обняла его и сказала: «Ах, папочка, до чего же хорошо увидеться с тобой!», — это только укрепило его подозрения, хотя деликатность и не позволила ему спросить, чего она от него хочет. Он разговаривал с ней о том, какое сегодня небо, и на другие посторонние темы, думал, какая она хорошенькая, и ожидал нового подтверждения того, что молодости принадлежит первое место, а старик отец должен отныне играть вторую скрипку. Из записки Стенли он уже знал о забастовке батраков. Эта новость почему-то его даже обрадовала. Как бы там ни было, но забастовка — законная форма политического протеста, и весть о ней не мешала ему по-прежнему убеждать себя, что все это, в сущности, чепуха. Однако он не читал в газетах о штрейкбрекерах, а когда она показала ему заметку, рассказала о своем посещении мистера Каскота и о том, как она хотела увезти его с собой, чтобы в истинном свете показать ему то, что там творится, Феликс, помолчав, сказал ей как-то даже робко:

— Может, и я на что-нибудь пригожусь, детка?

Она покраснела, ничего не говоря, сжала ему руку, и Феликс понял, что он ей нужен.

Он уложил саквояж, оставил Флоре записку и спустился к Недде в прихожую.

Был уже восьмой час, когда они вышли из поезда и, наняв извозчика, медленно поехали в Джойфилдс под небом, затянутым дождевыми тучами.

ГЛАВА XXIX

Когда Феликс и Недда добрались до дома Тода, там не было ни души, кроме трех малышей Трайста, тихонько занятых каким-то своим делом, мало похожим на обычную детскую возню.

— Где миссис Фриленд, Бидди?

— Мы не знаем, ее позвал какой-то человек, и она ушла.

— А мисс Шейла?

— Она ушла еще утром. И мистер Фриленд тоже ушел.

— И собака ушла,— добавила Сюзи.

— Тогда давайте пить чай. Помогите мне накрыть на стол.

— Хорошо.

С помощью маленькой мамы и скорее мешавших им Билли и Сюзи Недда заварила чай и накрыла на стол; на душе у нее было тревожно. Ее беспокоило отсутствие тети, редко покидавшей дом, и, пока Феликс отдыхал, она несколько раз под различными предлогами выбегала к калитке.

Выбежав в третий раз, она увидела, что от церкви к дороге движется несколько фигур,— темные силуэты людей, которые что-то несут, окруженные другими людьми. Тяжелые тучи совсем заволокли небо и скрыли солнце; стало сумрачно, очертания деревьев потемнели, и только когда процессия приблизилась и до нее оставалось шагов двести, Недда увидела, что это идут полицейские. Но рядом с тем, что они несли, она разглядела синее платье Кэрстин. Что же они несут? Недда кинулась вниз по ступенькам, но сразу остановилась. Не надо! Если это он, его принесут сюда. Она в растерянности броси-

лась назад. Теперь ей уже было видно, что на куске плетня несут какое-то тело. Это он!

— Папа! Скорей!

Выбежав на ее крик, перепуганный Феликс увидел, что она стоит посреди дорожки, ломая руки, но она тут же бросилась назад к калитке. Процессия уже приближалась к дому. Недда увидела, как люди взбираются по ступенькам; те, кто шел сзади, поднимали руки повыше, чтобы выровнять носилки. Дирек лежал на спине; лоб и голова у него были замотаны мокрым синим полотном, оторванным от материнской юбки; лицо у него было очень бледное. Лежал он совершенно неподвижно; костюм был весь выпачкан глиной. Недда в ужасе вцепилась в рукав Кэрстин.

— Что с ним?

— Сотрясение мозга.

Спокойствие этой женщины в синем придавало Недде мужество, и она тихонько попросила:

— Положите его ко мне в комнату, тетя Кэрстин, там больше воздуха.

Она бросилась наверх, широко распахнула дверь, скинула с подушки свою ночную рубашку и приготовила постель, налила в таз холодной воды и опрыскала комнату одеколоном. Потом она замерла. Может быть, они его сюда не принесут? Нет, вот они поднимаются по лестнице. Дирека внесли и положили на кровать. Она услышала, как один из полицейских сказал:

— Доктор сейчас придет, сударыня. Пусть пока полежит спокойно.

Потом они с его матерью остались одни.

— Расшнуруй ему башмаки,— попросила Кэрстин.

Пальцы у Недды дрожали, и она злилась на свою неловкость, снимая грязные башмаки. Потом тетя мягко сказала:

— Поддержи, дорогая, я его сейчас раздену.

Она поддерживала его, прислонив к своей груди, и испытывала какую-то странную радость, что ей это позволяют. Только когда Кэрстин сняла стеснявшую его одежду и они опустили безжизненное тело на кровать, она решилась шепотом спросить:

— А он долго еще будет?..

Кэрстин покачала головой и, обняв ее, шепнула:

— Мужайся, Недда!

Девушка почувствовала, что ее захлестнула горячая волна любви и страха. Она подавила эти чувства и тихонько пообещала:

— Хорошо. Только позвольте мне за ним ухаживать!

Кэрстин кивнула. Они сели рядом и стали ждать.

Следующие четверть часа показались ей самыми длинными в ее жизни. Видеть его живым и в то же время как бы неживым, без сознания, которое, быть может, никогда не вернется! Странно, как она замечала все, что творится вокруг, несмотря на то, что смотрела только на его лицо. Она знала, что за окном опять идет дождь; слышала его шелест и стук капель, чувствовала, как его душистый, прохладный запах пробивается сквозь запах одеколона, которым она опрыскала комнату. На руке Кэрстин, когда та меняла компресс и широкий синий рукав соскальзывал на локоть, она заметила синие жилки, заметила белизну этой руки и ее округлость. Близко от нее, на самом краю постели, лежала ступня Дирека. Недда украдкой сунула руку под одеяло. Ступня на ощупь была совсем холодная, и Недда крепко ее сжала. Если бы ее горячая рука могла влить в него жизнь! Ей было слышно тиканье маленьких дорожных часов, видны мухи, кружившие высоко под белым потолком; они кидались друг на друга, делая в воздухе сложные зигзаги. В ней проснулось чувство, которого она никогда еще не испытывала, оно наполнило ее всю, в глазах ее, в лице, даже в позе молодого тела появилась новая мягкость, материнская нежность, в ней проснулось желание поцеловать больное место, выходить, вылечить, вынянчить и утешить свое дитя. Она не сводила глаз с этих белых округлых рук в синих рукавах,— как уверенно и точно они двигаются, как мягко, бесшумно и быстро меняют холодные компрессы на темной голове! Но вот под повязкой она вдруг увидела его глаза, и ей чуть не стало дурно. Глаза у него были полуоткрыты, словно у него не хватало сил даже их закрыть! Недда прикусила губу, чтобы не закричать. Какой ужас,— ведь они совсем стеклянные! Почему до сих пор нет врача? В голове у нее снова и снова звучала та же молитва: «Господи, не дай ему умереть! Только не дай ему умереть!»

Дрозды во фруктовом саду затягивали вечернюю

песню. Как ужасно, что они поют, как будто ничего не случилось! А ведь если он умрет, для нее погаснет свет, как он погас в его бедных глазах! И все равно на земле по-прежнему будет так, будто ничего не случилось! Как же это возможно? Нет, этого не может быть, ведь она тоже тогда умрет! Недда увидела, что Кэрстин быстро повернула голову, словно испуганный зверек, — по лестнице кто-то поднимался! Это был врач, молодой человек в гетрах, он на ходу вытирал мокрое лицо. Но ведь он еще совсем мальчишка! Нет, у него на висках поблескивает седина! Что он им скажет? Недда сидела, крепко сжав на коленях руки, неподвижная, как маленький притаившийся сфинкс. Бесконечный осмотр, вопросы и ответы! Никогда не курил, никогда не пил, никогда не болел! Удар? Где, здесь? Ага! Да, здесь. Сотрясение мозга. Потом врач долго вглядывался в глаза, оттянув веки большим и указательным пальцами. И наконец (как у него хватает духа говорить громко! Но, может быть, это к лучшему — он не стал бы так говорить, если бы Дирек был при смерти!)... Волосы остричь покороче... лед... следить, не спуская глаз!.. Сделать то-то и то-то, если он придет в себя. Ничем больше помочь нельзя. А в заключение, слава богу, сказал:

— Но особенно бояться не надо. Все кончится благополучно.

Недда не могла сдержать легкого вздоха, вырвавшегося сквозь сжатые губы.

Доктор посмотрел на нее. Глаза у него были добрые.

— Сестра?

— Двоюродная.

— А-а... Ну, так я вернусь к себе и сразу же пришлю вам лед.

Еще какие-то разговоры за дверью. Недда, оставшись наедине со своим любимым, потянулась, не вставая с колен, и поцеловала его в губы. Они не были такими холодными, как ноги, и Недда впервые почувствовала надежду. Следить за ним, не спуская глаз, она будет, не сомневайтесь! Но как это произошло? И где Шейла? А дядя Тод?

Кэрстин вернулась и погладила ее по плечу. В сарае фермы Мэрроу была драка. Шейлу арестовали. Дирек прыгнул, чтобы ее освободить, и ударился головой о то-

чильный камень. Дядя отправился туда, куда увел Шейлу. Недда и Кэрстин будут дежурить по очереди. Сейчас Недде надо пойти и чего-нибудь поесть; ее дежурство с восьми до полуночи.

Помня о своем решении сохранять спокойствие, Недда покорно вышла из комнаты. Полиция ушла. Маленькая мама укладывала спать малышей, в кухне Феликс готовил ужин. Он заставил Недду сесть и стал ее кормить, следя, как тигр, за тем, чтобы она ела, — раньше одна только Флора страдала от этой его настойчивости, но вид у него был такой встревоженный, несчастный и трогательный, что Недда заставляла себя глотать пищу, которая с трудом проходила через ее сухое, сдавленное горло. Феликс то и дело подходил к ней, чтобы погладить ее по плечу или пощупать лоб.

— Ничего страшного нет, деточка, не бойся. Сотрясение мозга часто длится два дня.

Два дня видеть эти мертвые глаза! Слова Феликса не принесли ей того утешения, какого он желал бы, но она понимала, что отец старается хоть чем-нибудь ей помочь. Она вдруг сообразила, что ему здесь негде спать. Надо устроить его в комнате Дирека. Нет, оказывается, в той комнате будет спать она между дежурствами. Феликсу придется просидеть всю ночь в кухне. Он давно об этом мечтал, уж много лет, и наконец-то мечта его сбылась. Такой прекрасный случай: «Нет мамы, понимаешь, детка, и некому заставлять меня спать, когда не хочется». И, глядя на то, как он ей улыбается, Недда подумала: «Он совсем, как бабушка, — лучше всего проявляет себя в беде. Ах, если бы я была такая, как они!»

Лед привезли на мотоцикле как раз перед тем, как началось ее дежурство. Теперь, когда у нее появилось какое-то реальное дело, ей стало легче. Какими робкими и смиренными становятся мысли у изголовья больного, особенно, когда больной лежит без сознания, отгороженный от сиделки этим подобием смерти! Однако того, кто любит, все же согревает чувство, что он наедине с любимым и делает все, что в его силах, и не расстается сердцем с его блуждающим духом. Недде, не сводившей глаз с неподвижного лица Дирека, порою казалось, что дух этот тут, рядом с ней. И в эти часы ожидания она, казалось, заглядывала в самые сокровенные

тайники его души, словно глядела в глубь потока и видела пятнистый, будто шкура леопарда, песок на дне и темные тени водорослей, чуть-чуть освещенные солнечным лучом. Она еще никогда так ясно не понимала его гордыню, его смелость и нетерпимость, его сдержанность и угловатую, неохотно прорывающуюся нежность. У нее вдруг появилось странное, пугающее ощущение, что когда-то, в прежней жизни, она уже видела это мертвое лицо на поле боя, хмуро поднятое к звездному небу. Какая чепуха, переселения душ не бывает! А может, это—предчувствие того, что ей когда-нибудь суждено увидеть?

В половине десятого стало смеркаться, и она зажгла возле себя две свечи в высоких чугунных подсвечниках. Свечи горели ровно, двумя язычками желтого пламени, медленно побеждая уходящие сумерки; их мягкое сияние наполнило комнату живыми, теплыми тенями, а ночь за окном стала еще черней и беспросветней. Два-три раза входила Кэрстин, смотрела на сына, спрашивала, не остаться ли ей, и, увидев, что Недда отрицательно качает головой, снова выходила. В одиннадцать часов, когда Недда меняла на голове Дирека лед, глаза у него все еще были тусклые, и на мгновение ее охватило отчаяние. Ей казалось, что он никогда не придет в себя, что в комнате уже воцарилась смерть, что она в пламени свечей, в тиканье часов, в темной, дождливой ночи и в ее сердце. Неужели он от нее уйдет, прежде чем она стала его женой? Уйдет? Куда? Она упала на колени и закрыла глаза руками. Какой смысл его стеречь, если он никогда не вернется? Прошло долгое время, ей казалось — часы, в ней все больше и больше крепла уверенность, что, пока она его сторожит, ему не станет лучше. И, спрятав лицо, она отчаянно боролась со своим малодушием. Если что-нибудь случится, значит, так суждено! Нечего себя обманывать. Она отняла руки от лица. Глаза! Что это, неужели в них появился свет? Неужели правда? Они видят, видят! И губы у него чуть-чуть шевелятся. Ее сразу охватил такой восторг, что она и сама не помнила, как совладала с ним и осталась стоять на коленях возле больного, касаясь его рук. Но все, что она чувствовала, светилось в ее глазах и звало к себе его дух, мучительно пробивавшийся из глубин его существа. Борьба длилась долго, потом он улыбнулся. Слабее этой улыбки нельзя

было ничего вообразить, но по щекам Недды покатались слезы и закапали на его руки. Потом, сделав усилие, на которое она не считала себя способной, и победив обуравшее ее волнение, Недда стойчески вернулась на свое место у его ног, чтобы следить за ним и его не волновать. На губах его все еще была чуть приметная улыбка, а открытые глаза все темнели и темнели от вернувшегося в них сознания.

Так их и нашла в полночь Кэрстин.

ГЛАВА XXX

Коротать ночные часы Феликсу сперва помогали воспоминания, а потом Кэрстин.

— Больше всего меня беспокоит Тод,— сказала она.— Я знаю этот взгляд, который был у него, когда он уходил с фермы Мэрроу. Если они будут плохо обращаться с Шейлой, он может натворить бог знает чего. Если бы только у нее хватило ума не толкать полицейских на грубость!

— В этом, наверное, можно не сомневаться...— пробормотал Феликс.

— Да, если она поймет, в каком он состоянии. А она, боюсь, этого не заметит. Ведь даже я видела его таким всего три раза. Тод — мягкий человек, и гнев медленно накапливается в его душе, но уж когда он вырывается наружу, вам становится страшно. Если он сталкивается с жестокостью, он впадает в настоящее бешенство. Однажды он чуть не убил человека — хорошо, что я успела вмешаться. В такие минуты он сам не сознает, что делает. Я хотела бы... я так хотела бы, чтобы он был уже дома. Как жаль, что нельзя видеть на расстоянии и узнать, что с ним...

Глядя на ее темные, пристально устремленные куда-то глаза, Феликс подумал:

«Ну, если ты не видишь на расстоянии, кто же увидит?»

Он узнал от нее, как произошла беда.

Рано утром Дирек собрал двадцать самых сильных батраков и повел их по фермам, чтобы помешать штрейк-

брехерам работать. Несколько раз завязывались драки, и над штрейкбрехерами неизменно одерживали верх. Дирек сам дрался трижды. Днем появилась полиция, и батраки вместе с Диреком и присоединившейся к ним Шейлой скрылись в сарае на ферме Мэрроу, заперлись там и стали забрасывать полицейских кормовой свеклой, когда те попытались взломать дверь. Батраки один за другим тихонько выбирались из сарая по веревке, спущенной из слухового окна в задней стене, но едва успели опустить на землю Шейлу, как там появились полицейские. Дирек, оставшийся в сарае последним, чтобы прикрыть отступление, кидая свеклу, увидел, что полицейские схватили Шейлу, и прыгнул с высоты двадцати футов; падая, он ушиб голову о точильный камень. В ту минуту, когда полицейские уводили Шейлу и двух батраков, появился Тод с собакой и пошел с полицейскими. Вот тогда Кэрстин и поймала этот его взгляд.

Феликс, никогда не выдавший своего великана брата в припадке бешенства, ничем не мог утешить невестку. У него не хватило духа и добавить к рассказу бедной женщины плоды своих раздумий: «Вот видите, что наделала ваша закваска. Вот вам результат вашей проповеди насилия!» Наоборот, ему хотелось ее успокоить; она показалась ему такой одинокой и, несмотря на весь свой стоицизм, такой растерянной и грустной. Ему было мучительно жаль и Тода. Что бы он сам чувствовал на его месте, шагая рядом с полицейскими, которые тащат за руки Недду! Но человеческая душа полна противоречий — именно в эту минуту все в нем восстало против того, чтобы его маленькая дочка породнилась с этой семьей одержимых. Теперь в нем говорили не только обида и ревность, но и страх перед опасностью, над которой он прежде только посмеивался.

Когда Кэрстин оставила его, чтобы снова подняться наверх, Феликс остался наедине с темной ночью. Как всегда в предрассветный час, жизненные силы убывали, а страхи и сомнения становились ощутимее; они наступали на Феликса из купы яблонь, откуда доносилась музыка дождевых капель. Но в мыслях его пока было лишь одно смятение, ни к каким выводам он еще не пришел. Да и что можно было решить, пока мальчик лежит наверху между жизнью и смертью, а судьба Тода и Шейлы

неизвестна! В комнате стало холодно; Феликс пододвинулся к печке, где еще тлели дрова и под серой золой краснели угли, издавая смолистый запах. Он пригнулся, раздувая огонь мехами, и услышал гихие шаги; за его спиной стояла Недда, лицо ее сияло.

Однако, сочувствуя ее радости, Феликс все же подумал: «Кто знает, может быть, для тебя было бы лучше, если бы он так и не вернулся из небытия!»

Она присела рядом.

— Дай я с тобой посижу, папа. Тут так приятно пахнет.

— Да, приятно, но тебе надо поспать.

— По-моему, мне никогда больше не захочется спать.

И, почувствовав, как она счастлива, Феликс сам оттаял. Что может быть заразительнее радости? Они долго сидели и вели задушевный разговор — первый с той роковой поездки в Бекет. Они говорили о том, что счастье человеку приносят только любовь, горы, произведения искусства и жизнь для других. Ну еще, пожалуй, хороший запах или когда лежишь на спине и смотришь сквозь ветви деревьев на небо, конечно, и чай, и солнце, цветы, здоровая усталость, ну, и, безусловно, море! Они говорили и о том, что в тяжелые минуты человек невольно начинает молиться — но кому? Разве не чему-то, заключенному в нем самом? Какой смысл молиться великой, таинственной силе, которая одно сотворила капустой, а другое — королем? Ведь эта сила вряд ли так слабохарактерна, чтобы внимать твоим молитвам. Постепенно их разговор стал прерывистым, они то и дело умолкали; наконец наступила долгая пауза, и Недда, клявшаяся, что ей больше никогда не захочется спать, крепко уснула.

Феликс любовался длинными темными ресницами, упавшими на щеки, тихим дыханием, медленно поднимавшим грудь, трогательным выражением доброты и доверия на молодом лице, которое стало наконец спокойным после таких мук, видел тень усталости у нее под глазами, дрожь полуоткрытых губ. И неслышно поднявшись, он нашел плед и осторожно закутал в него Недду. Она, почувствовав это во сне, пошевелилась, улыбнулась ему и тут же заснула снова. Феликс подумал: «Бедная моя девочка, как она устала!» Его охватило страстное желание уберечь ее от бед и горя.

В четыре часа утра в кухню бесшумно вошла Кэрстин и шепнула:

— Она взяла с меня слово, что я ее разбужу. Какая она хорошенькая во сне!

— Да,— сказал Феликс,— и хорошенькая и хорошая.

Недда подняла голову, поглядела на Кэрстин, и ее лицо осветилось радостной улыбкой.

— Уже пора? Как чудесно!

И прежде чем оба они успели вымолвить хоть слово, она убежала наверх.

— Я никогда не видела, чтобы девушка в ее годы была так влюблена,— заметила Кэрстин.

— Она так влюблена, что на это даже больно глядеть,— отозвался Феликс.

— Но Дирек не уступит ей в верности.

— Может быть, но он заставит ее страдать.

— Когда женщина любит, она всегда страдает.

Лицо Кэрстин осунулось, под глазами легла синева; вид у нее был очень усталый. Когда она ушла, чтобы немножко поспать, Феликс подкинул дров в огонь и поставил чайник, собираясь заварить себе кофе. Настало утро, ясное, сверкающее после дождя, душистое и звенящее от пения птиц. Что может быть прекраснее сияющего раннего утра — этого светлого росистого чуда? В эти часы, когда кажется, будто все звезды со всех небес упали на траву, весь мир одет покровом юности и красоты. Вдруг в ладонь Феликса уткнулся чей-то холодный нос, и он увидел собаку Тода. Шерсть у пса была мокрая, он едва шевелил хвостом с белым кончиком, а темно-желтые глаза спрашивали, чем намерен Феликс его покормить. Тут в кухню вошел Тод. Выражение лица у него было какое-то дикое и отсутствующее, как бывает у людей, поглощенных несчастьем, которое происходит где-то вдали. Его спутанные волосы потеряли обычный блеск; глаза совсем провалились, он был с головы до ног забрызган грязью и промок насквозь. Тод подошел к очагу.

— Ну как дела, старина? — с тревогой спросил Феликс. Тод поглядел на него, но не сказал ни слова.

— Расскажи же,— попросил Феликс.

— Ее заперли,— сообщил Тод каким-то не своим голосом.— А я ничего с ними не сделал.

— И слава богу!

— А должен был.

Феликс взял брата под руку.

— Они выворачивали ей руки; один из них толкал ее в спину. Не понимаю. Как же я их не избил? Не понимаю.

— А я понимаю. Они ведь представители закона. Если бы они были просто людьми, ты не задумался бы ни на минуту.

— Не понимаю,— повторил Тод.— А потом я все ходил.

Феликс погладил его по плечу.

— Ступай наверх, старина. Кэрстин беспокоится.

Тод сел и снял сапоги.

— Не понимаю,— сказал он опять. Потом, не говоря больше ни слова и даже не взглянув на Феликса, вышел из кухни и стал подниматься по лестнице.

Феликс подумал: «Бедная Кэрстин! Но что поделаешь, они ведь все тут странные, один к одному! Как бы уберечь от них Недду?»

Мучаясь этим вопросом, он вышел в сад. Трава была совершенно мокрая, поэтому он спустился на дорогу. Пара лесных голубей о чем-то тихо ворковала — самый характерный звук летнего дня; ветра не было, и загудели мухи. Очистившийся от пыли воздух был напоен запахом сена.

Что же теперь будет с этими беднягами батраками? Их непременно уволят. Феликс вдруг почувствовал отвращение — о этот мир, где люди держатся за то, что у них есть, и хватают все, что могут схватить! Мир, где люди видят все так пристрастно; мир, где царят сила и коварство, борьба и первобытные страсти, но где есть и столько прекрасного — терпение, стойкость, героизм; и все же душа человеческая еще так невыразимо жестока!

Он очень устал, но не хотел садиться на мокрую траву и продолжал идти. Время от времени ему встречался батрак, который брел на работу; но на протяжении нескольких миль их попало ему на глаза очень немного, и все они хмуро молчали.

«Неужели это те, кто так любил свистеть? — думал Феликс.— Неужели это те самые веселые пахари? Или это всегда было только фантазией писателей? Но, право

же, если они могут молчать в такое утро, значит, они вообще онемели!»

Он направился к перелазу и зашагал по тропинке в лесок. Запах листьев и древесного сока, пестрые зайчики от солнечных лучей — все это утреннее сияние и прелесть поразили его с такой силой, что он чуть не закричал. Как прекрасен этот час, когда человек еще спит, а природа бодрствует и живет своей жизнью, такой полной, нежной и первозданной, такой влюбленной в себя! Да, все беды в мире происходят от душевного неустройства вечно неуверенного в себе существа по имени Человек!

Выйдя опять на дорогу, он сообразил, что находится в одной или двух милях от Бекета, и, вдруг почувствовав, что очень голоден, решил пойти туда позавтракать.

ГЛАВА XXXI

Феликс побрился одной из бритв Стенли, принял ванну, позавтракал и уже собирался сесть в автомобиль, чтобы вернуться в Джойфилдс, когда ему передали просьбу матери подняться перед отъездом к ней.

Феликс заметил, что она встревожена, хотя и пытается это скрыть.

Она поцеловала сына и усадила на кушетку.

— Милый, сядь и расскажи мне всю эту ужасную историю. — Взяв со столика пульверизатор, она обдала его маленьким облаком духов. — Новые духи, прелестный запах, правда?

Феликс, ненавидевший духи, скрыл свое отвращение, сел рядом с матерью и рассказал ей все. И, рассказывая, чувствовал, как страдает ее утонченная, щепетильная натура от всех этих грубых подробностей: драки с полицейскими, драки с простонародьем, тюрьмы, куда отправили девушку из хорошей семьи; видел, как трогательно она старается сделать вид, будто ничего особенного не произошло. Он кончил рассказ, но Фрэнсис Фриленд продолжала сидеть неподвижно, так плотно сжав губы, что он ей сказал:

— Волноваться бесполезно, мама.

Фрэнсис Фриленд встала и что-то с силой дернула —

показалась дверца шкафа. Она ее отворила и вынула оттуда саквояж.

— Я еду с тобой, сейчас же,— сказала она.

— По-моему, в этом нет никакой необходимости, ты измучаешься.

— Чепуха, дорогой! Я должна поехать.

Зная, что уговоры только еще больше укрепят ее решение, Феликс ее предупредил:

— Я еду на автомобиле.

— Ну и что ж! Я буду готова через десять минут. Ах, вот, совсем забыла, смотри! Прекрасное средство против морщин под глазами! — Она протянула ему открытую круглую коробочку.— Окуни туда палец и осторожно вотри.

Феликс был тронут ее заботой о том, чтобы и у него была хорошая мина при плохой игре; поэтому он втер немножко мази в кожу под глазами.

— Вот так. Подожди меня немного, я сейчас. Мне только надо собрать вещи. Они отлично поместятся в этот маленький саквояж.

Через четверть часа они выехали. Во время всего путешествия Фрэнсис Фриленд ни разу не дрогнула. Она бросилась в бой и не собиралась давать волю своим нервам.

— Мама, ты собираешься у них остаться? — отважился спросить Феликс.— По-моему, у них нет свободной комнаты.

— Ах, какие пустяки, милый! Я прекрасно сплю, сидя в кресле. Мне это даже полезнее, чем лежать.

Феликс возвел глаза к небу и ничего не ответил.

Когда они приехали в Джойфилдс, им сообщили, что врач уже был, остался доволен больным и прописал ему полный покой. Тод собирался в Треншем, где Шейле и двоим батракам предстояло сегодня предстать перед судьей. Феликс и Кэрстин наспех посоветовались. Раз приехала мама — отличная сиделка,— им лучше отправиться с Тодом. Поэтому все трое немедленно отбыли в Треншем на автомобиле.

Оставшись одна, Фрэнсис Фриленд взяла свой саквояж — на этот раз старенький, без патентованного замка, чтобы его можно было легко открыть,— бесшумно

поднялась наверх, постучалась в дверь комнаты Дирека и вошла. Ее приветствовал слабый, но веселый голос:

— Здравствуйте, бабушка!

Фрэнсис Фриленд подошла к кровати, улыбнулась с невыразимой нежностью, приложила палец к губам и сказала тишим голосом:

— Тебе, милый, нельзя разговаривать!

Она уселась у окна, поставив рядом с собой саквояж,— по ее носу катилась маленькая слеза, и она не желала, чтобы это увидели. Поэтому она открыла саквояж, достала оттуда пузырек и жестом подозвала Недду.

— Милочка, ты должна непременно принять эту пилюльку,— прошептала она.— Это старинное средство, его давала мне мама, когда я была в твоём возрасте. Теперь тебе надо часок подышать свежим воздухом, а потом вернешься назад.

— Обязательно надо идти, бабушка?

— Да, ты должна беречь силы. Поцелуй меня.

Недда поцеловала щеку, которая показалась ей гладкой, как шелк, и удивительно мягкой, получила нежный поцелуй тоже в щеку и, поглядев на больного, вышла.

Фрэнсис Фриленд, не теряя времени попусту, стала обдумывать, что предпринять для того, чтобы победить болезнь милого Дирека. Она бессознательно сжимала и разжимала пальцы, приходя то к одному, то к другому решению; она перебирала в уме всевозможную еду, способы умывания, средства соблюдения покоя, и в глазах ее вспыхнул почти фанатический блеск. Она, как умелый полководец, оценивала свои силы и расставляла их в боевой порядок. Время от времени она заглядывала в саквояж, проверяя, есть ли у нее все, что ей нужно, отбрасывая все новоиспеченные изобретения, которые всегда могут подвести. Ибо она никогда не брала с собой в бой те патентованные новшества, которые доставляли ей такую радость в мирное время. Когда, например, она сама заболела воспалением легких и два месяца обходилась без врача, она, как известно, просто лежала на спине, не принимала никаких лекарств и лечилась только мужеством, природной выносливостью, мясным бульоном и прочими столь же простыми средствами.

Составив в уме необходимый план, она бесшумно поднялась и скинула нижнюю юбку, которая, как ей каза-

лось, немножко шуршала; сложив ее и спрятав там, где ее никто не увидит, она сняла ботинки и надела бархатные домашние туфли. Она подошла в них к кровати, проверяя, слышны ли ее шаги, но ничего не услышала. Потом, встав там, откуда она должна была непременно заметить, если больной откроет глаза, она обследовала комнату. Подушка не очень удобная. Надо поставить тумбочки по обе стороны кровати, а не с одной! Нет пульверизатора, и еще кое-чего не хватает. Всем этим надо заняться.

Она была поглощена своим осмотром и не заметила, что милый Дирек смотрит на нее сквозь ресницы — такие черные и красивые! Он вдруг сказал ей тем же слабым, но веселым голосом:

— Все в порядке, бабушка, завтра я встану.

Фрэнсис Фриленд, считавшая, что люди всегда должны верить, будто они здоровее, чем на самом деле, ответила:

— Конечно, встанешь, милый; и сам не заметишь, как начнешь ходить. Как чудесно будет, если завтра тебе позволят посидеть в кресле. Но тебе нельзя разговаривать.

Дирек вздохнул, закрыл глаза и потерял сознание.

Вот в такие минуты Фрэнсис Фриленд была в своей стихии. Лицо ее немножко порозовело и стало очень решительным. Зная, что, кроме нее, в доме нет ни души, она подбежала к своему саквоюжу, вынула нашатырный спирт, приложила к его носу и капнула немножко ему на губы. Она проделала с ним ряд манипуляций и, пока он не очнулся, не позволила себе даже подумать: «Нечего устраивать суматоху, надо делать вид, будто все обстоит как нельзя лучше».

Когда она убедилась в том, что ему стало лучше, — а он ее в этом заверил, — она села в кресло и начала обмахивать его веером, дрожа, как осиновый лист. Фрэнсис Фриленд, конечно, подавила бы свою дрожь, если бы она в какой-то мере мешала ей обмахивать его веером. Но так как, наоборот, дрожь, казалось, этому только помогала, она не стала себя насиловать: как ни молод казался ее дух, телу все же было семьдесят три года.

И, обмахивая Дирека, она вспоминала его маленьким черноволосым, смуглым мальчиком с горящими серыми

глазенками и непропорционально длинными, худыми руками и ногами, который двигался неуклюже, как маленький жеребенок. Он был такой милый, благовоспитанный ребенок! Как ужасно, что он забылся и попал в такую беду! И мысли ее ушли в еще более далекое прошлое, к ее собственным четверем маленьким сыновьям. Она так старалась, чтобы у нее не было любимца, и любила всех четверых одинаково. Она вспоминала, как быстро изнашивались их полотняные костюмчики, особенно возле резинки, они становились зелеными сзади, едва малыши успевали их надеть; она сама подстригала им волосы и тратила на это не меньше чем три четверти часа на каждого: у нее всегда это получалось очень медленно, а они терпеливо сидели, все, кроме Стенли и дорогого Тода,— тот непременно начинал шевелиться, стоило ей захватить гребенкой особенно густую прядь его волос, а волосы у него были такие вьющиеся и непокорные! Она отрезала длинные золотые локоны Феликса, когда ему исполнилось четыре года, и, наверно, расплакалась бы над ними, если бы это не было так глупо! И как чудесно, что они переболели корью все разом,—ей пришлось просидеть над ними всего две недели, правда, днем и ночью. И как ее беспокоит помолвка Дирека с милочкой Неддой,—она боится, что это будет очень неразумный брак. Однако что тут скажешь, если они в самом деле любят друг друга; приходится делать вид, будто так и надо! Зато как будет чудесно, когда в один прекрасный день у них появится младенец! Недда будет прелестной матерью, если только милая девочка начнет чуточку по-другому причесываться! Она заметила, что Дирек спит, а у нее затекла нога — до самого колена. Если она сейчас же не встанет, в ноге начнет колоть, будто иголками; но так как она не позволит себе разбудить милого мальчика, надо придумать какой-нибудь другой выход. И у нее явился такой план: надо сказать: «Чепуха, ничего с тобой не происходит!» — и боль тут же пройдет. Она сказала это ноге, но только почувствовала, что та превратилась в настоящую подушечку для булавок. Однако Фрэнсис Фриленд знала, что настойчивостью можно добиться чего угодно. Только не сдаваться! Она проявила настойчивость, но ей казалось, что в ногу ей втыкают раскаленные докрасна бу-

лавки. Когда она уже не могла больше терпеть, она прочитала короткий псалом. Боль исчезла, и нога у нее совершенно онемела. Нога будет как ватная, если придется встать. Но с этим справиться легко, стоит только добраться до саквояжа и достать оттуда три пилюльки рвотного ореха,—милого Дирека нельзя будить ни под каким видом! Наконец она дождалась возвращения Недды и прошептала:

— Тс-с-с!

Дирек сразу проснулся, и ей, слава богу, можно было встать. Она постояла минут пять, перенеся вес всего тела на одну ногу, а затем, уверившись, что не упадет, подошла к окну, достала свой рвотный орех и, взяв записную книжку, начала составлять список того, что могло ей понадобится, пока Недда, заняв ее место, обмахивала больного. Кончив писать, она подошла к Недде и шепотом сообщила ей, что идет вниз за необходимыми ей мелочами, и, пока шептала, чуточку поправила волосы дорогой девочке. Ах, если бы она их так носила, насколько это ей больше к лицу! Потом она пошла вниз.

Привыкнув к удобствам дома Стенли или хотя бы к тому, что она встречала в домах Джона и Феликса или в гостиницах, где иногда останавливалась, Фрэнсис Фриленд на миг растерялась, обнаружив, что здесь к ее услугам нет ничего, кроме трех прелестных малюток, игравших с собакой, и одного велосипеда. Несколько секунд она пристально разглядывала эту машину. Если бы у нее было хотя бы три колеса! Понимая, что ей не удастся превратить этот велосипед в трехколесный, тем более, что ей все равно нельзя им воспользоваться,—не может ведь она оставить милочку Недду одну дома!—она решила обойти все комнаты и поискать нужные вещи там. Собака, которой она чем-то понравилась, бросила детей и пошла за ней, а дети, которым нравилась собака, двинулись следом за ними, и все пятеро вошли в комнату на первом этаже. Она была разделена ширмой надвое: в одной половине стояла грубая походная кровать; в другой—две премиленькие детские кроватки,—когда-то на них явно спали Дирек и Шейла; тут же стояла еще одна, совсем маленькая кроватка, сколоченная из ящика. Старшая девочка объяснила:

— Тут спит Бидди, здесь Сюзи, а я вон там; а на этой кровати спал наш папа, пока его не посадили в тюрьму.

Фрэнсис Фриленд была шокирована. В тюрьму! Разве можно рассказывать таким крошкам подобные вещи! Их тут не приучили искать во всем только светлую сторону. Она решила заняться этим сама.

— В какую тюрьму, деточка! Наверно, он просто поехал погостить к кому-нибудь в город!

Ей казалось ужасным, что они знают правду,— они непременно должны все забыть! Эта малышка и так выглядит совсем взрослой, настоящая маленькая мама.

Дети окружили ее кольцом, и она воспользовалась этим, чтобы кинуть внимательный взгляд на их головы. Волосы были чистые.

Вторая крошка сказала:

— Нам здесь нравится. Если папа не вернулся бы из тюрьмы, мы могли бы здесь жить. Мистер Фриленд дает нам яблоки.

Фрэнсис Фриленд лишь на миг огорчилась, что не сумела внушить им более приличные представления о жизни. Она тут же спросила:

— Кто вам сказал, что его посадили в тюрьму?

Бидди осторожно ответила:

— Никто нам не говорил, мы это подслушали.

— Подслушивать нехорошо! Это очень неприлично!

Бидди спросила:

— Скажите, пожалуйста, а что такое тюрьма?

Фрэнсис Фриленд охватила жалость к этим беспризорным детишкам, чьи волосы, передники и личики были такими чистенькими. Она крепко сжала губы:

— А ну-ка вытяните руки все трое!

К ней протянулись три ручонки, и на нее воззрились три пары серо-голубых глаз. Из недр своего кармана она вытащила кошелек, вынула оттуда три шиллинга и положила по одному на каждую ладошку. Три кулачка сжались, две фигурки присели в книксене; третья продолжала стоять как вкопанная, но круглая мордашка расплылась в широкой улыбке.

— Что надо сказать? — спросила Фрэнсис Фриленд.

— Спасибо.

— Спасибо, а еще что?

— Спасибо, сударыня.

— Вот и хорошо. Теперь бегите играть в сад.

Все трое послушно убежали. Снаружи слышался быстрый шепот. Фрэнсис Фриленд выглянула в окно и увидела, что они отворяют калитку. Ее охватило беспокойство. Высунув в окно голову, она окликнула их. Бидди вернулась.

— Только не вздумайте тратить все деньги сразу! Бидди замотала головой.

— Ну, нет! У нас один раз был шиллинг, и мы все потом заболели. Мы теперь будем тратить каждый день по три пенса, пока все деньги не кончатся.

— А ты не хочешь немножко отложить на черный день?

— Нет.

Фрэнсис Фриленд не нашлась, что на это сказать. Славные малютки!

Славные малютки скрылись за калиткой.

В комнате Тода и Кэрстин она обнаружила тумбочку, подушку и еще кое-что необходимое. Придумав, как вложить то в это, а это в то так, чтобы ничего не было видно, она тихонько притащила свою добычу поближе к комнате милого Дирека и попросила милочку Недду сходить вниз и поискать то, чего, как она знала, нельзя было там найти, потому что в эту минуту не смогла придумать лучшего предлога. Когда милая девочка вышла, она засунула это сюда, а то — туда. Теперь все в порядке! У нее стало легче на душе. В уходе за больными есть свои неприятные стороны, но надо делать то, что необходимо, а потом вести себя как ни в чем не бывало. Кэрстин не обо всем позаботилась. Но ведь дорогая Кэрстин — такая умница.

Ее отношение к этой синей птице, которая двадцать один год назад залетела в гнездо Фрилендов, всегда после первого испуга оставалось стоическим. Ведь как бы ее ни коробило пренебрежение условностями, она умела ценить высокие душевные качества. Ей было жаль, что дорогая Кэрстин открывает шею и руки так, что они совсем почернели от загара; жаль, что она никогда не ходит в церковь и воспитала своих детей в том же духе, внушив им не совсем верные взгляды на земельный вопрос, но тем не менее ее невестка, несом-

ненно, всегда оставалась истинной леди, любила дорогого Тода и была очень хорошей женщиной. Да и черты лица у нее такие правильные, цвет лица прекрасный, фигура тонкая, стройная, и спина такая прямая, что на нее приятно смотреть. А если она не очень практична, мало ли что! Зато она никогда не растолстеет, как это явно суждено Кларе. Поэтому Фрэнсис Фриленд с самого начала поспешила увидеть светлые стороны в браке Тода. Ее размышления прервал голос Дирека:

— Бабушка, мне хочется пить!

— Сейчас, милый. Не шевели головой; дай я тебя напою с ложечки этим вкусным лимонадом!

Когда Недда вернулась, она застала такую картину: бабушка одной рукой поддерживала голову Дирека, другой поила его с ложечки, а лицо ее светилось нежной улыбкой.

ГЛАВА XXXII

В тот день, когда Фрэнсис Фриленд обосновалась в Джойфилдсе, Феликс после обеда уехал в Лондон, увезя с собой Шейлу. С нее взяли обязательство «не нарушать порядка», и выполнять его ей, безусловно, будет легче, уехав подальше. И хотя брать ее под опеку было все равно, что слишком долго держать в руке зажженную спичку, Феликс чувствовал, что обязан это сделать.

Он оставлял Недду с беспокойной душой, но у него не хватило духу насильно оторвать ее от больного. Дирек, правда, собирался встать на другой день, но поправлялся он медленно, потому что больна у него была голова, а не тело. К тому же ему мешал выздоравливать характер. Он несколько раз делал усилие, чтобы встать с постели, но тело отказывалось ему подчиняться, а эти попытки отнюдь не содействовали его выздоровлению. Фрэнсис Фриленд командовала в комнате больного, и заменить ее было невозможно, так как она и в самом деле была превосходной сиделкой благодаря большому опыту и умению забывать о своих собственных нуждах; она дежурила по очереди с Неддой и, становясь с каж-

дым днем немножко бледнее и решительнее, все нежнее глядела на Дирека. Трагедия старости — быть отрешенной от жизни, когда дух твой еще не хочет сдаваться; понимать, что ты никому не нужна и все, кого ты родила и вырастила, давно разбрелись по разным дорогам, где ты их не догонишь; что умственная жизнь течет мимо тебя с огромной быстротой, а ты остаешься где-то в тихой заводи, беспомощно пытаешься влиться в общий поток, и чувствуешь, как тебя безнадежно относит назад; ощущать, что твое сердце еще молодо и горячо, но ты так погрязла в старых представлениях и привычках, что никто не хочет заметить, насколько ты еще полна бодрости и сердечного тепла; никто не понимает, как тебе хочется участвовать в каком-нибудь деле, совершить что-то нужное, полезное для всех, никто тебе в этом не поможет! Но для Фрэнсис Фриленд трагедия старости была хотя бы на время побеждена. Она могла приносить пользу тем, кого любила и кому хотела помочь. Теперь она занимала комнату Шейлы.

Целую неделю Дирек не задавал никаких вопросов, не заговаривал ни о беспорядках, ни даже о причине своей болезни. Невозможно было понять, вызвано ли это частичной потерей памяти из-за сотрясения мозга, или же в нем говорит инстинкт самосохранения и он сам не хочет думать о том, что может его взволновать. Недда каждый день боялась, что вот он начнет вспоминать. Она знала, что вопросы будут обращены к ней, — ведь от бабушки все равно не дождешься ответа: «Ну, конечно, деточка, все идет прекрасно, ты только поменьше говори!»

Разговор начался в последний день июня, едва Дирек первый раз встал с постели.

— Но сено им все же не удалось спасти?

Можно ли ему сказать правду? Простит ли он, если она ее не скажет? Если она солжет сейчас, сможет ли она лгать в ответ на все остальные вопросы? Когда он потом обнаружит правду, не повредит ли это ему больше, чем если он услышит ее сейчас? Недда все же решила солгать, но когда она открыла рот, язык прилип у нее к гортани, и она чуть слышно пробормотала:

— Нет, удалось.

Его лицо исказилось. Недда сразу же опустилась на колени рядом с его стулом. Он спросил сквозь зубы: — Говори, говори! Значит, все пошло прахом?

В ответ она только опустила голову и погладила его руку.

— Так. А что сделали с ними?

Она прошептала, не глядя на него:

— Кое-кого уволили, другие снова работают, как прежде.

— Как прежде!

Она так жалобно на него взглянула, что Дирек больше не стал ни о чем спрашивать. Но то, что он узнал, задержало его выздоровление еще на неделю. Недда была в отчаянии. Но как только Дирек встал опять, он снова начал ее допрашивать.

— Когда будет суд?

— Седьмого августа.

— Кто-нибудь навещал Боба Трайста?

— Да, тетя Кэрстин была у него два раза.

Получив этот ответ, он долго молчал. Она снова соскользнула со стула и встала возле него на колени; ей казалось, что только здесь у нее появится мужество, чтобы отвечать на его вопросы. Он положил руку, с которой сошел загар, ей на голову. Тогда она собралась с духом и спросила:

— Может быть, мне к нему съездить?

Он кивнул.

— Хорошо, я завтра поеду.

— Недда, никогда не говори мне неправду! Люди так много лгут, вот почему я все это время ничего не спрашивал.

Она горячо ответила:

— Не буду! Никогда не буду!

Ее страшно пугало это посещение тюрьмы. Самая мысль о таких местах наводила на нее ужас. Рассказ Шейлы о ночи, проведенной в камере, вызвал у нее дрожь. Но в ней жила какая-то сила, помогавшая ей преодолевать страх; на другой день она рано утром отправилась в путь, отказавшись от предложения Кэрстин составить ей компанию.

Вид этого крепостного здания, чьи стены были испещрены эмблемами христианской веры, нагнал на нее

тоску, и несколько минут она простояла у темно-зеленой двери, не решаясь позвонить.

Дверь отворил толстяк в синем костюме с седой прядью, выбившейся из-под фуражки, и связкой ключей, звенящих у пояса.

— Что вам угодно, мисс? — спросил он.

Вежливое обращение придало ей духу, и она протянула карточку, которую крепко сжимала в горячей руке.

— Я пришла повидать Роберта Трайста, ожидающего здесь суда.

Толстяк с сомнением повертел в руках карточку, затворил за ней дверь и сказал:

— Одну минуточку, мисс.

От стука захлопнувшейся двери по спине у Недды побежали мурашки, но она почувствовала прилив бодрости и огляделась. За тяжелой аркой, под которой она стояла, был двор, где находилось еще двое людей в синих костюмах и фуражках. Слева она увидела существо с бритой головой, одетое во что-то грязновато-серое, — оно стояло на четвереньках и бесшумно терло пол коридора. Неприязнь, которую у нее вызвала униженная, крадущаяся поза этой согнутой фигуры, сменилась острой жалостью. Человек на нее поглядел быстро, исподтишка, но с таким настойчивым и пронзительным любопытством, что Недде сразу почудилось, будто ей доверено несчетное множество секретов. У нее было такое ощущение, словно в одном торопливом, но невыразимо жадном взгляде этого тихого, стоящего на коленях существа ей открылась вся жизнь людей, запертых в одиночестве и молчании. А от нее требовали какой-то насущной пищи, телесной и духовной, — столько ненасытной жадности было в этих глазах! Взгляд этот ее рассердил, обидел, но и вызвал невыносимую жалость. Ее глаза уже потемнели от слез, но она была слишком потрясена, чтобы плакать. Бедняга! Как он должен ее ненавидеть за то, что она свободна, дышит запахом внешнего мира, видит солнце и людей, которые вольны любить и общаться друг с другом! «Бедняга» продолжал прилежно скрести пол; на его бритой голове топырились уши. Потом он передвинул подстилку под коленями и бросил на Недду еще один взгляд. Быть может, потому, что его одежда, шапочка, короткая щетина на голове и

даже кожа были грязновато-серыми, его черные глазки показались ей поразительно живыми. Она почувствовала, что они разглядывают ее с головы до пят, раздевают ее, читают в ее душе и былой гнев и теперешнюю жалость; глаза эти и молили, и оскорбляли, и с жадностью стремились овладеть ею, словно все задавленные инстинкты всего тюремного мира вырвались наружу, на миг сломав свои решетки. Но тут послышался звон ключей, взгляд быстро скользнул вниз, и человек снова превратился в притаившееся бесшумное существо, трущее каменный пол... Недда с дрожью подумала:

«Мне здесь невыносимо дышать, а у меня есть все, что душа пожелает,— у этих же людей нет ничего!»

К ней снова подошел толстый тюремный надзиратель. Его сопровождал еще один человек в синем, который сказал:

— Прошу вас, мисс, пройдемте сюда!

Они пошли по коридору. Хотя Недда ни разу не оглянулась, она знала, что глаза арестанта смотрят ей вслед, все еще что-то у нее вымаливая, и, завернув за угол, она с облегчением вздохнула. Сквозь решетчатые окна без стекол ей был виден другой двор, где люди в такой же грязновато-серой одежде, испещренной стрелами, шагали друг за другом среди залитой цементом площадки, словно причудливый движущийся орнамент. По сторонам стояли два тюремщика с саблями. Кое-кто из арестантов шел, расправив грудь и высоко подняв голову; другие брели, шаркая, уронив голову на грудь; но большинство шагало, уставившись в затылок идущего впереди. Слышен был только топот ног.

Недда прижала руку к губам. Ее проводник объяснил ей словоохотливо:

— Это их выводят на прогулку, мисс. Вы, кажется, желаете увидеть арестанта по фамилии Трайст, не так ли? Тут к нему уже приходила одна женщина, и раза два бывала какая-то дама в синем.

— Это моя тетя.

— Так-так. Он, по-моему, батрак, сидит по делу о поджоге. Странное дело, я ни разу еще не видал крестьянина, который хорошо бы себя чувствовал в тюрьме.

Недду пробрала дрожь. Слова эти показались ей зловещими. Но она вдруг вспыхнула:

— А разве есть и такие, кто хорошо здесь себя чувствует?

Надзиратель не то проворчал что-то, не то хихикнул.

— Ну, многим здесь живется куда лучше, чем на воле! И сомневаться нечего, — их здесь, по крайней мере, кормят досыта!

Недде вдруг припомнились слова Кэрстин: «Свобода — торжественный праздник!» Но она их не произнесла вслух.

— То-то и оно! — продолжал надзиратель. — Кое у кого из них вид такой, будто им там, на воле, ни разу в году поесть как следует не удастся. Если вы, мисс, минуточку здесь обождете, я вам сейчас приведу этого человека.

Недда осталась ждать в пустой комнате с оштукатуренными стенами и решетками на окне, из которого ничего не было видно, кроме высокой кирпичной стены. Сознание человека быстро ко всему привыкает, и чувства его притупляются, — Недду уже не так терзала острая жалость, которая охватила ее там, под тюремной аркой. На нее нашла тупая апатия. В комнате стояли парты и школьная доска, на которой друг под другом были выведены два ряда цифр, но сумма внизу не была проставлена.

Тишина сперва показалась ей мертвой. Потом где-то стукнула тяжелая дверь и раздалось шарканье ног, топот стал громче, громче, а потом тише; раздались слова команды, топот стал еще тише, а потом затих совсем. Снова наступила мертвая тишина. Недда прижала руки к груди. Она дважды сложила цифры на доске, сумма оба раза получилась одна и та же. Вон летит муха... две мухи! Как приятно на них смотреть — они носятся по воздуху, догоняя друг друга! А в камерах бывают мухи? Наверно, туда не залетит и муха, там нет ничего живого, одни каменные стены и деревянная скамья. Ничего живого, кроме того, что у тебя в душе. Как это ужасно! Даже часы не тикают и птицы не поют. Тихо, мертво, хуже, чем здесь, в этой комнате! Что-то коснулось ее ноги. Она вздрогнула и посмотрела вниз. Котенок. Господи, как хорошо! Маленький, рыжеватый, уродливый котенок. Он, наверно, пробрался в дверь. Значит, ее не заперли! Видно, у нее разыгрались нервы, если ей

это пришло в голову. Почесав котенка за ухом, Недда постаралась овладеть собой. Она не позволит себе больше распускаться. Это нехорошо по отношению к Диреку, незачем ей было сюда приходить, если она не сумеет приободрить бедного Трайста. Дверь отворилась, и слышался голос надзирателя:

— Четверть часа, мисс. Я буду здесь, за дверью.

Она увидела, что в комнату вошел высокий небритый человек, и протянула ему руку.

— Я двоюродная сестра мистера Дирека, мы думаем пожениться. Он был болен, но теперь выздоравливает. Мы предполагали, что вам хочется знать, как он себя чувствует.— Говоря это, она думала: «Какое трагическое лицо! Я не могу смотреть ему в глаза!»

Он пожал ей руку, сказал: «Спасибо, мисс!» — и продолжал стоять все так же неподвижно.

— Прошу вас, сядем и поговорим.

Трайст подошел к парте и сел, опустив руки между колен, словно мял воображаемую шапку. Он был одет в обычный праздничный костюм батрака, и его жесткие, пыльного цвета волосы не были коротко острижены. Квадратное лицо осунулось, глаза глубоко запади, отчего скулы, подбородок и мясистые губы стали как-то особенно выделяться, придавая его облику что-то дикое, даже зверское; но по-собачьи тоскливые глаза вызывали у Недды такую жалость, что она не могла его бояться.

— Дети у вас просто прелестные, мистер Трайст. Бидди растет на глазах. Они никому не причиняют хлопот, прекрасно себя чувствуют. Бидди умеет с ними справляться.

— Она хорошая девчушка.— Толстые губы произносили слова с трудом, словно уже разучились говорить.

— Вам передают газеты, которые мы вам посылаем? У вас есть все, что нужно?

Минуту казалось, что он не собирается отвечать, потом, помотав головой, он сказал:

— Мне ничего не нужно, только бы выйти отсюда!

Недда беспомощно пробормотала:

— До суда остался всего месяц. А мистер Погрем вас навещает?

— Да, он приходит. Он ничего не может поделать.

— Ну, не отчаивайтесь! Даже если вас не оправда-

ют, вы все равно скоро отсюда выйдете! Не отчаивайтесь!

Она тихонько дотронулась до его руки. Ее сердце мучительно сжималось: такой он был грустный.

Он сказал, с трудом выговаривая слова:

— Спасибо вам. Я должен отсюда выйти. Долго я здесь не выдержу, сил моих больше нет. Не привык я к этому,— я ведь всегда жил на чистом воздухе, в движении, вот в чем дело. Но вы ему, мисс, ничего не говорите. Вы ему скажите, что я поживаю хорошо. Не говорите ему того, что я вам сказал. Нечего ему из-за меня расстраиваться. Мне это не поможет.

Недда пробормотала:

— Хорошо, хорошо, я ему не скажу!

Но тут она услышала слова, которых так боялась:

— Как вы думаете, мисс, они меня выпустят?

— Да, думаю, что да, надеюсь! — Но она не решилась посмотреть ему в глаза и, услышав, как он шаркнул подошвой по полу, поняла, что он ей не поверил.

Он медленно произнес:

— Я ведь в то утро и не думал ничего делать. На меня вдруг что-то нашло, когда я глядел на сено.

Недда тихонько ахнула. А вдруг человек за дверью его слышит?

Трайст продолжал:

— Если они меня не выпустят, я не вытерплю. Это выше человеческих сил. Я спать не могу, есть не могу, ничего не могу. Я не вытерплю. Умереть ведь недолго, если на это решиться.

Недде стало дурно от жалости, она поднялась и подошла к нему. Потом, поддавшись порыву, с которым она не могла совладать, Недда схватила его огромную руку и сжала ее в своих.

— Ну пожалуйста, потерпите, будьте мужественны, подумайте о будущем! Я уверена, что когда-нибудь вы будете так счастливы!

Он поглядел на нее странным, долгим взглядом.

— Да, когда-нибудь я буду счастлив. Вы из-за меня не расстраивайтесь!

Недда увидела, что в дверях стоит надзиратель.

— Простите, мисс, но время кончилось.

Трайст встал и, не говоря ни слова, вышел.

Недда опять осталась вдвоем с рыженьким котенком. Стоя под окном, закрытым решеткой, она вытирала мокрые щеки. Почему, почему должен человек так страдать? Страдать так долго, так страшно? И как могут люди изо дня в день, из года в год смотреть на то, как страдают другие?

Когда надзиратель вернулся, чтобы ее проводить, у нее не было сил с ним говорить или даже смотреть на него. Она шла, судорожно сжав руки и уставившись в землю. Выйдя за двери тюрьмы, Недда глубоко вздохнула. И вдруг в глаза ей бросилась надпись на углу переулка, куда выходила тюрьма: «Аллея любви»!

ГЛАВА XXXIII

Доктор категорически приказал отправить больного к морю, но избегать всяких волнений, солнца и ярких красок; поэтому Дирек с бабушкой поехали в такое место на взморье, где всегда было сумрачно, а Недда вернулась домой, в Хемпстед. Это произошло в конце июля. Две недели, проведенные в полном безделье на английском морском курорте, поразительно укрепили здоровье юноши. Фрэнсис Фриленд, как никто, умела отвлекать внимание от темных сторон жизни, особенно «не вполне приличных». Поэтому они никогда не разговаривали о батраках, забастовке или о Бобе Трайсте. Зато Дирек только об этом и думал. Он не мог ни на минуту забыть о приближающемся суде. Он думал о нем, купаясь; думал, сидя на серой пристани и глядя на серое море. Он думал о нем, шагая по серым, мощенным булыжником улочкам и когда уходил на мыс. И для того, чтобы больше о нем не думать, он ходил до изнеможения. К несчастью, голова продолжает работать даже тогда, когда отдыхают ноги. Во время еды он сидел за столом против Фрэнсис Фриленд, и та испытующе поглядывала на его лоб.

«Милый мальчик выглядит гораздо лучше,— размышляла она,— но на лбу, между бровями, у него появилась морщинка, какая жалость!»

Ее беспокоило и то, что щеки его за это время недостаточно округлились,— хотя она больше всего на свете не выносила толстых щек, символизирующих то, что

она, как истый стоик, ненавидела,—непростительную распушенность! Поражала ее и его необычайная молчаливость; она без конца ломала себе голову, придумывая интересные темы для разговора, и часто себя упрекала: «Ах, если бы я была поумнее!» Конечно, он скучает без милочки Недды, но ведь не из-за нее же у него появилась эта морщинка! Его, наверно, мучают мысли о тех, других делах. Нехорошо, что у него такое грустное настроение, это ему мешает поправляться. Привычка не требовать невозможного, необходимая старикам и особенно старухам,—или хотя бы не показывать виду, что требуешь невозможного,—давно научила Фрэнсис Фриленд весело болтать на всякие незначущие темы, как бы тяжело ни было у нее на сердце. А сердце у нее, по правде говоря, часто ныло, но нельзя ведь было давать ему волю и портить другим жизнь. Как-то раз она сказала Диреку:

— Знаешь, милый, по-моему, тебе было бы очень полезно немножко заняться политикой. Это очень увлекательно, когда втянешься. Я, например, читаю мою газету, не отрываясь. У нее действительно высокие принципы!

— Ах, бабушка, если бы политика помогала тем, кто больше всего нуждается в помощи! Но я что-то этого не вижу.

Она задумалась, поджав губы, а потом сказала:

— По-моему, милый, это не совсем справедливо; есть политические деятели, которых все очень уважают, ну, хотя бы епископы, да и многие другие, их никак нельзя заподозрить в корысти.

— Я не говорю, бабушка, что политики корыстолюбивы. Я говорю, что они люди обеспеченные и поэтому интересуется их только то, что может интересовать людей обеспеченных. Что, например, они сделали для батраков?

— Ах, милый, они собираются сделать для них очень много! В моей газете об этом без конца пишут.

— А вы им верите?

— Я убеждена, что зря они не стали бы ничего обещать! У них есть какой-то совершенно новый проект, и, кажется, очень разумный. Поэтому, милый, я на твоём месте не стала бы так огорчаться. Эти люди лучше нас знают, как бить. Они ведь много старше тебя. А ты

смотри, у тебя на переносице появилась малюсенькая морщинка!

Дирек улыбнулся.

— Ничего, бабушка, у меня там скоро будет большая морщинища!

Фрэнсис Фриленд тоже улыбнулась, но неодобрительно покачала головой.

— Ну да, поэтому я и говорю, что хорошо бы тебе увлечься политикой.

— Лучше уж, бабушка, я увлекусь вами. На вас так приятно смотреть!

Фрэнсис Фриленд подняла брови.

— На меня? Что ты, дорогой, я ведь теперь просто страшилище! — И, боясь, что он заставит ее заговорить о том, чего стоицизм и упорное желание видеть во всем только светлую сторону не позволяли ей признать, Фрэнсис Фриленд переменила тему разговора. — Куда бы ты хотел сегодня поехать погулять?

Они ездили на прогулки в коляске, и Фрэнсис Фриленд прикрывала внука своим зонтиком, на случай, если по ошибке выглянет солнце.

Четвертого августа Дирек заявил, что выздоровел и хочет вернуться домой. Как ей ни было грустно отказаться от ухода за ним, она смиренно призналась себе, что ему, наверно, скучно без сверстников, и, чуть-чуть поспорив, с грустью сдалась. На другой день они отправились в обратный путь.

Приехав домой, они узнали, что к маленькой Бидди Трайст приходила полиция, — ее вызвали в качестве свидетельницы. Тод повезет ее в город в тот день, когда будет слушаться дело. Дирек не стал их дожидаться — накануне суда он взял свой чемодан, поехал в Вустер и поселился в отеле «Король Карл». Всю ночь он не сомкнул глаз и рано утром пошел в суд: дело Трайста слушалось первым. Терзаемый тревогой, Дирек следил за сложным церемониалом, с которого начинается отправление правосудия, — за тем, как один за другим входили джентльмены в париках; за тем, как появлялись, рассаживались, менялись местами судейские чиновники, приставы, адвокаты и публика; его поражало деловитое безразличие и бодрый профессионализм всех участников этого зрелища. Он видел, как вошел низенький ми-

стер Погрем — еще более приземистый и похожий на резиновый мячик, чем когда-либо, — и вступил в переговоры с одним из джентльменов в париках. Улыбки, пожатие плеч, даже настороженное выражение лица защитника, его манера оглядываться по сторонам, закинув мантию на руку, а ногу поставив на скамью, говорили о том, что он бывал здесь уже не одну сотню раз и не придавал всему этому ни малейшего значения. Вдруг наступила тишина; вошел судья, поклонился и занял свое место. И в этом тоже было какое-то привычное равнодушие. Дирек думал только о том, для кого все это было вопросом жизни и смерти, и не мог понять, что другие относятся к этому иначе.

Слушание дела началось, и в зал ввели Трайста. Диреку снова пришлось пережить пытку, встретив этот трагический взгляд. Вопросы, ответы, ходатайства защиты жужжали над этой массивной фигурой и этим животным, но в то же время таким печальным лицом; накапливалось все больше серьезных улик, но истинная подоплека событий того утра оставалась по-прежнему скрытой, словно и судьи и все, кто здесь был, лопотали что-то невнятное, как мартышки. Никто так и не узнал подлинной истории Трайста, этого доведенного до отчаяния тяжелолюда, который встал и по привычке вышел в подернутые утренним туманом луга, где он столько лет трудился; в нем медленно и неосознанно копилась немая и злая обида, — ведь целые века молчали на этих пустынных полях его предки, и немота вошла в их плоть и кровь. В нем копилась злоба, искажая подлинную картину жизни, что всегда свойственно людям с ограниченным кругозором; она копилась до тех пор, пока не прорвалась наружу в мрачном, бессмысленном насилии. В нем наливалась ярость в то время, как в воздухе гонялись друг за другом мошки, ползали в траве жуки и повсюду в природе осуществлялся ее первый и главный закон. Сколько бы они тут ни говорили и ни приводили улик, как бы они ни были хитры и догадливы своей мелкой догадливостью законников, они не могли открыть тайных пружин человеческого поступка, слишком естественных и простых, чтобы их можно было выставить напоказ.

Все судебные допросы и речи не могли показать того

безумного облегчения, которое он почувствовал, когда, с отвисшей челюстью и мстительно выпученными глазами, зажег спичку и подпалил ею сено, а потом глядел на то, как красные язычки перебегают с места на место и, потрескивая, лижут сухую траву... Не могли показать они и того немого страха, который вдруг охватил присевшего на корточки человека и парализовал его искаженное яростью лицо. Ни того, как он в ужасе отпрянул от горящего стога; ни того, как ужас благодаря привычке не думать и не чувствовать вновь сменился животным равнодушием. Ни того, как человек тяжело шагал назад по росистым лугам, под пение жаворонков и воркованье голубей, под шорох крыльев и всю музыку бессмертной природы. Нет. Все ухищрения закона никогда не откроют всей правды. Но и закон дрогнул, когда со скамьи, где сидел Тод, поднялась «маленькая мама» и приготовилась давать показания, когда все увидели, как взглянул на нее великан-батрак и как она поглядела на него. Казалось, девочка сразу стала как-то выше; ее задумчивое личико и пышные русые волосы были красивы, как у феи; стоя на возвышении, она напоминала фигурку с картины Боттичелли.

— Как тебя зовут, детка?

— Бидди Трайст.

— Сколько тебе лет?

— В будущем месяце исполнится десять.

— Ты помнишь, как вы переехали жить к мистеру Фриленду?

— Да, сэр.

— А первую ночь, которую вы там провели, ты помнишь?

— Да, сэр.

— Где ты тогда спала, Бидди?

— С вашего позволения, сэр, мы спали в большой комнате, где стоит ширма,— Билли, Сюзи и я, а отец — за ширмой.

— А где эта комната?

— Внизу, сэр.

— Вспомни, Бидди, когда ты проснулась в первое утро?

— Когда встал отец.

— Это было рано или поздно?

— Очень рано.
— Ты не знаешь, который был час?
— Нет, сэр.
— Но откуда ты знаешь, что было очень рано?
— Завтрак потом был еще очень не скоро.
— А в котором часу вы завтракаете?
— В половине седьмого, по кухонным часам.
— Было светло, когда ты проснулась?
— Да, сэр.
— Когда папа встал, он оделся или снова лег спать?
— Он совсем и не раздевался, сэр.
— Но он оставался с вами или вышел?
— Вышел, сэр.
— И как скоро он вернулся назад?
— Когда я обувала Билли.
— А что ты делала, пока его не было?
— Помогала Сюзи и одевала Билли.
— И сколько времени это у тебя отнимает обычно?
— Полчаса, сэр.
— Так-так. А как выглядел отец, когда он вернулся назад?

«Маленькая мама» замолчала. Только теперь она поняла, что в этих вопросах таится какая-то опасность. Она стиснула ручки и поглядела на отца.

Судья ласково спросил:

— Ну так как, детка?
— Так же, как сейчас, сэр.
— Спасибо, Бидди, ты можешь идти.

Вот и все; «маленькой маме» разрешили спуститься и занять свое место возле Тода. Молчание нарушил короткий, упругий звук — это высморкался мистер Погрем. Никакие показания в тот день не были такими обличающими и убийственными, как эта невинная фраза: «Так же, как сейчас, сэр». Вот почему даже само правосудие дрогнуло во время этого допроса.

И Дирек понял, что судьба Трайста решена. Чего стоили все эти слова, вся эта профессиональная казуистика и профессиональные сарказмы: «Мой друг сказал вам то-то» или «Мой друг сам вам скажет это», — профессиональное дирижирование беспристрастного судьи, возвышавшегося над всеми остальными; холодные, точно рассчитанные обличения «всей гнусности поджога»;

холодные, точно рассчитанные попытки подорвать доверие к свидетелю-каменщику и свидетелю-бродяге; холодные, точно рассчитанные призывы не осуждать отца на основе показаний его маленькой дочери; холодный, точно рассчитанный взрыв красноречия: каждый человек считается невиновным при отсутствии неопровержимых улик, а их здесь нет; холодная и точно рассчитанная оценка всех «за» и «против» и, наконец, последнее холодное подведение итогов, скрытое от глаз публики. И вердикт «виновен» и приговор «три года тюремного заключения» — все это прошло мимо юноши, к которому был прикован трагический взгляд Трайста. В эти минуты он решался на отчаянный поступок.

«Три года тюремного заключения!» Великан-батрак обратил на эти слова не больше внимания, чем и на все, что говорилось в тот час, когда решали его судьбу. Правда, он выслушал их стоя, как положено, устремив взгляд на олицетворение правосудия, из чьих уст раздались эти слова. Но ни единым жестом не показал он людям, что творится в безмолвных глубинах его души. Если жизнь и не научила его ничему другому, она научила его таиться. Немой, как бык, которого ведут на бойню, он с таким же тупым и беспомощным страхом в глазах спустился со своего возвышения и вышел в сопровождении своих тюремщиков. И сразу же поднялся привычный шум: профессиональные краснобаи, подобрав полы своих мантий, смели свои бумаги в розовые папки, обернулись к соседям и заговорили с ними, улыбаясь и многозначительно вздергивая брови.

ГЛАВА XXXIV

Шейла недолго оставалась в убежище на Спаньярдс-роуд. На свете есть такие натуры, — к ним принадлежал Феликс, — которые ненавидят права и обязанности власти, отказываются пользоваться ею сами и приходят в бешенство при виде того, как она угнетает других, но почему-то никогда не вступают с ней в прямое столкновение. Другие же люди, такие, как Шейла, ничуть не пренебрегают властью сами, но бешено протестуют, ко-

гда власть ополчается на них или на кого-нибудь другого. Вот таких-то и зовут воинствующими натурами. Столкновение с полицией произвело на нее глубокое впечатление. С ней, в сущности, обращались не так уж плохо, но это не мешало ей чувствовать, что полиция оскорбила ее женское достоинство. Поэтому она приехала в Хемпстед, пылая яростью даже на то, что этой ярости совсем не заслуживало. А так как — увы! — в мире немало вещей, которые могут вызвать вполне законную ярость, Шейла в эти дни ни на что другое не была способна, — сердце ее, как и щеки, непрерывно пылало. Бесконечные пререкания с Аланом, который все еще к ней тянулся, но по натуре своей напоминал дядю Стенли и не поддавался на ее крамольные речи, все больше и больше укрепляли в ней решение, которое зародилось у нее еще во время их первого приезда в Хемпстед.

Как-то раз, войдя в кабинет жены, — в этом доме не признавали гостиных, — Феликс увидел, что Флора, подняв брови, но и не без улыбки выслушивает теорию Шейлы о том, что люди «должны быть самостоятельными». Всякая другая жизнь, как сообщила она Феликсу, оскорбляет человеческое достоинство и нарушает душевный покой. Вот почему она сняла заднюю комнату на верхнем этаже дома в узком переулке, где и собирается безбедно жить на десять шиллингов в неделю. Так как она скопила тридцать два фунта, денег ей хватит на год, а там она уже найдет, как заработать себе на хлеб. Основное условие — не допускать в свою жизнь ничего, что может помешать работе. Глядя на эту девушку с пылающими щеками, пылающими глазами и непокорными волосами, трудно было ей не поверить. Да, она непременно должна добиться если и не совсем того, чего хочет, то все же чего-то определенного, а это в конце концов главное! И она на самом деле добилась своего: на другой же день переехала в заднюю комнату верхнего этажа дома в узком переулке, и с этих пор дом Тода и дом на Спаньярдс-роуд видели ее только мельком.

Таково было еще одно следствие того, что Трайсту приказали освободить дом, в котором он жил. Вот так мелкое происшествие, чья-то крохотная беда сосредоточивает вокруг себя помыслы и поступки самых разных

людей, чьи пути расходятся в самые разные стороны. Правда, эти мелкие происшествия только тогда приобретают силу, когда они вызваны противоречием самых основных жизненных интересов.

В течение полутора месяцев, которые Феликс пробыл дома между отъездом из Джойфилдса и судом над Трайстом, у него было достаточно досуга, чтобы поразмыслить о том, что не запрети леди Маллоринг своему батраку жениться на сестре его покойной жены, жизнь самого Феликса, его дочери, матери, брата, жены брата, их сына и дочери и хотя в меньшей степени, но и других его братьев не была бы омрачена заботами, до смешного не соответствующими той причине, которая их вызвала. Но у него было время понять и то, что в этом маленьком эпизоде была затронута основа основ человеческого существования, ибо дело шло о самом простом и самом важном — о человеческой свободе. О самой простой и самой важной проблеме: как далеко может распространяться власть одних людей над жизнью других и насколько эти другие могут позволить первым собой распоряжаться. Вот почему этот эпизод оказал подобное влияние на мысли, эмоции и поступки совершенно посторонних людей. И хотя отцовское чувство то и дело подсказывало Феликсу: «Нельзя допускать, чтобы Недда вовлекали в эту неурядицу!», — он был в меру философом и в те часы, когда в нем дремало отцовское начало, признавал, что «эти неурядицы» вызваны борьбой, которую одну только и стоит вести, — борьбой демократии против самовласти, за право человека распоряжаться собой, как он хочет, если это не приносит другим вреда, борьбой «деревни» против угнетателей этой деревни. Феликс был художником и видел, что все началось с этого маленького эпизода. Правда, потом сюда примешалась своевольная сила, которая зовется любовью. Однако отец, особенно если он боится за своего ребенка, беспощадно подавляет в себе и философа и художника.

Недда вернулась домой вскоре после отъезда Шейлы и показалась Феликсу какой-то постаревшей и невеселой. Как была она непохожа на девушку, которой в ту майскую ночь так хотелось «поскорее все изведать»! О чем она постоянно задумывается, какие планы роятся в этой темной хорошенькой головке? Почему эти ясные

глаза так решительно взглянули на него? Что с ней? Стоит ее окликнуть, и у нее вдруг без всякой причины вздымается грудь, кровь приливает к лицу, словно она была где-то очень далеко и только с огромным трудом заставила себя вернуться. Однако Феликс не мог придумать, как побороть ее увлечение. Трудно, воспитав себя в убеждении, что ты не должен вмешиваться в чужую жизнь, сразу отказаться от него, особенно когда надо вмешаться в жизнь единственной и любимой дочери.

Флора, которой не коснулись события в Джойфилдсе, не могла относиться к ним очень серьезно. Да, по правде говоря, если не считать Феликса и поэзии, неизвестно, относилась ли она к чему-нибудь серьезно. У нее была та немного отвлеченная натура, которые особенно часто встречаются в Хемпстеде. Когда Феликс потребовал от нее помощи, она могла предложить только, чтобы Феликс, кончив писать «Последнего Пахаря», повез их всех за границу. «Давайте осмотрим Норвегию и Швецию, где никто из нас никогда не был, а оттуда можно будет через Финляндию поехать в Россию...»

Чувствуя себя человеком, пытающимся потушить горящий стог водой из маленькой лейки, Феликс предложил этот план своей дочке. Она вздрогнула от неожиданности и ничего не сказала, но по ее телу прошла дрожь, как у зверька, почуявшего опасность. Потом она спросила, когда предполагается эта поездка, и, услышав, что «не раньше второй половины августа», снова погрузилась в задумчивость, как будто ничего не было сказано. Однажды на столе в прихожей Феликс увидел письмо, написанное ее рукой и адресованное одной из вустерских газет, и заметил, что вскоре она стала каждый день получать эту газету, несомненно, интересуясь сообщением о предстоящей судебной сессии. В первых числах августа он попытался вызвать ее на откровенность. Был праздник, и они отправились вдвоем на луг — поглядеть на гуляющих. Когда они возвращались по выжженной траве, замусоренной бумажными пакетами, банановыми корками и огрызками яблок, он взял ее под руку.

— Что делать с ребенком, который весь день думает, думает и никому не говорит, о чем он думает?

Полуобернувшись, она ему улыбнулась:

— Знаю, папочка. Я свинья, правда?

Это сравнение с животным, которое славится своим упрямством, его не обнадежило. Потом она прижала его руку к себе, и он услышал, как она шепчет:

— Неужели все дочери такие дряни?

Он понял, что она подразумевала: «Я хочу только его одного, никому его не отдам, и ничего мне теперь больше не надо на всем белом свете!»

Он ей с грустью ответил:

— Чего же еще от вас ждать?

— Ах, папочка! — воскликнула она, но тем дело и кончилось.

Однако четыре дня спустя она пришла к нему в кабинет и протянула ему письмо; лицо у нее было такое взволнованное и пылающее, что Феликс, уронив перо, в испуге вскочил.

— Прочти, папа. Это неправда! Не может быть! Какой ужас! Что мне делать?

Письмо было написано прямым мальчишеским почерком:

«Вустер. Отель «Король Карл»,
7-го августа.

Недда, любимая,

Только что судили Боба. Его приговорили к трем годам тюрьмы. Сидеть там и смотреть на него было просто ужасно. Он этого не вынесет. Еще страшнее было видеть, как он смотрит на меня. Я больше не могу. Я пойду и сознаюсь во всем. Я обязан это сделать. У меня все продумано; им придется выпустить его. Пойми, если бы не я, он бы никогда этого не сделал. Для меня это вопрос чести. Я не могу позволить, чтобы он так страдал. У меня это не внезапный порыв. Я уже давно решил это сделать, если его признают виновным. Так что в каком-то смысле я испытываю даже облегчение. Я хотел бы раньше повидать тебя, но ты только расстроишься, и у меня потом не хватит духа довести дело до конца. Недда, любовь моя, если ты меня еще не разлюбишь, когда я выйду на свободу, мы с тобой уедем в Новую Зеландию, подальше от этой страны, где тиранят таких бедняг, как Боб. Будь мужественной! Если мне позволят, я завтра тебе напишу.

Твой Дирек».

Первое, что вспомнил Феликс, прочтя эти излияния, был взгляд, который кинул маленький адвокат на Дирека, когда тот устроил сцену на следствии, и его слова: «А он тут не замешан, а?» Потом он подумал: «Может быть, именно это сразу разрубит узел?» Но все это заглушила третья мысль: «Бедная девочка! Как он смеет, этот мальчишка, опять причинять ей такие страдания!»

Он услышал, как она воскликнула:

— Трайст сам мне сказал, что сделал это он! Он мне сказал, когда я была у него в тюрьме. Никакая честь не может потребовать, чтобы человек говорил неправду! Папа, помоги мне!

Феликс не сразу справился с наплывом противоречивых чувств.

— Он написал это письмо вчера вечером, — растерянно произнес он. — Он уже мог выполнить свое намерение. Надо сейчас же поехать к Джону.

Недда стиснула руки:

— Да-да! Конечно!

И у Феликса не хватило мужества сказать вслух то, что он подумал: «Я, правда, не верю, что он нам сможет помочь!» Но хотя, трезво рассуждая, дело обстояло именно так, все же было приятно пойти к человеку, который мог разобраться во всей этой неразберихе, ничего не приукрашивая.

— И на всякий случай все-таки телеграфируем Диреку.

Они тут же отправились на почту, где Феликс составил такую телеграмму:

«Совершенно неуместное благородство, на которое не имеете права, ждите нашего приезда. Феликс Фриленд».

Дав прочесть это Недде, он сунул бланк в окошечко, чувствуя себя очень неловко, ибо употребил слово «благородство».

По дороге к метро он крепко держал ее под руку — для того ли, чтобы вселить в нее храбрость, или, наоборот, стараясь набраться храбрости от нее, — трудно сказать, но он всем сердцем ощущал ее тревогу. Они добрались до Уайтхолла, почти не обменявшись ни словом,

написали на визитной карточке «срочно» и уже через десять минут проникли к Джону.

Джон принял их, стоя в высокой белой комнате, где пахло табаком и бумагой; вся обстановка ее состояла из пяти зеленых стульев, стола и бюро с огромным количеством отделений и ящичков, за которым он, очевидно, работал. Феликс, сразу замечавший все, что касалось его дочери, увидел, с каким трепетом она поздоровалась с дядей и как сразу растаяла ледяная неподвижность его лица. Когда они с Неддой уселись на зеленые стулья, а Джон — у своего бюро, Феликс молча отдал ему письмо Дирека. Джон прочел его и поглядел на Недду. Потом вынул из кармана трубку, которую, видимо, набил еще до их прихода, закурил и еще раз перечитал письмо.

— Он тут ни при чем? — спросил он, прямо глядя на Недду. — Честное слово?

— Ни при чем, дядя Джон. Ему только кажется, что своими разговорами о несправедливости он толкнул Трайста на этот поступок.

Джон кивнул: лицо девушки убедило его в том, что она говорит правду.

— Есть доказательства?

— Трайст мне сам сказал в тюрьме, что виноват он. Он мне признался, что на него вдруг что-то нашло, когда он увидел сено.

Они помолчали.

— Хорошо! — сказал наконец Джон. — Мы с тобой и отцом поедem туда и поговорим с полицией.

Недда с мольбой подняла руки и чуть слышно спросила:

— Дядя! Папа! А я имею на это право? Ведь он говорит, что это вопрос чести... Не получится, что я его предаю?

Феликс не смог ей ответить, но обрадовался, когда на это решился Джон:

— Бесчестно обманывать закон.

— Конечно, но Дирек мне доверяет, иначе он не написал бы этого письма.

Джон спокойно объяснил ей:

— Мне кажется, что твой долг ясен, моя дорогая. Полиции надо решить, обращать ли ей внимание на это ложное признание. Скрывать от них в данных условиях,

что признание это ложное, с нашей стороны просто неправильно. И к тому же, по-моему, глупо.

Как было тяжело Феликсу наблюдать убийственную борьбу, которая шла в сердце дочери — в сердце, которое раньше, а может, и теперь казалось ему неотделимым от его собственного; видеть, как отчаянно она нуждается в его помощи, не решаясь принять решение, — и не оказать ей этой помощи и бояться сказать правду даже самому себе! Недда сидела, молча глядя в пространство, и только крепко сжатые руки и легкая дрожь губ показывали, как ей трудно.

— Я не могу этого сделать, не повидав его. Мне необходимо сначала поговорить с ним, дядя!

Джон встал и подошел к окну; его тоже взволновало выражение ее лица.

— Постарайся понять, чем ты при этом рискуешь. Если Дирек пошел в полицию и признался, а они ему поверили, он не из тех, кто возьмет свои слова обратно. Если он не позволит тебе сказать правду, ты потеряешь возможность действовать. Гораздо лучше, если сначала поговорим с ним мы с твоим отцом. — Тут Феликсу слышалось, что брат пробормотал: «Будь он проклят!»

Недда поднялась.

— Ну, тогда давайте поедем сейчас, хорошо, дядя?

Джон с таким чувством приподнял голову Недды и поцеловал ее в лоб, что Феликс был даже растроган.

— Хорошо,— сказал он.— Поедем сейчас.

Они молча доехали на такси до вокзала Пэддингтон, раздумывая о том трагическом повороте, который приняло это дело, начавшееся с такого пустяка.

Феликс испытывал глубокое сострадание к дочери, однако им все больше овладевала растерянность, страх потерять самоуважение, который охватывает даже философов, если кому-нибудь из их близких грозит громкий скандал. Он был зол на Дирека, на Кэрстин и даже на Тода за то, что тот сложа руки смотрел на возмутительное воспитание своих детей, которое привело к такой катастрофе! Борьба с несправедливостью, сочувствие чужим страданиям, рыцарство? Да! Но нельзя же, чтобы все это было по его дочери, по всей семье и, в конце концов, по нему самому! Они поставлены в невыносимое положение! Феликс тут же решил, что удастся им или

нет спасти Дирека от его донкихотской выходки, Недду он все равно не получит! И ему сразу же стало трудно встречаться взглядом с дочерью.

Они заняли пустое купе и, рассевшись по углам, машинально развернули вечерние газеты. Ведь что бы с человеком ни случилось, он все равно должен прочесть газету! Без этого жизнь станет совсем уж невыносимой! Феликс купил газету мистера Каскота и долго ее листал, не соображая, что там написано, как вдруг ему в глаза бросилось следующее сообщение:

«Трагическая смерть заключенного! Вчера, во второй половине дня, в городе Вустере, человек по фамилии Трайст, приговоренный за поджог к трем годам тюрьмы, напал на конвоиров, сопровождавших его из суда обратно в тюрьму, и попытался бежать. Спасаясь от погони, он кинулся прямо в поток машин на мостовой и попал под автомобиль, двигавшийся с довольно большой скоростью. Несчастный получил удар по голове и умер тут же на месте. Причины такого отчаянного поступка остались невыясненными. Известно только, что Трайст страдал эпилепсией. Предполагают, что у него начинался припадок».

Феликс замер, прикрывая желтоватыми листами газеты лицо и не зная, как ему быть. Что это за собой повлечет? Что будет? Теперь, когда Трайст мертв, донкихотский поступок Дирека теряет всякий смысл. Но, может быть, он уже «признался»? Из газетной заметки следует, что самоубийство произошло сразу же после суда, до того, как юноша написал письмо Недде. Не может быть, чтобы он до сих пор об этом не знал и не отказался от своего безумного замысла! Феликс нагнулся вперед, тронул Джона за колено и передал ему газету. Джон прочел заметку и вернул газету; братья молча переглянулись. Потом Феликс еле заметно показал головой на дочь, и Джон кивнул. Перебравшись поближе к Недде, Феликс взял ее за руку.

— Прочитай вот это, детка.

Недда прочла, вскочила, потом опять упала на сиденье.

— Бедный, ах, бедный! — воскликнула она. — Что же это, папа! Ах, бедный!

Феликсу стало стыдно. Хотя смерть Трайста так для

нее все упрощала, она чувствовала только жалость к этому бедняге. Он же, для кого все это значило куда меньше, испытывал только облегчение.

— Он говорил, что не вынесет тюрьмы; он мне тогда еще сказал! Но я не думала... Ах, несчастный!—И, спрятав лицо на плече отца, она разрыдалась.

У Феликса все внутри сжалось, он слышал, что и Джон тяжело дышит в своем углу. Не зная, как ее утешить, он молча гладил ее руку. Наконец она прошептала:

— Теперь уже Диреку некого спасать. Ах, папа, если бы ты видел этого беднягу в тюрьме!

Феликс только и нашелся сказать:

— Деточка, в тюрьмах сидят тысячи и тысячи несчастных...

После всех волнений наступила апатия, и остальные три часа они ехали молча. А поезд, гроыхая, шел по мирной, полной довольства земле.

ГЛАВА XXXV

Они приехали в Вустер к пяти часам и сразу отправились в гостиницу «Король Карл». Хорошенькая конторщица сообщила им, что молодой джентльмен расплатился по счету и ушел часов в десять утра. Но вещи свои он пока оставил в номере. Она не заметила, чтобы он возвращался. К нему в номер надо подняться по той лестнице в конце коридора. В гостинице есть другой вход — он мог войти оттуда. Коридорный проводит их в номер.

Они прошли через вестибюль, загроможденный мебелью, — стены, как и полагается в провинциальных английских гостиницах, были украшены оленьими головами и батальными гравюрами; поднялись за коридорным на пять ступенек вверх по лестнице, устланной красной дорожкой, и прошли в самый конец плохо освещенного зеленого коридора. На их стук никто не отозвался. Маленькая темная комната с полосатыми обоями и несколькими батальными гравюрами выходила на боковую улицу и вся пропахла пылью. На кожаном диване стоял приготовленный к отъезду и уже затянутый рем-

нями потрепанный чемодан, а на нем — нераспечатанная телеграмма Феликса. На случай, если Дирек вернется через боковой вход, Феликс написал на своей визитной карточке записку: «Приехал с Неддой. Ф. Ф.» — и положил ее рядом с телеграммой; затем они вернулись к Джону, которого оставили в вестибюле.

Нет ничего труднее, чем ждать, когда тебя мучит беспокойство. Успокоить могут только чай, папиросы и теплая ванна. Они все это испробовали, кроме ванны. Ни Джон, ни Феликс не хотели справляться в полиции, пока точно не узнают, что произошло; расспрашивать прислугу в гостинице тоже не стоило, чтобы не давать повода к сплетням. Оставалось только сидеть сложа руки, пока окончательно не выяснится, что Дирек не вернется. Вынужденное ожидание еще больше взвинтило Феликса: этот мальчишка, как нарочно, делает все, чтобы Недда страдала! Невозможно смотреть, как она сидит, словно каменная, изо всех сил стараясь скрыть свое волнение. Наконец он поднялся и сказал Джону:

— Пожалуй, следует сходить туда.— И когда Джон кивнул, он прибавил: — А ты, девочка, посиди здесь. Кто-нибудь из нас тут же вернется и расскажет тебе все, что мы узнаем.

Она благодарно на них взглянула, и братья ушли. Не успели они пройти и двадцати шагов, как навстречу им попался Дирек; вид у него был несчастный и потерянный. Когда Феликс взял его за руку, он вздрогнул и с недоумением посмотрел на дядю, словно не узнавая его.

— Мы уже прочли про Трайста,— сказал Феликс.— А ты ничего еще не предпринимал?

Дирек покачал головой.

— Ну и хорошо! Джон, расскажи об этом Недде и побудь с ней. Я хочу поговорить с Диреком. Мы пройдем через ту дверь.— Он взял юношу под руку и повел его по переулку. Когда они вошли в мрачный, маленький номер, Феликс показал ему телеграмму:

— Это от меня. Ты, очевидно, вовремя узнал о его смерти и никуда уже не ходил?

— Да,— ответил Дирек. Прочтя телеграмму, он бросил ее на пол и присел на кожаный диван, рядом с чемоданом. Вид у него был почти безумный.

Феликс стоял, прислонившись к комоду.

— Я хочу с тобой поговорить откровенно, Дирек,— негромко сказал он.— Ты понимаешь, как это действует на Недду? Неужели ты не видишь, как она из-за тебя несчастна! Ты, правда, тоже не очень счастлив...

Юноша содрогнулся.

— Счастье? Если убьешь человека, разве думаешь о счастье — своем ли собственном или чьем бы то ни было?

Теперь растерялся Феликс; он резко прервал Дирека:

— Замолчи! Это у тебя навязчивая идея.

— Боб Трайст погиб,— горько усмехнулся Дирек.— А виноват в его смерти я. От этого не отмахнешься.

Феликс, всмотревшись в изможденное лицо Дирека, с ужасом понял, что это действительно может перейти в манию.

— Дирек,— сказал он,— ты так много об этом думаешь, что готов приписать себе бог знает что. Разве мы можем брать на себя ответственность за косвенные результаты наших слов? Ведь тогда ни один из нас не проживет и недели. Ты измучен. Завтра все покажется тебе совсем в другом свете.

Дирек встал и принялся шагать по комнате.

— Честное слово, я хотел его спасти. Я даже пытался — тогда, в Треншеме! — И Дирек уставился на Феликса диким взглядом.— Ведь это верно? Вы же там были — вы сами слышали...

— Да, да, я слышал...

— Они тогда не дали мне говорить. Я понадеялся, что его потом оправдают, и не настаивал. А теперь он умер. Вы даже не представляете себе, что это для меня...

Судорога сжала его горло, и Феликс с искренним состраданием сказал:

— Милый мой, пойми: твое чувство чести принимает нелепые формы. Трайст — взрослый человек и прекрасно знал, что он делает.

— Нет. Он был как верный пес — и старался угадывать мои желания. Но я вовсе не хотел, чтобы он поджигал эти стога...

— Не сомневаюсь. Никто не поставит тебе в вину несколько запальчивых слов. Можно подумать, что он был мальчишкой, а ты взрослым человеком. Опомнись!..

Дирек снова опустился на диван и закрыл лицо руками.

— Я не могу забыть его. Весь день он от меня не отходит. Я все время его вижу.

Феликсу было ясно, что юношу действительно преследуют галлюцинации. Как бороться с этой манией? Как отвлечь его и заставить думать о другом?

— Слушай, Дирек, прежде чем думать о Недде,— сказал Феликс,— надо вернуть себе равновесие. Вот это, если хочешь, для тебя вопрос чести.

Дирек высоко вскинул голову, словно уклоняясь от удара. Заметив, что его слова действуют, Феликс сурово продолжал:

— Нельзя служить двум богам сразу. Защищать слабых тоже надо уметь,— нельзя играть с огнем, когда не знаешь, как его погасить. Ты сам видишь, к чему это приводит. Пора повзрослеть. Иначе я не смогу доверить тебе дочь.

Губы у Дирека задрожали, кровь прилила к лицу, но тотчас отхлынула, и он стал бледнее, чем прежде.

У Феликса было ощущение, будто он ударил юношу по лицу. Но все средства хороши, лишь бы избавить его от этого чудовищного бреда. Напрасная надежда! Дирек вдруг поднялся и сказал:

— Если я побываю в тюрьме и посмотрю на него, может быть, он даст мне передохнуть...

Феликс ухватился за эту соломинку:

— Да, иди простись с беднягой; и мы тоже пойдем с тобой.

И он отправился за Неддой.

Когда они вышли из гостиницы, они увидели, что Дирек, не дожидаясь, убежал вперед. По дороге Феликс ломал себе голову: надо ли рассказать Недде, в каком ужасном состоянии Дирек? Дважды он набирался храбрости, но запинался на полуслове, взглянув на ее лицо — она словно никак и не могла понять, почему ее возлюбленный избегает ее. Нет, лучше уж помолчать...

Около самой тюрьмы она коснулась его плеча:

— Посмотри, папа!

И Феликс прочел надпись на углу той улицы, где стояла тюрьма: «Аллея любви».

Дирек ждал их у входа. После долгих переговоров

их наконец повели по коридору, где в прошлый раз Недда видела арестанта, который мыл пол и смотрел на нее. Затем они вышли во двор, куда заключенных выводили на прогулку и где они шагали, образуя живой, движущийся узор. Еще несколько ступенек, и они очутились в тюремной больнице. Здесь в выбеленной комнате стояла узкая кровать, а на ней лежало тело великана-батрака, завернутое в простыню.

— Мы похороним его в пятницу. Жаль человека: такой силач.

Услышав слова надзирателя, Феликс вздрогнул. Как страшен последний покой этого мертвого тела!

В застывшей неподвижности смерти есть та же красота, что и в величественных зданиях, — как удивительно мертвое тело, словно дивящееся тому, что совсем недавно оно было живым. Черты мертвеца хранят отпечаток страстей и желаний, любви и ненависти, всей его немой, суровой и заурядной жизни. Всем своим видом, взывающим к жалости, он как будто спрашивает свою душу: «Зачем ты покинула меня?»

Смерть! Есть ли что-нибудь поразительнее мертвого тела, — совершенное творение жизни, ей уже больше не нужное. Оно еще есть, но его уже нет, — что может быть таинственнее этого?

На разбитой голове виднелась повязка, а под ней уже закрытые глаза, в которых некогда светилась такая тоска! На небритом лице — волосы у покойников растут быстрее, чем у живых, — смерть своим величием сгладила то, что в нем было грубого и мрачного, и оно застыло с выражением задумчивой покорности. Связана ли еще душа с этим телом? Где она? Не витает ли она здесь, в комнате, видимая только Диреку? Стоит ли она рядом с тем, что осталось от батрака Трайста, смиреннейшего из людей, который все же осмелился восстать, хотя был рабом и потомком рабов, испокон веку рубивших деревья, носивших воду и выполнявших приказы других людей? Или его душа уже стала крылатой и взывает к душам всех, кто еще унижен и поработен?

Тело Трайста вернется в землю, которую он обрабатывал, дикие травы вырастут на его могиле, а время на года будут обвевать ее ветрами и кропить дождем. Но где то, что связывало эти мертвые члены в одно

живое целое? Где косноязычный и медлительный дух, который не спрашивал, что такое жизнь, и был слепо предан всем, от кого видел добро, а потом вдруг поддался темному инстинкту разрушения, тому, что у людей привилегированного общества именовалось бы вспыльчивостью. «Где он?» — спрашивал себя Феликс.

А о чем думает Недда и этот измученный мальчик — о чем они думают? Их лица выражают только одно — глубочайшую сосредоточенность, словно они пытаются понять, что же сковало мертвое тело в этом жутком покое? Это их первое соприкосновение со смертью; они впервые поняли, какая преграда отделяет мертвого от живых. Ничего удивительного, что это заслонило у них все другие мысли и чувства.

Недда первая направилась к выходу. Феликс пошел с ней рядом, удивляясь ее самообладанию. Вид смерти потряс ее меньше, чем весть о ней. Она тихо сказала:

— Я рада, что видела его; теперь я буду вспоминать его таким примиренным и спокойным — в прошлый раз он был совсем другой...

Дирек нагнал их, и они молча пошли обратно в гостиницу. Но у самого входа Недда вдруг попросила:

— Дирек, пойдем со мной в собор, я не могу сейчас оставаться в четырех стенах.

К огорчению Феликса, юноша кивнул, и они ушли. Может быть, следовало их задержать? Пойти с ними? Как должен был поступить настоящий отец? И, тяжело вздохнув, Феликс вернулся в номер.

ГЛАВА XXXVI

В этот тихий вечер на темно-синем небе сияла яркая луна, и залитая ее светом улица была полна гуляющих. Большой собор, вонзивший в небо тяжелые башни, был заперт. Они постояли около, задрав головы, и Недда вдруг подумала: «Где похоронят Трайста, ведь он самоубийца? Неужели не позволят положить его на кладбище? Но ведь чем несчастней был человек, тем добрей надо к нему быть».

Они свернули в переулок; на углу, как привидение

белел старинный деревянный особняк; за ним кто-то из церковных магнатов разбил большой сад, и он словно притаился за высокой оградой; там поднимались платаны, простирая во все стороны густые ветви, которые в этот прекрасный августовский вечер застили свет углового фонаря и отбрасывали на мостовую густые тени. Зажужжал майский жук, черный котенок играл со своим хвостом на ступеньке в одной из ниш. Переулок был пуст.

Сердце Недды тревожно билось. Почему у Дирека такое странное, застывшее лицо? И он еще не сказал ей ни слова. Ей мерещились всякие ужасы, и она уже вся дрожала.

— Что с тобой? — сказала она наконец. — Дирек, ты меня разлюбил?

— Тебя нельзя разлюбить.

— В чем же дело? Ты думаешь о Трайсте?

Она услышала отрывистый смешок: словно всхлипнув, он ответил:

— Да...

— Но ведь все кончено. Он обрел вечный покой.

— Покой! — И Дирек прибавил чужим, мертвым голосом: — Прости, Недда. Тебе тяжело, я знаю. Но это выше моих сил.

Что выше его сил? Почему он ее мучает и ничего ей не говорит? Между ними появилась какая-то преграда... Что это? Она молча шла рядом с Диреком, смутно замечая и шорох платанов, и лунный свет на стене белого особняка, и тишину, и скользившие по каменной ограде тени Дирека и ее. В его лице, в его мыслях ей чудилось что-то чужое, недоступное.

— Скажи мне, Дирек, скажи! — вырвалось у нее. — С тобой мне ничего не страшно!..

— Я не могу от него избавиться, вот и все. Мне казалось, если я пойду и посмотрю на него, это кончится. Но ничего не помогло.

Недду охватил ужас. Она вгляделась в его лицо — изможденное, смертельно бледное. Они спускались теперь по откосу вдоль глухой фабричной стены — впереди лежала озаренная луной река; у берега стояли лодки. Из какой-то трубы вырвался клуб черного дыма и понесся по небу; над водой блестел освещенный мост.

Они повернули назад — к темной громаде собора. Парочки на скамейках вдоль реки и не думали расходиться: они были так счастливы — теплая ночь, август, луна! Недда и Дирек брели в безысходном молчании все дальше и дальше, мимо скамеек с влюбленными парочками, — туда, на прибрежную дорогу, тянувшуюся вдоль лугов, где запах сена, свежей стерни и обрызганных росами трав заглушал затхлую прель речного ила. И еще дальше — в лучах луны, которые, преследуя их, пробивались сквозь ивняк. Спугнутые их шагами водяные крысы скатывались вниз и бросались в воду: где-то далеко залаяла собака; слышался паровозный гудок, заквакала лягушка. Стерня и молодой клевер были еще пропитаны солнечным теплом, и струйки теплого воздуха просачивались в прохладную ивовую рощу. Такие лунные ночи не знают сна. Казалось, будто ночь торжествует, понимая, что она властвует над рекой, лугами и притихшими деревьями, которые не смеют даже шелестеть. Внезапно Дирек сказал:

— Он идет с нами. Посмотри — вон там!

На секунду Недде показалось, что рядом с ними, у самого края стерни, действительно движется какая-то смутная, серая тень. Задыхаясь, она закричала:

— Нет, нет, не пугай меня! Сегодня я этого не вынесу! — И, как ребенок, уткнула голову ему в плечо. Он обнял ее, и она еще крепче прижала лицо к его куртке. Так вот кто отнимает у нее Дирека — это дух Боба Трайста! Враждебный, зловещий призрак! Она еще крепче прижалась к Диреку и подняла глаза к его лицу. Они стояли в темном ивняке, куда сквозь листву пробивались редкие лунные лучи и где все было удивительно пусто и тихо. Руки Дирека согревали ее, и Недда прильнула к нему; она сама не понимала, что делает, она ничего, в сущности, не понимала, кроме одного: ей хочется, чтобы он никогда не отпускал ее, ей хочется, чтобы он ее целовал, забыв о том, что его преследует, остался навеки с ней. Но его губы никак не хотели приблизиться к ее губам. Они были почти рядом, они дрожали, тянулись к ней... Недда прошептала:

— Поцелуй меня...

Она почувствовала, как Дирек вздрогнул; глаза его потемнели, губы судорожно передернулись, как будто

он хотел поцеловать ее, но не решался. Что с ним? Что с ним происходит? Неужели он ее не поцелует? Пока длилась эта тягостная пауза и они неподвижно стояли в тени ивняка, испещренной лунными бликами, Недда ощущала такую тревогу, какой она еще никогда в жизни не испытывала. Он отказался ее поцеловать! Не хочет! Почему? Да еще в такую минуту, когда в ее жилах, в теплоте его рук, в его дрожащих губах — повсюду вокруг них — было что-то новое, таинственное, жуткое, сладостное... И, чуть не плача, она зашептала:

— Дирек, я хочу быть с тобой, я ничего не боюсь, я хочу всегда быть с тобой! — Но тут она почувствовала, как он покачнулся и ухватился за нее, будто вот-вот упадет. Тогда Недда забыла все, кроме того, что это больной, которого она только что выходила. Он опять болен! Просто болен!

— Дирек,— воскликнула она,— успокойся! Все хорошо. Пойдем потихоньку домой.

Она крепко схватила его за руку и повела к гостинице. По дрожанию его руки, по напряженному взгляду Недда понимала, что, делая шаг, он не знает, удержится ли на ногах. Но сама она была уверена и спокойна; теперь ею владела одна-единственная мысль — довести его до дому по совсем уже пустой дороге, освещенной луной, мимо ночных лугов и белевшей внизу реки. Как же она сразу не поняла, что он совершенно измучен и его нужно поскорее уложить в постель?

Они медленно шли — мимо фабрики, вверх по переулку, где под ветвями платанов был сад церковного магната; затем, миновав белый особняк на углу, они очутились на главной улице, где еще попадались прохожие.

У входа в гостиницу стоял Феликс, растерянный, как старая курица, и, поглядывая на часы, поджидал дочь. К большому облегчению Недды, он, увидев их, тотчас же скрылся в вестибюле,—она не могла сейчас ни с кем разговаривать. У нее была только одна цель — поскорее уложить Дирека.

Пока они шли, лицо его было словно окаменевшим; сейчас, когда он сел на кожаный диван, у него начался такой озноб, что зуб не попадал на зуб. Она позвонила коридорному и велела принести грелку, коньяк и горячей воды. Он выпил глоток — дрожь утихла, и он за-

явил, что ему лучше, и потребовал, чтобы Недда ушла. Она не решалась расспрашивать его, но, когда начался упадок сил, галлюцинации как будто прекратились; прикоснувшись губами к его лбу с такой материнской нежностью, что он поднял глаза и улыбнулся, Недда спокойно сказала:

— Я приду попозже и хорошенько закутаю тебя в одеяло.

Феликс ждал ее в вестибюле возле столика, где стояла чашка с молоком и хлеб. Не говоря ни слова, он снял с них салфетку. Пока Недда ужинала, он не спускал с нее глаз, но не решался ее расспрашивать. Лицо ее было непроницаемо, и он только отважился сказать:

— Дядя Джон уехал ночевать в Бекет. Я снял для тебя номер рядом со своим и раздобыл зубную щетку, что-то вроде гребешка, и еще всякую мелочь... Думаю, ты как-нибудь обойдешься.

Недда простилась с отцом у порога его номера и пошла к себе. Выждав десять минут, она снова потихоньку выскользнула в коридор. Все было тихо, и она решительно спустилась вниз. Ей было безразлично, что о ней подумают. Ее, наверно, принимают за сестру Дирека, а если нет, ей это тоже все равно. Был уже двенадцатый час; свет почти повсюду погасили, и вестибюль явно нуждался в утренней уборке. В коридоре тоже было темно. Недда приоткрыла дверь и подождала несколько секунд, пока не услышала тихий голос Дирека:

— Недда, иди, я не сплю.

Сквозь занавеску, пропускавшую решительно все, пробивался лунный свет; в этой полутьме Недда тихонько пробралась к кровати. Она едва могла разглядеть лицо Дирека и его полный обожания взгляд. Положив руку ему на лоб, она шепотом спросила:

— Тебе хорошо?

— Да, очень, — шепнул он в ответ.

Она опустилась около кровати на колени и положила голову рядом с ним на подушку. Удержаться от этого она не могла; теперь им стало уютно и спокойно. Он дотронулся губами до ее носа. В этот миг она перехватила его взгляд — томный и нежный. Затем она встала.

— Хочешь, я посижу с тобой, пока ты заснешь?

— Да. Но спать я не буду. А ты?

Недда в темноте отчаянно покачала головой. Спать. Нет, ей не до сна!

— Ну что ж, тогда спокойной ночи.

— Спокойной ночи, мой темноглазый ангел.

— Спокойной ночи, — прошептав эти слова, Недда тихонько открыла дверь и бесшумно ушла.

ГЛАВА XXXVII

Недда долго не могла сомкнуть глаз и представляла себе, что она там, где ей уже совсем нельзя было бы уснуть. Но когда наконец она забылась, ей приснился сон: они вдвоем с Диреком очутились на какой-то звезде, где все деревья белые, и вода, трава, птицы — тоже все белое. Они с Диреком идут, взявшись за руки, а вокруг растут белые цветы. И когда она нагнулась, чтобы сорвать один из них, оказалось, что это вовсе не цветок, а Трайст — его забинтованная голова! Недда с криком проснулась.

В восемь часов она уже была одета и сразу же пошла в комнату Дирека. На ее стук никто не ответил; у нее от страха сжалось сердце, и она толкнула дверь. Дирека не было; он взял свои вещи и ушел. Недда побежала в вестибюль. В конторе для нее лежала записка, и она пошла к себе, чтобы не читать ее на людях. Там было написано:

«Он вернулся утром. Я еду первым же поездом домой. По-моему, он хочет, чтобы я что-то сделал.

Дирек».

Вернулся! То самое, то серое нечто, которое, как ей показалось, и она на мгновение увидела в лучах у реки! Дирек опять мучается, как мучился вчера! Это ужасно! Недда сидела, опустив руки, пока не пришел отец. Ей стало легче оттого, что и он знает про это несчастье. Он не стал возражать, когда она предложила поехать следом за Диреком в Джойфилдс. Они отправились сразу же после завтрака. Теперь, когда она знала, что

скоро увидит Дирека, страх ее немного прошел. Но в поезде она сидела молча, разглядывая пол, и только раз взглянула на отца из-под длинных ресниц.

— Ты это можешь понять, папа?

Феликс, который был немногим веселее ее, ответил:

— В этом человеке было что-то странное. Не забывай, что Дирек недавно болел. Но для тебя все это слишком тяжело, Недда. Меня это огорчает. Мне все это ужасно не нравится!

— Я не могу с ним расстаться, папа. Это невозможно!

Феликс замолчал, услышав ее резкий тон.

— Будем надеяться, что его мать как-нибудь ему поможет,— сказал он.

Ах, если бы Кэрстин захотела помочь — услать его куда-нибудь подальше от этих батраков, подальше от этих мест вообще!

Выйдя из поезда, они пошли через луга, что сокращало дорогу почти на целую милю. Трава и рощи ярко блестели на солнце; трудно было поверить, что люди могут страдать из-за такой приветливой земли, испытывать горе и терпеть несправедливость, живя и работая на этих светлых полях. В этом земном раю у жителей должна быть завидная доля, сытое существование, не хуже хотя бы, чем у этих холеных, довольных коров, поднимавших к ним любопытные морды! Недде захотелось погладить одну из них; нос у нее был тупой, мокрый, сероватый. Но животное, фыркая, отпрянуло от ее руки, и мягкие недоверчивые глаза в каштановых ресницах, казалось, упрекали девушку в том, что она принадлежит к породе, от которой нельзя ждать ничего хорошего.

На последнем поле, где им надо было сворачивать к Джойфилдсу, они встретили приземистого белобрысого человека без шапки и без куртки; он только что загнал скотину и возвращался с собакой, припадая на обе ноги, словно все еще шел за стадом. Проходя мимо, он кинул на них такой же недоверчивый взгляд, как та корова, которую хотела погладить Недда. Она поняла, что это один из батраков Маллоринга, и ей захотелось его расспросить, но вид у него был смущенный, подозрительный, словно он поймал их на том, что они пы-

тались его в чем-то обмануть. Тем не менее она набралась храбрости и спросила:

— Вы знаете, что случилось с бедным Бобом Трайстом?

— Слышал... Уж больно не нравилось ему в тюрьме. Говорят, будто тюрьма выедает сердце у человека. Вот он и не стал этого дожидаться.

Улыбка, искривившая его губы, показалась Недде странной и жестокой, словно этот человек радовался, что его товарища постигла такая судьба. Она не нашла, что ответить, и почему-то спросила:

— Пес у вас хороший?

Он взглянул на семенившую рядом собаку с опущенным хвостом и помотал головой.

— Никуда не годится для скотины, боится ее тронуть! — Потом, глядя на нее искоса, неожиданно добавил: — Ну, а молодой мистер Фриленд головой все же треснулся!

И снова в голосе его послышалось злобное удовлетворение, а губы искривила жестокая усмешка. Недде стало еще тоскливее.

Они разошлись в разные стороны на перекрестке и видели, что он смотрит им вслед, когда они поднимались по ступенькам к калитке. Посреди грядки с ранними подсолнечниками стоял Тод, окруженный тремя маленькими Трайстами и собакой. Все они, по-видимому, изучали самый большой подсолнечник, на котором сидели пестрая бабочка и пчела — одна на золотом лепестке, другая — на черном венчике. Недда торопливо подошла к ним и спросила:

— Дирек вернулся, дядя Тод?

Тод поднял на нее глаза. Он, казалось, ничуть не удивился, словно уже привык, что его родственники падают с неба в десять часов утра.

— Да. И ушел опять, — сказал он.

Недда кивком головы показала на детей.

— Вы уже слышали, дядя Тод?

Тод кивнул, и его голубые глаза, глядевшие поверх детских головок, потемнели.

— А бабушка еще здесь?

Тод снова кивнул.

Оставив Феликса в саду, Недда поднялась наверх и постучала в дверь к Фрэнсис Фриленд.

Эта стоическая женщина позволяла себе единственную роскошь — завтракать у себя в комнате, и сейчас она готовила себе завтрак на маленькой спиртовке.

— Ах, милочка! — воскликнула она, увидев Недду. — Откуда ты взялась? Ты должна выпить со мной какао, оно такое вкусное! Посмотри, какая чудная спиртовка. Ты когда-нибудь видела, чтобы они так прекрасно горели? Гляди!

Она дотронулась до спиртовки, и слабенькое пламя тотчас погасло.

— Ах, как досадно! Но это чудесная вещь, совсем новое устройство. Я тебе непременно такую куплю. Пей поскорее какао, оно очень горячее.

— Я уже позавтракала, бабушка.

Фрэнсис Фриленд недоверчиво поглядела на нее, потом принялась сама пить какао, что ей, по правде говоря, давно пора было сделать.

— Бабушка, ты мне поможешь?

— Конечно, милочка. В чем?

— Я хочу, чтобы Дирек забыл всю эту ужасную историю.

Фрэнсис Фриленд отвинтила крышку маленькой коробочки.

— Да, конечно, милочка. Я тоже думаю, что для него это будет самое лучшее. Открой рот, я положу туда чудный сухарик. Они с гематогеном и страшно полезны после дальних поездок... Боюсь только, что он меня не послушается, — добавила она грустно.

— Да, но вы можете поговорить с тетей Кэрстин, а ее он послушается.

На лице Фрэнсис Фриленд появилась необычайно трогательная улыбка.

— Конечно, я могу с ней поговорить. Но, понимаешь, со мной ведь никто не считается. Старых людей редко слушают.

— Что вы, бабушка, с вами все считаются! Еще как! Все восхищаются вами. У вас есть то, чего нет ни у кого другого. И вы совсем не старая душой.

Фрэнсис Фриленд повертела на пальце одно из своих колец и сняла его.

— Ну, об этом лучше не думать,— сказала она.— Я давным-давно хотела отдать тебе это кольцо, оно так жмет мне палец! А ну-ка, давай посмотрим, годится ли оно тебе!

Недда отпрянула от нее.

— Ах, бабушка! Какая вы...— воскликнула она и убежала.

В кухне по-прежнему никого не было, и она села, дожидаясь, пока тетя не кончит уборки наверху.

Наконец Кэрстин в своем неизменном синем платье сошла вниз. Она выразила удивление при виде племянницы лишь легким подергиванием бровей. И дрожа, Недда принялась рассказывать ей все, как было: и о письме Дирека, и об их поездке в Вустер, о разговоре с ним отца, о том, как они ходили посмотреть на мертвого Трайста, о прогулке к реке, о том, как он угнетен и несчастен. Показав ей полученную утром записочку, она воскликнула:

— Ах, тетя Кэрстин, сделайте так, чтобы ему стало легче! Ведь у него же просто галлюцинации, вы должны его от всего этого оградить!

Кэрстин слушала ее, стоя в своей любимой позе: упершись ногой в решетку очага. Когда девушка замолчала, она тихо сказала ей:

— Недда, я ведь не колдунья!

— Но если бы не вы, он бы никогда не вмешался в это дело! А теперь, когда несчастный Трайст умер, ему все равно больше нечего делать. Я уверена, что только вы можете сделать так, чтобы ему больше ничего не мерещилось!

Кэрстин покачала головой.

— Послушай, Недда! — сказала она медленно, словно взвешивая каждое слово.— Я хотела бы тебе кое-что объяснить. У нас в стране существует ложное представление, будто люди здесь свободны. Когда я была еще девочкой, такой молодой, как ты, я уже и тогда знала, что это неправда; свободны у нас только те, кто может заплатить за свою свободу. Но одно дело — это понимать, а другое — чувствовать всем своим существом. Когда у человека вроде меня всегда открыта рана и она то и дело воспаляется от того, что происходит вокруг, нечего удивляться, что она иногда заражает своим жа-

ром окружающих. Дирек заразился от меня этой болью, вот и все! Но у меня она никогда не пройдет, Недда, никогда!

— Да, но, тетя Кэрстин, он ведь в ужасном состоянии! Я не могу этого видеть.

— Дорогая, Дирек очень впечатлителен; к тому же он был болен. В нашей семье у многих бывали видения. Это пройдет.

Недда горячо запротестовала.

— Я не верю, что это у него пройдет, если он останется здесь и будет надирать свое сердце! А они еще хотят меня с ним разлучить! Я вижу, что хотят!

Кэрстин обернулась, ее глаза сверкнули.

— Они?.. А-а... Ну что ж! Тебе придется бороться, если ты хочешь стать женой бунтаря.

Недда растерянно поднесла руку ко лбу.

— Видишь ли, Недда, борьба никогда не прекращается. И бороться приходится не только с той или другой несправедливостью, бороться надо со всякой силой, со всяким богатством, которые пользуются тем, что они сила и богатство. Эта борьба никогда не кончается. Подумай хорошенько, прежде чем вступать в нее.

Недда отвернулась. Что тут думать, когда мысль о том, что она не хочет, не может с ним расстаться, заглушала все остальные! Она прижалась лбом к переплету окна, стараясь найти какие-то убедительные слова. Там, над садом, ярко голубело небо, вокруг было радостно и легко, и в воздухе кружили веселые бабочки. Слышно было, как где-то поблизости остановился автомобиль, его фыркание отчетливо раздавалось в тишине, нарушаемой только воркованием голубей и пением малиновки. Вдруг Недда услышала, как Кэрстин сказала:

— Ну вот, покажи, на что ты способна. Они здесь!

Недда обернулась. На пороге стояли дядя Джон и дядя Стенли; за ними шли отец и дядя Тод.

Что это значит? Зачем они приехали? Она очень встревожилась и поглядывала то на одного, то на другого. Стояли они как-то напряженно, словно не были уверены, как их примут, но в то же время в глазах у них светилась решимость и даже, пожалуй, угроза. Джон подошел к Кэрстин и протянул ей руку.

— Феликс и Недда, наверно, рассказали вам, что

было вчера. Мы со Стенли решили, что нам лучше приехать.

Не отвечая ему, Кэрстин попросила:

— Тод, сходи, пожалуйста, к маме и скажи ей, кто здесь.

Потом все они замолчали, не зная, что сказать и куда девать глаза, пока, наконец, не вышла радостная, но немножко встревоженная Фрэнсис Фриленд. Когда она их всех расцеловала, они сели. Недда, примостившись у окна, крепко сжимала руки у себя на коленях.

— Мы приехали поговорить о Диреке...— сказал Джон.

— Да! — перебил его Стенли. — Ради всего святого, Кэрстин, прекратите это. Только подумайте, что могло бы произойти, если бы этот бедняга вовремя не отдал богу душу!

— Вовремя?

— Конечно. Вы же знаете, на что решился Дирек! Черт возьми! Вряд ли нам было бы приятно иметь в семье уголовника!

Фрэнсис Фриленд, которая только молча сплетала пальцы, вдруг поглядела на Кэрстин.

— Я не очень все это понимаю, дорогая, но Джон всегда говорит разумно и правильно. Не забывайте, что он старший и у него большой жизненный опыт.

Кэрстин наклонила голову. Если в этом и была ирония, Фрэнсис Фриленд ее не заметила.

— Милый Дирек, как и всякий джентльмен, не должен нарушать законы своей страны или принимать участие в каких-то противозаконных делах. Я все время молчала, но на душе у меня было очень тяжело. Ведь надо же признаться, что все это было не совсем прилично, правда?

Недда увидела, что отец ее вздрогнул. Но тут в разговор снова вмешался Стенли.

— Теперь вся эта история, слава богу, кончена, и прошу вас, дайте пожить всем спокойно!

В эту минуту лицо тети показалось Недде просто необыкновенным: оно было такое застывшее и в то же время в нем было столько огня!

— Спокойно? В мире нет и не может быть покоя! Есть смерть, а покоя нет! — И, подойдя к Тоду, она по-

ложила руку ему на плечо и, как показалось Недде, устремила взгляд куда-то далеко-далеко.

Джон сказал:

— Речь ведь идет сейчас не об этом. Мы были бы очень рады, если бы вы нас заверили, что никаких беспорядков больше не будет. Вся эта история нас очень тревожила. А сейчас причина ее, по-видимому, отпала.

В его тоне была какая-то непререкаемость, и Недда увидела, как все повернули головы к Кэрстин, ожидая ее ответа.

— Когда все, кто кичится у нас в стране своей верой в свободу, перестанут отнимать у обездоленных последние крохи этой свободы, только тогда причина и в самом деле отпадет!

— Иными словами, этого не будет никогда?

Услышав, что сказал Феликс, Фрэнсис Фриленд посмотрела на него, а потом с огорчением на Кэрстин.

— По-моему, дорогая Кэрстин, тебе не следовало этого говорить. Люди мало-мальски приличные не хотят никому зла. Но мы все порою бываем невнимательны. Я знаю это по себе: ведь и я часто забываю, что надо думать не только о себе, но и о других. Меня это ужасно огорчает.

— Мама, не надо защищать произвол!

— Я уверена, дорогая, что люди его допускают из самых лучших побуждений!

— Но и восстают они тоже из самых лучших побуждений!

— Ну, в этом я не разбираюсь, дорогая. Но я, как и наш дорогой Джон, сожалею обо всем, что произошло. Диреку будет очень тяжело, если ему придется в старости раскаиваться в том, что он сделал. Куда лучше смотреть на все с улыбкой, стараться только видеть светлые стороны жизни и не ворчать по всякому поводу!

Когда Фрэнсис Фриленд кончила свою речь, наступило молчание, и, как показалось Недде, длилось оно бесконечно долго. Наконец Кэрстин, прислонясь к плечу Тода, сказала:

— Вы хотите, чтобы я удержала Дирека? Я повторяю вам всем то, что уже говорила Недде. Я и не пытаюсь им управлять, — мне это вообще не свойственно. Когда я встречаюсь с чем-нибудь для меня отвратительным —

я восстаю против этого и совладать с собой не могу. Тут уж я ничего не могу поделать. Понимаю, как вам всем это неприятно, как это тягостно вам, мама. Но пока в нашей стране царит произвол, пока здесь измываются над батраками, животными и всеми, кто слаб и беспомощен,— до тех пор люди будут восставать и вы не ждите покоя!

Недда снова заметила, что ее отец вздрогнул. Но Фрэнсис Фриленд вдруг нагнулась вперед и стала пристально вглядываться в шею Кэрстин, словно заметила там что-то куда более тревожное, чем весь этот спор о насилии и произволе!

Джон сурово сказал:

— Вы, я вижу, считаете, что все мы оправдываем насилие над слабыми.

— Нет, я знаю, что вы этого не оправдываете.

— Но умываем руки,— вдруг вставил Феликс с такой горечью, какой Недда у него не слышала.— Как и положено людям, стоящим у власти, владеющим капиталом или культурой, и, особенно, философам. Мы осуждаем произвол, но не хотим пошевелить и пальцем. Мы боимся, что, поборов произвол, мы накличем беду на себя. Да, да, это так, братья мои, и так оно будет всегда, до окончания века. Вы совершенно правы, Кэрстин!

— Нет. В мире все меняется, Феликс. Он уже не тот, что прежде!

Но Недда ее не слушала. В дверях стоял Дирек.

ГЛАВА XXXVIII

Эту ночь Дирек спал как убитый: две предыдущие он не сомкнул глаз; проснувшись, он сразу вспомнил, как в темноте над ним стояла Недда и как она положила голову к нему на подушку... Но тут он внезапно опять увидел то, что неотступно его преследовало. Почему оно опять появилось? Что ему надо? Юноша торопливо написал Недде записку, поспешил на станцию и как раз успел на отходивший поезд. Он хотел поскорее поговорить с батраками, сделать что-нибудь, все равно что, лишь бы убедиться, что его трагический спутник — это только призрак. Сперва он отправился к Гонту. Дверь

ему открыла Уилмет, хорошенькая и пышущая здоровьем как всегда; на ней было полотняное платье с засученными рукавами; заметив его удивление, она широко улыбнулась:

— Не беспокойтесь, мистер Дирек, я не насовсем — только на воскресенье: надо ж у них прибрать. В Лондоне мне вовсе не плохо. Ни за что сюда не вернусь, ни за что, ни за какие коврижки...

И она надула красные губки.

— А где ваш отец, Уилмет?

— Он в роще, рубит жерди. Говорят, вы хворали, мистер Дирек? Вы чего-то бледный. Плохо вам было? — Глаза у нее удивленно раскрылись, словно даже мысль о болезни не вмещалась в ее голове. — А в Лондоне я видела вашу невесту. Она у вас красивая. Желаю вам счастья, мистер Дирек... Дедушка, здесь мистер Дирек.

Из-за ее плеча высунулось морщинистое, желтое лицо старого Гонта. Он стоял молча и даже не поздоровался с гостем. Неловко, скрывая огорчение, юноша сказал:

— Я пойду его поищу. До свидания, Уилмет.

— До свидания, мистер Дирек. Здесь сейчас довольно спокойно, не так, как прежде.

Ее плутовское лицо снова засветилось улыбкой, и, повернув голову, она почесала подбородок о свое полное плечо, как резвая телка, а из-за спины у нее выглядывал старый Гонт, скривив губы в легкой, саркастической усмешке.

По дороге в рощу Дирек издали заметил где-то за изгородью высокого темноволосого батрака Телли, который был его правой рукой во время схватки со штрейк-брехерами. Дирек окликнул его, — но услышал тот или не услышал — он не отозвался и молча перемахнул через перелаз. Луг круто обрывался к речке, и возле брода Дирек натолкнулся на маленького хромоногого пастуха, который на его приветствие сухо ответил: «Добрый день» — и тут же занялся починкой плетня. У Дирека снова защемило сердце, и он поспешил дальше. Он шел на стук топора. На самой опушке рощи Том Гонт рубил молодую поросль. Увидав Дирека, он перестал работать, и его подвижное лицо как будто застыло, маленькие, злые глаза настороженно уставились на юношу.

— Доброе утро, Том, давно мы с вами не виделись.

— Да, давненько... Вы, говорят, здорово стукнулись...

Дирек болезненно поморщился. Эти слова были произнесены таким тоном, будто он пострадал в драке, к которой Том Гонт не имел ни малейшего отношения. Он через силу заставил себя спросить:

— Вы знаете про беднягу Боба?

— Д-да... Вот ему и крышка...

За этими словами скрывался какой-то другой смысл; обветренное лицо Тома было недружелюбно, он не сказал слова «сэр», которого даже он, Том Гонт, не опускал в разговорах с Диреком; во всем этом сквозила острая неприязнь. Дирек, чувствуя, как у него болезненно сжимается сердце, в упор посмотрел на Гонта.

— В чем дело, Том?

— Дело? Да какое тут может быть дело?

— В чем я виноват? Объясните.

Том Гонт усмехнулся; его маленькие глазки уставились прямо на Дирека.

— Джентльмены всегда выходят сухими из воды.

— Что вы! — горячо воскликнул Дирек. — Неужели вы считаете, что я от вас отступился? В чем дело? Говорите.

— Отступились? Вы не отступились. — Он не отводил от Дирека глаз и говорил все с такой же издевкой. — Да только мы-то умирать ради вас больше не намерены.

— Умирать? Ради меня? Неужели вы не понимаете — я бы жизнь отдал, лишь бы... Черт бы вас побрал!

— Да уж и побрал с вашей помощью... Вы теперь довольны?

Дирек был бледен, как смерть, и весь дрожал.

— Неужели вы думаете, что я преследовал какие-то личные цели?

Том Гонт ухмыльнулся.

— В том-то и дело, что никаких целей у вас не было. Вот что я думаю. И другие тоже. Все, кроме бедняги Трайста. А чего вы для него добились, сами знаете...

Дирек был ранен в самое сердце, — он стоял как вкопанный. Где-то ворковал голубь, срубленные деревца душисто пахли в нагретой солнцем роще.

— Я понял, — сказал Дирек. — Спасибо, Том. Хорошо, что вы мне объяснили.

Том Гонт и бровью не повел.

— Не стоит благодарности,— ответил он Диреку и снова взмахнул топором.

Но когда Дирек отошел на порядочное расстояние от того места, где стучал топор Гонта, он бросился ничком на землю и спрятал лицо в траву; он кусал жесткие зеленые стебли, на которых еще не высохла роса, глотая вместе с их сладковатым соком всю горечь своего поражения. Снова перед ним выросла серая тень и стояла неподвижно в ярком свете теплого августовского дня, полного летних запахов и звуков; а кругом ворковали голуби, и в воздухе носился пух одуванчиков.

Когда через два часа он вернулся домой и вошел на кухню, ни у кого из его родных не хватило духу поздороваться с ним, кроме Фрэнсис Фриленд, которая подставила ему щеку для поцелуя.

— Как я рада, милый, что ты еще всех застал. Дядя Джон думает, и все мы с ним согласны, что нельзя поощрять этих батраков, когда они так неприлично себя ведут... Это, это... Ну, ты сам знаешь, что я хочу сказать...

Дирек горько усмехнулся.

— Вы, бабушка, хотите сказать, что это преступно... Прибавьте еще, что это — мальчишество. Я это сейчас и сам понял...

Голос его так изменился, что Кэрстин подошла и положила руку ему на плечо.

— Ничего, мама, они просто послали меня ко всем чертям...

Всем, кроме Кэрстин, очень хотелось выразить свою радость, но решилась на это только одна Фрэнсис Фриленд.

— Ах, как я рада, милый!

Затем поднялся Джон и, протянув руку племяннику, сказал:

— Значит, Дирек, мы ставим точку — и всем неприятностям конец?

— Да. И я прошу прощения у вас, дядя Джон, и у вас, дядя Стенли и дядя Феликс, и у отца, и у бабушки...

Они поднялись на ноги; у Дирека было такое лицо,

что у всех у них перехватило дыхание — даже у Джона, даже у Стенли.

Первая нашлась Фрэнсис Фриленд — она направилась к двери, уводя с собой двух своих сыновей; два других ее сына пошли за ними следом.

Дирек стоял, как каменный, устремив взгляд куда-то в угол, мимо Недды.

— Мама, спроси его, чего он от меня хочет.

Недда с трудом сдержала крик. Но Кэрстин только крепче сжала плечо Дирека и спокойно ответила, глядя в угол:

— Ничего, мальчик. Он тебе улыбается. Ему просто хочется побыть с тобой.

— Но ведь я ничем не могу ему помочь.

— Он это знает.

— Лучше б он за мной не ходил. У меня ведь и так разрывается сердце.

Лицо Кэрстин дрогнуло.

— Он скоро уйдет, сынок. Посмотри, вот Недда. Люби ее. Она ждет тебя...

Дирек ответил тем же мертвым голосом:

— Да, Недда мое утешение. Мама, я хочу уехать, совсем уехать из Англии, и поскорее...

Недда бросилась к нему и обвила его руками.

— Я с тобой, Дирек, я с тобой...

Вечером Феликс вышел к старой пролетке, которая дожидалась его, чтобы увезти в Бекет. Какое небо! Ветер нагнал на бледно-голубой небосвод длинные розовые облака; из-под одного из них выглядывал тонкий зеленоватый серп месяца, а между вязами, словно церковный витраж в раме, алело заходящее солнце. В дальнем краю сада пылал маленький костер; вокруг прыгали детишки Трайста, кидали в него охапки листьев и показывали друг другу, как ярко вспыхивают языки пламени. Рядом виднелась высокая фигура Тода; он стоял неподвижно, а у ног его, вытянув голову и не сводя глаз с огня, сидела собака. Кэрстин проводила Феликса до калитки. Он долго не выпускал ее руку из своей. И пока была видна эта женщина в синем, с лицом, обращенным к закату, он все время оглядывался.

Весь день длился нескончаемый, как казалось Феликсу, семейный совет; было решено, что Дирек и Недда поженятся и уедут в Новую Зеландию, как они этого хотели. На ферме их двоюродного брата Алика Мортон (сына того из братьев Фрэнсис Фриленд, который помещался на лошадях, уехал в те края и умер, упав там с лошади) Дирека примут с радостью. Молодым предстоит чудесная поездка: они полюбуются на пурпуровые закаты над Средиземным морем, увидят Помпею и длинные вереницы людей, которые, словно муравьи, таскают мешки с углем на пристани в Порт-Саиде; вдохнут запах корицы из садов Коломбо, а ночью, на палубе, будут глядеть на звездное небо... Как же им в этом отказать? Юность, сила смогут там проявить себя свободно, ибо здесь юности не дали дороги!

Старая пролетка тарахтела между одетых сумерками лугов. «В мире все меняется, Феликс, он уж не тот, что прежде!» Значит, поражение, которое потерпела молодость, еще ничего не доказывает? Неужели мир и в самом деле меняется под своей оболочкой из золота, власти и культуры? Неужели там, на западе, где пламенеет небо, уже видны первые лучи свободы и человек встает наконец во весь рост, не желая больше преклоняться перед силой?

Пустые, тихие луга потемнели, воздух напитался влагой, а старая пролетка тарахтела все дальше, неторопливая, как судьба. На фермах уже зажигали лампы перед ужином. В этот час никто не работает в поле. И перед Феликсом возник трагический образ Трайста — его одинокая фигура, дух этих пустынных полей, символ уходящей в небытие деревни! Так и кажется, что сейчас его увидишь, — видит же его Дирек! — молчаливого, упорного, едва различимого в этом сумеречном свете, еще не погасшем над кустами и травами.

Старая пролетка свернула в аллею Бекета. Стало темно, светил только месяц; мимо прожужжал запоздалый майский жук, среди неподвижных деревьев мелькнула летучая мышь — маленькая, слепая, подвижная летучая мышь. Феликс слез и пошел пешком к дому. Прекрасная, тихая звездная ночь раскинула свою тьму и прохладу над полями и лесами на сотни миль кругом. Ночь одела родную землю. Миллионы лет царит над

нею эта тишина, поднимается от нее тот же аромат, озаряет ее такое же сияние звезд, и еще миллионы лет все останется на ней таким же, как было всегда. Рядом с лунным серпом медленно проплывало узкое белое облако какой-то необычной формы. Феликс отчетливо разглядел что-то похожее на светящийся череп; сквозь пустые глазницы и дыры скул и рта глядело темное небо. Странное явление, — в нем было что-то жуткое! Очертания стали резче, отчетливее. По спине у Феликса пробежала невольная дрожь. Он закрыл глаза. И перед ним сразу же возникла фигура Кэрстин, одетая в синее и повернутая к зареву заката. Ах, лучше уж видеть ее, чем этот череп, плывущий над землей! Лучше поверить ее словам: «В мире все меняется, Феликс!»

1915 г.

Сильнее
СМЕРТИ

«Che faró senza...»

**Перевод с английского
Л. Чернявского.
Под редакцией
А. Мионовой.**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

От здания бюро регистрации браков на Сент-Джордж-стрит Чарлз Клер Уинтон неторопливо зашагал следом за такси, увозившим его дочь вместе с «этим скрипачом», за которого она вышла замуж. Правила хорошего тона, разумеется, не позволяли ему идти рядом с Бетти, пожилой нянькой, единственной, кроме него, свидетельницей этого бракосочетания. Дородная женщина, да еще заплаканная, была бы совсем не подходящей спутницей для него, с его стройной, прямой фигурой, размеренной и ритмичной походкой, приличествующей улану старого закала, пусть даже он в отставке вот уже добрых шестнадцать лет.

Бедная Бетти! Он подумал о ней с каким-то досадливым сочувствием — ей не к чему было давать волю слезам тут же, на ступеньках лестницы. Разумеется, теперь, когда Джип уехала, нянька будет чувствовать себя одинокой, но ведь не настолько же одинокой, как он сам! Рукой, обтянутой светлой перчаткой, — единственной действующей рукой, ибо кисть правой была ампутирована, — он сердито покручивал небольшие седеющие усы, торчащие над уголками четко очерченных губ. Стоял пасмурный февральский день, но на нем не было пальто; он даже не облачился в черную пару и не надел цилиндра, а остался в синем костюме и твердой фетровой шляпе, заранее зная, что свадьба пройдет незаметно. Привычка солдата и охотника — ничем не выдавать душевного волнения — не изменила ему и в этот мрачный день его

жизни; но его светло-карие глаза, то и дело суживаясь, гневно сверкали, а мгновениями, словно он не в силах был противиться какому-то глубокому чувству, они темнели и, казалось, совсем прятались в глазницах.

У него было продолговатое обветренное лицо со впалыми щеками, резко очерченный подбородок, маленькие уши, темные волосы, тронутые сединой на висках, — лицо волевого человека, уверенного в себе, энергичного. Вся его манера держать себя говорила о том, что, оставаясь всегда чуть-чуть денди и отдавая должное «форме», он в то же время понимал, что есть вещи и поважнее. Человек определенного типа, он был в чем-то нетипичным. Прошлые таких людей нередко бывает отмечено какой-нибудь трагедией.

Направляясь к парку, он свернул на Маунт-стрит. Здесь стоял тот дом, — хотя вся улица в былые времена выглядела совсем иначе... Да, тот самый дом, возле которого он в незабываемый ноябрьский вечер — двадцать три года назад, когда родилась Джип, — шагал взад и вперед, в тумане, как призрак, как бездомный пес, с отчаянием в душе. Из-за двери, в которую он не имел права войти, ему, любившему так, как никогда ни один мужчина не любил женщину, было сказано, что она умерла; умерла, произведя на свет ребенка, который — только они двое знали это — был его ребенком! Шагать взад и вперед в тумане, час за часом, зная, что время родов пришло, и в конце концов услышать... это! Должно быть, самый тяжелый жребий, который выпадает человеку, — это любить слишком сильно.

Как странно, что путь его лежал мимо этого дома именно сегодня, после новой тяжелой утраты! Проклятая случайность — надо же было, чтобы подагра погнала его прошлой осенью в Висбаден! Проклятая случайность — и то, что Джип попался на глаза этот субъект Фьорсен со своей злосчастной скрипкой! Таким же заброшенным, как сегодня, никому не нужным, Уинтон чувствовал себя пятнадцать лет назад, до того, как Джип переехала к нему. Завтра же он вернется в Милденхэм — быть может, на него благотворно подействует усиленная доза верховой езды. Без Джип... Жить без Джип! Скрипач! Субъект, который никогда в жизни не

садился на лошады!.. Он злобно взмахнул тростью, словно рассекая надвое человека.

Никогда еще его клуб вблизи Хайд-парка не казался ему таким унылым. По укоренившейся привычке он прошел в комнату для карточной игры. Уже смеркалось, и горело электричество; несколько игроков-завсегдатаев сидело в свете затененных абажурами ламп — он причудливо падал на столы темного дерева, на спинки кресел, карты, бокалы, позолоченные чашечки с кофе, на руки с полированными ногтями, державшие сигары. Приятель предложил ему сыграть в пикет. Он безучастно сел за стол. Бридж — этот обрубленный вист — всегда оскорблял его утонченный вкус — какая-то изуродованная игра! В покере было что-то вызывающее. Пикет, хотя и вышедший из моды, оставался для него единственной стоящей игрой, еще сохранившей какой-то стиль. К нему шла хорошая карта, и он выиграл пять фунтов, но охотно поступился бы ими, лишь бы избавиться от скуки клубной болтовни... Где теперь молодые? Проехали Ньюберн? Джип сидит напротив этого шведа с зеленоватыми глазами дикой кошки. И весь он скрытный, чужой — иностранец! Ничтожество — или он, Уинтон, разучился разбираться в лошадях и людях! Слава богу, он сберег деньги Джип до последнего фартинга. Чувство, близкое к ревности, охватило его при мысли, что руки этого парня обнимают его пышноволосую, кареглазую дочь — это прелестное, грациозное создание, всем своим обликом напоминающее ему ту, которую он любил так самозабвенно.

Когда он выходил из комнаты для карточной игры, его провожали глазами: он был из тех, кто вызывает у людей некое чувство восхищения, хотя никто не скажет точно, почему. Многие мужчины его круга обладали такими же достоинствами, как и он, но не привлекали к себе такого внимания. Может быть, здесь и сказывалась та самая черта нетипичности или печать, оставленная на нем прошлым?

Выйдя из клуба, он медленно направился вдоль Пикадилли в Сент-Джемс, к себе, на Бэри-стрит, где стоял его дом; дом этот — его лондонское убежище еще с юности — был одним из немногих на этой улице, которых не коснулась страсть лондонцев все разрушать и

строить заново, что, как ему думалось, испортило добрую половину города.

Дверь открыл молчаливый человек, с мягкими, быстрыми, темными глазами вальдшнепа, в длинном зеленоватом вязаном жилете, черном переднике и узких брюках на штрипках.

— Сегодня я дома, Марки. Пусть миссис Марки приготовит мне обед. Любые блюда.

Марки кивком подтвердил, что услышал сказанное; его глаза под сросшимися в одну темную линию бровями оглядели хозяина с ног до головы. Когда вчера вечером жена сказала ему, что хозяину будет теперь одиноко, он тоже ограничился кивком. Уходя в задние комнаты, Марки движением головы указал в сторону улицы, а потом наверх: из этого миссис Марки, женщина сообразительная, должна была заключить, что ей надо отправляться за провизией, ибо хозяин будет обедать дома. Когда она ушла, Марки присел возле Бетти, старой няни Джип. Толстуха все еще тихо плакала. Это совсем испортило ему настроение; он чувствовал, что и сам готов завывать, как пес. Несколько минут он молча глядел на ее широкое, румяное, мокрое от слез лицо, потом покачал головой, и Бетти, подавив рыдание и вздрогнув всем своим пышным телом, успокоилась. С Марки приходилось считаться.

Уинтон сначала направился в спальню дочери. Он стал пристально разглядывать опустевшую комнату с ее шелковым убранством, оставленное зеркало в серебряной оправе и сердито теребил подстриженные усы. Потом, уже в своем кабинете, не включая света, уселся перед камином. Кто-нибудь, заглянув в комнату, мог бы подумать, что он заснул; но он не спал — навевающее дремоту удобное кресло и уютный огонь камина только уводили его в далекое прошлое. Что за нелепое совпадение: именно сегодня ему пришлось пройти мимо ее дома!

В теории отрицаются такие вещи, как сродство душ, или такие факты, когда жизнь человека, по крайней мере, мужчины, оказывается разбитой из-за единственной страстной любви. В действительности же такие мужчины есть; это люди волевые, сдержанные, необщитель-

ные, меньше всего ожидающие, что жизнь сыграет с ними такую шутку, и менее всего склонные поступиться своей свободой; такие вначале едва ли даже понимают, что свершилась их судьба.

Разве похоже было на него, Чарлза Клера Уинтона, вот так сразу влюбиться по уши, когда он едва переступил порог танцевального зала Белворского охотничьего общества в Грэнтхеме — в тот декабрьский вечер, двадцать четыре года назад? Ревностный служака, щеголь, первоклассный знаток охоты с гончими, еще в полку удивлявший всех холодным, вежливо-пренебрежительным отношением к женщинам как к чему-то второстепенному в жизни, он стоял в дверях, не торопясь танцевать, и оглядывал зал с рассеянным, но отнюдь не высокомерным видом. И тут — вдруг! — мимо прошла она, и жизнь его навсегда изменилась. Была ли это игра света, но ему показалось, что вся ее душа сияет в мельком брошенном на него, немного испуганном взгляде. Или что-то завораживающее было в ее плавной походке, в обольстительной гармоничности всей ее фигуры? Или в пышной прическе, в тонком, почти не уловимом аромате, как от цветка? Что это было?

Жена местного землевладельца, имевшего дом в Лондоне... Тому, что произошло, не было оправдания: женщина, не униженная дурным обращением; заурядный бездетный брак, длящийся три года; муж — добродушный, славный малый, старше ее на пятнадцать лет, видимо, человек болезненный. Никакого оправдания! Но спустя месяц после этого вечера Уинтон и она уже любили друг друга и были близки не только духовно. Случай, настолько выходящий за пределы общепринятого «хорошего тона» и представлений самого Уинтона о чести и порядочности офицера и джентльмена, что уже и речи быть не могло о том, чтобы взвешивать «за» и «против», — все было сплошным «против». С того первого вечера он принадлежал ей, а она ему. Оба жили только одним желанием — быть вместе. Но если так, почему они не уехали вдвоем? Уж, конечно, не потому, что он не просил ее об этом. И нет сомнения, — если бы она осталась жить после рождения Джип, они бы уехали. Но прямо решиться на это и, как она тогда считала, испортить жизнь двоим мужчинам, было выше ее сил

при ее мягком сердце. Смерть положила конец этой борьбе с собой прежде, чем она нашла решение. Она была из тех женщин, у которых беззаветная привязанность сочетается с душевными сомнениями. В этом всегда есть какая-то особая пленительность, ибо способность женщины к твердым и быстрым решениям лишает ее неуловимых черт таинственности и капризного непостоянства. Хотя по крови она лишь на какую-то четверть была иностранкой, в ней почти не осталось ничего английского. А Уинтон был англичанином до мозга костей, истым джентльменом с той жилкой отчаянной решимости, когда человек в молодости готов разбить вдребезги общепринятые устои, а в зрелом возрасте оберегает их неприкосновенность. Никому не пришло бы в голову назвать Уинтона «оригиналом»; волосы у него всегда были безукоризненно причесаны; ботинки сверкали; он был строг и сдержан, признавал и соблюдал все каноны благовоспитанных людей. Но в пылу своей страсти он забыл о светском обществе со всеми его правилами. В течение года их близости он в любой момент рискнул бы жизнью и пожертвовал бы карьерой, лишь бы провести с ней целый день; но ни разу ни словом, ни взглядом он не скомпрометировал ее. Ограждая самым тщательным образом ее «честь», он довел себя до такого состояния, которое горше смерти; он даже согласился с ее желанием скрывать, что ей предстоит произвести на свет их ребенка. Расплата по этому долгу азартного игрока была, пожалуй, самым мужественным, что он совершил в жизни, и даже сейчас все это напоминало о себе, как незаживающая рана.

В эту самую комнату, тогда заново обставленную по ее вкусу, он вернулся после того, как услышал, что она умерла; стулья атласного дерева, маленькая изящная шифоньерка в стиле XVII века, канделябры старой бронзы с экранами, диван — все это даже теперь придавало экзотический вид его холостяцкой квартире. Вот здесь, на столе, лежало тогда письмо, отзывающее его в полк, который должен был выступить в поход. Если бы он знал, что ему придется вынести, прежде чем представится случай сложить голову там, в далеких краях, он, наверно, покончил бы счеты с жизнью здесь же, в этом же кресле у огня. В той малой войне ему не выпало такой удачи,

он только получал отличия. Когда война кончилась, все пошло по-прежнему: военная служба, охота на тигров, на кабанов, игра в поло, чаще, чем раньше, охота на лисиц; прибавилось только морщин на лице и шрамов на сердце; он по-прежнему не раскрывал своей тайны никому и понемногу стал предметом нелепого, стеснительного для него восхищения окружающих; обычно такое восхищение вызывается сочетанием в человеке безоглядной смелости и ледяного хладнокровия. Еще более молчаливый, чем другие люди его склада, и уж вовсе не охотник до разговоров о женщинах, он тем не менее не прослыл женоненавистником, хотя и подчеркнуто сторонился женщин. После шести лет службы в Индии и Египте он потерял правую руку в бою с дервишами и тридцати четырех лет, в чине майора должен был уйти в отставку. Долгое время ему ненавистна была даже мысль о ребенке — его ребенке, рождение которого стоило жизни женщине, которую он любил. Потом в его душе произошла странная перемена; в течение трех лет до возвращения в Англию у него сложилась привычка — посылать девочке всякие купленные на восточных базарах безделушки, которыми она могла бы играть. В знак благодарности он получал раз или два в год письма от человека, считавшего себя отцом Джип. Он отвечал на эти письма. Помещик обожал девочку; и хотя Уинтон не представлял себе, что мог бы тогда поступить иначе, у него все время оставалось некое чувство вины перед этим человеком. Это были не угрызения совести — скорее ощущение неоплаченного долга; но и оно смягчалось мыслью о том, что ведь никто ни о чем не подозревал, а сам он немало перенес мук, чтобы не вызывать подозрений.

Когда, наконец, он вернулся в Англию, помещик явился к нему с визитом. Бедняга болел хроническим нефритом и быстро терял силы. Уинтон снова очутился в том доме на Маунт-стрит; чтобы подавить охватившее его волнение, потребовалось больше мужества, чем во время кавалерийской атаки. Но человек, у которого, как он сам выражался, «сердце на месте», не дает нервам распускаться; и он, не дрогнув, вступил в комнаты, где видел ее в последний раз, и, обедая один на один с ее мужем, ничем не выдавал своих чувств. Маленькую Гиту,

или Джип, как она сама себя называла, ему не пришлось повидать: она уже спала. Прошел целый месяц, прежде чем он заставил себя отправиться туда в час, когда мог увидеть ребенка. Он был в страхе. Какие чувства разбудит в нем это маленькое создание? Когда нянька Бетти ввела девочку, чтобы познакомить ее с дядей военным, у которого «кожаная рука» и который посылал ей забавные игрушки, девочка стала перед ним, спокойно разглядывая его большими, темно-карими глазами. Ей было семь лет; короткое, коричневого бархата платье едва покрывало колени ее тонких ножек в коричневых чулках; она стояла, выставив одну ножку вперед, напоминая маленькую коричневую птичку. Ее серьезное, какое-то вопрошающее лицо было теплого матового тона, без румянца; румяными были только губы, не очень полные, но и не тонкие, с едва заметной ямочкой у уголка рта. Темно-каштановые волосы были, видимо, только что расчесаны и перехвачены узкой красной лентой над лбом, широким, и пожалуй, низким — это придавало ей еще больше детской серьезности. У нее были тонкие, темные, великолепно изогнутые брови, безупречно прямой нос, красивая линия подбородка — ни округлого, ни острого. Она стояла и смотрела, пока наконец Уинтон не улыбнулся. Тогда выражение ее лица смягчилось, губы раскрылись, глаза как будто слегка распахнулись. И сердце Уинтона словно перевернулось в груди — это был ее ребенок; ребенок той, которую он потерял! Он сказал, как ему самому показалось, с дрожью в голосе:

— Ну что, Джип?

— Спасибо за игрушки; они мне нравятся.

Он протянул руку, и она вложила в нее свои тонкие пальчики. Чувство умиротворенности, словно кто-то тихо погладил его по сердцу, охватило Уинтона. Осторожно, чтобы не испугать девочку, он приподнял ее руку, нагнулся и поцеловал. Потому ли, что он сразу распознал в ней натуру живую и впечатлительную и это, видимо, действовало на нее, либо потому, что с этой минуты зародилось какое-то инстинктивное, глубокое чувство родства между ними, только Джип мгновенно была пленена им и привязалась к нему, как иногда привязываются дети к самым случайным людям.

Он продолжал приходить туда в часы, когда помещик отдыхал, — между двумя и пятью. Эти часы он проводил с Джип: гулял с ней по парку, катал на лодке, а в дождливые дни просиживал в скучной детской и рассказывал ей сказки в присутствии дородной Бетти, которая сидела, уставившись на него, как загипнотизированная; а полное ее лицо выражало недоверие, почти подозрительность. После нескольких часов, проведенных в детской, ему трудно было идти в кабинет хозяина дома, курить, разговаривать. Эти беседы слишком живо напоминали об ушедших днях, когда ему стоило таких огромных усилий держать себя в руках. Помещик, ничего не подозревая, радостно встречал его и без конца благодарил за доброту к ребенку. Весной он умер, назначив Уинтона своим душеприказчиком и опекуном Джип. После смерти жены помещик сильно расстроил свои дела, его имение было заложено и перезаложено. Уинтон принял это с каким-то свирепым удовлетворением и с этого времени стал серьезно помышлять о том, чтобы взять Джип к себе. Дом на Маунт-стрит был продан; поместье в Линкольншире сдано в аренду. Джип и ее няньку Бетти он поселил в своем охотничьем доме в Милденхэме. Прилагая все усилия к тому, чтобы отдалить девочку от ее родственников, Уинтон решительно пустил в ход свое умение заставлять людей держаться от него на почтительном расстоянии. Всегда оставаясь вежливым, он попросту отваживал их своей ледяной неприступностью. Мотивы его действий не могли вызывать сомнений: он был человеком состоятельным. За год он отдалил Джип от всех, кроме толстушки Бетти. Он не сомневался в своей правоте: Джип чувствовала бы себя несчастной без него, как и он без нее. В конце концов он решил, что она должна носить его имя — по крайней мере в Милденхэме. Он отдал приказ Марки: впредь называть маленькую Джип мисс Уинтон! Когда в тот день он вернулся с охоты, его ждала Бетти. Она стояла в дальнем углу кабинета, этой довольно мрачной комнаты. На ее круглом, румянном лице было выражение страха и решимости, и она уже успела порядком измять свой белый передник. Ее голубые глаза с каким-то отчаянным вызовом встретили взгляд Уинтона.

— Я насчет того, что передал мне Марки, сэр. Мой старый хозяин был бы недоволен этим, сэр.

Задетый за живое, Уинтон сказал ледяным тоном:

— Вот как! Тем не менее вы будете столь добры считаться с моим желанием.

Лицо толстухи побагровело.

— Да, сэр. Но что я видела, то видела. Я никогда ничего не говорила, но у меня есть глаза. Если мисс Джип будут звать вашим именем, сэр, тогда развяжутся языки, и моя дорогая покойная хозяйка...

Его взгляд заставил ее замолчать на полуслове.

— Вы будете добры оставить ваши соображения при себе. Если хоть одно ваше слово или действие даст малейший повод для разговоров, вы уедете отсюда и никогда больше не увидите Джип! А пока вы будете делать то, чего требую я. Я удочерил Джип.

Бетти всегда немного побаивалась Уинтона, но никогда еще не видела такого выражения в его глазах и не слышала, чтобы он говорил таким голосом. Опустив свою круглую, как луна, голову, она вышла со слезами на глазах, продолжая мять передник. Уинтон стоял у окна и глядел, как сгущаются сумерки, как юго-западный ветер гонит облетевшие листья; он испил до дна чашу своего горького торжества. У него никогда не было никаких прав на усопшую, навеки любимую им мать его ребенка. Теперь он намерен по праву быть отцом Джип. Если развяжутся языки — что ж, пусть так! Это было крушением всей его прежней осторожности, решительной победой естественного инстинкта. Глаза его сузились, он продолжал пристально вглядываться в темноту.

ГЛАВА II

Несмотря на то, что Уинтон отвоевал сердце Джип у всех мыслимых соперников, у него оказался еще один; сила этого соперника впервые стала ему ясна, пожалуй, только теперь, когда Джип уехала, а сам он сидит у камина, размышляя об ее отъезде и о своем прошлом. Трудно было ожидать, чтобы он, человек решительного склада, в жизни которого главную роль играли сабля и

конь, по-настоящему понял, какое значение может иметь для маленькой девочки музыка. Он знал, что она требовала, чтобы ее научили играть гаммы, и песенку «Хижина у леса», и другие мелодии. Он старался не очень вникать в это и не подозревал, с какой жадностью усваивала Джип все—и даже больше того,—что могла ей преподать по части музыки ее гувернантка. Не придавал он значения и тому, с каким восторгом она слушала любую случайную музыку — святочные песенки, пение хора в сельской церкви, особенно «Ныне отпускаеши»; как прислушивалась к далеким переливам рога охотника, выследившего зверя, и даже к необыкновенно мелодичному на-свистыванию Марки.

Зато он полностью одобрял другое — ее пристрастие к собакам и лошадям; он с живым любопытством наблюдал, как она ловит ладошкой шмеля и подносит его к маленькому нежному уху, чтобы послушать его гудение; одобрял ее постоянные грабительские набеги на цветочные клумбы в старомодном саду, где весной цвели сирень и ракитник, летом — гвоздики, розы и васильки, а осенью—георгины и подсолнечники. Этот сад, теснимый со всех сторон выгонами для лошадей, всегда оставался неухоженным и заросшим. Он еще понимал ее, когда она тянула его послушать, как поют птицы; но эта ненасытная страсть к музыке была просто выше его разума. Джип была капризным маленьким созданием, с быстрой сменой настроений, чем-то похожая на ее коричневого спаньеля, то резвого, как бабочка, то мрачного, как ночь. Всякое проявление жестокости она принимала близко к сердцу. Гордость и неуверенность в себе, казалось, так переплелись в ней, что никто не понимал, почему именно сейчас у нее хорошее или дурное настроение. Необыкновенно впечатлительная, она часто воображала себя обиженной. Отношение к ней других людей, ничего плохого ей не желавших, вдруг казалось ей неопровержимым доказательством того, что ее никто не любит, хотя сама она хотела бы любить всех или почти всех. И она часто говорила себе: «Если они не любят меня, пусть! Мне ни от кого ничего не надо!» Но очень скоро все рассеивалось, словно облако, и она опять любила все и всех и была весела; а потом опять ее жестоко ранило что-нибудь новое, в чем не было никакой наме-

ренной обиды. В сущности, прислуга обожала ее и любовалась ею. Но она была одним из тех нежных созданий, слишком «тонкокожих» от рождения, которые — особенно в детстве — сами себя мучают, живя в окружении людей более «толстокожих».

К полному восторгу Уинтона, она не знала страха перед оседланной лошастью. У нее была лучшая гувернантка, какую он только мог дать ей: дочь адмирала, впавшая в бедственное положение; а позднее — учитель музыки, приезжавший дважды в неделю из Лондона, язвительный господин, втайне восхищавшийся ею даже больше, чем она им.

Не в пример большинству девушек-подростков у нее не было периода некрасивой угловатости — она росла, как цветок, ровно, постепенно. Часто Уинтон, глядя на нее, чувствовал что-то вроде опьянения: поворот головы, «летающий» взгляд удивительно ясных, безупречного разреза карих глаз, стройная шея, форма рук и ног — все это представляло перед ним как мучительное напоминание о той, которую он так любил. И все-таки при всем сходстве с матерью они во многом были непохожи и по внешности и по характеру. У Джип была более совершенная, точеная фигура, больше утонченности в характере, чуть больше естественности в осанке и природного изящества: в настроениях у нее было больше оттенков, но в мыслях больше ясности, и, наконец, при всей ее свежести и неиспорченности в ней чувствовался какой-то оттенок скептицизма, что уж вовсе несвойственно было ее матери.

Она была изящного сложения, но не хрупкой; выезжая на охоту, она могла провести в седле весь день и возвращалась такой усталой, что ложилась на тигровую шкуру у камина, лишь бы не подниматься к себе наверх. Жизнь в Милденхэме была уединенной, если не считать визитов охотников, приятелей Уинтона, но и тех у него было немного: его изысканность не очень-то мирилась с этими грубоватыми сельскими джентльменами, а ледяная учтивость отпугивала местных дам.

Как и предвидела Бетти, языки все-таки развязались, эти языки сельских обывателей, падких на все пикантное в скучном однообразии своего вялого существования. И хотя ни одна сплетня не доносилась до ушей

Уинтона, среди 'гостей Милденхэма никогда не бывало ни одной женщины. Если не считать случайных знакомств возле церкви, на охоте, на местных скачках, Джип росла, почти не сталкиваясь ни с кем из представительниц своего пола, и это усугубляло ее замкнутость, ее девическое неведение, смутное и безотчетное презрение к мужчинам,—хотя они были у нее на побегушках; они радовались, когда она улыбалась, и огорчались, как только она хмурила брови. Она часто втайне тосковала по подругам, которые неизменно обожали ее, но дружба всегда оказывалась кратковременной и оставляла ее неудовлетворенной. Уинтон не способен был уделять много внимания ее нравственному и духовному развитию. Для него это был предмет, не заслуживающий долгих разговоров. Общепринятые правила, такие, как посещение церкви, должны были соблюдаться; умению держать себя она должна была учиться, насколько возможно, у него; а об остальном пусть позаботится сама природа! В этом его взгляде на воспитание было, пожалуй, немало практического здравого смысла. Джип жадно набрасывалась на книги, но плохо помнила прочитанное; и хотя она вскоре разделалась со всеми книгами тощей библиотеки Уинтона, в которую входили Байрон, Уайт-Мелвиль и Гумбольдтовский «Космос», они не оставили серьезного следа в ее сознании. Попытки ее маленькой гувернантки пробудить в ней интерес к религии дали довольно скудные результаты; а в знаках внимания, которые ей оказывал местный викарий, Джип со свойственным ей скептицизмом увидела некий специфический интерес, который подозревала у всех мужчин: она чувствовала, что священнику доставляет удовольствие говорить ей «моя милая» и гладить по плечу и что в этом он видит некую награду за свою пастырскую старательность.

Укрытая от людей в этом небольшом, старом, мрачном отцовском поместье, где одни только конюшни были вполне современными, в трех часах езды от Лондона и тридцати милях от морского берега, она была отдалена от всего, что помогает воспитанию современной молодой девушки. Раза два в год Уинтон брал ее с собой в столицу — погостить у его незамужней сестры Розамунды, жившей на Керзон-стрит. За эти недолгие не-

дели у нее появлялся естественный вкус к красивым платьям и еще больше усиливалась страсть к музыке и театру. Но главного для современной девушки — дискуссий на высокие темы и развлечений — она была лишена совершенно. В ту пору ее жизни, с пятнадцати до девятнадцати лет, еще не начинался общественный подъем 1906 года и общество все еще пребывало в состоянии спячки, как зимняя муха за оконным стеклом. Уинтон был тори, тетка Розамунда — тори, все окружающие Джип были тори. Единственное, что воздействовало на ее душу в девические годы, была безоглядная любовь к отцу. Правда, благовоспитанность в немалой степени мешала открытым проявлениям этой любви; но быть с ним, делать что-то для него, восхищаться, считать его совершенством — все это она ценила превыше всего, тем более, что ей самой не дано было носить ту же одежду, что он, говорить тем же резким, не терпящим возражений тоном или презирать одежду и манеры других людей. Вместе с щепетильностью в вопросах этикета она унаследовала и его способность отдаваться одному чувству. Только она делала его по-настоящему счастливым, и любовь к нему всегда переполняла ее сердце. Безграничная любовь к кому-либо и такая же безграничная любовь кого-либо к ней самой были так же необходимы ей, как стеблю цветка вода и солнечный свет цветочным лепесткам. Поэтому довольно частые отлучки Уинтона в Лондон, Ньюмаркет или еще куда-либо всегда вызывали у нее «падение барометра», который, однако, начинал подниматься, как только приближался день его возвращения.

Но одной стороной ее воспитания, во всяком случае, не пренебрегали: ей прививалось чувство сострадания к обездоленным людям. Уинтон ничуть не интересовался социальными проблемами, но, от природы щедрый и великодушный, он доброжелательно относился к сельским беднякам и терпеть не мог вмешиваться в их жизнь. Такой была и Джип; она ни за что не вошла бы к кому-нибудь в дом без приглашения, но всегда слышала: «Входите, мисс Джип», «Войдите и присядьте, милочка!» и всякие другие приветливые слова даже от самых грубых и непутевых людей, которым нравились ее милое личико и доброта.

Так прошли эти одиннадцать лет, и ей стало девятнадцать, а Уинтону — сорок шесть. И вот однажды в сопровождении своей маленькой гувернантки она отправилась на бал местного общества охотников. На ней было безукоризненно сшитое платье, но не белое, а бледно-палевого цвета, словно она уже не впервые выезжала на танцы. Она была вся в Уинтона, такая же изысканная, если не больше, что, впрочем, и подобало ее полу. Темные волосы, взбитые спереди, с завитками на лбу и уложенные венком на затылке, впервые обнаженные шея и плечи, взгляд и вправду «летающий», безупречная, полная достоинства осанка, словно она знала, что свет и движение, жадные взгляды, льстивые речи и восхищение предназначены ей по праву рождения, — она была прелестнее, чем мог даже ожидать Уинтон. На груди у нее был приколот букетик доставленных из Лондона цикламенов, аромат которых она обожала. Легкая и нежная, разгоревшаяся от волнения, она каждым движением, каждым мимолетным взглядом напоминала ему ту, с которой он встретился впервые вот на таком же балу. И, высоко неся голову, он как бы оповещал мир о гордости, которую испытывал.

Этот вечер был для Джип полон переживаний: многие были приятными, но кое-что смутило ее, а кое-что потрясло. Джип нравилось общее преклонение. Она страстно любила танцы, и ей было приятно чувствовать, что танцует она хорошо и доставляет этим удовольствие другим. Но она дважды отказывала приглашавшим ее кавалерам: ей было жалко своей маленькой гувернантки, которая сидела у стены и не привлекала ничьего внимания; она была в летах и к тому же толстовата! И вот, к ужасу этой преданной особы, Джип просидела рядом с ней целых два танца. Идти к ужину она пожелала только в паре с Уинтоном. Возвращаясь в танцевальный зал под руку с ним, она услышала, что одна пожилая дама сказала: «Да разве вы не знаете? Конечно, он на самом деле ее отец!» На это последовал ответ какого-то старика: «Ах, вот оно что! Тогда все ясно!» Поймав их испытующие, холодные, немного злые взгляды, она поняла, что речь идет о ней. И в эту минуту ее пригласили на танец.

«...На самом деле ее отец!..» Эти слова были слишком

многозначительны, чтобы можно было сразу уловить их смысл в этот вечер, полный ярких ощущений. Они оставили где-то маленькую царапинку, но тут же это ощущение смягчилось, осталось только неясное чувство тревоги в глубине ее сознания. А потом пришло еще одно переживание, отвратительное, разрушающее все иллюзии. Это произошло после того, как Джип танцевала с видным мужчиной, чуть ли не вдвое старше ее. Они уселись за пальмами; и вдруг он наклонил к ней разгоряченное лицо и поцеловал ее обнаженную руку выше локтя. Если бы он ее ударил, она не была бы так потрясена и оскорблена. В неведении юности она подумала, что он никогда не решился бы на это, если бы она сама не позволила себе чего-то ужасного, что поощрило его. Она встала, пристально посмотрела на него потемневшими от страдания глазами и, вся дрожа, выскользнула из комнаты. Она бросилась прямо к Уинтону. По ее словно окаменевшему лицу, по знакомому подергиванию уголков губ он понял, что случилось нечто для нее ужасное; но она ничего не сказала, только пожаловалась, что устала, и объявила, что хочет домой. Вместе с верной гувернанткой, которая, поневоле промолчав почти весь вечер, теперь вдруг разговорилась, они уселись в машину, и скоро их окутала морозная ночь. Уинтон сидел рядом с шофером, подняв меховой воротник и низко надвинув круглую пушистую шапку; он сердито курил, вглядываясь в темноту. Кто посмел расстроить его любимицу? В глубине машины негромко болтала гувернантка, а Джип, забившись в темный угол, сидела молча, не думая ни о чем, кроме нанесенного ей оскорбления.

Дома она долго лежала без сна, и в уме ее постепенно складывалась связь между событиями. Слова: «Он на самом деле ее отец!...»; и этот мужчина, поцеловавший ее обнаженную руку... Все это как бы приподнимало завесу над тайнкой пола и укрепляло ее уверенность, что какая-то тайна окружает и ее собственную жизнь. Ребенком она была настолько восприимчива, что улавливала нечто скрытое в отношении к ней окружающих; но инстинктивно она уклонялась от того, чтобы понять это яснее. До того, как вернулся с Востока Уинтон, дни текли тускло. Бетти, игрушки, разные мимолетные впечат-

ления, больной человек, которого она звала «папа». В этом слове не было и доли той глубины, как в слове «отец», подаренном Уинтону. Никто, кроме Бетти, никогда не говорил с ней о матери. В ее представлениях родители не были святыней, вера в которую могла быть разрушена, узнай она о них что-то доселе ей неизвестное; оторванная от других девушек, она имела весьма слабое понятие даже о бытовых условностях. Сейчас, лежа в темноте, она сильно страдала — скорее от какого-то ощущения неловкости, чем от острой боли в сердце, ей казалось, что вся она словно исколота шипами. Уяснить себе, что именно вызвало в ней чувство обиды и в то же время смутное возбуждение, было для нее мучительно тяжело. Эти несколько бессонных часов оставили глубокий след. Наконец, все еще растерянная, она уснула и проснулась со странным желанием знать. Это утро она провела за роялем, не вышла из комнаты и была так холодна с Бетти и гувернанткой, что первая ударилась в слезы, а вторая занялась чтением Вордсворта. После чая Джип пошла в кабинет Уинтона, небольшую, уставленную кожаными креслами мрачную комнату, где он никогда ничем не занимался, где были книги, которых он никогда не читал, если не считать «Мистера Джоррокса», Байрона, руководства по уходу за лошадьми и романов Уайт-Мелвиля. На стенах висели гравюры, изображавшие знаменитых чистокровных лошадей, его шпага, фотографии Джип и друзей-офицеров. Только два ярких пятна было в комнате: огонь камина и маленькая ваза, в которую Джип всегда ставила свежие цветы.

Когда она впорхнула в комнату, тоненькая и стройная, с нахмуренным бледным личиком и влажными темными глазами, она показалась Уинтону внезапно повзрослевшей. Весь день он был в раздумье: в его горячую любовь к Джип вторглось что-то беспокойное, почти пугающее. Что же могло случиться вчера вечером — в первый ее выезд в общество, где все привыкли сплетничать и совать нос в чужие дела?

Она опустилась на пол и прижалась к его коленям. Он не видел ее лица и не мог дотронуться до нее здоровой рукой — она уселась справа от него. Стараясь подавить волнение, он сказал:

— Ну что, Джип, устала?

— Нет.

— Нисколько?

— Нет.

— Вчера вечером было хорошо, как ты и ожидала?

— Да.

Дрова шипели и трещали, длинные языки пламени рвались в каминную трубу, ветер гудел на дворе; немного спустя, так неожиданно, что у него перехватило дыхание, она спросила:

— Скажи, ты и вправду мой настоящий отец?

Уинтон был ошеломлен, ему оставалось всего несколько секунд, чтобы поразмыслить над ответом, которого уже нельзя было избежать. Человек с менее решительным характером, застигнутый врасплох, сразу бы выпалил «да» или «нет». Но Уинтон не мог не взвесить все последствия своего ответа. То, что он ее отец, согревало всю его жизнь; но если он откроется ей, не ранит ли это ее любовь к нему? Что может знать девушка? Как объяснить ей? Что подумает она о своей покойной матери? Как отнеслась бы к этому та, которую он любил? Как поступила бы она сама?

Это были жестокие мгновения. А девочка сидела, прижавшись к его колену, спрятав лицо, не помогая ему ничем. Невозможно дольше скрывать все это от нее теперь, когда в ней уже пробудилось подозрение. Сжав пальцами подлокотник кресла, он сказал:

— Да, Джип. Твоя мать и я любили друг друга.

Он почувствовал, как легкая дрожь пробежала по ее телу, и много отдал бы за то, чтобы увидеть ее лицо. Даже теперь — что поняла она? Нет, надо идти до конца. И он сказал:

— Почему ты спросила?

Она покачала головой и шепнула:

— Я рада.

Он ждал чего угодно: горя, возмущения, даже простого удивления; это всколыхнуло бы в нем всю его преданность мертвой, всю старую неизжитую горечь, и он замкнулся бы в холодной сдержанности. Но этот покорный шепот! Ему захотелось сгладить сказанное.

— Никто так ничего и не узнал. Она умерла от родов. Для меня это было ужасное горе. Если ты что-либо слышала, знай: это просто сплетни; ты носишь мое имя. Никто никогда не осудил твою мать. Но лучше, если ты будешь все знать, теперь ты уже взрослая. Люди редко любят так, как любили друг друга мы. Тебе нечего стыдиться.

Джип все еще сидела, отвернувшись от него. Она сказала спокойно:

— Я не стыжусь. Я очень похожа на нее?

— Да, больше, чем я мог даже надеяться.

— Значит, ты меня любишь не из-за меня?..

До сознания Уинтона лишь смутно дошло, насколько этот вопрос раскрывает ее душу, ее способность инстинктивно проникать в глубину вещей, ее обостренную гордость и жажду любви — такой любви, которая принадлежала бы ей одной. Он только спросил:

— Что ты хочешь этим сказать?

Но тут, к своему ужасу, он заметил, что она плачет, хотя и борется со слезами, — ее плечи, прижатые к его коленям, вздрагивали. Он почти никогда не видел ее плачущей, даже при всех этих детских огорчениях, а она так часто падала и ушибалась. И он смог только погладить ее по плечу и выговорить:

— Не плачь, Джип. Не плачь.

Она перестала плакать так же внезапно, как и начала, поднялась с пола и, прежде чем он успел шевельнуться, исчезла.

Вечером, за обедом, она была такой, как обычно. Он не уловил ни малейшей перемены в ее голосе, поведении или поцелуе, когда они расставались на ночь. Минута, которой он со страхом ждал годами, прошла, оставив лишь ощущение смутного стыда, которое всегда бывает после того, как нарушишь обет молчания. До тех пор, пока старая тайна оставалась нераскрытой, она не тревожила его. Теперь она снова причиняла ему боль.

А для Джип в эти сутки навсегда кончилось детство. Ее отношение к мужчинам определилось. Если она не причинит им немножко боли, они могут причинить боль ей. В ее жизнь вошел инстинкт пола.

В последующие два года было меньше одиночества, больше веселья в доме. Уинтон после своей исповеди решительно принялся за то, чтобы упрочить положение дочери. Он не мог допустить, чтобы на нее глядели искоса. Ни в Милденхэме, ни в Лондоне под крылышком его сестры трудностей не возникало. Джип была так мила, Уинтон так холоден, его сдержанность так отпугивала, что на стороне его дочери были все преимущества.

День совершеннолетия Джип они провели в столице; он пригласил ее в комнату, где сидел сейчас у камина, вспоминая все эти события, чтобы в качестве управляющего ее состоянием дать ей отчет. Он потратил немало трудов, пока ее обремененное долгами наследство не округлилось до двадцати тысяч фунтов. С ней он никогда не заговаривал об этом — слишком опасная тема! К тому же у него самого были средства, и она ни в чем не нуждалась. Пока он подробно объяснял ей, чем она располагает, рассказывал, как помещены деньги, и советовал открыть собственный счет в банке, она все стояла, глядя на бумаги, значение которых обязана была теперь понимать, и с лица ее не сходило выражение беспокойства. Не поднимая глаз, она спросила:

— Все это... от него?

Он не ожидал такого вопроса.

— Нет. Восемь тысяч принадлежали твоей матери. Джип взглянула на него и сказала:

— Тогда мне не надо остальных, пожалуйста, отец!

Уинтон почувствовал какое-то необъяснимое удовлетворение. Как поступить с этими деньгами, если она не возьмет их, он не знал. Но то, что она от них отказывалась, было так похоже на нее, так подчеркивало, что в ней его кровь; это была как бы окончательная его победа. Он подошел к окну, в которое так часто смотрел, поджидая ее мать. Вот он, угол дома, из-за которого она появлялась! На мгновение она останавливалась там, щеки ее пылали, мягкий взгляд угадывался под вуалью, часто вздымалась от быстрой ходьбы грудь — она спешила к нему. А вот там, поближе, она снова останавливалась, поднимая вуаль. Он обернулся. Трудно было поверить, что тут не она! И он сказал:

— Прекрасно, моя родная! Но взамен ты получишь столько же от меня. А те деньги могут быть отложены. Кто-нибудь когда-нибудь ими воспользуется.

Эти непривычные слова «моя родная», нечаянно сорвавшиеся у него, обычно такого сдержанного, вызвали румянец на ее щеках, глаза ее заблестели. Она бросилась ему на шею.

В те дни она вволю занималась музыкой, беря уроки рояля у мосье Армо, седовласого уроженца Льежа, с лицом цвета красного дерева и поистине ангельским туше; он заставлял ее упорно работать и называл своим «маленьким другом». Не было почти ни одного концерта, заслуживающего внимания, на котором она не побывала бы, или крупного музыканта, игры которого она бы не слышала. И хотя утонченный вкус спасал ее от восторженного преклонения перед великими виртуозами, она все-таки возводила их на пьедестал, мужчин и женщин, с которыми время от времени встречалась на Керзон-стрит, в доме своей тетки Розамунды.

Тетушка Розамунда тоже любила музыку, конечно, не выходя из рамок, дозволенных хорошим тоном. Джип, размышляя о тетке, придумала некую романтическую историю любви, погубленной гордостью. Тетушка Розамунда была высокая, красивая женщина, на год старше Уинтона, с узким аристократическим лицом, темно-голубыми, блестящими глазами, безупречными манерами воспитанного человека, добрым сердцем и несколько тягучей, но не лишенной мелодичности речью. Она нежно любила Джип, но все то, что имело отношение к их фактическому родству, тщательно хранила в себе. Тетка Розамунда была в своем роде филантропкой, а девушка как раз и отличалась той душевной мягкостью, которая обычно покоряет сердца именно тех женщин, которые, наверно, предпочли бы родиться мужчинами. Жизнерадостная по натуре, тетушка Розамунда носила теперь старомодные платья и жакеты, заботилась о ценных бумагах и ходила с тростью; как и ее брат, она блюла «этикет», хотя у нее было больше чувства юмора, столь ценимого в музыкальных кругах. В ее доме Джип невольно приходилось наблюдать и достоинства и смешные стороны всех этих знаменитостей, у которых были

пышные шевелюры и которые не желали знать ничего, кроме музыки и своих собственных персон.

Когда Джип исполнилось двадцать два года, у Уинтона случился первый серьезный приступ подагры; боясь, что к охотничьему сезону он, чего доброго, не сможет сесть на лошадь, он отправился вместе с Джип и Марки в Висбаден. Из окон их гостиницы на Вильгельмштрассе открывался широкий вид на парк с уже начинающими желтеть листьями. Лечился Уинтон долго и упорно. Джип в сопровождении молчаливого Марки ежедневно совершала прогулки верхом на Нероберг, где ее раздражали всякие правила, согласно которым ездить в этом величественном лесу можно было только по установленным дорогам; один или даже два раза в день она ходила на концерты в курзал либо с отцом, либо одна.

Она была одна, когда впервые услышала игру Фьорсена. Не в пример многим скрипачам он был высок и сухощав, с гибкой фигурой и свободными движениями. Лицо у него было бледное, странно гармонизировавшее с тускло-золотистой шевелюрой и усами; по впалым щекам с широкими скулами узкими полосками тянулись маленькие бакенбарды. Он показался Джип довольно неприятным, но игра его каким-то таинственным образом потрясла и захватила ее. У него была замечательная техника; благодаря ей глубокая проникновенность его игры как бы оттачивалась и сдерживалась,— это было похоже на вырвавшееся пламя, вдруг замершее в воздухе. Зал потряс шквал аплодисментов, а Джип сидела неподвижно, пристально разглядывая скрипача. Он провел рукой по разгоряченному лбу, отбрасывая в сторону пряди своих необычного цвета волос, потом с какой-то неприятной улыбкой слегка поклонился. Странные у него глаза — словно у большой кошки! Да, конечно, они зеленые, злые, но какие-то прячущиеся, гипнотизирующие! Самый странный из всех мужчин, которых она видела, и самый пугающий. Ей показалось, что он смотрит прямо на нее; опустив глаза, она стала аплодировать. Когда она снова взглянула на него, лицо его показалось ей печальным. Он поклонился — на этот раз прямо в ее сторону — и вскинул скрипку к плечу. «Он будет играть для меня», — неожиданно подумала

она. Играл он без аккомпанеента — какую-то простенькую, очень трогательную мелодию. Теперь она, уже не глядя на него, чутьем угадала, что он снова небрежно поклонился и ушел.

Вечером за обедом она сказала Уинтону:

— Я слушала сегодня одного скрипача, отец, изумительного музыканта, — его имя Густав Фьорсен. Он швед, или кто?

— Весьма возможно, — ответил Уинтон. — А каков он на вид? Я знавал одного шведа в армии — приятный был парень.

— Он высокий, худой и бледный, скуластый, с впалыми щеками и странными зелеными глазами. Да, еще маленькие золотистые бакенбарды.

— Боже правый! Это уж чересчур!

Она пробормотала с улыбкой:

— Да, пожалуй.

На следующий день Джип увидела скрипача в парке. Она сидела вместе с отцом у памятника Шиллеру; Уинтон читал газету «Таймс», которую всегда ждал с большим нетерпением, чем мог в этом признаться: ему не хотелось, чтобы Джип заметила томившую его скуку, — это помешало бы ей жить в свое удовольствие. Просматривая отчет о собрании в Ньюмаркете, он украдкой посматривал на дочь.

Никогда еще она не выглядела такой прелестной, такой элегантной, никогда в ней так не чувствовалась порода, как здесь, среди космополитической толпы, в этом богом забытом месте! Девушка, не замечая, что он втайне любит ее, провожала взглядом своих ясных глаз каждого проходящего мимо них, наблюдала за порхающими птицами, за собаками, радовалась солнечным лучам, которые скользили по траве, вспыхивали бронзой на буках и липах, и вон на тех высоких тополях, внизу, у воды. Когда однажды у нее заболела голова, врач, приглашенный в Милденхэм, сказал, что ее глаза — это «безупречные органы зрения»; и, действительно, какие еще глаза могли бы так охватывать и вбирать в себя окружающее! К ней льнули собаки — то и дело какой-нибудь пес останавливался в нерешительности: ткнуться или нет носом в руку этой молодой иностранки? В разгар флирта с огромным датским догом

она вдруг увидела Фьорсена; он шел вместе с невысоким, широкоплечим человеком в элегантных модных брюках и с затянутой в корсет талией. Высокий, сухопарый, немного неуклюжий скрипач был в светло-кофейном костюме; на голове серая велюровая шляпа с широкими полями, в петлице белый цветок; закрытые ботинки лакированной кожи; небрежно повязанный галстук выделялся на мягкой белой льняной сорочке — в общем, настоящий щеголь! Его странные глаза внезапно встретились с ее взглядом, и он сделал движение, словно собираясь прикоснуться рукой к шляпе.

«Он помнит меня», — подумала она. Его тонкая фигура, слегка вытянутая вперед шея, приподнятые плечи, широкий шаг — все до странности напоминало леопарда или какого-нибудь другого гибкого хищника. Он тронул за рукав низкорослого спутника, что-то пробормотал и повернул обратно. Джип почувствовала, что он смотрит на нее, словно желая разглядеть получше. Она знала, что и отец ее видит всё. И она заранее была уверена, что эти зеленоватые глаза дрогнут перед пронизательным взглядом англичанина известного круга; никогда не позволяющего себе снизойти до любопытства.

Оба снова прошли мимо. Джип видела, как Фьорсен повернулся к своему спутнику и движением головы указал в ее сторону, а потом услышала, как спутник засмеялся. Она почувствовала, что у нее зарделись щеки.

Уинтон сказал:

— Забавные франты встречаются здесь!

— Это скрипач, я говорила тебе: Фьорсен.

— А! Да, да!.. — Но он явно забыл об их разговоре.

То, что Фьорсен, видимо, запомнил ее из всей аудитории, смутно льстило ей. Ощущение обиды исчезло. Отец, должно быть, считает костюм Фьорсена жалким; на самом деле он, пожалуй, ему идет. В строгой английской одежде он выглядел бы хуже.

В последующие два дня она замечала в парке приземистого молодого человека, который шел тогда вместе с ним. И снова почувствовала, что этот человек провожает ее глазами.

Потом некая баронесса фон Майсен, космополитка, приятельница тетки Розамунды, немка по мужу, полу-



«СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ»



«СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ»

голландка-полуфранцуженка по рождению, спросила Джип, слушала ли она шведского скрипача Фьорсена. Он мог бы быть лучшим скрипачом наших дней, если бы только...— Баронесса покачала головой. Полагая, что этот выразительный жест не требует разъяснений, она продолжала размышлять вслух:

— О, эти музыканты! Ему надо спастись от самого себя. Если он не опомнится, он — пропащий человек. А жаль! Большой талант!

Джип спокойно посмотрела на нее и спросила:

— Что же, он пьет?

— *Pas mal*¹. Но тут есть и кое-что, кроме вина, *ma chere!*

Инстинкт и долгая жизнь под кровом Уинтона подсказали Джип, что возмутиться было бы ниже ее достоинства. Она не стремилась познать некоторые подробности его жизни, но не желала и уклоняться от этого; и баронесса, которой ее невинность представлялась пикантной, начала снова:

— Женщины и снова женщины! Какая жалость! Это может его погубить! Единственное, что ему нужно,— это найти для себя одну женщину, но я заранее ее жалею; *sapristi*², какая жизнь для нее!

Джип спокойно спросила:

— А способны ли такие мужчины вообще любить?

Баронесса посмотрела на нее широко раскрытыми глазами.

— Я знавала одного такого мужчину — он превратился в раба. Я видела: он бегал за женщиной, как ягненок, а она все время обманывала его. *On ne peut jamais dire. Ma belle, il y a des choses, que vous ne savez pas encore*³.— Она взяла Джип за руку.— Но одно несомненно. С такими глазами — у вас все впереди!

Джип высвободила руку и покачала головой; нет, она не верит в любовь.

— О, вы еще вскружите многим головы! В этом можете не сомневаться. Я вижу что-то роковое в этих прелестных карих глазах!

¹ И очень даже! (франц.)

² Черт возьми! (франц.).

³ Ничего не скажешь заранее. Милая, есть вещи, которых вы еще не знаете (франц.).

Молодой девушке извинительно, если ей кажутся лестными такие слова: еще бы — в ее глазах виден рок! Комплимент взволновал Джип, и у нее в эти дни было безотчетно веселое настроение; волновали и взгляды мужчин, когда они оборачивались, чтобы поглядеть на нее. Мягкий воздух, приятный веселый город, много музыки, ощущение, что ты выделяешься среди этих заурядных, бесцветных людей, — все это как бы приподнимало ее, как бы опьяняло, делало, по выражению баронессы, «un peu folle»¹. Она то и дело начинала смеяться. Все для нее было «забавным» или «восхитительным». И баронесса, понимая, какой «шик» кроется в этой девушке, с самого начала по-настоящему оценившая ее очарование, делала все, чтобы знакомить Джип со всякими желательными и даже нежелательными людьми.

Любопытство — благотворное чувство. Чем больше побед одерживает мужчина, тем заманчивее для женщины победить его. Пленить того, кто сам пленял многих, — разве это не доказательство, что очарование одной превосходит очарование всех других? Слова баронессы укрепили мнение Джип, что Фьорсен — «невозможный человек», но в то же время незаметно усилили в ней смутное волнение, которое она уже однажды испытала, когда он запомнил ее одну из всей толпы на концерте. Позднее слова баронессы принесли и более ощутимые плоды. Но до этого произошел странный эпизод с цветами.

Вернувшись с прогулки верхом — это было через неделю после того, как она сидела с отцом у памятника Шиллеру, — Джип нашла на своем туалетном столе букет роз «Глюар де Дижон» и «Ля Франс». Карточки не было. Немка горничная смогла сказать только, что цветы принес для «фрейлейн Уинтон» посыльный из цветочного магазина. Джип решила, что они от баронессы. За обедом и позже, на концерте, у нее на корсаже красовались две розы: одна «Ля Франс» и другая «Глюар де Дижон», смелое сочетание розового и оранжевого на фоне платья жемчужно-серого цвета. Программы концерта они не покупали: для Уинтона вся музыка была одинакова, а Джип в программе не нуждалась.

¹ Немного обезумевшей (франц.).

Когда Фьорсен вышел на эстраду, щеки Джип слегка порозовели, точно от ожидания чего-то важного. Он сыграл сначала менуэт Моцарта, затем сонату Цезаря Франка, а когда он выходил раскланиваться, в руке его были две розы: «Ля Франс» и «Глюар де Дижон». Джип машинально дотронулась до своих роз. Их глаза встретились; он поклонился чуть ниже. Уходя со сцены, он приложил розы к губам, и Джип отдернула руку, словно уколовшись о шипы. Сорвать их, бросить на пол? Отец увидит, он мог заметить розы Фьорсена — сравнить те и другие! Он решит, что ее оскорбили! Но оскорблена ли она? Она не могла заставить себя думать так. Это была простая любезность, он как бы хотел сказать ей, что играет для нее одной. Слова баронессы мелькнули в ее голове: «Ему надо спастись от самого себя. Жаль! Большой талант!» Да, у него большой талант! Если человек так играет, — значит, есть что спастись в нем!.. Они ушли, прослушав последнее соло. Дома она бережно присоединила эти две розы к остальным.

Спустя три дня Джип пошла вечером на «неофициальный прием» к баронессе фон Майсен. Она сразу увидела его. Он стоял возле рояля вместе со своим низкорослым, широкоплечим другом и слушал какую-то болливую даму; вид у него был скучающий и немного встревоженный. Весь этот день, хмурый, тихий, со странными зарницами в небе, словно перед дождем, Джип было не по себе; она вдруг почувствовала легкую тоску по Лондону. Теперь она ожила. Она увидела, как низенький приятель скрипача подошел к баронессе; через минуту баронесса подвела его к ней и представила: граф Росек. Он не понравился Джип: темные круги под глазами, чересчур безукоризненные манеры, какая-то холодная слащавость; но он был любезен и вежлив и хорошо говорил по-английски. Видимо, он был поляк, но жил в Лондоне и знал о музыке все, что можно о ней знать. Он надеется, что мисс Уинтон слышала игру его друга Фьорсена? Но не в Лондоне? Нет? Это странно. Пршлый сезон он играл в Лондоне несколько месяцев. Слегка раздосадованная тем, что не знала этого, Джип ответила:

— Да, но в прошлом году я почти все лето прожила в деревне.

— Он имел большой успех. Я снова увезу его в Лондон. Это самое лучшее для него. Как вам нравится его игра?

Ей не хотелось раскрывать свои чувства перед этим человечком, разыгрывающим сфинкса, и Джип пробормотала:

— О, конечно, это просто удивительно!

Он кивнул головой и потом, как бы вспомнив что-то, сказал с легкой улыбкой:

— Могу ли я представить его вам? Густав, это мисс Уинтон!

Джип обернулась. Он уже стоял позади нее и кланялся; глаза его выражали смиренное обожание, и он не пытался скрыть это. Джип заметила, как поляк снова чуть заметно улыбнулся; и вот она уже стоит с Фьорсеном в нише окна. Вблизи он меньше походил на зверя в клетке и, безусловно, был элегантен в своем роде, тщательно подстрижен, от него — то ли от платка, то ли от волос — шел запах каких-то приятных духов, которые она, правда, не одобрила бы, если бы он был англичанином. Он носил на мизинце бриллиантовое кольцо, но и это не был слишком дурной тон. Высокий рост, широкие скулы, густые, недлинные волосы, энергичное лицо, гибкая фигура, свободные движения — все это сглаживало первое впечатление о некоторой изнеженности. Он выглядел вполне мужественным. Он сказал со странным, жестковатым акцентом:

— Мисс Уинтон, вы и здесь моя аудитория. Я играю для вас, только для вас.

Джип рассмеялась.

— Вы шутите надо мной, — продолжал он. — Но, прошу вас, не надо. Я играю для вас потому, что восхищен вами. Я страшно вами восхищен. Посылая вам эти цветы, я вовсе не хотел оскорбить вас. Это был знак благодарности за счастье видеть ваше лицо.

Голос его дрогнул. Опустив глаза, Джип сказала:

— Это было очень любезно с вашей стороны. Я хочу также поблагодарить вас за вашу игру. Она чудесна, право, чудесна!

Он снова слегка поклонился.

— Когда я вернусь в Лондон, вы придете послушать меня?

— Я думаю, всякий пойдет слушать вас, если только удастся.

Он усмехнулся.

— Здесь я играю только ради денег; я ненавижу это место. Оно наводит на меня тоску. Это ваш отец сидел с вами у памятника?

Джип кивнула. Она еще не забыла пренебрежительного кивка Фьорсена в их сторону.

Фьорсен провел рукой по лицу, словно стараясь стереть застывшее на нем выражение.

— Он истый англичанин. Но вы — нет, вы... из любой страны!

Джип иронически поклонилась.

— Да, да,— настаивал он.— Я не угадал бы, откуда вы — с севера или с юга. Я пришел сюда в надежде встретить вас, и я чрезвычайно счастлив. Мисс Уинтон, я ваш слуга, и очень преданный.

Он говорил быстро, очень тихо, с какой-то взволнованной серьезностью, явно не искусственной. Потом, вдруг пробормотав: «О, эти люди!», — он снова слегка поклонился ей и исчез. Баронесса уже вела к ней еще кого-то. После этой встречи Джип подумала: «Неужели он так начинает со всеми?» Ей просто не верилось: этот прерывающийся от искреннего волнения голос, этот смиренный, обожающий взгляд!

Слишком чувствительная, чтобы довериться кому-либо, она не могла разобраться в этом странном сочетании влечения и отвращения, которое испытывала; это не поддавалось анализу: оба чувства сливались и в то же время боролись друг с другом где-то в глубине ее сердца. Это, конечно, не любовь, даже не начало любви; но это было нечто вроде того опасного любопытства, которое испытывают дети ко всему таинственному, недостижаемому, но все же достижимому — если только осмелиться! А тут еще притягательная сила музыки; и эти слова баронессы о спасении его... Но все эти чувства и мысли были пока только в зародыше. Она, может быть, никогда не увидит его снова. Она даже не знает, хочется ли ей этого.

Джип каждое утро ходила с отцом к источнику Кохбруннен; там ему, как и прочим больным, полагалось медленно, в течение двадцати минут, пить лечебную воду. Пока он ее медленно пил, она сидела где-нибудь в уединенном уголке парка, читая — для практики в немецком языке — какой-нибудь роман из журнала «Реклама».

Здесь же она сидела и после «неофициального приема» у баронессы фон Майсен. На этот раз она читала «Вешние воды» Тургенева. Вскоре она увидела графа Росека, он прохаживался по дорожке со стаканом воды в руке. Вспомнив улыбку, с которой он представлял ей Фьорсена, она торопливо заслонила зонтиком. Она видела его ноги в лакированных ботинках, облегающие, узкие книзу брюки, его деревянную походку человека, затянутого в корсет. Мысль, что он прибегает к этим женским уловкам в своем туалете, еще усилила ее неприязнь. Как смеет мужчина быть таким женоподобным? Правда, кто-то говорил ей, что он хорошо ездит верхом, что он опытный фехтовальщик и очень силен. Когда он прошел мимо, она, боясь, что он вернется, захлопнула томик Тургенева и убежала. Но ее фигуру и легкую походку трудно было не заметить.

На следующее утро, сидя на той же скамейке, она читала, затаив дыхание, сцену объяснения между Джеммой и Саниным у окна. Вдруг она услышала позади себя голос Фьорсена:

— Мисс Уинтон!

В одной руке у него был стакан с водой, в другой он держал шляпу.

— Я только что познакомился с вашим отцом. Могу я присесть на минуту возле вас?

Джип отодвинулась на край скамейки, и он сел.

— Что вы читаете?

— Рассказ «Вешние воды».

— А, это — лучшее, что когда-либо написано! А какое место?

— Джемма и Санин во время грозы.

— Погодите! Сейчас придет мадам Полозова! Какая вещь! Сколько вам лет, мисс Уинтон?

— Двадцать два.

— Вы слишком молоды, чтобы по-настоящему оценить этот рассказ; но вы — это вы. Вы многое постигаете чувством. Как ваше имя, простите?

— Гита.

— Гита? Звучит не очень нежно.

— Меня всегда зовут Джип.

— Джип? Ах, Джип! Да! Джип!

Он повторял ее имя так, словно оно не имело к ней никакого отношения, и поэтому Джип не рассердилась.

— Я сказал вашему отцу, что имел удовольствие встретиться с вами. Он был очень вежлив со мной.

— Отец всегда вежлив, — холодно заметила Джип.

— Он как лед, в котором замораживают шампанское. Я полагаю, вам уже говорили обо мне, как о *mauvais sujet*¹.

Джип наклонила голову. Он пристально посмотрел на нее и сказал:

— Это правда. Но я мог бы быть лучше, гораздо лучше.

Ей хотелось взглянуть на него, но она не могла, охваченная каким-то странным восторгом. У этого человека все-таки есть сила воли; и он готов подчинить себя ее воле! Если она захочет, — она сделает его своим рабом, собакой, будет держать его на поводке. Стоит ей протянуть руку — и он опустится на колени, чтобы поцеловать ее. Она скажет одно слово: «Сюда!» — и он прибежит, где бы он ни был. Она скажет: «Будь хорошим!» — и он станет хорошим. Впервые она почувствовала свою силу, и это опьяняло. Но Джип не была слишком уверенной в себе; эта минута, когда она считала себя победительницей, тут же омрачилась сомнением. И, словно читая ее мысли, Фьорсен сказал:

— Велите мне сделать что-нибудь, все равно — что. Я сделаю, мисс Уинтон.

— Тогда немедленно возвращайтесь в Лондон. Здесь вы просто растрачиваете себя.

— Вы просите меня сделать то, что для меня невозможно, мисс... мисс Джип!

— Пожалуйста, не называйте меня так... Меня так называют наши слуги.

¹ Человек дурного поведения (франц.).

— Но я и есть ваш слуга.

— И поэтому не хотите сделать то, о чем я прошу вас?

— Вы жестоки!

Джип рассмеялась.

Он сказал с неожиданной горячностью:

— Я не уеду от вас. И не думайте об этом! — Вдруг он быстро наклонился, взял ее руку, прижал к губам и, резко повернувшись, ушел.

Встревоженная и изумленная, Джип глядела на свою руку, на которой еще чувствовалось прикосновение его жестких усов. Потом она снова рассмеялась. Очень уж это было «по-инострайному» — целовать руку; и она снова занялась книжкой, но уже не улавливала смысла того, что читала.

Видел ли кто-нибудь такое более чем странное, ухаживание? Джип по-прежнему казалось, что она крепко держит вожжи в руках и лишь подает милостыню, совершает благодеяние; и в то же время ее преследовало чувство, что она уже не свободна. Даже сила ее обаяния, которая, как ей думалось, была неотразима для Фьорсена, теперь обращалась против нее самой. Полная сомнений вначале, она уже не могла больше сомневаться. Если она не улыбалась ему, он становился угрюмым и несчастным; но стоило ей улыбнуться — и он оживал, настроение у него поднималось. Менялось и выражение его глаз, обычно злых и беспокойных; когда он смотрел на нее, в них светилось тоскливое, смиренное обожание. Так притворяться невозможно; а такие перемены в нем она наблюдала постоянно. Где бы она ни появлялась, там оказывался и он. Она шла в концерт — он уже ждал в нескольких шагах от входа в зал. В кондитерскую выпить чаю — он тут как тут. Каждый вечер он гулял там, где она могла проехать верхом, направляясь на Неро-берг.

Если не считать встреч у Кохбруннена, где он почти-тельно просил разрешения посидеть возле нее несколько минут, он не навязывал ей своего общества и не пытался хоть чем-нибудь ее скомпрометировать. Должно быть, он инстинктивно понимал, что с такой впечатлительной девушкой это было бы опасно. Были и другие мотыльки, которые вились вокруг этого огонька, и это

вынуждало его держаться так, чтобы его ухаживание не бросалось в глаза. А Джип — видела ли она, что происходит, понимала ли, какой подкоп ведется под ее оборонительные позиции, чувствовала ли опасность того, что, позволяя ему увиваться вокруг нее, она отрезает себе путь к отступлению? По сути дела, нет. Все это скорее усиливало торжествующее опьянение тех дней — она все больше влюблялась в жизнь, все тверже верила, что ею дорожат и восхищаются, что в ее власти делать то, чего не могут другие.

Фьорсен волновал ее. Да и кто бы мог скучать в обществе такого беспокойного, капризного, живого человека? Однажды он рассказал ей кое-что о своей жизни. Отец его, швед, мелкий землевладелец, был очень силен физически, но много пил; мать была дочерью художника. Это она выучила его играть на скрипке, но она умерла, когда он был еще ребенком. В семнадцать лет он повздорил с отцом, пришлось самому добывать хлеб игрой на скрипке на улицах Стокгольма. Как-то его услышал один известный скрипач и стал давать ему уроки. Отец, окончательно спившийся, умер. Фьорсен унаследовал маленькое поместье. Он тут же продал его, а деньги истратил «на всякие глупости», как он грубовато выразился.

— Ах, мисс Уинтон, я совершил много глупостей в жизни, но они — ничто перед тем, что я совершу в тот день, когда больше не смогу видеть вас!

Он произнес все это с волнением и тут же откланялся. Она улыбнулась — отчасти скептически, отчасти соболезнующе, но в ней уже зарождалось какое-то новое чувство, которого она сама не понимала. Она вообще плохо понимала себя в те дни.

А Уинтон — видел ли он, что с ней творится? По правде говоря, он был встревожен. Но больше всего он боялся обнаружить свое беспокойство каким-либо опрометчивым действием — например, увезти Джип за две недели до окончания курса лечения. Он-то хорошо знал приметы любви! Этот долговязый, нескладный малый с повадкой хищника, пиликающий на скрипке; эти широкие скулы и узенькие бакенбарды (боже праведный!), эти зеленоватые глаза, которых он не сводит с Джип, — все это Уинтон отмечал про себя, и опасения

его все возрастали. И, может быть, только врожденное презрение англичанина к иностранцам, особенно к артистам, удерживало его от решительных шагов. Он не мог принять это всерьез. Джип, его утонченная Джип, разве она может увлечься субъектом такого сорта! Никогда! Кроме того, она непременно спросит его совета при любой трудности или сомнении. Уинтон забывал при этом о стыдливой скрытности девушек, не вспомнил и о том, что сам он, любя Джип, избегал всяких нежных излияний, а она, любя его, не открывала ему своего сердца. Да и вообще он, как бы ни был проницателен, замечал не все, что следовало замечать, а только то, что Фьорсен делал открыто, придавая этому безобидный характер. А это было не столь уж серьезно, если не считать одного эпизода накануне их отъезда, о котором Уинтон ничего не знал.

Последний день был тихим, немножко печальным. Ночью шел дождь, и от пропитанных влагой стволов деревьев и мокрых опавших листьев исходил слабый запах лакрицы. У Джип было ощущение, что душа ее, до этого полная восторга, вдруг оказалась опустошенной. После завтрака, когда Уинтон занялся оплатой по счетам, она пошла бродить по парку, спускавшемуся к долине. Небо было затянуто облаками, деревья стояли унылые, поникшие. Все вокруг было унылым; она вышла из парка, перебралась через ручей, обогнула по грязному переулку окраину деревни и поднялась на возвышенность, откуда могла вернуться по шоссе. Почему всему бывает конец? Впервые в жизни она без восторга подумала о Милденхэме, об охоте. Ей теперь хотелось пожить в Лондоне. Там она не будет лишена музыки, танцев, общества, приятного, радующего ощущения, что ею любят.

Откуда-то доносилось глухое, басовитое гуденье молотилки, и звук этот, казалось, в точности выражал ее настроение. Над ней пролетел голубь, сверкающе-белый на фоне свинцовых облаков; березки, уже золотые, вздрагивая, роняли дождевые капли. Как сиротливо все это выглядело! Вдруг двое маленьких мальчишек выскочили из-за живой изгороди и, чуть не сбив ее с ног, бросились бежать по дороге. Джип почувствовала на лице первые мелкие капельки дождя. Будет испорчено

платье — единственное, которое она любит, сизого цвета, бархатное, его нельзя носить в такую погоду! Она побежала к березкам, чтобы укрыться под ними. Дождь, наверно, скоро пройдет. Смягченное расстоянием, все еще было слышно жалобное гуденье молотилки, и от этого ей становилось еще неуютнее.

За живой изгородью, откуда выбежали мальчишки, показался какой-то человек, он шел по дороге, широко шагая, и направлялся в ее сторону. Вот он перескочил канаву у березок. Фьорсен! Запыхавшийся, растрепанный, бледный от волнения... Он, должно быть, старался ее догнать и поднялся сюда, не переходя через ручей, прямо с тропинки, по которой она огибала подножие холма. Его щегольской костюм сильно пострадал от крутого подъема в гору. Едва переводя дыхание, Фьорсен проговорил:

— Значит, вы завтра уезжаете и не сказали мне об этом! Вы хотели ускользнуть потихоньку, а мне ни слова! Вы всегда так жестоки? Хорошо, тогда и я не буду вас щадить!

Вдруг опустившись на колени, он ухватился за ленту ее пояса и припал к ней лицом. Джип вздрогнула и замерла. Он обхватил руками ее колени.

— О Джип, я люблю вас... Я люблю вас — не гоните меня... Позвольте мне быть с вами! Я ваш пес, ваш раб. О Джип, я люблю вас!..

Его голос растрогал ее и испугал. За последние два года мужчины не раз говорили ей «люблю вас»; но никогда в их словах не звучала такая безудержная страсть, никогда она не видела такого взгляда, жадного и умоляющего, не знала таких беспокойных, нетерпеливых и в то же время робких прикосновений.

Она едва смогла выговорить:

— Встаньте! Пожалуйста!

Но он все повторял:

— Любите меня хоть немного, совсем немного — любите меня! О Джип!

Ее, как молния, пронзила мысль: «Перед сколькими он становился на колени?» Лицо его было красиво в этом самозабвении — той красотой, которая порождается порывом; и страх ее вдруг рассеялся. Фьорсен продолжал бормотать, запинаясь:

— Я бездомный бродяга, я знаю это; но если вы полюбите меня, я стану другим. Для вас я совершу большие дела. О Джип, если бы вы когда-нибудь согласились стать моей женой! Не теперь. Когда я докажу. Джип... такая любимая, такая чудесная!

Его руки поднимались все выше, он спрятал лицо на ее груди. Не понимая сама, что делает, Джип коснулась рукой его волос и повторила:

— Встаньте же, пожалуйста.

Он поднялся и прошептал:

— Пощадите меня. Скажите хоть слово!

Но она только глядела в его лицо беспокойными, потемневшими глазами. И внезапно он схватил ее и прижал к себе. Она отпрянула, отталкивая его изо всех сил. Он опустил голову, пристыженный, и закрыл глаза; губы его дрожали. И снова ее сердце затрепетало от сострадания. Она пробормотала:

— Не знаю. Я скажу вам позже — в Англии.

Он поклонился и скрестил руки, словно давая понять, что ей нечего опасаться. И когда, несмотря на дождь, она пошла вперед, он зашагал с ней рядом, покорный, словно никогда не оскорбил ее губ насильственным поцелуем.

Вернувшись к себе в комнату и снимая промокшее платье, Джип старалась вспомнить, что говорил он и что отвечала она. Она ничего не обещала. Но она дала ему свой адрес — и лондонский и в деревне. Она старалась заставить себя думать о другом, но все еще чувствовала беспокойное прикосновение его пальцев, крепкую хватку рук, видела его глаза, какими они были, когда он поцеловал ее; и снова ее охватывали страх и волнение.

В этот вечер он давал концерт — ее последний концерт. И правда, он никогда так не играл — с какой-то силой отчаяния, с каким-то безумным упоением. Она слушала его, и ею овладевало новое чувство: это судьба! Хочет она или нет, но ей уже не освободиться от него.

ГЛАВА V

Вернувшись в Англию, Джип утратила или почти утратила это ощущение. Фьорсен встретит другую и найдет в ней все то, что приписывал ей, Джип! Смешно

думать, что он перестанет вести беспутную жизнь ради нее и что она действительно имеет над ним какую-то власть! Но где-то в глубине души она надеялась на другое.

Уинтон снова вздохнул свободно и торопил ее с отъездом в Милденхэм. Он купил ей новую лошадь. Было как раз время охоты на молодых лис. По меньшей мере на неделю увлекательная скачка по полям и вид несущихся гончих заслонили собой все. Но потом, когда начался настоящий охотничий сезон, она снова почувствовала скуку и беспокойство. В Милденхэме было мрачно, тоскливо завывали осенние ветры. Ее маленький коричневый спаньель Ласс подход от старости. Она не могла простить себе, что оставила его надолго одного, теряющего силы. Она все время помнила о нем и знала, что Ласс ждет ее возвращения, так же, как и Бетти с ее пристрастием к жалобным причитаниям, что столь свойственно простым сердцам; и теперь Джип обвиняла себя в жестокости. В таких случаях она бывала снисходительна к другим, но сурова к себе. Несколько дней она была почти больна, а когда оправилась, встревоженный Уинтон отослал ее в Лондон к тетушке Розамунде. Правда, ему будет одиноко без нее; но если в столице она почувствует себя лучше и немного развлечется, то он будет доволен. Три дня спустя, в субботу, он явился в Лондон и очень обрадовался, найдя ее заметно повеселевшей; с облегченным сердцем он отправился в Милденхэм. А на другой день после отъезда отца Джип получила письмо от Фьорсена — его переслали с Бэри-стрит. Он писал, что возвращается в Лондон; он не забыл ни одного взгляда, которым она его подарила, ни одного сказанного ею слова. Он не будет знать покоя, пока не сможет опять увидаться с ней. «Долгое время,— так кончалось письмо,— до того, как я впервые встретил вас, я был как мертвый, я погибал. Целую ваши руки и остаюсь вашим верным рабом — Густав Фьорсен». Будь это сказано другим мужчиной — она бы только презрительно усмехнулась. Но теперь это письмо возродило в Джип прежнее волнующее чувство, приятное и тревожное ощущение того, что ей от него не уйти.

В ответ она написала, что ее тетушка будет рада видеть его, если он посетит их в любой день между пятью

и шестью; и подписалась: «Гита Уинтон». Она долго просидела над этой запиской, которая понравилась ей своей официальной краткостью. Стала ли она вправду его повелительницей? И могла ли она управлять собой так, как хотела? Записка не оставляла сомнений в этом.

Вообще говоря, на лице Джип нелегко было прочесть, что она чувствует; даже Уинтон часто становился в тупик. Подготавливая тетушку Розамунду к приходу Фьорсена, она делала это очень хитро — как бы мимоходом. Когда он пришел, ему, видимо, стало ясно, что надо быть настороже; он только смотрел на Джип, стараясь делать это незаметно. Но, уходя, прошептал ей:

— Нет, не так! Не так! Я хочу видеть вас одну — я хочу!

Она улыбнулась и покачала головой. Но снова заиграло и заискрилось вино ее радости.

Вечером она безразличным тоном сказала тетушке Розамунде:

— Мистер Фьорсен не нравится отцу, и, наверно, поэтому он не может оценить его игру.

Это осторожное замечание побудило тетушку Розамунду — весьма жадную до музыки, но, разумеется, в пределах хорошего тона — умолчать в письме к брату об имевшем место вторжении. В следующие две недели Фьорсен появлялся почти ежедневно и приносил с собой скрипку. Джип аккомпанировала ему, и хотя от его алчущего взгляда ей было не по себе, она уже тосковала по этому взгляду.

Но когда Уинтон приехал на Бэри-стрит, она оказалась в затруднении. Признаться, что Фьорсен бывал у тетушки Розамунды? Но она не упоминала о нем в своих письмах. Не признаваться, предоставить ему узнать это от самой тетушки? В смятении она не сделала ни того, ни другого, а сказала отцу, что ей до смерти хочется на охоту. Видя в этом добрый знак, он тут же увез ее в Милденхэм. У нее было странное чувство — не то облегчения, не то сожаления, словно она убежала от чего-то, зная, что вскоре ее потянет снова вернуться. Сбор охотников был назначен далеко от их дома, но Джип настояла на том, чтобы ехать на место охоты верхом; она приказала престарелому жокею Петтенсу, который все еще служил подсобным ко-

нюхом в Милденхэме, привести туда ее вторую лошадь. Дул хороший, свежий ветер, собирался дождь. Уинтон облюбовал для себя и Джип укромный уголок. Они проехали прямо туда, к счастью, никем не замеченные — опытный охотник всегда будет держаться за этим одно-руким всадником в выцветшей куртке, который на своей сухощавой кобыле умеет так здорово вырваться вперед! Из чащи появился верхом на коне один из выжлятников, маленький чернявый парень с острым взглядом и обветренными впалыми щеками; он проскакал мимо, помахал рукой и снова пропал в лесу. С пронзительным криком из кустарника вылетела сойка, покружилась в воздухе и юркнула обратно. Через вспаханное поле пробежал заяц, рыжеватый, неуклюжий, едва различимый на бурой земле. Высоко в небе между перелесками носились голуби. Резкие голоса выжлятников доносились из глубины леса, изредка подавали голоса гончие; видимо, чуя след, они кружили среди папоротников и шиповника.

Джип, сжимая поводья, дышала полной грудью. Вокруг все благоухало прямо и свежо, по голубому небу быстро неслись светло-серые облака, но ветер здесь был вполтину тише, чем там, наверху, — он только относил листья березы и дуба, опавшие от мороза, который ударил два дня назад. Если бы только лисица прорвалась в их сторону и они могли бы первыми ее заповелевать, одни с гончими! Вот уж какая-то из гончих выбегаёт из чащи — милейшее создание, деловитое и спокойное. На возглас Уинтона «Искать, Трикс!» гончая поднимает рыжеватую, с белыми пятнами голову и с упреком глядит на хозяина темно-коричневыми глазами. Раскат охотничьего рога в лесу — и гончая ныряет обратно в кусты шиповника.

Новый гнедой конь Джип насторожил уши. Вдоль опушки, приближаясь к ним, ехал на низкой караковой кобылке молодой человек в серой короткой куртке, кожаных бриджах и ботфортах. Значит ли это, что все охотники пожалуют сюда? Джип нетерпеливо оглядела незваного гостя, а он, слегка приподняв шляпу, улыбнулся. Улыбка, чуточку дерзкая, была, однако, заразна, и Джип, невольно смягчившись, едва заметно улыбнулась в ответ. Кто он такой? Вид у него был ве-

селый и безмятежный. Она совершенно не помнила его, но что-то в нем казалось ей знакомым — лицо, хорошо очерченное, гладко выбритые щеки, темные вьющиеся волосы, очень светлые глаза, смелый, спокойный взгляд. Где она видела кого-то, похожего на него?

Приглушенный возглас Уинтона заставил ее повернуть голову. За ближними кустами прокрадывалась лисица! Глаза Джип встретились с глазами отца. Его лицо стало твердым, как сталь. Ни звука, ни шороха — словно лошадь и человек превратились в металл. Что же он, так и не крикнет «ату»? Но вот губы его приоткрылись, и слово вылетело. Джип благодарно улыбнулась молодому человеку: он проявил такт, предоставив крикнуть ее отцу; и снова он в ответ улыбнулся ей. Но вот уже с лаем вынеслись по следу первые гончие — одна, другая, третья, — только пыль столбом! Но почему же не трогается с места отец?

Мимо нее промелькнула вороная кобыла, вслед рванулся гнедой Джип. Молодой человек на караковой обходил ее слева. Только доезжащий, один выжлятник и их трое! Ее гнедой слишком стремительно взял первую изгородь, и Уинтон, обернувшись, крикнул: «Спокойней, Джип! Сдерживай!» Но она не могла, да и к чему! Луг, три луга, лисица — чудо, идет как по нитке! Каждый раз, когда гнедой подымался в прыжке, она успевала подумать: «Чудесно! О, как мне хорошо!» Нет на свете другого такого ощущения! А тут еще вожак отец, гончие идут ровно, добрым ходом, лугам нет конца. Что там танцы! Это даже лучше — да, лучше! — чем слушать музыку! Всю бы жизнь нестись так, перелетая через изгороди! Новый гнедой — прелесть, хотя и тянет поводья...

Она перескочила через следующую изгородь одновременно с молодым человеком, у которого караковая шла великолепно. Шляпу он теперь нахлобучил на уши, лицо его стало сосредоточенным, но на губах все еще оставалось что-то от той улыбки. Джип подумала: «У него хорошая посадка, очень уверенная, только, похоже, он чересчур «зарывается». Никто так не ездит, как отец, — красиво и спокойно!» И в самом деле, манера Уинтона держаться в седле была безупречна. Гончие заворачивали на ходу всей стаей. Теперь она словно

слилась с ними! Вот это скачка! Никакой лисе долго не выдержать!

И вдруг она увидела лису на дальнем конце луга, отчаянно несущуюся с поджатым хвостом, и молнией ее обожгла мысль: «О! Не давайся им в руки! Беги, лиса, беги! Уходи!» Неужто все мы — на одного загнанного рыжего зверя? Сто великанов, лошадей, мужчин и женщин, собак — все на одну маленькую лисицу? Перед ней выросла еще одна изгородь, тут же другая, и в экстазе полета через них она забыла о стыде и жалости, только что охвативших ее. Минутой позже лиса растянулась на земле в сотне ярдов от передовой собаки — и Джип радовалась этому! Она не раз видела затравленных лисиц — ужасное зрелище! Но зато была чудесная скачка. Задышающаяся, с восторженной улыбкой, она уже думала о том, успеет ли незаметно для молодого человека вытереть лицо, прежде чем доскачет до края луга.

Она видела, как он разговаривает с ее отцом, а когда они тронулись в обратный путь, он приподнял шляпу и, глядя ей прямо в лицо, сказал:

— Как вы скакали!

Голос у него был приятный, певучий.

Джип поблагодарила его кивком.

— Вы хотите сказать — моя новая лошадь?

Она все еще ломала голову: «Где я все-таки видела человека, похожего на него?»

Они сделали еще два гона, но это уже было не то, что первая скачка. Не видела она больше и молодого человека, которого звали, кажется, Саммерхэй, — он оказался сыном некоей леди Саммерхэй из Уидрингтона, в десяти милях от Милденхэма.

Обратно Джип с Уинтоном ехали, не торопясь, при свете угасающего дня. Оба молчали. В отличном настроении, вся напоенная свежим ветром, она чувствовала себя счастливой. Все уже тонуло в сумерках — деревья, поля, стога сена, изгороди, пруды у дорог; в окнах деревенских домов уже светились огни; в воздухе пахло смолистым дымом. Впервые за весь день она вспомнила о Фьорсене, вспомнила почти с тоской. Если бы он очутился здесь, в старой уютной гостиной, играл бы для нее, а она сидела бы в полудремоте у огня,

вдыхая запах горящих кедровых поленьев, играл бы менуэт Моцарта или ту трогательную песенку Пуаза¹, которую он исполнял, когда она в первый раз услышала его игру, или десяток других вещей, которые он играет без аккомпанемента! Это было бы самым чудесным завершением чудесного дня. Только еще этого тепла не хватает, чтобы все было прекрасно,— тепла музыки и обожания!

Тронув лошадь каблуком, она вздохнула. Эти фантазии о музыке и Фьорсене можно было позволить себе вдали от него; она даже подумала, что ничего не имела бы против, если бы он снова повел себя так, как тогда под березами, под дождем, в Висбадене. Так приятно, когда тебя обожают!.. Она ехала теперь на своей старой кобыле, шесть лет ходившей под седлом, и та уже начала часто пофыркивать, чуя стойло. Вот и последний поворот, знакомые очертания буковой аллеи, ведущей к дому,— старому помещичьему дому, вместительному, довольно мрачному, с широкими удобными лестницами. Она устала; моросил дождь. Завтра будет ныть все тело. Она увидела Марки, стоящего в освещенной двери. Доставая из кармана кусочки сахара для кобылы, она услышала его слова:

— Мистер Фьорсен, сэр, джентльмен из Висбадена, с визитом.

Сердце ее заколотилось. Что это значит? Зачем он приехал? Как он посмел? Как он мог поступить так предательски? Ах, но он, конечно, не знает, что она ничего не сказала отцу. Это в наказание ей! Она вбежала в дом и прямо поднялась наверх. До нее донесся голос Бетти: «Ванна готова, мисс Джип!»

— О Бетти, дорогая, принеси мне чай наверх! — крикнула она и исчезла в ванной комнате. Здесь она была в безопасности; и потом: в восхитительном тепле ванны легче обдумать положение.

Могло быть только одно: он приехал просить ее руки. И вдруг ей стало спокойнее. Лучше уж так; больше не будет секретов от отца! Отец встанет между ней и Фьорсеном, если... если она сама не решит выйти за

¹ Пуаз Жан, французский композитор, автор ораторий и комических опер (1828—1892).

него замуж. Эта мысль потрясла ее. Неужели она, сама того не сознавая, зашла так далеко? Что же будет? Фьорсен не откажется от нее, если даже она ответит ему «нет». Но захочет ли она сама отказать ему?

Она любила горячие ванны, но никогда еще не сидела в воде так долго. Здесь ей было легко — и так тяжело будет там! В дверь постучали, и это заставило ее наконец выйти из ванны и впустить Бетти, явившуюся с чаем и со следующим приглашением:

— Мисс Джип просят спуститься вниз, когда она будет готова.

ГЛАВА VI

Проводив взглядом дочь, Уинтон отрывисто спросил у Марки:

— Куда вы девали этого джентльмена?

Только слово «этого» и выдавало его волнение. Но пока он пересекал прихожую, в голове у него пронеслось много необычных мыслей. В кабинете он довольно учтиво наклонил голову, ожидая, что скажет Фьорсен. «Скрипач» был в меховом пальто, в руках он теребил фетровую шляпу. Почему он не смотрит прямо в глаза? А если и смотрит, то словно хочет тебя съесть.

— Вы ведь знаете, что я вернулся в Лондон, майор Уинтон?

«Значит, Джип виделась с ним и ничего не сказала!» — с горечью подумал он. — Но не надо выдавать ее». И он снова только наклонил голову. Он видел, что гостя пугает его ледяная учтивость; но он не соби-
рался помогать Фьорсену избавиться от этого страха.

Фьорсен принялся расхаживать по комнате. Потом остановился и сказал возбужденно:

— Майор Уинтон, ваша дочь — самое прекрасное создание на свете. Я люблю ее безумно. Я человек с будущим. И я добьюсь многого в моем искусстве, если только женюсь на ней. У меня есть к тому же и небольшие средства; но в моей скрипке — все богатство, какого только она пожелает.

На лице Уинтона можно было прочесть только холодное презрение. Значит, этот тип воображает, что он,

Уинтон, может думать о деньгах, когда речь идет о его дочери! Это просто оскорбляло его.

Фьорсен продолжал:

— Я вам не нравлюсь. Я понял это с первой минуты. Вы английский джентльмен, — эти слова он произнес с иронией, — и я для вас ничто. Но в своем мире я чего-то стою. Я не авантюрист. Вы позволите мне просить вашу дочь быть моей женой?

Он поднял руки и замер, как на молитве.

На секунду Уинтон почувствовал, что этот человек страдает. Но ответил тем же ледяным тоном:

— Я очень обязан вам, сэр, за то, что вы обратились ко мне первому. Я не хочу быть невежливым в своем доме; но я был бы рад, если бы вы оказались столь любезны и удалились, имея в виду, что я безусловно буду противиться вашему желанию до последней возможности.

Почти детское разочарование и смятение, написанные на лице Фьорсена, сразу сменились выражением гнева, недоверия, насмешки и, наконец, отчаяния. Он воскликнул:

— Майор Уинтон, вы же любили! Вы, наверно, любили ее мать. Я страдаю!

Уинтон, отошедший было к камину, резко повернулся.

— Я не распоряжаюсь чувствами своей дочери, сэр; она может поступить так, как ей угодно. Я только говорю, что если она выйдет за вас замуж, это будет против моих надежд и взглядов. Я представляю себе, что вы в общем не так уж дожидались моего разрешения. Я не слепой и видел, как вы увивались вокруг нее в Висбадене, мистер Фьорсен.

Фьорсен ответил с жалкой улыбкой:

— Несчастные делают то, что могут. Вы позволите мне увидеть ее? Только увидеть.

Она уже встречалась с этим парнем без его ведома, скрыла все от него — от него! Все свои переживания, каковы бы они ни были! И Уинтон сказал:

— Я пошлю за ней. А пока не желаете ли чаю или виски?

Фьорсен покачал головой. Добрых полчаса прошли в неприятном, натянутом молчании. Уинтон, стоявший

перед камином в испачканной, забрызганной грязью одежде, выдерживал это молчание лучше, чем его гость. Это дитя природы потратило много усилий, пытаясь соревноваться с хозяином. Теперь Фьорсен, видимо, махнул рукой на все приличия: он нервно шагал по комнате, подходил к окну, отодвигал занавеси и глядел в темноту; потом, как бы опять на что-то решившись, останавливался против Уинтона и снова, словно отброшенный этой неподвижной фигурой у огня, опускался в кресло и отворачивался к стене. Уинтон не был по натуре жестоким человеком, но он забавлялся, глядя, как корчится этот тип, вздумавший угрожать счастью Джип. Угрожать? Ну, разумеется, она не примет его предложения! И все-таки почему она умолчала о своих встречах с ним? Уинтон тоже страдал.

Потом вошла Джип. Она улыбалась, но в лице ее была какая-то предостерегающая замкнутость. Она подошла к Фьорсену и, протягивая руку, сказала спокойно: — Как мило, что вы приехали!

Уинтон с горечью почувствовал, что он — он! — здесь лишний. Хорошо, он будет говорить прямо; видимо, многое произошло за его спиной.

— Мистер Фьорсен сделал нам честь просить твоей руки. Я сказал ему, что ты решаешь такие вопросы сама. Если ты примешь его предложение, то естественно, что это будет против моего желания.

Пока он говорил, румянец на ее щеках становился все гуще; она не глядела ни на него, ни на Фьорсена. Уинтон заметил, как часто подымается и опускается кружево на ее груди. Она едва заметно пожала плечами. И вдруг Уинтон, потрясенный до глубины души, повернулся и пошел к двери. Ему стало ясно, что она не нуждается в его наставлениях. Неужели ее любовь к отцу значит для нее меньше, чем этот скрипач? Но он тут же подавил в себе обиду и возмущение; без нее он не может жить! Пусть она выйдет замуж за самого отъявленного негодяя — он все равно останется с ней, он хочет ее дружбы и любви. Она слишком много значит для него в настоящем и значила в прошлом. С тяжелым сердцем он ушел к себе.

Когда он спустился к обеду, Фьорсена уже не было. Что говорил этот человек, что отвечала она ему, — он

не стал бы спрашивать ни за что на свете. Нелегко перекинуть мост через пропасть, созданную гордостью. И когда Джип встала, чтобы пожелать ему доброй ночи, лица у обоих были словно у восковых манекенов.

В последующие дни она ничем не выдавала себя, не произнесла ни слова, которое могло бы означать, что она собирается идти против его воли. Фьорсена как бы не существовало, о нем просто не упоминали. Но Уинтон хорошо знал, что она подавлена и что-то затаила в душе против него. Однажды после обеда он спокойно спросил:

— Скажи мне откровенно, Джип: тебе нравится этот человек?

Она ответила так же спокойно:

— В какой-то мере — да.

— А этого довольно?

— Я не знаю, отец.

Ее губы дрожали, и сердце Уинтона смягчилось, как и всегда, когда он видел ее взволнованной. Он протянул руку, положил на ее пальцы и сказал:

— Я никогда не буду помехой твоему счастью, Джип. Но это должно быть счастье. Будет ли оно? Я не думаю. Ты ведь знаешь, что говорили о нем там?

— Да.

Он не ожидал, что это ей известно. Сердце его упало.

— Это очень скверно, понимаешь ли? И он совсем не нашего круга.

Джип подняла на него глаза.

— А ты думаешь, отец, что я «нашего круга»?

Уинтон отвернулся. Она пошевелила пальцами, на которых лежала его рука, и продолжала:

— Я не хотела тебя обидеть. Но ведь так оно и есть, правда? Я не принадлежу к твоему кругу. Всегда, когда ты говорил мне об этом, я чувствовала, насколько далека от этих людей. Я ближе к нему. Музыка для меня дороже всего на свете!

Уинтон судорожно сжал ее пальцы.

— Если твое счастье окажется непрочным, Джип, это будет самым страшным крушением для меня.

— Но почему мне не быть счастливой, отец?

— Ради твоего счастья я могу примириться с кем

угодно. Но я не могу поверить в это. Я прошу тебя, дорогая, ради бога, подумай еще. Я пустил бы пулю в человека, который обошелся бы с тобой дурно.

Перед сном он сказал:

— Завтра мы едем в Лондон.

То ли почувствовав неизбежность того, что должно совершиться, то ли питая слабую надежду, что более частые встречи с этим скрипачом излечат ее, он решил больше не чинить препятствий.

И необычное ухаживание началось снова. К рождеству она дала согласие, все еще убежденная, что она повелительница, а не рабыня; кошка, а не птичка. Один или два раза, когда Фьорсен дал волю своим чувствам и его откровенно дерзкие поцелуи оскорбили ее, она почти с ужасом подумала о том, на что идет. Но в общем она была в каком-то ликующем настроении, опьяненная музыкой и его поклонением, хотя и испытывала иногда угрызения совести,— она знала, что огорчает отца. Она редко бывала в Милденхэме, а он, оставив Джип на попечение сестры, придавленный бедой, проводил там все время и почти не слезал с седла. Тетушка Розамунда, хотя и находилась под обаянием игры Фьорсена, соглашалась с братом, что он «невозможен». Но что бы она ни говорила, ее слова никак не действовали на Джип. Это было новое и потрясающее открытие — жилка упрямства в мягкой, чувствительной девушке. Возражения, казалось, только укрепляли ее решимость. В конце концов природный оптимизм доброй женщины начал подсказывать тетушке Розамунде, что Джип сумеет сделать человеком и такого субъекта. Что ни говори, а он в своем роде знаменитость!

Свадьба была назначена на февраль. Был куплен дом с садом в Сент-Джонс Вуд. Последний месяц перед свадьбой проходил, как это обычно бывает, в какой-то упоенной сутолоке, в покупке мебели, платьев. Если бы этого не было, кто знает, сколько узлов, скрепленных помолвкой, оказались бы развязанными.

И вот сегодня они поженились. До последнего дня Уинтон не верил, что все кончится этим. Он пожал руку ее мужу, стараясь ничем не выдавать своей горечи и разо-

чарования; впрочем, он хорошо знал, что никого этим не обманет. Слава всевышнему, обошлось без церкви, без свадебного пирога, приглашений, поздравлений и подобной чепухи — он не выносил этого. Не было даже Розамунды — у нее инфлюэнца, — чтобы помочь уложиться!

Откинувшись на спинку старого кресла, он глядел на огонь.

Теперь они вот-вот должны подъехать к Торки, да, именно теперь. Музыка! Кто бы мог подумать, что звуки, извлекаемые из струн и дерева, украдут ее у него! Да, пожалуй, они уже в Торки, в отеле. Из уст Уинтона вырвалась первая за долгие годы молитва:

— Пусть она будет счастлива! Пусть она будет счастлива!

Услышав, что Марки открывает дверь, он закрыл глаза и притворился спящим.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Джип задумчиво смотрела на свое платье, бархатное, кремового цвета. Мало кто из девушек ее круга выходил замуж без свадебной «чепухи», как называл это Уинтон. Немногим из них пришлось сидеть в уголке купе первого класса, не испытав даже удовольствия от того, что в течение нескольких приятных часов ты была центром общего восхищения и поклонения, чему и теперь радуешься, пока продолжается твое путешествие в вагоне; сидеть в уголке и даже не иметь возможности вспомнить, как держали себя друзья, кто что говорил, кто как выглядел, поболтать обо всем этом с молодым мужем, чтобы отогнать грустные мысли. А что было у нее? Новое, впервые сегодня надетое платье; слезы Бетти; плоские, как донышко цилиндра, лица регистратора и его помощника — вот все, о чем она может вспомнить. Она украдкой взглянула на сидящего напротив Фьорсена, одетого в синий костюм из тонкой шерсти. Ее муж! Миссис Густав Фьорсен! Так ее будут называть теперь; но для себя она по-прежнему останется Гитой Уинтон. Другое имя к ней никогда не подойдет. Не признаваясь самой себе, она боялась, — боялась встретиться с ним глазами и старалась глядеть в окно. Хмурый, унылый день; ни тепла, ни солнца, ни музыки — свинцово-серая Темза, печальные ивы по берегам...

Вдруг она почувствовала прикосновение его руки. Такого лица она раньше никогда у него не видела — разве что когда он играл, — сейчас оно было необычайно

одухотворенным. Она вдруг почувствовала себя уверенней. Если все останется таким — тогда!.. Его рука лежала на ее колене; лицо уже чуть-чуть изменилось; одухотворенность увядала, гасла; губы набухали. Он поднялся и сел возле нее. Она с безотчетной радостью подумала о том, что рядом коридор, и сразу заговорила об их новом доме. До сегодняшнего дня, все то время, что они бывали вместе, он напоминал голодного человека, с жадностью набрасывающегося на случайную еду; теперь, когда она принадлежала ему навсегда, он был совсем другим — словно мальчик, которого отпустили из школы.

Он достал свою тренировочную скрипку и, вставив сурдинку, начал играть. Когда он отворачивал голову, она смотрела на него. Он выглядел теперь много лучше, чем в ту пору, когда носил свои узенькие бакенбарды. Как-то она дотронулась до них и сказала: «Если бы эти крылышки могли улететь!» К следующему утру они улетели. Но она так и не привыкла к нему, а тем более к его прикосновениям.

В Торки небо было чистым и звездным; вместе с ветром через окна такси долетали запахи моря; на далеком мысу мигали огоньки; в крошечной гавани на воде, отливавшей темной синевой, качались, словно утки, лодчонки. Когда машина остановилась и они вошли в холл гостиницы, Джип прошептала:

— Не надо, чтобы они догадались!

Он спокойно пропустил ее вперед.

— Никто ничего не поймет, моя Джип! О, совсем ничего! Мы старая супружеская пара и очень надоели друг другу, очень!

За обедом его забавляла — да и ее, пожалуй, тоже — эта игра в равнодушие. Но время от времени он оглядывался и с таким нескрываемо злобным презрением впивался глазами в какого-нибудь безобидного посетителя, проявившего к ним интерес, что Джип встревожилась. Когда же она выпила немного вина, а он выпил изрядно, игре в равнодушие пришел конец. Он стал не в меру болтлив, давал прозвища официантам, передразнивал посетителей ресторана; Джип улыбалась, но внутренне дрожала, боясь, что эти выходки могут заметить. Их головы почти соприкасались над малень-

ким столиком. Потом они вышли в холл — он непременно хотел, чтобы она выкурила с ним сигарету. Она никогда не курила на людях, но отказаться не могла — это выглядело бы жеманно, «по-девичьи». Надо вести себя так, как принято в его кругу. Она отодвинула портьеру, и они стали рядом у окна. В свете ярких звезд море казалось совсем синим, из-за раскидистой сосны, возвышающейся на мысу, выглядывала луна. Хотя ростом Джип была пяти с половиной футов, она едва доставала ему до подбородка. Он вздохнул и сказал:

— Чудесная ночь, моя Джип!

Вдруг ее обожгла мысль, что она совсем его не знает, а ведь он ее муж! «Муж»... Странное слово, некрасивое! Она почувствовала себя ребенком, открывающим дверь в темную комнату, и, схватив его за руку, прошептала:

— Смотри! Вон парусная лодка! Зачем она в море ночью?

Наверху, в их гостиной, стоял рояль, но он оказался негодным. Завтра они попросят поставить другой. Завтра! В камине пылал жаркий огонь. Фьорсен взял скрипку и сбросил пиджак. Рукав рубашки был порван. «Я почию!» — подумала она с каким-то торжеством. Вот уже есть для нее дело. В комнате стояли лилии, от них исходил сильный пряный аромат. Он играл почти целый час, и Джип в своем кремовом платье слушала, откинувшись в кресле. Она устала, но спать не хотелось. Хорошо бы уснуть! В уголках ее рта обозначились маленькие печальные складки; глаза углубились и потемнели, она теперь напоминала обиженного ребенка. Фьорсен не отрывал глаз от ее лица. Наконец он положил скрипку.

— Тебе пора лечь, Джип. Ты устала.

Она послушно поднялась и пошла в спальню. Отчаянно спеша, все время ощущая какие-то болезненные уколы в сердце, она разделась возле самого камина и легла в постель. В своей тонкой батистовой рубашке, на холодных простынях, она не могла согреться и лежала, уставившись на полыхающий огонь камина. Она ни о чем не думала, просто тихо лежала. Скрипнула дверь. Она закрыла глаза. Да есть ли у нее сердце? Казалось, оно перестало биться. Она не открывала глаз до тех пор, пока могла. В отсветах камина она увидела, что он стоит

на коленях возле кровати... Джип ясно разглядела его лицо. Оно похоже было... похоже... где она видела это лицо? Ах, да! На картине — лицо дикаря, припавшего к ногам Ифигении, смиренное, голодное, отрешенное, застывшее в одном немом созерцании. Она коротко, глухо вздохнула и протянула ему руку.

ГЛАВА II

Джип была слишком горда, чтобы дарить себя наполовину. И в эти первые дни она отдавала Фьорсену все — все, кроме сердца. Ей искренне хотелось отдать и сердце, но сердцу не прикажешь. Если бы Фьорсен мог преодолевать в себе дикаря, доведенного до неистовства силой ее красоты, ее сердце, быть может, и потянулось бы к нему вместе с губами. Он понимал, что оно не принадлежит ему, и, в необузданности своей натуры и мужского сластолюбия, избрал ложный путь — пытался пробудить в ней чувственность, а не чувство.

И все же она не была несчастлива, если не считать тех минут, когда все ее существо охватывала какая-то растерянность, словно она старалась поймать что-то постоянно ускользающее. Когда он играл и лицо его озялось светом одухотворенности, она говорила себе: «Вот оно, вот оно, теперь-то уж он станет мне ближе!» Но одухотворенность мало-помалу исчезала; и она не знала, как удержать ее; когда же она пропадала совсем, пропадало и ее чувство.

Несколько небольших комнат, которые они занимали, были расположены в самом конце гостиницы, и он мог играть сколько его душе угодно. Пока он упражнялся по утрам, она уходила в парк, который скалистыми террасами спускался к морю. Закутавшись в меха, она сидела здесь с книжкой. Вскоре она уже знала каждое вечнозеленое растение, каждый цветок. Вот это обреция, а это лауристин; название этого маленького белого цветка ей неизвестно; а это звездный барвинок. Дни по большей части стояли хорошие; уже пели и готовились вить гнезда птицы, и дважды или трижды в ее сердце постучалась весна — она явственно слышала первые вздохи новой жизни, только-только зарождаю-

щейся в земле. Такое ощущение появляется тогда, когда весны еще нет. Часто над ее головой пролетали чайки, они жадно вытягивали клювы, крики их были похожи на кошачье мяуканье.

Она даже сама не сознавала, как повзрослела за эти немногие дни, как прочно басовый аккомпанемент вошел в легкую музыку ее жизни. Помимо познания «мужской натуры», жизнь с Фьорсеном открывала ей глаза на многое; наделенная крайней, быть может, фатальной для нее восприимчивостью, она уже впитывала и его жизненную философию. Он отказывался принимать вещи как они есть, но только потому, что этого от него хотели другие; как многие артисты, он не имел твердых убеждений, а просто иногда брыкался, когда его что-нибудь задевало. Он способен был весь погрузиться в созерцание солнечного заката, радоваться аромату, мелодии, неизведанной доселе ласке, отдаться неожиданно нахлынувшей жалости к нищему или слепцу и, наоборот, проникнуться отвращением к человеку с чересчур большими ногами или длинным носом, или к женщине с плоской грудью и лицом святоши. Он мог энергично шагать, а мог и едва волочить ноги; часто он пел и заразительно смеялся, заставляя и ее смеяться до упаду, а уже через полчаса вдруг застывал в неподвижности, словно уставившись в какую-то бездонную черную пропасть, придавленный тягостным раздумьем. Незаметно для себя она начинала вместе с ним погружаться в этот мир чувств, но при этом оставалась неизменно изящной, утонченной, отзывчивой, никогда не забывающей о переживаниях других людей.

В своей любовной одержимости он старался, однако, не слишком досаждать ей, хотя никогда не упускал случая дать ей почувствовать, что восхищается ее красотой; его домогательства не шокировали ее только потому, что она постоянно чувствовала себя вне респектабельного круга — она уже пыталась однажды объяснить это отцу. Но во многом другом он все-таки шокировал ее. Она не могла свыкнуться с тем, что он пренебрегал чувствами других людей, с его грубым презрением к людям, которые действовали ему на нервы, к его намекам вполголоса в их адрес, — вот так же он вел себя по отношению к ее отцу, когда проходил тогда с графом Росеком

мимо памятника Шиллеру. Подчас она поеживалась от некоторых его замечаний, хотя они бывали так забавны, что она не могла не смеяться. Она видела, что это злит его и что он с еще бóльшим исступлением набрасывается на людей. Однажды она встала из-за стола и ушла. Он побежал за ней, сел на полу у ее ног и, словно огромный кот, стал тереться лбом о ее руки.

— Прости меня, моя Джип, но они же просто скоты. Кто бы мог удержаться? Ну, скажи мне, кто бы мог удержаться, кроме моей Джип?

Ей пришлось простить его. Но однажды, когда он вел себя за обедом особенно вызывающе, она сказала:

— Нет. Я не могу. Это ты — скот.

Он вскочил и мрачный, разъяренный вышел из комнаты. Это был первый случай, когда он дал волю гневу против нее. Джип сидела у камина встревоженная, но прежде всего тем, что ее, в сущности, совсем не мучило то, что она обидела его. Разве этого недостаточно, чтобы почувствовать себя несчастной!

Но когда он не вернулся и к десяти часам, она растерялась. Должно быть, то, что она сказала — ужасно! Правда, в душе она не отказывалась от своего приговора. Впервые она открыто осудила то, что Уинтон считал в Фьорсене «вульгарностью». Будь он англичанином, она никогда не почувствовала бы влечения к человеку, способному так топтать чувства других. Что же тогда привлекло ее в нем? Оригинальность, необузданность, гипнотическая сила страсти, мастерство музыканта? Всего этого у него не отнимешь. Размах, взлет, тоска — все в его игре напоминало ей вот это море за окном — темное, окаймленное полосой прибоя, бьющееся о скалы; или другое море — синее-синее, в ярком свете дня, с кружащими над ним белыми чайками; или море, изборозженное тропками течений, нежное, улыбающееся, тихое, но таящее в своих глубинах непреодолимое беспокойство, готовность воспрянуть из бездны и вырваться снова на простор. Этого она и ждала от него — не его объятий, даже не его поклонения, не остроумия и эксцентричности, не вкрадчивости, напоминающей о коварстве кошки; нет, она жаждала только тех даров его души, что рвались через пальцы ввысь, увлекая за собой ее душу!

Пусть только он войдет — она бросится к нему, обовьет руками его шею, прижмется к нему, растворится в нем! Почему бы и нет? Это ее долг; и разве не радость тоже? Но вдруг ее охватила дрожь. Какой-то инстинкт, слишком глубокий, чтобы разобраться в нем, скрывающийся в тайниках ее души, заставил ее отшатнуться — словно ей стало страшно, панически страшно отдаться течению, отдаться любви; неуловимый инстинкт самосохранения восставал против чего-то рокового, что может увлечь ее куда-то в неведомое; это было неосознанное ощущение человека, стоящего над пропастью: боязнь шагнуть поближе и в то же время — непреодолимое влечение сделать этот шаг.

Она прошла в спальню. Лечь спать, не зная, где он, что делает, что думает, уже казалось невозможным; она принялась медленно расчесывать волосы оправленной в серебро щеткой. Из зеркала на нее глядело бледное лицо, с огромными, потемневшими глазами. В конце концов пришла мысль: «Я ничего не могу поделать! Мне все равно!» Она легла в кровать и выключила свет. Стало неуютно и сиротливо — огонь в камине не горел. Не думая больше ни о чем, она уснула.

Ей приснилось, что она едет в железнодорожном вагоне по морю и сидит между Фьорсеном и отцом; волны подымаются все выше и выше, плещут о стенки вагона и вздыхают. Она проснулась, как обычно, сразу, словно сторожевая собака, и поняла, что это он играет в гостиной. Который же теперь час? Она лежала, прислушиваясь к трепетной, невнятной мелодии. Дважды она вскакивала с постели, но словно сама судьба давала ей знак не двигаться — каждый раз именно в это мгновение усиливался звук скрипки. И каждый раз она думала: «Нет, я не могу! Опять то же самое. Ему безразлично, скольких людей он разбудит своей игрой. Он делает то, что нравится ему, и не думает ни о ком другом». И, заткнув уши, она продолжала лежать.

Когда она наконец отняла руки от ушей, он уже перестал играть. Потом она услышала, как он входит в комнату, и притворилась спящей. Утром он вел себя так, словно забыл о случившемся. Но Джип не забыла. Ей очень хотелось узнать, что он почувствовал, куда ходил, но гордость не позволила ей спросить об этом.

В первую неделю она писала отцу дважды, а потом только изредка посылала открытку. К чему рассказывать ему о том, как проходит ее жизнь в обществе человека, которого тот не переносит? Неужели отец был прав? Признать это — значило бы слишком уязвить свою гордость. Но она начала тосковать по Лондону. Ее новый дом еще не был отделан. Быть может, когда они поселятся там и смогут жить так, как захотят, не боясь помешать другим, жизнь пойдет по-иному? Он снова примется за работу, она будет помогать ему, и все будет хорошо. Новый дом, новый сад, деревья, которые скоро должны зацвести! Она заведет собак и кошек, станет ездить верхом, когда отец будет наезжать в Лондон. Будут приходить тетушка Розамунда, друзья, можно устраивать музыкальные вечера, даже танцы — ведь она танцует превосходно. А его концерты, приносящие радость и торжество: ведь его успех — это и ее успех! А главное, как приятно будет заняться самим домом — все должно там быть элегантным, оригинальным по форме и цвету! И все-таки в глубине души она думала, что загадывать сейчас на будущее — недобрый знак.

Как бы там ни было, но одно ее радовало — ходить на лодке под парусами. Дни были ясными, пригревало мартовское солнце, дул легкий ветерок. Фьорсен великолепно ладил с «морским волком», лодку которого они нанимали, — он вообще лучше всего раскрывался в общении с простыми людьми.

В эти часы Джип вся отдавалась поэзии и романтике. Море было синее, скалы и лесистые отроги южного побережья словно дремали в легкой дымке. Забыв о «морском волке», он обнимал ее, и она была благодарна за эти короткие мгновения духовной близости. Она честно старалась понять его все эти три недели, принесшие ей горечь первых разочарований. Ее страшили не обычные трудности, естественные для первой поры замужества; не испытывая страсти сама, она не могла упрекать ни в чем и его. Причина тревоги лежала глубже — она все время чувствовала, что перед ней какой-то непреодолимый барьер, что ей надо постоянно держать себя в узде. Она не раскрывала ему себя и не могла узнать его. Почему он иногда смотрит ей в глаза и будто не видит ее? Что заставляет его в сере-



«СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ»



«СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ»

дине какого-нибудь серьезного пассажа вдруг переходить на бравурную или унылую мелодию или вовсе откладывать в сторону скрипку? Чем объяснить эти долгие часы подавленности после безудержного веселья? И главное, о чем мечтает он в те редкие минуты, когда музыка преображает его странное бледное лицо? Или это всего лишь обман зрения? Да и мечтает ли он о чем-нибудь? «Чужое сердце — темный лес...» Для всех, но ведь не для того, кто любит!..

Однажды утром он получил письмо.

— Ага! Поль Росек заходил взглянуть на наш дом. «Очаровательное гнездышко для голубков» — так он называл его.

Джип всегда было неприятно вспоминать слащавую, льстивую физиономию Росека и его глаза, которые, казалось, хранят столько тайн. Она спокойно спросила:

— Чем он тебе нравится, Густав?

— О, он человек полезный! Хорошо разбирается в музыке и... еще во многих вещах.

— По-моему, он отвратителен.

Фьорсен рассмеялся.

— Почему же отвратителен, моя Джип? Он хороший друг. И он восхищен тобой, очень восхищен! Il dit qu'il a une technique merveilleuse¹ в обращении с женщинами.

Джип засмеялась.

— Мне кажется, он похож на жабу.

— А, я это расскажу ему! Он будет польщен.

— Если ты это сделаешь, я...

Он вскочил и схватил ее в свои объятия; лицо его так комично выражало раскаяние, что она сразу успокоилась. Впоследствии ей пришлось пожалеть о том, что она так отозвалась о Росеке. Но все равно, Росек — соглядатай, холодный сластолюбец, уж в этом-то она уверена! При одной мысли, что Росек шпионит за их маленьким домом, последний словно терял что-то в ее глазах.

Через три дня они приехали в Лондон. Пока такси огибало Лордс Крикет-граунд, Джип держала Фьорсена за руку. Она была страшно возбуждена. В парках на

¹ Он говорит, что у него великолепная техника (франц.).

деревьях уже набухали почки, вот-вот готов зацвести миндаль. А вот и их улица. Дом пять, семь, девять... тринадцать, еще два! Вот он — с белой цифрой «19» на зеленой ограде, обсаженной кустами сирени; а миндаль в их саду уже расцвел! За оградой виднелся невысокий белый дом с зелеными ставнями. Она выпрыгнула из машины и попала в объятия Бетти, которая стояла, улыбаясь во все свое широкое, румяное лицо; из-под каждой руки у нее высовывалась маленькая черная мордочка с настороженными ушами и сверкающими, как алмаз, глазками.

— Бетти! Что за прелесть!

— Подарок майора Уинтона, дорогая мэм!

Крепко обняв ее пышные плечи, Джип схватила обоих скоч-терьеров и бросилась бежать по обсаженной шпалерами дорожке, прижав к груди щенков, которые смущенно потягивали и лизали ей нос и уши. Миновав квадратную прихожую, она очутилась в гостиной, окна которой выходили на лужайку; встав у балконной двери, она принялась разглядывать эту новую нарядную комнату, где все оказалось расставленным совсем не так, как она хотела. Стены белые, отделанные черным и атласным деревом, выглядели даже приятнее, чем она надеялась. А в саду — в ее саду — на грушевых деревьях появились почки, но деревья еще не цвели; возле дома распустилось несколько нарциссов, а на одной из магнолий уже появился бутон. Она все прижимала к себе щенков, наслаждаясь приятной теплотой их пушистых телец. Потом выбежала из гостиной и бросилась по ступенькам вверх. О, как чудесно быть у себя дома, быть... Вдруг она почувствовала, что кто-то, схватив ее сзади, поднимает на воздух; в этой несколько легкомысленной позе она обернулась, сияя глазами, и наклонилась так, что он мог дотянуться губами до ее губ.

ГЛАВА III

В то первое утро Джип проснулась в своем новом доме вместе с воробьями или с какими-то другими птицами, которые, начав с робкого чириканья и щебетания, потом начали распевать на все лады. Казалось, все пер-

натое царство Лондона собралось в ее саду. И строки старого стихотворения пришли ей на память:

Все дети нежные Природы
У ног супругов молодых,
Их все благословляют...
И мелодичный птичий хор,
Союзник их с недавних пор,
Им утро возвещает!

Она повернулась и посмотрела на Фьорсена. Он лежал, уткнув голову в подушку, видны были только густые всклокоченные волосы. И снова ее пронизала дрожь — будто рядом лежал чужой мужчина. Принадлежит ли он ей по-настоящему, навсегда, а она — ему? А этот дом, чей он? Их общий? Все казалось иным, более серьезным и тревожным в этой чужой, но уже их постоянной кровати, в этой чужой, но уже их постоянной комнате. Стараясь не разбудить его, она выскользнула из-под одеяла и стала у окна, отодвинув портьеру. Свет был еще призрачным, только где-то далеко за деревьями пробивалась розовая полоска зари. Все напоминало бы утро в деревне, если бы не слабые шумы просыпающейся столицы и дымка низового тумана, обволакивающая утренний Лондон. Она хозяйка этого дома, ей надо здесь всем распоряжаться, за всем присматривать! А щенки! Чем их кормят?

Это был час добросовестных размышлений, первый из многих. Ее утонченный вкус требовал совершенства во всем, а деликатность не позволяла требовать этого от других, особенно от слуг. Не станет же она понукать их!

У Фьорсена не было ни малейшего представления об упорядоченной жизни. Он даже не мог оценить ее стремление наладить хозяйство в доме. Она была слишком горда, быть может, слишком умна, чтобы просить у него помощи; он явно неспособен был ее оказать. «Жить как птицы небесные» — вот был его девиз. Джип самой не хотелось бы ничего другого; но возможно ли это в доме с тремя слугами, где стол накрывается по нескольку раз в день? Да еще с двумя щенками? Как со всем этим управляться, если никто не поможет тебе даже советом?

Она ни с кем не делилась своими заботами. Надо было держать себя очень осторожно: Бетти, консервативная до мозга костей, с трудом мирилась с Фьорсеном,

как некогда и с Уинтоном. Но сложнее всего было с отцом. Она тосковала по нем, но буквально со страхом думала о встрече с ним. В первый раз он пришел — как, бывало, приходил, когда она была девочкой, — в час, когда, по его расчетам, «этого типа», которому она сейчас принадлежит, скорее всего не будет дома. Она сама отворила дверь и бросилась ему на шею, чтобы его пронизательные глаза не сразу увидели ее лицо. И тут же она заговорила о щенках, которых назвала Дон и Дафф. Они просто прелесть! От них ничего не убережешь: истрепали ее домашние туфли и повадились лазать в горку с фарфором и спать там! Но он должен сам все осмотреть!

Не переставая болтать, она водила его вверх и вниз по лестницам, потащила в сад, потом в музыкальную комнату — или студию — домик с отдельным входом из переулка. Студия была ее гордостью. Фьорсен мог здесь спокойно упражняться. Уинтон молча расхаживал с нею по дому, время от времени делая меткие замечания. В дальнем углу сада, глядя через стену, отделяющую ее владение от соседнего, Уинтон вдруг сжал ее руку.

— Ну, Джип, как же ты живешь?

— О, я бы сказала: просто чудесно. — Но она не смотрела на него, а он на нее. — Взгляни-ка, отец! Кошки проложили здесь себе дорожку!

Уинтон поджал губы и отвернулся. Мысль о скрипаче снова вызвала в нем горечь. Она, видимо, решила не говорить ему ни о чем, прикинулась веселой и беззаботной; но ведь его-то не проведешь!

— Погляди на мои крокусы! Сегодня настоящая весна!

Пролетели две-три пчелы. Молоденькие листочки были тонки и так прозрачны, что лучи солнца свободно проходили через них. Пурпурные крокусы с нежными прожилками и оранжевыми огоньками в середине венчика казались маленькими чашами, в которые налит солнечный свет. Ласковый ветерок раскачивал ветки; то там, то тут под ногами шуршал сухой лист. На всем: на траве, на голубом небе, на цветах миндального дерева — уже чувствовалось дыхание весны.

Джип сжала руки.

— Как чудесно чувствовать весну!

А Уинтон подумал: «Она изменилась!» Она стала мягче, живее, больше глубины, серьезности, уверенности в движениях, приветливости в улыбке. Но счастлива ли она?

Рядом кто-то воскликнул:

— А! Очень приятно!

Этот парень подкрался незаметно, как хищник, — да он и есть хищник! Уинтону показалось, что Джип вздрогнула.

— Отец считает, что в студии следовало бы повесить темные портьеры, Густав.

Фьорсен поклонился.

— Да, да, как в лондонском клубе, — сказал он.

Уинтон следил за лицом Джип; он увидел, что на нем появилось выражение робкой мольбы. Он заставил себя улыбнуться и проговорил:

— Вы тут, кажется, уютно устроились. Рад вас по-видать снова. Джип выглядит прекрасно.

Еще один поклон скрипача, точно такой, каких Уинтон не выносит! Фигляр! Нет, никогда, никогда он не сможет примириться с этим субъектом! Но нельзя и виду показывать. Как только позволили правила приличия, Уинтон распротился. Возвращаясь домой через эту часть города, где он знал только Лордс Крикет-граунд, он продолжал терзаться сомнениями и горечью. Наконец он решил, что всегда будет под рукой, на случай, если Джип потребуется его помощь.

Минут через десять после его ухода явилась тетушка Розамунда; опираясь на трость, она прихрамывала с истинно аристократическим достоинством — у тетушки Розамунды тоже была подагра. Только теперь, когда Джип вышла замуж, добрая женщина поняла, как она привязана к племяннице. Ей хотелось бы вернуть Джип к себе, выезжать с ней, баловать, как прежде. Тетушка Розамунда, как всегда, говорила медленно, растягивая слова, но это не могло скрыть обуревающих ее чувств.

Джип заметила, что Фьорсен украдкой передразнивает тетушку Розамунду, и у нее заалели уши. Разговор о щенках, их привычках, чутье, дерзком нраве, кормлении на несколько минут отсрочил нависшую угрозу. Но потом Фьорсен снова стал гримасничать. Когда тетушка

Розамунда торопливо распрощалась, Джип осталась стоять у окна гостиной, на лице ее больше не было маски. Фьорсен подошел, обнял ее и со вздохом сказал:

— Они часто будут приходить, эти милые люди?

Джип отшатнулась.

— Если ты любишь меня, почему ты обижаешь людей, которые тоже меня любят?

— Потому что я ревную. Я ревную тебя даже к твоим щенкам.

— Ты и их собираешься обижать?

— Если увижу, что они тебе очень дороги.

— Неужели ты думаешь, что я могу быть счастливой, когда ты обижаешь людей только потому, что они меня любят?

Впервые ее самые близкие друзья пришли к ней в новый дом! Нет, это слишком!

Фьорсен проговорил хриплым голосом:

— Ты не любишь меня. Если бы ты меня любила, я бы почувствовал это по твоим губам. Я бы видел это в твоих глазах. О, люби меня, Джип! Ты должна любить меня!

Требовать любви, приставая с ножом к горлу,— это ли не верх вульгарности и тупости? Душа Джип все больше застывала. Если женщина ни в чем не отказывает тому, кого по-настоящему не любит,— это значит, что над домашним очагом новобрачных уже сгущаются тени. И Фьорсен понимал это; но умения владеть собой у него было меньше, чем даже у этих щенков.

В общем же, первые недели в новом доме были заполнены заботами и хлопотами, не оставлявшими времени для сомнений или печали. На май было назначено несколько серьезных концертов. Джип ждала их с огромным нетерпением и старательно устраняла все, что могло бы помешать Фьорсену готовиться к ним. И, словно стараясь возместить то, что не смогла отдать ему сердце — а это она всегда подсознательно ощущала,— Джип щедро отдавала ему в эти дни свою энергию и заботу. Она готова была аккомпанировать ему каждый день, с утра до вечера. Правда, утренние часы принадлежали ей — Фьорсен лежал в постели до одиннадцати и раньше полудня к занятиям не приступал. В эти ранние часы она делала заказы и выезжала за покупками — для многих

женщин это единственный «спорт»: тут всё — и погоня за идеалом, и состязание во вкусе со всем остальным миром, и, разумеется, тайное желание сделать так, чтобы быть красивее других. Джип всегда отправлялась за покупками с каким-то нервным подъемом. Она терпеть не могла прикосновения чужих рук, но даже это не портило ей удовольствия, которое она испытывала, стоя перед огромными зеркалами, без конца поворачиваясь то в одну, то в другую сторону и все время чувствуя, как продавщица дотрагивается до нее кончиками пальцев, накалывает булавки и без конца повторяет слово «мадам»...

Случалось, что по утрам она ездила верхом с отцом. Однажды после прогулки в Ричмонд-парке они позавтракали на веранде одной гостиницы. Прямо под ними несколько фруктовых деревьев еще стояли в цвету; солнце сверкало серебром на извилинах реки и золотило молодые, только что распустившиеся листья дубов. Уинтон курил сигару и смотрел через верхушки деревьев на реку; украдкой подняв на него глаза, Джип тихо сказала:

— Ты когда-нибудь ездил верхом с моей матерью, отец?

— Только однажды — как раз по той дороге, по которой мы ехали с тобой сегодня. Под ней была вороная кобыла. Я ехал на гнедом...

Значит, вон в той рощице на холме, через которую они проезжали утром, он спешился и стоял возле нее!

Джип протянула к нему через стол руку.

— Расскажи мне о ней. Она была красива?

— Да.

— Брюнетка? Высокая?

— Очень похожа на тебя, Джип. Немного... немного... — Он не знал, как объяснить это различие... — Немножко больше, пожалуй, было в ней иностранного. Одна из ее бабушек была, ты знаешь, итальянка.

— Как ты полюбил ее? Внезапно?

— Так же внезапно... — он положил руку на перила террасы, — ...вот как этот солнечный луч лег сейчас на мои пальцы.

Джип сказала, словно про себя:

— Не знаю, понимаю ли я это... пока. А она тоже полюбила тебя с первого взгляда?

— Каждый верит в то, во что ему хочется верить... Но она говорила, что именно так и было.

— И долго это продолжалось?

— Всего один год.

— О, отец! Я не могу забыть, что это я убила ее... Я не могу примириться с этим.

Уинтон резко поднялся; испуганный дрозд замолчал в кустах. Джип продолжала сурово:

— Я не хочу иметь детей. И я не хочу... я не хочу так любить. Я боюсь этого.

Уинтон глядел на нее, сдвинув брови, думая о прошлом.

— Дорогая! — сказал он. — Это застает тебя врасплох — и ты уже любишь и ни о чем другом не можешь думать. Когда приходит любовь, ты радуешься, и неважно, убьет это тебя или нет.

Она вернулась домой еще до полудня. Торопливо приняла ванну, переоделась и побежала в студию. Стены ее были затянуты уиллсденовскими тканями; портьеры были серебристо-серого цвета; здесь же стоял диван, обитый серебристо-золотой тканью; камин был отделан кованой медью. Вся комната сверкала золотом и серебром — исключение составляли только зеленый экран у рояля, великолепно расписанный павлиньими хвостами, и синяя персидская ваза с красными цветами разных оттенков.

Фьорсен стоял у окна и курил. Он не обернулся. Джип взяла его под руку.

— Прости меня. Но сейчас только половина первого.

У него было такое лицо, словно весь мир нанес ему оскорбление.

— Как жаль, что тебе пришлось вернуться! Должно быть, приятно ездить верхом?

Разве ей не дозволено ездить на прогулку с отцом? Какая нелепая ревность, какой эгоизм! Не сказав ни слова, она села за рояль. Она не выносила несправедливости, к тому же от Фьорсена пахло вином. Пить по утрам — это отвратительно... ужасно! Она сидела за роялем и ждала. Вот таким он и будет, пока не прогонит своей игрой дурное настроение; а потом подойдет к ней и станет гладить ее плечи и касаться губами ее шеи. Нет,

если он будет так себя вести, он не заставит ее полюбить себя. И у нее неожиданно вырвалось:

— Густав! Что такого я сделала? Что тебе не нравится?

— То, что у тебя есть отец.

Джип рассмеялась. Он был похож на обиженного ребенка. Быстро обернувшись, он прикрыл ей ладонью рот. Она взглянула на него. Ее сердце совершало сейчас «grand écart»¹, колеблясь между укорами совести и возмущением. Он опустил глаза под ее взглядом и убрал руку.

— Что ж, начнем? — сказала она.

— Нет! — ответил он глухо и вышел в сад.

Как случилось, что она приняла участие в этой ужасной, жалкой сцене! Она осталась сидеть у рояля, повторяя без конца один и тот же пассаж, не понимая даже, что играет.

ГЛАВА IV

До сих пор они еще не виделись с Росеком. Интересно, передал ли ему Фьорсен ее слова? Но Джип не спрашивала. Она уже убедилась, что муж говорит правду только тогда, когда ему это удобно и не может причинить неприятностей. Только на его суждения о музыке, об искусстве можно было вполне положиться; но и здесь, когда он бывал раздражен, бесцеремонность его суждений отталкивала и возмущала.

На первом же концерте она заметила Росека — он стоял по другую сторону прохода, на два ряда дальше их кресел. Он разговаривал с молодой девушкой; ее лицо казалось вылепленным из тонкого матового алебаstra; круглые голубые глаза, устремленные на Росека, и слегка полуоткрытый рот придавали ей немного глуповатый вид. Глуповатым был и ее смех. И все-таки лицо ее было так красиво, волосы так пушисты и светлы, кожа так чиста и нежна, шея так бела и округла, а осанка так безупречна, что Джип с трудом отрывала от нее взгляд. Она сидела одна, страстно желая снова вызвать в себе те чувства, которые нахлынули на нее тогда, в Висбадене. Она испытывала какое-то торже-

¹ Здесь — глубокий поворот (франц.).

ство при мысли, что и она тоже помогала ему создавать эти звуки, заставляющие трепетать сердца столь многих слушателей. Забыв обо всем на свете, она сидела тихая и кроткая.

Фьорсен выглядел ужасно — как, впрочем, всегда, когда впервые появлялся на эстраде, — холодный, настороженный, уклончивый, вызывающий; отвернувшись в сторону, он длинными пальцами подкручивал колки, пробовал струны. Висбаден? Нет. Это совсем не похоже на Висбаден! Когда он заиграл, душевный подъем, которого она ожидала, не повторился. Теперь она слишком часто слушала его игру, хорошо знала, как он создает эти звуки; знала, что их огонь, сладость, благородство порождены его пальцами, слухом и мозгом — но не душой. Волны этих звуков уже не уносили ее в новые миры, она не слышала в них звона колокола на рассвете, не видела павшую на землю предвечернюю росу, не ощущала свежести ветра и жара солнечных лучей. Романтика и экстаз не возвращались. Она тревожно ждала неудававшихся ему мест, пассажей, над которыми бился он и вместе с ним трудилась она: мешали воспоминания о его капризной раздражительности, о приступах мрачного настроения, о неожиданных ласках. Вдруг она поймала его взгляд. Он был такой же, как в Висбадене, и... уже не такой. В нем не было обожания. И она подумала: «Моя ли здесь вина? Или причина в том, что теперь он может делать со мной все, что захочет?» Еще одно разочарование, пожалуй, самое сильное! Но вот раздались аплодисменты, и она вспыхнула от удовольствия и снова растворилась в его торжестве. В антракте она пошла в артистическую. Он спускался по лестнице после последнего вызова; выражение презрительной скуки исчезло с его лица, он взял ее руку и поднес к губам. Она прошептала:

— Прекрасно!

Он спросил тоже шепотом:

— Ты любишь меня, Джип?

Она кивнула. В это мгновение она верила тому, что сказала. К ним стали подходить знакомые; среди них был ее старый учитель музыки мосье Армо. Бросив Фьорсену «*Merveilleux, très fort*»¹, он повернулся к нему спиной и заговорил с Джип.

¹ Прекрасно, очень искусно! (франц.).

Итак, она вышла замуж за Фьорсена! Невероятно, просто невероятно! И, как бы это сказать... немного забавно, не правда ли? Это повредит ее занятиям музыкой — очень, очень жаль! Нет? Тогда ей надо прийти к нему, да, прийти снова! Разговаривая, старик все похлопывал ее по руке, словно играл на рояле, как бы проверяя крепость ее пальцев и раздумывая о том, допустит ли она, чтобы они окончательно испортились. Похоже было на то, что ему и впрямь недоставало старой ученицы и он рад снова с ней встретиться; а Джип никогда не могла устоять перед участием и вниманием к ней. Подходили все новые люди. Она увидела Росека, разговаривающего о чем-то с ее мужем, и алебастровую девушку с полуоткрытым ртом, которая молча стояла рядом, уставившись на Фьорсена. Безупречная фигура, разве что чуть коротковатая; похожа на голубку; прекрасно очерченные полуоткрытые губы, которые словно просят, чтоб в них положили леденец. Ей не больше девятнадцати. Но кто она такая?

Вдруг она услышала:

— Как поживаете, миссис Фьорсен? Я счастлив, что наконец вижу вас снова.

Даже если Густав передал ему ее слова, все равно этот Росек, с его вечной маской на лице, ничем себя не выдаст; вкрадчивость, настороженное спокойствие, льстивая речь. Что ей в нем так не нравится? Джип обладала острым чутьем и врожденной проницательностью, «щупальца» ее чувств были слишком тонки, их нельзя было обмануть.

Следуя за взглядом Росека, она увидела мужа, разговаривающего с девушкой; губы ее сейчас совсем раскрылись в ожидании леденца.

— Любуется этой маленькай танцовщицей, мадам? Ее зовут Дафна Уинг. О, она создаст себе имя! Летающая голубка!

— Да, она очень мила, представляю себе, как она чудесна в танце.

— Приходите как-нибудь посмотреть ее. Она еще только готовится к своему *début*¹.

Джип ответила:

¹ Первому выступлению на сцене (франц.).

— Благодарю вас.

Но про себя подумала: «Не хочу иметь с тобой ничего общего! И почему я не сказала, что ненавижу балет?»

Раздался звонок, и посетители стали поспешно расходиться. К ним подошла девушка.

— Мисс Дафна Уинг — миссис Фьорсен.

Джип с улыбкой протянула руку. Мисс Дафна Уинг тоже улыбнулась и сказала с интонацией ученицы, над произношением которой тщательно работали:

— О, миссис Фьорсен, как прекрасно играет ваш муж, правда?

Услышав этот тщательный выговор, который сочетался к тому же с каким-то недостатком речи, Джип почувствовала к ней жалость, — словно к прелестному цветку, пораженному болезнью. Кивнув ей, она повернулась к Фьорсену, который дожидался выхода на сцену. На кого он смотрит: на нее или на эту девушку? В фойе Росек сказал:

— Приходите сегодня ко мне с Густавом. Она будет танцевать для вас. Она восхищена вами, мадам.

Джип очень хотелось ответить просто и грубо: «Я не хочу идти к вам». Но она только проговорила:

— Спасибо. Я спрошу Густава.

Вернувшись на место, она отерла щеку, которой коснулось дыхание Росека. Выступала теперь молодая певица; такие девушки всегда очень нравились Джип: голубые глаза, рыжевато-золотистые волосы — полная противоположность ей самой; исполнялась песня «Хижина на Юре» — своеобразное излияние сердца, разбитого любовью:

И солнце погасло в сердце моем...

Джип затрепетала: что-то откликнулось в ее душе на эти слова. Отец говорил: «Это захватывает тебя внезапно, и ты уже любишь». Нет! Она сама — плод такой любви, но она не хочет так любить!

Певица кончила петь. Раздались жидкие аплодисменты. А ведь девушка прекрасно исполнила одну из самых чудесных песен на свете! Или она слишком трагична, печальна, трудна для понимания, недостаточно изысканна? Джип стало жаль певицу. Ей захотелось незаметно уйти.

Но у нее не хватило смелости — придется вытерпеть этот вечер у Росека. Что ж, она по своей доброй воле выбрала эту жизнь, в которой она никогда не обретет ни надежной гавани, ни родного дома. Она сама согласилась, чтобы ее посадили в клетку.

Когда они ехали к Росеку, она скрыла от Фьорсена головную боль и подавленное настроение. А он снова был похож на выпущенного на волю школьника — возбужденный аплодисментами, он передразнивал ее старого учителя, своих обезумевших от восторга обожательниц, Росека, молоденькую танцовщицу с полуоткрытым ртом. Он обнял Джип, привлек ее к себе и стал вдыхать запах ее кожи, словно нюхая цветок.

Росек занимал второй этаж старинного особняка на Рассел-сквер. В доме стоял запах не то ладана, не то каких-то других курений. На стенах темного холла горели электрические лампы в алебастровых сосудах, вывезенных, должно быть, с Востока. То было святилище коллекционера. У хозяина было явное пристрастие к черному — стены, диваны, рамы картин, даже изразцы были черного цвета, всюду тусклое мерцание золота, слоновой кости, мозаики. На круглом черном столе стояла золотая ваза с бархатистыми веточками вербы и лунника, на черной стене выделялась вырезанная из слоновой кости маска фавна; в темной нише стояла серебряная статуэтка танцующей девушки. Все это было красиво, но все — какое-то мертвенное. И Джип, чуткая к красоте, любившая все новое, затосковала по воздуху и солнечному свету. Она подошла к одному из окон с черными портьерами и с облегчением увидела заходящее солнце, освещающее последними лучами деревья Сквер-гарден. Ее представили мистеру и миссис Гэллант; он был смуглый мужчина, с лицом циника и умными, недобрыми глазами; она — цветущая, пышная, с алчными голубыми глазами. Маленькая танцовщица, как сообщил им Росек, отправилась переодеваться «ни во что».

Он повел Джип осматривать его сокровища: скарабеи, гравюры Ропса¹, посмертные маски, китайские картины, забавные старинные флейты; он показывал все

¹ Ропс, Фелисьен (1833—1898), бельгийский художник-декадент.

это с таким видом, словно только она и может оценить по достоинству эти сокровища. Инстинктивно она страшилась утонченной порочности этого дома, где все приносилось в жертву изощренному вкусу. Она впервые заглянула в жизнь раззолоченной богемы, из которой, однако, были изгнаны душевная щедрость, *élans*¹, споры, свойственные подлинной богеме,—здесь была сфера, в которой вращались только высшие ее жрецы. Но, глядя на Джип, никто бы не сказал, что нервы ее взвинчены до предела, словно она прикоснулась к трупам. Показывая ей алебастровые сосуды, Росек осторожно положил свою руку на ее запястье и пальцами, мягкими, как лапа кота, погладил ее руку, потом поцеловал ее. *Technique!*² Джип с трудом удержала смех. Он заметил это. Бросив на нее взгляд, он провел рукой по лицу — и вдруг! — оно сразу стало прежним, невозмутимым и ничего не выражающим. Жалкий человечек!

Когда они вернулись в «салон», как называли ту комнату, мисс Дафна Уинг в черном кимоно, в котором ее лицо и руки еще больше напоминали алебастр, сидела на диване рядом с Фьорсеном. Она сразу же вскочила и подбежала к Джип.

— О, миссис Фьорсен! — Почему-то все, что она говорила, начиналось с этого «о!» — Не правда ли, это прелестная комната? Она создана для танца. Я захватила только кремовый и красный костюмы — они так подойдут к черному.

Она распахнула кимоно, чтобы Джип могла рассмотреть ее одеяние — кремовую, охваченную поясом тунику, и рот ее приоткрылся, словно она ожидала в награду леденец.

— Я немного боюсь графа Росека, — сказала она.

— Почему же?

— О, он очень строгий критик. И такой ловкий — подходит к тебе, не услышишь. Я убеждена, что ваш муж играет чудесно. О, миссис Фьорсен, вы красивы, правда? Что вы хотели бы увидеть из моих танцев в первую очередь? Может быть, вальс Шопена?

— Я люблю Шопена.

¹ Порывы (франц.).

² Техника! (франц.).

— Тогда я буду танцевать вальс. Только то, что вам нравится, потому что я восхищена вами и чувствую, что вы ужасно милая. О да, я это вижу! И ваш муж ужасно в вас влюблен. Знаете, я училась пять лет, но еще никогда не выступала. А теперь граф Росек обещает поддержать меня, и я надеюсь, что скоро у меня будет дебют. Вы придете на мой первый концерт? Мама говорит, что мне надо быть ужасно осторожной. Она позволила мне прийти сюда сегодня только потому, что здесь будете вы. Хотите, я начну?

Она подбежала к Росеку.

— О, миссис Фьорсен хочет, чтобы я начала; вальс Шопена, пожалуйста. Тот, который играется так...

Джип села рядом с Фьорсеном, а Росек начал играть, не сводя глаз с девушки. На губах его, обычно сжатых, появилась слащавая улыбка. Мисс Дафна Уинг застыла, прижав к груди кончики пальцев, — статуэтка из черного дерева и воска. Она сбросила черное кимоно, и Джип вздрогнула от волнения. Она умеет танцевать, эта маленькая вульгарная девочка! В каждом плавном движении ее гибких рук и ног чувствовалось упоение и восторг прирожденного таланта, отшлифованного хорошей школой. «Летящая голубка!» С лица ее уже исчезло глуповатое выражение; вернее, глуповатость вдруг стала одухотворенной; ее взгляд уже не был растерянным, а словно устремлялся ввысь, как того требует танец. У Джип выступили на глазах слезы. Это было чудесно — словно и вправду голубка, грудью встретив ветер, взмахнула откинутыми назад крыльями и застыла в воздухе.

Когда, окончив танец, девушка подошла и села рядом с Джип, та сжала ее горячую руку; но ласка эта относилась к ее искусству, а не к этому маленькому разгоряченному созданию с полуоткрытым ртом, готовым проглотить леденец.

— О, вам понравилось? Я так рада. Теперь я пойду и надену красный костюм, хорошо?

Как только она ушла, все начали обсуждать ее танец. Мрачному и циничному Гэлланту он напомнил некую Наперковскую, которую он видел когда-то в Москве; но у той было больше огня! Обязательно Дафне Уинг надо добавить немного страсти. Ей нужна любовь! Любовь!

Джип вдруг показалось, что она снова сидит в кон-

цертном зале и слушает другую девушку, поющую о разбитом средце.

Твой поцелуй, как речная трава,
Хранящая свежесть прохладной струи...

Любовь? В этом вертепе — с головами фавнов, мягкими диванными подушками, серебряными статуэтками? Любовь? Она вдруг почувствовала себя глубоко униженной. Кто такая она сама, как не игрушка для мужской страсти? А ее дом — разве он не такой же, как этот?

Вернулась Дафна Уинг. Когда девушка снова начала танцевать, Джип взглянула на мужа. Его лицо!.. Но возможно ли? Вот она видит, как он взволнован и возбужден, а ей... ей это безразлично! Если бы она его любила по-настоящему, ее оскорбило бы это, но она еще могла бы его понять, может быть, простить. Теперь же у нее не было желания ни понимать, ни прощать.

Ночью она прошептала:

— Тебе не хотелось бы, чтобы я была той девушкой?

— Той девушкой! Я мог бы проглотить ее залпом. А тебя, Джип, я хочу пить вечно!

Правда ли это? Если бы она его любила, как сладко было бы это слышать!

ГЛАВА V

С тех пор Джип с каждым днем все ближе соприкасалась с миром «высшей» богемы—этим занятым и пестрым слоем общества, окружающим людей театра, музыки, поэзии. Она понимала, что совершенно чужда этому миру, и, правду сказать, так же относился к этим людям и Фьорсен: сам он был представителем настоящей богемы и поэтому высмеивал образ жизни Гэллантов и Росеков, как высмеивал Уинтона и тетушку Розамунду вместе с их окружением. Замужество все больше отгораживало Джип от старой, ортодоксальной аристократической среды, которую она только и знала до этого, но к которой себя не причисляла, особенно после того, как узнала тайну своего рождения. Она была слыш-

ком впечатлительна и слишком разборчива, чтобы мириться с рутинной раз навсегда заведенного распорядка жизни и внешней благопристойности: правда, по собственному почину она едва ли вышла бы из этого круга. Она оторвалась от этих корней, но не смогла пустить другие на новой почве; к тому же у них с мужем так и не возникло духовной близости; и она все чаще чувствовала себя одинокой. Единственными счастливыми часами были для нее те, которые она проводила с Уинтоном или за роялем. Джип непрестанно спрашивала себя: что она сделала со своей жизнью? И мучительно старалась найти какую-то глубокую и разумную причину, которая толкнула ее на этот шаг. Но чем больше она томилась и тосковала, тем все больше росли ее растерянность и болезненное сознание, что она в клетке. Позднее пришло к ней другое, более определенное недомогание.

Много времени она проводила в саду. Цвет на деревьях уже облетел, сирень тоже отцвела, распускалась акация, замолкли дрозды.

Уинтон после тщательного наблюдения установил, что между половиной четвертого и шестью он едва ли мог наткнуться на зятя, и он приходил почти ежедневно выпить чашку чая и выкурить на лужайке сигару. Здесь он сидел вместе с Джип и теперь, когда Бетти подала карточку. На ней было напечатано: «Мисс Дафна Уинг».

— Проводи ее сюда, пожалуйста, Бетти, и подай свежего чаю и побольше поджаренного хлеба с маслом. И шоколада и других сладостей, Бетти, милочка!

Бетти удалилась с тем восторженным выражением, которое появлялось у нее на лице, когда ее называли «милочкой». Джип сказала отцу:

— Это та маленькая танцовщица, я о ней говорила тебе. Ты сейчас увидишь ее, она совершенство. На ней будет обычное платье. Как жаль!

На Дафне Уинг было платье цвета слоновой кости, отделанное ярко-зеленым шифоном, с кушаком из крошечных листочков; на голове — веночек, тоже из зеленых листьев. Она походила на нимфу, выглядывающую из увитой плющом беседки. Все это выглядело немного кричащим, но сама она была очаровательна и никакое

платье не могло скрыть красоты ее фигуры. Она казалась явно смущенной.

— О миссис Фьорсен, я думаю, вы не против моего прихода. Мне так хотелось снова повидать вас. Граф Росек сказал, что можно. С моим дебютом все уже устроено. О, как вы поживаете?

Глаза ее округлились, рот приоткрылся, и она опустилась на стул, пододвинутый ей Уинтоном. Джип заметила выражение его лица и рассмеялась. Отец—и... Дафна Уинг!

— Вы танцевали с тех пор у графа Росека?

— О, да, да! Разве вы... Разве вы не... О, да, разумеется!

У Джип промелькнула мысль: «Значит, Густав бывал на ее танцах и ничего мне не говорил!»

— Ну, конечно! — тут же сказала она. — Я и забыла. Где же ваш дебют?

— В пятницу в «Октагоне». Это блестяще, правда? Они подписали со мной хороший контракт! Я так хочу, чтобы вы и мистер Фьорсен пришли!

— Конечно, мы придем. Мой отец тоже любит танцевальное искусство. Правда, отец?

— Когда оно хорошее,— учтиво ответил Уинтон.

— О, мои танцы хороши! Правда, миссис Фьорсен? Я хочу сказать... я упражняюсь с тринадцати лет, вы ведь знаете! Я просто обожаю танцы. Я думаю, вы танцевали бы великолепно, миссис Фьорсен. У вас такая безукоризненная фигура. Я просто люблю вашу походку.

Джип покраснела.

— Возьмите эту конфету, мисс Уинг, там внутри малина.

Маленькая танцовщица положила конфету в рот.

— О, пожалуйста, не называйте меня мисс Уинг! Зовите меня Дафна. Мистер Фьор... все зовут меня так!

Чувствуя на себе взгляд отца, Джип пробормотала:

— Дафна — прелестное имя. Хотите еще конфету? Это абрикосовая.

— Они великолепны! Знаете, я буду танцевать первый танец в платье помаранцевого цвета. Мистер Фьорсен предложил это. Но я думаю, он говорил вам? Может быть, это вы и придумали, да?

Джип покачала головой.

— Граф Росек говорит, что все ждут моего дебюта...

Она замолчала. Рот ее был полуоткрыт, словно в ожидании новой конфеты.

— Как вы думаете, моих танцев действительно так все ждут?

— Надеюсь, что да, — сказала Джип.

— Граф Росек говорит, что во мне есть что-то оригинальное. Как приятно, если это так! Ведь у него прекрасный вкус. И у мистера Фьорсена тоже, не правда ли?

Видя, с каким ожесточением попыхивает своей сигарой отец, Джип только кивнула.

Маленькая танцовщица отправила в рот конфету.

— Еще бы, он ведь женился на вас!

Заметив, наконец, что Уинтон не сводит с нее глаз, Дафна Уинг сконфузилась и пролепетала:

— О, здесь чудесно, — прямо как в деревне! Боюсь, что мне пора. Как раз время репетиции. Ведь мне так важно не пропускать теперь ни одной репетиции, не правда ли?

Она поднялась, Уинтон тоже встал. Глаза Дафны Уинг совсем округлились, когда она увидела его неподвижную руку, голос, и без того тихий, словно угас.

— О, я так надеюсь... — Остальное не было слышно.

Джип сидела неподвижно. Среди цветов гудели пчелы, над деревьями летали голуби. Солнце грело ее колени и ноги сквозь ажурные чулки. Смех горничной, ворчание играющих на кухне щенков — все это доносилось в сад, сливаясь с далекими возгласами проходящего по дороге молочника. Все вокруг было очень мирно. Но в сердце ее зрело какое-то ранее неизведанное ощущение. Сейчас она уже знала, что муж не откровенен с ней; но это пришло вслед за другим открытием, сделанным еще раньше. Она когда-то говорила Уинтону, что не хочет иметь ребенка. Ее появление на свет было причиной смерти матери, и мысль о ребенке вызывала в ней инстинктивное отвращение. Теперь она уже знает твердо, что у нее будет ребенок. И так же твердо знает, что никогда не будет у нее духовной близости с мужем, а ведь только это могло сделать для нее мысль о материнстве радостной. Она просто попала в ту сеть, которую сама себе расставила, когда совершила эту нелепую

ошибку. Несколько месяцев замужества — и ей уже ясно, что ошибку не исправить и на будущее надежды нет. Но потребовался еще и этот жестокий удар, чтобы ее растерянная, мятущаяся душа окончательно познала всю правду. Тяжко переживать разочарование, особенно если это — разочарование и в себе и в другом человеке. Она так стремилась... к чему? Спасти Фьорсена от него самого... Смешно! Она только потеряла себя. Она и сейчас живет, как в тюрьме, а с ребенком и вовсе будет скована по рукам и ногам. Некоторых женщин мысль о неизбежном материнстве успокаивает, но Джип была прямой противоположностью таким женщинам. Малейшее ощущение, что ей что-то навязывается насильно, всегда только пробуждало в ней дух противоречия.

Голуби ворковали, солнце грело ее ноги, а она переживала самые горькие минуты своей жизни — самые горькие... пока! Но ей поможет ее гордость! Никто ничего не узнает — не узнает и отец, который с таким отчаянием предостерегал ее! Что посеешь, то и пожнешь!

Вернулся Уинтон.

— Я не нашел в ней особого обаяния, Джип, — сказал он.

— А разве ее лицо не прелестно?

— Оно вульгарно.

— Да, но этого не замечаешь, когда она танцует.

Уинтон взглянул на нее из-под полуопущенных век.

— Что думает о ней Фьорсен?

— А разве он думает о ней? Я не знаю...

По его настороженному лицу она почувствовала, как он обеспокоен.

— Дафна Уинг! Боже милостивый!

В этих словах выразилось все его раздражение и тревога. Его дочери приходится опасаться подобной особы!..

Он ушел, а Джип просидела в саду до самого заката солнца. Уже чувствовалась сырость, а на ней было легкое платье. Когда-то говорили, что счастье можно обрести единственным способом: делать счастливыми других. Что ж, она попробует. Вот Бетти, грузная, с распухшими от ревматизма ногами, разве она когда-либо думает о себе? Или тетюшка Розамунда, которая вечно подбирает на улице бродячих собак, помогает бедным музыкантам?

А отец, он светский человек, но разве он не был добр к солдатам своего полка? Да и о ней самой он постоянно заботится, всячески стараясь доставить ей удовольствие. Любить людей, приносить им счастье! Возможно ли это? Людей любить трудно — не то что птиц, животных или цветы, с теми как-то проще и легче.

Она поднялась наверх и стала переодеваться к обеду. Какое платье ему больше понравится? Палевое с низким вырезом или это белое, мягкое, отделанное кофейного цвета кружевами? Она выбрала второе. Внимательно вглядываясь в свое отражение в зеркале, она содрогнулась. Скоро она станет другой — похожей на всех этих женщин, которые удивляли ее тем, что смело появлялись на людях в таком положении. Почему надо становиться некрасивой, чтобы произвести на свет новое живое существо? Некоторые женщины даже как бы гордятся этим. Нет, она ни за что не решится показаться кому-либо на глаза!

Кончив переодеваться, она спустилась вниз. Фьорсен еще не возвращался. Она с облегчением отошла от окна и отправилась в столовую. Пообедав вместе с обоими щенками, она отослала их и села за рояль. Бетти, питавшая слабость к Шопену, уселась у двери, которая вела в задние комнаты; она любовалась «своей красавицей»; Джип была очаровательна в этом платье, озаренная огоньками свеч, рядом с красивыми, дивно пахнущими лилиями. Одной из горничных, которая подошла слишком близко, Бетти сделала знак отойти.

Было уже поздно. Девушки ушли спать. Джип давно перестала играть и, стоя у окна, глядела в темноту. На дворе было тепло, от садовой ограды доносился запах жасмина, на небе — ни звездочки. Ей всегда казалось, что над Лондоном мало звезд. Какой-то шум заставил ее обернуться. Высокая фигура обрисовалась в темноте на фоне открытой двери. Она испуганно окликнула:

— Это ты, Густав?

Он пробормотал что-то, она не смогла разобрать. Поспешно закрыв дверь на балкон, она подошла к нему. Свет из передней упал сбоку на его лицо. Оно было бледно, глаза странно блестели, рукав выпачкан. Он невнятно проговорил:

— Маленькое привидение!

Впервые в жизни Джип столкнулась лицом к лицу с пьяным человеком. Как это ужасно: вдруг кто-нибудь увидит! Она хотела броситься в переднюю и запереть дверь во внутренние комнаты, но он схватил ее за плечо. Она замерла на месте, боясь, что он упадет и в доме услышат. Вот он уцепился за другое ее плечо и стоит, опираясь на нее всем телом. Она не возмущалась, она думала только об одном: «Что делать? Как отвести его наверх, чтобы никто не знал?» Она взглянула прямо ему в лицо — оно вдруг растрогало ее: блестящие глаза, пугающая бледность. И она сказала ласково:

— Ничего. Ничего. Обопрись на меня — мы поднимемся наверх.

Она не чувствовала отвращения, все вытеснила мучительная жалость. Обхватив его за талию, она двинулась вместе с ним к лестнице. Только бы никто не услышал! Только бы незаметно втащить его наверх!

— Не разговаривай, опирайся на меня! — прошептала она.

Он и сам, видимо, всячески старался и двигался вперед, выпятив губы; выражение его лица было бы смешным, если бы все не было таким трагичным.

Поддерживая его из всех сил, она начала подниматься по ступенькам. Это оказалось легче, чем она думала. Через площадку... к спальне — и опасность миновала! Все! Он лежит поперек кровати, дверь заперта. Только сейчас она почувствовала, что все ее тело дрожит, и услышала, как стучат ее зубы. Она мельком взглянула на себя в большое зеркало. Красивые кружева на платье были оборваны, на плечах, за которые он хватался, стараясь сохранить равновесие, остались красные пятна от его пальцев. Она накинула халат и подошла к нему. Он лежал в каком-то оцепенении, и ей стоило немалого труда заставить его сесть и опереться на спинку кровати. Она ломала себе голову: что бы ему дать? Нюхательной соли? Наверно, это годится... Уложив его наконец в постель, она долго вглядывалась в его лицо. Глаза у него были закрыты — он не увидит, если ее вдруг охватит приступ слабости. Но она не станет плакать! Ей ничего не остается, как лечь самой. Она разделась и погасила свет. Он спал, тяжело и шумно дыша. Глядя в темноту,

Джип усмехалась. Она вспоминала всех этих молодых жен, которые на страницах романов, краснея от смущения и трепеща, шепчут на ухо молодым мужьям, что они «хотят сообщить им что-то... такое!»

ГЛАВА VI

Когда на рассвете она посмотрела на Фьорсена, погруженного в тяжелый сон, первой ее мыслью было: «У него тот же вид, что вчера». И вдруг ей подумалось: странно, что она не испытала да и сейчас не испытывает отвращения. Новое открытие — беспутное поведение мужа — она приняла без озлобления. Кроме того, она давно уже знала об этом его свойстве: он не умеет пить коньяк так, чтобы не было заметно.

Она осторожно встала, собрала его одежду, брошенную на стул, взяла ботинки и унесла в туалетную комнату. Там, в едва пробивающемся свете дня, она принялась все это чистить. Потом бесшумно прокралась к кровати, взяла иголку с ниткой и стала пришивать оторванные кружева к своему платью. Никто не должен ничего знать, даже он сам. Она на время даже забыла о том, другом, ужасно важном. Но вот оно снова — неожиданное, вызывающее тошноту. Пока она сможет держать это в тайне, никто не узнает — и самым последним узнает он!

Утро прошло как обычно; но когда в полдень она явилась в студию, его там не было. Она уже садилась за завтрак, когда горничная вошла и доложила:

— Граф Росек.

Джип поднялась в замешательстве.

— Скажите, что мистера Фьорсена нет дома. Но... но спросите у гостя: не желает ли он позавтракать? И принесите бутылку белого вина.

В короткие секунды до появления Росека у нее было ощущение человека, вступающего в загон, где пасется бык.

Даже самый суровый критик не мог бы обвинить Росека в недостатке такта. Он надеялся увидеться с Густавом; и это было очаровательно с ее стороны — пригласить его позавтракать.

Он, кажется, отказался от корсета, да и вид у него был не такой наглый. Лицо у него слегка загорело, словно он много дней провел на воздухе и солнце. Разговаривал он без циничных полунамеков, отозвался с похвалой о ее «чудесном доме» и проявил горячность в суждениях об искусстве и музыке. Сейчас он был ей меньше противен. После завтрака они прошли через сад в студию, и он сел за рояль. У него было глубокое, ласкающее туше, которое обычно свидетельствует о стальных пальцах и истинной страсти к чистому тону. Джип села на диван. Здесь он не видел ее лица, а сама она могла внимательно его разглядывать. Он играл «Детские сцены» Шумана.

Может ли человек, создающий такие идиллические звуки, иметь дурные намерения? И неожиданно она сказала:

— Граф Росек!

— Мадам?

— Скажите, зачем вы вчера послали сюда Дафну Уинг?

— Я?!

— Да.

Он повернулся на табурете и уставился на нее широко открытыми глазами.

— Раз уж вы меня спрашиваете... Я полагаю, вам известно, что Густав довольно часто встречается с ней?

Он дал тот самый ответ, который она предугадывала.

— А почему я должна возражать против этого?

Он встал и сказал тихо:

— Очень рад, что вы не возражаете.

— Почему рады?

Она тоже поднялась. Хотя он был почти одного с ней роста, она чувствовала, какие крепкие мышцы скрываются под его щегольским костюмом и какая змеиная сила таится в нем. У нее забилось сердце.

Он сделал шаг к ней.

— Я счастлив, что вы понимаете... что с Густавом все... покончено...

Он осекся, почувствовав, что допустил оплошность, хотя не понимал, какую. Джип только улыбалась. Его щеки окрасились слабым румянцем.

— Густав — вулкан, который скоро потухнет. Уве-

ряю вас, я его хорошо знаю. Вам бы тоже следовало знать его лучше.

— Почему?

Он ответил сквозь зубы:

— Чтобы не тратить попусту время. Вас ждет другая любовь.

Джип снова улыбнулась.

— Так это из любви ко мне вы напоили его вчера?

— Джип! — Она сделала шаг вперед, но он стоял между ней и дверью. — Вы никогда не любили его. И это оправдывает меня. Вы уже и так отдали ему слишком много — больше, чем он заслуживает. Боже мой! Вы измучили меня... Я просто одержим...

Он вдруг сильно побледнел, на лице его, казалось, остались одни горящие глаза. Ей стало жутко, но именно поэтому она вполне овладела собой. Выбежать через боковую дверь, ведущую в переулок? Похоже было на то, что он собирается сломить ее сопротивление силой своего взгляда, словно гипнотизер, угадавший, что его боятся.

Шагнул он или ей только показалось, но он приближался к ней. Ее охватило омерзение, словно его руки уже коснулись ее.

Она отвела взгляд, и вдруг ей в глаза бросились его выющиеся волосы. Конечно, ну, конечно же, они были завиты щипцами! И почти неслышно с ее губ сорвались слова:

— *Technique merveilleuse!*¹

У него забегали глаза и отвисла губа. Джип пересекла комнату и положила руку на звонок. Страх как не бывало. Росек без единого слова повернулся и вышел в сад. Она молча смотрела, как он шел по дорожке. Она уничтожила его тем оружием, против которого не устоит даже самая неистовая страсть, — оружием смеха. Но как могло случиться, что она по-настоящему испугалась, чуть не отступила в этой схватке, чуть не подпала под власть этого человека — в своем собственном доме, где рядом прислуга!

В саду на нее пахнуло первым теплым дыханием лета. Середина июня! Дремотный воздух полон жужжания насекомых и аромата.

¹ Великолепная техника! (франц.)

Джип села в тени. Щенки принялись кататься по траве и визжать, а она все пыталась найти какой-либо смысл в своем маленьком мире, хоть какую-нибудь защиту для себя. Ей казалось, что вокруг все окутано горячей, тяжелой мглой, в которой притаилось что-то страшное; гордость и воля — вот что поможет ей не выдавать никому своего страха.

Выйдя в то утро из дому, Фьорсен долго шел пешком, пока ему не встретилось такси. Откинувшись на спинку сиденья, он снял шляпу и велел ехать побыстрее — куда глаза глядят! Он привык так делать, когда у него бывало плохое настроение. Быстрая езда успокаивала. А сегодня ему особенно необходимо было успокоиться. Проснуться в своей собственной кровати и даже не помнить, как ты туда попал! Это было для него не ново, как и для многих двадцативосьмилетних мужчин; но после женитьбы это случилось впервые. Если бы он совсем ничего не помнил, было бы легче. Но он смутно припоминал темную гостиную и рядом с собой Джип, похожую на привидение. Почему-то все это его очень пугало. А уж если он трусит, как многие другие, значит, дело его плохо.

Будь она похожа на других женщин, с которыми он испытал утехи любви, он не чувствовал бы такого гнетущего унижения. Будь она похожа на них, он уже давно бы «покончил» с ней, как выражается Росек. Но он хорошо знал, что не «покончит». Он может напиваться, может вести распутный образ жизни, но Джип приросла к его сердцу. В ее покорности — ее сила, тайна ее притягательной власти. Он уже знал в ней эту непонятную для него врожденную чувствительность; и если Джип даже и уступает его пылкой страсти, она все равно как бы остается в стороне, со своей слабой, неуловимой улыбкой. Такой непостижимой улыбкой днем и ночью улыбаются леса и поля; она проглядывает в кротком, трепетном равнодушии цветов, деревьев, потоков, скал, птичьего пения, всего этого вечного движения природы под солнцем или при свете луны.

Ее темные, мягко улыбающиеся глаза притягивали его, вызывали неутолимую жажду. Он был из тех людей,

которые, встретившись со сложными душевными переживаниями, сразу отшатываются от них, ищут успокоения, стараются всякими безрассудными поступками залечить рану, нанесенную их эгоизму; словом, это был испорченный ребенок, капризный и в то же время не лишенный возвышенных порывов, порой отталкивающий, порой чем-то привлекательный, как и все подобные люди. Он пожелал достать луну, и вот он получил ее, а теперь не знает, что с ней делать; он все еще хватается за нее, но чувствует, что она отдаляется все больше и больше. Неудача, которую он потерпел в своих попытках слиться с ней духовно, доводила его до безумия. Только работа еще как-то помогала ему управлять собой. Работал он много и упорно; но и здесь уже чего-то не хватало.

У него было все для того, чтобы достигнуть совершенства,— все, кроме моральной устойчивости, которая только одна могла принести ему заслуженное, как он полагал, превосходство над другими. Часто он удивлялся и раздражался, когда узнавал, что кто-нибудь из его сверстников добивался больших успехов, чем он.

Сидя в такси, он размышлял: «Может быть, я позволил себе ночью что-нибудь такое, что по-настоящему возмутило ее? Почему я не дождался ее и не узнал обо всем — пусть даже самом худшем?» Он криво усмехнулся: узнавать о худшем он не очень-то любил. Мысли его в поисках козла отпущения обратились к Росеку. Как у всякого увлекающегося женщинами себялюбца, у Фьорсена было мало друзей. Росек был самым постоянным. Но и Росека Фьорсен презирал и одновременно боялся: люди слабовольные, но большого таланта, всегда так относятся к людям менее талантливым, но обладающим большой силой воли. Фьорсен обращался с Росеком, как капризный ребенок с нянькой; но он не мог обойтись без него, мецената с туго набитым кошельком.

«Проклятый Поль! — думал он. — Он должен был знать да и знает, что его коньяк пьешь легко, как воду. Он видел, что я пьянею. Не иначе как у него было что-то на уме. Куда я пошел потом? Как добрался до дома? Неужели я обидел Джип?.. Если слуги были при этом — это могло ужасно огорчить ее!» Он почувствовал новый приступ страха. Он не знает ее, никогда не знал, что она думает и чувствует, он вообще ничего не знает о ней.

Это несправедливо! Сам он не утаивал ничего. Он открыт для нее как божий свет — пожалуйста, смотри! Что же все-таки он натворил вчера? Горничная глядела на него утром как-то странно... И вдруг он приказал шоферу:

— Бэри-стрит, Сент-Джеймс!

На всякий случай надо узнать, не уехала ли Джип к отцу. Пока машина добиралась до этой маленькой улицы, он несколько раз менял свое намерение. Легкий пот выступил у него на лбу, когда он позвонил и ждал, пока отворят дверь.

— Миссис Фьорсен здесь?

— Нет, сэр.

— И не приезжала сегодня утром?

— Нет, сэр.

Он не подумал о том, что надо было как-то объяснить свой приезд, снова сел в машину и велел шоферу ехать на Керзон-стрит. Если ее нет и у «этой тетки Розамунды», тогда все в порядке: больше ей быть не у кого. У тетки ее не оказалось. Он облегченно вздохнул и стал думать о том, как бы позавтракать. Пожалуй, надо захватить к Росеку, занять у него денег для уплаты шоферу и заодно подкрепиться. Но Росека тоже не было. Пришлось ехать домой, чтобы там уплатить за такси. Шофер посматривал как-то искоса, словно догадываясь о его затруднениях.

У ограды своего дома он встретил человека с большим конвертом в руке.

Джип сидела в своем кабинете и перелистывала корешки чековой книжки. Она не обернулась.

— Я могу позавтракать? — спросил он.

Она протянула руку к звонку и позвонила. Ему стало жаль ее. Он уже готов был обнять ее и крикнуть: «Прости меня, Джип, я страшно виноват!» Но в эту минуту на звонок явилась Бетти.

— Пожалуйста, подайте завтрак мистеру Фьорсену.

Он услышал, как, выходя, толстуха что-то проворчала себе под нос. Она тоже участвовала в его отлучении. И он раздраженно сказал:

— Ты хочешь, чтобы твой муж умер от голода, если он опоздал к завтраку?

Джип протянула ему чековую книжку. Он прочел на корешке:

«М-ры Трэверс и Сэнборн, портные. Счет оплачен: 54 фунта 3 шиллинга, 7 пенсов».

Фьорсен покраснел, но тут же принял вид оскорбленного достоинства.

— Ты уплатила? Мои счета тебя не касаются.

— Посыльный сказал, что, если счет не будет немедленно оплачен, они подадут в суд. Я считаю, что не платить долги неприлично. Много их у тебя?

— Я не скажу тебе.

— Мне надо вести хозяйство и платить прислуге, и я должна знать, на что могу рассчитывать. Я не собираюсь делать долги.

В лице ее появилась жесткость, какой он не видел прежде. Это была совсем не та Джип, с которой он разговаривал во всеоружии своей власти, в этот же час вчера утром. Этот бунт уязвил его тщеславие, вызвал непонятную тревогу и в то же время как-то встряхнул его. Он сказал тихо:

— Деньги! Проклятые деньги! Поцелуй меня.

— Это ребячество — проклинать деньги. Я готова истратить весь свой доход, но не больше. И я не собираюсь просить денег у отца.

Он бросился в кресло.

— Ха, ха! Добродетель!

— Нет, гордость.

— Значит, ты не веришь в меня,— сказал он угрюмо.— Не веришь, что я могу заработать столько, сколько хочу, больше, чем есть у тебя? Ты никогда в меня не верила!

— Мне кажется, ты зарабатываешь теперь столько, сколько вообще способен заработать.

— Ах, ты так думаешь! Ладно! Мне не нужны твои деньги.

— Т-с-с-с!

Он оглянулся. В дверях стояла горничная.

— Простите, сэр! Шофер спрашивает, заплатите ли вы ему, или он вам еще будет нужен? Двенадцать шиллингов.

Фьорсен посмотрел на нее взглядом, от которого, как говорит прислуга, «можно одуреть».

— Нет, он мне не нужен. Заплатите ему.

Девушка взглянула на Джип, сказала «да, сэр» и исчезла.

Фьорсен рассмеялся. Это была забавная поправка к его самоуверенному заявлению.

— Неплохо, а, Джип?

Но ее лицо оставалось неподвижным; зная, что над забавными нелепостями она любит посмеяться даже больше, чем он, Фьорсен снова почувствовал приступ страха. Что-то изменилось. Да, в самом деле, что-то в ней изменилось.

— Я обидел тебя вчера ночью?

Она пожала плечами и отошла к окну. Он мрачно посмотрел на нее и выбежал в сад. И почти тут же неистовые звуки скрипки понеслись из студии через лужайку.

Джип слушала с горькой улыбкой. Вот теперь и деньги тоже! Но не все ли равно? Ей уже не уйти от этого. Никогда не уйти. Ночью он будет целовать ее, и она будет притворяться, что все хорошо. И так будет всегда! Что ж, она сама виновата. Достав двенадцать шиллингов из кошелька, она положила их на стол, чтобы отдать горничной. И неожиданно ей пришла в голову мысль: «А может быть, я ему надоела? Если бы только я ему надоела!» Но впереди лежала длинная дорога, куда длиннее той, которую ей уже довелось пройти.

ГЛАВА VII

Тот, кто хоть раз видел, как на экваторе во время полного штиля безвольно повисают паруса и с каждым днем умирает надежда на спасение, легко поймет, какой стала теперь жизнь Джип. Все меняется — даже штилю приходит конец. Но что может измениться для молодой женщины двадцати трех лет, которая ошиблась, вступив в брак, и не может корить за это никого, кроме себя, если она не «современная» женщина, какой никогда не была Джип? Решив никому не признаваться в своей неудаче и стиснув зубы ждать ребенка, Джип продолжала скрывать свое состояние от всех, даже от Уинтона. С Фьорсеном ей удавалось держать себя как обычно, она

по-прежнему старалась сделать для него внешнюю сторону жизни легкой и приятной: аккомпанировала ему, вкусно кормила, терпела его любовные излияния. Изображать из себя жертву было бы глупо! Ее *malaise*¹, которую она так успешно утаивала, имела более глубокие причины: то был упадок духа, неизбежный в человеке, который сам обрезал себе крылья.

Что до Росека, то Джип вела себя с ним так, словно той маленькой сцены никогда и не было. Надежда на то, что в трудную минуту можно обратиться к мужу, навсегда рассеялась уже в ту ночь, когда он вернулся домой пьяным. А рассказывать о Росеке отцу она не решалась. Но она постоянно была настороже, зная, что Росек никогда не простит ей пущенного в ход против него оружия смеха. Его намеки насчет Дафны Уинг она попросту выбросила из головы, чего никогда не сделала бы, если бы любила Фьорсена. Джип воздвигла себе идола гордости и стала ему поклоняться. Только Уинтон да, пожалуй, Бетти могли бы понять, что она несчастна. Легкомысленное отношение Фьорсена к деньгам не слишком ее беспокоило: она сама оплачивала все расходы по дому — арендную плату, жалованье прислуге, свои наряды, и ей пока удавалось сводить концы с концами, а с его тратами вне дома она ничего не могла поделать.

Лето тянулось медленно. Кончился сезон концертов, и стало ясно, что оставаться в Лондоне невозможно. Но она боялась уезжать из своего маленького спокойного дома. Именно это и послужило причиной того, что однажды вечером она открыла Фьорсену свою тайну. На его лице, бледном, осунувшемся от лондонской жизни, вспыхнул странный тусклый румянец; он вскочил и уставился на нее. Джип невольно отодвинулась.

— Нечего смотреть на меня. Это правда.

Он схватился за голову и разразился потоком слов:

— Но я не хочу! Я не хочу ребенка!.. Он испортит мою Джип!

И вдруг он подскочил к ней с искаженным от страха лицом:

— Я не хочу! Я боюсь его! Не надо ребенка!

Джип почувствовала то же самое, что и в тот час, ко-

¹ Подавленность (франц.).

гда он стоял здесь, у стены, пьяный,— скорее это было сострадание, чем презрение к его ребячеству. Взяв его за руку, она сказала:

— Хорошо, Густав. Пусть это тебя не беспокоит. Когда я стану некрасивой, я уеду с Бетти, пока все не кончится.

Он опустился перед ней на колени.

— О, нет! О, нет! О, нет! Моя Джип, красивая!

Джип сидела неподвижно, вся в страхе оттого, что и у нее могут вырваться те же слова: «О, нет!»

Окна были открыты, в комнату залетали мотыльки. Один уселся на белую гортензию, разросшуюся над камином. Джип смотрела на нежное, пушистое растение, соцветие которого напоминало голову совы, притаившейся в зеленых листьях. Она смотрела на лиловые изразцы камина, на яркую ткань своего платья, смягченную светом ламп. И ее любовь к красоте восстала, разбуженная его криком: «О, нет!» Скоро она станет уродливой и будет мучиться и, может быть, умрет, как умерла ее мать...

В тот вечер и весь следующий день она с интересом наблюдала, как усваивает Фьорсен столь расстроившую его новость. Когда он наконец понял, что придется покориться природе, он начал избегать всего, что могло бы напомнить ему о будущем ребенке. Она поостереглась сама предложить ему уехать отдыхать без нее. Но когда он уехал в Остенде, вместе с Росеком, на Джип снизошел покой. Не ощущать ежеминутно присутствия в доме этого чуждого ей, беспорядочного человека! И, когда на следующий день она проснулась в тишине летнего утра, она не могла убедить себя, как ни старалась, что ей не хватает его. В сердце не было ни пустоты, ни боли; она чувствовала только одно: как приятно и спокойно лежать вот так, одной! Она долго не вставала. Это было восхитительно — окна и двери распахнуты настежь, в комнату то и дело забегают щенки, а ты лежишь в полудреме, слушаешь воркованье голубей, далекие отзвуки городского движения и чувствуешь, что ты снова хозяйка над собой, над своей душой и телом. Раз уж она все сказала Фьорсену, у нее отпало всякое желание держать дольше в секрете свое положение. И Джип позвонила отцу, что она одна.

Уинтон не уезжал из Лондона. Между скачками, которые прошли в Гудвуде и следующими — в Донкастере, не предвиделось состязаний, которые стоили бы внимания; да и вообще это время года не для охоты, так что не было нужды покидать Лондон. Больше всего он любил жизнь в столице в августе: клуб был безлюден, можно было просиживать там долгие часы, не боясь, что какой-нибудь надоедливый старик схватит тебя за пуговицу и заведет длинный разговор. К его услугам всегда был маленький Бонкарт, учитель фехтования. Уинтон уже давно старался научиться орудовать левой рукой так, как когда-то действовал правой; турецкие бани на Джерми-стрит тоже почти пустовали — тучные клиенты разъехались; можно прогуляться в Ковент-гарден, купить дыню и отнести ее домой, не встретив никого, разве что какую-нибудь захудалую герцогиню на Пикадилли; в теплые вечера — просто пофланировать по улицам или паркам, покуривая сигару, отдаваясь смутным мыслям, смутным воспоминаниям. Было очень приятно узнать, что дочь одна и в доме нет субъекта. Где бы накормить ее обедом? Миссис Марки была в отпуске. А почему бы не у Блэфарда? Там спокойно — небольшие залы, не слишком респектабельно, но всегда прохладно. Решено: у Блэфарда!

Когда она подъехала к дому на Бэри-стрит, он уже был готов и чувствовал себя школьником, которого на несколько дней отпустили из школы. Как она очаровательна — правда, немного бледна, — как хороши ее темные глаза, улыбка! И, быстро подойдя к машине, он сказал:

— Нет, не выходи. Я сяду с тобой. Обедаем у Блэфарда, Джип, сегодня вечер развлечений!

Ему доставило истинное удовольствие проследовать за ней в маленький ресторан, пройти по низким, окрашенным в красный цвет залам, видеть, как посетители с завистью провожают его глазами. Он усадил Джип в дальнем углу, у окна, где ее было видно и откуда она могла все видеть. Ему очень хотелось, чтобы ею любовались; сам же он сел к залу спиной, предоставив посетителям обозревать свой сидящий затылок. Он вовсе не собирался портить себе удовольствие, и смотреть на всю эту разношерстную публику, поглощающую шампанское и

распаренную от жары. Ибо втайне он хотел насладиться не только сегодняшним вечером, но и воспоминаниями о другом вечере из далекого прошлого, когда в этом самом уголке он обедал с ее матерью. Тогда в сторону атакующих взглядов было обращено его лицо, она же прятала свое. Но об этом он ничего не говорил Джип.

Новость, которую она ему сообщила, он принял с выражением, хорошо ей знакомым,—сжатые губы, глаза смотрят куда-то вверх.

— Когда? — спросил он.

— В ноябре.

Тот самый месяц! Протянув руку через стол, он крепко сжал ее пальцы.

— Все будет хорошо, дитя мое. Я рад.

Схватив его руку, Джип пробормотала:

— А я — нет. Но я не буду бояться, обещаю!

Ни один из них не обманывался ни в чем. Оба умели сохранять спокойствие при любых обстоятельствах. К тому же это был «вечер развлечений» — первый свободный вечер со дня ее замужества. После слов Уинтона «Значит, он уехал в Остенде?» и его восклицания «Еще бы!» они ни разу больше не упоминали о Фьорсене. Разговаривали о лошадях, о Милденхэме.— Джип казалось, что прошли годы с тех пор, как она была там — вспоминали ее детские шалости. Лукаво посмотрев на него, Джип спросила:

— А каким ты был в детстве, отец? Тетушка Розамунда говорит, ты иногда впадал в такую ярость, что к тебе было не подступить. Она говорит, что ты лазал по деревьям, стрелял из рогатки да дразнил всех, и не было случая, чтобы ты сказал что-нибудь, если не хотел этого сказать. А еще — будто ты был отчаянно влюблен в свою гувернантку, это правда?

Уинтон улыбнулся. Мисс Хантли! С завитыми каштановыми волосами, голубыми глазами, всегда изящно одетая!

— Да, да,— сказал он.— Боже, как давно это было! Мой отец уезжал тогда в Индию. Он больше не вернулся — его убили в первую афганскую кампанию. Когда я в детстве влюблялся,— я влюблялся очертя голову. Но я и наполовину не был так восприимчив, как ты. Нисколько не был похож на тебя, Джип.

Уинтон увидел, что она бессознательно следит взглядом за движениями официантов, словно вбирает в себя все происходящее вокруг, и подумал: «Самое очаровательное существо на свете!»

— Ну,— сказал он,— что будем делать дальше? Может быть, заглянем в театр или в мюзик-холл?

Джип покачала головой. Очень уж жарко! Почему бы не прокатиться в машине, а потом посидеть в парке? Вечерело, духота была уже не такой изнуряющей — легкий ветерок, веявший на бульварах и в парках, смешивался с запахом пыли и бензина. Уинтон назвал шоферу тот же адрес, что и в далекий, ушедший в прошлое вечер: Найтсбриджские ворота. Тогда они ехали в экипаже, и ночной ветерок дул им в лицо, а не в затылок, как сейчас, в такси. Они вышли из машины, пересекли Роу, миновали Лонг-Уотер и по тропинке, выходящей между деревьями, поднялись наверх. Здесь они уселись рядом на двух стульях, покрытых пальто Уинтона. Роса еще не выпала. Листья деревьев висели неподвижно и легко в теплом, напоенном ароматом воздухе. Под деревьями или на траве тихо сидели, уже не выделяясь в темноте, другие парочки. Дымок от сигары Уинтона подымался кольцами. Он весь ушел в воспоминания. Пепел от сигары упал на его костюм, и он поднял руку, чтобы сбросить его. Джип прошептала ему на ухо:

— Как чудесно — тепло и запах цветов в темноте! Уинтон вздрогнул.

— Просто великолепно! Но у меня погасла сигара, а спичек нет.

Джип взяла его под руку.

— Темнота, этот шепот влюбленных — словно мы в каком-то таинственном мире. Тебе не кажется?

Порыв ветра всколыхнул листву, и на мгновение ночь стала полна шепота; потом донеслось чье-то хихиканье.

Джип встала.

— Уже прохладно от росы. Может быть, пойдем?

Очарование исчезло. Ночь опять стала обыкновенной лондонской ночью. Парк снова превратился в покрытый пыльной травой и гравием участок земли, влюбленные — в клерков и продавщиц на прогулке.

От Фьорсена приходили длинные послания. Он страшно тосковал без нее, но, судя по всему, весьма усердно развлекался. Он просил денег, но забывал сообщить, на что он их тратит. Выходя из бюджета, и без того урезанного, Джип посылала ему денежные переводы: это ведь был и ее отпуск, и она могла себе разрешить оплачивать его. Однажды она разыскала магазин, где можно было продать драгоценности, и все, что выручила, отправила ему. Это дало ей еще одну неделю.

Как-то вечером они пошли с Уинтоном в «Октагон», где все еще выступала Дафна Уинг. Джип вспомнила, как восторгалась девушка ее садом, и написала ей письмо, в котором приглашала позавтракать и отдохнуть у нее до вечера.

Мисс Дафна с жадностью ухватилась за приглашение; она пришла, бледная и поникшая от жары, в платье из шелка либерти, в простой соломенной шляпе с широкими полями. Позавтракав, они расположились в самом тенистом уголке сада — Джип в плетеном кресле, Дафна на подушках в траве. После длинной серии восклицаний маленькая танцовщица принялась откровенно изливать душу. И Джип — внимательнейшая слушательница — с интересом следила за рассказом этой девушки, столь отличной от нее самой.

— Конечно, как только смогу, я уйду из дома. Только нехорошо выходить в жизнь, — это выражение она употребляла довольно часто, — если не знаешь, что к чему. В моей профессии надо быть очень осторожной. Правда, многие думают, что она хуже, чем на самом деле; отец даже иногда выходит из себя. Но, право, миссис Фьорсен, дома ужасно! Мы едим баранину — вы ведь, знаете, что такое баранина! Просто невозможно спать летом в комнате, когда пахнет бараниной. А тут еще нужно упражняться. Чего бы я хотела, так это иметь студию. Вот было бы дивно — где-нибудь у реки или здесь, наверху, возле вас! Право, дивно! Знаете, я понемногу откладываю деньги. Как только соберу двести фунтов, я сбегу. А что было бы совсем чудесно — это заинтересовать художников, музыкантов. Я не хочу быть обыкновенным «номером» — балетные ангажементы год за го-

дом и прочее. Я хочу быть чем-то особенным! Но мать рассуждает так глупо — она считает, что я ни в коем случае не должна рисковать. А я с ней не согласна... Так приятно беседовать с вами, миссис Фьорсен, потому что вы тоже молоды и понимаете меня; и я уверена, что вы не обидитесь, если я кое о чем вас спрошу. Вот насчет мужчин; как вы считаете: надо выходить замуж или иметь любовника? Говорят, что нельзя стать хорошей артисткой, пока не испытаешь страсти. Но если выйти замуж, тогда снова баранина, а может быть, и дети, да еще вдруг попадется плохой муж. Уф! И все же я против беспутства. Я ненавижу беспутных людей, просто ненавижу. Вы как считаете? Все это ужасно трудно, правда?

Джип отвечала с полной серьезностью:

— Такие вещи улаживаются сами собой. Я бы не беспокоилась на вашем месте.

Дафна Уинг оперлась подбородком на руки.

— Да, я и сама так думала. И, конечно, я бы могла сейчас сделать либо то, либо другое. Но, видите ли, меня совершенно не интересуют обыкновенные, ничем не выдающиеся мужчины. Я убеждена, что влюблюсь только в выдающегося мужчину. Вы ведь тоже так поступили, правда? Поэтому вы должны меня понять. Я считаю, что мистер Фьорсен — удивительно выдающийся!

Пробившийся через листву теплый солнечный луч вдруг упал на открытую шею Джип. Она по-прежнему серьезно слушала Дафну Уинг.

— Конечно, мать устроила бы истерику, если бы я спросила ее об этом, а уж про отца и говорить не приходится. Но это ведь так важно, правда? Можно с самого начала наделать ошибок, а мне так хочется выдвинуться... Я просто обожаю свою работу. Я не хочу, чтобы любовь мешала работе, я хочу, чтобы она мне помогала, понимаете? Граф Росек говорит, что моим танцам не хватает страсти. Мне хочется, чтобы вы сказали, так ли это. Вам я поверю.

Джип покачала головой.

— В этом я не судья.

Дафна Уинг посмотрела на нее с упреком.

— О, я уверена, что это не так! Будь я женщиной, я

бы страстно влюбилась в вас. У меня есть новый танец — танец нимфы, которую преследует фавн; но так трудно чувствовать себя нимфой, когда знаешь, что фавн — всего-навсего балетмейстер. Вы считаете, что мне надо вложить страсть в этот танец? Понимаете, я должна все время убегать; но было бы намного тоньше, если бы создать впечатление, что я сама хочу быть пойманной. Вы не согласны?

У Джип неожиданно вырвалось:

— Да, я думаю, что вам пойдет на пользу, если вы полюбите.

Рот Дафны Уинг слегка приоткрылся, глаза округлились.

— Вы испугали меня, — пробормотала она. — У вас был такой... такой... взгляд, когда вы говорили это.

И вправду, в Джип загорелся какой-то огонек. Этот пустой, бессодержательный разговор о любви взбудоражил всю ее душу. Она не хочет любви; она не сумела полюбить. Но чем бы ни была любовь, она не терпит болтовни о себе. Как же получается, что эта девица из предместья, едва только ставшая на пуанты, смогла так задеть ее за живое, так взволновать?

— Знаете, что бы доставило мне самое большое наслаждение? — продолжала Дафна Уинг. — Потанцевать как-нибудь для вас в этом саду! Это, наверно, чудесно — танцевать на свежем воздухе; и трава прекрасная, совсем сухая. Только боюсь, что слуги сочтут это неприличным. Они заглядывают сюда? — Джип отрицательно покачала головой. — Я могла бы танцевать вон там, против окон вашей гостиной. Но только нужна лунная ночь. Я могу прийти в любое воскресенье. У меня есть танец, где я — цветок лотоса, он подходит как нельзя лучше! А потом — настоящий лунный танец, на музыку Шопена. Я бы принесла свои костюмы и переодевалась бы в вашей студии, правда? — Она сидела, скрестив ноги и сложив руки, и глядела на Джип. — О, вы позволите?

Желание доставить ей удовольствие, необычность затей, да и действительный интерес к ее танцам заставили Джип сказать:

— Хорошо. В будущее воскресенье.

Дафна Уинг вскочила, бросилась к Джип и поцело-

вала ее. Ее губы были влажны, от нее пахло флёр-д'оранжем; Джип слегка отшатнулась — она не выносила восторженных поцелуев. Сконфузившись, мисс Дафна опустила голову и сказала:

— Вы так прелестны; я не могла удержаться.

Джип почувствовала раскаяние, взяла руку Дафны Уинг и ласково пожала ее.

Они вошли в дом, чтобы подобрать музыку для обоих танцев, и вскоре Дафна Уинг ушла, досыта наевшись леденцов и полная надежд.

В следующее воскресенье она явилась точно в восемь с зеленым холщовым саквояжем, где лежали ее костюмы. Очевидно, она немного побаивалась. Салат из омара, рейнвейн и персики быстро вернули ей мужество. Ела она с большим аппетитом. Видимо, ей было безразлично — танцевать с полным или с пустым желудком; но от сигареты она наотрез отказалась.

— Это плохо... словом, вы знаете! — сказала она.

После ужина Джип прогнала щенков в задние комнаты. Она представляла себе, с какой яростью они вцепятся в тунику или даже в икры мисс Дафны Уинг. Потом обе они снова пошли в гостиную и, не зажигая огня, стали ждать лунного света. В эту последнюю августовскую ночь жара еще не спала — воздух был неподвижен и душен; медленно всходила луна, бросая пока только одиночные блики сквозь густую листву. Они разговаривали вполголоса, бессознательно подчиняясь очарованию этого вечера. Когда луна поднялась высоко, они осторожно пробрались через сад в студию. Джип зажгла свечи.

— Вам достаточно света?

Дафна уже почти освободилась от своей одежды.

— О, как я волнуюсь, миссис Фьорсен! Я надеюсь, что буду танцевать хорошо.

Джип вернулась в дом и села за рояль, повернувшись лицом к саду. Из темноты дальнего угла вдруг выступила и застыла в неподвижности в ожидании лунного света смутная фигура в белом. Джип начала играть. Это была маленькая сицилийская пастораль — ее играют на своих свирелях пастухи, спускаясь со стадом с гор. Мелодия доносилась как бы издалека, потом нара-

стала до полного звучания и снова угасала, становясь почти неслышной. Луна поднялась над деревьями; ее свет заливал дом, растекался по газону и тихо струился дальше, добираясь до подсолнечников, росших вдоль ограды. Все приобрело какой-то невиданный колорит — золота, которое не было золотом.

Джип начала играть танец. Смутная тень в темноте шевельнулась. Теперь лунный свет падал прямо на девушку, стоявшую с покрывалом в раскинутых руках — белая, крылатая статуя. И вдруг она бесшумно порхнула вперед и, как гигантская белая бабочка, пролетела над лужайкой, кружась и паря в воздухе. Луна четко выгравировала силуэт головы девушки, окрасив ее волосы в тот же цвет бледного золота. Казалось, какой-то дух сошел в сад, наполненный неземным мерцанием, и мечется во все стороны, не находя выхода.

За спиной Джип чей-то голос произнес:

— Бог мой! Что это? Ангел?

В полутемной комнате стоял Фьорсен. Он, застыв на месте, смотрел в сад. Девушка замерла на месте, глаза ее стали огромными, как блюдца, рот раскрылся, руки окаменели от неожиданности и страха. Она повернулась и, подхватив покрывало, помчалась так, что только ноги сверкали в лунном свете.

Джип не двинулась с места, она глядела снизу вверх на внезапно появившегося мужа. Она ясно видела, как его глаза следят за убегающей нимфой. Фавн мисс Дафны! Ну, конечно, даже уши у него остроконечные! Неужели она не замечала раньше, как он похож на фавна? Ах, да, в ту свадебную ночь...

И она спокойно проговорила:

— Дафна Уинг репетировала новый танец. Значит, ты вернулся? Почему же не известил меня? Как ты себя чувствуешь? Выглядишь ты превосходно!

Фьорсен наклонился и поцеловал ее.

Но даже в это мгновение, когда его губы были прижаты к ее губам, Джип чувствовала, хотя и не видела этого, что его глаза по-прежнему устремлены в сад. Она подумала: «Он бы не прочь поцеловать сейчас эту девушку!»

Пока он ходил к машине за вещами, она выскользнула из комнаты и побежала в студию.

Мисс Дафна, уже одетая, поспешно укладывала костюмы в зеленый холщовый саквояж. Она подняла глаза.

— О, он недоволен? Это ужасно, правда?

Джип подавила приступ смеха.

— Это вы должны быть недовольны.

— О, я... что вы! Только бы вы... А как вам понравился танец?

— Чудесно! Когда будете готовы, приходите в гостиную.

— О, я лучше пойду домой. Это, наверно, было так смешно...

— Тогда не желаете ли пройти через дверь, выходящую в переулок? Поверните направо и выйдете на дорогу.

— О, да! Конечно. Наверно, было бы лучше, если бы мистер Фьорсен увидел танец, когда он будет готов, правда? Что он только подумает?

Джип улыбнулась и открыла дверь.

Когда она вернулась в гостиную, Фьорсен стоял у окна и смотрел в темноту. Кого он искал — ее или убегающую нимфу?

ГЛАВА IX

Миновали сентябрь и октябрь. Концертов у Фьорсена стало больше, но сборы были не очень хороши. Фьорсен уже перестал быть новинкой, и к тому же в его игре было недостаточно слащавости и сентиментальности, которых ищет широкая публика. Начались денежные затруднения, но Джип все это казалось далеким и каким-то не настоящим: все отошло в тень, приближался ее срок. Она не шила приданого ребенку, ничего не готовила вообще. Зачем делать то, что, может быть, никогда и не пригодится?

Джип много аккомпанировала Фьорсену, а для себя не играла совсем; много читала книг — стихи, романы, жизнеописания, проглатывая все в один присест и тут же забывая прочитанное. Уинтон и тетюшка Розамунда, по молчаливому уговору, приходили к ней по очереди через день, после полудня. Вечерним поездом Уинтон, распрощавшись с ней, уезжал куда-нибудь на скач-

ки или охотиться на лис; возвращался он утром того дня, когда была его очередь сидеть у Джип. Но именно в эти дни, не занятые охотой и скачками, ему становилось особенно страшно за нее.

Бетти, присутствовавшая при рождении Джип, была сейчас в каком-то странном состоянии. Женщинам, которые жаждут стать матерями, но по воле судьбы лишены детей, такие события, как то, которое предстояло теперь, всегда безусловно желательны; но у Бетти этому препятствовали воспоминания о понесенной в прошлом утрате и страх за «свою красавицу», гораздо более сильный, чем если бы Джип была ее собственной дочерью. То, что пион считает естественным и заурядным для пионов, вызывает у него тревогу, если это же случится с лилией. Что касается другой пожилой и одинокой женщины, тетушки Розамунды, этой прямой противоположности Бетти — длинный тонкий нос у одной и круглая кнопка у другой; сознание своих божественных прав — и никакого понятия о правах вообще; растянутая, медлительная речь — и приятный сиплый говорок; худоба — и округлость; решительность — и покорность воле провидения; юмор — и полное отсутствие такового; желудочные недомогания — и пищеварение страуса, — так вот и тетушка Розамунда тоже беспокоилась, настолько, правда, насколько она вообще признавала для себя возможным беспокоиться, полагая, что это просто смешно.

Но из всего окружения Джип любопытнее всего было поведение Фьорсена. У него не было ни малейшего намерения скрывать свои переживания. А переживания были примитивны. Ему нужна была прежняя Джип. Мысли о том, что она никогда уже не будет прежней, он старался утопить в коньяке и возвращался домой едва ли более трезвым, чем в первый раз. Джип частенько приходилось помогать ему добираться до кровати. Один или два раза он провел вне дома всю ночь. Чтобы объяснить это, она придумала версию, будто у Росека есть комната, где Фьорсен ночует, если задержится на концерте, — он не хочет беспокоить ее. Верила ли ей прислуга или нет, она не знала. Но сама она никогда не спрашивала его, где он был: мешали гордость и сознание, что она не вправе задавать такие вопросы.

Джип понимала, что подурнела и стала для него не-

привлекательной; да и могло ли быть иначе: он так неуравновешен, так нетерпим ко всякому уродству! А что до более глубоких чувств к ней — были ли они у него? Он ведь никогда ни от чего не отказывался, ни в чем и никак не жертвовал собой. Если бы она любила, ей самой хотелось бы чем-нибудь пожертвовать для любимого; но теперь, нет, она никогда не будет любить! И все-таки он как будто тревожился за нее. Это было для нее загадкой! Но ей, может быть, недолго придется ломать голову над загадками; все чаще Джип охватывало предчувствие, что она умрет; и временами она думала, что умереть будет для нее счастьем. Жизнь обманула ее, вернее, она сама обманула себя. Неужели всего год прошел с того восхитительного дня на охоте, когда она, отец и тот молодой человек с чуть дерзкой улыбкой, вырвавшись вперед, мчались по полю, — с того рокового дня, когда, как с неба, свалился Фьорсен и сделал ей предложение? Ей очень захотелось в Милденхэм — укрыться там от всего, быть только с отцом и Бетти.

Она уехала туда в начале ноября.

К ее отъезду Фьорсен отнесся как утомленный ребенок, не желающий идти спать. Он не мог вынести мысли, что она будет где-то далеко от него; но как только она уехала, он устроил попойку в духе подлинной богемы. Около пяти утра он проснулся «с ужасным ощущением холода в сердце», как писал он Джип на следующий день, «с ужасным ощущением, моя Джип; я часами шагал взад и вперед по комнате» (на самом деле, не более получаса). «Как могу я вытерпеть разлуку с тобой в такое время? Я чувствую себя заброшенным». Еще через день он уже был с Росеком в Париже. «Мне стал невыносим, — писал он, — вид наших улиц, сада, нашей комнаты. Вернувшись, я буду жить у Росека. Когда придет срок, я приеду; я должен приехать к тебе». Но Джип, прочитав это письмо, сказала Уинтону: «Отец, когда это случится, не посылай за ним. Я не хочу, чтобы он был здесь».

Эти письма разрушили в ней надежду на то, что в ее муже еще сохранилось что-то доброе и красивое, как звуки, которые он извлекает из своей скрипки. И все-таки ей еще казалось, что письма эти в своем роде искренни, что в них есть нечто трогательное, какое-то настоящее чувство.

В Милденхэме ее перестали мучить безнадежные мысли о себе; появилось желание жить — от ощущения новой жизни, которую она в себе носила. Она впервые поняла это, когда вошла в свою старую детскую, где все сохранилось таким, как в то время, когда ей было восемь лет: старый красный домик для кукол с открывающейся боковой стеной, откуда были видны все этажи; выцветшие широкие жалюзи, падавшие со стуком, который она слышала сотни раз; высокая каминная решетка, у которой она так часто лежала на полу и, опершись подбородком на руки, читала сказки братьев Гримм, или «Алису в стране чудес», или рассказы из истории Англии. Ее ребенок тоже будет жить здесь, среди всего этого, привычного и знакомого. И ее охватило желание, вернее, это была безудержная прихоть — встретить свой час здесь, в старой детской, а не в комнате, где она спала девушкой; здесь спокойнее, удобнее! Пробыв в Милденхэме с неделю, она велела Бетти перевести себя в детскую.

В доме никто не был так спокоен, как сама Джип. Бетти ходила с заплаканными глазами. Миссис Марки никогда не готовила таких плохих супов. Ее муж стал безудержно боллив. Уинтон бродил по дому, не находя себе места. В его голосе, обычно размеренном и холодном, теперь явно слышалась тревога, которую он носил в сердце. А Джип чувствовала себя превосходно оттого, что все так любили ее и беспокоились о ней. Она все сидела, уставившись на огонь темными глазами, немигающими, словно у ночной совы, и думала, чем она сможет отблагодарить отца, который чуть не лишил себя жизни в то время, когда она появилась на свет.

ГЛАВА X

С того дня, как приехала сиделка, Уинтон забросил охоту и не уходил из дому больше чем на полчаса. Он не верил врачам, но это не мешало ему каждое утро вести десятиминутный разговор со старым доктором, который лечил Джип от свинки, кори и прочих детских болезней. Старик Ривершоу был живым и забавным памятником давних времен. У него были багровые щеки, вен-

чик крашенных волос вокруг лысины, выпученные, налитые кровью серые глаза, и от него всегда пахло прорезиненным плащом. Ростом он был мал, страдал одышкой, пил портвейн, нюхал табак, читал «Таймс», говорил сиплым голосом и приезжал в крохотном экипаже, запряженном дряхлой вороной лошастью. Но он был искусным лекарем и умел побеждать различные болезни; его ценили и как хорошего акушера, с легкой рукой при родах. Каждое утро, ровно в двенадцать, слышался скрип колес его экипажа. Уинтон наливал в графин портвейна, доставал жестянку с бисквитами и стакан. И едва доктор возвращался от Джип, он спрашивал:

— Ну, доктор? Как она?

— Прекрасно; просто превосходно!

— Опасаться нечего?

Не сводя глаз с графина, доктор бормотал:

— Состояние сердца великолепно... немножко... гм... ну, это пустяки! Все идет своим чередом. Вот так!

— Стакан портвейна, доктор?

Доктор неизменно изображал приятное удивление.

— Прохладный денек... Да, пожалуй...— Он сморкался в ярко-красный батистовый платок.

Наблюдая, как он пьет портвейн, Уинтон говорил:

— Мы ведь можем рассчитывать на вас в любое время, не правда ли?

— Не беспокойтесь, дорогой сэр! Маленькая мисс Джип — мой старый друг. К ее услугам днем и ночью. Не беспокойтесь.

Уинтон чувствовал облегчение, но этого хватало ровно на двадцать минут — пока вдали не замолкнет скрип колес и не рассеется сложный аромат, оставленный доктором.

По просьбе Джип от Уинтона скрыли, что начались боли. Когда утихли первые схватки и она задремала, отец случайно поднялся к ней в старую детскую. Сиделка — приятная на вид женщина — встретила его в гостиной. Привыкшая к «суетливости и назойливости» мужчин в таких случаях, она уже готовилась прочесть ему нотацию. Но, испугавшись его взгляда, только прошептала:

— Началось. Но вы не волнуйтесь, она сейчас еще не

страдает. Мы скоро пошлем за врачом. Она у вас храбрая.— И с каким-то необычным для нее уважением и сочувствием сиделка повторила: — Не беспокойтесь, сэр.

— Если она захочет увидеть меня, я все время буду в кабинете. Сделайте для нее все, что можете, сестра.

Сиделка вернулась к Джип в задумчивости. Та сказала:

— Это был отец? Я не хотела, чтобы он знал.

— Все отлично, моя дорогая.

— Как вы думаете, скоро ли опять начнутся боли, сестра? Мне хотелось бы повидать его.

Сиделка погладила ее по волосам.

— Скоро все это кончится, и вам будет хорошо. Мужчины ведь всегда такие беспокойные.

Джип взглянула на нее и прошептала:

— Знаете, моя мать умерла, когда рожала меня.

Сиделка оправляла постель.

— Это ничего; то есть, я хочу сказать... это не имеет никакого отношения...

И видя, что Джип улыбается, она подумала: «Ну и дура же я!»

— Если случится так, что я не выдержу, я хочу, чтобы меня сожгли. Вы запомните это, сестра? Я не могу сейчас сказать об этом отцу: это расстроило бы его.

Сиделка подумала: «В таких случаях, кажется, требуется завещание; но лучше будет, если я обещаю ей это. Болезненное воображение, хотя она совсем не болезненная особа». И она сказала:

— Очень хорошо, дорогая, только ничего подобного с вами не случится.

— Мне очень стыдно, что все мне уделяют столько внимания и люди из-за меня несчастны.

Сиделка, все еще занятая взбиванием подушек, пробормотала:

— Вы и наполовину не так беспокойны и капризны, как многие другие. У вас все идет просто великолепно.— А сама подумала: «Странно! Она ни разу не заикнулась о своем муже. Не люблю, когда подобные истории происходят с такими чувствительными особами. Она просто трогательна».

Джип пробормотала:

— Я хотела бы повидать отца. Пожалуйста, поскорее!

Сиделка, быстро взглянув на нее, вышла.

Джип стиснула руки под одеялом. Ноябрь! Желуди и опавшие листья. Милый влажный запах земли! Желуди повсюду, по всей лужайке. Когда-то она брала на поводок старую гончую собаку и бегала с ней по лужайке, покрытой желудями и опавшим листом, а ветер все сдувал листья с деревьев — тогда она была в коричневом бархатном платье! Кто это назвал ее тогда «мудрой маленькой совой»?.. Сердце ее упало: снова начинались боли. Уинтон спросил, стоя в дверях:

— Да, моя крошка?

— Я только хотела посмотреть на тебя. У меня все хорошо.

Лоб ее был весь в поту.

Когда он шел по коридору, ее улыбка провожала его, словно рея в воздухе; но на лице Джип улыбка уже погасла. В кабинете ему снова стало тревожно. Почему не может он принять все эти страдания на себя?

Уинтон шагал назад и вперед по ковру, пока наконец не послышался знакомый скрип колес. Он вышел в прихожую и пристально посмотрел в лицо доктору, совсем забыв, что старик понятия не имеет об особой причине его смертельной боязни за дочь. Потом он вернулся назад в кабинет. Злой юго-западный ветер швырял в оконные стекла мокрые листья. Вот здесь, у окна, он стоял, всматриваясь в темноту, когда Фьорсен приехал просить руки Джип год тому назад. Почему он не выпроводил тогда этого парня, почему не увез ее? В Индию, в Японию — куда угодно! Она не любит этого скрипача, никогда не любила по-настоящему. Чудовищно! Горечь переполнила сердце Уинтона, и он застонал. Потом он подошел к книжному шкафу; там было несколько книг, которые он всегда читал; он достал одну — «Жизнь генерала Ли». Поставив книгу на место, он взял другую — роман Уйат-Мелвиля «Бездельник». Печальная книга — печальный конец! Книга выпала из его рук и глухо стукнулась об пол. С какой-то ледяной ясностью он вдруг увидел свою жизнь, какой она может стать, если он второй раз понесет такую потерю. Она не должна умереть!

Если она умрет, тогда для него остается только... В древние времена мужчину хоронили вместе с коном и собакой — знак уважения к нему, как охотнику. Все-таки в этом что-то было. Мысль эта почему-то успокоила его; он сел в кресло и долгое время смотрел на огонь в каком-то оцепенении. Потом его лихорадочные страхи возобновились. Какого черта они не приходят и ничего ему не говорят? Что угодно, только не эта тишина, не это смертельное ожидание! Кажется, хлопнула входная дверь? Стук колес? В дверях стоял Марки, держа в руке какие-то карточки.

— Леди Саммерхэй, мистер Брайан Саммерхэй. Я сказал «нет дома», сэр.

Уинтон кивнул.

— Вы не завтракали, сэр.

— Который час?

— Четыре.

— Принесите мне меховое пальто и портвейн. И разожгите камин. Узнайте, есть ли какие-нибудь новости.

Марки кивнул.

Нелепо сидеть в меховом пальто перед огнем, да еще не в холодный день!.. Говорят, что и после смерти жизнь продолжается. Он ни разу не почувствовал, что она продолжает жить. Она жила в Джип. И теперь, если Джип... Он встал и задернул занавеси.

В семь часов доктор спустился вниз. Уинтон все еще сидел перед камином, неподвижный, закутавшись в пальто. Чуть приподнявшись, он оглянулся.

Лицо доктора было в морщинках, веки на выпуклых глазах полузакрыты; это должно было означать улыбку.

— Великолепно,— сказал он.—Великолепно—девочка! Никаких осложнений.

У Уинтона задрожали губы. Он протянул было руку. Но, подчиняясь привычке целой жизни, ничем не выдал своих чувств и остался сидеть на месте.

— Стакан портвейна, доктор?

Подняв стакан, доктор задумчиво рассуждал, разглядывая вино:

— Гм! Это пятьдесят второй. Дайте мне лучше шестьдесят восьмого, тот покрепче.

Спустя некоторое время Уинтон поднялся вверх.

Перед дверью его снова охватил леденящий страх. «Очень удачно — пациент умер от упадка сил!» Слабый крик ребенка не успокоил его. Он был равнодушен к этому новому существу. Вдруг рядом с ним очутилась Бетти.

— В чем дело, женщина? Не смейте!

Всклипывая, она лепетала:

— Она выглядит так прелестно. О господи! О милая!

Резко оттолкнув ее в сторону, Уинтон заглянул в раскрытую дверь. Джип лежала тихая и белая; ее темные глаза были прикованы к ребенку. На лице ее было выражение удивления. Она не заметила Уинтона, а тот стоял и молча глядел на нее. Сиделка что-то делала за ширмами. Впервые в своей жизни он видел мать с только что рожденным ребенком. Ее лицо — какое-то нездешнее — потрясло его. Она ведь, кажется, никогда не любила детей; говорила, что не хочет ребенка. Он вошел в комнату. Она сделала слабое движение рукой, показав на ребенка, глаза ее смеялись. Уинтон посмотрел на это запеленатое, все в красных пятнах крохотное создание; потом, наклонившись, взял руку Джип, поцеловал и на цыпочках вышел.

За обедом он пил шампанское и был благодушно настроен. Следя за дымком своей сигары, он подумал: «Нужно послать телеграмму этому скрипачу. В конце концов он тоже не чужой, может быть, страдает, как он сам страдал всего два часа назад. Держать его в неведении было бы...» И он написал: «Благополучно. Дочь. Уинтон». Он отдал телеграмму и приказал, чтобы конюх отвез ее сегодня же вечером. В десять часов он осторожно поднялся наверх. Джип спала.

ГЛАВА XI

Назавтра в полдень, возвращаясь с первой после долгого перерыва прогулки верхом, Уинтон встретил возле дома отъезжающую на станцию линейку, у которой, как и у всякого пустого экипажа, был какой-то несерьезный вид.

В передней висели меховое пальто и широкополая шляпа. Это сразу объяснило ему, что произошло.

— Мистер Фьорсен, сэр; наверху у миссис Фьорсен.

— Он приехал с вещами?

— Чемодан, сэр.

— Тогда приготовьте ему комнату.

Обедать tête-à-tête¹ с этим субъектом!

Для Джип это было, пожалуй, самое странное утро в ее жизни. Губы сосущего ребенка вызывали удивительное чувство: какой-то размягченности, бесконечной теплоты, желания слиться в одно с этим маленьким созданием. И в то же время ни чувство юмора, ни чувство красоты не изменяли ей. Это было странное маленькое существо, с пучком черных волос, куда менее приятное, чем котенок. Но крохотные сморщенные розовые пальчики с почти неразличимыми ноготками, микроскопические кривые ножки, великолепные черные глаза, когда девочка открывала их, неподражаемое спокойствие, когда она спала, удивительная сила, с какой она сосала,— все это было чудом! Джип была благодарна этому созданию, которое не только не убило ее, но даже не причинило ей слишком больших страданий; благодарна за то, что ей, Джип, удалось выполнить роль матери в совершенстве, как сказала сиделка,— и это сделала она, так мало верившая в себя! Инстинктивно она решила, что это ее ребенок, не его; что девочка будет «вся в нее», как это говорят. Почему у нее было такое впечатление, она не могла бы объяснить — может быть, тут сказывалось спокойствие крошки, ее темные глаза? С часу до трех они спали вместе, крепко и единодушно. Сейчас, проснувшись, Джип увидела сиделку, стоявшую у ее кровати с таким видом, будто она хотела что-то сказать.

— Кто-то приехал к вам, моя дорогая.

«Он! — подумала Джип. — Не знаю... Не знаю...»

Видимо, лицо выдавало ее мысли. Сиделка вдруг сказала:

— Вы готовы к этому?

— Да. Но только через пять минут, пожалуйста.

Все это время она была настолько далека от него, что ей нужно было подготовиться, прежде чем его увидеть... Надо было разобраться в собственных чувствах, понять,

¹ С глазу на глаз (франц.).

что эта крошка, лежащая рядом, принадлежит и ему и ей. Она и его дитя тоже — вот это маленькое беспомощное создание. Нет, она — не его! Он не хотел ее, и теперь, когда она появилась после таких страданий, она — ее, не его! И никогда не будет принадлежать ему. Но тут пришла прежняя, обвиняющая мысль: «Я вышла за него замуж — я сама его выбрала. От этого не уйти!» Она почувствовала, что вот-вот крикнет сиделке: «Не пускайте его; я не хочу его видеть!» Но она подавила в себе это желание и сказала:

— Ну вот, я готова.

Вначале она заметила его костюм — темно-серый в светлую полоску, она сама выбирала эту материю; галстук был повязан бантом, а не узлом, волосы казались светлее обычного, как и всегда после стрижки; на щеках снова отросли бакенбарды. Почти с волнением она увидела, что лицо у него задрожало. Он на цыпочках быстро подошел к кровати, поспешно опустился на колени и, взяв ее руку, повернул ладонью вверх и прижался к ней лицом. Кончики его усов щекотали ей пальцы, нос был приплюснут к ее ладони, и он продолжал что-то бормотать, не отрывая лица от ее руки. Она чувствовала влажное тепло его губ. Джип знала, что он прячет сейчас свое раскаяние, все непотребства, которые он, возможно, совершил за это время, когда ее не было с ним, прячет страх, который он чувствовал, и волнение, которое испытывает при виде ее, такой тихой и бледной. Через минуту он поднимет голову и лицо у него будет совершенно другим. «Почему я не люблю его? — подумала она. — Ведь есть же в нем что-то достойное любви. Почему я не могу?»

Взгляд его остановился на ребенке, он ухмыльнулся.
— О моя Джип! Какая она смешная! О, о, о!

На его лице появилась гримаса комического отвращения. Джип ребенок тоже казался смешным — маленькое красноватое, сморщенное личико, двадцать семь черных волосков, слюнки у едва заметного ротика; но она видела в нем и чудо; и тут в ней снова поднялось ее возмущение им — за его неуважение ко всем. Нет, она не смешная, ее девочка, и не уродливая! И даже если это так, он не смеет говорить ей об этом!

Фьорсен пальцем прикоснулся к щеке ребенка.

— Она настоящая, да, да! Мадемуазель Фьорсен. Тц, тц!

Ребенок зашевелился. И Джип подумала: «Если бы я любила его, я не сердилась бы за то, что он смеется над моим ребенком. Тогда все было бы иначе».

— Не буди ее,— прошептала она, заметив на себе его взгляд. Она знала, что его интерес к ребенку уже угас и что теперь он думает: «Долго ли еще ждать, когда я смогу обнять тебя снова?» И вдруг она почувствовала такой приступ слабости, какого у нее не было еще ни разу. Когда она снова открыла глаза, сиделка давала ей что-то нюхать, бормоча про себя: «Ну и дура же я!» Фьорсена уже не было.

Увидев, что Джип открыла глаза, сиделка убрала на-шатый спирт, переложила ребенка, сказала: «Ну, теперь спать!» — и ушла за ширму. Как и все очень здоровые люди, она иногда вымещала на других недовольство собой.

Но Джип не спала. Она глядела то на спящего ребенка, то на узор обоев, машинально стараясь отыскать птицу среди коричневых и зеленых листьев — на каждой полосе должна быть одна птица через каждый квадрат. Одна птица среди четырех других. Птица с зелеными и желтыми перьями и красным клювом...

Когда сиделка выставила Фьорсена за дверь, заверив, что это был «только маленький обморок», он спустился вниз в полном унынии. Он терпеть не мог этот темный дом, в котором он всегда будет нежеланным гостем. Ему ничего не нужно здесь, кроме Джип, а у Джип случился обморок, едва он прикоснулся к ней. Он открыл какую-то дверь. Рояль! Гостиная. Уф! Нигде не горит камин. Что за бедность! Он подошел к двери и остановился, прислушиваясь. Ни звука. Серый свет в не приветливой комнате; в прихожей уже почти темно. Какая жизнь у этих англичан — хуже, чем зимой в его старом деревенском доме в Швеции, где во всяком случае поддерживают в каминах хороший огонь. И вдруг он возмутился. Ожидать здесь встречи с ее отцом! Провести здесь ночь! Джип, которая лежит там рядом с ребенком у груди, в этом враждебном доме, — не его Джип. Стараясь ступать неслышно, он вышел в переднюю. Его пальто и шляпа висели там. Он надел их. А чемодан?

Здесь чемодана не было. Все равно, они пришлют его позже. Он хотел написать ей — сказать, что ее обморок огорчил его, что он опасается нового обморока и не может оставаться в этом доме — так близко от нее и в то же время так далеко. Она поймет! И вдруг неожиданная тоска сжала его сердце. Джип! Она нужна ему. Смотреть на нее, целовать, чувствовать, что она снова принадлежит ему! Открыв наружную дверь, он переступил порог и вышел с ощущением тоски и тяжести в душе. Весь путь до станции, по дорогам, уже окутанным темнотой, и в железнодорожном вагоне он продолжал чувствовать себя несчастным. Только на ярко освещенной улице, направляясь в такси к Росеку, он немного оживился. За обедом и позднее он уже почти забыл обо всем; к ночи тяжелое настроение вернулось снова, но в конце концов ночь и сон окутали его и принесли ему облегчение.

ГЛАВА XII

Джип поправлялась быстро. Это радовало Уинтона. Недаром сиделка говорила: «Она великолепно сложена, это очень важно в таких случаях».

Перед рождеством Джип уже выходила гулять. А в сочельник старый доктор, как бы в виде подарка, объявил, что она, если пожелает, может возвращаться домой. После полудня она почувствовала себя хуже, а следующий день провела снова наверху, в постели. Собственно, ничего дурного не было, кроме какой-то ужасной вялости — словно сознание того, что возвращение домой зависит только от ее решения, лишало ее сил. И поскольку никто не знал о ее переживаниях, все, кроме Уинтона, были озадачены. Ей вскоре запретили кормить ребенка грудью.

Только в середине января она сказала Уинтону:

— Мне надо ехать домой, отец.

Слово «домой» задело его, но он ответил только:

— Очень хорошо, Джип. Когда?

— В доме все готово. Я думаю, лучше всего завтра. Он еще у Росека. Я не стану его извещать. Два или три дня пробуду одна, чтобы поудобнее устроить ребенка.

— Отлично. Я отвезу тебя.

Он не пытался выяснять ее чувства к Фьорсену. Он хорошо знал, каковы они.

Они поехали на следующий день и добрались до Лондона в половине третьего. Устройство Бетти и ребенка в свободной комнате, которая отныне становилась детской, потребовало от Джип всей ее энергии. Уже начинало смеркаться, когда, надев пальто, она взяла ключ от студии и пошла через сад; после десятидневного отсутствия ей хотелось заглянуть туда... Какой сад — совсем зимний! Как все не похоже на тот тихий, теплый лунный вечер, когда Дафна Уинг, танцуя, появилась из густой тени деревьев! Голые ветви отчетливо рисовались на фоне серого, темнеющего неба — ни птичьего щебета, ни цветка. Она обернулась и посмотрела в сторону дома. Он казался холодным и белым; но там светились огни — в ее комнате, в детской; кто-то опускал шторы. Листья на деревьях уже совсем облетели, были видны дома вдоль улицы — каждый отличался от другого формой и цветом, как все лондонские здания. Было холодно, подмораживало; она почти бежала по дорожке. Над окном студии висели четыре небольших ледяных сосульки, она обломала одну. В комнате как будто горел огонь, она видела отблески его через неплотно задернутые шторы. Умница Эллен: она протапливает там!

И вдруг Джип замерла на месте. Через щель между шторами она увидела две фигуры на диване. У нее перед глазами все пошло кругом. С каким-то мертвящим холодом в душе она заставила себя заглянуть в окно. Он — и Дафна Уинг! Он обнимал девушку за шею. Повернувшись к нему лицом, полуоткрыв губы, она смотрела на него, точно загипнотизированная, обожающим взглядом.

Джип подняла руку. В какой-то миг она уже готова была постучать в окно. Но, ощутив тошноту, она опустила руку и бросилась бежать.

Никогда она не покажет ни ему, ни этой девчонке, что они могут заставить ее страдать. Пусть сидят спокойно в своем гнездышке! Никаких сцен не будет! По обледеневшей лужайке она добежала до дома, прошла через неосвещенную гостиную, поднялась наверх, запер-

ла дверь и села перед камином. Гордость бушевала в ней, бессознательно она сжала зубами кончик носового платка. Жар от камина опалял ей глаза, но она не подняла руки, чтобы заслонить их.

Подумать только — что было бы, если бы она любила его! Платок упал на пол — она с удивлением посмотрела на него: капельки крови. Отодвинувшись от огня, она продолжала сидеть с усмешкой на губах. Как глядела на него эта девушка, как преданная собачонка... Девушка, которая так ластилась к ней! Она нашла теперь «выдающегося мужчину»!

Джип вскочила и посмотрела на себя в зеркало. В ее собственном доме! Почему бы не здесь — в этой комнате? Почему не у нее на глазах? Не прошло и года, как поженились! Да, это почти забавно — почти забавно! И к ней вдруг пришла первая успокаивающая мысль: «Я свободна».

Но все-таки этого было мало для гордой души, раненной так жестоко! Она снова подвинулась ближе к огню. Почему она не постучала в окно? Увидеть бы, как лицо этой девушки становится пепельно-серым от испуга! Увидеть его, пойманного с поличным, в комнате, которую она украшала для него, где играла для него столько часов! Давно ли они пользуются этой комнатой для своих свиданий — тайно входят через дверь из переулочка! Может быть, это началось еще до того, как она уехала рожать!

И тут поднялась в ней борьба между материнским инстинктом и оскорбленной гордостью — молчаливая отчаянная борьба. Будет ли она и сейчас чувствовать ребенка своим? Или крошка уйдет из ее сердца, станет для нее чужой, а может быть, даже ненавистой?

Джип еще ближе подвинулась к огню и уселась поуютнее. Но ей было холодно, словно она захворала.

Она подумала: «Если не сказать прислуге, что я здесь, они могут выйти в сад искать меня и увидят то, что увидела я! И потом закрыла ли я балконную дверь в гостиную, когда возвращалась?» Она позвонила. Снизу поднялась горничная.

— Пожалуйста, закройте балконную дверь в гостиную, Эллен. И скажите Бетти: боюсь, я простудилась

в дороге, я сейчас лягу. Попросите ее заняться ребенком.

Лицо горничной выражало озабоченность, даже участие. Но не было того бегающего взгляда, который свидетельствовал бы о том, что она что-то знает.

— Хорошо, мэм, я принесу вам бутылку с горячей водой, мэм. Не желаете ли принять ванну и выпить чашку горячего чая?

Джип кивнула. Ей было все равно! А когда девушка ушла, она подумала: «Чашку горячего чая. Почувствую ли я, что он горячий?»

Девушка вернулась с чаем. Она была предана Джип, обожала ее и всегда становилась на ее сторону, когда дело касалось порядка в доме, в котором не хватало слаженности. Хозяйка слишком хороша для него — иностранец, да еще с такими привычками! А уж манеры! Да у него нет никаких манер! Ничего хорошего из этого не получится. Ничего хорошего, если хотят знать ее мнение!

— Я пустила воду в ванну, мэм. Хотите, чтобы я положила немного горчицы?

Спустившись вниз за горчицей, она сказала кухарке:

— С нашей хозяйкой творится такое, что прямо жалость берет.

Кухарка, перебирая клавиши гармоники, которой она очень увлекалась, ответила:

— Хозяйка скрывает свои чувства от всех. Слава богу, что она не говорит таким тягучим голосом, как ее старая тетка, — той мне всегда хочется сказать: «Пошевеливайся, милая старушка, не такое уж ты сокровище».

И, растягивая гармонику во всю длину, она потихоньку стала репетировать «Дом мой, милый дом!».

К Джип, лежавшей в теплой ванне, эти приглушенные звуки доносились, как далекое гудение больших мух. Горячая вода, острый запах горчицы и стоны гармоники понемногу успокаивали, усыпляли ее. Когда-нибудь полюбит и она!.. Как странно, что она подумала об этом сейчас! Да, любовь придет и к ней! Перед ней вставали смутные видения — зачарованный взгляд Дафны Уинг, дрожь, пробегающая по ее руке... Вдруг жалость к себе поднялась в ее сердце — в этом была и горечь и ра-

дось. Но на что она может обижаться — она, которая не любит? Звуки, похожие на гудение стаи мух, становились глубже, трепетнее. Кухарка в экстазе играла все громче, особенно последнюю фразу:

Пусть скромн мой дом,
Нет места милее!

ГЛАВА XIII

Эту ночь Джип проспала так, словно ничего не случилось и ей ничего не надо решать. Но проснувшись она несчастной. Из гордости она сохранит равнодушный вид и будет жить равнодушной жизнью. Но борьба между материнским инстинктом и возмущением все продолжалась. Она боялась теперь увидеть ребенка.

Встав около полудня, Джип осторожно спустилась вниз. Она себе даже не представляла, какой ожесточенной была в ней борьба вокруг его ребенка. По-настоящему она это почувствовала, только проходя мимо двери детской, где спала девочка. Если бы ей не предписали прекратить кормление, возможно, и не было бы этой внутренней борьбы. У нее сжималось сердце, но какой-то бес заставил ее пройти мимо двери. Внизу она тихо бродила взад и вперед, вытирала пыль с фарфора, наводила порядок в книжном шкафу: после уборки в доме горничная так постаралась расставить книги, что первые тома Диккенса и Теккерея и других авторов оказались вместе на верхней полке, а вторые тома — на нижней. Но все время Джип думала: «Что мне до того, как все будет выглядеть в доме? Это не мой дом. Он никогда не будет моим!».

За завтраком она выпила немного крепкого бульона, продолжая разыгрывать недомогание. Потом села писать письмо. Надо на что-то решиться! Но ничего не приходило в голову — ни одного слова, она не знала даже, как обратиться к нему. Горничная принесла записку от тетушки Розамунды и привела щенков, они принялись яростно драться за право овладеть вниманием хозяйки. Она опустилась на колени, чтобы разнять их, они же самозабвенно лизали ей щеки. И эта ласка словно ослабила железное кольцо, сжимавшее ей сердце. Нахлыну-

ла страшная тоска по ребенку. Сопровождаемая щенками, она поднялась вверх.

Вечером Джип написада открытку:

«Мы вернулись».

Он получит открытку только когда проснется, — часов в одиннадцать; инстинктивно желая продлить передышку, она почти весь следующий день занималась покупками, стараясь ни о чем не думать. Вернувшись к вечернему чаю, она сразу поднялась к ребенку. Фьорсен был уже дома, он ушел со скрипкой в студию.

Джип потребовалось все ее самообладание. Скоро явится та девушка, она будет пробираться по темному, узкому переулку; может быть, в эту самую минуту ее пальцы барабнят в дверь; он открывает ей и бормочет: «Нет, она вернулась!» О, как та отпрянет от него! Быстрый шепот — уговариваются о другом месте свиданий! Губы к губам, и этот обожающий взгляд девушки; и вот она бежит прочь от захлопнутой двери, в темноту, разочарованная! А он сидит на роскошном диване и, грызя усы, смотрит своими кошачьими глазами на огонь. А потом, может быть, из его скрипки возникнут каскады звуков, в которых слезы, и ветер, и все, что когда-то околдовало ее!

— Приоткрой, пожалуйста, окно, Бетти, милая, очень душно.

Музыка... Нарастает, затихает! Почему она так трогает даже теперь, когда звучит для нее как издевательство? И Джип подумала: «Он, наверное, ждет, что я снова приду туда играть для него. Но я не приду, никогда!»

Она пошла в спальню, наскоро переоделась и спустилась вниз. Ее внимание привлекла маленькая фарфоровая пастушка на каминной полке. Она купила ее более трех лет назад, когда впервые приехала в Лондон; жизнь казалась ей тогда сплошным бесконечным котильоном, во главе которого танцевала она сама. Теперь пастушка стала равнодушным, хотя и изящным символом совсем иной жизни, бесцветной жизни без глубины и теней — несчастливой жизни.

Ей не пришлось долго ждать. Он скоро постучал в балконную дверь гостиной. Почему у людей, заглядывающих в окна из темноты, лица всегда кажутся голыми, ищущими, словно выпрашивающими то, что

у вас есть и чего у них нет? Отодвигая задвижку, она думала: «Что я ему скажу?» Его пылкий взгляд, голос, руки — все казалось ей смешным; и особенно его разочарованный вид, когда она сказала:

— Осторожнее, я еще нездорова. Хорошо провел время у графа Росека? — И, помимо ее воли, вырвались слова: — Боюсь, что ты соскучился по студии!

У него забежали глаза; он принялся шагать назад и вперед по комнате.

— Соскучился! Соскучился по всему! Я был очень несчастен, Джип! Ты даже не представляешь, как я был несчастен. Да, несчастен, несчастен! — С каждым повторением этого слова голос его становился веселее. Опустившись на колени, он протянул длинные руки и обнял ее. — Ах, моя Джип! Я теперь буду совсем другим человеком!

Джип продолжала улыбаться. Чем еще могла она ответить на эти фальшивые излияния? Воспользовавшись тем, что он разжал руки, она поднялась и сказала:

— Ты знаешь, что в доме ребенок?

— Ах, ребенок? Я и забыл. Пойдем посмотрим на него.

— Иди один, — ответила Джип.

Наверное, он сейчас подумал: «За это она будет более нежна со мной». Неожиданно он повернулся и вышел.

Она постояла немного с закрытыми глазами — ей снова виделись студия, диван, дрожащая рука девушки. Она подбежала к роялю и начала играть полонез.

В этот вечер они обедали не дома, потом пошли в театр на «Сказки Гофмана». Все это позволяло еще немного оттянуть то, что она собиралась сказать. Когда они ехали в темной машине домой, она отодвинулась в угол под тем предлогом, что боится измять платье. Дважды она едва не закричала: «Я не Дафна Уинг!» Но каждый раз гордость глушила эти слова. Но какую другую причину может она придумать, чтобы закрыть перед ним дверь своей комнаты?

Дома она увидела в зеркало, что он стоит позади нее — он прокрался в спальню неслышно, как кошка. Кровь бросилась ей в лицо, и она сказала:

— Нет, Густав! Если тебе нужна подруга, ступай в студию.

Он отпрянул в сторону и, прислонившись к спинке кровати, уставился на нее; а Джип перед зеркалом продолжала спокойно вынимать шпильки из волос. Она видела, как у него дергаются, словно от боли, голова и руки. Потом, к ее удивлению, он вышел. И снова смутное раскаяние примешалось к охватившему ее чувству свободы. Она долго лежала без сна, глядя, как отблески огня то вспыхивают, то гаснут на потолке. Мелодии «Сказок Гофмана» проносились в ее голове, обрывки мыслей сплетались в возбужденном мозгу. Она наконец уснула. Ей приснилось, что она кормит голубей и одна из голубок — Дафна Уинг. Она вздрогнула и неожиданно проснулась. В свете камина она увидела его, он сидел согнувшись в ногах кровати. Он совсем такой, как в их первую свадебную ночь: то же самое голодное вожделение на лице, те же протянутые руки. Не дав ей сказать ни слова, он заговорил:

— О Джип! Ты не понимаешь! Все это — ничто... Только ты мне нужна! Я глупец. Я не умею владеть собою. Подумай, ведь тебя столько времени не было со мной!

Джип сказала твердым голосом:

— Я не хотела ребенка.

— Да. Но он у тебя теперь есть, и ты счастлива! Не будь беспощадной, моя Джип! Тебе больше идет быть милосердной. Эта девушка... все это прошло... Я клянусь! Я обещаю...

Джип подумала: «Как он посмел прийти и хныкать здесь вот так? У него нет нисколько достоинства — ни капли!»

— Как ты можешь обещать? Ведь ты заставил девушку полюбить тебя. Я видела ее лицо.

— Ты... ты видела ее?!

— Да.

— Она... дурочка! Она интересуется меня меньше, чем один твой мизинец. Какое это вообще имеет значение, если я ее не люблю? Душа, а не тело, вот где сохраняется верность...

— Нет, имеет значение! Особенно, если другой от этого страдает.

— Ты от этого страдаешь, моя Джип?

В голосе его прозвучала надежда. Но она ответила с удивлением:

— Я? Нет — она.

— Она? Но это ведь жизнь, опыт. Ей это не причинит никакого вреда.

— Еще бы! Никому не причинит вреда то, что доставляет тебе удовольствие!

После этой горькой отповеди он замолчал и долгое время только глубоко вздыхал. «Душа, а не тело хранит верность!» Но в конце концов, был ли он меньше верен ей, чем она ему, — не любившая, никогда не любившая его? Какое право у нее говорить все это, у нее, вышедшей за него замуж из-за тщеславия или из-за... чего?

Вдруг он воскликнул:

— Джип! Прости!

Она вздохнула и отвернулась.

Он склонился над ней. Она слышала, как он прерывисто дышит и всхлипывает; и вместе с вялостью и безнадежностью, овладевшими ею, она опять почувствовала к нему жалость. Не все ли равно? И она сказала разбитым голосом:

— Хорошо, я прощаю!

ГЛАВА XIV

Джип не верила, что Дафна Уинг для Фьорсена — дело прошлое. Ее скептицизм подсказывал ей: то, что Фьорсен обещает сделать, весьма отличается от того, как он поступит на деле, если только представится случай; тем более, что этот случай кто-то заботливо подготавливает для него.

После ее возвращения домой снова стал заходить Росек. Он, видимо, боялся повторить свою ошибку. Но это не обманывало Джип. Хотя самообладание Росека было полным контрастом безволию Фьорсена, она чувствовала, что поляк не прекратит своих домогательств; она понимала также, что он всячески будет стараться, чтобы Дафна Уинг получила возможность встречаться с ее мужем. Но гордость не позволяла ей упоминать о девуш-

ке. К тому же какой смысл говорить о ней? И Фьорсен и Росек — оба лгали бы ей; Росек потому, что понимал очевидную ошибочность своего тогдашнего поведения; а Фьорсен потому, что не в его характере было говорить правду, если только это могло доставить ему страдание.

Решив ждать и терпеть, она жила минутой, никогда не думая о будущем, не думая вообще ни о чем. Она вся отдалась ребенку. Наблюдая за девочкой, ощущая так близко ее тепло, она наконец достигла того умиротворенного состояния, какое бывает у матерей. Но ребенок много спал а кроме того, на него предъявляла права и Бетти. Эти часы были самыми тяжелыми. Взявшись за книгу, Джип тут же погружалась в размышления. С того вечера, когда она сделала свое открытие, она ни разу не перешагнула порога студии. Тетушка Розамунда бесплодно старалась вовлечь ее в жизнь общества; отец, хотя и наезжал, но гостил недолго: он боялся встретиться с Фьорсеном. Живя в таком уединении, она постепенно стала больше сама заниматься музыкой; и однажды утром, раскопав где-то свои детские музыкальные сочинения, она приняла решение. Днем она вышла из дома и зашагала по февральским морозным улицам.

Мосье Эдуард Армо жил на первом этаже дома на Мерилбон-Род. Он принимал учеников в большой комнате, окна которой выходили в запущенный садик. Валлонец по рождению, человек необычайно жизнелюбивый, он никак не мог примириться со старостью и сохранял в сердце какой-то заветный уголок — поклонение женщине. У него было страстное влечение ко всему новому, даже к новому в музыке.

Когда Джип появилась в этой хорошо памятной ей комнате, он сидел, запустив желтые пальцы в жесткие седые волосы. Он сурово посмотрел на Джип.

— Ага! — сказал он. — Мой маленький друг! Она вернулась! — И, подойдя к каминной доске, он вынул из вазы букетик пармских фиалок, принесенных кем-то из учеников, и сунул ей под самый нос. — Берите, берите! Ну, много ли вы забыли? Пойдемте-ка!

И, подхватив ее под локоть, он почти потащил ее к роялю.

— Снимайте шубу, садитесь!

Пока Джип снимала мантию, он глядел на нее выпуклыми карими глазами из-под нависших бровей. На ней была короткая темно-синяя блузка, вышитая павлинами и розами, она выглядела теплой и мягкой. Фьорсен, когда она надевала эту блузку, называл ее «колибри». Мосье Армо пристально глядел на нее, и в глазах его светилась тоска старого человека, который любит красоту, но знает, что время любоваться ею для него уже прошло.

— Сыграйте мне «Карнавал»,— сказал он.— Вот мы сейчас увидим.

Джип начала играть. Он кивнул головой, постукивал пальцами по зубам и сверкнул белками глаз, что означало: «Нет, это надо играть по-другому!» Потом он вздохнул. Когда Джип кончила, он сел рядом, взял ее руку и, разглядывая пальцы, начал:

— Да, да! Испортили все, аккомпанируя этому скрипачу! *Tout sympatique*¹! Хребет, хребет, вот что нужно выпрямить! Четыре часа в день, шесть недель, и дело у нас снова пойдет.

— У меня ребенок, мосье Армо.

— Что? Это трагедия! — Джип в ответ покачала головой.— Вы любите его? Ребенок!! Он пищит?

— Очень мало.

— *Mon Dieu!* Да, вы все так же красивы. Это много значит. Но что вы можете делать, если ребенок? А нельзя немножко освободиться от него? Тут талант в опасности. Скрипач... а теперь еще ребенок! *C'est beaucoup! C'est trop!*².

Джип улыбнулась. И мосье Армо, за суровой внешностью которого скрывалась добрая душа, погладил ее руку.

— Вы повзрослели, мой маленький друг!— серьезно сказал он.— Не тревожьтесь, ничто еще не потеряно. Но — ребенок!.. Ладно! Мужайтесь! Мы еще повоюем!

Джип отвернулась, чтобы он не увидел, как дрожат

¹ Очень мило! (франц.)

² Бог мой!.. Это чересчур! Это уж слишком! (франц.).

ее губы. Запах греческого табака, которым пропитаны здесь все вещи, старые книги и ноты, как и сам хозяин; старые коричневые занавеси, запущенный маленький сад с кошачьими тропками и чахлым карликовым деревцом; сам мосье Армо, свирепо вращающий карими глазами,— все это возвращало ее к тем счастливым дням, когда она приходила сюда каждую неделю, веселая и щебечущая и в то же время важная, довольная его откровенным восхищением ею; это было какое-то ликующее чувство, оно делало счастливыми и его и ее: ведь когда-нибудь она будет играть прекрасно!..

Снова загудел голос мосье Армо. Он говорил с грубоватой нежностью:

— Ладно, ладно! Единственное, чего нельзя излечить,— это старость. Вы хорошо сделали, что пришли, дитя мое. Если у вас не все идет так, как должно, вы скоро утешитесь. Музыка!.. В музыке вы можете найти забвение. В конце концов, мой маленький друг, никто не отнимет у нас нашей мечты,— ни муж, ни жена, никто не может сделать этого. Будет и на нашей улице праздник!

Люди, которые преданно служат искусству, излучают какое-то обаяние. Она ушла в этот день от мосье Армо, захваченная его страстью к музыке. Это будет только справедливо, если она станет лечить свою жизнь дозами того, что испортило ее,— ведь на этом основана и гомеопатия. Теперь она отдавала музыке каждый свободный час. К мосье Армо она ходила два раза в неделю, хотя ее тревожил этот лишний расход: их материальное положение становилось все более затруднительным. Дома она настойчиво упражнялась и так же упорно работала над композицией. Уроки она брала всю весну и лето, написала за это время несколько песен, но еще больше оставалось у нее сделанного только вчерне. Мосье Армо был снисходителен, видимо, понимая, что суровая критика может убить ее порыв, как мороз убивает цветы. К тому же в ее сочинениях и в самом деле было что-то свежее и самобытное.

— Что думает о них ваш муж? — спросил он однажды.

— Я их ему не показываю.

Да, она никогда ничего не показывала ему: просто

боялась, зная, как он высмеивает все, что раздражает его, а даже малейшая насмешка подорвала бы ее веру в себя, и без того уже похожую на чахлое растение. Единственным человеком, которому она, кроме учителя, показывала свои композиции, был — как ни странно — Росек. Однажды, переписав какое-то ее сочинение, он удивился. Теплота, с которой он похвалил этот маленький «каприз», была, видимо, искренней; она была благодарна ему и играла другие свои вещи, а однажды песню, которую сочинила для него. С этого дня она начала питать к нему какое-то дружеское чувство и даже немного жалеть этого бледного, скрытного, загадочного человека; она наблюдала за ним то в гостиной, то в саду и видела: он все еще не потерял надежды на то, что его желание сбудется. Правда, он никогда не навязывал ей своих чувств, хотя она знала, что стоит ей подать малейший повод, и все началось бы сначала. Выражение его лица и его неистощимое терпение трогали ее. Она не могла сильно ненавидеть человека, который так обожал ее. Она советовалась с ним о долгах Фьорсена. Их уже накопилось несколько сот фунтов, не считая большого долга самому Росеку. Как он мог залезть в такие долги? Куда деваются деньги, которые он зарабатывает? Его гонорары этим летом были высоки. Тратит ли он все на Дафну Уинг или и на других женщин?

Внимательно наблюдая за Фьорсеном, она убедилась, что с ним произошла какая-то перемена; что-то в нем словно бы сдало — все равно как в часах, когда все поворачиваешь и поворачиваешь ключ, пока не лопнет пружина. Но работал он еще упорнее, чем раньше. Она слышала издали, что он без конца повторяет какой-нибудь пассаж и словно никогда не бывает доволен. Но в игре его уже не было прежнего огня и широты: она стала более сухой, в ней чувствовалось какое-то разочарование. Как будто он говорил себе: «К чему все это?» И в его облике тоже что-то изменилось. Она знала, была убеждена, что он тайно пьет. Но почему? Из-за его размовки с ней? Или из-за девушки? Или просто он унаследовал это от пьяниц-предков?

Джип старалась не задавать себе таких вопросов. Это привело бы ее к бесполезным спорам с собой, к новым

признаниям в том, что она его не любит, к бесцельному осуждению этой девушки,— словом, к бесцельному отрицанию всего. Нет, все это безнадежно!

Фьорсен легко раздражался, и казалось, ее уроки музыки злят его,— он говорил о них с презрительной нетерпимостью. Она понимала, что он считает их любительскими. Его злило и то, что она много времени отдает ребенку. К девочке он относился странно: заходил в детскую, вызывая тревогу Бетти, забавлялся с дочерью минут десять, потом укладывал ее обратно в кроватку, глядел на нее мрачно или с усмешкой и удалялся. Иногда он заглядывал в детскую, когда там была Джип, и, молча посмотрев на ребенка, вводил ее.

Ее всегда мучила мысль, что она его совсем не любит, и еще больше — сознание того, что она не только спасла его, а, по сути дела, столкнула под гору,— какая ирония судьбы, какая расплата за ее тщеславие! Она уступала его притязаниям, но эта уступчивость стоила ей неслыханного напряжения — она с каждым днем все больше отдалялась от него. Такова уж была ее натура: она способна была пассивно терпеть, пока что-то в ней не сломается, а после этого — конец!

Весна и лето прошли для Джип, словно какая-то за́суха, когда облака маячат где-то страшно далеко, за завесой пыли; но вот они надвигаются все ближе и ближе, и наконец разражается гроза и омывает дождем истосковавшийся сад.

ГЛАВА XV

Первым настоящим летним днем в том году было десятое июля. Бывали и раньше хорошие дни, когда ветер дул с востока или севера; но теперь, после двух дождливых недель, солнце стало греть совсем полетному, мягкий ветерок приносил отовсюду аромат цветущих лип. В далеком углу сада, под деревьями, Бетти шила какие-то детские вещи, а ребенок крепко спал утренним сном. Джип стояла перед клумбой с ярким и нежным душистым горошком; у цветков были мелкие

зеленые треугольные листочки и стебли с усиками, напоминающими усики насекомых.

Шорох шагов по гравию заставил ее обернуться, и она увидела Росека, выходящего из гостиной. Он поклонился и сказал:

— Густав еще спит. Я решил сначала повидаться с вами. Можем мы поговорить?

Поколебавшись секунду, Джип сняла садовые перчатки.

— Здесь? Или в гостиной?

— Если можно, в гостиной.

Чуть-чуть обеспокоенная, она пошла вперед и села в гостиной так, чтобы видеть Бетти и ребенка. Росек стоял, не произнося ни слова. Она невольно залюбовалась четким рисунком его чувственного рта, его безупречной элегантностью.

— О чем же вы хотите говорить?

— Боюсь, что о скверном деле. Что-то надо предпринять немедленно. Я пытался все это уладить, но они не хотят ждать. Они даже угрожают продать дом с молотка.

Джип воскликнула, возмущенная:

— Здесь почти все принадлежит мне!

Росек покачал головой.

— Договор на аренду дома составлен на его имя — вы только его жена. Кредиторы могут сделать это, уверяю вас. И я не в состоянии больше помогать ему — по крайней мере сейчас.

— Разумеется, нет! Вам не надо было вообще ему помогать. Я терпеть не могу... Сколько он всего должен?

— Около тысячи трехсот фунтов. Правда, это не так уж много. Но тут есть еще одно..

— Худшее?

Росек кивнул и продолжал:

— Вы опять подумаете, что я хочу извлечь какую-то выгоду для себя. Я не могу допустить, чтобы вы на этот раз так подумали.

Джип сделала нетерпеливое движение.

— Я не буду так думать. Пожалуйста, расскажите мне.

— Есть такой человек, по фамилии Уэгг, владелец по-

хоронного бюро. Он отец одной девушки, которую вы знаете...

— Дафны Уинг?

— Да. Она ждет ребенка. Родители заставили ее все рассказать. Это означает, что ее контракты будут расторгнуты, и, конечно, со всеми последствиями..

Джип медленно проговорила:

— Пожалуйста, скажите: что может сделать этот мистер... мистер Уэгг?

— У него бешеный характер, а в бешенстве человек его круга опасен. Наверное, он захочет массу денег — ну, возможно, и крови тоже.

Он наклонился к ней и очень тихо сказал:

— Джип, год тому назад я говорил вам об этом. Вы тогда не поверили мне. Я сказал вам, что люблю вас. Теперь я люблю вас еще сильнее, во сто раз сильнее!.. Не вставайте! Я поднимусь к Густаву.

Он повернулся, и Джип решила, что он действительно уходит; но он остановился, едва перешагнув через порог балконной двери. Выражение его лица говорило о таком мучительном желании, что на минуту ей стало его жалко. Должно быть, Росек понял это — он внезапно обнял ее и попытался поцеловать в губы, но она отшатнулась, и он коснулся губами только ее шеи. Отпустив ее так же внезапно, он наклонил голову и вышел.

Джип вытерла ладонью след его поцелуя и, ошеломленная, подумала: «Что я сделала, чтобы со мною смели так обращаться? Что я сделала?» Гнев против всех мужчин вспыхнул в ней. Подойдя к письменному столу, она достала адресную книгу и стала искать. А, вот — Уэгг, Френклэнд-стрит, Фулхэм. Сняв со спинки стула свою сумочку, она положила туда чековую книжку. Потом, стараясь ступать как можно бесшумнее, проскользнула через переднюю, взяла зонтик и выбежала на улицу.

Она поспешно шла в сторону Бэйкер-стрит. Заметив, что оставила дома перчатки, она завернула в первый попавшийся магазин, чтобы купить себе пару. Выбирая перчатки, она на время забыла о том, что пережила несколько минут назад. Но на улице ее сердце снова наполнилось горечью. А день был такой чудесный: яркое

солнце, голубое небо, ослепительно-белые облака; с импернала автобуса она видела этот день во всем его сиянии. Ей вспомнился господин, который поцеловал ее в плечо на первом ее балу. А теперь — еще это! Несмотря на бушевавший в ней гнев, она невольно почувствовала сострадание к этой девушке, глупенькой леденцовой девушке, жизнь которой искалечил ее муж. В Фулхэме Джип сошла на первом перекрестке и направилась пешком по довольно широкой улице с узкими серыми домами по обеим сторонам. Наконец она добралась до нужного ей дома. Когда она поднялась по только что вымытой лестнице, ей вдруг захотелось повернуться и убежать. Зачем, собственно, она пришла сюда?

Дверь ей открыла неряшливо одетая прислуга. Баранина! Запах баранины — точно так, как говорила ей девушка!

— Мисс... мисс Дафна Уинг дома?

— Да. Мисс Дэйзи дома. Вы хотите видеть ее? Как доложить о вас?

И, открыв первую из двух дверей, окрашенных коричневой краской, она добавила:.

— Присядьте. Я схожу за ней.

Войдя в комнату, Джип постаралась преодолеть внезапную слабость и ощущение тошноты. Стол, на который она оперлась рукой, был покрыт красной байкой — должно быть, чтобы он не пропитался бараньим жиром. В буфете красного дерева красовались судок для уксуса и масла и зеленое блюдо с румяными яблоками. Перед камином стоял экран в бамбуковой раме, расписанный белыми и желтыми маргаритками, а на каминной доске — пучок крашеного ковыля бледно-розового цвета. Стулья были обиты красным сафьяном, занавеси — красно-коричневые, а стены — зеленые, и на них были развешаны гравюры Лэндсира¹. Этот контраст зеленого и красного еще больше угнетал ее. Но вдруг глаза ее заблестели: она увидела на каминной полке маленькую фарфоровую вазу темно-синего цвета, стоявшую на черной подставке. Ваза была пуста. В этой комнате, куда все больше вторгался запах бара-

¹ Лэндсир Э. Г. (1802—1873) — английский художник.

нины, ваза казалась предметом из другого мира. Дафна Уинг, а не Дейзи Уэгг — вот кто, наверное, ее поставил здесь, и это растрогало Джип: ваза показалась ей эмблемой растоптанной красоты, всего того, что эта девушка пыталась выразить в ее саду около года тому назад. Восточный фарфор, такой тонкий и красивый! Удивительно еще, как родители позволили осквернить комнату, поставив сюда такую вещь!

Она услышала вздох и обернулась. Девушка стояла спиной к двери с побледневшим, испуганным лицом. Джип подумала: «Она очень страдает». И протянула ей руку.

Дафна Уинг сказала, задыхаясь:

— О миссис Фьорсен!

Она поцеловала протянутую руку Джип. Новая перчатка стала влажной от слез. Потом девушка отошла к двери. Джип снова захлестнула волна ярости против мужчин; она почувствовала сострадание к этой девушке — ведь бедняжке вскоре суждено пройти через те муки, которые совсем недавно вытерпела она сама.

— Ничего, ничего, — сказала она ласково. — Вот только — что можно было бы сделать?

Дафна Уинг закрыла руками бледное лицо и зарыдала — так тихо и в то же время так горько, что Джип стоило огромного труда сдержать слезы. То было искреннее отчаяние человеческого существа, у которого отняли надежду, и силу, и главное — любовь; такие рыдания может вызвать у страдающего человека только дружеское участие. Джип овладел неистовый гнев против Фьорсена, который сделал из этой девушки забаву для себя, а потом вышвырнул ее вон. Ей казалось, что она видит, как он гонит ее прочь потому, что она надоела ему; гонит, выкрикивая вслед злые слова, оставляя одну переживать последствия своего безрассудного увлечения. Джип робко погладила вздрагивающее плечо девушки. Дафна Уинг проговорила прерывающимся голосом:

— О миссис Фьорсен, я так люблю его!

Болезненный приступ смеха охватил Джип, дрожь пробежала по всему ее телу. Дафна Уинг заметила это.

— Я знаю: это ужасно, — сказала она. — Но я люблю. А теперь он...

Она снова начала безутешно рыдать, и Джип, глубоко потрясенная, принялась гладить ее по плечу.

— О миссис Фьорсен, я так ужасно поступила с вами! Простите меня, пожалуйста, простите!

— Хорошо, хорошо! Не плачьте... Не плачьте...

Понемногу рыдания затихли, но девушка все еще стояла, опустив голову и закрыв лицо руками. Ах, эта красочно-зеленая комната! И этот проникающий отовсюду запах баранины!

Наконец Дафна приоткрыла бледное лицо: губы ее уже не просили леденца. Она пробормотала:

— Вас, только вас он... он по-настоящему любит. А вы не любите его, как странно! О миссис Фьорсен, если бы только я могла увидеть его! Он не велел мне больше приходить, и я не осмелилась послушаться. Я не видела его уже три недели, с того самого дня, как рассказала ему обо всем. О, что же мне делать?

Теперь к жалости, которую испытывала Джип, примешалось возмущение: эта девушка готова снова приползти к мужчине, который так жестоко обошелся с ней. Дафна Уинг сказала печально:

— Я знаю, у меня нет никакой гордости. Мне все равно, что он сделает со мной или что скажет обо мне, — только бы увидеть его!

И снова возмущение Джип отступило перед состраданием.

— Сколько осталось ждать?

— Три месяца.

Три месяца жить в таком отчаянии!

— Я сделаю с собой что-нибудь ужасное! Теперь, когда я не могу танцевать, а они все знают, — жить просто невыносимо. Если бы я могла увидеть его, мне было бы легче. Я готова на все. Но я знаю, что ему больше не нужна. О миссис Фьорсен, как бы я хотела умереть! Как бы я хотела!

Тяжелый вздох вырвался у Джип и, неожиданно наклонившись, она поцеловала девушку в лоб. От ее кожи и волос еще исходил слабый запах флердоранжа, как в тот день, когда она спрашивала ее, стоит ли ей полюбить или нет; запах напоминал и о том вечере, когда она выпорхнула, словно бабочка, из темноты на лунный свет,

кружась и трепеща, и тень ее трепетала перед ней. Стараясь рассеять напряжение, Джип показала на синюю вазу:

— Должно быть, это вы поставили ее здесь?

Девушка ответила с жалкой готовностью:

— Она вам нравится? О, возьмите ее! Граф Росек подарил ее мне... О, это идет папа! Сейчас он войдет.

Джип услышала мужской кашель, потом стук поставленного в угол зонтика. Девушка вся сникла и отошла к буфету. Дверь отворилась: вошел мистер Уэгг, низенький, толстый, с седеющей бородой, в черной пиджачной паре. У него был вид благонамеренного англичанина, исправно посещающего церковь, пьющего херес и питающегося бараниной, словом, вид человека, который сумел сам пробить себе путь в жизни. Лицо, цвет которого свидетельствовал о застарелой болезни печени, было такое же толстое, как и его тело, но вовсе не злое. Только в маленьких серых свиных глазках притаилась злость. Привычно грубым голосом, несколько смягченным профессиональной угодливостью, он произнес:

— Да-а-а? С кем имею честь?..

— Миссис Фьорсен.

До нее отчетливо доносилось его дыхание; он пододвинул стул.

— Не хотите ли присесть?

Джип покачала головой.

На лице мистера Уэгга почтительность боролась с каким-то более примитивным чувством. Достав большой, с черной каймой носовой платок, он высморчался, потом тем же платком непринужденно провел по лицу и, обернувшись к дочери, проворчал:

— Иди наверх.

Девушка быстро повернулась и вышла. Мистер Уэгг снова прокашлялся; по силе звука можно было судить, что у него мощная глотка.

— Могу я спросить, чему мы обязаны...

— Я пришла повидать вашу дочь.

Его маленькие глазки бегали, останавливаясь то на ее лице и ногах, то на собственной часовой цепочке, то на руках, которые он беспрерывно потирал; потом он снова смотрел на Джип, не решаясь, однако, взглянуть

ей прямо в глаза. Джип поразило крайнее смущение этого человека. Она словно читала его мысли: «Ну как я могу обсуждать такое дело с этой приятной молодой дамочкой, женой мерзавца, который погубил мою дочь? Щекотливая вещь — вот в чем дело!» Наконец он хрипло проговорил:

— Неприятная история, мэм. Не знаю даже, что и сказать. Право, не знаю. Как-то неловко, право, неловко.

Джип сказала спокойно:

— Ваша дочь сейчас очень страдает; в ее положении это нехорошо.

Толстая фигура мистера Уэгга, казалось, еще больше раздалась вширь.

— Простите меня, мэм,— пробормотал он,— но я должен назвать вашего мужа подлецом. Я сожалею, что приходится быть невежливым, но иначе я не могу. Если бы он оказался сейчас здесь, не знаю, смог ли бы я совладать с собой,— право, не знаю!

Видимо, приняв ее жест за выражение сочувствия, он продолжал сильным голосом:

— Несколько деликатная тема для разговора с дамочкой, которая к тому же сама — пострадавшая сторона, но ведь у всех есть чувства! Я сразу сказал, что эти танцы — только вызов Провидению; но у женщины не больше здравого смысла, чем у яйца. Возьмите хотя бы ее мать! Карьера и прочее — подумаешь! Замечательная карьера! Я говорю вам, мэм,— я возмущен! Если этот мерзавец когда-нибудь встретится мне, я его отмечу,— человек я не молодой, но я отмечу его. А что сказать вам,— и сам не знаю. Подумать только: чтобы моя дочь так себя повела! Нет, это — оскорбление мне! А теперь имя ее затопчут в грязь, можно не сомневаться. Говорю вам откровенно: я надеялся, что вы об этом не узнаете, потому что, в конце концов, девушка уже наказана. А суды по бракоразводным делам — не очень-то это приятно, даже просто ужасно для порядочных людей. Имейте в виду: я не позволю своей дочери выйти за этого мошенника. Нет, не позволю, даже если вы разведетесь с ним. Пусть она так и несет свой позор!

Джип подняла голову и сказала:

— Никакого позора не будет, мистер Уэгг, если только вы сами до этого не доведете. Если бы незаметно отослать Дафну... Дэйзи... куда-нибудь в тихое место, пока все не кончится, тогда никто об этом и не узнает.

Рот мистера Уэгга слегка приоткрылся, его дыхание, наверно, слышно было на улице.

— Вы хотите сказать, мэм, что не собираетесь возбуждать судебное дело?

Джип утвердительно наклонила голову.

Мистер Уэгг стоял молча, только его лицо, чем-то напоминающее мопса, слегка подергивалось.

— Ну что ж,— сказал он наконец.— Этого она, пожалуй, даже не заслуживает. Но не скрою: для меня это — огромное облегчение. И я должен сказать, что в такой молодой и красивой даме, как вы, проявляется истинно христианский дух.— Джип снова покачала головой, но он продолжал: — Да, да, это так! Это говорю вам я, человек, который годится вам в отцы, и исправный прихожанин.

Он протянул ей руку. Джип подала ему свою, затянутую в перчатку.

— Я очень, очень сожалею,— сказала она.— Пожалуйста, будьте к ней добрее.

Мистер Уэгг стоял со скорбным видом, потирая руки.

— Я семьянин,— сказал он.— Семьянин с серьезным взглядом на жизнь; я никогда не думал, что подобное могло произойти в моей семье,—никогда! Это... я не могу вам даже сказать, что это такое!

Джип взяла свой зонтик. Она чувствовала, что должна немедленно уйти; в любой момент этот человек может сказать что-либо вовсе уж невыносимое. К тому же запах баранины все усиливается.

— Мне очень жаль,— повторила она.— До свидания!—И она направилась к двери.

Она слышала, как он тяжело дышал, провожая ее. Мистер Уэгг пропустил ее вперед, держась за ручку входной двери. Его свиные глазки глядели на нее почти благоговейно.

— Да,— сказал он,— я очень счастлив, что имел честь познакомиться с вами; и, осмелюсь сказать, вы мне глубоко симпатичны. До свидания!

Джип жадно вдыхала свежий воздух. Щеки ее горели; словно ища какой-то защиты, она раскрыла зонтик. Бледное лицо девушки снова встало перед ней, и она услышала ее голос: «О миссис Фьорсен, как бы я хотела умереть! Как бы хотела!»

ГЛАВА XVI

Она шла под зонтиком, бессознательно стараясь держаться поближе к деревьям. В голове снова вихрем проносились все впечатления этого дня: Дафна Уинг; похожая на морду мопса физиономия мистера Уэгга; крашеный ковыль на камине, синяя ваза; Росек, бросающийся к ней; ее девочка, спящая под деревьями.

Она дошла до Кенсингтонского парка и села на скамью. Близился час завтрака; няньки с детскими колясками, старики, собаки — все спешили подкрепиться. Люди оглядывались на красивую молодую женщину, которая празднично сидела и скучала в такой час, и пытались найти в ней хоть какой-нибудь недостаток — кривые ноги или что-нибудь еще. Джип не замечала ничего, кроме собак, которые то и дело на бегу обнюхивали ее колени. Она так долго приучала себя к равнодушию, так долго отказывалась смотреть в лицо действительности; но теперь этот барьер был сломан, и вот поток жизни захлестывает ее. «Процесс!» Тем, кто не поверяет своих личных дел даже ближайшим друзьям, и в голову не приходит возможность публичного обсуждения их бед; такая мысль, разумеется, никогда не возникала и у Джип. С горькой улыбкой она подумала: «Мне все же лучше, чем ей! А что, если бы я тоже любила его? Нет, я никогда, никогда не захочу любить. Женщины, которые любят, слишком много страдают».

Она просидела в парке долго, пока не вспомнила, что в три часа должна быть у мосье Армо, а было уже около трех. Она поднялась и зашагала по траве. Воздух был полон гудения пчел, ворковали голуби, мягко шелестели листья, доносился запах цветущих лип, по синему небу медленно плыли спокойные, пышные облака. А она — почему ей суждено быть такой несчастной?..

Какой-то пятнистый спаньель — жуликоватый пес с широкой головой и пушистым чубом на макушке — пристал к ней, ожидая, что она бросит свой зонтик в воду и велит его доставать, — иначе зачем же люди что-то носят в руках?

Мосье Арно шагал по комнате. Окна были открыты, но запах греческого табака еще не выветрился.

— Я уже думал, вы не придете, — сказал он. — Вы бледны. Это от жары? Или... — он пытливо посмотрел ей в лицо, — ...или кто-нибудь обидел вас, мой маленький друг?

Джип покачала головой.

— А! Ну да! Вы ничего мне не рассказываете; вы никому ничего не рассказываете! Вы прячете свое милое лицо, как закрывает цветок свою чашечку по ночам. В вашем возрасте, дитя мое, надо поверять кому-нибудь свои горести; тайные страдания — это для музыканта то же самое, что сильный ветер во время сева. Ну, расскажите-ка мне о своих бедах. Я уже давно собирался расспросить вас. Мы ведь только однажды бываем молоды. Я хочу видеть вас счастливой.

Станет ли ей легче, если она решится излить ему свою душу? Его карие глаза смотрели на нее вопросительно, как глаза старой собаки. Ей не хотелось обижать этого добряка. И все-таки это невозможно!

Мосье Армо сел за рояль. Опустив руки на клавиши, он обернулся к ней.

— Я люблю вас, знаете? Старики могут всей душой любить, хотя понимают тщетность своих чувств, и поэтому на них можно не сердиться. И все-таки нам доставляет удовольствие быть полезным юности и красоте; это согревает наши души. Расскажите мне о вашем горе.

Он подождал мгновение, потом сказал раздраженно: — Ну, ладно, ладно! Перейдем к музыке!

Обычно он сидел рядом с ней у рояля, но сегодня остался стоять, словно собираясь быть особенно строгим. Джип начала играть. То ли потому, что нервы ее были напряжены до предела, то ли потому, что она не успела даже позавтракать, но играла она лучше, чем когда-либо прежде. То был полонез Шопена ля бемоль мажор, песня революции, которая всегда казалась ей недостижимой. Когда она кончила, мосье Армо взял ее руку и под-

нес к губам — она почувствовала, как колется его щетинистая маленькая бородка. Подняв голову, она удовлетворенно вздохнула. Позади раздался насмешливый голос:

— Браво!

В дверях стоял Фьорсен.

— Мои поздравления, *madame*. Я давно уже хотел видеть вас под вдохновляющим воздействием вашего... учителя!

У Джип забилося сердце. Мосье Армо не шевелился, в глазах его был испуг.

Фьорсен сложил пальцы щепотью и чмокнул.

— Этот старый Панталоне! Фу-фу, ну и любовник!

Джип увидела, как задрожал старик; она вскочила и крикнула:

— Ты... ты... негодяй!

Она услышала голос мосье Армо:

— Прежде чем вы уйдете отсюда, *monsieur*, объясните мне вашу дурацкую выходку!

Фьорсен погрозил кулаком и вышел, что-то бормоча. Они слышали, как хлопнула входная дверь. Джип отвернулась к окну и стояла, глядя во двор. Даже сюда добралось лето. Листья чахлого деревца блестели; в солнечном свете грелся черный кот с голубым бантом на шее. Из боковой улицы доносился голос торговки земляникой. Она знала, что мосье Армо все еще стоит, прижав ладонь ко рту, и ее мучило горе, угрызения совести. Так оскорбить этого доброго и безобидного старика! До такого издевательства ее муж еще не доходил. Она никогда не простит ему этого. Он оскорбил и ее, она не намерена больше терпеть! Она повернулась и протянула мосье Армо обе руки.

— Мне ужасно жаль! До свидания, дорогой, дорогой мосье Армо! Я приду в пятницу.— И, прежде чем он смог ее удержать, она ушла.

Как только Джип пересекла улицу и ступила на тротуар, она почувствовала, что кто-то схватил ее за платье, и увидела за собой Фьорсена. Она высвободилась и быстро пошла вперед. Неужели он решил устроить ей сцену прямо на улице? Он снова схватил ее за руку. Она повернулась и, глядя прямо ему в лицо, сказала ледяным тоном:

— Пожалуйста, не устраивай сцен на улице и не смей преследовать меня. Если хочешь поговорить со мной, можешь сделать это дома.

Она спокойно пошла вперед, но он все еще следовал за ней в нескольких шагах. Она подала знак первому проезжавшему такси.

— Бэри-стрит. Поскорее! — Она увидела, что Фьорсен бросился за ней, но не успел задержать ее. Он стоял как вкопанный, даже под широкополой шляпой было видно, что он смертельно бледен. Но она была так разгневана и подавлена, что ей было не до этого.

Она решила ехать к отцу. К Фьорсену она больше не вернется; но как забрать оттуда Бетти и ребенка?

Уинтон сейчас наверняка в своем клубе. Наклонившись к шоферу, она сказала:

— Нет. Хайд-парк-корнер, пожалуйста.

Швейцар, который знал ее, крикнул мальчику: «Майора Уинтона — живо!», — потом вышел из своей каморки, чтобы предложить ей стул и номер «Таймса».

Она сидела с газетой на коленях, лишь смутно видя окружающее: тощего старого джентльмена, который озабоченно взвешивался в углу; лакея в белых гетрах, проходившего мимо с чайным подносом в руках; несколько шляп, висевших на крючках; обитую зеленым сукном доску, к которой были прикреплены полоски белой бумаги, напоминающие телеграфные ленты, и трех членов клуба, стоявших перед доской. Один из них, высокий, грузный, добродушный, в пенсне и белом жилете, снял соломенную шляпу и стал так, чтобы удобнее было смотреть на Джип и не казаться при этом назойливым, — должно быть, она ему понравилась. Потом мимо этой группки не спеша прошел ее отец; желая как можно скорее уйти из этого мужского святилища, она поднялась и встретила его на ступеньках лестницы.

— Мне надо поговорить с тобой, отец.

Он бросил на нее быстрый взгляд, взял шляпу и направился за ней к выходу. В машине он взял ее руку.

— Что случилось, дорогая?

— Я хочу вернуться к тебе. Я там больше не могу оставаться. Это... это... в общем — это конец.

Он крепко сжал ее пальцы, словно хотел избавить ее от необходимости говорить дальше. Джип продолжала:

— Но мне надо забрать ребенка; я боюсь, он попытается задержать девочку, чтобы заставить меня вернуться.

— Он сейчас дома?

— Не знаю. Я не сказала ему, что уйду от него.

Уинтон посмотрел на часы.

— Ребенок гуляет в это время?

— Да, после чая. Когда становится прохладнее.

— Тогда я возьму эту машину. Ты оставайся у меня и приготовь для девочки комнату. Не волнуйся и не выходи из дома, пока я не вернусь.

Какой он чудесный: даже не задал ни одного вопроса!

Машина остановилась у дома на Бери-стрит. Он спросил спокойно:

— Собак тоже взять?

— Да. О, да! Он их не любит!

— Хорошо. На ночь устроим вас позже, когда я вернусь. На этот раз я не буду рисковать. Скажи миссис Марки, пусть даст тебе чаю.

Джип видела, как машина отъехала, как отец махнул ей рукой, и со вздохом тревоги и облегчения нажала кнопку звонка.

ГЛАВА XVII

Когда машина выехала на Сент-Джеймс-стрит, Уинтон приказал шоферу:

— Как можно скорее!

Слабый румянец проступил на его загорелых щеках; глаза зорко смотрели из-под полуопущенных век, губы были крепко сжаты. У него было выражение, какое бывает у охотника, когда из чащи выбегает лиса. Да, он не собирается рисковать — атаковать в лоб. Это он всегда успеет, если в том будет нужда. У него были более крепкие нервы, чем у многих других мужчин, и та стальная решимость и находчивость, которые делают англичан его круга очень упорными в малых делах. У дома Фьорсена он остановил машину, позвонил

и осведомился о Джип, испытывая даже некоторое удовольствие от своей уловки.

— Ее нет, сэр. Мистер Фьорсен дома.

— А! А девочка?

— Дома, сэр.

— Я пройду к ней. Она в саду?

— Да, сэр.

— Собаки тоже там?

— Да, сэр. Не желаете ли чаю, сэр?

— Нет, спасибо.— Но как проделать все это, не вызвав сплетен и подозрений в сговоре с Джип? И он добавил: — Я буду пить чай, когда вернется миссис Фьорсен.

Выйдя в сад, он тут же убедился, что Фьорсен стоит у окна столовой и наблюдает за ним. Ребенок лежал под деревьями в дальнем конце сада; щенки с яростью бросились на Уинтона, но тут же успокоились, как только обнюхали его. Он подошел к детской коляске и, кивнув Бетти, наклонился над внучкой. Она лежала под кисейным пологом от мух и не спала. Ее большие карие глаза, уже похожие на глаза Джип, смотрели на него с торжественной серьезностью. Прищелкнув несколько раз языком, он стал так, чтобы самому видеть окна дома, а Бетти оказалась к дому спиной.

— Я пришел с поручением от вашей хозяйки, Бетти. Только не волнуйтесь. Не оглядывайтесь по сторонам, слушайте меня внимательно. Джип на Бэри-стрит и решила остаться там; она хочет, чтобы вы, ребенок и собаки перебрались к ней.— Толстуха вытаращила глаза и открыла рот; Уинтон положил руку на край коляски.— Спокойно! Идите с ребенком гулять как обычно. Сейчас как раз время. И ждите меня на углу Риджентс-парк. Я подъеду на машине и заберу вас. Не суетитесь; не берите с собой ничего; делайте все так, как делаете обычно. Понятно?

Не в натуре таких толстух, на попечении которых к тому же доверенный им ребенок, получать подобные приказы и выполнять их, не задавая вопросов. Увидев, как изменилось ее лицо и начала вздыматься ее пышная грудь, он быстро добавил:

— Ну, Бетти, возьмите себя в руки! Джип ждет вас. Я все вам объясню в машине.

— Да, сэр! Бедная крошка! А как же ее ночное белье? И белье миссис Джип?

Помня о фигуре, все еще торчащей у окна столовой, Уинтон сделал вид, что играет с ребенком.

— Об этом не беспокойтесь. Как только увидите меня в окне гостиной, собирайтесь и идите. Смотрите прямо, Бетти! Не оглядывайтесь. Я буду прикрывать ваше отступление! Смотрите, не подведите Джип. Возьмите себя в руки.

С глубоким вздохом Бетти пробормотала: «Хорошо, сэр! О, господи!» — и завязала тесемки своего чепца. Уинтон кивнул ей и зашагал к дому. Он смотрел по сторонам, делая вид, что интересуется цветами, но заметил, что Фьорсен отошел от окна; войдя через балконную дверь гостиной, он быстро прошел в прихожую. Прежде чем отворить дверь в столовую, он прислушался. Фьорсен ходил по комнате из угла в угол. Он посмотрел на Уинтона запавшими глазами.

— Как поживаете? Джип нет дома? — спросил Уинтон.

— Нет.

Это «нет» вызвало в Уинтоне что-то вроде сочувствия. Жизнь без Джип! Но сердце его тут же снова ожесточилось. Этот парень — сущее ничтожество.

— Ребенок выглядит чудесно, — сказал он.

Фьорсен снова начал шагать назад и вперед.

— Где Джип? Она мне нужна.

— Еще не так поздно.

И вдруг Уинтон почувствовал отвращение к той роли, которую играл. Забрать ребенка, сделать все для спокойствия Джип — да! Но только не притворяться, что он ничего не знает. Повернувшись на каблуках, он вышел. Больше он не может кривить душой. Поняла ли его эта женщина? Он прошел в гостиную. Бетти с ребенком как раз заворачивала за угол дома. Через пять минут они будут у парка. Он стоял, выжидая. Только бы этот тип не зашел сюда! Через стену он слышал, как тот все еще расхаживает по столовой. Как долго тянутся минуты — прошло всего три! Он услышал, как открылась дверь столовой и Фьорсен прошел через прихожую к выходной двери. Что ему там надо? К чему он прислушивается? И вдруг Уинтон услышал вздох — точь-в-точь

такой же, какой когда-то, в давно прошедшие времена, не раз вырывался у него самого: он тогда ждал, прислушивался к шагам, томимый тоской и тревогой. Неужели этот малый и в самом деле ее любит? Почувствовав, что он словно шпионит за Фьорсеном, Уинтон вышел в переднюю и сказал:

— Ну что ж, я больше не буду ждать. До свидания!

Слова: «Передайте привет Джип» — замерли у него на губах.

— До свидания,— отозвался Фьорсен.

Уинтон прошел под шпалерами, чувствуя, что одинокая фигура Фьорсена все еще маячит в полуоткрытой двери. Бетти уже не было видно, должно быть, она дошла до поворота. Его миссия удалась, но он не чувствовал подъема. Доехав до парка, он усадил в такси всю компанию, и машина с детской коляской, привязанной к крыше, на полной скорости помчалась вперед. Вместо обещанного Бетти объяснения он произнес лишь одну фразу:

— Завтра вы все поедете в Милденхэм.

И Бетти, которая боялась его еще с того разговора в Милденхэме много лет назад, взглянула на его профиль и не решилась задавать вопросов. Уинтон остановил машину у почтового отделения и послал телеграмму:

«Джип и ребенок у меня. Письмо следует. Уинтон».

Это облегчило его совесть; кроме того, это было необходимо, иначе Фьорсен мог обратиться в полицию. А теперь ему надо ждать, пока Джип не расскажет обо всем подробнее.

Было уже поздно, когда они начали этот разговор. Сидя у окна, на которое Марки в знак молчаливого одобрения поставил два горшка гортензий, купленных на собственный риск и страх, Джип приступила к своей исповеди. Она ничего не утаивала, рассказывая о жалком фиаско своего замужества. Когда она дошла до Дафны Уинг и открытия, сделанного ею в студии, она увидела, как судорожно задвигался огонек отцовской сигары. В ее доме, в ее собственном доме! И после этого она продолжала жить с ним! Он не перебивал, но его молчание почти пугало ее.

Перейдя к тому, что случилось сегодня, она зако-

лебалась. Должна ли она рассказывать и о Росеке? Искренность взяла верх; и снова Уинтон не проронил ни слова. Когда она кончила, он встал и медленно загасил сигару о подоконник; увидев, в каком изнеможении она откинулась на спинку кресла, он только пробормотал: «Проклятие!» — и отвернулся к окну.

В этот час, когда в театрах идут к концу спектакли, печальная тишина опустилась на лондонские улицы, ее нарушили только крики какой-то полупьяной женщины, должно быть, поссорившейся со своим любовником на пути домой, да звуки скрипки уличного музыканта, пытающегося наверстать упущенное время. Эти звуки чем-то раздражали Уинтона, напоминая о двух проклятых иностранцах, которые посмели так обращаться с его Джи. Взять бы их на мушку пистолета или на кончик шпаги; проучить бы их как следует! Он услышал ее слова:

— Отец, я хотела бы заплатить его долги. Тогда все было бы так, словно я и не выходила за него замуж.

У него вырвался вздох отчаяния. Он не верил в то, что за зло надо воздавать добром.

— Я хочу быть уверенной, что у той девушки все будет в порядке, пока кончатся ее неприятности. Может быть, я могла бы использовать часть из тех... других денег?

Гнев, а не осуждение ее порыва заставил его поколебаться; деньги и месть никогда не соединялись в его мыслях.

— Я хочу чувствовать себя так, словно никогда не давала согласия выйти за него замуж. Может быть, его долги имеют к этому какое-то отношение, кто знает?

Какое сходство! Сходство во всем: в фигуре, откинувшейся на спинку старого кресла, в лице, утонувшем в тени! И восторг охватил Уинтона. Он снова обрел ее!

ГЛАВА XVIII

До тех пор, пока Фьорсен не уходил из дома, его спальня напоминала, как выражалась горничная, «суший хлев» — каждый день приходилось все основательно убирать и чистить. У него был особый талант устраи-

вать беспорядок; комната выглядела так, будто в ней ночевали трое мужчин, а не один. Одежда, башмаки, щетки, бокалы, газеты, французские романы, окурки сигарет — все это было разбросано где попало; застоявшийся запах табака ударял в нос слугам, приносящим чай и воду для бритья. Когда в утро этого дня горничная провела к нему Росек, Фьорсен лежал на спине, мечтательно следя за дымком своей сигареты и за четырьмя мухами, которые плясали в солнечном луче, пробившемся сквозь зеленые шторы. Обычно этот час перед вставанием был у него часом творческого подъема, когда ему полнее удавалось ощущать все очарование музыки, когда приходило вдохновение и желание донести его до людей. В последнее время он как-то выдохся и отупел; но этим утром он снова ощутил тот прилив фантазии, то трепетное состояние, когда чувства ищут форму для своего выражения, а ум находит ее. Услышав стук в дверь и шепот горничной: «К вам граф Росек, сэр», — он подумал: «Какого дьявола ему нужно?» Как и всякого одаренного человека, но плывущего по жизни без руля и ветрил, Фьорсена раздражал менее одаренный Росек, который, однако, всегда хорошо знал, чего он хочет.

Наверно, пришел говорить о деньгах или об этой девчонке. Как хорошо было бы, если бы девчонка умерла! Никчемное, примитивное создание!.. Ребенок! Господи! Каким он был ослом, о, каким ослом! Сначала ребенок у Джип, теперь у этой! Видит бог, он старался отвязаться от девушки, но попробуй отвязаться от репейника! Как она цеплялась за него! Он был терпелив, терпелив и ласков, но что поделаешь, если она ему надоела! Ему нужна только Джип, только его собственная жена! Теперь, когда он на какой-нибудь час-другой выбросил из головы всякие заботы и почувствовал себя счастливым, является этот тип с лицом сфинкса!

— А, Поль! Садись. Какие новые неприятности ты притащил?

Росек зажег сигарету. Его бледное лицо, на котором не было и тени улыбки, встревожило Фьорсена.

— Тебе бы следовало остерегаться мистера Уэгга, Густав; он вчера приходил ко мне. У него вовсе не музыка на уме.

Фьорсен сел на кровати.

— Черт бы побрал этого мистера Уэгга! Что он мне может сделать?

— Я не юрист, но представляю себе, что он способен доставить кучу неприятностей — уж очень молода де-вушка.

Фьорсен злобно взглянул на него и сказал:

— А зачем ты подсунул мне эту проклятую дев-чонку?

— Я этого не делал, мой друг.

— Нет, делал! В чем смысл твоей игры? Ты ведь ни-чего не делаешь без задних мыслей. Ты отлично это зна-ешь сам. Ну скажи, на чем ты играл?

— Ты любишь удовольствия, я полагаю.

Фьорсен проговорил с яростью:

— Послушай! С дружбой нашей покончено! Я ни-когда не знал тебя по-настоящему. Всеми этому конец! Оставь меня в покое.

Росек ухмыльнулся.

— Дорогой мой, так дружбу не кончают. Ты должен мне тысячу фунтов.

— Хорошо, я их тебе верну. Жена даст мне займы.

— О! Значит, она все еще без ума от тебя? А я ду-мал, что она любит только свои уроки музыки.

Подавшись вперед, Фьорсен прошипел:

— Довольно об этом! Я отдам твою тысячу фунтов!

Росек, все еще улыбаясь, отвечал:

— Не будь ослом, Густав! Со скрипкой у плеча ты мужчина. Без нее — ребенок. Лежи спокойно, мой друг, и думай о мистере Уэгге. Но лучше всего — зайди ко мне потолковать обо всем. Пока до свидания. Успокой-ся.— И, стряхнув пепел сигареты в пепельницу, стояв-шую у локтя Фьорсена, он удалился.

Фьорсен обхватил голову руками. Будь они все про-кляты: и отец девчонки и сама девчонка, Росек и про-чие акулы!.. Он вышел на площадку лѣстницы. В ниж-нем этаже стояла полная тишина. Росек ушел — ска-тертью дорога! Он позвал Джип — ответа не последо-вало. Он вошел в ее комнату, изящно убранную, полную аромата цикламен! Потом выглянул в сад. В даль-нем углу стояла коляска ребенка, а рядом толстуха нянь-

ка. Джип нет! Ее никогда не бывает, когда она ему нужна... Уэгг! Он вздрогнул; вернувшись в спальню, достал из шкафчика бутылку коньяку и отпил немного. Это его успокоило; он запер шкафчик и начал одеваться.

Направляясь к студии, он задержался немного под деревьями, чтобы поиграть с девочкой. Бывали моменты, когда это крошечное создание с большими темными глазами, так похожими на глаза Джип, казалось ему очаровательным, а иногда она вызывала в нем только отвращение — какой-то бледный ублюдок! Этим утром, глядя на нее, он вдруг вспомнил о другом ребенке, который вот-вот появится на свет, и поморщился. Он уловил взгляд Бетти, выражавший испуг и удивление: как он смотрит на ее ненаглядную крошку! Фьорсен рассмеялся и пошел к студии. Настраивая скрипку, он вспомнил о том, как ведет себя Джип — она давно уже не приходит вовремя! Это возмутило его, как горькая несправедливость. Как будто все дело в этой злосчастной девчонке! Джип никогда не любила его, никогда не отвечала на его чувства, никогда не утоляла его жажду! Вот в чем суть дела. Ни одна другая женщина не заставляла его так томиться. Они всегда надоедали ему раньше, чем он им. А она не давала ему ничего. Неужели у нее нет сердца? Или оно отдано другому? Что это говорил Поль о ее уроках музыки? И вдруг его поразила мысль, что он ничего не знает — ровным счетом ничего! — о том, где она бывает и что делает. Уроки музыки? Почти каждый день она уходит из дому и пропадает целыми часами. Где? В объятиях другого мужчины? Он опустил скрипку в полном изнеможении. А почему бы и нет? Безудержная ревность, разжигаемая животной страстью, была в полной мере свойственна натуре Фьорсена. Он содрогнулся. Но, вспомнив об утонченности Джип, ее гордости и искренности, а главное, о ее пассивности, он успокоился. Нет, только не Джип!

Он подошел к столику, на котором стоял графин с водой, и, налив немного коньяку, выпил. Это придало ему сил, и он принялся играть. Взяв отрывок из концерта для скрипки Брамса, он снова и снова повторял его. Он видел, что в его игре все время сказываются одни и

те же погрешности. Он просто не узнавал себя. Техника пальцев в этой вещи у него просто кошмарна!.. Джип берет уроки музыки... Гм! Зачем она их берет? Напрасная трата времени и денег — все равно из нее никогда ничего не получится, просто дилетантка. Там ли она сегодня? Давно пора завтракать, может быть, она вернулась?

Он пошел в дом. Никаких следов Джип. Горничная спросила, подавать ли ему завтрак. Нет! Хозяйка вернулась? Когда она должна вернуться? Она ничего не сказала? Он отправился в столовую, съел бисквит и выпил коньяку с содовой. Это успокоило его. Он снова вернулся в гостиную и сел за письменный столик Джип. Как все аккуратно! На маленьком календаре подчеркнуто карандашом — среда, пятница. Для чего? Уроки музыки? Он достал из ящика ее адресную книгу. «Армо, 305-а, Мерилбон-род»; рядом с адресом приписка: «Три часа».

Три часа. Вот он, условленный час! Глаза его остановились на маленькой репродукции старинной картины: вакханка с развевающимся зеленым шарфом, размахивающая бубном перед обнаженным купидоном, который смотрит на нее снизу вверх, держа в руках лук и стрелы. Фьорсен перевернул картинку; на обратной стороне было нацарапано: «Моему маленькому другу — Э. А.». Фьорсен подошел к роялю. Он поднял крышку и начал играть, бессмысленно глядя перед собой, не понимая, что играет. Великий артист? В последнее время ему все стало безразлично — пусть даже он никогда больше не коснется скрипки. Надоело стоять перед морем тупых физиономий, смотреть, как эти болваны хлопают руками! Его тошнит от этого тупого однообразия!

Он встал, пошел в столовую и выпил еще немного коньяку. Джип не выносит, когда он пьет. Да, но какого черта ее так долго нет? Она берет уроки музыки. Уроки музыки! Уже почти три часа. Ну что же, он пойдет и посмотрит, чем она там занимается на самом деле, пойдет и предложит проводить ее домой! Знак внимания. Это ей должно понравиться. Все лучше, чем ждать, пока она соблаговолит вернуться да еще с безразличным видом. Он выпил еще коньяку, взял шляпу и вышел. Солнце

палило, и, когда Фьорсен добрался до нужного дома, он почувствовал головокружение. Дверь открыла служанка.

— Я мистер Фьорсен. Миссис Фьорсен здесь?

— Да, сэр; желаете подождать?

Почему служанка так странно смотрит на него? Уродливая девка. Как отвратительны уродливые люди! Когда она вышла, он приоткрыл дверь гостиной и прислушался.

Шопен! Полонез ля бемоль мажор. Хорошо! Неужели это Джип? Очень хорошо! Он вышел из комнаты, двинулся по коридору и осторожно повернул ручку двери. Музыка прекратилась. Он вошел...

Когда Уинтон покинул его дом — это было через полтора часа после того, что произошло у Армо, — Фьорсен продолжал стоять у входной двери. Подогретая коньяком ревность, побудившая его оскорбить жену и старого мосье Армо, улеглась уже тогда, когда Джип заговорила с ним таким ледяным тоном на улице; с той минуты его не оставлял страх, возраставший с каждым мгновением. Простит ли она? Для него, который всегда действовал под впечатлением минуты, подчас даже не сознавая, что именно он делает и обижает ли этим кого-нибудь, самообладание Джип оставалось тайной и всегда немного пугало его. Куда она ушла? Почему не вернулась? Его страх все нарастал, подобно снежному кому, скатывающемуся с горы. А что если она не вернется вовсе? Нет, она должна вернуться: здесь ребенок, их ребенок!

Впервые при мысли о ребенке он почувствовал удовлетворение. Он отошел от двери и, выпив стаканчик коньяку с содовой, чтобы успокоиться, улегся на диване в гостиной. Чувствуя, как его согревает коньяк, он думал: «Я начну новую жизнь: брошу пить, брошу все, отошлю ребенка в деревню, увезу Джип в Париж, Берлин, Вену, Рим — куда угодно, только прочь из Англии, подальше от ее отца и от всей этой чопорной, скучной публики! Джип любит путешествовать!» Да, они будут счастливы. Прекрасные ночи... Упоительные дни... Чистый воздух, который не давит тебя и не принуждает пить... Подлинное вдохновение... Настоящая музыка! Запах

цветущих каштанов на улицах Парижа, блеск Тиргартена, звуки серенад в переулках Флоренции, светлячки в итальянских сумерках — о, какие пьянящие воспоминания! Но тепло от коньяка проходило, он почувствовал озноб. Он закрыл глаза, решив поспать до прихода Джип. Но скоро снова открыл их, потому что ему стали мерещиться — с недавнего времени это бывало довольно часто — какие-то уродливые картины: отчетливые, меняющие форму лица — они становятся все отвратительнее, превращаются в дыры... дыры... дыры; гниль, кривые, корявые деревья, — двойные, тройные, искаженные человеческие лица! О кошмар! Но когда он открыл глаза, все исчезло. Было очень тихо. Ни звука не доносилось сверху. Не слышно даже лая собак. Он встал и пошел взглянуть на ребенка.

Когда он проходил по передней, раздался звонок. Телеграмма! Он вскрыл ее. «Джип и ребенок у меня. Письмо следует. Уинтон».

Рассмеявшись, он захлопнул дверь перед носом рассыльного и побежал наверх. Напрасно! И здесь ни души! Значит ли это, что она на самом деле его бросила? Он остановился у кровати Джип, рванулся вперед, упал поперек кровати, закрыл лицо руками и зарыдал, совершенно обессиленный выпитым коньяком. Неужели он потерял ее? Никогда не видеть, как закрываются ее глаза, никогда не целовать их? Никогда не любоваться ею? Он вскочил. Потерять ее? Нелепость! Этот невозмутимый дьявол англичанин, ее отец — да, это дело его рук, это он украл ребенка!

Он спустился вниз и выпил коньяку. Это подкрепило его. Что делать? «Письмо следует»! Идти на Бэри-стрит? Нет. Пить! Развлекаться!

Схватив шляпу, он выбежал и зашагал так быстро, что у него помутилось в голове; тогда он взял такси и велел ехать в один из ресторанов Сохо. После завтрака, как обычно, очень легкого, у него сегодня ничего не было во рту, кроме бисквита. Поэтому он заказал суп и бутылку лучшего кьянти — о какой-либо другой еде он и думать не мог. Так он просидел более двух часов, бледный и молчаливый; лоб его покрылся потом, он время от времени оскаливал зубы и жестикулировал, потешая одних посетителей и пугая других, сидящих близко от

него. Если бы его не знали здесь, его поведение могло бы показаться подозрительным. Около половины девятого он допил вино, встал, бросил на стол золотую монету и вышел, не дожидаясь сдачи.

Уже горели фонари, но дневной свет еще не совсем угас. Он брел нетвердой походкой, направляясь в сторону Пикадилли. Мимо шла проститутка, она взглянула на него. Тупо осклабясь, он схватил ее за руку; дальше они пошли вместе. Внезапно девушка остановилась и стала вырывать руку; на ее темноглазом напудренном лице проступил страх. Фьорсен не выпускал ее руки и смеялся.

— Пойдем,— говорил он.— Ты похожа на мою жену. Хочешь выпить?

Девушка покачала головой и вдруг резким рывком высвободила руку и, как ласточка, нырнула в подземный переход через улицу.

Фьорсен стоял, не двигаясь, и все смеялся. Второй раз за один день она ускользала от него. Прохожие с удивлением оборачивались. Чертовы уроды! Сделав гримасу, он пошел прочь от Пикадилли, миновал Сент-Джеймскую церковь и направился к Бэри-стрит. Разумеется, его туда не впустят! Но он только посмотрит в окна — там у них на окнах ящики с цветами! И вдруг он громко простонал — перед ним встала Джип среди цветов, в их саду. Он дошел до угла улицы и увидел скрипача, который пиликал у водостока на старой скрипке. Фьорсен остановился послушать. Бедняга! «Паяцы»! Он положил руку на плечо скрипача.

— Послушай, друг,— сказал он,— дай-ка мне твою скрипку. Я великий скрипач. Я заработаю тебе немного денег.

— *Vraiment, monsieur?*¹

— *Ah, vraiment. Voyons! Donnez... un instant... vous verrez...*².

Скрипач, еще сомневаясь, но уже точно зачарованный, протянул ему скрипку; его темное лицо просветлело, когда он увидел, как неизвестный вскинул скрипку к плечу и как его пальцы управлялись со смычком и стру-

¹ Правда, сударь?

² А, правда! Дай-ка... на минуту... ты увидишь (франц.).

нами. Фьорсен двинулся вперед по улице, ища дом с цветочными ящиками. Он увидел их, остановился и начал играть «*Che faró*»¹. Он играл прекрасно на старой, разбитой скрипке; и скрипач, не отстававший от него ни на шаг, стоял и слушал, смущенный, завидующий, немного растерянный. Он играет, как ангел, этот долговязый, бледный *monsieur* со странным лицом, пьяными глазами и впалой грудью! Да, но все равно нелегко зарабатывать деньги на улицах этого проклятого города! Можешь играть как сорок ангелов — и ни медяка! А тот начал новую мелодию — так и хватает за сердце... *très joli, tout à fait écoeurant*². Но вот, извольте, — какой-то *monsieur* уже закрывает окна и задергивает шторы! Вечно одно и то же!.. Скрипка и смычок возвращены скрипачу вместе с кучкой серебра; а долговязый странный *monsieur* убегает, словно дьявол за ним гонится, — должно быть, здорово выпил парень! С болезненным ощущением, что его втянули в какую-то темную историю, хромой скрипач мрачно заковылял прочь, завернул за ближайший угол и почти целых две улицы шел, не останавливаясь. Потом, сосчитав серебро, которое Фьорсен положил ему в руку, и внимательно осмотрев скрипку, он сказал только одно слово: «*Bigge*»³ — и отправился домой.

ГЛАВА XIX

Джип почти совсем не спала. Трижды она вставала, крадучись подходила к двери и смотрела на спящего ребенка. Вчерашний день совершенно измучил ее. Ночь была душная, в ушах еще стояли звуки скрипки. По этой песенке Пуаза она сразу узнала Фьорсена; а по тому, как резко отец задернул шторы, она поняла, что ее предположение правильно. Если бы она увидела его, ее бы не так расстроил этот отголосок старых чувств. Фьорсен снова сковал цепь, которую еще вчера она считала

¹ «Что буду делать [без Эвридики]?» — ария из оперы Глюка «Орфей».

² Очень красиво, прямо досада берет (франц.).

³ К черту! (франц.).

разорванной навсегда. В рыданиях старой скрипки ей слышались его слова: «Прости меня, прости!» Насколько было бы легче бросить его, если бы она действительно его ненавидела! С ним трудно жить, но его трудно и ненавидеть! Он так податлив, а ненависть можно испытывать только к сильным людям. Ее возмущали поступки Фьорсена и он сам, когда он их совершал; но потом ей становилось ясно, что она так же не может ненавидеть его, как не может и любить. С рассветом к ней снова вернулись решимость и чувство реального. Лучше всего признать, что все безнадежно, и пусть сердце ожесточится снова!

Уинтон тоже провел бессонную ночь. Подумать только: играл на улице, под его окнами, словно нищий! Это уже предел всего! Он объявил за завтраком, что должен повидаться со своим адвокатом и выяснить, что надо сделать, чтобы Джип была избавлена от преследований. Возможно, потребуется составить какой-нибудь документ; он слабо разбирается в этих вещах. А пока ни Джип, ни ребенок не должны выходить из дома. Джип провела все утро за письмом к мосье Армо — она пыталась еще раз выразить свое огорчение, но умолчала о том, что порвала с Фьорсеном.

Уинтон вернулся из Вестминстера спокойный и злой. Ему с трудом растолковали, что ребенок является собственностью Фьорсена; так что если он пожелает его вернуть, они по закону не вправе этому препятствовать. Все это растравило его старую рану, заставив еще раз вспомнить, что его дочь одно время принадлежала другому отцу. Он заявил адвокату, что скорее Фьорсен угодит в преисподнюю, чем он это допустит, и распорядился составить письменное соглашение о разводе, которое предусматривало бы уплату всех долгов Фьорсена при условии, что он оставит в покое Джип и ребенка. Рассказав все это Джип, Уинтон поднялся наверх в комнату, где временно устроили детскую. До этого дня маленькое создание интересовало его лишь как частица Джип; теперь ребенок стал для него чем-то самостоятельно существующим — эта крохотная темноглазая девчурка, которая серьезно смотрит на него, уцепившись за его палец. Вдруг ребенок улыбнулся — улыбка не отличалась особой преле-

стью, но она произвела на Уинтона неизгладимое впечатление.

Решив сначала уладить дело с соглашением о разводе, он отложил отъезд в Милденхэм; однако, «не доверяя ни на йоту этим двум негодьям», он настоял, чтобы ребенка не выносили гулять без двух сопровождающих и чтобы Джип тоже не выходила одна. Его осторожность дошла до того, что в пятницу он сам проводил Джип до дома мосье Армо и выразил желание зайти и пожать руку старику. Это была забавная встреча. Оба с трудом искали тему для разговора, словно были жителями разных планет. После того, как несколько минут прошло в дружелюбных поисках выхода из этого неловкого положения, Уинтон вышел, сказав, что подождет Джип, а она села за рояль.

Мосье Армо сказал спокойно:

— Вы прислали мне очень милое письмо, мой маленький друг, и ваш отец тоже очень любезен. Ну а ваш муж, собственно говоря, сделал мне комплимент! — Его улыбка как бы подчеркнула его смирение. — Итак, вы снова у отца! Когда же вы найдете свою судьбу, хотел бы я знать?

— Никогда!

— О, вы так думаете? Нет, это невозможно! Но хорошо, не станем злоупотреблять временем вашего отца. За работу!

Уинтон, когда они ехали домой, кратко сказал:

— Славный старикан!

На Бэри-стрит их ждала взволнованная горничная Джип. Утром она пошла прибирать в студию и увидела, что хозяин сидит на диване, обхватив голову, и ужасно стонет.

— Он не возвращался домой, мэм, с тех пор, как вы... отправились в гости. Я не знала, что делать, побежала за кухаркой, и мы уложили его в постель. И я не знала, где вы, мэм, и позвонила графу Росеку, и он пришел — надеюсь, я не поступила неправильно? Он послал меня сюда, к вам. Доктор говорит, что у мистера Фьорсена что-то неладное с мозгом, он все время зовет вас, мэм. И я не знала, как мне быть.

Джип, у которой побледнели даже губы, сказала:

— Подождите здесь, Эллен.— Она вышла в столовую, Уинтон последовал за ней.

— Ах, отец, что же мне делать? Болезнь мозга. Подумай только, как страшно чувствовать, что это я виной всему! Я должна поехать и увидеть его. Если на самом деле так, я этого не перенесу. Боюсь, что мне надо ехать, отец.

Уинтон кивнул.

— Я тоже поеду,— сказал он.— Пусть горничная возвращается и скажет, что мы скоро будем.

Бросив прощальный взгляд на ребенка, Джип подумала с горечью: «Вот она моя судьба, и никуда мне от нее не уйти!» По дороге Джип и Уинтон молчали, она только крепко держала его за руку. Пока кухарка бежала наверх сообщить Росеку, что они приехали, Джип стояла у окна и смотрела в сад. Прошло всего два дня с тех пор, как она стояла в саду и ухаживала за своим душистым горошком; а здесь, на этом самом месте, Росек тогда поцеловал ее в шею! Взяв Уинтона под руку, она сказала:

— Отец, пожалуйста, не придавай значения этому поцелую. Это ведь пустяки!

Через минуту вошел Росек. Она еще не успела заговорить, как Уинтон отчеканил:

— Сейчас, когда моя дочь дома, нет больше нужды в ваших любезных услугах. До свидания!

Джип чуть подалась вперед. Она видела, что эти скупые слова пронзили латы Росека, как шпага пронзает оберточную бумагу. Росек поклонился с деланной улыбкой и вышел. Уинтон пошел за ним — словно опасаясь, что тот прихватит с собой чужую шляпу из передней. Когда входная дверь захлопнулась, он вернулся и сказал:

— Думаю, он больше не будет тебя беспокоить.

Джип была благодарна ему, и в то же время ей стало жаль Росека. Ведь вина его была только в том, что он влюбился в нее.

Фьорсена перенесли в комнату Джип, более просторную и прохладную. Внезапно он открыл глаза:

— Джип! Это ты? Как много страшного мне привиделось — не уходи больше! О Джип! — Он приподнялся

и прижался лбом к ее руке. И Джип почувствовала — как и в ту ночь, когда он впервые пришел домой пьяный, — что в ней нет уже ничего, кроме желания защитить его.

— Все будет хорошо! — пробормотала она. — Я останусь. Лежи спокойно, и ты скоро поправишься.

Через четверть часа он уснул. Выражение страха, которое во сне то и дело появлялось и исчезало на его лице, тронуло ее сердце. Ведь болезни мозга так страшны! Она должна остаться: его выздоровление зависит от нее. Она неподвижно сидела возле него до тех пор, пока явился врач и позвал ее.

У доктора был добродушный вид, он носил две жилетки и, разговаривая, все подмигивал Джип; с каждым таким подмигиванием ей казалось, что он приподымает завесу еще над какой-то ее семейной тайной. Главное дело — покой! Что-то угнетает его — да! И... гм... некоторая склонность к... коньяку! Это — прекратить! Не только нервы, не в порядке и желудок. У него видения — страшные видения — верный признак! Не совсем воздержанная жизнь до женитьбы. Женат... Как долго? — Добрые глаза доктора оглядели Джип с ног до головы. — Полтора года? Всего-то! Много играет на скрипке? Не сомневаюсь! Музыканты часто склонны к неумеренности... Слишком развито чувство красоты... жгут свечу с обоих концов! Она должна за этим присмотреть. Она, кажется, уезжала, не правда ли? Живет у отца. М-да. Никто не обеспечит лучшего ухода, чем жена. Лечение? Что ж! Принимать лекарство, которое он пропишет, утром и на ночь. Полный покой. Ничего возбуждающего. Чашечка крепкого кофе без молока, если почувствует слабость. Лежать в постели. Не волноваться, не расстраиваться. Еще молод. Сил у него хватит. Оснований для беспокойства пока нет. Завтра будет видно, нужна ли ночная сиделка. На месяц забыть скрипку, никакого алкоголя, строгая умеренность во всех отношениях. Подмигнув в последний раз и сделав ударение на слове «умеренность», доктор вытащил вечное перо и что-то нацарапал на листке записной книжки, пожал руку Джип, улыбнулся, застегнул верхнюю жилетку и удалился.

Джип вернулась на свое место возле кровати. Какая

ирония! Единственным ее желанием было освободиться, и вот она оказалась главным виновником его болезни! Если бы не она, ничто не угнетало бы его мозг; он даже мог быть еще неженатым! Его пьянство, долги, даже эта девушка — может быть, и всему этому виной тоже она? Она собиралась освободить и его и себя — и вот итог! Неужели есть в ней нечто роковое, что всегда приносит несчастье мужчинам, которых она встречала в жизни? Она причинила горе отцу, мосье Армо, Росеку, собственному мужу. А до замужества — сколько людей искало ее любви и уходило от нее несчастными? Подойдя к зеркалу, она долго и грустно вглядывалась в свое лицо.

ГЛАВА XX

Через три дня после своей неудавшейся попытки уйти от Фьорсена Джип написала Дафне Уинг; она сообщила ей о болезни Фьорсена, упомянула о коттедже близ Милденхэма, где, если Дафна пожелает, можно удобно устроиться и укрыться от любопытных; в конце письма Джип просила разрешения возместить убытки, связанные с расторжением контрактов.

На следующее утро она увидела в своей гостиной мистера Уэгга. Он стоял посреди комнаты, держа в руке цилиндр, обвитый креповой лентой; на руках у него были черные перчатки. Он глядел в окно, словно желая воскресить в памяти Джип ту теплую ночь, когда луна бросала таинственные отблески на подсолнечники, а его дочь танцевала в саду. Ей хорошо была видна его толстая красная шея, отложной воротничок, повязанный черным галстуком поверх сверкающей белой рубашки. Протягивая руку, она сказала:

— Как поживаете, мистер Уэгг? Очень мило, что вы пришли!

Мистер Уэгг обернулся. Он выглядел явно озабоченным.

— Надеюсь, вы в добром здравии, мэм? У вас здесь прекрасный уголок. Я сам без ума от цветов. Всегда увлекался ими.

— Цветы в Лондоне — большое утешение.

— Да-а-а. Мне кажется, вы могли бы выращивать здесь георгины.— Отдав дань *savoir faire*¹ и смутному желанию немного польстить ей, он перешел к делу: — Моя дочь показала мне ваше письмо. Я решил не писать вам: в таких деликатных делах я предпочитаю говорить лично. По-моему, вы крайне любезны, если учесть ваше положение. Я сам тоже всегда стараюсь поступать по-христиански. Жизнь преходяща; никогда не знаешь, когда наступит твой черед. Я сказал дочери, что пойду и повидаюсь с вами.

— Очень рада. Я надеялась, что вы придете.

Мистер Уэгг откашлялся и продолжал:

— Я не хочу говорить ничего плохого в вашем присутствии о некоем лице; тем более, что, как видно из письма, человек этот болен; но, право же, не знаю, как мне поступить в создавшемся положении. Мне неприятно думать о деньгах в связи с этим делом; но в то же время моя дочь потерпела убытки, очень серьезные убытки. Мне приходится думать о чести своей семьи. Имя дочери — это мое собственное имя; и, должен сказать, я пользуюсь уважением, — как исправный прихожанин, кажется, я уже говорил вам. Иногда, уверяю вас, я чувствую, что не могу совладать с собой, и только вот... вы... если позволено будет сказать, только вы удерживаете меня в границах.

Его руки в черных перчатках то сжимались в кулаки, то разжимались, ноги в огромных сверкающих ботинках нервно переступали. Джип смотрела на эти ботинки, не решаясь взглянуть ему в глаза, а он продолжал разглагольствовать то о христианстве и чести, то о деньгах и мирских делах, то возвращался снова к своей обиде, то заговаривал опять о Джип.

— Пожалуйста, мистер Уэгг, позвольте мне сделать то, о чем я просила. Я была бы несчастлива, если бы не могла помочь хоть чем-нибудь.

Мистер Уэгг высморкался.

— Дело весьма деликатное, — сказал он. — Даже и не знаю, что велит мне долг. Право, не знаю.

¹ Хорошему тону (франц.).

Джип взглянула на него.

— Самое главное — избавить Дейзи от страданий, не правда ли? — сказала она.

Лицо мистера Уэгга приняло такое выражение, словно он подумал: «Страдания? Предоставьте страдать отцу!» Но он колебался. В его маленьких глазках мелькнуло на мгновение что-то вроде мужского восхищения, он отвел глаза и кашлянул. Джип сказала мягко:

— Доставьте мне удовольствие!

Мистер Уэгг в замешательстве поглядел на ее талию. Он ответил, всячески стараясь смягчить голос:

— Если уж вы так ставите вопрос, я, право, не знаю, как и отказаться; но — совершенно между нами — я не могу изменить своего мнения обо всем этом.

— Разумеется. Очень вам благодарна; потом вы мне сообщите. А теперь я не буду отнимать вашего времени. — И она протянула ему руку.

Мистер Уэгг взял ее руку и немного помедлил.

— Да, да, я как раз условился о встрече, — сказал он, — с одним джентльменом в Кэмпден-Хилл. Он начинает работать с двенадцати. Я никогда не опаздываю. Всего доброго!

Проследив глазами, как его квадратная черная фигура исчезает в воротах и как он важно застегивает свои глянцевиные перчатки, она пошла наверх и тщательно вымыла лицо и руки.

В течение нескольких дней Фьорсену становилось то хуже, то лучше; но, видимо, кризис миновал, и теперь с каждым часом опасность уменьшалась. После двух недель безупречной жизни не оставалось ничего другого, как, по словам доктора, «подышать морским воздухом» и «избегать всяких предрасполагающих причин». Джип выключила из его обихода все эти причины, в том числе и самое себя; пока он был еще слаб, она могла держать его в руках. Но она пережила несколько горьких часов, прежде чем послала за ребенком, Бетти и собаками и окончательно решила поселиться в своем доме. Долги Фьорсена были уплачены, включая тысячу фунтов Росеку, были возмещены убытки Дафне Уинг.

Девушка поселилась в коттедже, возле Милденхэма, где никто ничего не знал о ней, и коротала время в одиночестве и страхе, облачившись в черное платье и украсив золотым кольцом средний палец на руке.

Август и первую половину сентября Джип и Фьорсен провели возле Будэ. Страсть Фьорсена к морю сдерживала его и не давала проявлять свой нрав. Он пережил сильный испуг, а такой испуг нелегко забывается. Они жили на ферме; общаясь с простыми людьми, он показывал себя с лучшей стороны, а лучшие его свойства могли даже восхищать. Он все время старался оторвать свою «русалку» от ребенка, оторвать для себя одного, увести куда-нибудь на поросшие травой склоны, на скалы или на пляж. Для него было великим наслаждением находить каждый день какую-нибудь новую бухточку, где они могли купаться и греться на солнце. Она и вправду была похожа на русалку, когда сидела на покрытом морскими водорослями камне, опустив ноги в воду и расчесывая пальцами мокрые волосы. Если бы она любила его! Но хотя на лоне природы ей было легче с ним, сердце ее никогда для него не раскрывалось, никогда не трепетало при звуке его голоса и не билось сильнее от его поцелуев. Она часто заглядывалась на ребенка, и даже такой себялюбца, как Фьорсен, замечал, что выражение ее глаз в эти минуты бывает совсем другим, чем когда она смотрит на него.

Но вот погода испортилась, он стал все чаще проявлять беспокойство, требовать свою скрипку, и они вернулись в Лондон, поздоровевшие и крепкие. Джип не покидало чувство, что все это — только временное затишье; после их возвращения это чувство начало сгущаться, как сгущаются в небе тучи после хорошей погоды. Она часто думала о Дафне Уинг, написала ей и получила ответ:

«Дорогая миссис Фьорсен,

О, какая вы милая, что написали мне; я ведь знаю, как вы должны ко мне относиться; какая вы добрая, что дали мне возможность приехать сюда. Я стараюсь не думать ни о чем, но это, конечно, очень трудно; и меня уже не трогает то, что должно произойти. Мать придет сюда позднее. Иногда я лежу ночью без сна и при-

слушиваюсь к ветру. Не правда ли, ветер — самая печальная вещь на свете? Интересно, умру ли я? Я надеюсь, что умру. О да, правда! До свидания, дорогая миссис Фьорсен, я никогда не прощу себе, что причинила вам столько горя.

Благодарная вам
Дафна Уинг».

Ни она, ни Фьорсен ни разу не упомянули о девушке; Джип даже не знала, думает ли он когда-либо о маленькой танцовщице, знает ли о том, что с ней случилось. Но теперь, когда срок родов приближался, Джип с каждым днем все сильнее чувствовала, что должна съездить и повидаться с ней. Она написала отцу, который вернулся в Милденхэм после курса лечения в Херрогэйте вместе с тетусшкой Розамундой. Уинтон ответил, что при девушке есть сиделка и, кажется, еще какая-то женщина, должно быть, ее мать, хотя точных справок он, конечно, не наводил. Не может ли Джип приехать? Он один, а сейчас как раз началась охота на молодых лис. Как это похоже было на него — скрывать тоску под такими сухими фразами! Подумав о том, что она доставит ему удовольствие и к тому же предстоит охота с гончими, она твердо решила ехать. Девочка была здорова, Фьорсен не пил, она вполне могла позволить себе спокойно этот маленький отпуск и, кстати, успокоить свою совесть — повидаться с Дафной Уинг. После возвращения с моря она, как и прежде, аккомпанировала Фьорсену в студии; улучив подходящий момент в конце их утреннего занятия, она сказала:

— Я хочу поехать сегодня в Милденхэм на неделю. Отец там очень одинок.

Она заметила, как покраснела его шея.

— К нему? Нет! Он украдет тебя, как уже украл однажды ребенка. Пусть возьмет девочку, если хочет. Но не тебя. Нет!

Эта неожиданная вспышка возмутила ее. Она никогда не просила его ни о чем, и ему не следовало бы ей отказывать. Фьорсен подошел к ней и обнял ее.

— Моя Джип, ты нужна мне здесь — я тоже одинок. Не уезжай!

Она пыталась разнять его руки, но не могла; гнев ее усиливался. Она сказала холодно:

— Есть еще одна причина.

— Нет никаких серьезных причин отнимать тебя у меня.

— Девушка, которая должна родить твоего ребенка, живет возле Милденхэма, я хочу провести ее.

Он отшатнулся, подошел к дивану и сел. Джип подумала: «Очень жаль, но так ему и надо».

— Она может умереть. Я должна ехать; но тебе нечего бояться: я вернусь ровно через неделю. Обещаю.

Он пристально смотрел на нее.

— Да. Ты не нарушаешь своих обещаний. Не нарушишь и этого.— Но вдруг он снова сказал: — Джип, не уезжай!

— Я должна.

Он крепко обнял ее.

— Тогда скажи, что ты любишь меня!

Но этого она не могла сказать. Одно дело — мириться с его объятиями, а другое — притворяться, что любишь. Когда он наконец ушел, она принялась оправлять волосы, глядя перед собой пустыми глазами и думая: «Здесь! В этой комнате, где я видела его с той девушкой! Какие все-таки животные эти мужчины!»

К вечеру она добралась до Милденхэма. Уинтон встретил ее на станции. Дорога шла мимо коттеджа, где жила Дафна Уинг. Он стоял перед небольшой рощицей; это был маленький, увитый плющом кирпичный домик с незатейливым фасадом и садиком, где было полно подсолнечников.

Дом занимал старый жокей Петтенс вместе с вдовой-дочерью и ее тремя маленькими детьми. «Болтливый старый мошенник», как называл его Уинтон, все еще работал на милденхэмской конюшне, а дочь его была прачкой. Джип наняла для Дафны Уинг ту же сиделку, которая когда-то ухаживала за ней самой; главным жрецом был назначен все тот же старый доктор. В коттедже не было заметно никаких признаков жизни, и она решила не останавливаться; ей не терпелось снова очутиться в Милденхэме, увидеть старые комнаты, вдохнуть знакомый запах дома, сбегать к своей старой кобыле, которая начнет обнюхивать ее в поисках сахара. Как хорошо снова вернуться сюда сильной и здоровой, гото-

вой опять вскочить в седло! Ее обрадовала улыбка Марки, встретившего их у входа, обрадовала даже темная прихожая, где луч солнца освещал шкуру первого убитого Уинтоном тигра, на которую она так часто валилась, смертельно устав после охоты.

В стойле старый Петтенс щеткой наводил последний лоск на ее кобылу. Его бритое лицо с впалыми щеками широко улыбалось.

— Добрый вечер, мисс; прекрасный вечер, мэм! — Его горящие карие глазки, уже тускнеющие от старости, любовно оглядывали ее.

— А, Петтенс, как поживаете? Как Энни? И дети? Как моя старая любимица?

— Великолепно, мисс; резва, как котенок. Понесет вас словно птица, если вы только пожелаете завтра поехать.

— А как ее ноги? — Джип провела рукой сверху вниз по крепким ногам кобылы.

— Жиру у нее не прибавилось с тех пор, как она вернулась; ее ведь здесь не было весь июль и август; но я следил за ней, все ждал, что вы приедете.

— На ощупь они великолепны! — Все еще не разгибаясь, Джип спросила: — А как ваша жилища? Та молодая дама, которую я прислала вам?

— Видите ли, мэм, она очень молода, а эти молодые дамы, знаете ли, всегда бывают очень возбуждены в такое время. Я бы сказал, что она еще никогда... — он с явным трудом сдержался, — ...что она никогда раньше не садилась на лошадь. Что ж, этого можно было ожидать. А ее мать — вот уж странная особа! Очень она действует мне на нервы! О, она вот где у меня сидит. Невысокая порода, вот в чем тут дело. Зато сиделка, мисс, — у той этого нет. Вот такие-то дела. Да и как же этой даме не нервничать, — такая молодая и уже потеряла мужа...

Еще не поглядев на него, Джип почувствовала его умную старческую ухмылку. Но какое это имеет значение, если он даже и догадывается? Он умеет хранить секреты конюшни.

— О, там было немало всяких перепалок и слез, помилуй бог! Я сплю в соседней комнате, — о да, по ночам, когда ты стар и вдов, ничего не остается, как слушать.

Помню, служил я в Ирландии у капитана О'Нэйла, так там была одна молодая женщина...

Джип подумала: «Придется его прервать, иначе я опоздаю к обеду». И она спросила:

— Петтенс, а кто купил нашего молодого гнедого?

— Мистер Брайан Саммерхэй из Уидрингтона, мисс. Он купил его для охоты и в упряжку, когда живет в городе, мисс.

— Саммерхэй? А! — Джип вспомнила молодого человека с ясными глазами и немного задорной улыбкой, скакавшего на караковой кобыле. Этот смелый молодой ездок кого-то ей напомнил тогда.

— Я думаю, гнедой попал в хорошие руки?

— О да, мисс, в хорошие руки и к очень приятному джентльмену. Когда он приехал сюда посмотреть лошадь, он спрашивал про вас. Я сказал ему, что вы теперь уже замужняя дама, мисс. «А! — сказал он. — Она так великолепно ездит верхом!» Он отлично запомнил гнедого. Майора не было тогда дома, и я дал ему его испытать. Он перескочил через несколько изгородей. А когда вернулся, говорит: «Ну что ж, я купил бы его». Очень приятно разговаривал и не терял времени даром. Лошадь у него уже с конца прошлой недели. Будет ходить под ним хорошо: он неплохой ездок, смелый, только, я бы сказал, рука не очень твердая.

— Ну, Петтенс! Мне пора идти. Скажите Энн, что я завтра заеду к ней.

— Хорошо, мисс. Сбор собак в Фили Кросс в семь тридцать. Значит, вы поедете?

— Скорее всего. Спокойной ночи.

Джип бежала через двор и думала:

«Она великолепно ездит верхом!..» Как приятно! Я рада, что он купил моего гнедого.

ГЛАВА XXI

На следующий день, проведя все утро в седле, Джип отправилась пешком в коттедж. Был один из тех томительных мягких дней конца сентября, когда ветерок, еще по-летнему теплый, колышет стерню, а живые изгороди

еще блестят от ночной росы. Узкая тропинка шла через два поля, через узкий клин деревенского выгона, где на цветущих кустах дрока сушились холсты, и снова через поле. Джип никого не встретила. Перейдя через дорогу, она вошла в садик. Подсолнечники и астры выстроились вдоль низкой кирпичной стены, под уже пожелтевшими тополями. Возле дома, под открытым окном, стоял стул с оставленным на нем журналом. Единственным признаком жизни был дымок, подымавшийся из трубы. Джип в нерешительности стояла перед полуоткрытой дверью; слишком уж все было безмолвно, тишина казалась ей неестественной. Она уже подняла руку, чтобы постучать, как вдруг услышала подавленные рыдания. Заглянув в окно, она увидела женщину в зеленом, видимо, миссис Уэгг, которая сидела у стола и плакала, уткнувшись в носовой платок. В то же мгновение из верхней комнаты донесся тихий стон. Джип вошла и постучала в ту дверь, за которой сидела женщина в зеленом. Дверь открылась, перед ней предстала миссис Уэгг. Нос, глаза и щеки на худом, неприветливом лице были красны от слез. В зеленом платье и с зеленоватыми волосами (они были с проседью и, видимо, покрашены каким-то составом) миссис Уэгг очень напоминала Джип зеленое яблоко, которое так нелепо краснеет от долгого пребывания на солнце. На лице женщины были слезы, в руке она мяла носовой платок. Джип ужаснулась — как она осмелилась, такая свежая, сияющая, предстать перед этой бедной женщиной, видимо, удрученной тяжелым горем. Ей захотелось убежать. Это просто бесчеловечно — приходить сюда кому-либо из его близких. Она тихо сказала:

— Миссис Уэгг? Пожалуйста, извините меня, но нет ли каких-либо новостей? Это я устроила Дафну здесь.

Женщину, по-видимому, одолевали какие-то сомнения. Наконец она ответила, всхлипывая:

— Она... она родила этим утром... мертвого.

Джип задохнулась. Пройти через все — и вот! Ее чувство матери возмущалось и протестовало, но разум подсказывал: так, пожалуй, лучше, гораздо лучше!

— А как она?

— Плохо. Очень плохо. Просто не знаю, что сказать,

право же, все мои мысли спутались. Все это так расстроило меня!..

— Моя сиделка с ней?

— Да. Она очень упрямая особа, но умелая, не отрицаю. Дэйзи очень слаба. О, как все это печально! А теперь еще предстоят похороны. Просто конца горю нет! И все, все из-за этого... человека.— Миссис Уэгг отвернулась и снова стала плакать, уткнувшись в платок.

Джип выскользнула за дверь. Она колебалась — подняться наверх или нет? Но все-таки осторожно поднялась по лестнице. Должно быть, девушка лежит в комнате, выходящей на улицу. Несчастливая, всего год тому назад она с наивной важностью обсуждала—нужен ли ей любовник! Сиделка приоткрыла дверь и, увидев Джип, выбежала в коридор.

— Это вы, моя милочка! Как приятно!

— Как она?

— В общем, довольно хорошо. Вам все сказали?

— Да. Могу я ее видеть?

— Право, не знаю. Я не могу ее понять. У нее никакой воли к жизни, ни капли. Мне кажется, что она не хочет выздороветь. Должно быть, все это из-за мужчины.— И, взглянув на Джип, она добавила: — Как вы думаете? Он ее бросил?

— Да.

Сиделка оглядела ее с ног до головы.

— Одно удовольствие смотреть на вас! Вы просто расцвели. Но, знаете, может быть, это будет ей на пользу — повидать вас. Входите.

Джип прошла в комнату вслед за сиделкой. Закрытые глаза, влажные белокурые волосы, упавшие на лоб, бледная рука, бессильно лежащая на простыне под сердцем. Хрупкая мадонна, по-прежнему жаждущая леденца! Единственным ярким пятном на постели был золотой ободок на ее пальце.

— Посмотрите-ка, милочка! Я привела к вам приятного гостя.

Глаза и губы Дафны Уинг приоткрылись и тут же снова закрылись. Джип подумала: «Бедняжка! Она решила, что это он, а это всего лишь я!» Бледные губы произнесли:

— О, миссис Фьорсен, это вы! Какая вы добрая, что пришли.

Глаза снова чуть-чуть приоткрылись.

Сиделка выскользнула за дверь. Джип села и робко прикоснулась к руке девушки.

По щекам Дафны Уинг медленно скатились две слезинки.

— Все кончено,— сказала она едва слышно,— и теперь ничего нет — он мертвый, вы знаете. Я не хочу жить. О миссис Фьорсен, почему мне не дают умереть!

Джип наклонилась к ней и ласково погладила ее руку, стараясь не смотреть на эти медленно катящиеся слезинки. Дафна Уинг пробормотала:

— Вы так добры ко мне! Как бы мне хотелось, чтобы мой бедный маленький ребеночек остался жив!

Джип выпрямилась и с трудом проговорила:

— Крепитесь, милая! Подумайте о своей работе!

— Танцы! — Дафна Уинг слабо улыбнулась. — Мне кажется, это было так давно!

— Да. Но теперь все вернется снова.

Дафна Уинг ответила едва слышным вздохом.

Лицо ее теперь уже не казалось вульгарным. С закрытыми глазами и ртом, белая, как алебастр, она была прекрасна. Какой каприз природы — неужели этот цветок мог произрасти от мистера и миссис Уэгг!

Дафна Уинг открыла глаза.

— О миссис Фьорсен, я так слаба и так одинока — и нигде ничего нет!

Джип встала. Ее словно гипнотизировало горе этой девушки, и она боялась показать это.

— Когда сестра сказала, что привела ко мне гостя, я подумала, что это он; но теперь я рада. Если бы он посмотрел на меня так, как смотрел тогда, я бы тут же умерла.

Джип коснулась губами влажного лба, от которого все еще доносился еле уловимый запах флердоранжа.

Она спустилась в сад и поспешно ушла. Но вместо того, чтобы возвратиться домой полями, она завернула за угол коттеджа и спустилась в маленькую рощицу. Там она села на пенек, прижала руки к щекам и ста-

ла смотреть, как солнце золотит папоротники и как над ними кружатся мухи. Любовь! Неужели она всегда так отвратительна и трагична? Налетает, захватывает и уносится прочь. Или толкает одного к другому и тут же отрывает друг от друга. Неужели никогда не бывает так, чтобы двое, которые рвутся друг к другу, слились в тесном объятии и навсегда остались единым целым? Любовь! Она исковеркала жизнь отца и жизнь Дафны Уинг; она никогда не приходит, когда ее ждут, она всегда неожиданный гость. Злокозненная странница, она утомляет душу раньше, чем тело, или тело — раньше, чем душу. Нет, пусть уж лучше совсем не будет любви — это намного лучше! Разве свободный человек согласится стать рабом своего чувства, как Дафна Уинг? Или как ее собственный муж, который всем своим существом тянется к жене, которая его не любит? Или как ее отец — верный раб своих воспоминаний! И, глядя на солнечные блики, падающие на папоротники, Джип подумала: «Любовь! Не приближайся ко мне!»

Каждое утро она бывала в коттедже и каждый раз встречалась с миссис Уэгг. Почтенная женщина почувствовала к ней симпатию и призналась по секрету сиделке — а та по секрету же сообщила об этом Джип, — что миссис Фьорсен «очень аристократична, и глаза такие красивые, прямо итальянка!». Миссис Уэгг была из тех женщин, у которых пристрастие к «аристократичности» — самое заветное в жизни. Это поклонение «аристократичности» и побудило миссис Уэгг развивать способности дочери к танцам. Кто знал, к чему это приведет! Она объяснила Джип, что всегда старалась «воспитать Дейзи как настоящую леди», — и вот вам результат! И она принималась разглядывать волосы Джип, ее уши, руки, ноги. Ее все беспокоили предстоящие похороны.

— Я назову такое имя: Дэйзи Уинг; «Дэйзи» — так ее нарекли при крещении, а Уинг — артистическое имя. Так что я соединю то и другое — и это будет истинной правдой. Надеюсь, никто не станет придираться? Насчет имени отца — может быть, мне сказать так: «Пожойный мистер Джозеф Уинг»? Видите ли, такого человека не было, но надо же кого-то назвать. Я просто не

перенесу, если докопаются до правды. Мистер Уэгг будет в отчаянии. Это, видите ли, по его части — погребения. О, как все это меня расстраивает!

Джип пробормотала:

— О да, конечно.

Хотя Дафна Уинг была все еще смертельно бледна и слаба, стало ясно, что она начинает поправляться. С каждым днем краски возвращались на ее лицо, а вместе с ними — налет вульгарности. Что ж, в конце концов она вернется в свой Фулхэм, освободившись от слепой страсти, окрепшая и, может быть, более серьезная.

В последний день пребывания в Милденхэме Джип снова забрела в рощицу и посидела на том же самом пеньке. Солнечный свет ровно лежал на пожелтевших листьях. Испуганный кролик выскочил из папоротника и тут же спрятался обратно. С опушки маленького лесочка выпорхнула сойка и, резко крича, перелетела на другое место. Теперь, когда пришло время ехать к Фьорсену, Джип понимала, что поступила опрометчиво, вернувшись к нему. После встреч с девушкой мысль о жизни с ним стала для нее еще более тягостной, чем раньше. Только тоска по ребенку как-то оправдывала ее возвращение к нему. Но вдруг она почувствовала нечто близкое к отвращению. Он — отец ее ребенка! Теперь это казалось ей нелепым. Крохотное существо связывало его с ней не больше, чем если бы ребенок произошел от случайной встречи, просто от «погони фавна за нимфой». Нет, ребенок принадлежит ей, только ей! И лихорадочная жажда снова увидеть девочку пересилила в ней все другие чувства.

На следующий день Уинтон увез Джип обратно в Лондон. Усаживая ее в машину, он сказал:

— У тебя сохранился ключ от моего дома? Отлично! Помни, Джип, в любое время дня и ночи — дом к твоим услугам.

Она еще раньше дала Фьорсену телеграмму и приехала домой в начале четвертого. Его не было дома. Телеграмма лежала в прихожей нераспечатанной. Она побежала вверх в детскую. И сразу услышала жалобный плач ребенка, не умеющего объяснить, что у него болит. Она вошла в детскую с каким-то смутным, тор-

жествующим чувством: может быть, крошка плачет о ней!

Бетти, вся красная, качала колыбель и с озадаченным, нахмуренным лицом всматривалась в ребенка. Увидев Джип, она ахнула.

— О боже милосердный! Душенька моя! Я так рада! Я с самого утра ничего не могу поделать с ребенком. Только проснется, сразу начинает плакать. До сегодняшнего дня все было просто чудесно.

Джип взяла ребенка. Темные глаза девочки на несколько мгновений с каким-то удовлетворением уставились в лицо матери. Но при первом же движении ребенок снова начал свою грустную жалобу. Бетти продолжала:

— Вот так она с самого утра, когда приходил мистер Фьорсен. Что и говорить, крошка не любит, когда он приходит. Он так странно смотрит на нее! Сегодня утром я подумала... да, я подумала: «Ведь ты же ее отец, уже пора ей привыкнуть к тебе!» И я оставила их на минутку. А когда вернулась — я только сбегала в ванную, — мистер Фьорсен уже выходил из комнаты, лицо у него было такое злое-презлое, а ребенок кричит!.. Только когда спит, умолкает, а так почти не перестает кричать...

Джип сидела, прижав ребенка к груди и не произнося ни слова.

— Каков он был, Бетти?

Бетти мяла в руках передник; ее круглое, как луна, лицо затуманилось.

— Вот что, — сказала она, — мне кажется, он был пьян. О, я даже уверена — от него пахло спиртным. Это у него началось дня три назад. А прошлой ночью он вернулся домой страшно поздно — я слышала, как он бранился, когда поднимался вверх. О боже! Какая жалость!

Девочка, молча лежавшая на коленях у матери, вдруг снова заплакала. Джип сказала:

— Бетти, мне кажется, у нее что-то с ручкой. Она кричит каждый раз, когда я к ней прикасаюсь. Может быть, булавка или еще что-нибудь. Давай-ка посмотрим! Раздень ее... О Бетти... смотри!

Крошечные ручки были покрыты выше локтей тем-

ными пятнами, словно кто-то беспощадно щипал их. Женщины в ужасе уставились друг на друга.

— Он!

Вся кровь бросилась Джип в голову; глаза наполнились слезами и тут же высохли. Увидев ее лицо, бледное, с судорожно сжатыми губами, Бетти перестала причитать. Когда они смазали ручки ребенка мазью и обернули ватой, Джип побежала в свою спальню и, кинувшись на кровать, разразилась горькими рыданиями, уткнув голову в подушку.

Она рыдала от ярости. Зверь! Впитаться когтями в ее дорогую малютку! И только потому, что бедная крошка заплакала, когда он уставился на нее своими кошачьими глазами! Зверь! Дьявол! А теперь он придет и начнет скулить: «Моя Джип, я совсем не думал... откуда мне было знать, что я делаю ей больно? Она так кричала... почему она кричит, когда видит меня? Это меня расстроило! Я не думал!» Она словно слышала, как он вздыхает и молит о прощении. Но она не простит, на этот раз — нет! Она перестала плакать и лежала, прислушиваясь к тиканью часов, перебирая в памяти сотни мелких доказательств его злобного отношения к ее ребенку — к... его собственному ребенку. Как он мог! Неужели он вправду сходит с ума? Ее так трясло от озноба, что пришлось укрыться одеялом. Здравый смысл подсказывал ей, что этот случай, как и оскорбления, которые он нанес мосье Армо, ее отцу и другим, — все это было связано с какими-то неудержимыми приступами нервного расстройства. Но это не смягчило ее гнева. Ее ребенок! Крохотное создание! Наконец-то она по-настоящему ненавидела этого человека! Она лежала, придумывая самые холодные, самые жестокие, самые язвительные слова, которые ему скажет. Слишком долго она страдала!

В этот вечер он не пришел домой, и Джип легла в десять часов. Ей захотелось взять ребенка к себе: все казалось, что оставить девочку одну опасно. Она принесла ее спящую к себе и, заперев дверь, улеглась в постель. Долгое время она лежала без сна, каждую минуту ожидая, что он вернется. Наконец она уснула и проснулась словно от толчка. Снизу доносился неясный шум. Это он! Она не гасила огня и теперь склонилась

над ребенком. Девочка спала, ее дыхание было ровным и спокойным. Джип села рядом.

Да, он поднимается наверх и, судя по шуму, нетрезвый: громкий скрип, глухой стук, словно он цепляется за перила, но, не удержавшись, падает; бормотание, потом грохот сброшенных на пол башмаков. У нее мелькнула мысль: «Если бы он был совершенно пьян, он не стал бы снимать башмаки; но он не сделал бы этого и будучи трезвым! Знает ли он, что я вернулась?» Еще скрип, точно он пытается подняться на ноги, держась за перила, потом шарканье и сопенье за дверью; вот он нащупывает и поворачивает ручку. Наверное, он знает, что она вернулась, — увидел ее дорожное пальто или телеграмму. Ручка задержалась снова. Через некоторое время яростно затряслась ручка другой двери — между его и ее комнатами. Она услышала его пьяный голос, хриплый, тягучий:

— Джип... Впусти меня, Джип!

После этого звуки стали доноситься то от одной двери, то от другой; потом снова послышался скрип, словно он спускался по лестнице, и все затихло.

Добрых полчаса Джип продолжала сидеть неподвижно, напрягая слух. Где он? Что делает? В ее возбужденном мозгу громоздились все новые и новые домыслы. Видимо, он снова спустился вниз. В этом полупьяном состоянии — какие фантазии могут зародиться в его голове?.. Вдруг ей показалось, что откуда-то тянет гарью. Запах исчез, потом появился снова; она подкралась к двери, бесшумно повернула ключ и, чуть приоткрыв ее, стала принюхиваться.

На площадке было темно. Никакого запаха гари. И вдруг кто-то схватил ее за ногу. Вся кровь отхлынула у нее от сердца; она подавила крик и попробовала закрыть дверь. Но его рука и ее нога попали в щель, и теперь она уже видела, что он лежит ничком во весь рост. Он держал ее, как в тисках. Потом поднялся на колени, на ноги и ворвался в комнату. Задыхаясь, не произнося ни слова, Джип боролась, пытаясь выставить его вон. Как у всякого опьяневшего человека, его силы то внезапно иссякали, то снова возвращались. А сама она даже не думала, что так сильна. Наконец она с трудом выдохнула:

— Уйди! Вон из моей комнаты — ты... ты... мерзавец!

И тут сердце ее замерло от ужаса — он качнулся в сторону кровати, и вот он уже протягивает руки к ребенку.

Она бросилась на него сзади, схватила за руки и крепко стиснула их. Он извивался в ее руках и наконец рухнул на кровать. Улучив момент, Джип схватила ребенка и помчалась вниз, по темной лестнице, слыша, как он топает и скатывается по ступенькам, ощупывая стены. Она влетела в столовую и заперла за собой дверь. Тотчас же он ударился об эту дверь и, должно быть, свалился на пол. Прижимая к груди девочку, которая снова заплакала, она стала ее качать и убаюкивать, не переставая прислушиваться. Ниоткуда не доносилось ни звука. Она села, съжившись, у камина, откуда еще веяло слабым теплом. Из диванных подушек и толстой белой суконной прокладки с обеденного стола она устроила постель ребенку, а сама, дрожа, укуталась в скатерть и так сидела, глядя перед собой широко раскрытыми глазами и все еще прислушиваясь. Сначала доносились какие-то шорохи, потом они прекратились. Долго, долго сидела она неподвижно, затем осторожно подошла к двери. Нет, больше она не повторит ошибки! Теперь она слышала тяжелое дыхание и стояла до тех пор, пока не убедилась, что это — дыхание спящего человека. Только тогда она украдкой отворила дверь и выглянула. Он лежал у нижней ступеньки лестницы в тяжелом пьяном забытьи. Ей был хорошо знаком этот сон — теперь он не проснется.

Она почувствовала какое-то злорадство при мысли, что прислуга застанет его в таком виде утром, когда ее уже здесь не будет. Взяв ребенка, она с большими предосторожностями прокралась мимо спящего. Снова очутившись в своей комнате, она заперла дверь и подошла к окну. Близился рассвет; сад был окутан серой призрачной дымкой. Она видит его в последний раз!..

Джип привела в порядок волосы и оделась потеплее — ее знобило. Собрала несколько мелких вещей, которые были ей дороги, и положила в сумочку вместе с кошельком. Она все делала быстро, удивляясь своему самообладанию и тому, как хорошо она помнит, что

ей надо захватить с собой. Когда все было готово, она написала записку Бетти — взять собак и прийти на Бэри-стрит — и сунула записку под дверь детской. Потом, закутав ребенка в вязаный жакет и в теплую шаль, она спустилась вниз. Уже рассвело, серый свет разливался по прихожей. Благополучно миновав спящего Фьорсена, она на мгновение остановилась, чтобы перевести дух. Он лежал спиной к стене, у нижней ступеньки, подложив под голову локоть, лицо его было немного приподнято вверх. Лицо, которое сотни раз было так близко от ее лица... В этом скорчившемся теле, в спутанных волосах, скулах, запавших щеках, в этих полураскрытых губах под темно-золотыми усами — во всей этой неподвижной фигуре было что-то от прежней одухотворенности, и на секунду сердце Джип сжалось. Но только на секунду. На этот раз все кончено! Навсегда! Осторожно повернувшись, она надела туфли, отперла входную дверь, взяла ребенка, тихо прикрыла за собой дверь и ушла.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

Джип ехала в Лондон. Всю зиму и весну она провела в Милденхэме, много ездила верхом, продолжала занятия музыкой. Она почти ни с кем не виделась, кроме отца, и этот отъезд в Лондон вызвал у нее такое ощущение, какое бывает в апрельский день, когда по синему небу плывут белые облака, а на полях впервые солнце пригревает траву. На остановке в Уидрингтоне в вагон вошел носильщик, с рюкзаком, пальто и клюшками для гольфа; через открытую дверь видна была группа людей. Джип заметила высокую женщину с сидящими светлыми волосами, молодую девушку с фокстерьером на поводке и молодого человека с скочтерьером под мышкой, стоящего спиной к вагону. Девушка целовала скочтерьера в голову.

— До свидания, старина Осси! Какой он славный... Тамбо, лежать! Ты же не едешь.

— До свидания, милый мальчик! Не утомляй себя работой!

Ответ молодого человека заглушило щебетанье девушки:

— О, Брайан, ты... Прощай, Осси! До свидания! До свидания!

Молодой человек вошел в купе. И тут же поезд тронулся. Джип искоса взглянула на него — он стоял у окна вагона и махал шляпой. Это был уже знакомый ей молодой человек, с которым она встретилась на охоте, тот самый, как назвал его старый Петтенс, «мистер

Брайан Саммерхэй», который купил в прошлом году ее лошадь. Наблюдая за тем, как он снимал пальто и устраивал старого скочтерьера на скамейке по ходу поезда. Джип подумала: «Мне нравятся мужчины, которые заботятся сначала о своих собаках, а потом о себе!» У него была круглая голова, вьющиеся волосы, широкий лоб, четко очерченные губы. Она снова начала вспоминать: «Где же все-таки я видела кого-то, похожего на него?». Он поднял окно и спросил, обернувшись:

— Как вам удобнее? О, здравствуйте! Мы встречались на охоте. Вы, наверное, меня не помните?

— Помню, очень хорошо. И вы купили прошлым летом моего гнедого. Как он?

— В прекрасной форме. Я забыл спросить, как вы его звали; я назвал его Сорванцом: он всегда горячится, когда берет препятствия. Я помню, как вы великолепно скакали в тот день.

Оба улыбнулись и замолчали.

Глядя на собаку, Джип сказала:

— Какой чудесный пес! Сколько ему лет?

— Двенадцать. Ужасно, когда собаки стареют.

Они опять умолкли; он смотрел на нее своими ясными глазами.

— Я однажды заезжал к вам с матерью, в позапрошлом году, в ноябре. Кто-то у вас был болен.

— Да, это я болела.

— Тяжело?

Джип покачала головой.

— Я слышал, вы вышли замуж...— Он сказал это с расстановкой, словно стараясь смягчить внезапность своего замечания.

Джип подняла на него глаза.

— Да. Но я со своей маленькой дочуркой теперь живу у отца.

— Вот что!.. А какая охота была тогда, правда?

— Чудесная! Это ваша мать провожала вас?

— Да... И сестра Эдит. Удивительная глушь этот Уидрингтон; я думаю, и Милденхэм не лучше?

— Да, там тихо, но я люблю Милденхэм.

— Кстати, я не знаю вашей новой фамилии.

— Фьорсен.

— Ах, да. Скрипач!.. Вся наша жизнь — чуть-чуть игра, не правда ли?

Джип не ответила на это странное замечание. Он вынул из кармана небольшую красную книжку.

— Вы знаете это? Я всегда беру ее с собой в дорогу. Самое прекрасное, что когда-либо было написано!

Книга была открыта на строках:

Мешать соединенью двух сердец
Я не намерен. Может ли измена
Любви безмерной положить конец?
Любовь не знает убыли и тлена.

Джип продолжала читать:

Любовь — не кукла жалкая в руках
У времени, стирающего розы
На пламенных устах и на щеках,
И не страшны ей времени угрозы — ¹

Солнце, давно уже склонившееся к западу, бросало почти прямые лучи на широкую светло-зеленую равнину, на пятнистых коров, которые паслись на лугу или стояли у канав, лениво обмахиваясь хвостами. Солнечный луч пробился в вагон, и в нем плясали мириады пылинок; протягивая маленькую книжку сквозь эту сверкающую полосу, она тихо спросила:

— Вы много читаете, и все стихи?

— Пожалуй, больше книг по юриспруденции. Но я думаю, что самое прекрасное в мире — это поэзия, правда?

— Нет, по-моему, музыка.

— Вы музыкантша? Да, это похоже на вас. И думаю, что вы прекрасно играете!

— Благодарю вас. А вы совсем не увлекаетесь музыкой?

— Я люблю оперу.

— Это гибрид, низшая форма.

— Вот потому-то она мне и нравится. А вы не любите оперу?

— Нет, почему же. Я как раз за этим еду в Лондон.

— Правда? У вас абонемент?

— На этот сезон.

¹ Шекспир. Сонет 116. Перевод С. Маршака.

— У меня тоже. Отлично, мы будем встречаться.

Джип улыбнулась. Уже давно она не говорила с мужчиной своего возраста, давно не попадалось ей лицо, которое могло бы пробудить ее любопытство и вызвать восхищение, и давно уже никто не восхищался ею самой. Солнечные лучи из-за движения поезда к западу изменили направление, и их тепло как бы усиливало в ней ощущение легкости и какого-то счастья.

О многом можно поговорить за два или три часа путешествия по железной дороге. И какая дружеская атмосфера возникает в эти часы! Может быть, оттого, что им было плохо слышно друг друга из-за шума поезда, разговор их становился все более дружеским. Это временное уединение сближало их скорее, чем порой сближает людей длительное знакомство. В этой долгой беседе он был гораздо разговорчивее, чем она. У нее же накопилось много такого, о чем она не могла говорить. Ей нравилось прислушиваться к его слегка медлительной речи, к смелым остротам, к неудержимым взрывам смеха. Он, не таясь, рассказывал ей о себе — о школе, о жизни в университете, о его желании вступить в сословие адвокатов, о своих надеждах, вкусах и даже бедах. Слушая эту стихийную исповедь, Джип все время улавливала в ней нотки восхищения ею. Он спросил ее, играет ли она в пикет.

— Мы играем с отцом почти каждый вечер.

— Тогда сыграем партию?

Она знала, что ему хочется играть в карты потому, что тогда он сядет к ней поближе, на коленях они расстелят газету, он будет сдавать ей карты, случайно касаться ее руки, смотреть в лицо. Это не казалось неприятным, потому что и ей тоже нравилось его лицо, в котором было какое-то обаяние — что-то легкое и свободное, чего так не хватает многим внушительным, красивым лицам.

Когда, прощаясь, он пожал ее руку, она невольно ответила крепким рукопожатием. Стоя у машины, он любовался ею откровенно и как бы печально; восхищенно глядя на нее, он сказал:

— Мы увидимся в опере, а потом, может быть, и на Роу? Вы ведь позволите мне иногда заходить на Бэри-стрит, правда?

Джип кивнула, и машина двинулась по душным улицам вечернего Лондона. После долгого пребывания в деревне ее комната показалась ей тесной. Надев халат, она села и принялась расчесывать волосы, чтобы избавиться от паровозной гари.

После того как Джип оставила Фьорсена, она несколько месяцев испытывала только облегчение. И лишь недавно стала задумываться над своим новым положением — замужней и в то же время незамужней женщины; разочарованная, она, однако, втайне уже начала мечтать о настоящем друге, и с каждым часом сердце ее и красота созревали для любви. И теперь, видя в зеркале свое лицо, такое сосредоточенное и печальное, она ясно понимала, какой бесплодной была ее жизнь. Что толку быть красивой! Все равно ее красота никому не нужна. Ей еще нет двадцати шести, а она живет, как в монастыре. Вздвогнув, хотя ей и не было холодно, она плотнее запахнула халат. В прошлом году в это самое время она еще была в главном потоке жизни. И все-таки насколько лучше жить вот такой заброшенной, чем вернуться к тому, который навсегда запомнился ей наклонившимся над ее спящим ребенком, с протянутыми руками и растопыренными, похожими на когти пальцами.

После того, как она ушла от Фьорсена в то утро, он гонялся за ней неделями — в Лондоне, в Милденхэме и даже в Шотландии, куда увез ее Уинтон. Но на этот раз она не изменила своего решения, и он прекратил преследования и уехал за границу. С тех пор от него не было вестей, кроме нескольких несвязных или плаксивых писем, написанных явно в состоянии опьянения. А потом он и вовсе перестал писать, и вот уже четыре месяца от него не было ни строчки. Видимо, он наконец как-то «изжил» ее.

Она перестала расчесывать волосы; ей вспомнилось, как тем ранним октябрьским утром она шла с ребенком по тихим, пустынным улицам, как ждала, смертельно усталая, на тротуаре, пока на ее звонок открыли дверь. Она потом удивлялась: неужели только страх побудил ее к этому отчаянному бегству? Отец и тетушка Розамунда уговаривали ее попытаться получить развод. Но все тот же инстинкт запрещал ей делать достоянием других лю-

дей свои тайны и горести; она не хотела и неизбежного в бракоразводном процессе притворства, слов о том, что якобы любила его, хотя на самом деле не любила. Это была ее и только ее ошибка, что она вышла за него без любви!..

...Может ли измена
Любви безумной положить конец?

Если бы только знал ее случайный спутник, какой иронией звучали для нее эти строки!

Она встала и обвела взглядом комнату — свою бывшую девичью спальню. Значит, он помнил ее все это время! Встреча в вагоне не казалась уже ей встречей с незнакомым человеком. Теперь-то уж они, во всяком случае, знакомы! И вдруг она увидела его лицо! Ну, конечно! Как это она сразу не вспомнила? На стене в коричневой рамке висела цветная репродукция знаменитой картины Боттичелли или Мазаччо из Национальной галереи «Голова молодого человека». Когда-то Джип влюбилась в эту картину, и с тех пор она висела в ее комнате. Это широкое лицо, ясные глаза, смелый, четко очерченный рот, это мужество во всем облике... Только то, живое лицо принадлежало англичанину, а не итальянцу; в нем больше юмора, больше «породы», меньше поэтичности, зато было что-то «старогеоргианское». Как бы он смеялся, если бы она рассказала ему, что он похож на деревенского церковного причетника с лохматыми волосами и маленьким рюшем вокруг шеи! Улыбаясь, она заплела косы и легла в постель.

Но уснуть она не могла; слышала, как пришел и отправился в свою комнату отец, как часы пробили полночь, потом час, потом два, и все еще до нее доносился глухой шум Пикадилли.

Она укрылась только простыней, но было очень жарко; вдруг ей почудился запах цветов. Откуда цветы? Поднявшись с кровати, она подошла к окну. Здесь, за занавесью, стояла ваза с цикламенами. Это отец подумал о ней — какой милый!

Нюхая цветы, она вспомнила свой первый бал. Может быть, и Брайан Саммерхэй был там! Если бы его познакомили с ней тогда, если бы она танцевала с ним,

а не с тем господином, который поцеловал ее в плечо, может быть, она по-иному относилась бы ко всем мужчинам? Если бы он восхищался ею в тот вечер — а ведь все восхищались ею, — может быть, он ей понравился бы или даже больше чем понравился? Или она смотрела бы на него, как на всех своих поклонников до встречи с Фьорсеном — этих бабочек, летящих на свечу и глупо обжигающих крылья! А может быть, ей было суждено получить этот урок — и вот она подавлена и унижена...

Взяв из вазы цикламены и вдыхая их аромат, она подошла к картине. Очертания лица, глаза, устремленные на нее, — все было отчетливо видно; в сердце ее что-то слабо затрепетало — так трепещет раскрывающийся листок или крыло вспорхнувшей птицы. То ли на нее действовал запах цветов, то ли воспоминания о том, что случилось с ней за последние дни, но сердце ее снова задрожало легкой необъяснимой дрожью, и она прижала руки к груди.

Было поздно, вернее, рано, когда она заснула. Ей приснился странный сон. Она скакала на своей старой кобыле по полю цветов. На ней было черное платье, на голове корона из сверкающих острых кристаллов; на лошади не было седла, и она сидела, поджав ноги, едва касаясь спины лошади, держа в руках поводья, свитые из длинных стеблей жимолости. Она мчалась и пела, и глазам ее открывался широкий простор полей до самого горизонта. Она чувствовала себя легкой, как пушинка; все время, пока они неслись вперед, старая кобыла поворачивала голову и откусывала цветы жимолости... Потом вдруг лошадиная морда превратилась в лицо Саммерхэя, с улыбкой глядевшего на нее. Она проснулась. На нее падал солнечный луч, пробившийся через занавесь, которую она отодвинула, чтобы увидеть цветы.

ГЛАВА II

В ту же самую ночь Саммерхэй вышел из маленького дома в Челси, где он жил, и пошел к реке. Иногда у мужчин бывает такое настроение, что их бессознательно тянет на простор — в луга, леса, к рекам, где открыт весь

горизонт. Человек одинок, когда любит, и одинок, когда умирает; никому нет дела до человека, целиком погруженного в собственные переживания; но ведь и ему, Брайану Саммерхэю, ни до кого нет дела,— о нет! Он стоял на набережной и смотрел на звезды, сверкающие сквозь ветки платанов, время от времени вдыхая теплый, неподвижный воздух. Думалось о всяких мелочах, просто ни о чем; но какое-то сладостное чувство поднималось в его сердце, и легкий трепет охватывал все тело. Он сел на скамейку и закрыл глаза — и сразу увидел лицо, ее лицо! Один за другим гасли огни в домах напротив; уже не мчались машины и редко встречался прохожий, но Саммерхэй все сидел, как в полусне; улыбка то появлялась на его губах, то исчезала. Легкий ветерок подымал волны на реке.

Уже рассветало, когда он вернулся домой; и вместо того, чтобы лечь спать, он начал просматривать судебное дело, по которому завтра должен был выступать помощником адвоката, и работал до тех пор, пока не пришло время совершать прогулку верхом, принять ванну и позавтракать. У него была одна из тех натур — не столь необычных и среди адвокатов,— которым длительное напряжение идет на пользу. Человек со способностями, он любил свою работу и был на пути к тому, чтобы создать себе имя; и в то же время мало кто умел так невозмутимо, как он, под влиянием минуты вдруг отдаться течению. В нем было что-то противоречивое; он предпочел жить в маленьком доме в Челси, а не где-нибудь в Темпле или Сент-Джеймсе только потому, что любил одиночество; и в то же время он был прекрасным товарищем, хотя многие друзья, очень к нему привязанные, не во всем могли на него положиться. Женщины считали его безусловно привлекательным, но в общем они не задевали его сердца. Саммерхэй любил карточную игру; как человека порывистого, она брала его за живое; но вдруг после смелой и счастливой игры он бросал ее, чтобы когда-нибудь увлечься ею снова. Отец его был дипломатом и умер пятнадцать лет назад; мать была известна в светских кругах. У него не было братьев, только две сестры, и он имел личный доход. Таков был Брайан Саммерхэй в двадцать шесть лет, когда у него еще не прорезались зубы мудрости.

Утром он направился в Темпл, все еще ощущая необыкновенную легкость, и по-прежнему перед ним стояло это матово-бледное лицо с удивительно гармоничными чертами: темные улыбающиеся глаза, чуть широко расставленные, маленькие красивые уши, пышные каштановые волосы над высоким лбом. Иногда ему представлялось нечто менее определенное — какое-то излучение, игра света во взгляде, своеобразный поворот головы, свойственная только ей грация, что-то зовущее и трогательное. Этот образ не давал ему покоя, да он и не желал забыть его — таков уж был его характер: если ему приглянется какая-нибудь лошадь на скачках, он непременно поставит на нее, каковы бы ни были ее достоинства; если понравится опера, он станет ходить и смотреть ее снова и снова; если понравятся стихи, он запомнит их наизусть. И пока он шел вдоль реки — это был его обычный путь, — его обуревали самые непривычные чувства, и он был счастлив.

Саммерхэй немного опоздал и прямо прошел в суд. В парике и мантии он сразу приобрел «старогеоргианский» облик. Одна-две мушки, долгополый кафтан, шпага, табакерка да белый парик или что-нибудь в этом роде — и вот уже перед вами восемнадцатый век: сильное, легкое тело, широкое лицо, смуглая бледность, чистый рисунок губ, выражение какой-то вызывающей беспечности, ясный взгляд и брызжущая жизнерадостность. Просто жалко, что человек родился слишком поздно!

Смыв с себя этот застарелый запах судебных мантий, пергамента, клеевой краски, копченых селедок, словом, всего того, что почему-то окружает правосудие, и погрузив кудрявую голову в воду, он насухо вытерся, вышел из дому и зашагал вдоль набережной, покуривая сигару. Было уже около семи. В это самое время он вчера вошел в поезд и увидел ту, образ которой с тех пор не покидал его. Как известно, лихорадка возникает в определенные часы. Но ведь нельзя же явиться с визитом в семь часов вечера! Единственное, что он мог сделать, — это идти в клуб не по обычной дороге, а через Бэри-стрит.

Он миновал обувной магазин, где давно собирался заказать себе обувь, и подумал: «Интересно, где она по-

купает себе вещи?» Перед ним необыкновенно живо встала ее фигура: вот она сидит в углу купе, вот стоит у машины, и рука ее лежит в его руке. От нее исходил аромат цветов и напоенного дождем ветра! Он застыл перед витриной, не видя своего отражения, — нахмуренного, унылого человека с потухшей сигарой в зубах. Он торопливо двинулся вперед.

На Бэри-стрит он вступил с каким-то странным ощущением слабости в ногах. В этом году цветочные ящики не нарушали строгости фасада дома Уинтона; этот дом ничем не выделялся среди остальных, разве только номером да еще тем, что у Саммерхэя сильно забилося сердце. Завернув на Джермин-стрит, он вдруг приуныл. Клуб его находился в начале Сент-Джеймс-стрит, и он сразу прошел в комнату, где редко бывало много людей. Это была библиотека. Подойдя к французскому отделу, он достал «Трех мушкетеров» и сел спиной к двери и к каждому, кто вошел бы в библиотеку. Его любимый роман всегда вызывал в нем какое-то теплое, дружеское чувство, но он не стал читать. От клуба, где он сейчас сидел, было рукой подать до ее дома; если бы не стены, он мог бы увидеть ее, до нее мог бы, пожалуй, донестись его голос. Что за глупость! Женщина, с которой он встречался всего два раза! Просто нелепо...

«Пять очков! Три дамы — три валета!.. Вы помните, как это у Доусона: «Я по-своему верен тебе, Синара!» Это лучшее, чем все, что есть у Верлена, не считая «Les sanglots longs»¹. Что у вас?

«Только четверка к даме. Вам нравится имя Синара?»

«Да. А вам?»

«Синара. Синара... Да, это осень, лепестки роз, вороха опавшей листвы».

«Как хорошо!.. Идет. Пойди прочь, Осси, не храпи».

«Бедный старый пес! Не тревожьте его. Перетасуйте, пожалуйста, за меня колоду. А, теперь идет совсем другая карта!..»

Ее колени касались его колен!

Книга упала на пол — Саммерхэй вздрогнул.

К черту! Безнадёжно... И, повернувшись, он уселся

¹ «Долгие рыдания» — первые слова стихотворения французского поэта Поля Верлена (1844—1896) «Осенняя скрипка» (франц.).

поглубже в кресле. Через несколько минут он спал. Спал без снов.

Прошло два часа. Его приятель, желая подшутить, подошел к нему и остановился, с ухмылкой глядя на эту кудрявую голову, на это лицо безмятежно спящего ребенка.

Потом приятель слегка толкнул кресло.

Саммерхэй вскочил. «Что? Где я?» — пронеслось у него в голове. Он увидел перед собой улыбающееся лицо приятеля, но сквозь дымку сна ему чудилось другое — красивое, чарующее. Он встряхнулся. — О, черт побери!

— Не сердись, старина!

— Который час?

— Десять.

У Саммерхэя вырвался какой-то неясный возглас, и он уселся в кресле поудобнее. Но он больше не спал. Он видел ее, слышал ее голос и снова чувствовал прикосновение ее теплой руки в перчатке.

ГЛАВА III

В пятницу вечером в оперном театре давали «Кабаллерию» и «Паяцы». Только эти оперы да еще «Фауста» и «Кармен» Уинтон мог слушать, не засыпая.

Глаза женщины, несмотря на то, что ей не полагается пристально разглядывать публику, обычно охватывают большее пространство, чем глаза мужчины. Джип заметила Саммерхэя раньше, чем он увидел ее; она видела, как он вошел и, прижимая цилиндр к белому жилету, оглядывал зал, словно искал кого-то. В вечернем костюме он выглядел очень элегантно. Когда он сел, ей стал виден только его профиль; рассеянно слушая Сантуццу и толстого Туриду, она спрашивала себя: «Обернется он, если пристально посмотреть на него?» И тут он ее увидел. Поразительно, что после того, как они обменялись взглядами, ей сразу захотелось, чтобы он еще раз посмотрел на нее. Понравится ли ему ее платье? Хороша ли ее прическа? Может быть, не следовало мыть волосы этим утром? Но во время антракта она не оглядывалась, пока не услышала его голос:

— Здравствуйте, майор Уинтон.

Уинтон знал об их встрече в поезде. Ему очень хотелось выкурить сигарету, но он не считал возможным оставить дочь одну. И все-таки, обменявшись с Саммерхэем несколькими фразами, он поднялся.

— Присядьте на минуту здесь, Саммерхэй. Я выйду курить.

Саммерхэй опустился в кресло. Джип показалось, что зал и публика куда-то исчезают, и они оба снова одни, в вагоне. Десять минут — всего-то! — чтобы наслаждаться его взглядом, звуком голоса, смехом. Смеяться самой. Быть приветливой с ним. Они ведь друзья!

— В Национальной галерее есть одна картина, которую мне хотелось бы посмотреть, — сказала она, когда он стал прощаться.

— А вы возьмете меня? Завтра? Когда? В три часа?

Она знала, что краснеет; вот такая, с румянцем на щеках и улыбающимися глазами, она испытывала редкую и приятную уверенность: «она красива! А потом он ушел. Отец снова уселся в свое кресло; боясь, что он заметит ее волнение, она тронула его за руку:

— Отец, посмотри ради бога на эту прическу, вон там, через один ряд! Ты когда-нибудь видел такую прелесть?

И пока Уинтон смотрел, оркестр начал увертюру к «Паяцам». Следя за развитием маленькой душещипательной интриги, она почувствовала, что впервые эта опера действует не только на ее эстетическое чувство. Бедная Нэдда! Бедный Канио! Бедный Сильвио! Глаза ее наполнились слезами. В персонажах трагикомедии, живущих двойной жизнью, она, казалось, почувствовала эту любовь — страстную, слишком быстротечную, слишком сильную, слишком бурную, сладостную и пугающую.

Мое тобою сердце пленено. Я твой навеки —
Сегодня и навеки твой!
Что остается мне? Разбитое лишь сердце...

*La commedia è finita*¹.

Надевая плащ, Джип отыскала глазами Саммерхэя.

¹ Представление окончено (итал.).

Она попыталась улыбнуться, но не смогла, и, медленно отведя взгляд, повернулась, и пошла вслед за Уинтоном.

Джип опаздывала не из кокетства, она просто боялась, как бы он не подумал, что ей не терпится встретиться с ним. Она сразу увидела его под колоннадой и заметила, как изменилось его лицо, когда она подошла к нему. Она повела его прямо к картине. Цилиндр и модный воротничок Саммерхэя не очень-то помогали сходству, но оно все же было.

— Ну что?

— А чему вы улыбаетесь?

— У меня есть репродукция с этой картины, еще с тех пор, когда мне было пятнадцать лет; так что я знаю вас уже очень давно.

Он удивленно посмотрел на нее..

— Боже милосердный! Неужели я похож на этого?.. Тогда я попытаюсь найти здесь вас.

Джип покачала головой.

— Тут есть еще одна моя любимая картина — «Смерть Прокриды». Это удивление на лице фавна, закрытые глаза Прокриды, собака, лебедь! И это сожаление о том, что могло быть!

— О том, что могло быть!.. А вам понравились «Паяцы»?

— Мне кажется, опера подействовала на меня слишком сильно.

— И я так подумал. Я следил за вами.

— Гибель от любви — это так страшно!.. Но покажите мне теперь ваши любимые картины. Я могу сказать вам заранее, какие они.

— Да?

— Прежде всего «Адмирал».

— Верно. А еще?

— Две картины Беллини.

— Бог мой! Да вы какая-то волшебница!

Джип рассмеялась.

— Вам нравится решимость, ясность, колорит, красивая композиция. Верно? А вот еще одна моя любимая.

Это было небольшое «Распятие» да Мессины — тон-

кий высокий крест, худой, смиренный, страдающий Христос на фоне светлых сумерек, такой одинокий и такой реальный.

— Это трогает меня больше, чем огромные картины, где он идеализирован. Чувствуешь, что он *был* таким. О! А эти два Франческо! Разве они не прелесть?..

Он кивнул, но глаза его говорили: «И вы тоже». Они провели два часа среди бесконечных полотен и все время — словно были только вдвоем, как тогда, в вагоне. И когда она не разрешила ему проводить ее домой, он так и застыл под колоннадой. Солнце вливалось сюда уже снизу; голуби чистили перышки; по площади проходили люди, темные и маленькие на фоне львов и огромной колоннады. Он ничего этого не замечал. Нет женщины, подобной ей! Она совсем другая, чем эти светские девушки и дамы! И уж вовсе не похожа на людей полусвета. И не из «современных», у которых на уме только высшее образование да избирательное право... Совсем иная! А он так мало знает о ней. Даже не знает, любила ли она когда-нибудь. Ее муж... где он теперь? Что он для нее? «Неповторимая, молчаливая, непонятная — Она!» Когда она улыбается, когда ее глаза... Но глаза ее слишком живые, чтобы он мог заглянуть в них. Как прекрасна она была, когда с улыбкой на губах рассматривала эти картины! Если бы он мог прикоснуться к ним своими губами! Со вздохом он спустился по серым ступеням и вышел на солнце. Лондон, который в это время года всегда кипит напряженной жизнью, показался ему совершенно пустым. Завтра... Завтра он сможет увидеть ее!

ГЛАВА IV

В воскресенье, после того как к ней приходил Саммерхэй, Джип сидела у вазы с гелиотропами и перебирала в памяти отрывки их разговора...

«Миссис Фьорсен, расскажите мне о себе».

«А что вы хотите знать?»

«О вашем замужестве».

«Я совершила ужасную ошибку... Пошла против воли отца. Мужа я не видела уже несколько месяцев и нико-

гда не увижу его, если это будет зависеть от меня. Ну что, достаточно?»

«Вы не любите его?»

«Нет».

«А разве вы не можете стать свободной?»

«Бракоразводный процесс! Б-рр. Я не смогла бы».

«Да, я знаю. Это противно!»

И он пожал ее руку так крепко!

Она глубоко вдохнула запах гелиотропа и, подойдя к роялю, стала играть. Играла до тех пор, пока не вернулся отец. За эти девять месяцев, что Джип была с ним, Уинтон как бы даже помолодел: он одевался с некоторой щеголеватостью, и его короткие волосы всегда были напояжены.

— Приходил мистер Саммерхэй, отец. Он очень жалел, что не застал тебя.

Наступило долгое молчание.

— Сомневаюсь, моя дорогая,— сказал он наконец.

Значит, стоит ей подружиться с каким-нибудь мужчиной; как это вызовет подобное молчание! Чувствуя, что отец пристально смотрит на нее, она спросила:

— Приятно было в парке?

— Тридцать лет назад там прогуливались аристократы и снобы, а теперь бог знает, кого там только нет!

— А цветы — красивы?

— О! Да! И птицы тоже. Но, боже милосердный, что за люди, Джип! Скажи мне, что за парень этот молодой Саммерхэй?

— Он очень мил.

Она всегда читала мысли отца быстрее, чем он ее мысли, и знала, что в нем происходит борьба — он, разумеется, рад, если у нее будут какие-то развлечения, но хочет как-то помягче ее предостеречь. Со вздохом он сказал:

— Каких только причуд не бывает у молодых людей летом, Джип!

Есть хитрые и опытные женщины, умеющие держать в определенных пределах мужчину, в котором видят будущего возлюбленного. Джип знала, что одно ее слово сразу все бы изменило, но она не произносила

его. И все-таки она виделась с Саммерхэем почти каждый день — на Роу, в опере, у себя дома. С некоторого времени у нее вошло в привычку ходить под вечер в Сент-Джеймский парк и сидеть там у воды. Однажды, возвращаясь домой, Саммерхэй прошел парком, и потом они уже постоянно сидели здесь вместе. Зачем огорчать отца, приглашая Саммерхэя приходить на Бэри-стрит? В парке приятно: можно спокойно беседовать, глядеть, как маленькие оборвыши удят рыбу и складывают добычу в стеклянные банки, закусывать, наблюдать в дождливые дни за нравами и обычаями простых людей.

Лето уже близилось к концу, и дни выдались тихие, но во всем чувствовалось ожидание — вот-вот задуют ветры и принесут перемену. И разве это не естественно — сидеть в такое время под деревьями, возле цветов и воды, голубей и уток?

ГЛАВА V

Саммерхэй умел не выдавать своих душевных волнений; когда по окончании судебной сессии он шел на последнее свидание с Джип, лицо у него было таким же, как всегда. Но, по правде говоря, он чувствовал, что попал в тупик. У него был свой собственный моральный кодекс. Быть может, этот кодекс был в какой-то мере слишком «старогеоргианским», но он запрещал причинять страдание женщине. Пока что Саммерхэй держал себя в руках, хотя это стоило ему большего труда, чем он думал сам. Единственным свидетелем его борьбы с самим собой был старый скоч-терьер, ночной сон которого он нарушал уже много раз, расхаживая взад и вперед по гостиной своего маленького дома. Она должна узнать о его чувстве! И если она захочет принять его любовь, ей стоит только шевельнуть пальцем; но она не подает знака. У него кружилась голова, когда он прикасался к ней, когда вдыхал аромат, исходящий от ее платья, когда видел, как легко и нежно вздымается ее грудь; и вести себя спокойно и дружески было истинной пыткой.

Пока он виделся с ней почти ежедневно, он еще мог кое-как владеть собою; а теперь они вот-вот расстанутся на несколько недель, и сердце у него буквально разрывается от тоски. Нелегко было ему и прятать свою любовь от светских знакомых. Человек, страстно любящий, жаждет уединения; он или с головой уходит в напряженную работу, или, словно одержимый, все время созерцает мысленно образ любимой. Работа у Саммерхэя спорилась, и он был рад этому; но, стараясь избавиться от докучливых расспросов друзей, он невольно вызывал толки: «Что это делается с Брайаном Саммерхэем?» Всегда несколько нелюдимый, он не встречался теперь даже с теми, с кем привык вместе завтракать, обедать, танцевать, заниматься спортом. Он сторонился людей своего круга и уходил куда-нибудь, где можно было рассеяться, не привлекая ничьего внимания. В конце концов ему стало ясно, что завладевшая им любовь потребует отказа от многого. И все-таки ни разу он не задал себе вопроса, достойна ли Джип его любви. Она была нужна ему такая, как есть; он не взвешивал своего чувства ни на каких весах.

От мыслей о ее прошлом Саммерхэй попросту отмахивался. Он слышал, что она незаконнорожденная дочь Уинтона, но это только усиливало его желание проучить как следует любого сплетника. Даже ее неудачный брак для него ничего не значил — важно было одно: быть с ней вместе столько, сколько она позволит. А теперь она уедет на взморье, а он в Пертшир охотиться на тетеревов. Целый месяц!

Посмеет ли он высказать ей все? Иногда ее лицо напоминало ребенка, ожидающего, что вот-вот ему скажут что-то резкое, пугающее. А ее нельзя было огорчать. Но один или два раза он все же поймал на себе ее ласковый взгляд, правда, очень мимолетный.

Облокотившись на парапет набережной, он глядел, как течет река. Солнце озаряло ее черные омуты и желтоватые водовороты — эта же вода бежит и мимо Эйншема с его ивами, мимо Оксфорда, Клифтона с его церковью, мимо Маулсфорда, Соннинга. Побывать с нею наедине только один день у реки, только один долгий день! Почему он был все это время таким малодушным? Проведя рукой по лицу, он понял, что похудел. Если

бы только она знала, как он тоскует, как мучается! Когда он повернул в сторону Уайтхолла, ему попались навстречу двое знакомых; один из них был женат. Они тоже уезжали в Шотландию двенадцатого числа. Какой скучной и бессмысленной показалась ему эта охота — а ведь до этого времени она всегда была для него как бы венцом всего года. Ах, если бы можно было поехать в Шотландию вместе с нею!

Он вошел в Сент-Джеймский парк и вдоль озера направился к знакомой скамейке. И вдруг он увидел, что она уже там. Никаких колебаний больше — он скажет все!

На ней было платье из муслина светло-желтого цвета; она сидела, откинувшись на спинку скамьи и скрестив ноги, рука ее покоилась на ручке зонтика, тень от шляпы падала на лицо. Саммерхэй сразу подошел к ней.

— Джип! Так не может больше продолжаться. Вы ведь знаете, я обожаю вас! Если вы не любите меня, я должен буду расстаться с вами. Джип, ведь вы не хотите этого?

Она сделала легкое движение, словно протестуя, и ответила очень тихо:

— Конечно, не хочу. Разве я могу хотеть этого?

— Значит, вы все-таки любите меня!

— Пожалуйста, подождите. Подождите еще немного. Когда мы вернемся, я скажу вам.

— Ждать так долго?

— Месяц. Это нелегко и для меня. — Она подняла на него глаза. — Пожалуйста, не будем сейчас говорить об этом.

Вечером в своем клубе он курил одну сигарету за другой и в облаках дыма видел ее лицо, каким оно было в ту минуту, когда она глядела на него снизу вверх; и он чувствовал себя то на небесах, то в преисподней.

ГЛАВА VI

Домик с верандой на южном берегу, принадлежавший какому-то художнику, знакомому тетушки Розамунды, был окружен садом, где росла одинокая сосна,

отбившаяся от ближнего леса. Дом стоял уединенно на невысоком обрыве, под которым тянулся небольшой пляж.

Глядя на все это ночью из окна спальни, Джип чувствовала себя так, словно она единственное живое существо в мире. Отливающая серебром морская рябь, одинокая сосна, холодный лунный свет, темно-васильковое небо, шум и шорох прибоя на гальке, даже соленый прохладный воздух — все усугубляло ее одиночество. А днем то же самое — знойное марево, когда не шелокнется даже жесткая прибрежная трава, а чайки с криком кружат над самой водой, — она чувствовала себя словно во сне. Она купалась и загорела не меньше своей маленькой дочки; но в ней поднимался какой-то бунт против этой счастливой жизни, против этих летних дней, чаек, яркого солнца, морского прибоя, белых парусов на горизонте; спокойных, согретых солнцем сосен; даже против ребенка, прыгающего, улыбающегося и нежно лепечущего, против Бетти и другой прислуги и всей этой простоты и безмятежности.

Каждый день в определенный час она с нетерпением ждала почтальона. Но письма Саммерхэя начинались, как и ее письма, словами «Мой дорогой друг», и их можно было бы показать кому угодно. Теперь, когда он далеко от нее, разве у него не может возникнуть мысль, что лучше нарушить свои клятвы и забыть ее? Перед ним была вся жизнь; и может ли он соединить свою судьбу с той, у которой нет никакого будущего? Разве не может разлучить его с ней какая-нибудь голубоглазая девушка с золотистыми волосами — она знала, что такие красивее ее! А что тогда? Труднее ли ей станет, чем было до сих пор? Ах, много труднее! Настолько, что она даже боялась думать об этом.

Однажды письма не было целых пять дней. Она чувствовала, как в ней нарастают тоска и ревность, совсем не похожая на ту уязвленную гордость, которую испытала она, застав Фьорсена и Дафну Уинг в студии — как давно все это было! Когда на пятый день почтальон принес только счет за башмаки для маленькой Джип и записку от тетушки Розамунды из Харро-

гейта, где она ежегодно лечилась вместе с Уинтоном, сердце Джип упало. Что это — конец? В слепом отчаянии она пошла в сторону леса. Ничего не видя вокруг, не разбирая дороги, она шла, пока не очутилась в лесу, вдали от людей, среди серо-коричневых стволов, облитых свежей смолой. Бросившись на землю, она оперлась локтями на опавшую сосновую хвою; у нее, так редко плакавшей, хлынули слезы. Но это не облегчило ее. Она повернулась на спину и долго лежала неподвижно. Как тихо здесь даже в полдень! Шум моря сюда не доносился; насекомых было мало; птицы не пели. Высокие голые стволы сосен стояли, как колонны в храме, потолком были их темные кроны и небо. В синем небе плыли редкие облачка. Все здесь располагало к покою, но в ее сердце покоя не было!

Меж деревьев мелькнуло что-то темное, потом еще раз; откуда-то появились два ослика; они остановились, облизывая друг другу шеи и морды. Смирные животные, такие ласковые... Ей вдруг стало стыдно. Почему она так жалеет себя — у нее ведь есть все, чего только можно желать в жизни! Нет только любви, но ведь она думала, что никогда ее и не захочет! Ах, но она так хочет любви сейчас — наконец-то! — всем своим существом!

Вздвогнув, она вскочила — на нее напали муравьи, пришлось стряхивать их с шеи и платья. Она побрела в сторону пляжа. Если он в самом деле встретил кого-либо другого, кто заполнил теперь его мысли, если другая вытеснила ее, она ни словом, ни знаком не покажет, что ей его не хватает, что она любит его, никогда! Лучше умереть!

Джип вышла на залитый солнцем берег. Был отлив, и мокрый песок сверкал опаловыми бликами; по поверхности моря тянулись какие-то извилистые полосы, словно змеи. А дальше к западу виднелась бурая, выгнутая аркой скала, она отрезала берег от моря и была похожа на видение из сказки. Да и все было как во сне. И вдруг сердце Джип застучало так, что у нее перехватило дыхание. На краю невысокого обрыва, немного в стороне от тропинки, сидел Саммерхэй!

Он поднялся и пошел к ней навстречу. Она проговорила спокойным голосом:

— Да. Это я. Видели вы когда-нибудь такую цыганку? Я думала, вы все еще в Шотландии. Как поживает Осси? — Но тут самообладание изменило ей.

— Так больше невозможно, Джип. Мне надо знать. Ей показалось, что сердце ее остановилось. Но она продолжала так же спокойно:

— Давайте присядем на минуту. — Она спустилась вниз по обрыву и пошла в ту сторону, где ее не могли видеть из дома. Пропуская между пальцами жесткие травинки, она сказала:

— Я не старалась влюбить вас в себя. Никогда не старалась.

— Да, никогда.

— Это было бы нехорошо.

— А мне все равно. Для того, кто любит, как я, это безразлично. О Джип, можете ли вы полюбить меня? Я знаю, что я не такой уж замечательный; но вот уже почти три месяца прошло, как мы встретились в поезде, и с тех пор не было минуты, когда я не думал бы о вас.

Джип вздохнула.

— Но что же нам делать? Посмотрите — вон там синее пятнышко в траве, это моя маленькая дочка. Со мной она... и мой отец, и... я боюсь... я боюсь любви, Брайан!

Услышав, что она назвала его по имени, Саммерхэй схватил ее за руку.

— Боитесь? Как — боитесь?

Джип сказала очень тихо:

— Я, должно быть, слишком люблю. Не говорите сейчас ничего. Не надо. Не говорите! Пойдемте в дом, позавтракаем. — И она встала.

Он оставался у нее до вечернего чая, и больше между ними не было сказано ни слова о любви. Когда он ушел, она села под сосной, держа на коленях маленькую дочку. Любовь! Если бы мать отказалась от любви, ее, Джип, не было бы на свете... Уже появилась кошмара, когда она вернулась в дом. Поглядев, как Бетти купает маленькую, она поднялась в свою спальню и стала у окна. Неужели еще сегодня она лежала в лесу и слезы отчаяния катились по ее щекам? Слева от сосны всходила луна, она была едва видна на

бледном небе. Какой-то новый мир, словно зачарованный сад!

Весь вечер она просидела с книгой на коленях, не читая; в ней происходил какой-то переворот — это была первая любовь, растворение «я» в «ты», страстное подчинение, неодолимое, бессознательное желание отказаться от своей воли, готовность к полному слиянию.

Она спала без сновидений, но проснулась усталая и подавленная. Ей было лень купаться, и она безучастно просидела все утро на пляже вместе с маленькой Джип. Хватит ли у нее душевных сил встретиться с ним там, под аркой скалы, как она обещала? В первый раз с тех давних пор, когда она была маленькой капризной девочкой, Джип избегала глаз Бетти, боясь, что та поймет, догадается о многом. После чая она направилась к скале; если бы она не пошла, он явился бы сюда. Она не хотела, чтобы слуги видели его здесь два дня подряд.

Последний августовский день — он был каким-то особенно теплым и благодатным. Пшеница была уже убрана, наливались яблоки, пели малиновки, мягкие сосновые облака плыли в бледно-голубом небе, море улыбалось. Она шла, удаляясь от моря, перебралась через ручей. В этой стороне сосны не росли, бурая почва была богаче. На клеверной отаве, уже высокой, усердно трудились шмели; белогрудые ласточки стремглав бросались вниз и снова взлетали. Джип собрала букет цветов цикория. Приближаясь к скале, она увидела его под аркой — он оглядывал берег, разыскивая ее. Здесь было очень тихо, не слышно было гудения пчел и жужжания мух, только доносился издали слабый плеск невысоких волн. Он все еще не замечал ее; и вдруг ее словно обожгла мысль: «Если я сделаю еще хоть один шаг — это навсегда!» Она затаила дыхание, прижав к губам букет цветов цикория. Потом она услышала его вздох и, бросившись вперед, сказала:

— Я здесь.

Он подхватил ее под руку, и, не говоря ни слова, они прошли под аркой. Плечо к плечу они шагали по сухому песку, вскарабкались на обрыв и через луг вышли к огороженному выгону. Он распахнул перед нею калит-

ку, и, когда она проходила, он обнял ее и поцеловал в губы. Для нее, целованной тысячу раз, это был первый поцелуй! Смертельно побледнев, она отшатнулась от него и оперлась о калитку; потом ее губы задрожали, глаза потемнели; она смотрела на него, словно обезумев, и вдруг, отвернувшись, закрыла лицо руками. Рыдания сдавили ей горло, ей казалось, что вот-вот у нее разорвется сердце. Он робко, растерянно взял ее за руку, что-то умоляюще шептал ей на ухо, но ничто не помогало, она не переставала плакать. Этот поцелуй словно сломал барьер в ее сердце, стер всю ее жизнь до этой минуты, — это было что-то страшное и прекрасное. Наконец она пробормотала:

— Простите... О, простите... Не смотрите на меня. Отойдите немного в сторону, и я... Сейчас все будет хорошо.

Он молча повиновался и, пройдя через калитку, уселся на краю обрыва спиной к ней и лицом к морю.

Джип так сильно вцепилась в дерево калитки, что у нее заболели пальцы. Она смотрела на бабочек, которые в солнечном свете летели к искрящемуся морю, постепенно превращаясь в белые пятнышки на фоне синего неба.

Она никак не могла поверить, что все это правда. Слишком сильным, сладостным, пугающим было это чувство. И она сказала:

— Позвольте мне уйти домой. До завтра!

— Конечно. Как хотите, Джип.

Он прижал ее руку к своей щеке и, сложив руки на груди, снова уставился на море. Джип не пошла домой, а долго просидела в сосновом лесу, пока не сгустились сумерки и звезды не загорелись в небе — оно было того розовато-лилового цвета, который, как утверждают спириты, есть цвет одежд добрых душ.

Поздно ночью, кончив расчесывать волосы, она открыла окно и вышла на веранду. Ни звука в спящем доме, ни дыхания ветра! Ее лицо, руки, вся она горела, как в огне. Луна гнала от нее сон. На море начался прибой, и волны то вздымались, то спадали. Песчаный обрыв казался заснеженным холмом. Все было необычным, как всегда в лунную ночь. Большая ночная бабочка задела

ее лицо. Какой-то ночной зверек завопил в песке. И вдруг тень, падавшая от сосны, шевельнулась — чуть-чуть! Прислонившись к стволу, там стоял Саммерхэй, его лицо уже было заметно теперь на фоне ствола. Луна осветила его руку, которую он приложил к глазам. Потом он каким-то умоляющим жестом протянул к ней эту руку. Джип не двигалась и смотрела прямо на него. С чувством, доселе не изведанным, она увидела, что он идет к ней. Вот он остановился, глядя вверх. Его лицо выражало страсть, мольбу, изумление — она видела все это и слышала его благоговейный шепот:

— Это вы, Джип? Правда, это вы? Вы выглядите такой юной!

ГЛАВА VII

С того времени, как Джип отдалась ему, она чувствовала себя словно заколдованной — она ведь никогда не верила в любовь, никогда не думала, что может полюбить так, как любила сейчас! Дни и ночи проходили для нее как во сне. Если раньше она считала невозможным посвящать посторонних в секреты своей замужней жизни, то теперь для нее вообще не существовало никого. Только мысль об отце тяготила ее. Он вернулся в Лондон, и она знала, что обязана рассказать ему все.

Она уехала еще до конца месяца, который должна была провести у моря, приказав Бетти вернуться вместе с маленькой Джип двумя днями позже. Уинтон, побледневший за время лечения, застал ее дома, когда вернулся из клуба.

Она надела вечернее платье. Золотистые от загара лицо и шея подчеркивали белизну ее плеч. Он никогда не знал ее такой, никогда не видел, чтобы ее глаза так сияли. У него вырвался вздох удовлетворения. Она напомнила цветок, который долго не распускался и вдруг расцвел во всем великолепии. Джип отвела от него взгляд и весь вечер откладывала свою исповедь. Ей было нелегко, очень нелегко! Наконец, когда он уже закурил свою сигару «на сон грядущий», она опустилась на ковер возле его кресла и прислонилась к его колену, чтобы он не

видел ее лица, — совсем так, как после ее первого бала, когда она слушала его исповедь.

— Отец, помнишь, ты говорил мне однажды, что я не понимаю чувства, которое ты и моя мать испытывали друг к другу?

Уинтон молчал, и она закончила:

— Теперь я знаю, как это бывает; скорее умрешь, чем откажешься от него.

— От кого? От Саммерхэя?

— Да. Я думала, что никогда не полюблю, но ты оказался прав.

Прав! В горестном молчании он поспешно размышлял: «Что же делать? Что я могу сделать? Добиваться для нее развода?»

То ли его смутил звук ее голоса, то ли встревожила серьезность положения, но он почему-то не почувствовал возмущения, как в те дни, когда он потерял ее из-за Фьорсена. Любовь! Такая же, как та, что застигла врасплох ее мать и его самого! Любовь к этому юноше? Приятный молодой человек, хороший наездник — ее можно понять! Вот только знать бы, как поступить! Он положил руку ей на плечо и сказал:

— Тогда, Джип, нам надо заняться разводом, а уж потом...

— Слишком поздно. Пусть тот разводится со мной, если хочет!

Слишком поздно? Неожиданно он вспомнил, что не вправе сказать ей хоть одно слово укора. И он замолчал. Джип продолжала:

— Я люблю его всем своим существом. Мне все равно, как это будет — открыто или тайно. Мне все равно, что бы об этом ни подумали.

Она повернулась к нему. Такой он никогда еще не видал Джип! Вся пылающая, почти задыхающаяся, с настороженным взглядом, каким смотрит кошка или львица, когда что-то угрожает ее детенышам. Он вспомнил, какое у нее бывало напряженное лицо, когда еще девочкой она брала на лошади слишком высокие для нее препятствия. Наконец, он нарушил молчание:

— Жалею, что ты не сказала мне этого раньше.

— Я не могла. Я сама еще не знала. О, отец, я всегда огорчаю тебя! Прости меня.

Она приложила его руку к своей горячей щеке. И он подумал: «Простить? Разумеется, я прощу. Дело не в этом, а дело в том...»

Перед ним встала картина: о его любимой Джип начинают поговаривать, о ней идет молва из уст в уста; ей, как и ему, приходится скрываться от всех, встречаться украдкой, урывками, оберегать эту тайну даже от собственной маленькой дочери. Ах, только не это! И все-таки даже это лучше, чем злые языки, любопытствующие глаза, люди, которые подмигивают или смотрят на тебя с благородным негодованием! Саммерхэй принадлежал примерно к тому кругу, в котором вращался он сам; в замкнутом мирке всегда особенно пышно расцветают сплетни, их можно уподобить ползучим паразитическим растениям. Его мозг стал поспешно, но уже хладнокровно искать какого-то выхода. На лице у него снова было выражение охотника, заметившего лису, убегающую из чащи.

— Никто этого не знает, Джип?

— Никто.

Это уже кое-что! С раздражением, которое поднималось из самой глубины его души, он пробормотал:

— Я не вынесу, если тебе придется страдать, а этот тип Фьорсен выйдет сухим из воды. Можешь ты отказаться от встреч с Саммерхэем, пока мы не добудем для тебя развода? Это необходимо уладить, пока никто ничего не знает. Я думаю, ты можешь пойти на это ради меня, Джип?

Джип поднялась и долго стояла у окна, не отвечая. Уинтон пристально следил за ее лицом. Наконец она сказала:

— Нет, не могу. Мы можем отказаться от встреч, дело не в этом. А дело в том, что я перестала бы себя уважать. Ах, отец, разве ты не понимаешь, что Фьорсен на свой лад действительно любил меня? Как могу я притворяться? Создавать для себя юридическое оправдание, рассказывать о Дафне Уинг, о его пьянстве, о ребенке; делать вид, будто я хотела, чтобы он меня любил, в то время как я ненавидела его, и мне было безразлично,

верен он мне или нет. И пойти на это, зная, чувствуя каждую минуту, что для этого, другого, я — все! Лучше уж рассказать все Фьорсену и попросить его, чтобы он развелся со мной.

— А если он не захочет?

— Тогда моя совесть будет по крайней мере чиста; и мы будем жить так, как сможем.

— А маленькая Джип?

Глядя прямо перед собой, словно желая проникнуть в будущее, Джип медленно проговорила:

— Когда-нибудь и она поймет. А возможно, все это кончится, прежде чем она узнает. Разве счастье бывает долговечным?

Она наклонилась к нему, поцеловала в лоб и вышла. Осталось тепло ее губ, ее аромат, словно пахнувшие на Уинтона откуда-то из далекого прошлого.

Значит, ничего нельзя сделать? Люди его склада обычно не слишком глубоко вникают в переживания даже своих близких; теперь он вдруг яснее, чем когда-либо раньше, постиг натуру дочери. Бесцельно принуждать Джип действовать наперекор ее собственным чувствам! И все же сидеть и просто наблюдать все это — видеть, как его собственная страсть с ее испепеляющей силой теперь возродилась в ней, и, возможно, на многие годы! Старая народная пословица промелькнула в его голове: «Яблоко от яблони недалеко падает». Она теперь отдала всю себя, и будет отдавать полными пригоршнями — без меры, без оглядки! Как он сам, как ее мать!.. Пусть так! Джип все-таки выпала лучшая доля, чем той, покойной. Не надо заранее напрашиваться на неприятности. А слезами горю не поможешь!

ГЛАВА VIII

Джип лежала без сна. Мозг ее сверлила мысль, что надо все рассказать Фьорсену. Захочет он развестись с ней, если она об этом попросит? Презрение к тому, что он называл «этой буржуазной моралью», его безволие, грубость, наконец, уязвленное самолюбие — все это, конечно, помешает ему быть уступчивым. Нет, он не даст ей развода! Она в этом уверена — разве что слу-

чайно, если ему самому понадобится узаконить свою свободу; но это маловероятно.

Что она выиграет от развода? Успокоит свою совесть? Но вправе ли она думать о собственной совести, если это может причинить боль любимому? И не смешно ли говорить о совести по отношению к человеку, который менее чем через год после женитьбы взял себе любовницу, не постеснялся даже встречаться с ней в доме, который содержит и оплачивает его жена?

Нет, сказать обо всем Фьорсену — это только потешить свою уязвленную гордость, ведь ей приходилось делать то, чего она не хотела.

Она спустилась к завтраку, ни на шаг не приблизившись к решению; ни она, ни отец не упоминали о вчерашнем разговоре.

Потом Джип вернулась в свою комнату, чтобы после месячного отсутствия привести в порядок платье. Было уже за полдень, когда, услышав легкий стук, она открыла дверь и увидела Марки.

— Прошу извинения, мэм.

Джип впустила его. Марки закрыл за собой дверь.

— Мистер Фьорсен в прихожей, мэм. Он пролез в дверь, когда я открыл ее на его звонок; он почти оттолкнул меня, и я не смог удержать его.

— Отец дома?

— Нет, мэм. Майор отправился в клуб фехтовать.

— Что вы сказали Фьорсену?

— Сказал, что я посмотрю, но, насколько могу судить, никого нет дома. Может быть, попробовать как-нибудь отделаться от него, мэм?

Джип покачала головой.

— Скажите, что его никто не может принять.

Вальдшнепьи глаза Марки под черными кустистыми бровями смотрели на нее с грустным сочувствием. Он открыл дверь, собираясь выйти. За дверью стоял Фьорсен, он быстро, рывком проник в комнату. Она увидела, как Марки поднял руки, словно желая обхватить его сзади, и сказала спокойно:

— Марки, пожалуйста, подождите там.

Когда дверь закрылась, она отошла к туалетному сто-

лу и остановилась, глядя на мужа; сердце ее билось так, словно готово было выскочить вон.

Он отрастил себе бородку, щеки у него слегка округлились, глаза казались еще более зелеными; в остальном он был таким же, как запомнился ей. И первой ее мыслью было: «Почему я жалела его? Он не будет мучиться, не сопьется до смерти — у него жизненных сил хватит на двадцать человек».

Неестественная улыбка, с которой он вошел, исчезла с его лица. Он оглядел комнату с тем же наполовину злобным, наполовину трусливым выражением, которое ей было знакомо.

— Ну, Джип,— сказал он, и голос его слегка дрогнул.— Наконец-то! Ты не хочешь поцеловать меня?

Как глупо! Джип вдруг почувствовала себя совершенно спокойной.

— Вы хотите поговорить с моим отцом? Его нет дома. Фьорсен возмущенно пожал плечами.

— Послушай, Джип! Я вчера вернулся из России. Я заработал кучу денег. Вернись ко мне! Я исправлюсь, клянусь тебе! Ах, Джип, вернись ко мне, и ты увидишь, как все будет хорошо! Я увезу тебя за границу, тебя и *bambina*¹. Мы поедem в Рим, словом, куда захочешь, мы будем жить так, как тебе нравится. Только вернись ко мне!

Джип ответила с каменным лицом:

— Вы говорите бессмысленные вещи.

— Джип, клянусь, я не встретил женщины, которая может сравниться с тобой. Будь добра ко мне еще раз. Теперь я не собоюсь с пути. Испытай меня! Испытай меня! Моя Джип!

Эти трагические, умоляющие интонации показались ей сейчас особенно фальшивыми и ребяческими; Джип поняла, как сильно то, новое чувство, которое живет в ее сердце. И чем больше оно о себе заявляло, тем жестче становились ее лицо и голос.

— Если это все, что вы пришли сказать,— пожалуйста, уходите. Я никогда не вернусь к вам. Раз и навсегда поймите это, пожалуйста.

Его молчание произвело на нее больше впечатления,

¹ Девочку (итал.).

чем его мольбы; своей обычной крадущейся походкой он приблизился к ней вплотную, чуть не касаясь лицом ее лба.

— Ты моя жена,— сказал он.— Я требую, чтобы ты вернулась. Ты должна быть у меня. Если ты не вернешься, я убью тебя или себя.

И вдруг он обнял ее и рванул к себе. Она подавила крик и очень тихо, не двигаясь, сказала:

— Отпустите меня, мне больно. Сядьте спокойно. Я вам кое-что расскажу.

Ее тон заставил его разжать руки и отодвинуться, чтобы увидеть ее лицо. Джип отвела его руки, села на старый дубовый сундук и указала ему на подоконник. Сердце у нее болезненно колотилось, она ощущала почти физическую тошноту: когда он стоял близко, она чувствовала сильный запах коньяка. Все выглядело так, словно она попала в клетку дикого зверя или в одну палату с сумасшедшим! Она вспомнила о его растопыренных пальцах, готовых, как когти, впиться в ее ребенка. Вспомнила так живо, что она едва видела его сейчас, сидящего на подоконнике и ждущего, что она скажет. Пристально глядя прямо ему в глаза, она тихо сказала:

— Ты говоришь, что любишь меня, Густав. Я тоже старалась тебя любить, но не могла никогда, с самого начала. Я очень старалась. Я думаю, для тебя все-таки имеет значение, что чувствует женщина, даже если это твоя жена.

Она увидела, как дрогнуло его лицо, и продолжала:

— Когда я поняла, что не могу любить тебя, я почувствовала, что у меня нет на тебя прав. Я не настаивала на своих правах, правда?

Снова его лицо дрогнуло, но она торопливо продолжала:

— Но не мог же ты требовать от меня, чтобы я всю свою жизнь прожила без любви — ты, который любил столько раз? — Крепко сжав руки, сама себе удивляясь, она проговорила: — А теперь я люблю. Я отдалась другому.

Он издал какой-то странный, скулящий звук и закрыл лицо руками. У Джип промелькнуло в голове: «Прием

попрошайки: пожалейте, дорогой сэр, будьте милосердны!» Что же, он сейчас вскочит и задушит ее? Броситься к двери, позвать на помощь? Несколько долгих и страшных мгновений она смотрела на него; он сидел на подоконнике, раскачиваясь из стороны в сторону, все так же закрыв лицо руками. Вдруг, не глядя на нее, он прижал руку ко рту и выбежал из комнаты.

Через открытую дверь Джип увидела фигуру Марки — он сделал движение, когда мимо него пробежал Фьорсен. Заперев дверь, она легла в постель. Сердце ее стучало, как молоток. Если от этого потрясения Фьорсен снова запьет, мало ли что может еще случиться?

Он говорил дикие вещи; но какое у него право на ревность, на гнев? Какое право? Она вскочила, все еще дрожа, подошла к зеркалу и машинально стала поправлять волосы. Просто чудо, что она осталась невредимой!

Она уговорилась с Саммерхэем встретиться в три часа на скамейке в Сент-Джеймском парке. Но теперь все стало другим, стало трудным и опасным. Подождать, посоветоваться с отцом? Но если бы она не пришла на это свидание, Брайан стал бы беспокоиться, думать, что с ней что-то случилось; или ему пришло бы в голову — о, глупость! — что она забыла о свидании или даже раскаялась в своей любви! А что бы подумала она сама, если бы он не пришел на свидание после стольких дней блаженства? Она, конечно, решила бы, что он раздумал, разлюбил, понял, что она недостойна его, что женщине, которая способна отдаться так легко, он не может посвятить свою жизнь.

В этих жестоких сомнениях Джип провела следующие два часа, пока стрелка не подошла к трем. Если она не пойдет, он явится сюда, на Бэри-стрит, а это еще опаснее. Она надела шляпу и быстро пошла в сторону Сент-Джеймского дворца. Убедившись, что ее никто не преследует, она почувствовала себя смелее. Она опоздала на десять минут и сразу увидела, что он прохаживается взад и вперед, оборачиваясь через каждые несколько секунд, чтобы не упустить из виду скамейку.

Поздоровавшись с той трогательной небрежностью любовников, которая мало кого обманывает, они пошли по аллее в Грин-парк. Она передала ему разговор с отцом. И только когда он крепко сжал ее руку под зонтиком, лежавшим у нее на коленях, она заговорила о Фьорсене.

Он убрал руку и спросил:

— Он прикасался к тебе, Джип?

Этот вопрос потряс ее. Прикасался ли? Да!

У Саммерхэя вырвалось что-то вроде стона, он стиснул зубы. Она воскликнула:

— Брайан! Не надо! Я никогда не позволила бы ему поцеловать меня.

Он с усилием заставил себя поглядеть на нее.

— Ничего! Все хорошо,— сказал он наконец.

Она сидела неподвижно, уязвленная в самое сердце. Для него она загрязнена, запятнана. Ну, конечно! Но ведь сердце ее никогда не было затронуто; оно принадлежит только ему одному, навсегда! Видимо, этого мало для мужчины. Он хочет, чтобы осталось в неприкосновенности и тело. Но это непоправимо; надо было думать об этом раньше, а не сейчас. Убитая, она сидела, глядя прямо перед собой.

Возле них остановился маленький мальчик — он глядел на них круглыми неподвижными глазами. В руке он держал ломоть хлеба, намазанный джемом, рот и щеки у него были перепачканы. Женский голос позвал: «Джекки! Иди сюда сейчас же!» Мальчик бросился прочь, но все оглядывался, держа в руках хлеб с джемом, словно предлагая кусочек Джип. Саммерхэй обнял ее.

— Все прошло, дорогая. Это не повторится. Обещаю тебе!

Да, конечно, он может обещать, может даже выполнить это обещание. Но он будет страдать, всегда будет страдать, когда подумает о том человеке. И она сказала:

— Я могу быть только такой, какая я есть, Брайан. Я не могу стать иной для тебя. Я хотела бы этого, о, как я хотела бы этого!

— Не думай об этом, — ответил он. — Идем ко мне, выпьем чаю. Там никого нет. Прошу тебя!

Он взял ее за руки. И Джип забыла обо всем, осталась только радость оттого, что она с ним.

ГЛАВА IX

Пробежав мимо Марки, словно слепой, Фьорсен вышел на улицу; не пройдя и сотни шагов, он бросился назад. Он забыл шляпу. Слуга, все еще стоявший в дверях, протянул ему его широкополый головной убор и захлопнул дверь перед самым его носом.

Фьорсен направился в сторону Пикадилли. Если бы не это выражение лица Джип, чего бы он не натворил! Вместе с приступом мучительной ревности он чувствовал какое-то облегчение, словно избавился от чего-то ужасного. Так, значит, она никогда не любила его! Никогда? Невозможно! Немыслимо, чтобы женщина, которую он любил так страстно, не почувствовала бы никогда такой же страсти! Перед ним вставал ее образ — она уступала, всегда уступала. Не могло же это быть сплошным притворством! Он ведь не какой-нибудь заурядный человек — у него есть обаяние, или... это только другие женщины так думают? То, что она сказала, — ложь; нет, она, безусловно, солгала!

Он вошел в кафе и заказал коньяку. Ему принесли графин, на котором были отмечены порции. Он просидел долго. А когда встал и вышел, было выпито ровно девять порций; он чувствовал, что кровь его бурлит от гнева, а душа полна благородства. Что ж, пускай себе любит! Но уж позвольте и ему добраться до глотки ее любовника! Вдруг он замер на месте. На доске, которую нес человек-реклама, стояли слова:

«Дафна Уинг. Пантеон. Дафна Уинг. Пластические танцы. Поэзия движения. Сегодня в три часа. Пантеон. Дафна Уинг».

Вот кто действительно любил его — маленькая Дафна! Шел уже четвертый час. Войдя в зал, он с каким-то чувством горького удовлетворения занял место в партере, поближе к сцене. Какова ирония судьбы!.. Ага,

вот она вышла на сцену. Пьеретта в короткой юбочке из прозрачного муслина, лицо, под стать костюму, сильно набелено. Она встала на пальцы и медленно возвращается, подняв руки в виде арки над шелковистыми кудрями.

Идиотская поза! Но на лице ее было прежнее кроткое выражение, напоминающее голубку. Эта ее одухотворенность в танце потрясла Фьорсена, хотя позы были нелепы. Она порхала из конца в конец сцены, делая пируэты, на мгновение ее подхватывал затянутый в черное трико Пьеро с таким же набеленным лицом. Он поднимал ее вверх ногами, потом она снова, соединив аркой руки над головой, стояла на одной ноге, согнув в колене другую и прижав к щиколотке опорной ноги. Затем Пьеро обхватывал ее за талию, и она, продолжая стоять на пальцах и подняв другую ногу вверх, вся трепетала, и трепетание ее тела должно было показать зрителю, как все это невероятно трудно; наконец, встав на всю стопу, она понеслась за кулисы и тут же выбежала обратно с застывшим на лице одухотворенным выражением — заблудившаяся голубка! Ее точеные ноги сверкали белизной. Да, на сцене она была восхитительна! Высоко подняв руки, Фьорсен принялся аплодировать и крикнул: «Bravo!» Он заметил, как глаза ее внезапно округлились, но только на мгновение, не больше. Она увидела его. «Меня не так-то легко забыть!» — подумал он.

Потом она выступила во втором танце. На этот раз зрители могли увидеть еще и отражение ее фигуры в маленьком, покрытом водорослями искусственном пруду, устроенном посредине сцены. «Последний танец Офелии», — ухмыльнулся Фьорсен. Она была в легкой тунике цвета морской волны, с разрезами в нескольких местах, чтобы обязательно показать великолепные ноги; с маргаритками и васильками в рассыпавшихся волосах, она кружилась вокруг своего отражения в воде, томная, бледная, безутешная; затем, изображая горестное отчаяние, что нужно было для раскрытия образа, она исступленно стала носиться по сцене и, наконец, под сверкающими огнями рамп, погрузилась в искусственный пруд и поплыла среди бумажных водяных лилий. Она была все так же очаровательна — эти блестящие глаза, полураскрытые губы, распущенные волосы!

Фьорсен снова высоко поднял руки, захлопал и снова крикнул: «Bravo!»

Занавес опустился, но Офелия не вышла на вызовы — оттого ли, что она увидела его, или ей хотелось сохранить иллюзию, что она утонула? Такая «театральность» всегда была ей свойственна.

Громко сказав «тьфу!» двум клоунам в ситцевых костюмах, которые хлопали друг друга по животам, он встал и вышел вон. Нацарапав на карточке: «Хотите видеть меня? Г. Ф.», — он передал ее через артистический вход. Ему ответили:

— Мисс Уинг может принять вас через минуту, сэр.

Прислонившись к оштукатуренной стене, Фьорсен стоял на сквозняке в коридоре и спрашивал себя: какого черта он здесь и какого черта она ему скажет?

Она уже надела шляпу, а костюмерша застегивала на ней лакированные ботинки. Дафна Уинг протянула руку через ее голову и сказала:

— О мистер Фьорсен, как поживаете?

Фьорсен взял ее маленькую влажную руку и окинул девушку взглядом, опасаясь, однако, встретиться с ней глазами. Лицо ее осталось таким же и все-таки было новым. В нем чувствовалось больше твердости, больше уверенности; только безупречная гибкая фигурка не изменилась. Костюмерша пробормотала: «До свидания, мисс» — и ушла.

Дафна Уинг слабо улыбалась.

— Я так долго не видела вас.

— Да. Я был за границей. Вы танцуете, как всегда, прекрасно.

— О да; то, что случилось, не помешало моим танцам!

Сделав над собой усилие, он посмотрел ей прямо в лицо. Неужели это та самая девушка, которая так цеплялась за него, надоедала своими поцелуями, слезами, мольбами о любви, хотя бы самой маленькой? Сейчас она была привлекательнее, намного привлекательнее, чем прежде! И он сказал:

— Поцелуй меня, маленькая Дафна!

Дафна Уинг не пошевелилась. Белыми зубками она прикусила нижнюю губу и ответила:

— О нет, благодарю вас! Как поживает миссис Фьорсен?

Он сказал отрывисто:

— С ней покончено.

— О! Она развелась с вами?

— Нет. Довольно о ней, я сказал — довольно!

Дафна Уинг, не двигаясь с места, стояла посреди своей маленькой, заполненной всяким хламом артистической. Она произнесла деловым тоном:

— Не очень-то вы вежливы, не правда ли? Это просто забавно. Не знаю, рада ли я видеть вас. Мне было очень тяжело, вы сами понимаете; а миссис Фьорсен вела себя, как ангел. Зачем вы пришли ко мне?

В самом деле! Зачем он пришел? Молнией мелькнула мысль: «Она поможет мне забыть». И он тихо проговорил:

— Я поступил жестоко, Дафна. Я пришел, чтобы загладить свою вину.

— О нет! Вы ничего не можете исправить; нет, спасибо! — Она стала натягивать перчатки. — Знаете ли, вы меня многому научили, я даже должна быть вам благодарна. О, вы отрастили бородку? Вы думаете, это вам идет? Нет, вы скорее напоминаете Мефистофеля.

Фьорсен пристально смотрел на это прекрасное лицо — сквозь удивительную белизну кожи едва пробивался слабый румянец. Что ж, она смеется над ним? Дафна Уинг — и такой деловой тон!

— Где вы теперь живете? — спросил он.

— Я живу отдельно, в своей студии. Можете прийти и посмотреть, если желаете. Но только поймите сразу: любви мне не надо, я больше не хочу.

Фьорсен осклабился.

— Даже с другим? — спросил он.

Дафна Уинг ответила спокойно:

— Прошу вас обращаться со мной, как с леди.

Фьорсен прикусил губу.

— Могу я иметь удовольствие пригласить вас на чашку чая?

— Благодарю вас. Я очень голодна. Я не завтракаю, когда у меня дневное выступление. Я считаю, что так лучше. Вам понравилось, как я танцую Офелию?

— Весьма искусно.

— Это делается с помощью зеркал, и еще там есть сетка из проволоки. Но у вас создалось впечатление, что я безумная? — Фьорсен кивнул. — Я очень рада. Так пойдете? Мне очень хочется чаю.

Она повернулась, взглянула на себя в зеркало, поправила обеими руками шляпу, на секунду показав замечательные линии своей фигуры, взяла сумочку, висевшую на спинке стула, и сказала:

— Я думаю, вам лучше пройти вперед, если не возражаете. Так мы не обратим на себя внимания. Встретимся у «Раффеля», там у них очень вкусные вещи. Au revoir¹.

Совершенно сбитый с толку, раздосадованный, странно притихший, Фьорсен пересек Ковентри-стрит, вошел в пустой ресторан «Раффеля» и занял столик у окна. Образ Джип, сидящей на дубовом сундуке у кровати, начисто вытеснил танцовщицу. Но, подняв глаза, он увидел Дафну Уинг — она стояла на улице и внимательно рассматривала выставленные в витрине пирожные. Потом она вошла.

— А! Вы уже здесь? Знаете, мне хотелось бы кофе, глясе, орехового торта и сладких марципанов; о, и чуточку сбитых сливок к тарту! Вы не возражаете? — Усевшись на стул, она принялась разглядывать его.

— Где вы были за границей?

— В Стокгольме, Будапеште, Москве и других местах.

— Великолепно! Как вы думаете, был бы у меня успех в Будапеште или Москве?

— Возможно. Вы типичная англичанка.

— О! Вы думаете, что я типичная англичанка?

— Безусловно. Ваш тип... — Он едва удержался, чтобы не сказать: «Ваш вульгарный тип едва ли возможен в какой-либо другой стране».

— Мой тип красоты?

Фьорсен усмехнулся и кивнул.

— Пожалуй, это — самое приятное из того, что вы когда-либо мне сказали. Но все-таки мне хочется думать, что я скорее греческого типа, языческого.

¹ До свидания (франц.).

Ее профиль на фоне яркого света был удивительно чист и нежен. Он сказал:

— Вы, наверно, ненавидите меня, маленькая Дафна. Ведь вы должны ненавидеть меня.

Круглые серо-голубые глаза Дафны Уинг смотрели на него с тем же выражением, с каким она только что разглядывала марципаны.

— Нет. Теперь у меня уже нет ненависти к вам. Конечно, если бы я все еще любила вас, я бы вас ненавидела. Это странно, правда? Но ведь можно думать о человеке, что он дрянь, и не чувствовать ненависти к нему?

— Значит, вы думаете, что я дрянь?

— А разве нет? Иначе вас и не назовешь! Подумайте только, что вы сделали со мной!

— А вы все-таки не отказались выпить со мной чашку чая!

Дафна Уинг принялась за торт и сказала с набитым ртом:

— Видите ли, я теперь независима и знаю жизнь. А поэтому я вас не боюсь.

Фьорсен схватил ее руку в том месте, где ровно бился пульс. Она взглянула на него, переложила ложечку в другую руку и продолжала есть. Фьорсен отдернул свою руку, как ужаленный.

— Вы переменились, это безусловно!

— А вы не ожидали, правда? Знаете, такие испытания не проходят даром. Думаю, что я была ужасной дуручкой...— Она подняла ложку и перестала есть.— И все же...

— Я все еще люблю вас, маленькая Дафна!

У нее вырвался слабый вздох.

— Прежде я многое бы отдала, чтобы услышать это. Она отвернулась, выбрала большой орех из торта и положила в рот.

— Вы придете посмотреть мою студию? Она у меня довольно приятная и к тому же новая. Я зарабатываю двадцать пять фунтов в неделю, а по следующему контракту буду получать тридцать. Мне хотелось бы, чтобы миссис Фьорсен знала об этом... О, я забыла, что вам не нравится, когда я говорю о ней. А почему? Мне хотелось

бы, чтобы вы ответили на этот вопрос.— Посмотрев на его разъяренное лицо, она продолжала: — Я ни капли вас не боюсь теперь. Раньше боялась. А как поживает граф Росек? Все такой же бледный? А почему вы ничего не заказываете себе? Вы совершенно ничего не едите. Знаете, что бы я еще съела? Шоколадный эклер и малиновое мороженое с сельтерской водой и ломтиком мандарина.

Когда она медленно высосала напиток через соломинку и воткнула ее в ломтик мандарина, они вышли из ресторана и сели в машину. По дороге Фьорсен пытался завладеть ее рукой, но она, сложив руки на груди, спокойно проговорила:

— У вас дурные манеры — как можно вести себя так в машине!

Сердито отдернув руку, он искоса наблюдал за ней. Неужели она играет с ним? Или она действительно утратила интерес к нему? Ему это казалось невероятным. Машина, проехав по лабиринту улиц Сохо, наконец, остановилась. Дафна Уинг зажгла свет в коридоре и прошла к зеленой двери направо; открывая ее ключом, она говорила:

— Мне нравится, что я живу на убогой улочке. Это как-то всерьез, по-профессиональному. Конечно, это не студия, а задняя комната картонажной мастерской. Но ведь приятно отвоевать для искусства хотя бы маленькое местечко?

Они поднялись по нескольким ступенькам, покрытым зеленой дорожкой, и вошли в большую комнату с верхним светом; стены были затянуты японским шелком цвета желтой азалии. Дафна Уинг с минуту стояла молча, словно пораженная убранством своего жилища; потом, показывая на стены, сказала:

— Это заняло у меня много времени. Я все сделала сама. И посмотрите на мои маленькие японские деревья — разве это не прелесть?

На высоком подоконнике, куда достигал верхний свет, были аккуратно расставлены шесть карликовых деревьев.

— Я думаю, графу Росеку понравилась бы эта комната,— сказала она вдруг.— В ней есть что-то оригиналь-

ное, правда? Понимаете, мне хотелось окружить себя всем этим... словом, вы понимаете. Чтобы и в моей работе появилось что-то оригинальное. В наше время это так важно. Но здесь у меня есть и спальня, и ванна, и кухонька, все под рукой, по-домашнему, всегда горячая вода. Моим родителям эта комната кажется странной. Они иногда приходят, стоят и смотрят и никак не могут привыкнуть; конечно, в этом районе очень убого. Но я думаю, что артист должен стоять выше этого.

Внезапно растрогавшись, Фьорсен сказал:

— Да, маленькая Дафна.

Она мельком взглянула на него и еле заметно вздохнула.

— Почему вы так поступили со мной? — спросила она. — Как жаль, что теперь я уже не могу любить! — И вдруг она провела тыльной стороной ладони по глазам. По-настоящему растроганный, Фьорсен шагнул к ней, но она отстранила его, и слезинка сверкнула у нее на ресницах.

— Пожалуйста, сядьте на диван. Хотите курить? Вот у меня русские. — Она вынула коробочку розоватых папирос из столика золотистой карельской березы. — У меня здесь почти все русское и японское. Я думаю, это лучше, чем что-либо другое, создает атмосферу. У меня есть балалайка. Вы умеете играть на ней? Нет? Как жаль! Вот если бы у меня была скрипка... Я бы очень хотела снова послушать вас. — Она сжала руки. — Вы помните, как я танцевала для вас перед камином?

Фьорсен очень хорошо помнил это! Папироса задрожала у него в пальцах, и он сказал хрипло:

— Потанцуйте сейчас, Дафна!

Она покачала головой.

— Я не верю вам ни на грош, и никто не стал бы верить, правда?

Фьорсен вскочил.

— Зачем же вы позвали меня сюда? Что вы из себя разыгрываете, вы, маленькая...

Глаза ее округлились, но она сказала, не повышая голоса:

— Я думала, вам будет приятно увидеть, что я стала

хозяйкой своей судьбы, вот и все. Но если это неприятно, вам незачем здесь оставаться.

Фьорсен снова опустился на диван. Понемногу у него начало складываться убеждение, что она действительно говорит правду. Он выпустил клуб дыма и засмеялся.

— Чему вы смеетесь? — спросила она.

— Я только подумал, маленькая Дафна, что вы такая же эгоистка, как и я.

— Я хочу стать эгоисткой. Это ведь так важно в жизни, не правда ли?

Фьорсен засмеялся снова.

— Не старайтесь, пожалуйста, вы всегда были эгоисткой.

Она присела на скамеечку и сказала серьезно:

— Нет, я не была эгоисткой, когда любила вас. Но от этого я ничего не выиграла, так ведь?

— Это сделало из вас женщину, Дафна. У вас другое лицо. Ваш рот стал красивее. Вы вся стали красивее.— На щеках Дафны Уинг проступил румянец. Заметив это, он продолжал горячо: — Если бы вы полюбили меня сейчас, вы бы мне не наскучили. О, можете верить мне! Я...

Она покачала головой.

— Не будем говорить о любви, хорошо? Вы имели большой успех в Москве и Петербурге? Это ведь чудесно — настоящий, большой успех!

Фьорсен ответил мрачно:

— Я заработал много денег.

— Значит, вы очень счастливы?

«Неужели она способна даже иронизировать?»

— Я несчастен.

Он встал и подошел к ней. Она подняла голову и взглянула ему в лицо.

— Как жаль, что вы несчастны. Я-то знаю, каково быть несчастным.

— Вы можете мне помочь, маленькая Дафна. Помочь мне забыть.

Он замолчал и положил руки ей на плечи. Не двигаясь, она сказала:

— Наверное, вы хотите забыть миссис Фьорсен?

— Да, словно она умерла! Пусть снова все будет по-прежнему, Дафна! Вы повзрослели. Вы теперь женщина, артистка...

Дафна Уинг обернулась к двери.

— Кажется, звонок. Может быть, это мои родители? Они всегда приходят в это время. Ах, как неудобно...

Фьорсен отпрянул к окну, на котором стояли японские деревца, и принялся кусать ногти.

— У матери есть ключ, и бесполезно прятать вас где-нибудь: она всегда осматривает все углы. Но, может быть, это не они? Знаете, я теперь их не боюсь; совсем другое дело, когда живешь самостоятельно.

Она исчезла. Фьорсен услышал резкий женский голос, потом голос мужчины, хриплый и густой, звук поцелуя. Он чувствовал себя, как в западне. Попался! Проклятый бесенок в образе голубки!

Он увидел даму в зеленом шелковом платье со свекольным отливом и приземистого, грузного господина с круглой седеющей бородой, в сером костюме и с маленьким георгином в петлице. За ними стояла Дафна Уинг, разругавшаяся, с округлившимися глазами. Фьорсен сделал шаг вперед, собираясь без лишних слов скрыться. Господин сказал:

— Познакомь нас, Дэйзи! Я не расслышал... Кажется, мистер Доусон? Как поживаете, сэр? Полагаю, вы один из импрессарио моей дочери? Рад с вами познакомиться. Очень рад.

Фьорсен поклонился. Свиные глазки мистера Уэгга остановились на японских деревцах.

— У нее здесь приятное местечко для работы, спокойное, нешаблонное, я бы сказал. Надеюсь, вы хорошего мнения о ее таланте, сэр? Вам ведь могла попасться и не такая хорошая балерина?

Фьорсен снова поклонился.

— Вы можете гордиться ею,— сказал он.— Она восходящая звезда.

Мистер Уэгг откашлялся.

— Гм! — произнес он.— Да! Когда она еще была крошкой, мы видели, что в ней что-то есть. Я проявил

большой интерес к ее занятиям. Это не по моей части, но она настойчива, а я люблю таких. Если человек настойчив, это уже половина успеха. Некоторые молодые считают, что жизнь — просто игра. Наверно, в вашей профессии много такой молодежи, сэр?

— Роберт! Его фамилия... совсем не Доусон! — сказала миссис Уэгг.

Наступило молчание. С одной стороны стояла, вытянув шею, эта женщина, похожая на взъерошенную курицу; с другой — Дафна, с вытаращенными глазами, горящими щеками и скрещенными на великолепной груди руками, а между ними — широкоплечий седобородый господин с побагровевшим лицом, злобными глазками и хриплым голосом:

— Так это ты, мерзавец! Ты... проклятый негодяй!

Он шагнул вперед, подняв увесистый кулак. Фьорсен выскочил из комнаты, скатился по лестнице, одним рывком распахнул дверь и выбежал на улицу.

ГЛАВА X

В тот самый вечер, стоя на углу Бэри-стрит, Саммерхэй смотрел вслед Джип, которая быстро шла к дому отца. Исчезла. Он чувствовал, как растет в нем тоска по ней, как все сильнее становится желание, чтобы она всегда была с ним. Ведь ее муж все знает — зачем же медлить? Этот субъект не оставит их в покое. Им надо немедленно уехать за границу, пока все окончательно не выяснится; а потом он найдет какое-нибудь местечко, где они смогут жить, где она будет счастлива и спокойна. Но для этого ему надо привести в порядок собственные дела. Он подумал: «Нельзя делать дело наполовину. Надо рассказать матери. Чем раньше, тем лучше!» Хмурый и задумчивый, он подошел к дому своей тетки на Кэдоган-гарденс, где всегда останавливалась мать, когда приезжала в Лондон.

В ожидании обеда леди Саммерхэй читала книгу о сновидениях. Лампа с красным абажуром бросала мягкий свет на ее серое платье, розоватую щеку и белое плечо. Это была представительная дама, со светлыми,

едва начинающими сесть волосами; вышла она замуж рано и уже пятнадцать лет была вдовой. Вольнодумство, когда-то ей свойственное, давно зачахло от долгого общения с людьми, занимающими солидное положение в обществе. Душа ее, погрузившись в пучину жизни, уже не могла подняться до прежних высот, хотя в ней иногда еще пробуждались некоторые прежние порывы. Ей не чужд был некоторый либерализм, но теперь ее мнения определялись все теми же ее знакомыми с солидным общественным положением: спорить — сколько угодно, но никаких изменений в принятом укладе жизни! Различные общественные течения, которыми интересовались она и ее друзья, вопросы эмансипации и всеобщего блага — все это было для нее чем-то вроде отдушины, дававшей выход избытку врожденной доброжелательности и постоянной склонности поучать других. Она всегда думала, что действует в общих интересах, но руководствовалась все-таки тем, что влиятельные люди обычно говорят на завтраках и обедах. Конечно, это была не ее вина, что такие люди имеют обыкновение завтракать и обедать. Когда сын поцеловал ее, она протянула ему книгу и сказала:

— Я считаю, что книга этого человека позорна; он просто помешался на вопросах пола. Мы совсем не так уж одержимы ими, как ему кажется. Автора надо было бы посадить в его собственную лечебницу для умалишенных.

Саммерхэй сказал:

— У меня дурные новости для тебя, мама.

Леди Саммерхэй испытующе посмотрела на него. Она знала это выражение его лица, наклон головы, словно он собирается боднуть. Так он выглядел, когда приходил к ней после карточного проигрыша.

— Ты знаешь майора Уинтона из Милденхэма и его дочь? Так вот, я люблю ее... Она моя возлюбленная.

Леди Саммерхэй ахнула.

— Брайан!

— Тот субъект, за которого она вышла замуж, пьет. Год назад ей пришлось уйти от него и забрать с собой ребенка; были к тому и другие причины. Послушай, мама, это неприятно, но ты должна знать: на развод нет

никакой надежды.— Он повысил голос: — И не пытайся переубеждать меня. Это бесполезно.

С приятного лица леди Саммерхэй словно упала маска; она сжала руки.

Уж очень внезапно обрушилась на Брайана жизнь, которая до сих пор была для него лишь серией «юридических казусов»! Это слишком жестоко. Видимо, сын сам чувствует это, хотя и не понимает, в чем тут дело. Какая неприятная, ужасная новость!

Он взял ее руку и поднес к губам.

— Не унывай, мама! Она счастлива, и я тоже.

Леди Саммерхэй пробормотала:

— Но разве... но разве... это грозит скандалом?

— Надеюсь, что нет; во всяком случае, этот скрипач обо всем знает.

— Общество не прощает таких вещей.

— Что ж, я очень огорчен за тебя, мама.

— О Брайан!

Это восклицание задело его.

— Нет нужды кому-нибудь рассказывать об этом, мама! Мы не знаем еще, что будет дальше.

Леди Саммерхэй почувствовала боль и пустоту в сердце. Женщина, с которой она не знакома, само происхождение которой было сомнительным, а замужество, видимо, тоже запятнало ее,—какая-то сирена, это ясно! Как все это тяжело! Она верила в сына, мечтала, что он займет положение в обществе, надеялась, что он, безусловно, достигнет многого!

Она спросила слабым голосом:

— Этот майор Уинтон — светский человек?

— Вполне. Но она будет достойной парой для кого угодно. И самая гордая женщина, какую я встречал. Если ты не знаешь, как тебе держаться с ней,— не беспокойся! Ей ничего ни от кого не нужно, могу заверить тебя. Она не примет подачек.

— Это очень мило! — Но, взглянув на сына, леди Саммерхэй вдруг почувствовала, что ей грозит опасность быть вытесненной из его сердца. Она сказала холодно: — Вы собираетесь жить вместе, открыто?

— Если она захочет.

— Ты еще не знаешь?

— Я скоро узнаю.

Книга о сновидениях упала с ее колен. Она подошла к камину и стала там, глядя на сына. Куда девалась его веселость? Лицо его казалось ей чужим. Она вспомнила, как однажды в Уидрингтонском парке, разозлившись на своего пони, он промчался мимо нее, и лицо у него было такое же, а вьющиеся волосы стояли дыбом, как у чертенка. Она печально сказала:

— Но не мог же ты думать, что я буду довольна всем этим! Брайан, даже если она такая, как ты говоришь, — не кроется ли здесь какая-нибудь интрига?

— Чем больше людей будет против нее, тем больше я буду ее любить.

Леди Саммерхэй вздохнула.

— А как собирается поступить тот скрипач? Я однажды слышала его игру.

— С точки зрения морали и по закону его нельзя привлечь к суду. Я только молю бога, чтобы он сам поднял дело о разводе, и тогда я смогу жениться на ней. Но Джип говорит, что он не захочет.

— Джип? Это ее имя? — Ее охватило вдруг желание, отнюдь не дружественное, увидеть эту женщину. — Ты приведешь ее ко мне? Я здесь одна до среды.

— Я не думаю, что она придет. Мама, какая она чудесная!

Улыбка пробежала по губам матери. «Ну, конечно! Афродита! А дальше что?»

— Майор Уинтон знает?

— Да.

— Что же он говорит?

— Он так же, как и ты, считает, что все это очень неприятно. Но в ее положении — все неприятно!

В сердце леди Саммерхэй словно открылся шлюз, и она разразилась потоком слов:

— Ах, голубчик, не можешь ли ты положить этому конец? Я знаю много случаев, когда такие вещи кончались плохо. Ведь не напрасно же существуют законы и правила приличия, поверь мне! Их влияние слишком велико. Разве что какие-нибудь особенные люди в каких-то особых условиях добиваются своего. Не думай, что

я буду тебе препятствовать, но трудности все равно возникнут. Другое дело, если бы ты был писателем или артистом, который может работать где угодно и жить даже в пустыне. Но твоя работа — здесь, в Лондоне. Непременно подумай как следует, прежде чем пойти против общества! Это легко сказать, что никому нет до тебя дела, но ты увидишь, что это не так, Брайан! И сумеешь ли ты в конце концов сделать ее счастливой?

Заметив выражение его лица, она умолкла.

— Мама, ты, должно быть, не понимаешь. Я так предан ей, что для меня не существует ничего, кроме нее.

— Может быть, ты околдован?

— Я сказал то, что есть. Спокойной ночи!

— Разве ты не пообедаешь со мной, мой мальчик?

Но он ушел; досада, тревога, тоска одолевали леди Саммерхэй. Она обедала в одиночестве, печальная и безутешная.

Саммерхэй пошел прямо домой. Фонари ярко горели в сумерках ранней осени; пронизывающий ветер то там, то здесь срывал желтые листья с платанов. Это был час, когда вечерняя синева меняет облик города, когда резкие очертания предметов смягчаются, становятся более зыбкими, таинственными, когда печаль, окутывающая людей и все эти деревья и дома, спускается на крыльях фантазии и наполняет душу поэзией. Но Саммерхэй все еще слышал голос матери и впервые почувствовал, что идет против всех. Ему уже казалось, что на лицах у прохожих какое-то другое выражение. Сейчас уже ничего не придется принимать как должное! А он принадлежит к той среде, где все принимается за должное. Он еще неясно понимал все это. Но уже начинал, как выражаются няньки, «смыслить»: ему предстоит защищаться от общества.

Вставляя ключ в замочную скважину, он вспомнил тот день, когда впервые открывал эту дверь Джип, которая вошла словно украдкой и в то же время с каким-то вызовом. Теперь все будет вызовом! Он разжег камин в гостиной и принялся выдвигать ящики, раскладывать, рвать и жечь бумаги, составлять списки, упаковывать. Покончив с этим, он сел и закурил. В комнате было тихо, и казалось, образ Джип незримо наполняет ее собой.

Закрыв глаза, он увидел ее у камина — там она стояла, повернувшись к нему лицом, собираясь уходить. Чем больше она любит его, тем больше будет любить ее он! И он сказал вслух: «Клянусь богом!» Старый скоч-терьер Оссиан вышел из угла и ткнулся длинным черным носом в руку хозяина.

— Иди сюда, Осси! Добрый пес Осс! — И, успокоенный теплом этого лохматого тела, примостившегося рядом с ним в кресле, Саммерхэй заснул у камина, в котором тлело его прошлое.

ГЛАВА XI

Хотя Джип всегда ходила по улицам не оглядываясь, она совершенно ясно чувствовала, что Саммерхэй стоит там, где они расстались, и смотрит, как она идет к дому на Бэри-стрит. Она сама удивлялась силе своего чувства, как купальщица, прыгнувшая в море, удивляется, когда волна уносит ее и ноги не достают дна.

Уже вторую ночь подряд Джип почти не спала; час за часом прислушивалась она к звону Большого Бэна. За завтраком она сообщила отцу о том, что вновь появился Фьорсен. Услышав эту новость, он окинул дочь проницательным взглядом.

— И что же, Джип?

— Я рассказала ему.

Любопытство, осуждение, на которое у него не было права, восхищение ее мужеством, боязнь за последствия, беспокойство за нее, захваченную бурным потоком любви, — все эти чувства читались на его лице.

— Как же он это принял?

— Выбежал вон. Я уверена, что он не даст мне развода.

— Боюсь, что так. Наглости у него на это хватит. — Уинтон замолчал. — Что ж, — сказал он внезапно, — теперь одному богу известно, чем это кончится. Но будь осторожна, Джип.

Около полудня с взморья вернулась Бетти и привезла серьезную темноглазую щебечущую маленькую Джип, загорелую, как поджаренное кофейное зерно. Когда ее

накормили всем, чем можно кормить ребенка после путешествия, Джип взяла ее в свою комнату, уложила в кровать, закутала шалью и легла вместе с ней. Несколько раз сладко зевнув, маленькая Джип удалилась в царство сна. Джип лежала рядом и с какой-то особенной нежностью глядела на ее черные ресницы. Она никогда не отличалась любовью к детям, но эта крошка, с ее нежной смуглой кожей, пухленькая и хрупкая, с открытым взглядом и воркующим голоском, постоянно выпрашивающим что-либо у «дорогой мам», — этот ребенок был восхитительным, неотразимо очаровательным! Девочка быстро развивалась, обретая грациозную округлость маленького зверька и совершенную форму цветка. Итальянская кровь ее прапрабабушки еще сильно сказывалась в ней. Ее волосы, уже не такие черные, как в младенчестве, вились и кольцами падали на шею и лоб. Маленькая загорелая ручка выскользнула из-под шали и крепко уцепилась за ее край. Джип смотрела на розоватые ноготки, на их невероятно крохотные лунки, вслушивалась в спокойное дыхание, такое же легкое, как трепетание лепестков розы в безветренный день; и губы Джип вздрагивали, тянулись к этим черным ресницам, — она заставила себя откинуть голову назад, чтобы не поддаться своему чувству.

В тот же вечер за обедом Уинтон невозмутимо сказал:

— Ну, сегодня я видел Фьорсена и предостерег его. Нашел его у этого типа Росека. Встретил там и девушку, танцовщицу. Она спускалась по лестнице, когда я собирался войти; я дал ей понять, что очень хорошо ее заметил. Я думаю, что Фьорсен больше не будет беспокоить тебя.

— Как выглядела она, отец?

Уинтон улыбнулся. Как передать впечатление от этой особы, вытаращившей на него глаза и разинувшей рот?

— Она выглядела, как обычно, только, увидев меня, очень удивилась. В белой шляпе, весьма элегантно. В своем роде привлекательна, но вульгарна все-таки! Когда я вошел, те двое занимались музыкой: один играл на скрипке, другой аккомпанировал ему на рояле. Они

пытались не впустить меня. Подозрительное у них там местечко!

Джип ясно видела перед собой эту картину. Черные стены, серебряные статуэтки, гравюры Ропса, аромат вянущих роз, сигареты, эти двое за роялем — и ее отец, такой холодный и сдержанный.

— С подобными субъектами церемониться не приходится. Я не забыл, как этот поляк вел себя с тобой, дорогая!

Джип вздрогнула.

— Я уже почти жалею, что ты ходил туда, отец. Ты не сказал чего-нибудь такого?

— Почему же? Я думаю, что был совершенно вежлив. Правда, я не поклянусь, что не назвал одного из них негодяем. А они сказали нечто вроде того, что я себе это позволяю только потому, что я калека.

— О! Родной мой!

— А этот поляк...

Снова Джип почувствовала страх. Бледный, вкрадчивый Росек, его глаза, в которых так много скрыто, чувственные губы... О, этот никогда не простит!

Но Уинтон улыбался. Ему доставила удовольствие эта встреча, она успокоила его.

Джип весь вечер писала свое первое настоящее любовное письмо. Но когда на следующий день, выполняя обещание, она пришла к Саммерхэю в его маленький дом, сердце ее упало: шторы были опущены, в доме словно никто не жил. А он должен был дожидаться ее у окна! Значит, он не получил ее письма? Или не был дома со вчерашнего дня? Тревога, которая вползает в сердца любовников, когда не состоялось свидание, охватила ее впервые в жизни. В треугольном садике стояла полуразвалившаяся статуя Эроса со сломанным луком в руках; воробей сидел на его зеленоватом плече; над головой статуи склонились листья сирени, а у ног лежал, посапывая, старый скоч-терьер.

— Осси!

Старый пес подошел и слабо завилял хвостом.

— Хозяин? Где твой хозяин, милый?

Оссиан ткнулся длинным носом в ее ногу. Она отошла от опустевшего дома и вернулась к себе: ее продолжали осаждать тревожные мысли. Куда он

уехал? Почему не известил ее? Привычный скептицизм проснулся в ней. Что она знает о нем, кроме того, что он уверял ее в своей любви? Куда он уехал? Ревность, вспыхнувшая в ней там, на взморье, когда от него перестали приходить письма, сейчас охватила ее с удвоенной силой. Наверно, есть женщина, имеющая на него какие-то права, или девушка, в которую он влюблен. Джи́п удивлялась тому, что способна ревновать. Ей всегда казалось, что она слишком горда, чтобы испытывать ревность, это темное, гнилое и недостойное, но — увы! — такое страшно реальное и неотвязное чувство.

Уинтон был в клубе, и ей пришлось наскоро пробыть одной. Потом она поспешно оделась и выскользнула на улицу. Джи́п направилась в сторону церкви Сент-Джеймс, прошла по Пикадилли, по более оживленной стороне улицы и двинулась к парку. Она шла с неясной улыбкой на лице, насмехаясь над собственным безрассудством. Несколько проституток, вышедших из боковых улиц, двигались с заученной, нарочитой медлительностью. Их растерянные, испытующие, почти враждебные взгляды, наруганные и напудренные лица доставляли Джи́п какую-то злобную радость. Ее вид раздражал и ранил их, а ей этого и хотелось.

С ней поравнялся какой-то господин в вечернем костюме и распахнутом пальто. Зная, что он озадачен и нерешительно следует за ней, она продолжала идти вперед все с той же полуулыбкой. Наконец он увидел выражение ее лица и отскочил в сторону; она снова ощутила это злобное веселье.

Она пересекла улицу и, миновав парк, повернула в сторону Сент-Джеймс-стрит; теперь она вся погрузилась в глубокую, темную печаль. Если бы он, любимый, был с нею — в этот прекрасный теплый вечер, среди огней, среди теней деревьев! Почему его нет в этой толпе прохожих? Одной улыбкой она могла бы привлечь к себе любого мужчину, но она не может, как по волшебству, вызвать того единственного, кто ей был нужен в этой огромной пустыне столицы. На углу Сент-Джеймс-стрит она остановилась. Здесь был его клуб. Может быть, он играет сейчас в карты или на бильярде, всего в нескольких шагах от нее, но уже словно в другом мире? Вот сей-

час он выйдет, направится в какой-нибудь мюзик-холл или медленно зашагает домой, думая о ней, а может быть, даже и не думая? Она прошла под окнами клуба и торопливо направилась к себе.

На следующее утро пришло письмо. Саммерхэй писал из гостиницы у реки, просил ее приехать одиннадцатичасовым поездом — он ее встретит на станции. Он хочет показать ей дом, который нашел там, и они могут провести целый день на реке! Джип прочла письмо, которое начиналось словами «моя любимая!», с таким восторгом, что ей не удалось его скрыть. Уинтон, внимательно наблюдавший за ней, вдруг сказал:

— Я думаю, мне надо поехать в Ньюмаркет, Джип. Вернусь завтра вечером.

В поезде она сидела в каком-то забытии. Если бы он даже был рядом с ней, обнимал ее — и тогда он не казался бы ей ближе, чем в эти минуты.

Она увидела его, как только остановился поезд; но они встретились без рукопожатия, без единого слова, только смотрели друг на друга и улыбались.

Саммерхэй где-то разыскал допотопную маленькую коляску — «лошадь, кучер, вот и все», как окрестил ее он, и они поехали по дороге. Под кожаным фартуком руки их сплелись.

День был прекрасный, какие бывают только в начале сентября, когда солнце уже не печет, а ровным светом заливает теряющие свою летнюю пышность деревья, отливающие золотом скошенные поля, серебристо-зеленые взгорья, луга с золотистой горчицей. Временами издали доносился выстрел и падал вдруг лист, как будто сам по себе. Они свернули на проселочную дорогу, миновали буковую рощицу и остановились у ворот старого кирпичного дома, увитого уже желтеющим диким виноградом, — дома с камином и низкими широкими трубами. Перед домом раскинулась огороженная лужайка — запущенный садик с тополями и одной крупной орешиней. Казалось, все солнце собралось в садике, оттуда доносилось мощное гуденье пчел. За деревьями виднелись холмы, где, как говорили, проводились рысистые испытания лошадей. У Саммерхэя был ключ от дома, и они вошли. Для Джип это было что-то вроде детской игры — она воображала, что вот они будут здесь жить вместе, станут распреде-

лять комнаты, обставлять каждую. Ей не хотелось портить этот великолепный день какими-либо спорами или снова думать о том, что надо принимать какое-то решение. И когда он спросил:

— Ну, дорогая, нравится тебе? — она только ответила:

— О, в своем роде прелестно! Но пойдем к реке и по-настоящему насладимся ею.

Они взяли лодку в гостинице, где остановился Саммерхэй. Ему, оксфордскому гребцу, река была хорошо знакома от Лечлейда до Ричмонда; Джип никогда на ней не бывала, и река просто ошеломила ее своим спокойным очарованием. Плыть в этот сверкающий безветренный день мимо широких, плоских листьев водяных лилий, над зеленоватыми омутами, слушать, как воркуют голуби, глядеть на пролетающих стрекоз, на ленивые всплески рыб, даже не касаться руля, а опускать в воду руку и охлаждать ею согретые солнцем щеки и, не отрываясь, смотреть и смотреть на Саммерхэя — все это было как путешествие по реке грез, полнейшее воплощение блаженства! Неужели у нее была какая-то другая жизнь с другим человеком, всего лишь год тому назад?

Когда он привязал лодку в последней заводи и сел рядом с Джип, уже вечерело. Ею стала овладевать смутная грусть, навеваемая затененной вечерней рекой. У нее замерло сердце, когда он сказал:

— Джип, мы должны уехать вместе. Нам не вынести этой жизни врозь, когда приходится ловить часы для встреч.

— Почему же, милый! Разве сегодня не было хорошо? Что может быть для нас прекраснее этого? Это — настоящий рай!

— Да, но расставаться каждый день! Целые дни и ночи без тебя! Джип, ты должна, должна согласиться! Разве ты мало меня любишь?

— Люблю очень. Но желать перемены — это значит искушать Провидение. Пусть будет так, как есть, Брайан.

— Ты чего-нибудь боишься?

— Нет. Оставим все по-прежнему и не будем рисковать.

— Рисковать? Значит, ты боишься людей, общества? А я думал, что тебе это безразлично.

Джип улыбнулась.

— Общество? Нет, я его не боюсь.

— Кого же тогда — меня?

— Не знаю. Мужчинам все быстро надоедает. Я во всем сомневаюсь, Брайан, и ничего не могу поделать с этим.

— Как можешь ты надоесть? Ты боишься самой себя?

Снова Джип улыбнулась.

— Во всяком случае, не того, что люблю слишком мало.

— А разве можно любить слишком много?

Она притянула к себе его голову и поцеловала.

— Нет, Брайан, пусть будет так, как есть. Нам все равно будет хорошо вдвоем. Если тебе надоест со мной, я не перенесу этого.

Он долго еще упрашивал, то сердясь, то целуя ее, то стараясь убедить, но на все она отвечала тем же нежным, печальным «нет». Был уже вечер, когда они вернули лодку. Падала роса. Возле самой станции она прижала его руку к своей груди.

— Милый, не сердись на меня. Может быть, я соглашусь когда-нибудь.

И когда она ехала в поезде, ей все хотелось снова очутиться в лодке, среди теней и шепчущихся камышей, среди всего этого спокойного очарования реки.

ГЛАВА XII

Дома она украдкой прошла прямо в свою комнату. Она уже снимала блузку, когда вбежала Бетти; слезы катились по ее щекам.

— Бетти! Что случилось?

— Ах, милочка, где же вы были? Они украли ее! Это злой человек — ваш муж — выхватил ее прямо из коляски и увез с собой в большой машине, а с ним был тот, другой! Я чуть не помешалась! — Джип глядела на нее в ужасе. — Майора не было дома. Что же мне оставалось делать? Я ведь только отвернулась, чтобы

закрывать калитку парка. Я и в глаза его не видела до того, как он протянул свою длинную ручищу и выхватил крошку из коляски! — Бетти в изнеможении села на кровать и дала волю слезам.

Потрясенная Джип застыла на месте. О, этот мстительный негодяй Росек!

— Ах, Бетти! Девочка, наверно, плакала?

В ответ последовал новый взрыв стенаний. Джип вдруг вспомнила, что говорил в прошлом году адвокат. По закону Фьорсен имеет право на ребенка. Она могла бы получить девочку, если бы возбудила тогда этот ужасный процесс; но теперь, пожалуй, ей и не выиграть его! Чего же они добиваются? Чтобы она вернулась к Фьорсену? Или отказалась от любимого человека? Она подошла к зеркалу и сказала:

— Мы сейчас же поедem, Бетти, и уж как-нибудь возьмем ребенка. Умойте лицо.

Пока Бетти готовилась, Джип старалась отогнать две страшных мысли: она может потерять ребенка, может потерять возлюбленного! Но лучше не думать, а действовать, быстро и решительно. Она вспомнила, что у нее был где-то маленький стилет, подаренный ей очень давно. Она достала его, вынула из красных кожаных ножен и, наколов на острие маленькую пробку, спрятала на груди. Если они могли украсть ребенка, они способны на все! Она оставила записку отцу, объяснив, что случилось, и сообщив, куда едет. Потом они с Бетти взяли такси. Холодная вода и самообладание хозяйки помогли Бетти как-то оправиться. Но она все время крепко держала Джип за руку и тяжело вздыхала.

Джип старалась не думать о ребенке. Если бы она представила себе свою плачущую крошку, она сама не сдержала бы слез. В ней все нарастал гнев против этих людей, которые нанесли ей трусливый удар из-за угла. Она вдруг решилась и спокойно сказала:

— Все из-за мистера Саммерхэя, Бетти. Вот почему они украли нашу малютку. Я думаю, вы знаете, что мы любим друг друга. Они украли ребенка, чтобы заставить меня сделать то, чего они хотят.

Ответом был только глубокий вздох. В душе этой женщины с круглым, как луна, лицом шла борьба между добродетельностью и верой в Джип, между боязнью за

нее и желанием видеть ее счастливой, между преданностью верного слуги и страхом старой няньки за ребенка.

— Ах, милая моя, он очень славный молодой человек! Сказать правду, я никогда и не считала вас по-настоящему замужем за этим иностранцем. Да и свадьба была не настоящая в этом ужасном регистрационном бюро — без музыки, без цветов, без благословения, без всего. Я просто выплакала тогда все глаза.

— Да, Бетти. Мне только казалось тогда, что я влюблена. — Она почувствовала судорожное рукопожатие и какие-то хлюпающие звуки, после чего Бетти снова разразилась слезами. — Не плачьте, мы подъезжаем! Подумайте о нашей крошке!

Машина остановилась. Ощупав на груди клинок, Джип вышла из машины и, держа Бетти под руку, поднялась по ступенькам. Она вспомнила о Дафне Уинг, Росеке, о той пышной даме — как ее звали? — о многих других; об унылых часах, проведенных здесь; о том, как поздно ночью спускалась по этой широкой лестнице и садилась в машину рядом с Фьорсеном; вспомнила и его широкоскулое мрачное лицо, смутно маячившее в углу машины или близко склонившееся к ней. Однажды на рассвете они долго шли пешком, и Росек шел с ними. Смутные, безжизненные воспоминания! Взяв крепче Бетти за руку, она позвонила.

— Мистер Фьорсен здесь, Форд?

— Нет, мэм; мистер Фьорсен и граф Росек уехали днем в деревню. У меня сейчас нет их адреса. — Она, должно быть, очень побледнела, потому что слуга добавил: — Может быть, что-либо подать вам, мэм?

— Когда они уехали?

— В час дня, мэм, в машине. Граф Росек сам вел ее. Я полагаю, они недолго будут в отъезде. Взяли с собой только сумки. Я могу сообщить вам, как только они вернутся, мэм, если вы будете любезны оставить мне ваш адрес.

Она протянула ему карточку и пробормотала:

— Благодарю вас, Форд; очень вам благодарна. — Она схватила Бетти под руку и, тяжело опираясь на нее, спустилась по ступенькам.

Теперь это был уже самый настоящий смертельный

страх. Потерять беспомощное дитя, зная, что ничем не можешь помочь, как бы оно ни страдало! Быть в полном неведении, когда в ушах стоит плач твоего ребенка,— весь этот ужас Джип переживала сейчас. И ничего нельзя предпринять! Ничего, только лечь в постель и ждать. К счастью, ей помогло то, что целый день она провела на воздухе — она забылась наконец глубоким сном. Потом она услышала стук в дверь и на подносе с чаем увидела письмо Фьорсена.

«Джип,

Я не похититель детей, как твой отец. По закону я имею право на моего ребенка. Поклянись, что ты откажешься от своего любовника,— и ребенок будет тут же возвращен тебе. А если ты не откажешься, я увезу девочку из Англии. Пришли мне ответ до востребования и скажи отцу, чтобы он не вздумал пускаться на всякие подлости против меня.

Густав Фьорсен».

На письме был адрес вест-эндского почтового отделения. Джип на мгновение почувствовала, что у нее помутилось в голове, но способность спокойно рассуждать быстро вернулась к ней. Пьян он был, что ли, когда писал это? Ей даже показалось, что от бумаги пахнет коньяком. Она перечитала письмо еще раз. Если бы он писал сам, он не устоял бы перед искушением посмеяться над законами, подшутить над собой — он-де оберегает ее добродетель! Нет, все продиктовано Росеком. И гнев вспыхнул в ней с новой силой. Зачем ей быть щепетильной? Она встала с кровати и написала Фьорсену:

«Как вы посмели поступить так жестоко! Во всяком случае, с девочкой должна быть ее няня. Это не похоже на вас — заставлять страдать ребенка. Бетти готова приехать, как только вы пошлете за ней. А мне нужно время, чтобы решить. Я дам вам знать в течение двух дней.

Джип».

Отослав записку Фьорсену и отправив телеграмму отцу в Ньюмаркет, она в третий раз перечитала письмо

Фьорсена и теперь окончательно убедилась, что его составлял Росек. И вдруг она вспомнила о Дафне Уинг. Через нее можно что-нибудь узнать! Ей почудилось, что она снова видит эту девушку — смерть отняла у нее только что рожденного ребенка, и она лежит бледная, утратившая всякую надежду. Да, стоит попытаться!

Через час машина остановилась возле двери квартиры Уэггов. Она уже собиралась позвонить, когда услышала позади себя голос:

— Разрешите, у меня ключ. Ах, это вы!

Она обернулась. Мистер Уэгг в своем профессиональном облачении стоял перед нею.

— Войдите же, прошу вас,— сказал он.— Я все думал: неужели мы вас не увидим больше после того, что произошло.

Повесив черный цилиндр, почти доверху повязанный крепом, он хрипло проговорил:

— А я-то думал, что все уже кончилось.— И он открыл дверь в столовую.

В хорошо памятной ей комнате стол был покрыт грязной белой скатертью, на нем стояла бутылка с уорчестерским соусом. Маленькой синей вазы не было, и ничто теперь не нарушало гармонии красного и зеленого. Джип сказала быстро:

— Разве Дафна... Дэйзи больше не живет дома?

На лице мистера Уэгга подозрительность, облегчение, хитрость смешались с тайным восхищением, которое Джип, по-видимому, всегда вызывала в нем.

— Должен ли я понять, что вы... э...

— Я пришла спросить Дэйзи, не может ли она сделать кое-что для меня.

Мистер Уэгг высморкался.

— А вы не знаете, что...

— Знаю. Скажу прямо: она встречается с моим мужем. Но мне все равно, он для меня не существует.

В выражении лица мистера Уэгга появился еще один оттенок — рассудительность отца семейства.

— Ну,— сказал он,— возможно, тут нечему и удивляться при подобных обстоятельствах. Я всегда думал...

Джип перебила его:

— Прошу вас, мистер Уэгг! Вы можете дать мне адрес Дэйзи?

Мистер Уэгг глубоко задумался. Затем сказал отрывисто:

— Комрэйд-стрит, 73, Сохо. У меня, должен сказать, были большие надежды на лучшее будущее для Дэйзи до того, как я его встретил там однажды. Теперь я жалею, что не ударил его — он оказался слишком проворен для меня... — Он поднял руку в черной перчатке и взмахнул ею. — А все эта ее проклятая независимость! Прошу извинения. Но как тут не сказать крепкого слова? — закончил он неожиданно.

Джип пошла мимо него к двери.

— Как тут не выругаться? — слышала она позади его голос. — А я-то думал, что она наконец стала на верный путь! — И пока Джип возилась с замком двери, его красное одутловатое лицо с круглой, седой бородой торчало над ее плечом. — Если вы повидаетесь с ней, я надеюсь, что...

Сидя в машине, Джип вся дрожала. Однажды она завтракала с отцом в ресторане на Стрэнде. Ресторан был полон вот таких мистеров Уэггов.

ГЛАВА XIII

Найти дом номер семьдесят третий на Комрэйд-стрит в Сохо было нелегко; но с помощью мальчишки — разносчика молока Джип наконец обнаружила переулок и нужную дверь. Пухленькая, белая рука высунулась в дверь, взяла банку с молоком; слышался голос Дафны Уинг:

— А где же сливки?

— Нету.

— О, я же вас всегда просила! Ровно в двенадцать на два пенса.

— На два пенса? — Мальчик вытаращил глаза. — Может быть, вы желаете поговорить с этой леди, мисс? — Он постучал в закрытую дверь. — Леди желает поговорить с вами. Доброго утра, мисс!

Дафна Уинг в белом кимоно показалась в двери. Ее глаза впились в Джип.

— Ах! — воскликнула она.

— Можно войти?

— О да! О, конечно! Я репетировала. Я так счастлива видеть вас!

Посреди комнаты стоял столик, накрытый на двоих. Дафна Уинг подошла к нему, держа в одной руке банку с молоком, а в другой короткий нож, которым она, видимо, открывала устрицы. Потом она обернулась к Джип. Лицо ее и шея в треугольном вырезе кимоно стали пунцовыми. Круглые, словно блюдца, глаза встретились с глазами Джип.

— О миссис Фьорсен, я так рада! Право же, рада. Мне так хотелось, чтобы вы посмотрели мою комнату, — нравится она вам? Откуда же вы узнали, где я живу? — Она опустила глаза и добавила: — Я думаю, лучше сказать вам. Мистер Фьорсен был здесь, а потом я виделась с ним у графа Росека — и... и...

— Мне понятно. Не трудитесь рассказывать все это. Дафна Уинг поспешно продолжала:

— Конечно, я теперь сама себе хозяйка. — Вдруг нелепая маска «светской дамы» словно упала с ее лица и она схватила Джип за руку. — О миссис Фьорсен, я никогда не буду такой, как вы!

— Надеюсь, что нет.

Как может она просить о чем-либо эту девушку? Но Джип подавила это чувство и сказала с каменным лицом:

— Вы помните моего ребенка? Хотя нет, конечно, вы никогда не видели мою девочку. Так вот, он и граф Росек только что отняли ее у меня.

Дафна Уинг судорожно сжала ей руку.

— О, какая гадость! Когда?

— Вчера днем.

— Как я рада, что не видела его с тех пор! О, я убеждена, что это гадость! Вы, наверно, в ужасном отчаянии?

На губах Джип промелькнула усмешка. Дафна Уинг продолжала:

— Вы знаете... я думаю... я думаю, что в вашем самообладании есть что-то страшное! Оно пугает меня. Если бы мой ребенок был жив и его украли бы, как вашего, я, наверно, была бы сейчас полумертвой.

Джип сказала все с тем же каменным видом:

— Так вот, я хочу вернуть мою девочку, и мне казалось...

Дафна Уинг всплеснула руками.

— О, я думаю, что смогу заставить его...— Смутившись, она замолчала, потом торопливо добавила: — А вы действительно... ничего не имеете против?

— Я ничего не имела бы против, будь у него даже пятьдесят любовных историй. Возможно, у него столько и есть.

Дафна Уинг досадливо прикусила нижнюю губу.

— Я думаю, что могу заставить его теперь делать то, что я хочу, а не то, что он хочет. Когда любишь, иначе нельзя. О, не улыбайтесь так, пожалуйста; из-за вашей улыбки я чувствую себя как-то... неуверенно.

— Когда вы его увидите?

Дафна Уинг покраснела.

— Возможно, он придет сюда завтракать. Видите ли, ведь он мне теперь не чужой! — Подняв глаза, она добавила: — Он даже не позволяет мне произносить ваше имя; это приводит его в ярость. Поэтому-то я уверена, что он все еще любит вас; только любовь его такая странная. — Она снова схватила руку Джип. — Я никогда не забуду, как вы были добры ко мне. Я надеюсь... что вы... полюбите кого-нибудь другого. — Джип пожала ее влажные, липкие пальцы, а Дафна Уинг поспешно продолжала: — Я уверена, что ваша девочка — прелесть. Как вы должны страдать! Вы так побледнели. Не надо мучить себя, от этого нет никакой пользы. Я это хорошо знаю.

Джип наклонилась и коснулась губами лба девушки.

— До свидания. Моя крошка поблагодарила бы вас, если бы умела.

И она повернулась, собираясь уходить. Вдруг она услышала подавленное рыдание. И прежде чем Джип успела сказать слово, Дафна Уинг сжала себе пальцами горло и заговорила прерывающимся голосом:

— Это... это кошмар! Я... я с того времени не плакала... С того времени, как... вы знаете! Я... я... полная хозяйка себе. Только я... только... вы мне напомнили... Я никогда не плачу!

Эти слова и подавленные рыдания провожали Джип чуть ли не до самой машины.

Вернувшись на Бэри-стрит, она увидела, что Бетти все так же сидит в прихожей, не сняв шляпы. За ней никто не прислал, никакого ответа не было и из Ньюмаркета. Джип не могла есть, не могла ничем занять себя. Она поднялась в спальню, чтобы не попадаться на глаза прислуге. Каждую минуту она прислушивалась к звукам, которые ничего не означали, сто раз подходила к окну. Бетти была в детской; Джип слышала, как она что-то передвигает там. Но и эти звуки прекратились. Джип заглянула в детскую и увидела, что толстуха, так и не сняв шляпы, сидит на сундуке спиной к двери и тяжело вздыхает. Джип, вся дрожа, неслышно вернулась в свою комнату.

А что если... ради ребенка ей придется пожертвовать своим чувством? Что если это жестокое письмо было его последним словом, и ей придется выбирать либо то, либо другое? От кого же она должна отказаться — от любимого или от ребенка?

Она подошла к окну, чтобы глотнуть свежего воздуха — сердце у нее болело нестерпимо. Она снова почувствовала, что у нее мутится в голове: слишком жестока была эта борьба, эта немая, невыразимая словами схватка двух инстинктов, каждый из которых был невероятно силен, настолько силен, что она раньше и представить себе этого не могла.

Глаза Джип остановились на картине, напоминавшей ей Брайана; теперь ей показалось, что сходства нет никакого. Брайан слишком настоящий, слишком любимый, желанный. Еще вчера она оставалась глуха к его мольбам, отказывалась уйти к нему навсегда. Как странно! Разве она не помчалась бы к нему сейчас, не пошла бы с ним, куда он захочет? О, если бы она могла сейчас быть в его объятиях! Никогда она от него не откажется, никогда! Но тут в ее ушах зазвучал воркующий голосок: «Дорогая мам!..» Ее девочка, ее драгоценная крошка!.. Как может она от нее отказаться, не прижимать больше к себе, не целовать это пухленькое, прелестное тельце, не видеть это серьезное темноглазое личико!

Гул Лондона врывается через открытое окно. Так много жизни, так много людей — и ни одной души, которая могла бы помочь! Она отошла от окна и села к пианино, которое привезла из Милденхэма. Но она только

сидела, сложив руки и глядя на клавиши. Ей опять вспомнилась песня, которую пела на концерте Фьорсена та девушка,— песня о разбитом сердце.

Нет, нет! Она не может, не может! Она останется с ним, со своим любимым! И слезы катились по ее щекам.

Внизу остановилась машина, но она не поднимала глаз, пока в комнату не вбежала Бетти.

ГЛАВА XIV

Когда Джип, едва владея собой, вошла в столовую, возле буфета стоял Фьорсен, держа на руках девочку.

Он шагнул к Джип и передал ей ребенка.

— Возьми ее,— сказал он,— и делай, что тебе угодно. Будь счастлива.

Прижимая к себе девочку, Джип молчала. Она не могла бы вымолвить ни слова, даже если бы от этого зависела ее жизнь; благодарная, ошеломленная, смущенная, она все-таки инстинктивно чувствовала что-то неуловимо коварное за этим человеколюбием Фьорсена. Дафна Уинг! Какая сделка состоялась между ними?

Фьорсен, должно быть, почувствовал холодок, которым веяло от Джип, и понял эту ее невысказанную мысль. Он крикнул:

— Ты никогда не верила в меня! Ты никогда не верила, что я способен на что-либо хорошее!

Джип склонилась над ребенком, чтобы Фьорсен не увидел, как дрожат ее губы.

— Мне очень жаль... Очень, очень жаль.

Фьорсен подошел ближе и посмотрел ей в лицо.

— Клянусь богом — боюсь, что я никогда тебя не забуду, никогда!

На глазах у него появились слезы. И Джип смотрела на него растроганная, взволнованная, но все еще с глубоким недоверием.

Он провел рукой по глазам. «Хочет, чтобы я заметила его слезы», — подумала она.

Фьорсен понял и это и неожиданно пробормотал:

— Прощай, Джип! Не такой уж я плохой!

С этими словами он исчез.

Это патетическое «не такой уж я плохой» спасло Джип от приступа слабости. Нет, даже в самый высший момент самопожертвования он не способен забыть о себе!

Когда приходит такое полное избавление, его трудно сразу постигнуть. Джип казалось теперь, что она должна закричать на весь мир об охватившем ее пьянящем счастье. Как только ребенок очутился на руках Бетти, она села и написала Саммерхэю:

«Любовь моя,

Я пережила ужасное время. Он украл мою девочку, когда я была с тобой. Он написал мне, что вернет девочку, если я откажусь от тебя. Но я почувствовала, что не могу отказаться от тебя, даже ради ребенка. А потом, всего несколько минут назад, он привез девочку, здоровую и невредимую. Завтра мы все уезжаем в Милденхэм; но если я еще тебе нужна, я уеду с тобой, куда захочешь. Отец и Бетти будут заботиться о моей дорогой крошке, пока мы вернемся. А потом, возможно, уединимся в Красном домике, который ты показывал мне. Но именно теперь у тебя еще есть время передумать. Не позволяй глупой жалости или чувству чести повлиять на твое решение; постарайся проверить себя до конца, умоляю тебя! Теперь я еще смогла бы перенести все, если только это пойдет тебе на пользу.

Какое было бы горе, если бы я сделала тебя несчастным! О, проверь, проверь себя... Я все пойму. Я чувствую это всем своим существом. А теперь покойной ночи, и, может быть, прощай.

Твоя Джип».

Она перечла письмо. Неужели она на самом деле думает, что сможет перенести, если он уйдет от нее, если он вдруг, заглянув в далекое будущее, решит, что игра не стоит свеч?

Она запечатала письмо. Ах, почему у нее такое мягкое сердце?

Через десять дней на станции Милденхэм Джип держала руку отца, почти не видя его — какой-то туман застилал ее глаза.

— До свидания, родная! Береги себя; телеграфируй из Лондона, потом из Парижа.— И, улыбаясь ей, Уинтон добавил: — Саммерхэю повезло, а мне нет.

Туман, застилавший ее глаза, превратился в слезы, они падали на его перчатку.

— Не слишком задерживайся там, Джип!

Она нежно прижала его лицо к своей мокрой щеке. Поезд тронулся. И пока могла видеть, она все смотрела на него, машущего ей своей серой шляпой; потом, забившись в уголок купе, она сидела почти ослепшая от слез, опустив вуаль. В роковой день своей свадьбы, покидая отца, она не плакала; а теперь, оставляя его, чтобы пойти навстречу своему невообразимому счастью, она не могла удержать слез.

Но душою она созрела за это время.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА I

Маленькая Джип, которой в этот первый день мая было уже около четырех с половиной лет, стояла, нагнувшись над клумбой с тюльпанами, куда забрались две индюшки и копошились там среди цветов. Она была удивительно похожа на мать — такое же овальное лицо, черные изогнутые брови, большие и ясные карие глаза; но у нее был облик ребенка наших дней, живущего на открытом воздухе. Ее волосы, выющиеся на концах, были коротко подстрижены, блестящие загорелые ножки — голые до колен.

— Индюшки! Вы негодницы, вот что! За мной! — И, вытянув вперед руки с поднятыми вверх ладонями, она стала пятиться от клумбы. Индюшки, осторожно переступая длинными ногами и нежно-вопросительно покрикивая, двинулись за ней в надежде получить что-нибудь из ее загорелых ручек. Солнце освещало это маленькое шествие: темно-голубое платье маленькой Джип, золотые отблески на ее каштановых волосах, усыпанную маргаритками траву, черных птиц с полупрозрачными красными сережками и полосатыми хвостами — и все это на фоне тюльпанов, оранжевых, красных, желтых. Заманив индюшек в открытую калитку, маленькая Джип выпрямилась и сказала:

— Вы бездельницы, голубушки! Кы-ш-ш! — И захлопнула калитку перед носом индюшек. Потом она побежала туда, где под ореховым деревом — единственным большим деревом в саду — лежал дряхлый скоч-терьер.

Усевшись на землю возле него, она стала гладить его белую морду, приговаривая:

— Осси, Осси, ты любишь меня?

И тут же, увидев на крыльце мать, она вскочила и, крикнув: «Осси! Осси! За мной!»—бросилась к Джип и обняла ее колени; старый скоч-терьер медленно плелся за ней.

За три года Джип несколько изменилась. Лицо ее стало мягче и, пожалуй, серьезнее, она чуть пополнила, волосы у нее потемнели, и причесывала она их иначе — вместо крупных волн они были гладко зачесаны и уложены мягкими прядями наподобие шлема, такая прическа подчеркивала форму ее головы.

— Детка, пойдی скажи Петтенсу, пусть положит свежий кусок серы в кормушку Осси и помельче нарежет ему мясо. А ты можешь дать Сорванцу и Брауни по два кусочка сахара. Потом мы пойдем гулять.

Опустившись на колени, она осторожно раздвинула шерсть на спине старой собаки и принялась рассматривать пораженную экземой кожу, думая: «Ах, милый, от тебя не очень-то хорошо пахнет! Ну-ну, только не лижи мне лицо!»

В воротах появился почтальон. Джип распечатала телеграмму с легким трепетом, как всегда, когда Саммерхэя не было с ней.

«Задержался. Приеду последним поездом. Завтра в город не нужно. Брайан».

Когда почтальон ушел, она снова опустилась на колени и погладила голову собаки.

— Хозяин завтра целый день дома, Осси! Целый день!

— Прекрасный вечер, мэм,— слышался чей-то голос с дорожки.

Перед ней стоял «старый плут» Петтенс; ноги его уже совсем не гнулись, лицо покрыла густая сетка морщин, зубы выпали, темные маленькие глазки стали тусклыми. За Петтенсом в выжидательно-серьезном молчании стояла маленькая Джип, выставив вперед одну ножку, как делала когда-то ее мать.

— А, Петтенс! Мистер Саммерхэй будет дома весь завтрашний день, и мы с ним совершим далекую прогулку верхом; когда будете делать лошадям проминку, зай-

дите в гостиницу, если нам с Джип не удастся туда попасть, и скажите майору Уинтону, что я жду его сегодня обедать.

— Хорошо, мэм. А я нынче утром высмотрел пони для маленькой мисс Джип, мэм. Мышиной масти, пяти лет. Здоровый, спокойного нрава, очень красивый мелкий аллюр. Я говорю этому человеку. «Не вздумайте меня перехитрить,— говорю.— Я родился на лошади. Двадцать фунтов за такого пони! Десять — и считайте, что вам повезло». «Ладно, Петтенс,— говорит он,— с вами вилять не приходится. Пятнадцать!» «Я вам накину один фунт,— сказал я.— Одиннадцать. Берите, и кончим на этом». «А!—говорит он.— Петтенс, вы-то уж умеете покупать лошадей! Ладно, двенадцать!» А пони стоит все пятнадцать, мэм, и майору он понравился. Так что, если желаете, можете его получить!

Джип посмотрела на маленькую дочку, которая только один раз возбужденно подпрыгнула и теперь стояла молча, только глаза ее перебегали от матери к конюху и губы полуоткрылись. Джип подумала: «Прелесть моя! Никогда ни о чем не просит».

— Ну что ж, Петтенс, купите пони.

— Да, мэм, очень хорошо, мэм. Прекрасный вечер, мэм!

Он удалился, ковыляя: ему приходилось ставить ступни чуть ли не под прямым углом к голени. На ходу он думал: «Два-то фунта у меня в кармане!»

Через десять минут Джип в сопровождении дочери и Оссиана вышла на обычную вечернюю прогулку. Но пошли они не наверх, к холмам, как всегда, а в сторону реки, к тому месту, которое у них называлось «пустошью». Это были два покрытых осокой луга, разгороженные насыпью, на которой росли дубки и ясени. У перекрестка, где сходились луга, стоял старый каменный сарай с проломом в стене, который зарос плющом до самой тростниковой крыши. Это место, затерянное среди полей пшеницы, лугов и буковых зарослей, казалось, жило какой-то собственной жизнью; его любили звери, птицы, и маленькая Джип недавно видела здесь двух зайчат. На дубе с еще негустой листвой сидела кукушка и куковала; они остановились и смотрели на серую птичку, пока та не улетела. Птичий гомон среди безмятежного покоя, зо-

лотисто-зеленые листья дубков и ясеней, выглядывающие из травы полевые цветы — болотная орхидея, сердечник, кукушкин цвет — все это наводило Джип на размышления: как непостижим тот дух, который кроется за плотью природы, за этой прозрачной улыбкой жизни, то и дело угасающей и снова возникающей из небытия! Пока они стояли у сарая, какая-то птица пролетела над ними, делая широкие круги и пронзительно крича. У нее был длинный клюв и острые крылья, казалось, птицу тревожило их присутствие. Маленькая Джип сжала руку матери.

— Бедная птичка, правда, мам?

— Да, детка. Это каравайка. Может быть, ее друг ранен.

— А что такое друг?

— Птица, с которой она живет вместе.

— Она боится нас?

— Давай пойдем, посмотрим, что с ней приключилось.

Каравайка все летала над ними с пронзительным криком. Маленькая Джип предложила:

— Мам, давай поговорим с ней. Мы ведь не хотим ее обидеть, правда?

— Конечно, нет, милая. Но боюсь, что бедная птичка совсем дикая. Попробуй, если хочешь.

Нежный голосок маленькой Джип присоединился к крикам каравайки, таким жалобным в тихом спокойствии вечера.

— О, гляди! — сказала Джип. — Она опускается к самой земле — у нее там гнездышко. Не станем подходить, хорошо?

Маленькая Джип отозвалась приглушенным голосом:

— Там у нее гнездышко.

Они тихонько отошли к сараю, а каравайка все летала и кричала у них за спиной.

— А нам хорошо, мам: наш друг ведь не ранен, правда?

Джип ответила, вздрогнув:

— Да, дорогая, нам очень хорошо. Ну, а теперь пойдем пригласим дедушку к нам обедать.

Маленькая Джип запрыгала. Они спустились к реке. Уинтон уже два года жил в гостинице у реки. Он от-

казался поселиться вместе с Джип—он только хотел всегда «быть под рукой», когда понадобится ей. Он вел простой образ жизни в этой простой сельской местности: ездил верхом с Джип, когда Саммерхэй оставался в Лондоне, размышлял над тем, как укрепить положение дочери, посещал фермеров и, наконец, подчинил себя целиком прихотям маленькой Джип. Его внучке уже пора было начать учиться верховой езде — момент, в некотором роде священный для человека, жизнь которого была почти лишена смысла без лошадей. Глядя на отца и маленькую Джип, которые шли, держась за руки, Джип подумала: «Отец любит ее не меньше, чем меня».

Обедать в одиночестве в гостинице было сущим наказанием для Уинтона, хотя он тщательно скрывал это от Джип; поэтому он охотно принял их приглашение.

В Красном доме, кроме рояля, не было ни одной из вещей, которые окружали Джип в доме мужа. Здесь были белые стены, мебель старого дуба, висели репродукции с любимых картин Джип. Отношения с Саммерхэем сложились у Уинтона хорошие, но ему было приятнее всего оставаться с дочерью наедине. В этот вечер он был особенно доволен — с некоторого времени она казалась ему какой-то необычно печальной и рассеянной.

— Мне хотелось бы, чтобы ты больше встречалась с людьми,— сказал он.

— О, нет, отец!

Увидев ее улыбку, он подумал: «Нет, это не «зелен виноград». В чем же тогда дело?»

— Ты ничего не слышала за последнее время о Фьорсене?

— Нет, ничего. Кажется, он снова выступает в Лондоне в этот сезон.

— Ну и пусть его...— «Значит, и это ее не волнует! Но что-то тут все-таки есть».— Я слышал, Брайан делает успехи. Мне говорили о нем на прошлой неделе как о наиболее обещающем молодом кандидате во всей адвокатуре.

— Да. Он прекрасно работает.— Уинтону почудился подавленный вздох.— Как по-твоему, отец, Брайан очень изменился с тех пор, как ты его знаешь?

— Пожалуй, он стал чуть менее веселым.

— Да. Он разучился смеяться.

Эти слова были сказаны ровным, тихим голосом, но они поразили Уинтона.

— Трудно сохранить способность смеяться,—ответил он,—когда день за днем приходится выворачивать наизнанку людей, большинство которых — дрянь.

Шагая домой при лунном свете, он снова вернулся к своим мыслям и пожалел, что не поговорил с ней начистоту. Надо было сказать: «Послушай, Джип, ты всерьез беспокоишься насчет Брайана? Или, как многие люди, сама придумываешь себе неприятности?»

За последние три года Уинтон, сам того не сознавая, стал более неприязненно относиться к собственному классу и более дружественно, чем прежде, к беднякам. Он посещал батраков, мелких фермеров, лавочников, оказывал им при случае маленькие услуги, одаривал детей монетками. Он, разумеется, не догадывался, что они не могли позволить себе проявлять бескорыстие. Он видел только одно — они были уважительны и приветливы с Джип, и это располагало его к ним в той же мере, в какой его все больше раздражали два или три богатых местных землевладельца, не говоря уж о тех выскочках, которые жили в собственных виллах вдоль реки.

Когда Уинтон впервые появился здесь, самый богатый из землевладельцев — человек, с которым он был знаком много лет,—пригласил его на завтрак. Он принял приглашение, заведомо рассчитывая выяснить обстановку; при первой же возможности он упомянул о дочери.

— Она увлекается цветами,—сказал он,—и возле Красного дома теперь великолепный сад.

Жена его приятеля пробормотала с нервной усмешкой:

— О, да! Да, да, разумеется...

Последовало неловкое молчание. С тех пор Уинтон, встречая своего друга и его жену, здоровался с ними с ледяной учтивостью. Разумеется, он приезжал к ним в гости не за тем, чтобы добиться их визита к Джип, а для того, чтобы дать им понять, что нельзя безнаказанно относиться с пренебрежением к его дочери! Светский человек с головы до ног, он прекрасно знал, что женщину,

которая живет с мужчиной, не будучи его женой, никогда не признают люди, претендующие на роль хранителей устоев; для них Джип останется даже за пределами того сомнительного круга, к которому причисляются люди, разведенные и заново вступившие в брак. Но даже светский человек не застрахован от некоторого донкихотства; и Уинтон был готов ради дочери сражаться с любой ветряной мельницей. Докуривая последнюю сигару на сон грядущий, он подумал: «Много бы я отдал, лишь бы вернуть старые добрые времена и иметь возможность потрепать этих добродетельных выскочек».

ГЛАВА II

Последний поезд прибывал только в одиннадцать тридцать, и Джип прошла в кабинет Саммерхэя, над которым была их спальня. Она ужаснулась бы, если бы узнала о переживаниях отца. У нее не было никакого желания встречаться с людьми. Условия ее жизни часто казались ей идеальными. Она была избавлена от людей, которые ее не интересовали, от пустых светских обязанностей. Все, что у нее есть,— настоящее: любовь, природа, верховая езда, музыка, животные, общение с простыми людьми. Чего еще можно желать? Часто ей казалось, что книги и пьесы о страданиях женщин, оказавшихся в ее положении, фальшивы. Если любишь, чего еще хотеть? Либо эти женщины лишены гордости, либо они любят не по-настоящему! Недавно она прочла «Анну Каренину» и после этого не раз говорила себе: «Что-то здесь не так — словно Толстой хочет заставить нас поверить в то, что Анна втайне мучилась угрызениями совести. Кто любит, тот не испытывает укоров совести».

Она даже радовалась тому, что любовь принуждает ее к уединению; ей нравилось быть одной и жить только для него. Кроме того, уже сами обстоятельства ее рождения поставили ее вне так называемого общества; а теперь и ее любовь — вне законов этого общества, совершенно так же, как в свое время любовь ее отца. Гордость ее бесконечно выше, чем их высокомерие. Как могут женщины ныть и жаловаться только потому, что их из-

гнали из общества, и пытаться снова войти в него, хотя их туда не пускают? А если бы Фьорсен умер,— вышла бы она замуж за своего возлюбленного? Что бы это принесло нового? Она не стала бы любить его больше. Она предпочитает, чтобы все оставалось, как есть. А что касается его, то она не уверена, думает ли он так же, как она. Он ничем не связан, может оставить ее, если она ему надоест! И все-таки разве он не чувствует себя даже более связанным, чем если бы они поженились,— несправедливо связанным? Такие мысли, или скорее тени мыслей, делали ее в последнее время необычно печальной, и это было замечено ее отцом.

В освещенной только лунным светом комнате она села перед письменным столом Саммерхэя, за которым он так часто засиживался допоздна над своими судебными делами, оставляя ее одну. Опершись голыми локтями на стол, она смотрела в окно на луну, и мысли ее уносились в потоке воспоминаний, которые начинались с того года, когда Саммерхэй вошел в ее жизнь.

Так много воспоминаний — и почти все счастливые! Как искусен был тот ювелир, который гранил человеческую душу! Он снабдил ее способностью забывать все темное и помнить только яркий солнечный свет! Полтора года жизни с Фьорсеном, пустые месяцы, которые последовали за ее уходом от него,— это был туман, который рассеялся в радужном сиянии последних трех лет. Единственным облачком набегало сомнение: действительно ли Саммерхэй любит ее так, как любит его она? Мозг ее всегда неотступно работал над решением этого вопроса. Она сравнивала дни и ночи прошлого с днями и ночами настоящего. Ее предчувствие, что она, полюбив, будет любить безоглядно, исполнилось. Он заполнил всю ее жизнь. Гордость — ее сила, но одновременно — и слабость; и не удивительно, что ее обуревают сомнения.

Для своего первого путешествия они выбрали Испанию — эту сумрачную, неевропейскую страну с удивительными цветами и громкими криками «*Agua!*»¹ на улицах; страну, где мужчины в широченных черных шляпах кажутся вросшими в седло и слившимися с лошадью, где

¹ Вода! (испан.).

одетые в черное женщины с прекрасными глазами до сих пор выглядят так, словно им не хватает восточной чадры. То был месяц веселья и блеска — последние дни сентября и начало октября; то была оргия чарующих блужданий по улицам Севильи, объятий и смеха, странных ароматов и странных звуков, оранжевого света и бархатных теней, всего этого тепла и глубокой серьезности Испании. Алькасар; продавщицы сигарет; цыганки-танцовщицы Трианы; древние, цвета пепла руины, к которым они ездили верхом; улицы и площади; люди, сидящие на солнцепеке и ведущие серьезные беседы; продавцы воды и дынь; мулы, мрачные, словно из сновидений; оборванцы, подбирающие окурки; вино Малаги; гроздья Аликанте! Обратно они возвращались через выжженные нагорья Кастилии в Мадрид, к Гойе и Веласкесу, и жили там, пока не поехали в Париж, отпуск кончался, надо было успеть к началу судебной сессии в Лондон. В Париже они прожили неделю в маленькой забавной французской гостинице. О ней у Джип осталось много приятных воспоминаний и одно тяжелое. Однажды после театра они ужинали в ресторане, и вдруг Джип увидела в зеркале, как вошли трое и уселись за столик позади них, — Фьорсен, Росек и Дафна Уинг! Пока они заказывали ужин, она сохраняла спокойствие, потому что Росек был gourmet¹, а девушка, наверно, была голодна. Но потом ей стало ясно, что спасения нет: ее все равно увидят. Притвориться, что ей нехорошо, и уйти? Или сказать Брайану? Или остаться на месте, смеяться и разговаривать, есть и пить, словно никого и нет за ее спиной?

В зеркало она видела свое разрумянившееся лицо, блестящие глаза. Пусть посмотрят, как она счастлива, как уверена в своей любви! Она коснулась кончиком туфли ноги Саммерхэя. Как великолепно он выглядит — загорелый, здоровый — по сравнению с этими бледными горожанами! И смотрит он на нее так, как будто только сейчас открыл для себя ее красоту. Как она только могла терпеть этого человека с бородкой, с бледным лицом и злыми глазами!.. Потом она увидела в зеркале, как глаза Росека, обведенные темными кругами, остано-
—

¹ Лакомка (франц.).

лись на ней, и по неожиданному огоньку, вспыхнувшему в его глазах, сжатым губам и слабому румянцу, выступившему на щеках, она поняла, что он узнал ее. Что он станет делать? Девушка сидела к ним спиной и ела. Фьорсен глядел прямо перед собой с тем недовольным видом, который она хорошо помнила. Все теперь зависело от этого опасного человечка, который однажды поцеловал ее в шею. Болезненное ощущение охватило вдруг Джип. Если бы ее возлюбленный знал, что всего в пяти шагах от него сидят эти два человека! Росек заметил, что она их видит. Он наклонился к девушке и что-то шепнул ей; Дафна Уинг обернулась, рот ее раскрылся, у нее вырвалось приглушенное: «О!» Джип перехватила ее беспокойный взгляд, брошенный на Фьорсена. Конечно, девушка захочет уйти, прежде чем Фьорсен увидит ее. Да, она встает — и с каким видом, прямо-таки хозяйка положения! Манто накинуто ей на плечи, она идет к двери и только оттуда бросает испуганный взгляд. Ушли!

И Джип сказала:
— Пойдем, милый.

У нее было такое чувство, словно они оба избежали смертельной опасности; не потому, что эти двое могли бы причинить ему или ей какое-нибудь зло; они избежали еще одного тяжелого переживания, может быть, вспышки ревности к ее прошлому, которую мог испытать Саммерхэй при виде этого человека.

Первые недели их совместной жизни Джип проявляла мудрую настороженность. Саммерхэй был совсем еще мальчиком по жизненному опыту — она убедилась в этом. И хотя по характеру он был решительнее, деятельнее и настойчивее ее, она видела, что именно ей на долю выпало прокладывать курс их жизни и избегать отмелей и подводных камней. Пока приводили в порядок дом, который они наняли у Беркширских холмов, они поселились в Лондоне в гостинице. Она настояла, чтобы он никому не рассказывал об их связи. Она решила сначала устроиться как следует — с маленькой Джип, Бетти и лошадьми, создать, насколько это возможно, обстановку добропорядочной семейной жизни. Но однажды, в первую неделю после их возвращения в Лондон, ей принесли карточку: «Леди Саммерхэй».

Когда мальчик-слуга исчез, она подошла к зеркалу и с сомнением оглядела себя. Она ясно представила, что думает о ней эта высокая женщина, которую она видела однажды на станционной платформе,— о ней, такой мягкой, пассивной, такой неподходящей для него, будь она даже его законной женой. Поправив волосы и чуть надушив брови, она пошла вниз по лестнице, внутренне вся дрожа, но внешне спокойная.

В маленьком холле этой старой гостиницы, которая всегда была «заново отремонтирована», Джип увидела гостью — та быстро перелистывала страницы иллюстрированного журнала, как это делают люди в приемной зубного врача, занятые мыслями о предстоящей неприятной лечебной процедуре. И Джип подумала: «Она, пожалуй, меня боится больше, чем я ее».

Леди Саммерхэй протянула ей руку, затянутую в перчатку.

— Здравствуйте,— сказала она.— Надеюсь, вы простите меня за мой приход.

— Вы очень добры, что пришли. Жаль, Брайана еще нет дома. Не хотите ли чаю?

— Я уже пила чай; давайте сядем. Нравится ли вам эта гостиница?

— Здесь очень мило.

Они уселись рядом на бархатном диване, который каким-то чудом пережил все ремонты, и принялись разглядывать друг друга.

— Брайан рассказывал мне, как приятно вы провели время за границей. По-моему, он выглядит прекрасно. Я ведь его обожаю.

Джип ответила мягко:

— Да, это естественно.— Но она вдруг почувствовала, как каменеет ее сердце.

Леди Саммерхэй бросила на нее быстрый взгляд.

— Я... я надеюсь, что вы не станете возражать, если я буду совершенно откровенна?.. Я так беспокоюсь. Во всем этом мало приятного, не правда ли? И если я могу вам чем-нибудь помочь, я буду просто рада. Представляю себе, как вам тяжело!..

Джип поспешно перебила ее:

— О, нет! Я как нельзя более счастлива.

Леди Саммерхэй пристально посмотрела на нее.

— Вначале люди ни в чем не отдают себе отчета — должно быть, как и вы оба; но потом вам придется убедиться, что общество отвергает вас.

Джип улыбнулась.

— Отвергнуть можно только того, кто напрашивается на это. Я никогда не стала бы иметь дело с людьми, которые не принимают меня такой, как я есть. И потом я не вижу, что особенного произошло с Брайаном? У большинства мужчин его возраста есть кто-то где-либо.

В Джип поднималась ненависть к этой светской женщине, которая, как бы она этого ни скрывала, в душе — ее враг и видит в ней поработительницу, испортившую карьеру ее сыну, Далилу, готовящую ему гибель. И она сказала еще спокойнее:

— Ему нет нужды рассказывать кому бы то ни было о моем существовании; можете быть уверены, если он когда-нибудь почувствует, что я стала ему в тягость, он меня больше не увидит.

Она встала. Леди Саммерхэй тоже поднялась.

— Надеюсь, что вы не думаете... Я, право же... Мне только хотелось...

— Я думаю, лучше всего — полная откровенность. Вы никогда не полюбите меня и не простите мне, что я... заманила Брайана. Поэтому будет лучше, если вы станете считать меня просто его любовницей. Лучше для нас обеих. Все же вы очень добры, что пришли. Благодарю вас и прощайте.

Леди Саммерхэй, шатаясь, с трудом пробиралась между маленькими столиками и вычурными креслами, пока ее высокая фигура не исчезла за колонной. Джип снова опустилась на диван и прижала руки к пылающим ушам. Демон гордости обуревал ее, гордость в эту минуту была в ней даже сильнее, чем любовь. Она все еще сидела на диване, когда ей принесли другую карточку — ее отца. Обрадованный тем, что наконец видит ее после такой долгой разлуки, он сразу принялся рассказывать о Милденхэме и маленькой Джип. Потом, посмотрев на нее внимательно, сказал:

— Теперь вы можете ехать туда или на Бэри-стрит, если захотите. Я смотрю на это, как на настоящий брак. Я соберу слуг и разъясню им это.

Джип представила себе: слуги выстроились в ряд, как на домашней молитве, и отец, прямой и подтянутый, говорит: «Вы будете столь добры в дальнейшем помнить, что...»; «Я буду весьма обязан, если вы...» и так далее. Она видела круглое недовольное лицо Бетти, обиженной тем, что ее вызвали наравне со всеми; кроткое непроницаемое лицо Марки; притворно скромное любопытство миссис Марки; кроличьи мордочки горничных; язвительную ухмылку старого Петтенса: «А, мистер Брайан Саммерхэй! Он купил ее лошадь, а теперь она сама перешла к нему!»

— Родной мой, я не знаю! — сказала Джип. — Ты очень добр ко мне. Но подождем, посмотрим.

Уинтон погладил ее руку.

— Нам надо не сдавать позиций, Джип, ты знаешь это.

Джип рассмеялась.

В ту же ночь она сказала в темноту, разделявшую их кровати:

— Брайан, обещай мне одну вещь!

— Смотря что. Я тебя слишком хорошо знаю.

— Нет! Это очень разумно и вполне возможно. Обещай!

— Ну хорошо, если так.

— Я хочу, чтобы ты разрешил мне записать на себя аренду Красного дома. Пусть он будет моим — позволь мне заплатить за все.

— Но в чем же тут дело?

— Просто я хочу иметь свой дом. Я не могу объяснить, но после сегодняшнего визита твоей матери я почувствовала, что это мне необходимо.

— Дитя мое, но как же я могу жить на твой счет? Это нелепо.

— Ты будешь платить за все остальное — жизнь в Лондоне, путешествия, платья, если хочешь. Мы все это решим. Дело не в деньгах, конечно. Я только хочу чувствовать, что если когда-нибудь стану больше тебе не нужна, ты сможешь просто перестать ко мне приходить.

— Это жестоко, Джип!

— Нет, нет. Сколько женщин теряют любовь мужчин именно потому, что требуют от них многого! Я не хочу потерять твою любовь. Вот и все.

— Это глупо, милая!

— Нет, не глупо. Мужчины, да и женщины тоже, всегда влачат за собой цепи. А когда нет цепей...

— Ну что ж, тогда разреши мне взять дом на себя, а ты сможешь уехать, когда я тебе надоем.— Его голос звучал приглушенно и обиженно. Она слышала, как он ворочается с боку на бок, словно сердится на подушки.

— Нет. Я не могу этого объяснить, но так лучше.

— Мы только начинаем нашу совместную жизнь, а ты говоришь так, словно хочешь ее разорвать. Это обидно, Джип. Вот и все.

Наступила мертвая тишина, оба лежали тихо в темноте, как бы стараясь победить друг друга одним молчанием. Прошел почти час, прежде чем он вздохнул, и, почувствовав его губы на своих, она поняла, что победила.

ГЛАВА III

Она сидела в кабинете, и лунный свет падал на ее лицо. Снова нахлынули воспоминания о днях, которые они провели вместе в этом старом доме.

В первую зиму Саммерхэй сильно расшибся на охоте. Вспоминать о том, как она его выходила, было удивительно приятно, хотя с тех пор прошло уже два года. Чтобы ускорить выздоровление, они поехали в марте в Пиринеи, в Аржелес — цветущий миндаль, синева неба, чудесные две недели! Когда они возвращались домой, в Лондоне произошла первая неприятная встреча. Однажды вечером, выходя из театра, Джип услышала женский голос:

— О! Брайан! Как давно мы не виделись!

Он ответил нерешительно, словно обороняясь:

— Здравствуй! Как поживаешь, Диана?

— Где ты пропадаешь все время? Почему не бываешь у нас?

— Живу в деревне, как-нибудь зайду. До свидания.

Высокая девушка, рыжеволосая, с удивительно белой кожей и карими — да, карими! — глазами... Джип видела, как эти глаза с каким-то жгучим любопытст-

вом окинули ее с головы до ног. Брайан взял Джип под руку.

— Пойдем, возьмем машину.

Когда они выбрались из толпы, она сжала ему руку и спросила:

— Кто она?

— Троюродная сестра, Диана Лейтон.

— Ты ее хорошо знаешь?

— О, да, мы часто встречались.

— И она тебе очень нравится?

— В общем, да.

Он внимательно посмотрел ей в лицо; в глазах его, обычно серьезных, искрился смех. До сегодняшнего дня эта высокая девушка с ослепительно белой кожей, с жгучими карими глазами и огненно-рыжими волосами была для Джип всего лишь не совсем приятным воспоминанием. Как раз с того вечера они решили больше не скрывать свою связь, стали ходить, куда хотели, не опасаясь встречи с кем-либо из знакомых. Ничто так не помогает пренебрегать обществом, как любовь. К тому же они редко бывали в Лондоне. Но Джип никогда не покидало ощущение, что тот идеал жизни, к которому стремилась она, вовсе не идеал для него. Ему надо бывать в свете, встречаться с людьми. Его нельзя отгородить от светских развлечений и обязанностей; в один прекрасный день он может почувствовать, что прозябает по ее вине. Ездить каждый день в Лондон было утомительно; и она уговорила его нанять меблированную квартиру в Темпле и ночевать там три раза в неделю. Несмотря на все его мольбы, она ни разу не побывала в этой квартире и, приезжая в Лондон, всегда останавливалась на Бэри-стрит. Она боялась вызвать у него ощущение, что висит на нем тяжелым грузом. Быть для него всегда желанной, не будничной, чтобы, уезжая, он стремился поскорее вернуться к ней! Она никогда не спрашивала его, где он бывает, с кем встречается. Но иногда она задавала себе вопрос: любит ли он ее так, как любил раньше? Такая ли его любовь, как ее — страстная, обожающая, заботливая, самоотверженная, отдающая себя целиком? Но в душе она требовала взамен такой же любви — ибо как может гордая женщина любить человека, который ее не любит? Ее любовь всегда жаждет союза более полно-

го, чем тот, который возможен в этом мире, где все движется и изменяется. Восставать против пут такой любви у нее и в мыслях не было. Она не выдвигала никаких условий: она поставила все на одну карту, как когда-то сделал ее отец.

Лунный свет теперь уже ярко заливал старый письменный стол и вазу с тюльпанами, придавая цветам призрачный оттенок, словно они явились из какого-то другого, недоступного человеческому познанию мира. Луна бросала яркие блики на бронзовый бюст Вольтера, и, казалось, он усмехается уголками своих запавших глаз. Джип немного повернула бюст, чтобы свет упал на другую сторону лица Вольтера. Под бюстом на дубовой доске лежало письмо. Она потянула его к себе:

«Дорогой Брайан!

Но послушай же — ты растрачиваешь себя!»

Джип положила письмо на место и встала, желая побороть искушение прочесть до конца и посмотреть, от кого письмо. Нет! Чужих писем не читают. Потом вдруг до нее дошла вся важность этих нескольких слов: «Дорогой Брайан! Но послушай же — ты растрачиваешь себя!» Почерк женский, но не матери и не сестер, их почерк она знала. Кто же посмел сказать, что он растрачивает себя? Письмо явно не первое. Какая-то близкая ему женщина, имени которой она не знает, потому что... потому что он никогда не говорил о ней. Растрачивает себя — на что? На жизнь с нею здесь? А может быть, так и есть? Она стала рыться в памяти. В прошлое рождество, в те солнечные, холодные, прекрасные две недели, которые они провели во Флоренции, он был полон веселья. А теперь — май. От прежней веселости не осталось и следа... «Но послушай же — ты растрачиваешь себя!» Внезапная ненависть вспыхнула в Джип к этой неизвестной женщине, которая посмела сказать это; ее бросило в жар, уши зарделись. Ей захотелось разорвать письмо в клочки. Но Вольтер словно сторожил ее и смеялся над ней. Она вышла из комнаты и подумала: «Пойду встречу его, я не могу сидеть здесь и ждать».

Она вышла в залитый лунным светом сад и медленно побрела по ярко освещенной дороге к станции. Бы-

ла волшебная ночь, сухая, без росы. Лунные блики ложились на деревья, точно инеем покрывая стволы и ветви, одевая в трепещущее призрачное серебро буковую рощицу. Ни один листочек не шевелился, нигде ни живой души. Она подумала: «Я поведу его домой через эту рощицу». И она стала ждать его на дальней опушке, там, где он должен был пройти. Пришел поезд; мимо промчалась машина, за ней велосипедист; потом она увидела первого пешехода, он широко шагал, почти бежал. Она увидела, что это Саммерхэй, и, позвав его, кинулась обратно в тень деревьев. Он бросился за ней.

Они уселись на большой пенё. Прислонившись к его плечу и глядя на темные ветви, Джип спросила:

— У тебя был тяжелый день?

— Да. Задержался из-за поздней консультации, а потом старый Лейтон пригласил меня обедать.

Джип показалось, будто земля слегка подалась под ее ногами.

— Эти Лейтоны живут на Итон-сквер, да? Званный обед?

— Нет. Были только старики, Берти и Диана.

— Диана? Это та девушка, которую мы встретили, выходя из театра?

— Когда?! О! Ах да!.. Какая у тебя память, Джип!

— Да. Память мне хорошо служит, когда речь идет об интересующих меня вещах.

— Разве Диана интересуется тебя?

Джип пристально посмотрела на него.

— Да. Она умна?

— Я думаю, ее можно назвать умной.

— И она влюблена в тебя?

— Боже праведный! С чего бы это?

— А разве это так невероятно? Вот я же влюблена в тебя.

Он стал целовать ее. Закрыв глаза, Джип думала: «Не потому ли он целует меня, что не хочет отвечать?»

Наступило минутное молчание.

— Скажи мне правду, Брайан... Тебе никогда... никогда не приходило в голову, что ты растрачиваешь себя со мной?

Она явно почувствовала, как дрогнула его рука; но лицо его было открыто и безмятежно, а голос такой же, как всегда, немного поддразнивающий.

— Растрачиваю себя! Что за странные мысли, милая?

— Обещай, что ты скажешь мне, когда я тебе уже не буду нужна.

— Отлично! Только не думаю, что сие случится в этой жизни.

— Я не так уверена.

— А я уверен.

ГЛАВА IV

Спустившись на следующее утро вниз, Саммерхэй прямо прошел в свой кабинет; ему было не по себе: «Растрачиваешь себя!..» Куда он девал письмо от Дианы? Он помнил, что Джип вошла как раз в ту минуту, когда он кончил читать его. Он принялся искать на полочках и в ящиках, разбирать все, что лежало наверху, и при этом сдвинул бюст Вольтера — письмо лежало под ним. Он взял его со вздохом облегчения.

«Дорогой Брайан!

Но послушай же — ты растрачиваешь себя! Право, голубчик, это так. *Il faut se faire valoir!*¹. Ты можешь сейчас шагнуть только одной ногой; другая — застряла бог весть в какой таинственной дыре. Одной ногой в могиле — и это в тридцать лет! Да ну же, Брайан! Надо с этим кончать. Тебя ждет так много впереди. Нечего дуться и повторять, что я сую нос не в свое дело. Я говорю от имени всех, кто тебя знает. Все мы чувствуем, что за болезнь губит розу. Кроме того, ты всегда был моим любимым кузеном — с тех пор, как мне было пять, а ты был десятилетним маленьким задирой; и мне просто противно думать, что ты медленно катишься вниз вместо того, чтобы быстро подниматься вверх. О, я знаю: — «к черту весь мир!» Но, а как же ты сам? Я скорее думаю, что весь мир посылает тебя к черту. До-

¹ Надо знать себе цену (франц.).

вольно! Когда ты будешь у нас? Я прочитала ту книгу. Автор, видимо, полагает, что любовь — это только страсть, а страсть всегда что-то роковое. Так ли это? Может быть, ты знаешь лучше?

Не сердись на меня за такое старушечье письмо.

Au revoir.

Преданная тебе кузина
Диана Лейтон».

Он сунул письмо в карман. Оно пролежало, должно быть, два дня под этим бюстом! Видела ли его Джип? Он посмотрел на бронзовое лицо; философ глядел на него глубоко сидящими глазами и словно говорил: «Что ты знаешь о человеческом сердце, мой мальчик, — о своем, о сердце твоей любовницы, или той девушки и кого бы то ни было? Сердце еще заведет тебя в дебри! Можно положить сердце в пакет, завязать его бечевкой, запечатать сургучом, бросить в ящик и запереть его! А завтра оно как ни в чем не бывало очутится на свободе и будет плясать на этом твоём пакете. Ха-ха!»

Саммерхэй подумал: «Ты, старый козел! У тебя самого никогда не было сердца!» В комнате наверху Джип, наверно, все еще стоит у зеркала и кончает причесываться. Право же, любой человек был бы негодяем, если бы даже в мыслях позволил себе.. «Полно! — казалось, говорили глаза философа. — Жалость! Это смешно! А почему бы не пожалеть эту рыжеволосую девушку с такой белоснежной кожей и такими жгучими карими глазами?» Старый дьявол! Нет, его сердце принадлежит Джип, и никто в мире его не отнимет у нее! Как он любит ее, как любит! Она всегда останется для него тем, чем была... А рот мудреца искривился, словно выговаривая: «Совершенно верно, дражайший! Но сердце — презабавный предмет и очень вместительный!»

Легкий шум заставил его обернуться.

В дверях стояла маленькая Джип.

— Здравствуй, Бэрайн! — Она подлетела к нему, и он подхватил ее и поставил к себе на колени; солнечный луч играл в ее вьющихся пушистых волосах.

— Ну, цыганочка, кто теперь уже большая девочка?

— Я сейчас поеду верхом.

— Ого!

— Бэрайн! Давай сыграем в Хампти-Дампти!

— Давай!

Джип все еще доканчивала одно из тех сотен дел, которые отнимают у женщины четверть часа уже после того, как она заявляет, что «совершенно готова»; маленькая Джип выкрикнула: «Хампти!» — и Джип отложила иглу, чтобы посмотреть этот священный обряд.

Саммерхэй уселся на край кровати, округлил руки, втянул шею, надул щеки — все это должно было изображать яйцо; а потом неожиданно — хотя и не удивив привычную к этому маленькую Джип — он начал кататься по кровати.

А она, изображая «всю королевскую конницу», бесплодно пыталась поднять его. Эта старинная игра, в которую сама Джип ребенком играла сотни раз, была ей сегодня особенно дорога: если он может быть таким до смешного молодым, чего же стоят все ее сомнения! Она глядела на его лицо, на то, как он мотал головой из стороны в сторону — он был невозмутим и спокоен, несмотря на то, что маленькие кулачки, не переставая, колотили его. Джип подумала: «И эта девушка осмелилась сказать, что он *растрачивает себя!*» Эта высокая девушка с белой кожей. Диана, которую они встретили в театре и которая вчера обедала с ним, — да, это она написала эти слова. Джип была теперь уверена в этом!..

Когда после долгой скачки по холмам они придерживали уставших лошадей, Джип, не глядя на Саммерхэя, внезапно спросила:

— Она — охотница?

— Кто?

— Твоя кузина Диана.

Он ответил лениво:

— Ты что же, считаешь, что она охотится за мной?

Она знала этот тон, это выражение его лица, знала, что он сердится, но не могла остановиться.

— Да, считаю!

— Значит, ты начинаешь ревновать меня, Джип?

От его холодных, нарочито откровенных слов у нее сжалось сердце. Она прищипорила лошадь. Когда она сно-

ва осадила ее, он посмотрел ей в лицо и испугался. Оно словно окаменело. И он сказал тихо:

— Я не хотел тебя обидеть, Джип

Но она только покачала головой. Нет, он именно этого хотел — сделать ей больно!

— Видишь это длинное белое облако и зеленоватый цвет неба? — сказала она. — Завтра будет дождь. Надо пользоваться каждым ясным днем, как будто он — последний.

Расстроенный, смущенный, но все еще немного сердясь, Саммерхэй ехал рядом с ней.

Ночью она плакала во сне; когда он разбудил ее, она прижалась к нему и сказала, рыдая:

— Ах, мне снилось, что ты перестал любить меня!

Он долго обнимал ее, успокаивал. Никогда, никогда он не перестанет любить ее!

Но облачко, не больше ладони, может разрастись и сделать хмурым самый ясный день.

ГЛАВА V

Лето шло, а на сердце каждого из них все еще лежал какой-то груз невысказанного. Солнечные дни сначала становились все длиннее, потом, медленно пройдя свой зенит, постепенно стали убывать. По субботам и воскресеньям они катались на лодке — иногда вместе с Уинтоном и маленькой Джип, но чаще всего вдвоем; для Джип река никогда не теряла своего очарования, очарования того первого вечера.

Всю неделю она ждала этих часов, когда сможет остаться наедине с ним, когда окружающая лодку вода будет оберегать ее не только от мира, который может отнять его, но и от тех свойств его собственного характера, которые она уже давно окрестила «старогеоргианскими». Однажды она решилась отправиться одна в суд, чтобы посмотреть на него в мантии и парике. В этих жестких седых кудрях над широким лбом он казался таким суровым и мудрым — человеком того блистательного, великолепного мира, к которому она никогда не будет принадлежать. Она знает: ей доступна только одна сторона его существования! На реке он принадлежит ей без-

раздельно — милый, ленивый, беспредельно любящий, он кладет голову ей на колени, прыгает в воду, плещется возле нее; с засученными рукавами, обнаженной шеей и улыбающимся лицом, сидит за веслами, они медленно плывут по течению, и он поет «Вперед неси меня, волна!». Что может быть радостнее — каждую неделю освобождаться хотя бы на несколько часов от ощущения того, что он никогда не будет принадлежать ей целиком. И все-таки этот груз невысказанного разрастался с каждым днем.

Когда наступили каникулы, она приняла героическое решение: пусть проживет месяц вдали от нее! А пока Бетти будет с маленькой Джип на море, она повезет лечиться отца. Она так неотступно держалась за это решение, что после многих возражений он наконец сказал, пожав плечами:

— Хорошо, если тебе так хочется избавиться от меня.

«Избавиться от него!» Но она заставила себя подавить свои чувства и сказала, улыбаясь:

— Наконец-то! Вот хороший мальчик!

Будь что будет! Только бы он вернулся к ней таким, каким был раньше! Она не задавала ему вопросов — куда или к кому он поедет.

Тэнбриджские источники — это очаровательное чистилище, где люди, ушедшие в отставку, готовят свои души к окончательной отставке, — дремлют на холмах, вытянувшись длинными рядами одинаковых вилл. Здешние луга и леса не настолько выжжены солнцем, чтобы отставные стремились удирасть отсюда летом к морю. Они продолжают делать покупки в «Пентайле», разгуливают по холмам или размахивают клюшками для гольфа в травянистых парках, пьют чай в гостях друг у друга и ходят по многочисленным церквям. Все они так или иначе отставлены от жизни и, ожидая предуказанного дня, только стараются оттянуть его подольше.

Джип и ее отец занимали номер в отеле, где он мог принимать ванны и пить воду, не поднимаясь в гору. Это было второе его лечение, при котором она присутствовала после Висбадена — шесть лет назад! Она

чувствовала себя другой, совершенно другой! Тогда она как бы пила жизнь маленькими глотками, от каждого напитка понемногу; теперь это был какой-то один долгий глоток, но жажда оставалась неутоленной.

Она жила ожиданием почты, и если, случалось, не было письма, у нее опускались руки. Сама она писала каждый день, иногда даже по два раза, но потом рвала второе письмо, вспомнив, для чего пошла на эту разлуку. В первую неделю его письма были ровными, спокойными; во вторую они стали пылкими, в третью — капризными: он то с надеждой смотрел на будущее, то впадал в уныние; и письма становились все короче. В эту третью неделю приехала тетушка Розамунда. Она стала верной сторонницей Джип в ее новом положении. Насчет Фьорсена она решила твердо: туда ему и дорога! Она была определенно невысокого мнения о мужчинах, а также о брачных законах; на взгляд тетушки Розамунды, всякая женщина, которая наносила удар в этом направлении, была чем-то вроде героини; тетушка забывала, что Джип, по сути дела, была далека от желания атаковать брачные законы или что-либо подобное. Аристократическая и бунтарская кровь тетушки Розамунды кипела ненавистью к тем, кого она называла «ханжами», кто еще считал женщину собственностью мужчины. Видимо, именно это и заставило ее остеречься, поставить себя самое в подобное положение.

Она привезла Джип новости.

— Я шла по Бонд-стрит мимо той кондитерской, — ты знаешь, дорогая, где продают эти особые тянучки... И как ты думаешь, кто из нее вышел? Мисс Дафна Уинг и наш друг Фьорсен — он выглядел довольно-таки мрачно! Он подошел ко мне со своей маленькой дамой, которая смотрела на него глазами рыси. Право, милая моя, мне даже стало его жаль. У него был этот его голодный взгляд; а она, видно, ест за двоих! Он спросил меня, как ты поживаешь. «Когда вы ее увидите, — сказал он, — передайте ей, что я ее не забыл и никогда не забуду. Но она была совершенно права: я подхожу только вот для таких». И он так посмотрел на эту девушку, что мне просто стало не по себе. Потом он поклонился, и они ушли,

она — сияющая, как медный грош, а он... Право, мне стало его жаль.

Джип сказала спокойно:

— Не надо его жалеть, тетушка; он всегда сам себя пожалеет.

Тетушка Розамунда замолчала, она была немного шокирована. Эта славная женщина не испытала жизни с Фьорсеном!

В тот самый день Джип сидела под навесом на лугу и думала все о том же: «Сегодня четверг — еще одиннадцать дней!» Неожиданно перед нею выросли три фигуры — мужчины, женщины и некоего животного, по-видимому, собаки. Любовь человека к красоте и его тираническая власть привели к тому, что нос собаки оказался вывороченным, уши были наполовину обрезаны, хвост стал короче на добрых три дюйма. У собаки была одышка, и ходила она переваливаясь. Послышался голос:

— Здесь хорошо, Мэрайя. Здесь мы можем посидеть на солнце.

Это был голос, навсегда простуженный из-за частого пребывания у открытых могил. Джип узнала мистера Уэгга. Он сбрил бороду, оставив лишь бакенбарды, а миссис Уэгг — та необыкновенно раздобрела. Они устроились рядом с ней.

— Ты сядь здесь, Мэрайя, солнце не будет тебе бить в глаза.

— Нет, Роберт, я сяду тут. А ты сядь там.

— Нет, ты сядешь здесь.

— Нет, я не хочу. Сюда, Дакки!

Но собака, стоявшая на дорожке, не отрываясь, глядела на Джип. Мистер Уэгг посмотрел в ту сторону, куда уставилась собака.

— О! — воскликнул он. — Вот так сюрприз! — И, прикоснувшись рукой к соломенной шляпе, он протянул Джип другую, предварительно отерев ее о рукав. Пока она ее пожимала, собака подвинулась вперед и уселась на ее ногах. Миссис Уэгг тоже протянула руку в залоснившейся перчатке.

— Это... это очень приятно, — пробормотала она. — Кто бы мог подумать, что мы встретим вас! О, не позво-

ляйте Дакки сидеть так близко к вашему прекрасному платью! Сюда, Дакки!

Но Дакки не двигался и еще плотнее прижalsся спиной к ногам Джип. Мистер Уэгг внезапно спросил:

— Вы ведь не переселились сюда?

— О, нет! Я приехала с отцом, он принимает ванны.

— Так я и думал, я ни разу не встречал вас. Мы ведь уже год как здесь. Неплохое местечко!

— Да, очень приятное!

— Нам хотелось поближе к природе. Воздух нам подходит, хотя немножко... э... слишком железист, я бы сказал. Но зато тут можно достичь долголетия. Мы долго искали такого места.

Миссис Уэгг добавила:

— Да, мы думали поселиться в Уимблдоне, но мистеру Уэггу больше понравилось здесь. Он может совершать прогулки. И публика более избранная. У нас есть несколько друзей. И церковь очень славная.

Мистер Уэгг сказал добродушно:

— Я всегда был исправным прихожанином; но — не знаю, почему — в таком месте церковь кажется более значительной, моя жена того же мнения. Я не скрываю никогда своих взглядов.

— Что же, дело в обстановке?

Мистер Уэгг покачал головой.

— Нет. Я не люблю ладана. Мы ведь не англиканской церкви. А как поживаете вы, мэм? Мы часто говорим о вас. Вы выглядите прекрасно.

Лицо его стало мутно-оранжевого цвета, у миссис Уэгг, — свекольного. Собака у ног Джип зашевелилась, засопела и снова привалилась к ее ногам. Джип сказала тихо:

— Мне только сегодня рассказывали о Дэйзи. Она ведь теперь звезда, не правда ли?

Миссис Уэгг вздохнула. Мистер Уэгг, глядя в сторону, ответил:

— Это наше больное место. Да, она зарабатывает свой сорок или пятьдесят фунтов в неделю, о ней пишут во всех газетах, она имеет успех, спорить не приходится. Откладывает, наверно, по полторы тысячи в год, я не удивлюсь, если это так. Что ж, в лучшие годы, ког-

да свирепствовала инфлуэнца, я и тысячи не откладывал. Нет, что ни говори, она имеет успех.

Миссис Уэгг добавила:

— Вы видели ее последнюю фотографию? Она стоит между двух горшков с гортензиями. Это была ее идея.

Мистер Уэгг промямлил:

— Мне приятно, когда она приезжает сюда в машине. Но я приехал немного успокоиться после той жизни, которую вел, мне не хочется думать об этом, особенно в вашем присутствии, мэм. Не хочется — это факт!

Наступило молчание; миссис и мистер Уэгг сидели, уставившись на свои ноги; Джип смотрела на собаку.

— А! Вот ты где?

Из-за навеса появился Уинтон. Джип не удержалась от улыбки. Обветренное, узкое лицо ее отца, полуопущенные веки, тонкий нос, щетинистые седые усы, не закрывающие твердых губ, прямая сухопарая фигура, его выправка, высокий резковатый голос — все это было полной противоположностью коренастому мистеру Уэггу, его округлой фигуре, толстой коже, грубым чертам лица, низкому, хриплому и в то же время маслянистому голосу. словно судьба нарочно устроила демонстрацию двух различных социальных типов.

— Мистер и миссис Уэгг — мой отец!

Уинтон приподнял шляпу, Джип осталась сидеть, а собака продолжала жаться к ее ногам.

— Счастлив познакомиться с вами, сэр. Надеюсь, воды идут вам на пользу? Говорят, они самые крепкие.

— Благодарю вас. Во всяком случае, они не более смертельны, чем другие. Вы пьете их?

Мистер Уэгг улыбнулся.

— Нет, — сказал он. — Мы здесь живем постоянно.

— Вот как! И у вас есть здесь какое-нибудь занятие?

— Видите ли... Собственно говоря, я здесь отдыхаю. И я хожу в турецкие бани раз в две недели. Это открывает поры, и кожа лучше дышит.

Миссис Уэгг прибавила мягко:

— Мне кажется, что они очень полезны моему мужу.

Уинтон пробормотал:

— Н-да? Это ваша собака? Смахивает на философа, не правда ли?

Миссис Уэгг ответила:

— О! Она у нас балованная, правда, Дакки?

Пес Дакки, чувствуя себя центром общего внимания, поднялся и, тяжело дыша, уставился в лицо Джип. Она воспользовалась случаем и встала.

— Боюсь, что нам пора. Прощайте. Было очень приятно снова встретиться с вами. Когда увидите Дэйзи, пожалуйста, передайте ей мой сердечный привет.

Миссис Уэгг неожиданно достала из ридикюля носовой платок. Мистер Уэгг гулко откашлялся. Джип смотрела, как пес Дакки ковыляет вслед за ними, и слышала, как миссис Уэгг, не отнимая платка от лица, зовет: «Дакки! Дакки!»

Уинтон сказал тихо:

— Значит, у этой пары — такая красивая девица! Ну, она показала себя не с лучшей стороны, насколько я могу судить. Она все еще с нашим бывшим другом, как мне говорила твоя тетушка.

Джип кивнула.

— Да. И я надеюсь, что она счастлива.

— А он, видимо, не очень. Ну и поделом ему!

Джип покачала головой.

— Не надо, отец!

— Да, не надо желать человеку худшего, когда ему, видимо, и так достается. Но когда я вижу людей, которые смеют задирать нос перед тобой, тогда, черт побери...

— Родной, какое это имеет сейчас значение?

— Для меня — очень большое! — Его рот искривился в мрачной усмешке. — Ну, да, все мы одинаковы, когда дело доходит до осуждения ближних.

В эти немногие дни, проведенные на Тэнбриджских водах, они открыли себя друг другу больше, чем за многие годы. Размягчили ли лечебные ванны непроницаемую броню Уинтона или на него произвел действие здешний воздух, который мистер Уэгг находил «немножко... э... железистым», но он явно отступил от первейшей обязанности мужчины — скрывать свои переживания.

В последний день их пребывания в Тэнбридже они пошли в один из близлежащих лесов. Джип была рас-

трогана красотой освещенных солнцем деревьев, и ей не хотелось разговаривать. Но Уинтон, которому предстояло расстаться с нею, был чрезвычайно разговорчив. Он начал с того, что в конном спорте происходят зловещие перемены — все стало таким плутократическим, и эти американские седла, и букмекеров развелось видимо-невидимо — словом, положение трагическое; потом он пустился в целую иеремиаду по поводу общего состояния дел: парламент — теперь, когда его членам платят жалованье, — утратил всякое уважение к самому себе; города объедают деревни; над охотой нависла угроза; сила и вульгарность печати ужасающи; женщины потеряли голову; и все словно стыдятся своих «хороших манер»... К тому времени, когда маленькая Джип достигнет возраста своей матери, наверно, все они подпадут под власть Наблюдательных Комитетов, будут жить в городах-садах и отчитываться за каждую истраченную полукрону и за каждые полчаса своего существования; лошадь превратится в вымирающий вид животного царства — ее будут показывать только раз в году на церемониях у лорд-мэра. Он надеется, что не доживет до этого времени. И неожиданно Уинтон добавил:

— Как ты думаешь, Джип, что бывает после смерти?

— Ничего, отец. Я думаю, мы просто вернемся обратно.

— А! И я так думаю!

Ни она, ни он не знали, что думал каждый об этом раньше.

Джип пробормотала:

La vie est vaine —
Un peu d'amour,
Un peu de haine
Et puis bonjour ¹.

Уинтон не то фыркнул, не то засмеялся.

— А то, что называют «богом», — что это такое в конце концов? Просто то лучшее, что человек может извлечь из себя, и ничего больше — насколько я в состоянии судить. Невозможно вообразить больше того, чем ты можешь вообразить. Но одно меня всегда ставило в ту-

¹ Жизнь — пустое дело: немного любви, немного ненависти — и вот уже конец! (франц.).

пик, Джип. Всю жизнь мое сердце принадлежало одной женщине. Наступает смерть, и ты уходишь! Зачем же я любил, если мы уже никогда больше не встретимся!

— Может быть, любить кого-либо или что-либо всем сердцем — это и есть главное в жизни?

Уинтон посмотрел на нее.

— Да-а-а,— протянул он, наконец,— я часто думаю, что верующие простачки откладывают деньги, чтобы поставить на лошадь, которая никогда не побежит. Возьми этих йогов в Индии: сидят себе, и весь мир может полететь к черту, а им нипочем, они надеются, что им будет лучше в царстве божьем. Ну, а если оно не наступит?

Взяв его под руку, она крепко прижалась к нему.

— Нет, отец, мы с тобой уйдем из жизни туда, где ветер, солнце, деревья, вода — как Прокрида на моей картине.

ГЛАВА VI

Брайан Саммерхэй сел в ночной экспресс из Эдинбурга с двойственным чувством — печали о девушке, которую он оставил, и тоски по женщине, к которой возвращался. Как могли одновременно жить в его сердце и та и другая? Но, лежа на вагонной полке, он с приятной легкостью вспоминал о Диане, протягивающей ему чашку чая и поглядывающей на него с насмешливой улыбкой, пока он перелистывает страницы ее нот; и тут же в следующую минуту уносился мыслью к Джип, весь охваченный желанием обнять ее, услышать ее голос, глядеть в ее глаза, прижаться губами к ее губам; он знал, что такой любви, такой дружбы, насыщающих душу и тело, он не найдет нигде. И все-таки в глубине сердца притаилась легкая тоска и по той рыжеволосой девушке.

Утомленный этим странным колебанием чувств, он заснул и видел сны — какие человек может только видеть в поезде; потом на какой-то станции проснулся от удивительной тишины, снова проспал, как ему показалось, несколько часов и опять проснулся на той же станции; и опять заснул, пока, наконец, не очнулся в Уилсдэне

при ярком свете дня. У него было теперь только одно страстное желание — увидеть Джип! Садясь в такси, он улыбался, радуясь даже лондонскому утреннему туману.

Она стояла в дальнем углу комнаты гостиницы, смертельно бледная, дрожащая с головы до ног; и когда он крепко обнял ее, она глубоко и прерывисто вздохнула и закрыла глаза. Прижимая губы к ее губам, он чувствовал, что она почти в обмороке; да и сам он тоже не сознавал ничего, кроме этого поцелуя.

Наутро они уехали за границу, в маленькое местечко, недалеко от Фекана, в Нормандии. Здесь, в деревне, все было огромных размеров — люди, животные, неогороженные поля, дворы ферм, осененные огромными деревьями, небо, море, даже черника. Джип была счастлива. Но дважды приходили письма с шотландскими марками, написанные тем самым, хорошо памятным ей почерком. В темноте призрак всегда кажется огромным, в тумане — особенно реальным. Ревность коренится не в разуме, а в натуре человека, любящего со всей силой отчаяния и в то же время полного гордости. Ревность вырастает из скептицизма. Если бы гордость даже позволила ей расспрашивать его — что толку? Она все равно не поверила бы его ответам. Конечно, он сказал бы — возможно, только из жалости, — что никогда не позволял себе и думать о другой женщине... Но, в конце концов, может быть, все это — только ее воображение? Было ведь немало часов за эти три недели, проведенных вместе, когда она чувствовала, что он действительно любит ее, и была счастлива.

Они вернулись в Красный дом в начале октября. Маленькая Джип теперь была уже законченной наездницей. Под руководством старого Петтенса она ездила верхом к «пустоши». Ее крепкие, загорелые ножки словно вросли в бока мышастого пони, смуглое личико было полно возбуждения, черные глаза смотрели прямо вперед, она красиво держалась в седле, короткие кудри рассыпались по маленькой стройной спине. Она пожелала съездить на прогулки вместе с дедом, мамой и Бэрайном. И первые дни после их приезда ушли на то, чтобы выполнить это ее новое желание. Потом началась судебная сессия, и Джип ничего не оставалось, как снова делить Саммерхэя с его второй жизнью.

Старый скоч-терьер Оссиан лежал на дорожке, освещенной бледным ноябрьским солнцем. Он лежал здесь все утро, с той самой минуты, как его хозяин уехал ранним поездом. Оссиану шел уже шестнадцатый год. Он был глух и невесел, и каждый раз, когда Саммерхэй уезжал, его глаза словно говорили: «Кончится тем, что мы расстанемся навсегда!» Остальные славные люди, которые жили в этом доме, не заменяли ему того, с кем, он чувствовал, ему уже недолго осталось быть вместе. Он с трудом переносил появление во дворе каждого чужого. Джип увидела из окна, как Оссиан выгнул спину и заворчал на почтальона. Опасаясь за его икры, она поспешно сбежала вниз.

Конверт, надписанный все тем же страшным для нее почерком и помеченный «весьма срочно», был переслан сюда с места работы Саммерхэя. Она поднесла письмо к носу. Аромат — чего? Машинально потрогав ногтями край конверта, она тут же положила его на место — слишком уж хотелось ей его вскрыть. Внезапно у нее мелькнула мысль: «А что если я прочту и в нем ничего особенного не окажется?» Пришел бы конец ее ревнивым опасениям, всему тому, что причиняло ей столько огорчений в последние месяцы. Ну, а если там все-таки что-то есть? Тогда она сразу утратит веру и в него и в себя, утратит его любовь, уважение к себе. Может быть, отвезти ему это письмо? Если выехать трехчасовым поездом, она будет на месте в начале шестого. Еще есть время дойти до станции. Она побежала вверх. Маленькая Джип сидела на верхней ступеньке и рассматривала книгу с картинками.

— Я уезжаю в Лондон, деточка. Скажи Бетти, что я вернусь вечером, а возможно, и останусь в городе. Поцелуй меня хорошенько.

Маленькая Джип исполнила ее просьбу.

— Я хочу посмотреть, как ты надеваешь шляпу, ма! Надевая шляпу и пальто, Джип думала: «Я не возьму с собой сумки. Я ведь всегда могу заехать на Бэри-стрит». Она сбежала вниз, схватила письмо и поспешно зашагала к станции.

В поезде она вытащила письмо. Как она ненавидит

этот почерк, ненавидит за тот страх, который он вселял в нее в прошедшие месяцы! Если бы эта девушка знала, сколько тоски и страданий она причинила, перестала бы она писать? Джип попыталась вызвать в памяти лицо, которое видела только одну минуту, голос, услышанный только один раз,—голос человека, привыкшего добиваться своего. Нет! Это только побудило бы ее продолжать игру. Честную игру против женщины, не имеющей на него никакого права, кроме любви. Слава богу, она не отняла его ни у какой женщины — разве что у этой девушки! За все эти годы она не узнала ни одного его секрета... Джип стала у окна пустого купе. Вот и река, а вот — ну, конечно! — та самая заводь, возле которой он умолял ее уйти к нему навсегда. Как все изменилось — голые, унылые деревья, бледно-серое небо!

Поезд опаздывал; темнело, когда она вышла из Пэдингтонского вокзала и, сев в такси, поехала в Темпл. Как странно — она здесь в первый раз! У Темпл-Лейн она оставила машину и пошла по узкой, плохо освещенной многолюдной улице — центру лондонской юстиции.

«Поднимитесь по этим каменным ступенькам, мисс; вдоль перил, вторая дверь». При слабом свете Джип стала рассматривать фамилии. «Саммерхэй. Третий этаж». Сердце ее сильно билось. Что он скажет? Как встретит ее? Не глупо ли она поступила, придя сюда? Может быть, у него на консультации клиент? Или какой-нибудь клерк или истец? Как ей тогда назвать себя? На втором этаже она остановилась, вытащила карточку и написала карандашом:

«Могу я повидать тебя на минуту? Джип».

Потом, глубоко вздохнув, чтобы успокоить бьющееся сердце, она стала подниматься вверх. Вот его фамилия, вот дверь. Она позвонила — никто не откликнулся; прислушалась — ни звука. Все было здесь массивным и мрачным — железные перила, каменные ступени, голые стены, дубовая дверь. Она позвонила снова. Что делать? Оставить письмо? Так и не увидеть его — ее маленькое романтическое приключение кончится ничем, разве что скучным визитом на Бэри-стрит, где не будет никого, кроме миссис Марки, потому что отец на охоте в Милденхэме и не вернется до воскресенья! Она подумала:

«Оставляю письмо. Вернусь на Стрэнд, выпью чаю и попытаюсь заглянуть сюда снова».

Она вынула письмо, просунула его в щель и услышала, как оно упало в проволочную сетку; потом тихо спустилась по ступеням и пошла на Темпл-Лейн. Улица была полна людей — кончился рабочий день. Возле Стрэнда ей бросилась в глаза женская фигура. Женщина шла рядом с мужчиной по противоположной стороне улицы; их лица были обращены друг к другу. До Джип донеслись их голоса, и она остановилась, глядя им вслед. Они проходили под фонарем; свет блеснул на волосах женщины, на слегка приподнятом плече Саммерхэя — он всегда приподнимал его, когда спорил; она услышала его звучный, энергичный голос. Джип видела, как они пересекли улицу, поднялись по каменным ступеням, по которым она только что спустилась, прошли мимо перил каменного перехода, вошли в дверь и исчезли. Ее охватил такой ужас, что она едва могла сдвинуться с места.

«Нет! Нет! Нет!» Это слово проносилось в ее мозгу, как стон, как студеной ветер проносится в дождь среди мокрых деревьев. Что это значит?! В охватившем ее страшном смятении она даже и не подумала о том, чтобы бежать к нему. Она не сознавала, куда идет, пересекала улицы, не обращая внимания на мчащиеся машины. Дойдя до Трафалгар-сквера, она оперлась на парапет у Национальной галереи. Только здесь она смогла кое-как собраться с мыслями. Так вот почему пуста его квартира! Какие уж там клерки! Все подготовлено для того, чтобы они могли оставаться наедине. Наедине там, где она мечтала побыть с ним!.. И только сегодня утром он целовал ее! Станный смешок застрял у нее в горле вместе с подавленным рыданием. Почему, ну почему у нее есть сердце?.. Внизу, у цоколя одного из львов, молодой человек обнимал девушку и прижимал ее к себе. Джип отвернулась и снова пустилась в свое печальное путешествие. Она дошла до Бэри-стрит. Ни огонька, ни признака жизни. Да это и неважно — она не может сейчас войти туда.

На деревьях Грин-парка, по которому она проходила, еще оставалось немного листвы, отливавшей яркой медью, как волосы той девушки. Перед Джип вставали

мучительные видения. Эта пустая квартира! Он лгал ей. Он и поступал, как лжец. Нет, она не заслужила этого! Ощущение несправедливости принесло ей первое облегчение, первое прояснение ее мозгу, затуманенному горем. Она ни разу не бросила взгляда ни на одного мужчину, не думала ни о ком, кроме него, — с той ночи на море, когда он пришел к ней через залитый лунным светом сад! Ни одной мысли ни о ком!.. Слабое утешение... Она брела по газону Хайд-парка и уже более спокойно старалась вспомнить, когда он изменился к ней. Она не могла вспомнить. Его отношение к ней не изменилось, совсем нет! Значит, можно притворяться, что любишь? Можно играть в страсть и, целуя ее, думать об этой девушке!

Любовь! Почему она так одержима ею, что страдает, когда видит его, идущего с другой женщиной, а это ведь сущий пустяк!.. Что же ей делать? Надо доползти до дома и залезть в свою нору! На Пэддингтонском вокзале она застала отходящий поезд и вошла в вагон. В купе сидели дельцы из Лондона, адвокаты из Темпла, где она была только что. Она обрадовалась шелесту газет, этим бесстрастным лицам, любопытствующим взглядам; она была рада тому, что должна снова надеть маску, чтобы скрывать свои чувства. Но мало-помалу соседи по купе выходили — некоторых ждали машины, других — вечерний моцион; она осталась одна и стала глядеть в темноту, на пустынную реку, которая уже была видна при свете луны, поднявшейся на юго-западе. На одну безумную секунду она подумала: «А что, если открыть дверь и выпрыгнуть? Один шаг и — покой!»

От станции она почти бежала. Шел дождь, и она с удовольствием подставляла под холодные струйки воды разгоряченное лицо. Было еще светло, и она различала дорожку, ведущую через буковую рощу. Ветер вздыхал, шелестел, качал темные ветви, срывал с них листья. Какой-то дикой печалью веяло от гнущегося под ветром леса. Она побежала по шуршащим, не совсем еще намокшим листьям, они прилипали к ее тонким чулкам. На опушке она перевела дыхание и оглянулась назад. Потом, подставив голову дождю, вышла в открытое поле.

Добравшись до дома, Джип поднялась к себе никем

не замеченная. Она растопила камин и села перед ним, вся сжавшись, прислушиваясь к ветру, который шумел в тополях. И снова пришли ей на память слова той шотландской песни, которую пела девушка на концерте:

Солнце угасло в сердце моем,
Оно замирает в смертной тоске.

Потом она легла в кровать и в конце концов уснула. Утром она проснулась с радостной мыслью: «Суббота! Он придет сейчас же после завтрака!» И вдруг вспомнила все!словно бес гордости вселился в нее и с каждым часом все больше подчинял себе все ее мысли. Она не хотела, чтобы Саммерхэй застал ее дома, когда придет, велела оседлать лошадь и одна уехала к холмам. Дождь перестал, но с юго-запада все еще дул сильный ветер, небо висело рваными серыми полотнищами, и только в редких просветах холодной синевы торопливо проплывали похожие на дым облака.

Перед ней расстилались уитенхэмские рощи, вся долина, нескончаемые леса по ту сторону реки, тянущиеся на восток, юг и запад под этим странным рваным небом, осенняя земля — побелевшая трава лугов, голые поля, сильно поредевшая бурая и золотая листва деревьев. Но ни игра ветра, ни небо, ни свежесть дождя и далекие краски не могли изгнать из сердца Джип безысходную боль и беса, который вселился в нее.

ГЛАВА VIII

Среди людей есть прирожденные игроки. Они не в силах противиться судьбе, когда она их дразнит, толкая на риск.

Саммерхэй любил Джип и не пресытился ею ни физически, ни душой и даже был убежден, что не пресытится никогда; но это не мешало ему вот уже несколько месяцев вести рискованную игру, которая вчера дошла до опасной границы. И теперь, когда он сел в поезд, чтобы ехать к Джип, его стало терзать беспокойство. Оглядываясь назад, он с трудом мог бы сказать, когда именно были прорваны его оборонительные позиции. Его кузина по натуре тоже была игроком. Он меньше уважал ее, чем

Джип, и она меньше его волновала; да и не была — о, нет! — и вполтину так привлекательна; но она обладала — черт бы ее взял! — какой-то неуловимой способностью кружить ему голову, каким-то удивительным, обжигающим, хотя и поверхностным очарованием, покоряющей, победительной силой жизни. Сама влюбленная в жизнь, она сумела убедить его в том, что он позволяет жизни проходить мимо. А жадно пить из источника жизни — разве это не свойственно и его натуре? Их отдаленное родство порождало между ними фамильярность, которая не вызывала подозрений, но разрушала преграды к близости, устранение которых в других случаях требует сознательного усилия.

Саммерхэй еще не отдавал себе отчета, насколько велика опасность. Во всяком случае, он не мог предугадать того кризиса, который возник вчера вечером. Во время завтрака он получил телеграмму от Дианы, она просила его выполнить шутливое обещание, данное ей в Шотландии: пригласить ее на чашку чая и показать ей свою квартиру — безобидная, пустяковая просьба! Не мог же он предвидеть, что она будет выглядеть такой красивой, когда удобно усядется в его большом оксфордском кресле, распахнув мантию и открыв белоснежную шею; что, беря из его рук чашку чая, она протянет руки, нагнет его голову, прижмется губами к его губам и скажет: «Теперь ты все знаешь!» У него закружилась голова и даже теперь кружится, когда он вспоминает об этом. Вот и все — в сущности, пустяки. Но какая-то отравка проникла в его кровь. Поцелуй был короткий. Но Саммерхэй замер, глядя на нее, вдыхая ее аромат, напоминающий запах соснового леса. А она взяла со стола перчатки и стала застегивать пальто, словно это он сорвал поцелуй, а не она. Когда они спускались по ступенькам, она крепко оперлась на его руку. И, садясь в машину у Темпл-Стэйшн, оглянулась на него с насмешливой улыбкой, в которой были и вызов, и теплота, и обещание.

Вернувшись к себе, Саммерхэй нашел в почтовом ящике письмо — должно быть, Джип переслала его из Красного дома. Он почувствовал смутную неловкость оттого, что письмо прошло через ее руки. Он провел беспокойный вечер в клубе, играл в карты, проигрывал, поздно вечером занялся дома одним судебным делом; наутро

подвернулась трудная работа, и только теперь, по дороге к Джип, он понял, насколько все перестало быть ясным и простым.

Узнав, что она уехала верхом одна, он почувствовал, как растет в нем ощущение неловкости. Почему она не дождалась его, как всегда? Может быть, подумала, что он не приедет обычным поездом? Он переоделся и отправился в конюшню. Петтенс сидел на ящике для овса и изучал старинный справочник Раффа, в который была занесена летопись и его былой славы; соответствующие места были подчеркнуты карандашом: «Июньские Дерби. «Проворный». Э. Петтенс». «Тайдпот, розыгрыш гандикапа. «Доротей». Э. Петтенс». «Кубок Солсбери. «Плум-Пуддинг» Э. Петтенс». Были помечены и другие его триумфы.

— Добрый день, сэр, ветреный денек, сэр. Хозяйка выехала больше двух часов назад, сэр. Не пожелала взять меня с собой.

— Седлайте Сорванца и поскорее!

— Да, сэр; очень хорошо, сэр!

Больше двух часов! Он поскакал к холмам — по дороге, которой они обычно возвращались домой. Но он проехал около часа, не переставая ее искать, и вернулся домой один разгоряченный и встревоженный. В прихожей на столике лежали ее перчатки и хлыст. Облегченно вздохнув, он побежал вверх. Она причесывала волосы и резко обернулась, услышав его шаги. Он бросился к ней, и ему показалось, что она смотрит на него, как затравленный зверь. Она отшатнулась от него и сказала:

— Нет! Не притворяйся! Что угодно — только не притворство!

Он никогда не видел ее такой — с таким холодным лицом и колючими глазами. И он отодвинулся от нее.

— Что с тобой, Джип?

— Ничего. Только не притворяйся. — И, повернувшись к зеркалу, она снова принялась расчесывать волосы.

Она была прелестна, с лицом, разрумянившимся от долгой прогулки верхом, — ему хотелось обнять ее как можно крепче.

Он сказал со страхом и пробуждающимся раздражением:

— Объясни же, в чем дело?

— Объяснить должен ты. Я — в полном неведении.

— Не возьму в толк, о чем ты говоришь.

— Неужто?

Что-то убийственное было в ее пренебрежительном тоне; пальцы ее торопливо двигались, укладывая темные, блестящие волосы; его потрясла эта неожиданная враждебность. Он сел на край кровати. Может быть, письмо? Но каким образом? Оно не было распечатано.

— Ради бога, Джип, что случилось со вчерашнего дня? Говори же, не мучай меня!

Она повернулась и взглянула на него:

— Не притворяйся, будто ты огорчен тем, что не можешь меня поцеловать! Не лукавь, Брайан! Ты ведь знаешь, — это притворство длится уже не один месяц.

Саммерхэй повысил голос:

— Ты, наверно, помешалась. Я не понимаю, о чем ты говоришь.

— О нет, ты понимаешь! Ты получил вчера письмо с пометкой: «Весьма срочно»?

Так и есть! Он ожесточился и сказал упрямо:

— Да, получил. От Дианы Лейтон. Ты недовольна?

— Нет. Но подумай: как могло оно дойти так быстро отсюда?

Он сказал хмуро:

— Не знаю. Должно быть, почтой.

— Нет! Я сама положила его в твой почтовый ящик в половине шестого.

Саммерхэй привык соображать быстро и сразу понял все значение сказанного. Он пристально посмотрел на нее.

— Тогда ты, верно, видела нас?

— Да.

Он встал, беспомощно развел руками и сказал:

— О, Джип! Не надо! Не будь же так безжалостна! Я клянусь тебе...

Джип коротко засмеялась и повернулась к нему спиной, продолжая убирать волосы. Им овладело ужасное

ощущение, что он вот-вот ударится обо что-то головой. Он сказал растерянно:

— Я только угостил ее чаем. Почему бы и нет? Она моя кузина, это ведь пустяки. Зачем думать обо мне самое худшее? Она хотела посмотреть мою квартиру. Я не мог отказать.

— Твою *пустую* квартиру? Перестань, Брайан, что за жалкая болтовня! Мне и слушать тебя не хочется.

Саммерхэй, вздрогнув, точно от удара хлыстом, резко повернулся к ней и сказал:

— Тебе, значит, доставляет удовольствие думать обо мне самое плохое?

Пальцы Джип на мгновение замерли.

— Я всегда говорила тебе, что ты совершенно свободен. Ты думаешь, я не чувствовала, что это продолжается уже много месяцев? Но наступает час, когда гордость восстает — вот и все. Не лги мне, прошу тебя.

— У меня нет привычки лгать!

Он чувствовал себя так, словно запутался в какой-то сети и не может выбраться из нее. Всему виной эта проклятая фамиллярность в их отношениях с Дианой, о чем он, неизвестно почему, не сказал Джип. Но как заставить ее почувствовать правду, почувствовать, что он любит одну ее, только одну ее?

— Джип, клянусь тебе — не было ничего, кроме одного поцелуя, да и тот...

Она крикнула:

— О, уходи, уходи же!

Он положил руки ей на плечи.

— Только одну тебя я люблю. Клянусь тебе! Почему ты мне не веришь? Ты должна мне верить. Не надо быть такой злой. Это глупо, глупо! Подумай о нашей любви, подумай обо всем...

Ее лицо оставалось ледяным; он убрал руки и пробормотал:

— Как она ужасна, твоя гордость!

— Это все, что у меня есть. Можешь уходить к ней, когда пожелаешь.

— Уйти к ней? Да я бы не мог... если хочешь, я никогда больше не буду с ней встречаться.

— О, оставь! Какой в этом толк?

Саммерхэй говорил сейчас именно то, что думал. И все-таки он не в силах заставить Джип поверить! Это ужасно! И так несправедливо, так неразумно! Что он такое сделал, что она потеряла к нему всякое доверие, и он вдруг стал для нее чем-то вроде мелкого негодяя? Разве он виноват в том, что эта девушка поцеловала его? В том, что она в него влюбилась? Или в том, что он мужчина? Неразумно, несправедливо, невеликодушно! И, бросив на Джип разъяренный взгляд, он вышел.

В кабинете он бросился на кушетку и повернулся лицом к стене. Но не прошло и пяти минут, как его гнев показался ему ребяческим и испарился, а на смену гневу пришла ужасная, неотступная тревога. Он почувствовал, что против него — все существо Джип, вся ее гордость и недоверчивость и — да! — вся глубина ее любви. Ей ничего не нужно, кроме него, а он... он готов довольствоваться меньшим... Но все это он признавал как-то смутно, потому что чувствовал себя в тупике и у него было мучительное желание по-бычьи, лбом пробить себе выход из всего этого, каковы бы ни были препятствия... Как долго все это будет продолжаться? Он встал и принялся шагать по комнате, откинув голову, то и дело потряхивая ею, словно стараясь сбросить с себя ощущение, что он зажат в тиски. Диана!.. Он сказал, что больше не увидит ее. После того поцелуя? После взгляда, который она бросила ему на прощание? Можно ли порвать так, вдруг? Он вздрогнул. Ах, как все скверно! Должен же все-таки быть выход? Разумеется, но какой?

В чаще жизни поселилась обреченность; ее смутный, сумрачный облик уже маячит среди деревьев, показывая ему то бледную щеку, то темные глаза — с какой-то пугающей настойчивостью и непонятной реальностью!

ГЛАВА IX

Джип осталась у себя в комнате и занялась всякими мелочами, пришивала ленточки к белью, протирала кольца; так поступает всякая женщина, почувствовав себя не-

счастной. Бес, вселившийся в нее с самого утра, теперь крадучись отступал, оставляя лишь смутное ощущение обрушившегося на нее несчастья. Она казнила своего возлюбленного, испытав при этом какое-то удовлетворение; а теперь ей было только больно и горько. Какой от этого толк, какое утешение? Можно ли лечить рану, мстительно растравляя ее мелкими уколами, заражая червоточиной самую сердцевину жизни? Можно ли излечить себя, причиняя боль человеку, которого любишь? Если бы он поднялся сейчас к ней и подал хоть какой-нибудь знак, она бросилась бы ему на шею. Но часы шли, он не приходил, а она тоже не спускалась вниз, вконец подавленная и несчастная. Уже стемнело, но она не задвигала штор и не зажигала огня. Луна, сад, шумящие под ветром листья навевали на нее уныние. Вбежала маленькая Джип. Там, в саду, есть дерево, и она забралась на него, и они собрали две корзины желудей — а свиньи их все поели; а потом свинья убежала, и Бетти пришлось ловить ее. А Бэрайн все ходит по кабинету, он так занят — поцеловал ее только раз!

Ветер! Если бы он мог развеять мучительное чувство, что это конец, сколько бы Брайан ни притворялся, что любит ее! У женщин ее склада, сомневающихся и неуверенных в себе, доверие к кому-либо, однажды расшатанное до корней, уже не может быть восстановлено. Не ее гордой натуре, беззаветно отдающей себя любви, довольствоваться полулюбовью. Она страшилась любви, сопротивлялась ее приходу, а теперь любовь захватила ее целиком; с того времени она живет только для любви и ни для чего другого, отдает все и хочет получить все; но теперь она со всей очевидностью поняла, что всего не получит. Месяцами он думал — пусть даже немного — о другой женщине. Даже если не было ничего, кроме одного поцелуя, — разве этого мало? У этой девушки, его кузины, в руках все: общество, влиятельная семья, обеспеченная жизнь; на ее стороне и нечто большее, намного большее — тоска мужчины по юному, неразбуженному. На Диане он может жениться! Эта мысль неотступно преследовала Джип. Случайный взрыв мужской естественной страсти она могла бы и забыть — о, да! Но эта девушка, его кузина, берет над ним власть, отни-

мает его у нее! Может ли она, не поступившись своей гордостью, удерживать его, связывать по рукам и ногам?

Она услышала, как он поднялся в ванную, и, пока он был там, потихоньку спустилась вниз. Жизнь должна идти своим чередом, прислуга не должна ничего замечать. Она открыла рояль и начала играть. Он тут же вошел и молча стал у камина.

Обед, сопровождаемый вымученным разговором, был почти невыносим; как только он кончился, они разошлись: он в кабинет, она к роялю. Она сидела, готовая каждую минуту ударить по клавишам, если кто-либо войдет; слезы падали на ее руки, лежавшие на коленях. Всей душой она рвалась к нему — пойти, обнять, крикнуть: «Мне все равно!.. Все равно! Делай, что хочешь, — иди к ней, но только люби меня хоть немного!» Да, теперь уже только *немного*. Разве это возможно? Нет, не для нее!

В полном отчаянии она поднялась наверх и легла. Она услышала, как он поднимается, и — наконец! — вот он, в свете камина, стоит перед ней на коленях.

— Джип!

Она вскочила и судорожно обвила его руками. Так хватается утопающий за своего спасителя. Гордость была отброшена в сторону; только бы еще раз почувствовать его рядом с собой, еще раз вернуть невозвратимое прошлое! Она долго слушала его оправдания и уверения в вечной любви — все это было каким-то чужим и мучительным и в то же время ребяческим и трогательным. И она сама успокаивала его. В этот час Джип сумела подняться над собой. Что творилось в ее сердце — неважно; лишь бы он был счастлив, лишь бы у него было все, чего он желает — с нею или, если так будет нужно, без нее, даже навсегда без нее...

Но когда он заснул, для нее началось самое страшное; в эти поздние часы ночи, когда все предстает в зловещем свете, она не могла сдержать рыданий и только старалась их приглушить, уткнувшись в подушку. Он проснулся, и все началось сначала. Она говорила, плача: «Все кончено»; он повторял: «Не кончено!» Как и во всех человеческих трагедиях, оба были правы, ка-

ждый по-своему. Она отдала ему всю себя и того же хотела от него, но это оказалось невозможным. Она была нужна ему, но ему нужны были и покой и жизнь без упреков, а он не мог получить этого. Он не допускал невозможного; она допускала.

Наконец наступило временное затишье. Она долго лежала без сна, глядя в темноту, отчаянно пытаясь найти в себе силы перенести все это, и не находила их. Невозможно оторвать его от второй жизни! А пока он будет жить этой жизнью, невозможно сделать так, чтобы эта девушка не отнимала его у нее. Нельзя вечно следить за ним, расспрашивать его. Но нельзя и жить немой и слепой, нельзя соглашаться на объедки, ничем не выдавая себя. Она прямодушна, он нет. Что бы он ни говорил, она чувствовала, что он не хочет отказаться от этой девушки, даже если та сама оставит его в покое. И понемногу у Джип стал складываться замысел, казавшийся ей самой отвратительным: испытать его!.. Осторожно, отняв у него свои руки, она повернулась на другой бок и, совершенно обессиленная, наконец заснула.

На следующее утро она уже без всяких угрызений совести начала осуществлять свой план, заставила себя улыбаться и разговаривать так, словно ничего не случилось; и она видела по его просветлевшему лицу, что он рад этой перемене в ней; но сердце у нее по-прежнему болело. Она подождала, пока он собрался уходить, и, все так же улыбаясь, сказала:

— Забудь, что было вчера, милый. Обещай мне! Ты не должен ничего терять. Можешь сохранить дружбу с ней. Я не буду возражать; я буду вполне счастлива.

Он опустился на колени и прижался лбом к ее груди. Глядя его волосы, она повторяла:

— Если ты будешь делать все, что тебе по душе, я только буду счастлива. Я нисколько не буду против этого.— И она увидела, что его озабоченность уже почти исчезла.

— Ты и на самом деле так думаешь?

— Да, на самом деле.

— Значит, ты понимаешь, что это пустяки по сравнению с нашей любовью, сущие пустяки?

Он готов был принять ее муки!

— Тебе было бы трудно и неловко отказаться от этой дружбы. Это оскорбило бы и твою кузину.

Она видела по его лицу, что он окончательно успокоился, и вдруг рассмеялась. Он поднялся с колен и растерянно посмотрел на нее:

— О Джип, ради бога, только не начинай все сначала!

Она подавила рыдание, отвернулась и закрыла лицо руками. На все его просьбы и поцелуи она не отвечала ни словом и, наконец, вырвавшись, побежала к двери. Отчаянная мысль завладела ею. Зачем продолжать? Если она умрет, это будет выходом для него — мир, покой для всех! Но он бросился ей наперерез.

— Джип, ради бога! Я откажусь от нее, правда, откажусь... Ты... ты... будь только разумной! Ну что она для меня значит по сравнению с тобой?

И снова пришла передышка, но оба чувствовали: это потому только, что они измучены.

Звонили колокола в церкви, юго-западный ветер утих — в природе тоже наступило временное затишье, которое обычно начинается ночью и длится двенадцать — пятнадцать часов; сад был усеян листьями всех цветов и оттенков — от желто-зеленых до медно-красных.

Саммерхэй провел с Джип все утро, стараясь помогать ей во всем. Страх его постепенно улетучивался: она, казалось, тоже успокоилась, а ему, с таким трудом переносившему любую неприятность, хотелось поскорее отделаться и от этой. Но после завтрака душевная буря разразилась снова и с такой силой, что стало ясно: рана глубока и трудно излечима. Он только спросил, нет ли у нее для него поручений в Лондоне. Она помолчала, потом ответила:

— О нет, спасибо. У тебя много других дел, тебе надо видаться с людьми.

Ее голос, выражение лица с новой силой показали ему, какой удар угрожает всей его жизни. Если он не сумеет убедить ее в своей любви, придется жить в постоянной тревоге: вдруг он придет и увидит, что она уехала или что-нибудь сделала с собой. Он посмотрел на нее с каким-то ужасом и, не произнеся ни слова, вышел из комнаты. Снова ему показалось, что он вот-вот

ударится обо что-то головой, и снова, пытаюсь избавиться от этого чувства, он принялся расхаживать взад и вперед по кабинету. Такой пустяк — и такие последствия! Куда девалась ясность ее ума, умение владеть собой? Неужели так ужасно то, что он совершил? Разве его вина, что Диана влюбилась в него?

Ночью Джип сказала:

— Ты жесток. Как ты думаешь, есть ли хоть один мужчина на свете, которого я бы не возненавидела, если бы знала, что мои встречи с ним доставляют тебе боль?

Это была правда — он чувствовал, что это правда. Но нельзя же возненавидеть девушку только за то, что она влюблена в него! По крайней мере, он этого не может, как бы ни хотел избавить Джип от страданий. Это просто неразумно, невозможно! Неужели Джип любит его несравненно сильнее, чем он ее, и в этом состоит вообще различие между любовью женщины и мужчины? Почему она не способна видеть жизнь такой, как она есть? Неужели она не в состоянии понять, что мужчине нужны и другие дружеские связи, — и бывает, что они переходят в мимолетную страсть, — но при этом он может по-прежнему любить ту, которой навсегда отдал свое сердце? Она назвала его жестоким, за что? За то, что он ответил на поцелуй девушки? За то, что ему нравится разговаривать с ней или — да! — приятно немножко пофлиртовать? Он жесток? Нет! Джип всегда останется для него первой. Надо заставить ее понять это, но как? Отказаться от всего? Отказаться от... Дианы? Что ж, он готов это сделать. Его чувство к ней вовсе не глубоко — это истинная правда. Но было бы грубо, недостойно, жестоко оттолкнуть ее сразу, навсегда. Правда, он мог это сделать еще до того, как Джип назвала его жестоким. Можно и надо было это сделать!

Но к чему это приведет? Поверит ли ему Джип? Как бы он ни вел себя, она все равно будет подозревать его всегда, каждый раз, когда он уезжает в Лондон. Так что же тогда — сидеть здесь сложа руки? В нем подымался гнев. Почему она обращается с ним, как с человеком, не заслуживающим доверия? Разве он такой? Он перестал шагать по комнате. Когда Диана обняла его, он ответил на ее поцелуй, потому что не в силах был

сопротивляться, как не в силах, например, вылететь вот через это окно и пронестись над тополями. Но он не негодяй, не чудовище, не лжец. Единственное, что он мог сделать,— это не ответить на первое письмо Дианы, год назад. Но возможно ли все предвидеть? Это складывалось постепенно и кончилось ничем — почти ничем. И снова приступ гнева сдавил его сердце. Джип, должно быть, прочитала то письмо, которое валялось под этим проклятым бюстом. Значит, отравка действует с тех пор. Какая нелепая случайность! И он ударил изо всех сил кулаком по бронзовому лицу Вольтера. Бюст упал, и Саммерхэй тупо посмотрел на свою ушибленную руку. Что за идиотство! Гнев его угас. Как же ему быть? Если бы только она поверила! И снова пришло томительное ощущение безысходности: все бесполезно! Разлад только начинается, но конца ему не видать. Как крыса в мышеловке, его мозг, пытаюсь вырваться из этого плена, метался в поисках выхода... Ну, ладно! Раз нет никакой надежды, будь что будет! И, пожав плечами, он вышел, отправился на конюшню и велел старому Петтенсу оседлать Сорванца. Пока седлали, он подумал: «Может быть, позвать Джип?» Но он знал, что больше не вынесет ее упреков. Вскочив в седло, он поскакал к холмам.

Сорванцу, рослому, без единой белой отметины гнедому коню, на котором Джип скакала на охоте, когда впервые встретилась с Саммерхэем, было сейчас около девяти лет. Два недостатка его теперешнего хозяина как ездока — привычка вырываться вперед в скачке и не очень легкая рука — действовали на Сорванца, и он не упускал случая закусить удила; возможно, что сегодня его взволновало что-либо уже в конюшне, а может быть, он почувствовал, как умеют чувствовать лошади, что с ездоком что-то творится неладное. И Сорванец сразу показал свой норов; Саммерхэю строптивость лошади даже доставляла какое-то странное удовольствие. Он добрый час скакал, не разбирая дороги; потом, разгоряченный, с ноющими руками, повернул назад, к дому; ехал он мимо того места, которое маленькая Джип называла «пустошью», где две болотистых луговины сходились у каменного сарая. Живая изгородь, росшая на насыпи, отделявшей два луга, была в одном месте пони-

же. Саммерхэй послал Сорванца, и тот перелетел через препятствие, как птица; впервые после того, когда его поцеловала Диана, Саммерхэй на мгновение почувствовал настоящую радость. Он повернул лошадь и снова послал ее на ограду, и снова Сорванец великолепно взял ее. Но у животного взыграла кровь. Саммерхэй с огромным трудом сдерживал лошадь. Бормоча: «Ах, ты, зверь, не смей тянуть!», — он стал скручивать Сорванцу поводьями губы. В голове у него промелькнули слова Джип: «Ты жесток!» И в ярости он ударил упрямившуюся лошадь хлыстом.

Лошадь рванулась галопом к тому углу, где сходились луга, и вдруг Саммерхэй понял, что ему уже не сдержать животное — словно под ним был паровой двигатель. Доскакав до сарая, Сорванец вдруг ринулся вперед. «Господи! Он убьется!» — мелькнуло у Саммерхэя. Сорванец несся прямо на увитый плющом сарай — прямо в него! Саммерхэй пригнул голову — поздно! — под плющом был брус! Страшный удар! Выброшенный из седла, Саммерхэй отлетел назад и упал на спину, в лужу, полную опавших листьев и грязи. Сорванец, поскользнувшись, всем корпусом уперся в стену сарая и, невредимый, остановился, храпя от испуга; потом он выскочил из сарая и, сверкнув одичавшими глазами на хозяина, который не шевелился, рысью побежал в поле, высоко задрав голову.

ГЛАВА X

Когда Саммерхэй, услышав последние слова Джип, вышел из комнаты, сердце ее упало. Все утро она так старалась подавить в себе слепую отчаянную ревность — и вот при первом же напоминании ревность прорвалась снова. Все это выше ее сил! Жить день за днем, зная, что он в Лондоне либо встречается с этой девушкой, либо с трудом удерживается от встреч с ней! А потом, когда он возвращается сюда, быть с ним такой, как всегда, не показывать вида — разве это возможно? Если он ее любит, как смеет он колебаться хотя бы одну секунду? Да сама мысль об этой девушке должна быть ему ненавистной! Он должен был сам сказать ей это вме-

сто того, чтобы заниматься пустыми уверениями. Чего стоят слова, если они противоречат поступкам? Для нее, любящий его каждой частицей своего сердца, непостижимо, как может мужчина по-настоящему любить и желать одну женщину и в то же время увлекаться другой!

Станет ли ее жизнь еще более несчастной, если она уйдет от него и вернется в Милденхэм? Но... жить без него? Это невозможно. Жить с ним? Видимо, и это невозможно тоже. И тут в ее душевной муке наступали минуты, когда разум отказывался служить ей, и она беспомощно металась от одного исхода к другому, уже не пытаясь больше решать. И она все старалась чем-нибудь заняться: то штопала его перчатку, то расчесывала и смазывала мазью старого Осси, то просматривала счета и письма.

В пять часов маленькая Джип должна была вернуться с прогулки; чувствуя себя не в силах слушать ее веселую болтовню, Джип незаметно выскользнула из дома и пошла к реке. Затишье в природе кончилось; юго-западный ветер уже снова сотрясал деревья, и величественные тучи сгрудились на горизонте, заслоняя бледную синеву неба. Она стояла у реки и смотрела, как серая холодная волна уносит сломанные ветки и облетевшие листья, слушала, как ветер порывами сгибает растрепанные верхушки ив. Джип вдруг затосковала по отцу; только он один мог бы хоть немного помочь ей своим спокойствием, любовью, самым своим присутствием.

Она отвернувшись от реки и в тяжком раздумье медленно пошла по дороге. А что, если им уехать путешествовать вокруг света? Но откажется ли он ради этого от своей работы? Осмелится ли она предложить ему этот выход? Или это все равно будет только отсрочкой. Если уже теперь ему мало ее одной, не станет ли еще хуже, если она оторвет его от работы? И все-таки это была какая-то искра надежды. Она дошла до дальнего конца луговины, до того места, которое они окрестили «пустошью». Розоватый свет уже окрасил гряды белых облаков, громоздящихся к востоку от реки; над тучами, похожими на вершины гор, стояла луна, призрачная на бледно-голубом, как лепестки цветущего льна, небе. Все краски были необычны. С дубов, возвы-

шавшихся над живыми изгородями, еще не облетели листья, и, омытые дождем, они сверкали в меркнувшем свете заходящего солнца старым золотом с оттенком густой зелени. Полуобнаженные буки пламенели красной медью. Рдели красноватые кисти рябины. Мимо Джип пролетел сорванный ветром лист, он парил, вращаясь на лету, подымался в разгулявшемся ветре все выше, выше, к небу, пока наконец не исчез вдали.

Дождь обрызгал густую траву, и Джип повернула назад. Рядом с сараем, у ворот, стояла лошадь. Увидав Джип, она заржала. Сорванец! Оседланный, взнузданный, но без ездока! Почему? Где же он тогда?.. Она, не помня себя, вбежала внутрь сарая и увидела Саммерхэя, лежащего в грязи на спине с широко открытыми глазами. Лоб и волосы его были в крови, он был весь усеян опавшими листьями. Боже! О боже! Его глаза не видели, он не дышал, сердце его не билось. Листья закрыли его лицо, кровь на его бедной голове. Джип приподняла его — застывшего, холодного, как лед. Она только раз вскрикнула и упала, обнимая его окаменевшее тело, целуя губы, глаза, разбитый лоб. Она прижимала его к себе, согревала, пытаясь вдохнуть в него жизнь; и, наконец, тихо легла сама, прижав губы к его холодным губам, тело к его холодному телу, распростертому в грязи, среди опавших листьев. Ветер шуршал в плюще и уносился дальше, пропитанный свежестью дождя. Рядом стоял гнедой; беспокойно вытянув голову, он обнюхал Джип, потом, попятившись, заржал и пошел кружить по лугу...

Старый Петтенс, дожидавшийся возвращения Саммерхэя, чтобы запереть на ночь конюшню, услышал далекое ржание, вышел к садовым воротам и приложил руку козырьком к маленьким глазкам, щурясь на заходящее солнце. Он увидел лошадь без седока, она носилась галопом возле «пустоши», где не должно было быть лошадей. Он подумал: «Вот тебе и на! Этот хитрый дьявол вырвался и убежал от хрзяина. А теперь придется ловить его!» Он вернулся в конюшню, взял немного овса и вышел за ворота, стараясь шагать побыстрее негнувшимися ногами. Старый лошадиник, как это часто бывает, и не подумал о каком-либо несчастье.

Просто хозяин спрыгнул с седла — вероятно, чтобы отворить засов в тяжелых воротах. А этот гнедой — просто наказание божье! Петтенсу было не так-то легко простить беды, причиненные ему этим животным.

Через полчаса он вбежал в освещенную кухню, шатаясь и задыхаясь, и слезы текли по его морщинистым щекам к уголкам рта.

— О господи! Зовите фермеров, доставайте носилки. О мой бог! Бетти, кухарка! Я не мог оторвать ее от него. Она не говорит ни слова. Я пощупал ее — вся холодная. Скорее вы, девчонки, скорее! О боже! Бедный хозяин! Лошадь, наверно, на скаку влетела в сарай и убила его. Я видел следы царапины на спине этого дьявола Сорванца, он ободрал кожу о стену. Живее, вы! Берите носилки, а то она умрет там с ним в грязи. Уложите ребенка, бегите за доктором, пошлите телеграмму в Лондон майору — пусть едет немедленно. О, черт бы вас побрал, шевелитесь же! Что толку выть и пускать пузыри?

В том углу, где сходятся луга, свет луны и фонаря падал на старый каменный сарай, на плющ и сломанные ворота, на грязную лужу с золотистыми листьями и на два неподвижных тела, прижавшихся друг к другу. Джип была без сознания, и, казалось, между обоими нет никакого различия.

Потом по смятой траве двинулось назад в ветре и лунном свете маленькое шествие: первые носилки несли двое мужчин, вторые — две женщины и мужчина, а сзади шел старый Петтенс и вел под уздцы лошадь.

ГЛАВА XI

Когда Джип пришла в себя, первым, еще бессознательным ее движением было приподняться в кровати и убедиться, что Саммерхэй рядом. Еще не открывая глаз, она, как обычно, протянула руку, чтобы коснуться его, а потом снова заснуть. Но рядом не было тепла, не было жизни; в ее мозгу, все еще отуманенном морфием, мысли текли смутно и сиротливо: «Ах да, он в Лондоне».

И она повернулась на спину. В Лондоне... Что-то случилось? Она открыла глаза. Ах, значит, огонь горел в камине всю ночь... Кто-то сидит в кресле, или это ей снится? И вдруг, сама не зная почему, она начала задыхаться. Фигура в кресле зашевелилась, повернула лицо к огню камина. Бетти! Джип закрыла глаза. Все ее тело покрылось холодным потом.

— Бетти!

— Да, моя милочка?

— Что случилось?

— Не думай об этом! Твой отец сейчас будет здесь, моя радость.— Широко открытыми глазами Джип смотрела на огонь, на покачивающуюся фигуру в кресле, на тонкий луч света, едва пробивающегося сквозь неплотно задернутую штору. Она провела языком по губам, сложила руки под одеялом и прижала их к сердцу... Так значит... значит, она не умерла вместе с ним — не умерла! Не ушла вместе с ним в землю — нет!.. Сразу в ее мозгу вспыхнуло: они хотят, чтобы она осталась в живых!

— Бетти, мне так хочется пить. Принеси мне чашку чая.

— Да, моя милочка, сейчас. Это тебе полезно. Вот и прекрасно!

— Да...

Как только за Бетти захлопнулась дверь, Джип соскочила с постели. Вся ее душа теперь была сосредоточена на одном — перехитрить их! Она подбежала к гардеробу, схватила длинное меховое пальто, сунула голые ноги в туфли, обмотала голову куском кружева и открыла дверь. Всюду было темно и тихо. Стараясь ступать неслышно, она спустилась с лестницы, сняла цепочку с входной двери, открыла ее и побежала. Как тень, скользила она по траве, миновала садовую калитку и понеслась по дороге под темными деревьями, с которых падали дождевые капли. Бледный свет зари пробивался сквозь темноту; она уже могла видеть отражение своих ног в лужах на дороге. Потом она услышала гудение въезжающей на холм машины и спряталась в тени ограды. Вспыхнул призрачный, словно нащупывающий свет фар; они выхватили из темноты верхушки кустарни-

ка, стволы деревьев, легли блестящей полосой на дорогу. Джип увидела, как шофер повернул к ней голову, потом кузов машины промелькнул и пропал в темноте, мигнув светом заднего фонарика. Может быть, в этой машине проехал в Красный дом отец и привез с собой врача, чтобы помочь ей остаться в живых. Она побежала дальше. Из ворот вышел человек с собакой, он крикнул ей вслед: «Эй!» Джип уже потеряла туфли и бежала босая, не чувствуя камней и сучьев на дороге, бежала все дальше, к тропинке, которая немного левее гостиницы вела прямо к реке, туда, где берег был всегда пустынен.

Она свернула на тропинку: в ста или более шагах она уже смутно различала среди ив широкую серую полосу реки. Река!.. На ней прошли самые счастливые часы ее жизни! Его уже нет, но она найдет его там, где он лежал, положив голову ей на грудь, где она мечтала, наслаждалась красотой, любила его! Она добежала до берега. Холодная и молчаливая река текла, казалось, быстрее, чем обычно, и ее берег медленно светлел в первых проблесках зари. Джип стояла неподвижно, часто дыша после долгого бега. Колени ее дрожали и подгибались. Она уселась на мокрую траву, подтянула колени к подбородку и, обхватив их руками, стала раскачиваться взад и вперед; рассыпавшиеся волосы закрыли ей лицо, кровь шумела в ушах. Сердце готово было остановиться. Она сидела, словно ожидая, когда можно будет глубоко вздохнуть и побольше набрать воздуха, прежде чем броситься в свинцовую воду. Странная отрешенность — свойство всякой лихорадки овладело Джип, и ей казалось, что она видит себя со стороны, сидящей здесь и ждущей. У нее мелькнуло в голове: «Я буду видеть себя мертвой, плывущей среди камышей. Я буду видеть птиц, которые станут удивляться мне».

И вдруг она вся затряслась от сухих рыданий. Все вокруг словно растаяло, — ничего не осталось, кроме ее собственного тела, прерывистого дыхания и этого страшного шума в ушах. Ее мальчик — ее мальчик, бедный его лоб! Она задрожала и упала лицом вниз, хватаясь руками за землю и мокрую траву.

Солнце уже легло светлыми полосами на реку. Запела малиновка, лист упал на голую лодыжку Джип.

Уинтон в субботу охотился и, вернувшись в Лондон в воскресенье вечерним поездом, отправился прямо в клуб ужинать. Он заснул с сигарой в зубах, и его разбудили, когда клуб уже закрывался. Был третий час, когда он добрался до Бэри-стрит и там нашел телеграмму: «Что-то ужасное случилось с мистером Саммерхэем. Немедленно приезжайте. Бетти».

Никогда он так не проклинал себя за то, что у него одна рука, как в эти минуты, пока Марки одевался, помогал одеться хозяину, укладывал вещи и вызывал такси для дальней поездки. Они выехали в половине четвертого. Всю дорогу Уинтон кутался в меховое пальто и сидел, наклонившись вперед, словно собираясь сунуть голову в окошечко и командовать шофером. Это была сумасшедшая ночь. Он не позволил слабогрудому Марки вылезать и показывать дорогу. Дважды этот молчаливый человек заговаривал с ним:

— Это очень плохо для мисс Джип, сэр?

— Да, плохо. Ужасно.

И второй раз:

— Вы думаете, это значит, что он умер, сэр?

Уинтон отвечал мрачно:

— Бог знает, Марки. Будем надеяться на лучшее.

Могла ли судьба нанести еще более жестокий удар ей, такой любящей, такой нежной!

Бетти и горничная уже стояли в полумраке, у открытой калитки, ломая руки. Выскочив из машины, Уинтон крикнул:

— В чем дело, женщина? Быстро!

— О сэр! Моя милочка исчезла. Я оставила ее на минуту, чтобы принести чашку чая, а она убежала на холод!

Уинтон стоял несколько секунд, словно окаменев. Потом, схватив Бетти за плечо, он тихо спросил:

— Что случилось с ним?

Бетти не могла говорить. Ответила горничная:

— Лошадь убила его у сарая, сэр, там, в лугах. А хозяйка была без сознания и очнулась всего четверть часа назад.

— Какой дорогой она ушла?

— Вот отсюда, сэр; дверь и калитка были открыты, а какой дорогой, я не знаю.

Река!

— Разверните машину! Не выходите, Марки. Бетти и вы, девушка, бегите к лугам, ищите ее там... Да? В чем дело?

Шофер высунулся из окошка.

— Когда мы поднимались на холм, сэр, я видел какую-то даму в длинном черном пальто и в чем-то белом на голове. Она стояла у изгороди.

— Хорошо. Поезжайте снова туда и глядите в оба. В такие минуты раздумывать некогда. Да размышлять и не было нужды: все эти сады, виллы, гостиница только преграждали путь к реке. Уинтон остановил машину возле узкой тропинки, которая ответвлялась вниз, к берегу, выпрыгнул и побежал. Молча, не произнося ни звука, он бежал по краю берега, поросшему травой. Марки спешил за ним. Когда Уинтон увидел на берегу что-то темное, он почувствовал на мгновение, что умирает: ему показалось, что это брошенная одежда. Потом он заметил, что темное пятно шевелится, и, дав знак Марки остановиться, пошел вперед один, ступая на цыпочках по траве. Осторожно обойдя распростертую на земле фигуру, он стал на колени и сказал:

— Радость моя!

Джип подняла голову и взглянула на него. Ее бледное лицо, неестественно большие темные глаза, рассыпавшиеся волосы — это было воплощение самого горя. Он не знал, что ему делать, как помочь ей, как успокоить, спасти. В ее взгляде был страх затравленного зверя. Только смутный инстинкт заставил его сказать:

— Я потерял ее так же ужасно, Джип.

Он увидел, что эти слова дошли до ее сознания: безумный взгляд стал смягчаться. Он привлек ее к себе, прижался щекой к щеке и бормотал, обнимая ее дрожащее тело:

— Ради меня, Джип, ради меня!..

Усадив ее с помощью Марки в машину, он повез ее не домой, а в гостиницу. Джип вся горела и вскоре начала бредить. На следующий день приехали вызванные телеграммой тетушка Розамунда и миссис Марки. Уинтон снял всю гостиницу, чтобы шум не беспокоил Джип.

В пять часов Уинтона позвали вниз, в так называемую читальную комнату. У окна стояла высокая женщина, прикрыв глаза рукой в перчатке. Хотя они жили всего в десяти милях друг от друга, он знал леди Саммерхэй только в лицо. Он ждал, пока бедная женщина первая нарушит молчание. Она сказала тихим голосом:

— Говорить не о чем. Но мне казалось, что я должна повидать вас. Как она?

— В бреду.

— Мой бедный мальчик! Вы видели его... его лоб? Я отвезу его домой.

Слезы медленно покатались по ее бледному лицу, закрытому вуалью. Она отвернулась к окну и провела платком по глазам. Глядя в окно на темнеющую лужайку, Уинтон сказал:

— Я пришлю все его вещи, кроме... кроме тех, которые могут чем-либо помочь моей бедной дочери.

Она быстро обернулась.

— Вот как все это кончилось! Майор Уинтон, не кроется ли что-нибудь за этим? Они действительно были счастливы?

Уинтон посмотрел ей прямо в глаза и сказал:

— О да, очень счастливы.

Не дрогнув, он встретил устремленный на него, замутненный слезами взгляд; тяжело вздохнув, она снова отвернулась и еще раз провела платком по лицу, опустила вуаль и поспешно вышла.

Это не было правдой. Он слышал, что бормотала в бреду Джип, но никто, даже мать Саммерхэя, не узнает ничего, насколько это от него зависит.

В последующие дни Джип все еще была без памяти, и жизнь ее висела на волоске. Уинтон не оставлял ее комнаты, этой комнаты с низким потолком и увитыми плющом окнами, откуда можно было видеть реку,

поблескивающую под бледным ноябрьским солнцем или темную под звездами. Он все смотрел на нее, словно зачарованный. Он просто чудом вырвал Джип у реки.

Уинтон отказался от сиделки. Тетушка Розамунда и миссис Марки прекрасно умели ухаживать за больными, а ему не хотелось, чтобы чужой человек слышал слова, которые вырывались у Джип в бреду. Собственно, его участие в уходе за больной заключалось в том, что он сидел с ней рядом и, насколько возможно, охранял ее секреты от других. Он готов был сидеть часами, не отрывая от нее глаз. Никто не мог лучше, чем он, улавливать те звенья реального, цепляясь за которые человек в бреду, сам того не зная, как бы на ощупь ищет дорогу в темном лабиринте, в котором блуждает его душа.

Уинтона удивляло, как много людей приходили справляться о здоровье Джип; даже те, кого он считал врагами, оставляли карточки или посылали слуг. Но простые люди особенно волновали его своим участием к Джип, чья красота и мягкость завоевали их сердца. Однажды утром он получил письмо, пересланное с Бэристрит:

«Уважаемый майор Уинтон,

Я прочла в газете о смерти бедного мистера Саммерхэя. И, ах, мне так стало жаль ее! Она была так добра ко мне. Я все еще тяжело переживаю это несчастье. Если вы думаете, что ей будет приятно узнать, как все мы сочувствуем ей, вы, может быть, скажете ей об этом. Да, это жестокий удар.

Преданная вам
Дафна Уинг».

Значит, они знали о Саммерхэе! Уинтон почему-то не предполагал этого. Он не ответил на письмо, не зная, что написать.

Иногда он зажимал уши, чтобы не слышать этого тяжелого бреда, порождаемого воспаленным мозгом Джип. Ее помраченное сознание, видимо, все еще не воспринимало всего ужаса совершившейся трагедии; с ее губ все время срывались слова любви, она без конца по-

вторяла, что боится потерять его. И лишь изредка на губах появлялся тихий смех, бесхитростный и чарующий, словно отблеск огромного счастья. Этот смех был страшнее всего, что он слышал. Но постепенно Уинтон стал находить какое-то недоброе утешение в том, что трагическая смерть Саммерхэя предотвратила еще более трагический исход для Джип. Однажды ночью, сидя в большом кресле у ее кровати, он проснулся, почувствовав, что она смотрит на него. Теперь эти глаза видели, они были снова глазами Джип! Губы ее зашевелились.

— Отец!

— Да, моя крошка.

— Отец, я помню все!

Услышав эти ужасающие своей краткостью слова, Уинтон наклонился и прикоснулся губами к ее руке.

— Где он похоронен?

— В Уидрингтоне.

— Да...

Это был скорее вздох, чем слово. Подняв голову, Уинтон увидел, что глаза ее снова закрылись. Прозрачность ее бледных щек и лба на фоне темных волос и ресниц потрясли его. Живое ли это лицо или это красота смерти?

Он наклонился над ней. Она дышала. Уснула.

ГЛАВА XII

Они вернулись в Милденхэм почти через два месяца после смерти Саммерхэя, в день Нового года. Милденхэм был такой же темный, полный тех же призраков прежних дней. Для маленькой Джип, сейчас уже пятилетней, это был самый приятный дом. Наблюдая, как девочка становится душой этого дома, где жила ребенком она сама, Джип временами находила в этом утешение. Она еще не набралась сил, по-прежнему походила на тень, и тот, кому удавалось взглянуть на ее лицо внезапно, видел самое печальное лицо на свете. Больше всего она заботилась о том, чтобы никто не застал ее врасплох. Уинтона ее улыбка приводила в отчаяние. Всю

зиму и весну он не мог придумать, как помочь ей. Она делала над собой огромные усилия, стараясь держаться, и тут он ничего не мог поделать — только наблюдать и ждать. Да и к чему ускорять ход событий? Ее могло исцелить только время.

Пришла и ушла весна. Джип окрепла, но ни разу не вышла за ограду сада, никогда не говорила о Красном доме и не упоминала о Саммерхэе. Не то, чтобы она не хотела расставаться со своим горем, — наоборот, она всячески старалась забыть или затаить его. С ней просто было то, что некогда называлось разбитым сердцем. Тут уж нельзя было ничего поделать. Маленькой Джип сказали, что «Бэрайн уехал навсегда и что она не должна о нем говорить, чтобы маме не было грустно»; но она иногда внимательно, с какой-то озадаченной серьезностью приглядывалась к матери. Однажды она сказала Уинтону, поразив его детской прозорливостью:

— Мама не живет с нами, дедушка; она живет где-то далеко. Я думаю, она там, с ним, с Бэрайном?

Уинтон поглядел на нее и ответил:

— Может быть, и так, деточка, но никому не говори об этом, кроме меня. Вообще ни с кем не говори о нем.

— Да, я знаю; но где он, дедушка?

Что мог ответить Уинтон?

Он много ездил верхом и брал с собою девочку, для которой, как некогда для ее матери, это было подлинным счастьем; но Джип он не решался звать с собой. Она никогда не говорила о лошадях, не подходила к конюшням и целые дни занималась мелочами по дому, работала в саду, сидела у рояля, иногда немного играла, но больше смотрела на клавиши, сложив руки на коленях. Это было в начале того рокового лета, когда люди еще не ощущали подземных толчков войны, когда тьма еще по-настоящему не сгустилась. Перед глазами Уинтона уже не вставали темные глаза и выющиеся волосы той, его возлюбленной, ни образ его самого, в коричневом мундире, выкрикивающего знакомые слова команды на плацу казармы. Он думал об одном: только бы вывести Джип из этого состояния отрешенности!

В июне он предложил ей поехать в Лондон. К его удивлению, она согласилась без колебаний. Они поехали в троицын день. Когда они проезжали мимо Уидрингтона, он дал волю своему красноречию, стараясь ее отвлечь; но чуть позже, осторожно выглянув из-за газеты, он увидел, что она сидит, отвернувшись к окну, смотрит на поля, и слезы катятся по ее щекам. Она не вымолвила ни слова, взгляд ее был неподвижен, только слезы все катились по лицу. Уинтон, не отрываясь, смотрел на нее, сузив глаза; лицо его отвердело, кожа, казалось, плотно обтянула скулы.

От вокзала на Бэри-стрит машина ехала по узеньким улочкам, где выставляет себя напоказ нищета мира; где изнуренные мужчины, измученные заботами женщины и призраки маленьких детей, беспечно сидящих в канавах и на порогах домов, каждой чертой своих землистых лиц, каждым движением своих исхудалых тел заявляют о том, что золотой век далеко позади; где неприглядные, закопченные дома говорят о том, что избавление откладывается в долгий ящик; где не больше следов красоты, чем в подземном водостоке. Джип, подавшись вперед, глядела из окна машины. Уинтон почувствовал, как она взяла его за руку и крепко сжала ее.

Вечером после обеда они сидели в комнате, которую он некогда, очень давно, обставил для ее матери; все так же, как и тридцать лет назад, в ней стояли стулья атласного дерева, и маленькое бюро в стиле XVII века, и старые медные канделябры. Джип спросила:

— Отец, ты не будешь возражать, если я устрою в Милденхэме нечто вроде приюта для бедных детей, которые могли бы пожить там, хорошо питаться, дышать свежим воздухом?

Странно растроганный этой ее первой просьбой после разыгравшейся трагедии, Уинтон сказал:

— Милая моя, а ты достаточно окрепла?

— Вполне. Теперь у меня все в порядке, кроме вот этого.— Она показала рукою на сердце.— То, что отдало, человек не может получить обратно. Я тут ничего не могу поделать. Я бы сделала, если бы могла. Все это так ужасно огорчило тебя. Когда я буду глядеть на детишек, ухаживать за ними, мне не придется так много

думать; чем больше я буду занята, тем лучше. Мне хотелось бы начать сейчас же.

Уинтон кивнул. Все, что она хочет! Все, что только может помочь ей!

— Розамунда поможет тебе,— пробормотал он.— Она ведь у нас мастер на такие дела.— И, посмотрев на нее внимательно, он добавил: — Мужайся, дитя мое, все еще вернется когда-нибудь.

Джип заставила себя улыбнуться и сказала тихо:

— А все-таки без того, что было, я не могла бы жить теперь.

Она обхватила руками колени, глаза ее странно блестя и слабая улыбка словно замерла на губах. И Уинтон подумал: «Любовь! Любовь без меры! Сильнее смерти!»

1917 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ФРИЛЕНДЫ. Перевод <i>Е. Гольшевой</i>	5
СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ. Перевод <i>Л. Чернявского</i>	297

**Джон Голсуорси.
Собрание сочинений в 16 томах.
Том 8**

**Иллюстрации художника
Л. Х а й л о в а.**

**Оформление художника
А. В а с и н а.**

**Технический редактор
А. Ш а г а р и н а.**

**Подп. к печ. 17/IV 1962 г. Тираж 375 000 экз.
Изд. № 523. Зак. 531. Форм. бум. 84×108^{1/32}.
Бум. л. 9,25. Печ. л. 30,34+4 вкл. (0,41 печ. л.)
Уч.-изд. л. 31,89. Цена 90 коп.**

**Ордена Ленина типография газеты «Правда»,
Москва, А-47, улица «Правды», 24.**